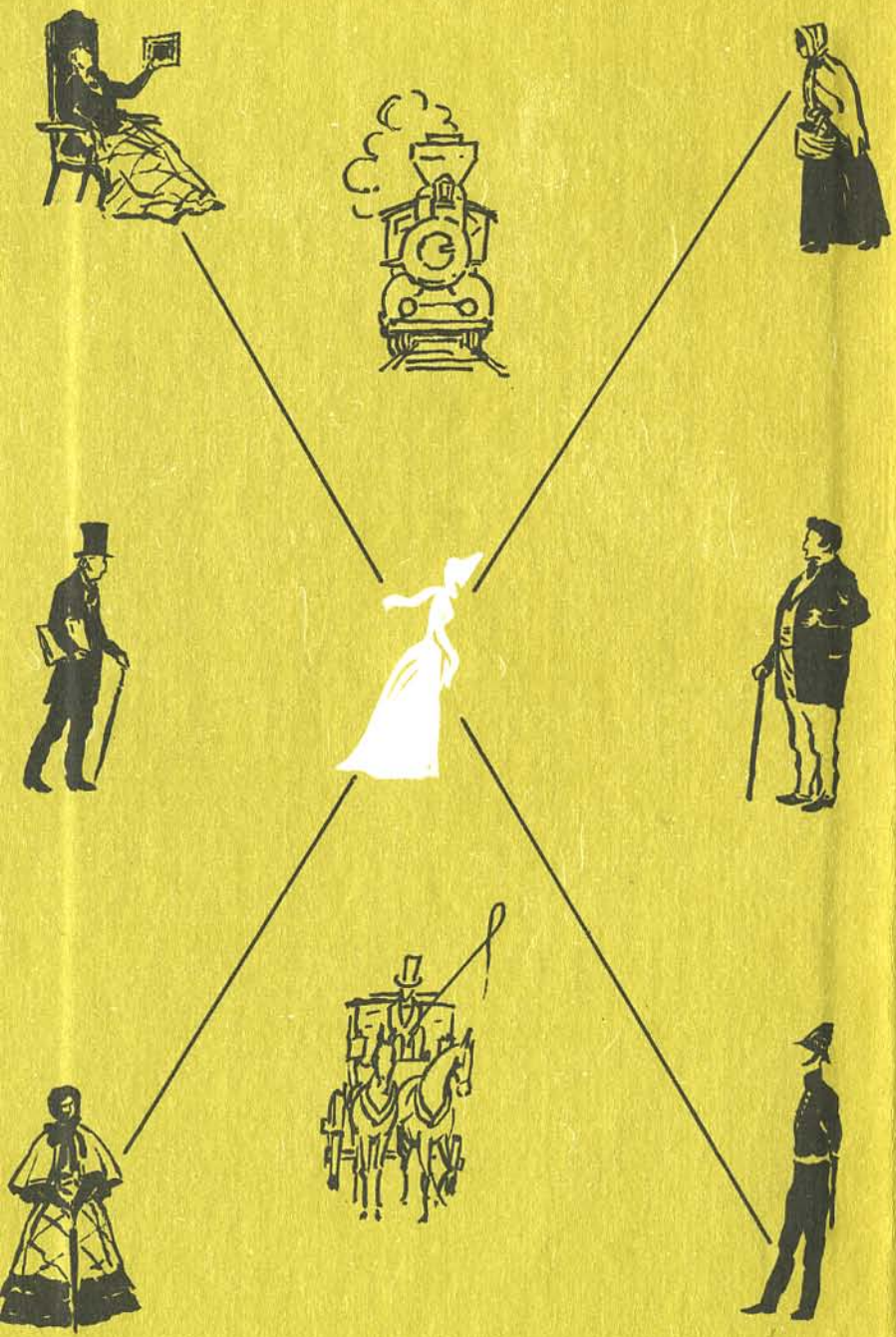
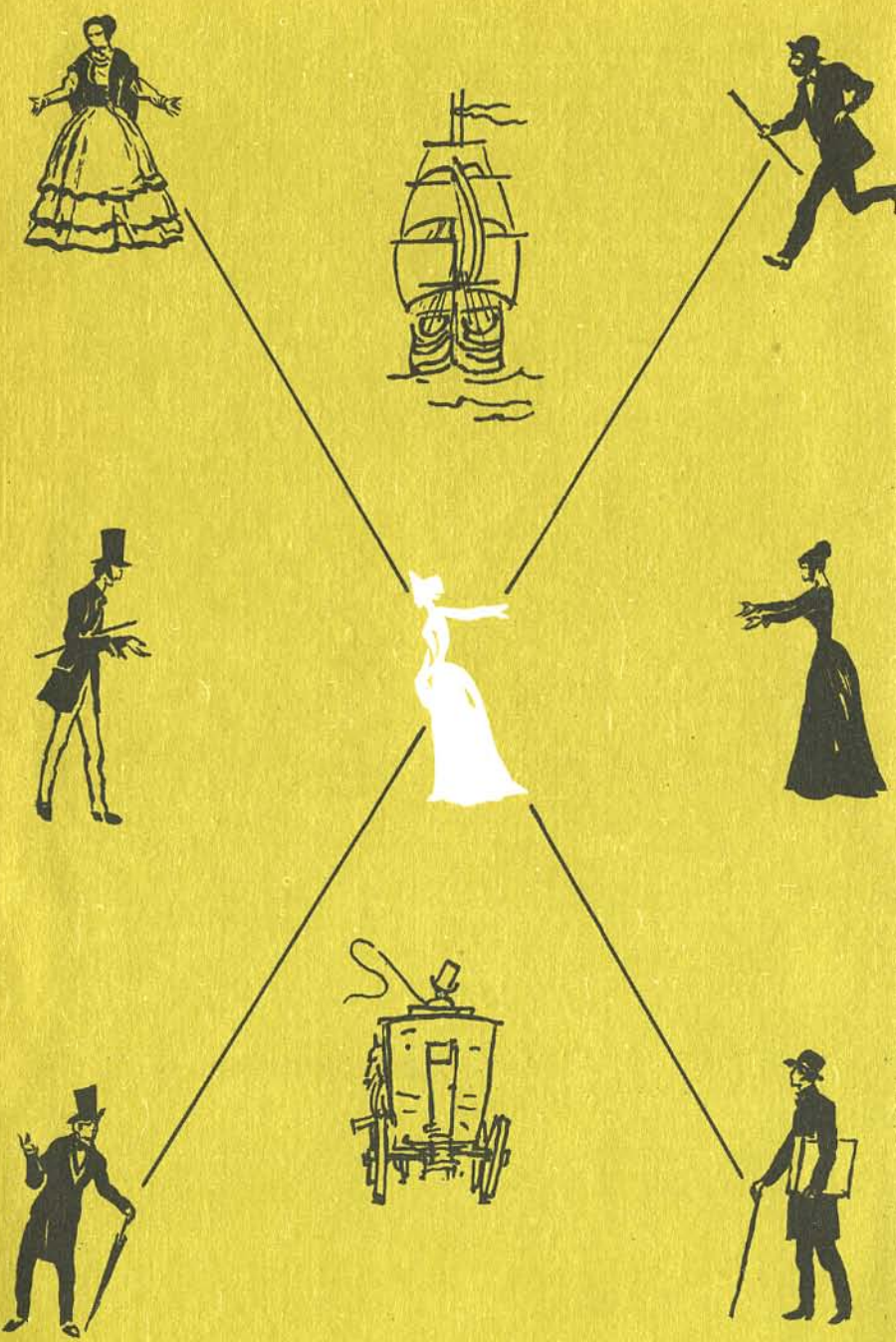
УИЛКИ КОЛЛИНЗ

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

МОСКВА ~ 1991

УИЛКИ КОЛЛИНЗ

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ

Роман

❀

Перевод с английского

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ББК 84.4Вл
К60

Перевод с английского
Т. Лещенко-Сухомлиной

Вступительная статья
М. Урнова

Иллюстрации
В. Высоцкого

К $\frac{4804010100—277}{M101(03)-91}$ Без объявл.

ISBN 5-08-003110-7

© М. В. УРНОВ.
Вступительная статья, 1989

РОМАН «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» И ЕГО АВТОР

*

«В этом романе предпринят эксперимент, к которому (насколько мне известно) до сих пор не прибегали в литературе. О событиях, происходящих в книге, от начала и до конца рассказывают ее персонажи». Так писал Уилки Коллинз в авторском предисловии к первому отдельному изданию «Женщины в белом», появившемуся в 1860 году. На первой странице романа дано пояснение: «Эту историю будут писать несколько человек — как на судебном процессе выступают несколько свидетелей; цель в обоих случаях одна: изложить правду наиболее точно и обстоятельно и проследить течение событий в целом, предоставляя живым свидетелям этой истории одному за другим рассказывать ее». История книги, как она сформулирована в ее начальном абзаце, «это история о том, что может выдержать женщина и чего может добиться мужчина». Свидетельские показания выражены в разной форме — доверительного рассказа, дневниковой записи, письма.

В «Женщине в белом» Уилки Коллинз отказался от положения всеведущего автора и передал роль повествователя участникам и свидетелям событий. Преобразуя повествовательную технику, Уилки Коллинз стремится не к одному лишь формальному новшеству. Если бы его усилия привели, как он пишет, «всего лишь к новизне формы», он не стал бы производить эксперимент. Формальное новшество побуждало автора энергично развивать фабулу, а персонажам давало возможность изложить свою точку зрения.

Необходимость обстоятельного и объективного изложения событий, того, что было и как это было, мотивирована в «Женщине в белом» важным социальным мотивом: «...в некоторых случаях закон до сих пор еще остается наемным слугой туго набитого кошелька, и потому эта история будет впервые рассказана здесь. Так же как мог бы услышать ее судья, теперь услышит читатель».

Роль судьи, судьи честного и неподкупного, отведена читателю. Ему надлежит разобраться в непримиримом конфликте и запутанном течении длительной и неравной борьбы «со знатными и всесильными», «с вооруженным до зубов Обманом», которую на свой страх и риск ведут мужчина — художник Уолтер Хартрайт, главный участник, свидетель и хроникер событий, и его соратница мисс Мэриан Голкомб, обаятельная и самоотверженная женщина.

В «Женщине в белом» форма романа драматизирована, конфликт и фабульное развитие приобрели особую остроту. Едва начинается знакомство читателя с Хартрайтом, простым учителем рисования,— он идет в Лондон как на пустынной и озаренной луной дороге появляется загадочная одинокая фигура женщины, с головы до ног одетой в белое. Ее преследуют два седока в коляске, Хартрайт слышит их указание полисмену: женщину в белом надо задержать, женщина в белом убежала из сумасшедшего дома. В дальнейшем судья-читатель ознакомится с показаниями странного, загадочного и прямо невероятного толка. Хартрайт расскажет, например, как он пришел к могиле своей любимой, чтобы поклониться ее праху, встал на колени и вдруг «у надписи, вещавшей о ее кончине» увидел ее живую.

Напряжению сюжета романа «Женщина в белом» и завлекательности его чтения способствует тайна, покрывающая странные поступки женщины в белом и ее трагическую судьбу, подлинное лицо злодеев и мотивы их наглого и коварного поведения. Тайна эта столь непроницаема, что только к концу книги, после разного рода догадок, предположений и рискованных поступков мужественных и самоотверженных мужчины и женщины, удается сорвать с нее мрачный покров.

Уильям Уилки Коллинз (1824—1889) рано почувствовал влечение к литературному творчеству, но, прежде чем

стать писателем, романистом и драматургом, ему пришлось испробовать свои силы в занятиях, весьма далеких от профессии литератора.

Родился Уилки Коллинз в Лондоне, в семье известного художника-пейзажиста Уильяма Коллинза. Тринадцатилетним подростком Уилки увидел Италию, где вместе с родителями прожил полтора года. Впоследствии он еще не раз посетит эту страну, и его итальянские впечатления найдут отражение в его творчестве, в том числе — и весьма заметное — в «Женщине в белом».

По окончании школы, выполняя волю отца, Уилки занялся коммерцией: в 1841 году поступил на службу к торговцам чаем. Но торговое дело было чуждо его интересам и склонностям, и он оставил его. В 1846 году он приступил к занятиям в Линкольн-Инне, в одной из четырех старинных лондонских корпораций юристов. Эти корпорации владели монопольным правом подготовки адвокатов и выдавали разрешение на занятие адвокатской практикой. Уилки Коллинз получил такое право, но им не воспользовался. Обширные знания истории, теории и практики английского судопроизводства, полученные им в Линкольн-Инне, не пропали даром, он использовал их во многих своих романах.

Первая книга Уилки Коллинза вышла в свет в 1848 году, это была двухтомная биография его отца. Спустя два года появился первый роман Коллинза — «Антонина, или Падение Рима», исторический роман , навеянный итальянскими впечатлениями и чтением романа Булвера-Литтона «Последние дни Помпеи».

В начале пятидесятых годов Уилки Коллинз познакомился, затем подружился, а со временем и породнился с Чарльзом Диккенсом: младший брат Коллинза женился на младшей дочери Диккенса. Коллинз и Диккенс часто встречаются, много вместе путешествуют, с увлечением участвуют в домашних спектаклях, активно сотрудничают. Влияние Диккенса на творческое развитие Коллинза несомненно и значительно. Автора «Женщины в белом» считают основоположником и образцовым представителем так называемой «сенсационной литературы», сформировавшейся в «школе Диккенса». В «Женщине в белом», романе сенсационном, еще нет профессионального лица, ведущего расследование,— детектива или полицейского, их функции выполняют сами

заинтересованные персонажи, но технология детективного романа уже представлена в ее характерном действии. И сам читатель непосредственно и невольно, в силу положения, отведенного ему автором,— положения честного судьи, втягивается в процесс раскрытия тайны и обличения злодеев.

Уилки Коллинз сотрудничал в журналах «Домашнее чтение» и «Круглый год», которые создал и которыми руководил Чарльз Диккенс. Об активности этого сотрудничества свидетельствует выразительный факт: только в «Домашнем чтении» Коллинз опубликовал более ста двадцати пяти своих произведений. Некоторые из них что важно подчеркнуть, были написаны совместно с Диккенсом.

Диккенс настойчиво призывал своих сотрудников к «упорной борьбе за правду в искусстве», в которой видел «радость и горе всех настоящих» его служителей. Радость, когда правда побеждает, и горе от ее поражения. Поражения, вызванного не только внешними препонами, но и внутренней слабостью творческой личности, недостатком мужества и шаткостью ее убеждений.

В повседневной практике редактора, оценивая, отбирая для печати и правя рукописи, Диккенс стремился сам и побуждал всех сотрудников к тому, чтобы их перо поддерживало и разжигало у читателя дар воображения. Горе тому человеку, говорил он, кто пренебрегает этим даром. Уроки и пример Диккенса-писателя, соавтора и редактора живо воздействовали на творческое развитие Уилки Коллинза, были восприняты им в соответствии с особенностями его личности и его таланта.

Размышляя о том, как увлечь читателя, каким способом возбудить его воображение, Уилки Коллинз выделял «два главных элемента притягательности всех рассказываемых историй». Они должны вызывать любопытство читателя и удовлетворять его потребность удивляться.

Остросюжетные произведения — сенсационные, приключенческие, детективные — с особым усердием осваивали и развивали эти «два главных элемента притягательности».

Но исключительная забота о занимательности фабулы таит в себе опасность отвлечения от жизни, от ее реальных проблем, затрудняет задачу создания социально содержательных и психологически убедительных характеров.

Немало примеров тому, как преимущественная сосредоточенность на завлекательном развитии событий мешает произведению стать явлением искусства, превращает его в ребус, в занимательную головоломку. Уилки Коллинз сознавал эту опасность и заботу о занимательности повествования сочетал с заботой о создании психологически убедительных характеров. «Впечатление, производимое на читателя событийным повествованием,— писал он,— существенным образом зависит не от событий как таковых, а от человеческого интереса, с ними связанного».

Первая публикация «Женщины в белом» появилась в журнале «Круглый год», который сменил и продолжил «Домашнее чтение». Диккенс оценил этот роман «как большой шаг вперед» по сравнению с предыдущими произведениями его автора и, поясняя свою оценку, отметил: «Характеры превосходны». Многие критики более сдержанно судят о созданных Коллинзом в этом романе характерах. Как бы то ни было, не трудно убедиться, что у каждого из многочисленных персонажей «Женщины в белом» свой индивидуальный облик, свой уровень гражданского и нравственного сознания, своя манера выражения чувств и мыслей. Они оригинальны, не заимствованы с чужих страниц, не повторяют известных образцов. Некоторые из них по-особому выразительны и социально содержательны. Например, итальянец граф Фоско. Его внешний облик, манера поведения, его привычки, вкусы, пристрастия — всё, складываясь вместе, рисует его образ гротескно-фантастическим. Его честолюбие, его притязания безмерны. Внешнее выражение они находят — до известной степени — в титулах, которыми он сам себя награждает: «Граф Священной Римской империи, Кавалер Большого Креста и Ордена Бронзовой Короны, Постоянный Гроссмейстер Мальтийских Масонов Месопотамии, Почетный Атташе при Общеевропейском Союзе Благоденствия и т. д., и т. д., и т. д.». Философия этого «Графа и т. д.» изложена им самим в нескольких словах: «...Кто мы, как не марионетки в пантомиме кукольного театра», пляшущие на «жалкой, маленькой сцене».

Снижение представлений о человеке и жизни — характерное явление реалистической литературы Англии, анализировавшей духовный мир верхних слоев буржуазно-аристократического общества. Соотечественник и стар-

ший современник Уилки Коллинза, проницательный и оригинальный критик буржуазной действительности своего времени. Томас Лав Пикок (1785—1866), цитируя слова шекспировского героя «Весь мир — театр», сопроводил их горестным суждением: «А жизнь есть фарс». Однако это не только горестное, но и критическое, обличительное суждение. Когда же граф Фоско сопоставляет человеческую жизнь с пантомимой кукольного театра, людей — с марионетками, Землю — с «жалкой маленькой сценой», то в его сравнении нет ни горестного, ни обличительного мотива, есть беспредельное высокомерие. Хотя он и употребляет местоимение первого лица множественного числа, когда говорит: «Кто мы, как не марионетки», но себя-то он не присоединяет к общему числу. Граф Фоско «глядит в Наполеоны» (вспомним Пушкина), глядит, движимый стимулом: власть и барыш. Граф Фоско «глядит в Наполеоны» более современного, чем Наполеон Бонапарт, образца. Многозначительно доверительное признание Фоско в том, что он лучшие годы своей жизни посвятил «ревностному изучению медицинских и химических наук», и его рассуждения о том, как можно использовать науки, чтобы изменить природу человека не во благо, а во вред человеку и человечеству. «Дайте мне, Фоско, химию,— вслух прорицает он,— и, когда Шекспир задумает Гамлета и сядет за стол, чтобы воспроизвести задуманное, несколькими крупинками, оброненными в его пищу, я доведу его разум посредством воздействия на его тело до такого состояния, что его перо начнет плести самый несообразный вздор, который когда-либо осквернял бумагу. При подобных же обстоятельствах воскресите мне славного Ньютона. Я гарантирую, что, когда он увидит падающее яблоко, он съест его, вместо того чтобы открыть закон притяжения». В этих рассуждениях Фоско важны и существенны не способ, а замысел: пользуясь достижениями науки превратить гения в ничтожество. Граф Фоско глядит в Наполеоны двадцатого века, в наше время, когда появились генная инженерия и опыт прямого воздействия химических веществ на психику человека. Не случаен такой факт биографии Фоско: он приехал в Англию летом 1850 года «с одним политическим поручением деликатного свойства». Первого мая 1851 года в Лондоне, в Хрустальном дворце Гайд-Парка, открылась Всемирная выставка промышленного прогресса.

Она продемонстрировала внушительные достижения науки и техники, реальную силу и возможности человеческого разума. В то же время чуткая к положению и духовному состоянию человека художественная литература с горечью и возмущением отметила возрастание утилитарного подхода ко всему в жизни — подхода, проникнутого стремлением из всего извлечь практическую пользу и выгоду. В романе Диккенса «Тяжелые времена», к примеру, в главе «Избиение младенцев» показано, как внедряется в детский мозг принцип голого расчета и как тем самым закладываются основы бездуховности. Тревожась о влиянии технократических идей, Диккенс предупреждал в своем журнале «Домашнее чтение», что воображение не могут удовлетворить никакие машины и «даже богатейшая Всемирная выставка промышленного прогресса» не насытит его. Иллюстрируя свою мысль, он писал: «Политехнический музей на Риджент-стрит, где показывают и объясняют действие сотен хитроумных машин и где можно послушать лекции, содержащие массу полезных сведений о всевозможных практических предметах,— это замечательное место и истинное благодеяние для общества, и, однако, нам кажется, что люди, чей характер складывался бы под влиянием досуга, проведенного исключительно в стенах Политехнического музея, оказались бы мало приятной компанией. Случись с нами несчастье, мы предпочли бы не искать сочувствия у молодого человека двадцати лет, который в детстве все каникулы возился с колесиками и винтиками, если только он сам не испытал подобного же горя».

Уилки Коллинз обрисовал иной аспект той же проблемы, предупреждая, что может произойти, окажись новейшие достижения науки и техники в руках умного, энергичного, деятельного, но безмерно честолюбивого, злонамеренного и безнравственного человека — такого, как Фоско.

Кажется странным, даже невероятным — и центральным персонажам книги, и читателю,— что это же самое лицо, жестокий, циничный и беспощадный «Граф и т. д.», способно быть «человеком чувства»: может неподдельно восхищаться женщиной и природой. Оказывается, может— к такому выводу приходят Уолтер Хартрайт и Мэриан Голкомб после размышлений и колебаний. У читателя нет оснований не согласиться с ними. Оказывается далее, что

Фоско в роли «человека чувства» способен испытывать пронизывающий душу страх.

Граф Фоско человек вероломный. Примкнув к тайному итальянскому обществу, цель которого, по словам другого итальянца — профессора Пески, «свержение тиранов и защита прав народа», он изменил ему, нарушил клятву, и вот бесстрашный человек затрепетал от страха, почуяв угрозу неумолимого возмездия.

Сэр Персиваль Глайд, друг и партнер графа Фоско, значительное действующее лицо романа, четко очерченная фигура, характер, демонстрирующий тяжкий социальный порок: контраст между видимостью и сущностью человека, его официальным положением в обществе и реальным бытием.

У сэра Персиваля превосходное общественное положение и безупречная репутация джентльмена. «Он два раза баллотировался на выборах и прошел это испытание неопороченным».

Сэр Персиваль Глайд знатен, богат, превосходно воспитан, у него прекрасная внешность, и все свои достоинства вместе с глубоким уважением и преданностью любящего человека он положил к ногам своей невесты Лоры Фэрли. Но все это видимость. От этого джентльмена всего можно ожидать, он способен на любую низость. «Он наиболее опасен и фальшив,— свидетельствует Мэриан Голкомб,— когда надевает личину любезности». Он злодей — вот его сущность. Его жертвы: Лора Фэрли, ставшая несчастной леди Глайд, и Анна Катерик, превращенная в «женщину в белом» и погубленная.

В одном ряду с графом Фоско и сэром Персивалем оказывается Фредерик Фэрли, эсквайр, владелец имения Лиммеридж в Кумберленде, где развертываются многие значительные события романа. Мистер Фэрли не знает о злодейском замысле Персиваля и Фоско, но он их невольный сообщник. Если бы не безразличие ко всему, что не касается его собственной персоны, его капризов, его увлечения коллекциями древних монет, гравюр, рисунков и акварелей, то сэр Персиваль и граф Фоско не должны были бы появиться в Лиммеридже и не действовали бы там столь бесцеремонно. Мистер Фэрли эгоист, лицемер и сноб. Великие романисты Диккенс и Теккерей представили незабываемые образцы лицемеров и снобов. Мистер Фэрли не повторяет их, он индивидуальность на свой лад. Этот изнеженный, томно-нервический, капризный холостяк мнит себя инвалидом, неописуемо страдающим от каждого звука, всякого постороннего движения, любого усилия. Уже первая встреча Уолтера Хартрайта с мистером Фэрли позволяет ему свидетельствовать: «Нервы мистера Фэрли и его капризы — это одно и то же». Он же первый беглыми штрихами набрасывает портрет мистера Фэрли во весь его маленький рост с его маленькими, как у женщины, ножками, обутыми в туфельки из лаковой кожи под бронзу. Давая вынужденный ответ о прискорбном событии, происшедшем в его имении и при его участии, событии, искалечившем жизнь его племянницы Лоры, мистер Фэрли снимает с себя всякую вину.

При встрече с мистером Фэрли Уолтер Хартрайт не мог не отметить, что слуга у этого ценителя искусства — «лакей с головы до пят». Что мистер Фэрли не может терпеть детей, особенно деревенских, называет их отродьем и предается мечте «усовершенствовать их конструкцию» так, чтобы они превратились в херувимов итальянской школы живописи, чтобы «курчавые облака служили им удобной опорой для подбородков» и чтобы не было «ни грязных ног для беготни, ни крикливых глоток для воплей».

Обнажая внутреннюю сущность лицемера и сноба, Уилки Коллинз выполнял гражданскую обязанность писателя и сводил с ними личные счеты. Он проявлял незаурядную независимость и в своих суждениях о нравственном состоянии различных слоев английского общества, и в образе своего житейского поведения. Он не робел перед пугающим предупреждением: «А что скажет миссис Гранди?», перед этой старшей сестрой княгини Марьи Алексевны из «Горя от ума» Грибоедова, перед этим олицетворением безжизненной и унижающей моральной прописи.

Совокупному злу, представленному Коллинзом в точно и живо обрисованных лицах, противостоят два центральных лица романа — Уолтер Хартрайт и Мэриан Голкомб. Автор полностью на их стороне, он им доверяет, он им сочувствует, он их поддерживает и поощряет, он ими любуется, не навязчиво, без понукания и поучений ставит их в пример, показывает: вот что могут честные, искренние, совестливые, мужественные и самоотверженные мужчина

и женщина в борьбе с подлостью, наглостью, лицемерием, ложью, обманом, эгоизмом, безразличием, безответственностью.

«Если когда-нибудь настанет время, когда преданность моего сердца и все силы мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования...» Это слова-обещания Уолтера Хартрайта, обращенные им к Лоре, которую он чистым, неискушенным сердцем полюбил. И он сдержал свое обещание-клятву, рискуя в неравной борьбе собственной жизнью, и вышел из этой борьбы победителем, не рассчитывая на вознаграждение, громкие похвалы и аплодисменты.

Не допуская малейшего принижения и поругания задушевных чувств, с целомудренным нравственным устремлением ведет непримиримую борьбу с жестоким, коварным обманом Мэриан Голкомб, ведет борьбу самоот верженно, не мысля о личном интересе.

В персонажах, в манере их изображения, в отношении к ним автора сказываются духовные и особенно нравственные запросы самого Уилки Коллинза.

«Природа полна для меня нетленного очарования и неизъяснимой нежности!» Эти слова произносит Фоско. С гораздо более натуральным чувством их могли бы произнести Мэриан Голкомб и Уолтер Хартрайт, а тем более сам Уилки Коллинз. С детства он был близок к природе и к ее проникновенному живописному изображению. Живописные работы отца возбуждали его детское воображение, сохранились в его памяти, он писал о них в своей первой книге. Первые впечатления бытия, вдумчивое созерцание классических образцов живописи и явлений природы — английской и многих других стран, особенно, может быть, «мягких, трепетных английских сумерек»,— отразились в его книгах, в его написанных словами пейзажах.

Почти каждый, кто пишет о романе «Женщина в белом», не забывает упомянуть о содержащихся в нем пейзажных рисунках, изящных и тонких, проникнутых чаще всего лирическим настроением. Лаконичный рисунок, несколько четких, прозрачных штрихов создают эмоциональную тональность того или иного эпизода, отвечающую душевному состоянию персонажа и воздействующую на него.

«Когда наутро я проснулся и распахнул ставни, передо мной под ярким августовским солнцем радостно искрилось море и далекие берега Шотландии обрамляли горизонт голубой дымкой». Это впечатление Уолтера Хартрайта в первое утро его пребывания в Лиммеридже. Неожиданная перемена обстановки «после мрачных кирпично-каменных пейзажей Лондона» приподнимает его настроение, он чувствует себя обновленным.

«На небе вихрем клубились темные тучи, с моря дул пронзительный ветер. Берег был далеко, но гул прибоя отдавался унылым эхом в моих ушах, когда я пришел на кладбище. Оно выглядело еще пустыннее, чем обычно. Кругом не было ни души». Уолтер Хартрайт пришел на кладбище, к могиле миссис Фэрли, чтобы проверить возникшее у него подозрение. Этому эпизоду «с привидением» предшествует во многих отношениях примечательная сценка из школьной жизни. Школьник Джекоб Постлвейт стоит на позорной табуретке, он наказан: он заявил, что видел привидение. В этой сцене, рисующей школьный быт, заслуживает внимания метод обучения и воспитания, способ, которым вразумляют юные существа. Опровержение не терпит сомнений, оно категорично и однозначно: «Нет, быть не может и никогда не бывает». Самый действенный способ доказательства: выколачивание (в прямом смысле) дури и вколачивание здравых суждений. Эта, казалось бы, случайно возникшая картинка школьной жизни (см.: Первый период. Рассказ учителя рисования, раздел XI) дает дополнительный штрих к широкому полотну, на котором изображены многие фигуры в разных соотнесенных друг с другом планах, в том числе и «лакей с головы до пят», и живое привидение.

Из многочисленных романов Уилки Коллинза выделяются несколько: «Женщина в белом», «Без имени», «Лунный камень», «Муж и жена»; переводом на русский язык выделены два: «Женщина в белом» и «Лунный камень». Второй из этих романов вышел в 1868 году. Его не без оснований считают первым английским детективным романом, а действующего в нем сыщика Каффа одним из предшественников Шерлока Холмса.

В «Женщине в белом», как и в других произведениях сенсационной литературы, говоря словами Белинского, сказанными по другому поводу, «проглядывает мелодраматизм». Проглядывают, и это нетрудно заметить, пре-

увеличенные драматические эффекты и натянутая чувствительность. Таков был этот жанр. Впрочем, у мелодрамы были, есть и сейчас свои почитатели.

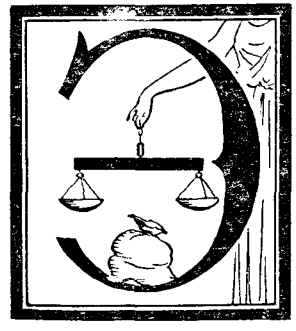
Этот роман — увлекательное чтение. О других его достоинствах сказано выше.

М. Урнов

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

РАССКАЗЫВАЕТ УЧИТЕЛЬ РИСОВАНИЯ ИЗ КЛИМЕНТС-ИННА УОЛТЕР ХАРТРАЙТ

I



то история о том, что может выдержать женщина и чего может добиться мужчина.

Если бы машина правосудия неукоснительно и беспристрастно разбиралась в каждом подозрении и вела судебное следствие, лишь умеренно подмазанная золотом, события, описанные на этих страницах, вероятно, получили бы широкую огласку во время судебного разбирательства.

Но в некоторых случаях закон до сих пор еще остается наемным слугой туго набитого кошелька, и потому эта история будет рассказана впервые на этих страницах. Так же как мог бы услышать ее судья, теперь услышит читатель. Ни об одном из существенных обстоятельств, относящихся к раскрытию этого дела, от начала его и до конца, не будет рассказано здесь на основании слухов.

В тех случаях, когда Уолтер Хартрайт, пишущий эти строки, будет стоять ближе других к событиям, о которых идет речь, он расскажет о них сам. Когда он не будет участвовать в них, он уступит свое место тем, кто лично знаком с обстоятельствами дела и кто продолжит его труд столь же точно и правдиво.

Итак, эту историю будут писать несколько человек — как на судебном процессе выступают несколько свидетелей; цель в обоих случаях одна: изложить правду наиболее точно и обстоятельно и проследить течение событий в целом, предоставляя живым свидетелям этой истории одному за другим рассказывать ее.

Первым выслушаем учителя рисования Уолтера Хартрайта, двадцати восьми лет.

II

Был последний день июля.

Долгое жаркое лето подходило к концу, и мы, устав странствовать по лондонским мостовым, начинали подумывать о прохладных облаках над деревенскими просторами и об осенних ветрах на побережье. Что касается моей скромной особы — уходящее лето оставляло меня в плохом настроении, в плохом состоянии здоровья и, по правде сказать, почти без денег. В течение года я распоряжался своим заработком менее осторожно, чем обычно, и мне оставалась только одна возможность: провести раннюю осень в коттедже моей матушки в Хемпстеде или в моей собственной комнате в Лондоне.

Помнится, вечер был тихий и облачный, лондонский воздух был удушливым, городской шум стихал. Сердце огромного города и мое, казалось, бились в унисон все глуше и глуше, замирая вместе с закатом. Я оторвался от книги, над которой больше мечтал, чем читал ее, и вышел из дому, чтобы отправиться за город подышать вечерней прохладой. Это был один из двух вечеров, которые обычно я каждую неделю проводил с матушкой и сестрой. Поэтому я направился к Хемпстеду.

Необходимо упомянуть здесь о том, что отец мой умер за несколько лет до тех событий, которые я описываю, и что из пятерых его детей остались в живых только сестра Сара и я. Отец был учителем рисования, как

и я. Трудолюбивый и старательный, он преуспевал в работе. Радея о будущем своей семьи, не имевшей других средств к существованию, кроме его заработка, он сразу после женитьбы застраховал свою жизнь на гораздо большую сумму, чем это обычно делают. Благодаря его самоотверженным заботам моя мать и сестра могли жить после его смерти, ни в чем не нуждаясь. Уроки моего отца перешли ко мне по наследству, и будущее не страшило меня.

Спокойные блики заката еще озаряли вершины холмов и Лондон уже потонул в темной бездне хмурой ночи, когда я подошел к калитке матушкиного коттеджа. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась и вместо служанки на пороге появился мой приятель, профессор Песка, итальянец. Он бросился мне навстречу, оглушительно выкрикивая нечто похожее на английское приветствие. Профессор сам по себе заслуживает чести быть вам представленным, да к тому же это надо сделать ввиду дальнейшего. Волею случая именно с него началась та загадочная семейная история, о которой будет рассказано на этих страницах.

Я познакомился с профессором Песком в одном из богатых домов, где он давал уроки своего родного языка, а я — рисования. О его прошлом я знал только, что когда-то он преподавал в Падуанском университете, вынужден был покинуть Италию «из-за политики» (что это значило, он никогда никому не объяснял), а теперь вот уже много лет был уважаемым преподавателем иностранных языков в Лондоне.

Не будучи карликом в настоящем смысле этого слова, ибо он был очень пропорционально сложен, Песка был,

по-моему, самым маленьким человечком, которого я когда-либо видел не на сцене, а в жизни. Он отличался от прочих смертных не только своей внешностью, но и безвредным чудачеством. Главной целью его жизни было стремление превратиться в настоящего англичанина, дабы тем самым выказать благодарность стране, где он обрел убежище и средства к существованию. Из уважения к нашей нации он вечно носил с собой зонтик и ходил в цилиндре и гетрах. Кроме того, он считал своим долгом не только выглядеть англичанином, но и придерживаться всех исконно английских обычаев и развлечений. Полагая, что мы отличаемся особой любовью к спорту, этот человечек чистосердечно и наивно предавался всем нашим национальным спортивным забавам, твердо убежденный, что их можно постичь одним усилием воли, совершенно так же, как он приспособился к гетрам и цилиндру.

Я сам неоднократно видел, как он слепо рисковал своими конечностями на крикетном поле или на лисьей охоте. И вот однажды мне довелось стать свидетелем, как он столь же слепо рискнул своей жизнью на море у Брайтонского пляжа.

Мы встретились там случайно и отправились вместе купаться. Если бы мы занялись каким-либо чисто английским спортом, я из предосторожности, конечно, заботливо присмотрел бы за Песком, но, так как иностранцы обычно чувствуют себя в воде так же хорошо, как и мы, англичане, мне не пришло в голову, что искусство плавания принадлежит к тем спортивным упражнениям, которые профессор считает возможным постичь сразу — по наитию. Мы отплыли от берега, но вскоре я заметил, что мой приятель отстал. Я обернулся. К моему ужасу и удивлению, между мной и берегом я увидал только две белые ручки, мелькнувшие над водой и мгновенно исчезнувшие. Когда я нырнул за ним, бедный маленький профессор лежал, свернувшись клубочком, в углублении на дне и выглядел еще крошечнее, чем когда-либо раньше. Я вытащил его на поверхность, свежий воздух вернул его к жизни, и с моей помощью он добрался до кабинки. Вместе с жизнью к нему вернулось его восхитительное заблуждение касательно плавания. Как только он перестал стучать зубами и смог выговорить несколько слов, он неопределенно улыбнулся и заявил, что, «по всей вероятности, это была судорога». Когда он окончательно при-

шел в себя и присоединился ко мне на пляже, его темперамент южанина мгновенно взял верх над искусственной английской сдержанностью. В самых восторженных выражениях Песка поклялся мне в вечной благодарности, уверяя, что не успокоится, пока не отплатит мне услугой, которую я, в свою очередь, запомню до конца моих дней.

Я сделал все, что мог, чтобы прекратить поток его излияний и превратить все в шутку. Мне показалось, что я сумел несколько охладить его преувеличенное чувство благодарности.

Не думал я тогда, как не думал и позже — в конце наших веселых каникул, что, страстно желая отблагодарить меня, он вскоре ухватится за первую возможность оказать мне услугу, которая направит всю мою жизнь по новому пути и до неузнаваемости изменит меня самого.

Но так случилось.

Если б я не нырнул за профессором Песком, когда он лежал на дне морском, то, по всей вероятности, я никогда бы не стал участником событий, изложенных тут; я бы никогда не услышал имя женщины, овладевшей всеми помыслами души моей, ставшей целью всех моих стремлений, путеводной звездой, озаряющей теперь мой жизненный путь.

III

По выражению лица Пески, бросившегося мне навстречу в тот вечер, я сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Просить у него немедленного объяснения было бесполезно. Я мог только предположить, когда он весело тащил меня в комнаты, что, зная мои привычки, он пришел в коттедж для того, чтобы повидать меня и рассказать какие-то чрезвычайно приятные новости.

Мы ворвались в гостиную самым невежливым и шумным образом. Матушка сидела у открытого окна и смеялась, обмахиваясь веером. Песка был одним из ее любимцев; она прощала ему все его чудачества. Дорогая матушка! С той минуты, как она узнала о его благодарности и преданности ее сыну, она приняла маленького профессора в свое сердце и к его непонятным чужеземным выходкам относилась с невозмутимым спокойствием, не пытаясь разгадать их смысл. Сестра моя Сара, несмотря

на свою молодость, была более сдержанна. Она отдавала должное прекрасным душевным качествам Пески, но не принимала его целиком, как моя мать. С ее точки зрения, он постоянно нарушал границы дозволенного и тем сильно ее шокировал. Ее всегда удивляла снисходительность матушки к эксцентричному маленькому иностранцу. Надо сказать, что, по моим наблюдениям не только над сестрой, но и над другими, мы, молодое поколение, далеко не так сердечны и непосредственны, как наши старшие. Мне часто приходится видеть, как старики по-детски радуются, предвкушая какое-нибудь невинное удовольствие, тогда как их внуки относятся к оному с полным равнодушием. Я нахожу, что люди старшего поколения были в свое время более подлинными детьми, чем мы. Может быть, за последние десятилетия воспитание сделало такие успехи, что мы теперь чересчур уж воспитанны?

Не решаясь утверждать это, я должен сказать, что в обществе профессора Пески моя мать казалась гораздо моложе моей сестры. Так и на этот раз: в то время как матушка от души смеялась над нашим мальчишеским вторжением в гостиную, Сара озабоченно подбирала осколки чашки, опрокинутой профессором на пол, когда он стремглав помчался открывать мне дверь.

— Я и не знаю, что было бы, Уолтер, если б ты запоздал,— сказала матушка.— Песка чуть с ума не сошел от нетерпения, а я — от любопытства. Профессор явился с замечательной новостью — она касается тебя. Но он безжалостно отказался вымолвить о ней хотя бы словечко, пока не придет его друг Уолтер.

— Как обидно — теперь сервиз испорчен! — пробормотала про себя Сара, грустно разглядывая осколки.

В это время Песка в блаженном неведении причиненного им зла выкатывал большое кресло из угла на середину комнаты, чтобы предстать перед нами во всем величии публичного оратора. Повернув кресло спинкой к нам, он взгромоздился на него и возбужденно обратился с этой импровизированной кафедры к собранию, состоявшему всего из трех слушателей.

— Итак, добрые мои, дорогие,— начал Песка (он всегда говорил «добрые мои, дорогие», когда хотел сказать «мои достойные друзья»),— слушайте меня! Пробил час, и я расскажу мои новости — я наконец могу говорить.

— Слушайте, слушайте,— сказала матушка одобрительно.

— Мама,— шепнула Сара,— сейчас он поломает наше лучшее кресло!

— Я вернусь в прошлое, чтобы оттуда воззвать к благороднейшему из смертных,— продолжал Песка, яростно указывая на меня из-за спинки кресла.— Кто нашел меня мертвым на дне морском (из-за судороги), кто вытащил меня наверх? И что я сказал, когда я вернулся к моей жизни и одежде?

— Гораздо больше, чем требовалось,— ответил я очень сердито, ибо, когда он затрагивал эту тему, малейшее поощрение вызывало у профессора потоки слез.

— Я сказал,— настаивал Песка,— что моя жизнь принадлежит моему другу Уолтеру до конца дней моих и что я не успокоюсь, пока не найду случая сделать нечто для Уолтера. И я не находил себе места до сегодняшнего дня. Сегодня,— завопил маленький профессор,— неудержимое счастье переполняет меня с головы до ног и льет через край! Клянусь честью, нечто наконец сделано, и мне осталось сказать одно только слово: правильно, все хорошо!

Необходимо заметить, что Песка гордился своей (по его мнению) истинно английской речью, внешностью и образом жизни. Подцепив несколько общеупотребительных слов, непонятных ему, он щедро разбрасывал их где придется и нанизывал одно на другое в восторге от их звучания.

— Среди лондонских светских домов, где я преподаю мой родной язык,— торопливо продолжал профессор, не переводя дыхания,— есть один в высшей степени светский, на площади Портленд. Вы знаете, где это? Да, да, разумеется, конечно. В прекрасном доме, дорогие мои, живет прекрасная семья: мама — толстая и красивая, три дочки — толстые и красивые, два сына — толстые и красивые и папа — самый толстый и красивый из всех. Он могучий купец и купается в золоте. Когда-то красавец, но теперь у него лысина и два подбородка, и он уже не красавец. Но к делу! Я преподаю дочкам язык божественного Данте. И, помилуй меня господь, нет слов, чтобы передать, как труден божественный Данте для этих трех хорошеньких головок! Но это ничего, все зреет во вре-

мени — чем труднее, тем больше уроков и тем лучше для меня. Правильно! Но к делу! Представьте себе, что сегодня я занимаюсь с тремя барышнями, как обычно. Мы вчетвером у Данте в аду — на седьмом круге. Но не в этом дело: все круги одинаковы для моих толстых и красивых учениц. Однако на седьмом круге барышни застряли, и я, чтобы вытащить их, цитирую, объясняю и чуть не лопаюсь, багровея от бесплодных усилий, когда в коридоре слышится скрип сапог и входит Золотой папа, могучий купец с лысиной и двумя подбородками. А вы, наверно, уже сказали про себя: «Громы небесные! Песка никогда не кончит!»

Мы хором заявили, что нам очень интересно. Профессор продолжал:

— В руках у Золотого папы письмо. Извинившись, что житейскими мелочами он мешает нашим адским изысканиям, он обращается к трем барышням и начинает, как и все англичане, с огромного «О». «О мои дочки,— говорит могучий купец,— я получил письмо от моего друга мистера...» Имя я забыл, но это неважно, мы еще к нему вернемся. Да, да, все правильно, хорошо! Итак, папа говорит: «Я получил письмо от моего друга мистера такого-то, он просит меня рекомендовать учителя рисования к нему в его имение». Клянусь честью! Когда я услышал эти слова, я был готов броситься к нему на шею, если бы мог до нее достать, чтобы прижать его к сердцу! Но я только подпрыгнул на стуле. Я сгорал желанием высказаться, но прикусил язык и дал папе кончить. «Может быть, вы знаете,— говорит этот крупный богач, помахивая письмом,— может быть, вы знаете, мои дорогие, какого-нибудь учителя рисования, которого я мог бы рекомендовать?» Три барышни переглянулись и отвечают (конечно, начав с неизменного «О»!): «О нет, папа, но вот мистер Песка...» Услышав свое имя, я уже не мог больше сдерживаться — мысль о вас, мои дорогие, бросается мне в голову, я вскакиваю как ужаленный, обращаюсь к могучему купцу и говорю, как типичный англичанин: «О дорогой сэр, я знаю такого человека! Наилучший и наипервейший в мире учитель рисования! Рекомендуйте его сегодня, а завтра отправляйте его туда со всеми потрохами». (Еще один чисто английский оборот!) — «Подождите,— говорит папа,— он англичанин или иностранец?» — «Англичанин до мозга костей»,—

отвечаю я. «Порядочный человек?» — говорит папа. «Сэр! — говорю я (ибо этот последний вопрос возмутил меня, и я перестал обращаться с ним запросто).— Сэр! Бессмертное пламя гениальности пылает в груди этого англичанина, а главное, оно пылало и в груди его отца».— «Пустяки,— говорит этот Золотой варвар-папа,— бог с ней, с его гениальностью, мистер Песка. Нам, в нашей стране, не нужна гениальность, если она не идет об руку с порядочностью, а когда они вместе — мы рады, очень рады! Может ли ваш друг представить рекомендации?» Я небрежно помахал рукой. «Рекомендации?! — говорю я.— Господи боже, ну конечно. Груды рекомендаций! Сотни папок, набитых ими, если пожелаете».— «Достаточно одной или двух,— говорит флегматичный богач.— Пусть пришлет их мне со своим адресом. И подождите, мистер Песка. Прежде чем вы пойдете к вашему приятелю, я вам передам кое-что для него».— «Деньги! — восклицаю я с возмущением.— Никаких денег, пока мой типичный англичанин их не заработает!» — «Деньги? — удивляется папа.— Кто говорит о деньгах? Я имею в виду записку об условиях работы. Продолжайте ваш урок, а я перепишу их из письма моего друга». И вот обладатель товаров и денег берется за перо, бумагу и чернила, а я снова погружаюсь в дантовский «Ад» с моими барышнями. Через десять минут записка окончена и сапоги папы, скрипя, удаляются по коридору. С этой минуты, клянусь честью, я позабыл обо всем. Потрясающая мысль, что наконец моя мечта исполнилась и я могу услужить моему другу, опьяняет меня! Как я вытащил трех барышень из преисподней, как давал следующие уроки, как проглотил обед — обо всем этом я знаю не более, чем лунный житель. С меня достаточно того, что я здесь с запиской могучего купца — щедрый, как сама жизнь, пламенный, как огонь! Я счастлив по-королевски! Ха-ха-ха! Хорошо, хорошо, все правильно-хорошо!

И профессор, неистово размахивая над головой конвертом, закончил бурный поток своего красноречия пронзительной пародией на английское «ура».

Едва он замолчал, как матушка с блестящими глазами, вся зардевшись, вскочила с места. Она ласково схватила маленького профессора за руки.

— Дорогой Песка,— сказала она,— я никогда не со-

мневалась, что вы искренне любите Уолтера, но теперь я убеждена в этом более чем когда-либо!

— Мы очень благодарны профессору Песке за нашего Уолтера,— прибавила Сара.

С этими словами она привстала, как бы намереваясь, в свою очередь, подойти к креслу, но, увидев, что Песка покрывает страстными поцелуями руки моей матери, нахмурилась и опять села на место. «Если этот смешной человечек ведет себя так фамильярно с моей матушкой, как же он будет вести себя со мной?» На некоторых человеческих лицах иногда так ясно отражаются сокровенные мысли,— несомненно, Сара думала именно так, когда садилась.

Хотя и я был искренне тронут желанием Пески оказать мне услугу, меня не очень обрадовала перспектива такой работы. Когда профессор оставил в покое руки моей матери, я горячо поблагодарил его и попросил разрешения прочитать записку его уважаемого патрона.

Песка торжественно помахал ею и вручил.

— Читайте! — воскликнул он, принимая величественную позу.— Я уверяю вас, мой друг, что письмо Золотого папы говорит само за себя языком, подобным трубному гласу!

Условия были изложены, во всяком случае, ясно, откровенно и весьма понятно.

Меня уведомляли, что, во-первых, Фре́дерик Фэ́рли, эсквайр, владелец имения Ли́ммеридж в Ку́мберленде, ищет опытного учителя рисования на три-четыре месяца. Во-вторых, обязанности учителя рисования будут двоякого рода: руководить занятиями двух молодых леди, обучающихся искусству писать акварели, и в свободное время приводить в порядок ценную коллекцию рисунков, принадлежащих хозяину, которая находится в состоянии полной заброшенности. В-третьих, учитель должен жить в Лиммеридже; он будет на положении джентльмена, а не слуги. Жалованье — четыре гинеи в неделю. В-четвертых и в последних: без рекомендаций, самых подробных в отношении личности и профессиональных знаний, не обращаться.

Рекомендации должны быть представлены другу мистера Фэрли в Лондоне, который уполномочен заключить договор. Записка кончалась фамилией и адресом отца учениц профессора Пески.

Условия были, конечно, соблазнительными, а сама работа, по всей вероятности, и приятной и легкой. Мне предлагали ее на осень — время, когда обычно у меня почти не было уроков. Оплата была очень щедрой, как подсказывал мне мой профессиональный опыт. Я понимал все это. Я понимал, что должен радоваться, если мне удастся получить это место. Однако, прочитав записку, я почувствовал необъяснимую неохоту браться за это дело. Никогда в жизни я еще не испытывал такого разлада между чувством долга и каким-то странным предубеждением, как сейчас.

— Ах, Уолтер, твоему отцу никогда так не везло,— сказала матушка, в свою очередь прочитав записку и отдавая ее мне.

— Познакомиться с такой знатью! — заметила Сара, гордо выпрямившись.— И что особенно лестно быть на равной ноге...

— Да, условия в высшей степени заманчивы,— перебил я нетерпеливо,— но, прежде чем послать рекомендации, я хочу подумать.

— «Подумать»! — вскричала моя мать. Что с тобой, Уолтер!

— «Подумать»!..— отозвалась, как эхо, сестра.— Просто непонятно, как ты можешь говорить это при данных обстоятельствах.

— «Подумать»!..— визжал Песка.— О чем? Отвечайте мне. Разве вы не жаловались на свое здоровье и не мечтали о том, что вы называете «поцелуй деревенского ветерка и глоток свежего воздуха»? И вот в ваших руках бумага, которая предоставляет вам и эти ветерки, и эти глотки, которыми вы сможете захлебываться в течение целых четырех месяцев! Не так ли? А деньги? Разве четыре гинеи в неделю не деньги? Господи боже ты мой! Дайте их мне, и мои сапоги будут скрипеть так же, как у Золотого папы, который подавляет всех своим богатством. Четыре гинеи в неделю! И к тому же в очаровательном обществе двух молодых девиц! Более того, вы получаете постель, завтрак, обед, вас будут кормить и поить по горло английскими чаями, пенистым пивом, и все это даром! Ну, Уолтер, дружище, черт побери, впервые в жизни мои глаза так лезут на лоб от удивления!

Но ни искреннее недоумение матушки, которая никак

не могла понять моего странного поведения, ни восторженное перечисление профессором моих многочисленных будущих благ не могли поколебать безрассудное мое нежелание ехать в имение Лиммеридж. Все доводы против поездки в Кумберленд были, к моему великому огорчению, категорически отвергнуты. Тогда я попробовал выдвинуть главное препятствие: что же будет с моими лондонскими учениками, пока девицы Фэрли научатся писать с натуры под моим руководством? К сожалению, было очевидно, что большинство учеников уедут на осень, а тех, которые останутся в Лондоне, можно вполне доверить одному из моих коллег, тем более что я сам выручил его однажды при таких же обстоятельствах. Сестра напомнила мне, что он сам предлагал свою помощь на случай, если я уеду; матушка взывала ко мне во имя моего собственного блага и здоровья, уговаривая не упрямиться; Песка жалобно молил не огорчать его отказом от первой услуги, которую он делает в благодарность за свое спасение.

Искренняя любовь, которая стояла за этими уговорами, тронула бы и самое черствое сердце. Я устыдился своего безотчетного предубеждения, хотя и не смог его побороть, и уступил, обещая сделать все, что от меня потребуется.

Остаток вечера прошел в веселых разговорах о моей будущей жизни в обществе двух обитательниц Кумберленда. Воодушевленный чудодейственным грогом, от которого он опьянел в пять минут, Песка предъявил свои права на звание настоящего англичанина, произнося безостановочно спич за спичем и провозглашая бесчисленные тосты за здоровье моей матушки, моей сестры, мое собственное, а также мистера Фэрли и двух молодых леди, причем он тут же восторженно приносил благодарность самому себе от имени всех нас.

— По секрету, Уолтер,— говорил мне доверительно мой маленький приятель по дороге домой,— я в восторге от своего красноречия! Честолюбие грызет меня, и в один прекрасный день я выступлю в вашем славном парламенте. Мечта всей моей жизни — стать достопочтенным Пеской, членом парламента.

Наутро я послал мои рекомендации на Портленд-Плейс.

Прошло три дня. Я было уже радовался, что меня,

очевидно, сочли недостойным занять это место. Но на четвертый день пришел ответ. Мне сообщали, что мистер Фэрли берет меня на службу и просит немедленно выехать в Кумберленд. Все необходимые инструкции относительно моего путешествия были заботливо перечислены в приписке.

Нехотя укладывал я свой чемодан, чтобы завтра рано утром покинуть Лондон. К вечеру по дороге в гости ко мне заглянул Песка — попрощаться.

— Мои слезы,— весело сказал профессор,— быстро высохнут при потрясающей мысли о том, что моя счастливая рука дала первый толчок вашей карьере. Поезжайте, дружище, ради создателя! Куйте железо, пока в Кумберленде горячо! Женитесь на одной из девиц, станьте членом парламента и, достигнув вершины лестницы, помните, что все это сделал Песка там, внизу!

Я попробовал засмеяться вместе с моим маленьким другом, но его шутки не улучшили моего настроения. У меня щемило сердце, когда он произносил свое напутствие. Мне ничего другого не оставалось, как идти в Хемпстед прощаться с матушкой и сестрой.

IV

Весь день стояла жестокая жара, и ночь была душная, угрюмая.

Матушке и сестре хотелось так много сказать мне на прощание и они столько раз просили меня подождать еще пять минут, что было уже около полуночи, когда наконец служанка закрыла за мной калитку.

Пройдя несколько шагов по кратчайшей дороге в Лондон, я в нерешительности остановился.

Яркая луна плыла по темному, беззвездному небу, и холмистый простор, поросший кустарником, казался таким диким и безлюдным в таинственном лунном свете, как будто лежал за многие сотни миль от огромного города. Мысль о скором возвращении в мрачную духоту Лондона показалась мне невыносимой. На душе у меня было так неспокойно, что я задохнулся бы в спертой атмосфере моей комнаты. Я решил пройтись по свежему воздуху и направился в город самым длинным путем — по узкой тропинке, извивающейся среди холмов, с тем чтобы вернуться в Лондон через предместье по Финглейской

дороге и прийти домой прохладным ранним утром с западной стороны Ридженс-Парка.

Я медленно шел через рощу, упиваясь глубокой тишиной. Легкие лунные тени играли вокруг, то появляясь, то исчезая. Пока я проходил первую и красивейшую часть моего ночного пути, я пассивно воспринимал впечатления от окружающего, мысли мои ни на чем не задерживались; могу сказать, что я ни о чем не думал. Но когда кустарник кончился и я вышел на проезжую дорогу, где было уже менее красиво, на меня нахлынули мысли об ожидавшей меня перемене. Мало-помалу я всецело погрузился в радужные мечты о поместье Лиммеридж, мистере Фэрли и о моих будущих ученицах, которых вскоре мне надлежало обучать искусству акварели.

Я дошел до перекрестка. Отсюда четыре дороги вели в разные стороны: в Хемпстед, откуда я шел, в Финчли, на запад и в Лондон. Я машинально свернул на последнюю.

Я тихо брел по пустынной, озаренной луной дороге, беспечно думая о том, как выглядят обитательницы Кумберленда. Вдруг вся кровь моя оледенела от легкого прикосновения чьей-то руки к моему плечу.

Я мгновенно обернулся, сжимая в руке трость.

Передо мной, как если б она выросла из-под земли или спустилась с неба, стояла одинокая фигура женщины, с головы до ног одетая в белое. На ее лице, обращенном ко мне, застыл немой вопрос — рукой она указывала на темную тучу, нависшую над Лондоном.

Я был так потрясен ее внезапным появлением глухой ночной порой в этом безлюдном месте, что не мог произнести ни слова.

Странная женщина первая нарушила молчание.

— Это дорога в Лондон? — спросила она.

Я внимательно всматривался в нее. Было около часу ночи. В неясном лунном свете я разглядел бледное молодое лицо, худое и изможденное, большие строгие грустные глаза, нервный, нерешительный рот и легкие светло-каштановые волосы. В ее манерах не было ничего грубого или нескромного; она казалась очень сдержанной и тихой, немного печальной и немного настороженной. Она не выглядела настоящей леди, но в то же время не была похожа на бедную простолюдинку. Голос ее звучал как-то глухо и прерывисто; она говорила очень торопливо.

В руках она держала сумочку. Платье ее, шаль и капор были из белой, но, по-видимому, недорогой материи. Она была высокая и худенькая. Во всей ее внешности и поведении не было ни малейшего признака экстравагантности. Вот все, что я мог разглядеть в неясном свете и при ошеломляюще странных обстоятельствах нашей встречи. Я терялся в догадках: кто она и как попала в такой поздний час на эту безлюдную дорогу? Но я был убежден, что ни один человек не истолковал бы в дурную сторону то, что она заговорила с ним, даже принимая во внимание этот подозрительно поздний час и подозрительно пустынное место.

— Вы слышите? — сказала она торопливо и глухо, но без всякого раздражения или беспокойства.— Я спрашиваю: это дорога в Лондон?

— Да,— отвечал я.— Она ведет к Сент-Джонз-Вуд и Ридженс-Парку. Простите, что я не сразу ответил вам: меня изумило ваше внезапное появление. Я все еще никак не могу объяснить себе его.

— Вы не думаете, что я сделала что-то дурное, нет? Я ничего плохого не сделала. Со мной случилось... К несчастью, мне пришлось очутиться здесь одной так поздно... Почему вы подозреваете меня в чем-то дурном?

Она говорила с непонятной серьезностью, встревоженно и даже отступила на несколько шагов.

Я поспешил успокоить ее.

— Прошу вас, не думайте, что я вас в чем-то подозреваю,— сказал я.— У меня нет никаких других намерений, кроме желания помочь вам, если я смогу. Я просто очень удивился при виде вас. Дорога казалась мне совершенно безлюдной еще за минуту до этого.

Она повернулась и указала на пролом в изгороди у перекрестка четырех дорог.

— Я услышала ваши шаги и спряталась,— сказала она,— я хотела посмотреть, что вы за человек, прежде чем заговорить с вами. Мне было страшно, я колебалась, пока вы не прошли мимо. А потом мне пришлось подкрасться сзади и дотронуться до вас.

Подкрасться? Дотронуться? Она могла бы окликнуть меня. Странно...

— Могу ли я довериться вам? — спросила она.— Вы

не осуждаете меня за то, что...— Она в замешательстве умолкла, переложила сумочку из одной руки в другую и горько вздохнула.

Одиночество и беззащитность этой женщины тронули меня. Жалость и естественное побуждение помочь ей взяли верх над здравым смыслом, осторожностью и светским тактом, которые, возможно, подсказали бы, как надо поступить при этих странных обстоятельствах человеку более хладнокровному и умудренному житейским опытом.

— Вы можете довериться мне,— сказал я.— Если вам не хочется объяснять, что́ с вами произошло и почему вы здесь, не объясняйте, не надо. Я не имею права спрашивать вас ни о чем. Скажите, чем я могу помочь вам? Если я смогу, я постараюсь это сделать.

— Вы очень добры, и я вам очень-очень благодарна.— Впервые нотки женственности мягко зазвучали в ее голосе, когда она произносила эти слова. Но в задумчивых и грустных глазах, которые были устремлены на меня, не было слез.— Я была в Лондоне только однажды,— продолжала она быстро,— и я почти ничего не знаю о нем. Можно ли нанять кеб? Или уже слишком поздно? Я не знаю. Если бы вы могли проводить меня до кеба и если бы вы только обещали не препятствовать мне, когда я захочу оставить вас,— у меня есть подруга в Лондоне, она будет рада мне. Мне ничего больше не надо. Вы обещаете? — Испуганно озираясь по сторонам, она опять переложила сумочку из одной руки в другую и повторила: — Вы обещаете? — устремив на меня взгляд, полный такой мольбы и отчаяния, что мне стало больно.

Что мне было делать? Передо мной было совершенно беззащитное существо, и этим существом была одинокая женщина. Поблизости ни жилья, ни человека, с которым я мог бы посоветоваться. Я не имел никакого права контролировать ее действия, даже если бы знал, как это сделать. Я пишу эти строки неуверенно — последующие события мрачной тенью ложатся на бумагу, на которой я пишу, и все же я спрашиваю, что мне было делать?

Я сделал следующее: стал расспрашивать ее, чтобы попытаться выиграть время.

Я спросил:

— Вы уверены, что ваша подруга в Лондоне примет вас в такой поздний час?

— Уверена, но только обещайте оставить меня одну, когда я захочу, не останавливать меня, не препятствовать мне. Вы обещаете?

Произнося эти слова, она подошла совсем близко и с мягкой настойчивостью положила мне на грудь свою худую руку. Я отвел ее и почувствовал, что она холодна как лед.

Не забудьте: я был молод и эта рука была рукой женщины!

— Вы обещаете?

— Да.

Одно слово! Короткое и привычное для каждого слово. Но я и сейчас содрогаюсь, вспоминая его.

Мы направились к Лондону, я и женщина, чье имя, чье прошлое, чье появление были для меня тайной. Казалось, это сон. Я ли это? Та ли это обычная, ничем не примечательная дорога, по которой я ходил столько раз? Правда ли, что только час назад я расстался с моими домашними?

Я был слишком взволнован и потрясен, чтобы разговаривать. Какая-то глухая тоска лежала у меня на сердце.

Снова ее голос первый нарушил молчание.

— Я хочу спросить вас,— вдруг сказала она,— у вас много знакомых в Лондоне?

— Да, много.

— И есть знатные и титулованные? — В ее голосе слышалось какое-то глухое беспокойство.

Я медлил с ответом.

— Есть и такие,— сказал я наконец.

— Много...— Она остановилась и вопросительно посмотрела мне в лицо.— Много среди них баронетов?

Я так удивился, что не мог сразу ответить. В свою очередь я спросил:

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Потому что ради собственного спокойствия я надеюсь, что есть один баронет, с которым вы незнакомы.

— Вы мне его назовете?

— Я не могу, я не смею, я выхожу из себя, когда упоминаю о нем! — Она заговорила громко, гневно, она погрозила кому-то худым кулачком, но вдруг справилась

со своим волнением и прибавила уже шепотом: — Скажите мне, с кем из них вы знакомы?

Желая успокоить ее, я назвал три фамилии — двух отцов семейств, чьим дочерям я преподавал, и одного холостяка, который однажды взял меня в плавание на свою яхту, чтобы я делал для него зарисовки.

— Нет, вы не знаете его,— сказала она со вздохом облегчения.— А сами вы – человек знатный, титулованный?

— О нет Я простой учитель рисования.

Не успел ответ, к которому, пожалуй, примешивалось легкое сожаление, слететь с моих губ, как она схватила меня за руку с поспешностью, столь характерной для всех ее движений.

— Не знатный! Простой человек! — сказала она как бы про себя.— Значит, я могу ему довериться!

Я был больше не в силах сдерживать свое любопытство.

— Наверное, у вас есть серьезные причины жаловаться на некоторых знатных господ,— сказал я.— Боюсь, что баронет, которого вы не хотите назвать, причинил вам много зла. Не из-за него ли вы сейчас здесь, одна, ночью?

— Не спрашивайте меня, не говорите об этом! — отвечала она.— Меня жестоко обидели, мне причинили страшное зло. Но если вы хотите мне добра, идите быстрее и не говорите со мной. Я очень хочу молчать, я очень хочу успокоиться, если только смогу.

Мы поспешно продолжали наш путь и около получаса не произносили ни слова. Время от времени я украдкой смотрел на мою спутницу Выражение ее лица оставалось по-прежнему хмурым, губы были сжаты. Она вглядывалась в даль напряженно и в то же время рассеянно.

Показались первые дома, мы миновали предместье и вышли к городской школе. Только тогда лицо ее прояснилось, и она заговорила снова.

— Вы живете в Лондоне? — спросила она.

— Да.— И, думая, что, возможно, она рассчитывает на мою помощь в дальнейшем и что мне следует предупредить ее о моем отъезде, я прибавил: — Но завтра я уезжаю на некоторое время. Я еду в деревню.

— Куда? — спросила она.— На север или на юг?

— На север, в Кумберленд.

— Кумберленд...— Она с нежностью повторила это название.— Я бы тоже хотела поехать туда. Я была когда-то счастлива в Кумберленде.

Я снова попытался поднять завесу, которая разделяла нас.

— Вы, наверно, из прекрасного озерного края? — спросил я.

— Нет,— отвечала она.— Я родилась в Хемпшире, но когда-то я ходила в школу, недолго, в Кумберленде. Озёра? Я не помню озер. Но там есть деревня Лиммеридж и имение Лиммеридж. Я бы хотела снова взглянуть на те места.

Теперь был мой черед остановиться. Я замер от удивления. То, что моя странная спутница упомянула имение мистера Фэрли, буквально ошеломило меня.

— Вы услышали чей-то голос? — спросила она испуганно, как только я остановился.

— Нет-нет, но вы назвали Лиммеридж. Я слышал о нем несколько дней назад от людей из Кумберленда.

— Ах, я, конечно, их не знаю... Миссис Фэрли умерла, муж ее тоже. Их дочка, наверно, вышла замуж и уехала. Я не знаю, кто теперь живет в Лиммеридже. Я люблю всю эту семью в память о миссис Фэрли.

Казалось, она хотела еще что-то прибавить, но в это время мы вышли к заставе. Она сжала мою руку и с беспокойством посмотрела на ворота.

— Сторож не видит нас? — спросила она.

Но сторож не выглянул. Никто не видел нас. Никого вокруг не было. Когда показались газовые фонари и дома, тревога ее усилилась.

— Вот и Лондон,— сказала она.— Вы нигде не видите кеба? Я устала. Мне страшно. Я хочу сесть в кеб и уехать.

Я объяснил ей, что, если на пути мы не встретим пустого экипажа, нам надо дойти до стоянки кебов, и попытался возобновить разговор о Кумберленде. Но бесполезно: ею целиком овладела мысль о возможности спрятаться в кеб и уехать. Ни о чем другом она не могла ни говорить, ни думать.

Мы пошли дальше и вскоре увидели кеб, который остановился неподалеку от нас, на противоположной стороне улицы. Какой-то джентльмен вышел из него и

скрылся за садовой калиткой. Я окликнул кучера, и он снова влез на козлы. Нетерпение моей спутницы было столь велико, что она заставила меня перебежать с ней дорогу.

— Сейчас так поздно,— говорила она.— Я тороплюсь только оттого, что так поздно...

— Я не могу подвезти вас, сэр, если вам не в сторону Тотнема,— вежливо сказал кебмен, когда я открывал дверцу кеба.— Лошадь падает от усталости. Она дотянет только до конюшни.

— Да-да, мне в ту сторону, мне именно в ту сторону,— проговорила она, задыхаясь от нетерпения, и быстро села в кеб.

Удостоверившись, что возница так же трезв, как и вежлив, я все же попросил разрешения проводить ее.

— Нет-нет! — резко отказалась она.— Теперь мне хорошо, теперь я спокойна. Если вы порядочный человек, помните ваше обещание. Пусть кебмен едет, пока я не остановлю его. Благодарю вас, о, благодарю, благодарю вас!

Я держался за дверцу кареты.

Она схватила мою руку, поцеловала ее и оттолкнула. Кеб тотчас же тронулся в путь. Я пошел дальше по улице со смутным желанием остановить его, сам не знаю зачем, но не решился сделать это, чтобы не встревожить и не испугать ее, наконец окликнул кучера, но слишком тихо, чтобы привлечь его внимание. Стук колес затих в отдалении, кеб растаял среди черных теней — женщина в белом исчезла.

Прошло около десяти минут. Я продолжал свой путь в каком-то забытьи, сомневаясь в реальности происшедшего, мучаясь неясным ощущением собственной вины и в то же время не понимая, в чем она. Я шел бесцельно, куда глаза глядят. Мысли мои были в полном смятении, как вдруг я пришел в себя, словно проснувшись, услыхав совсем близко, за спиной, стук колес быстро приближавшегося экипажа.

Я остановился в густой тени каких-то деревьев. Неподалеку от меня, на противоположной стороне улицы, тусклый фонарь осветил фигуру полисмена, медленно шагавшего навстречу экипажу.

Открытая коляска с двумя седоками проехала мимо меня.

— Стой! — закричал один из них.— Вот полисмен, спросим его.

Лошади сразу же остановились в нескольких шагах от того места, где я стоял в темноте.

— Полисмен! — крикнул тот же человек.— Не проходила ли тут женщина?

— Какая из себя, сэр?

— Женщина в лиловом платье...

— Нет-нет,— перебил его второй.— Платье лежало на ее постели. Она, наверно, ушла в том, в чем приехала к нам. В белом, полисмен! Женщина в белом.

— Я такой не видел, сэр.

— Если вы или кто другой увидит эту женщину, задержите и доставьте под надежной охраной по этому адресу. Я оплачу все расходы и дам в придачу большое вознаграждение.

Полисмен посмотрел на протянутую карточку:

— Задержать ее, сэр? Что она сделала?

— «Сделала»!.. Она убежала из сумасшедшего дома. Не забудьте: женщина в белом. Едем!

V

«Она убежала из сумасшедшего дома...»

Я не могу с уверенностью сказать, что это открытие было для меня полной неожиданностью. Кое-какие странные вопросы, заданные мне женщиной в белом после моего вынужденного согласия ни в чем не препятствовать ей, подсказывали, что она либо неуравновешенна, либо только что пережила какое-то тяжелое потрясение. Но мысль о полной потере рассудка, которая обычно возникает у нас при упоминании о сумасшедшем доме, не пришла мне в голову и никак не вязалась с ее обликом. Ни

в ее разговоре, ни в ее действиях, с моей точки зрения, не было ничего безумного, и слова, сказанные незнакомцем полисмену, не убеждали меня.

Что же я сделал? Помог ли я скрыться жертве страшного шантажа или выпустил на свободу лондонских просторов больное существо, хотя моим долгом, как и долгом всякого другого человека, было водворить ее обратно в лечебницу. Сердце мое сжималось от этих вопросов, совесть мучила меня, но ничего нельзя было изменить.

Когда я наконец добрался до своей комнаты, мне было не до сна. Через несколько часов я должен был ехать в Кумберленд. Я сел за стол, попробовал сперва читать, потом рисовать, но женщина в белом стояла у меня перед глазами. Не попала ли эта несчастная снова в беду? Это мучило меня больше всего. Затем следовали другие, менее тревожные думы. Где она остановила кеб? Что с ней теперь? Удалось ли ее преследователям нагнать ее и задержать? Или она продолжает свой путь и наши дороги, такие далекие, должны еще раз скреститься в таинственном будущем?

С облегчением встретил я час отъезда, когда наконец мог запереть за собой дверь, и, попрощавшись с Лондоном и лондонскими друзьями, двинулся навстречу новой жизни и новым интересам. Даже вокзальная сутолока, обычно такая утомительная, была мне приятна.

В приписке к письму говорилось, что я должен доехать до Карлайля, а затем пересесть на поезд, идущий по направлению к морю. К несчастью, между Ланкастером и Карлайлем что-то случилось с нашим паровозом, и я опоздал на пересадку. Мне пришлось прождать несколько часов. Было уже около одиннадцати часов вечера, когда я приехал на ближайшую к Лиммериджу станцию. Тьма была такая, что я с трудом разглядел маленький шарабан, любезно присланный за мной мистером Фэрли.

Кучер был явно обеспокоен моим опозданием, но, по обычаю вышколенных английских слуг, упорно молчал. Мы двинулись почти шагом. Дорога была плохая, и кучеру было трудно ехать по ней в полной темноте. Часа через полтора я наконец услышал, как колеса мягко зашуршали по гравию. Гул морского прибоя раздавался совсем неподалеку. Мы проехали одни ворота, потом вторые и остановились перед домом. Меня встретил ливрейный слуга,

уже успевший снять свою парадную одежду Он доложил мне, что господа легли спать, и провел меня в огромную роскошную столовую, где на конце огромного пустынного стола ждал меня одинокий ужин.

Я был слишком измучен, чтобы есть и пить с удовольствием, тем более что слуга прислуживал мне так, как если бы перед ним сидело целое общество, а не я один.

Через четверть часа я встал из-за стола. Слуга провел меня наверх, в нарядную комнату, торжественно произнес:

— Завтрак будет подан в девять часов,— и, удостоверившись, что все в порядке, бесшумно удалился.

«Что мне сегодня приснится? — подумал я, задувая свечу.— Женщина в белом или незнакомые обитатели пышного кумберлендского дома?»

Так странно было засыпать под этим кровом, где я еще никого не знал!

VI

Когда наутро я проснулся и распахнул ставни, передо мной под ярким августовским солнцем радостно искрилось море и далекие берега Шотландии обрамляли горизонт голубой дымкой.

Этот чудесный вид был такой неожиданной переменой после мрачных кирпично-каменных пейзажей Лондона, что я мгновенно почувствовал себя обновленным. Смутное ощущение полной оторванности от прошлого, без всякого ясного представления о будущем, овладело мной. Все, что случилось еще так недавно, казалось, произошло много месяцев назад. И то, как маленький Песка объявил мне о своем вмешательстве в мою судьбу; и прощальный вечер с матушкой и сестрой; даже мое загадочное приключение по дороге в Лондон,— все это было как будто давным-давно, в совсем другой эпохе моего существования, и хотя женщина в белом все еще не выходила у меня из головы, ее образ потускнел и отдалился.

За несколько минут до девяти часов я спустился вниз. Молчаливый слуга нашел меня заблудившимся в коридорах нижнего этажа и милостиво показал дорогу в столовую.

Когда он открыл дверь, моим глазам представилась большая, красивая, светлая комната и длинный, нарядно сервированный стол. У дальнего окна, спиной ко мне, стояла женщина. Я был поражен красотой ее фигуры и непринужденной грацией ее позы. Высокая, но не слишком; в меру полная, с гордой головкой на стройных плечах; талия ее, гибкая и тонкая, была совершенством в глазах мужчины, ибо находилась в надлежащем месте и не была изуродована корсетом. Она не слышала, как я вошел, и я несколько минут любовался ею, прежде чем придвинул к себе стул — невинное средство, чтобы привлечь ее внимание. Она быстро обернулась. Врожденное изящество ее движений заставляло меня тем сильнее желать увидеть ее лицо. Она отошла от окна, и я сказал себе: «Она брюнетка». Она прошла несколько шагов, и я сказал себе: «Она молода». Она приблизилась — и, к моему удивлению, я должен был сказать себе: «Да ведь она некрасива!»

Старая, всеми признанная истина, что природа не совершает ошибок, никогда еще не была так решительно опровергнута. Ее лицо обманывало все те ожидания, которые возникали при виде ее восхитительной фигуры. Она была очень смугла, с темным пушком над верхней губой; у нее был большой, энергичный, почти мужской рот; большие проницательные карие глаза и густые черные, как смоль, волосы, нависшие над низким лбом. Когда она

молчала, умное, оживленное, открытое лицо ее было совершенно лишено той женственной мягкости, без которой красота даже самой прекрасной женщины в мире несовершенна. Видеть такое лицо на прелестных плечах, достойных резца скульптора; быть очарованным грацией ее движений и одновременно чувствовать почти неприязнь к мужеподобным чертам этой головы, венчавшей безукоризненно прекрасное тело, было похоже на то странное чувство, которое испытываешь во сне, полном противоречий, разобраться в которых невозможно.

— Мистер Хартрайт? — сказала леди. Ее смуглое лицо озарилось улыбкой и стало сразу мягким и женственным.— Мы вчера уже отчаялись увидеть вас и легли спать в обычное время. Примите мои извинения за эту неучтивость и разрешите представиться: я — одна из ваших учениц. Пожмем друг другу руки. Рано или поздно нам придется сделать это, так почему не сейчас?

Это необычное приветствие было произнесено ясным, звонким, приятным голосом. Она протянула мне руку — большую, но прекрасной формы, просто, без малейшей аффектации, с непринужденностью истинно светской женщины. Мы сели за стол как старые друзья, которым есть что вспомнить и для которых совместный утренний завтрак — самое обычное дело.

— Надеюсь, вы приехали сюда с благим намерением, занимаясь с нами, провести время самым приятным образом? — продолжала она.— Начнем с того, что завтракать вам придется только в моем обществе. Сестра осталась у себя. У нее немного болит голова, и наша старая гувернантка миссис Вэзи поит ее целительным чаем. Мой дядя, мистер Фэрли, никогда не разделяет наших трапез; он вечно болеет и живет по-холостяцки в своих комнатах. Больше в доме никого нет. Гостили недавно две молодые особы, но они вчера уехали в полном отчаянии, и неудивительно: за все время их пребывания, учитывая немощь мистера Фэрли, мы не представили им ни одного танцующего, флиртующего, разговорчивого существа мужского пола; по этой причине мы все четверо то и дело ссорились, особенно во время обеда. Разве четыре женщины могут не ссориться, когда они каждый день обедают вместе? Мы бестолковы и не умеем занимать друг друга за столом. Как видите, я не очень высокого мнения о женщинах, мистер Хартрайт... Вам чаю или кофе?.. Все

женщины невысокого мнения о себе подобных, только не все сознаются в этом так откровенно, как я. Господи, вы как будто в недоумении! Почему? Еще не решили, что будете есть? Или удивляетесь моему небрежному тону? В первом случае — я дружески советую вам не трогать ветчину, а ждать омлета. Во втором случае — я налью вам чаю, чтобы вы успокоились, и постараюсь придержать язык. Это весьма нелегко для женщины.

Весело смеясь, она протянула мне чашку чаю. Легкий поток ее слов и оживленная манера обращения с человеком ей незнакомым сочетались с такой простотой и вместе с тем органической уверенностью в себе и своем положении, что любой самый дерзкий человек проникся бы к ней уважением. В ее присутствии было невозможно вести себя чопорно и официально, но также немыслима была малейшая вольность по отношению к ней не только на словах, но и в мыслях. Я инстинктивно почувствовал это, хотя и заразился ее веселостью, и отвечал ей в таком же естественном, непринужденном тоне.

— Да-да,— сказала она, когда я постарался объяснить ей мое замешательство,— я понимаю, конечно: вам, человеку, еще совершенно незнакомому с нашим домом, очень странно, что я так запросто рассказываю о его достопочтенных обитателях. С вашей стороны, это только естественно. Я должна была догадаться об этом. Во всяком случае, я сейчас постараюсь отвести каждому подобающее место. Начнем с меня. Вкратце: меня зовут Мэриан Голкомб, и я неточна, как все женщины, называя мистера Фэрли моим дядей, а его племянницу — моей сестрой. Это не совсем так. Моя мать была замужем дважды: первый раз — за мистером Голкомбом, моим отцом, второй раз — за мистером Фэрли, отцом моей сводной сестры. Мы обе сироты, но в остальном мы абсолютно не похожи друг на друга. Мой отец был беден, отец мисс Фэрли — богат. У меня за душой ни гроша, а у нее — большое состояние. Я — некрасивая брюнетка, она — прелестная блондинка. Все считают меня (и вполне справедливо) своенравной и упрямой, а ее (что еще более справедливо) кроткой и очаровательной. Словом, она ангел, а я... Попробуйте этого варенья, мистер Хартрайт, и докончите про себя мою фразу. Что сказать о мистере Фэрли? Право, не знаю. Он пришлет за вами после завтрака, и вы сами его увидите. Я скажу вам только, что, во-первых, он младший брат

покойного мистера Фэрли, во-вторых, он холостяк и, в-третьих, опекун мисс Фэрли. Я не могу жить без нее, а она — без меня. Вот почему я в Лиммеридже. Мы с сестрой искренне привязаны друг к другу, хотя это и может показаться вам непонятным после того, что я рассказывала вам. Но это так. Вам придется или нравиться нам обеим, или не нравиться ни одной из нас и, что еще утомительнее, довольствоваться только нашим обществом. Миссис Вэзи — воплощенная добродетель, но она в счет не идет, а мистер Фэрли слишком больной человек, чтобы быть приятной компанией для кого бы то ни было. Я не знаю, чем он болен, доктор — тоже, да и сам он не знает, но мы все говорим: нервы, не понимая, что это значит. Однако я советую вам считаться с его капризами, когда вы с ним познакомитесь. Восхищайтесь его коллекциями древних монет, гравюр, рисунков, акварелей, и вы завоюете его сердце. Право, если вам по душе тихая сельская жизнь, я уверена, что вам будет хорошо здесь. Утром вы будете приводить в порядок коллекции мистера Фэрли, днем мы с мисс Фэрли возьмем наши альбомы для рисования и пойдем воспроизводить природу под вашим руководством. Рисование — ее любимое занятие, не мое. Что касается вечернего времяпрепровождения, думаю, мы вам поможем не скучать: мисс Фэрли прекрасная музыкантша, а я хоть и не могу спеть ни одной ноты, но постою за себя в картах, за шахматами и даже за бильярдным столом. Что вы думаете об этой программе? Можете ли вы примириться с нашим спокойным и размеренным образом жизни или вас будет грызть жажда перемен и приключений и тихий Лиммеридж покажется вам скучным?

Она говорила в грациозно-шутливой манере, я поддакивал ей, когда этого требовала вежливость. Но случайное слово «приключение», так легко слетевшее с ее уст, вернуло меня к мысли о женщине в белом. Я решил найти разгадку той необъяснимой связи, которая, очевидно, существовала между безвестной беглянкой из сумасшедшего дома и покойной владелицей Лиммериджа.

— Даже если бы я был самым беспокойным из смертных,— сказал я,— я не стал бы жаждать приключений еще некоторое время. Накануне отъезда со мной было странное происшествие, и уверяю вас, мисс Голкомб, мне надолго хватит воспоминаний о нем.

— Да что вы говорите, мистер Хартрайт? Вы мне расскажете?

— Вы имеете на это полное право. Дело в том, что главное действующее лицо этого странного приключения — молодая женщина, совершенно мне незнакомая, как, вероятно, и вам, упомянула имя покойной миссис Фэрли в выражениях самых почтительных и преисполненных искренней благодарности.

— Имя моей матери? Вы меня чрезвычайно заинтересовали! Продолжайте, прошу вас.

Я рассказал об обстоятельствах моей ночной встречи с женщиной в белом и слово в слово повторил все, что та сказала о миссис Фэрли и Лиммеридже. Мисс Голкомб не спускала с меня внимательных и умных глаз. Лицо ее выражало самый живой интерес, но не более. Она, очевидно, была так же далека от разгадки этой тайны, как я сам.

— Вы уверены, что она говорила именно о моей матери? — спросила она.

— Уверен. Кем бы она ни была, она когда-то училась в сельской школе в Лиммеридже. По-видимому, миссис Фэрли была очень добра и внимательна к ней. И в благодарность она питает глубокий интерес и привязанность ко всем членам семьи Фэрли. Она знала, что миссис Фэрли и ее супруг скончались, и она говорила о мисс Фэрли так, как если бы они были знакомы с детства.

— Вы, кажется, сказали, что она не из этих мест?

— Она говорила, что она из Хемпшира.

— И вам не удалось выяснить, кто она?

— Не удалось.

— Очень странно. Думаю, что вы правильно поступили, мистер Хартрайт, оставив ее на свободе. Ведь она не сделала в вашем присутствии ничего подозрительного. Но мне жаль, что вы недостаточно решительно постарались выяснить ее имя. Мы должны обязательно разгадать эту тайну. Но лучше не говорите об этом ни мистеру Фэрли, ни моей сестре. Я уверена, что они, так же как и я, совершенно не знают, кто она и какое отношение она имела к нашей семье в прошлом. В то же время оба они совершенно по-разному, но в одинаковой мере нервны и впечатлительны, и вы только рассердите одного и обеспокоите другую понапрасну. Что касается меня — я сгораю от любопытства и посвящу всю свою энергию вы-

яснению этой загадки. Когда моя мать вышла замуж за мистера Фэрли-старшего и приехала в Лиммеридж, она открыла в здешней деревне сельскую школу. Эта школа существует и поныне. Но старые учителя или умерли, или уехали. С этой стороны нам никто не поможет Единственное, что мне приходит в голову...

На этом наш разговор был прерван появлением слуги, который объявил, что мистер Фэрли будет рад видеть меня после завтрака.

— Подождите в холле,— ответила ему за меня мисс Голкомб своим ясным и решительным голосом – Мистер Хартрайт сейчас придет... Я как раз хотела сказать, продолжала она,— что у нас с сестрой осталось много писем нашей покойной матери. Не имея другой возможности получить нужные нам сведения, я займусь перепиской моей матери с мистером Фэрли Он любил жить в Лондоне и часто отлучался из дому. Моя мать привыкла подробно рассказывать ему в письмах обо всем, что делается в Лиммеридже. Она часто писала ему о школе, которой уделяла много времени. Думаю, что, прежде чем мы с вами снова увидимся, я кое-что разузнаю... Второй завтрак в два часа, мистер Хартрайт. Я буду иметь честь представить вас своей сестре, и мы вместе поедем кататься· покажем вам наши любимые места. Итак, до двух Прощайте.

Она кивнула с очаровательной грацией и подкупающим дружелюбием, которым дышало все, что она делала и говорила, и исчезла за дверью в глубине комнаты. Я вышел в холл и, следуя за слугой, направился к мистеру Фэрли, готовясь к встрече с ним

VII

Мой провожатый провел меня наверх, в коридор, по которому мы пришли снова к моей спальне. Войдя в нее, он открыл дверь в другую комнату и попросил меня заглянуть туда.

— Мне приказано показать вам вашу гостиную,— сказал он,— и спросить, по вкусу ли вам ее убранство и освещение.

Я был бы чересчур привередлив, если бы эта прелестная комната не понравилась мне. Из большого окна открывался тот же радостный вид, которым я любовался утром

из спальни. Мебель была дорогая и красивая. На столе посреди комнаты лежали книги в веселых переплетах, стояли прелестные цветы и изящный письменный прибор. Второй стол, у окна, был завален необходимыми принадлежностями для рисования и окантовки акварелей мистера Фэрли. К столу был приделан маленький мольберт, который я мог складывать или расставлять по усмотрению. Стены были обтянуты пестрым кретоном, пол устлан плетеными итальянскими циновками. Это была самая нарядная и уютная гостиная, которую я когда-либо видел, и я откровенно высказал свое восхищение.

Но слуга был слишком хорошо вышколен, чтобы в ответ на мои восторженные восклицания обнаружить малейшие признаки удовлетворения. С ледяной сдержанностью он поклонился и молча распахнул передо мной двери.

Мы снова вышли в коридор, завернули за угол, спустились на несколько ступенек, прошли небольшой холл и остановились перед обитой войлоком дверью. Слуга открыл ее, затем вторую, бесшумно распахнул две тяжелые портьеры из бледно-зеленого шелка, тихо проговорил: «Мистер Хартрайт» — и оставил меня одного.

Я очутился в огромной роскошной комнате с прекрасным лепным потолком. На полу лежал такой пушистый, мягкий ковер, что мои ноги утонули в нем. Вдоль одной из стен тянулся книжный шкаф из какого-то редчайшего дерева, с инкрустациями. Он был невысок, и на нем были симметрично расставлены мраморные бюсты. У противоположной стены стояли две старинные горки, вверху, между ними, висела картина под стеклом — «Мадонна с младенцем»; на позолоченной табличке, прикрепленной к раме, было выгравировано имя Рафаэля. Справа и слева от меня стояли шифоньеры и небольшие столики мозаичной работы, отделанные бронзой, заставленные дрезденским фарфором, изделиями из слоновой кости, дорогими вазами и всевозможными редкостными безделушками. Все это сверкало серебром, золотом и драгоценными камнями. В глубине комнаты на окнах были занавеси из того же бледно-зеленого шелка, что и на дверях. Поэтому свет в комнате был очаровательно мягкий, рассеянный, неясный, он упоительно подчеркивал глубокую тишину и атмосферу полного уединения, ца-

рившую здесь, и окружал непроницаемым покоем хозяина дома, устало сидевшего в огромном мягком кресле К одной ручке кресла был приделан маленький столик, к другой — подставка для книг

Если по наружности человека, перешагнувшего за сорок и тщательно совершившего туалет, можно судить о его возрасте (в чем я сильно сомневаюсь), то мистеру Фэрли на вид было за пятьдесят. У него было выбритое, тонкое, усталое лицо, бледное до прозрачности, но без единой морщинки; крупный нос с горбинкой, большие бесцветные серые глаза навыкате, с покрасневшими веками, волосы редкие, мягкие, того рыжеватого оттенка, в котором так долго незаметна седина. На нем был черный сюртук из какой-то мягкой материи, жилет и панталоны сияли безукоризненной белизной. Он был в светлых чулках, и его маленькие, как у женщины, ножки были обуты в туфельки из лаковой кожи под бронзу. Два перстня такой баснословной ценности, что даже мой неискушенный взгляд понял это, украшали его тонкие, изнеженные пальцы. Весь он выглядел чересчур хрупким, капризным, томно-нервическим и сверхутонченным, что неприятно и неестественно в мужчине, да и в женщине было бы отнюдь не привлекательно. Утренняя встреча с мисс Голкомб заранее расположила меня ко всем обитателям дома, но при виде мистера Фэрли мои симпатии мгновенно испарились.

Подойдя поближе, я увидел, что он не бездельничает, как мне показалось, а чем-то занят. Подле него на большом столе среди других редких и красивых вещей находился маленький шкафчик черного дерева, отделанный серебром. В его ящичках, обитых темно-красным бархатом, лежали древние монеты разной величины и формы. Один из этих ящичков с монетами стоял на приделанном к его креслу столике, тут же лежали замшевые полировальные подушечки, кисточки и пузырек с жидкостью. Все они ожидали своей очереди, чтобы чистить и полировать древние монеты. В хрупких пальцах он небрежно вертел нечто похожее, с моей точки зрения профана, на грязную оловянную медаль с рваными краями. Я остановился на почтительном расстоянии от его кресла и отвесил поклон.

— Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт,— сказал он капризным, каркающим голосом, в

вялую безжизненность которого иногда неприятно врывались высокие, почти визгливые, нотки — Сядьте, прошу вас. Только, пожалуйста, не двигайте ваше кресло. Мои бедные нервы в таком состоянии, что всякое постороннее движение — источник неописуемых страданий для меня. Вы видели вашу студию? Ну как?

— Я только что видел, мистер Фэрли, и уверяю вас...

Его умоляющий жест прервал меня на полуслове. Я удивленно осекся. Капризный голос соблаговолил прокаркать:

— Прошу простить меня, но, ради бога, не могли бы вы постараться говорить потише? Мои бедные нервы в таком состоянии, что я невыносимо страдаю от каждого звука. Не посетуйте на бедного инвалида. Мне приходится говорить то же самое каждому посетителю. Да. Итак, вам в самом деле нравится ваша комната?

— Я не представляю себе ничего более уютного и удобного,— отвечал я, понижая голос и начиная понимать, что нервы мистера Фэрли и его капризы — это одно и то же.

– Я так рад! Вы можете быть уверены, мистер Хартрайт, что в этом доме художники пользуются должным уважением. Здесь вам не придется сталкиваться с обычным варварским отношением англичан к служителям искусства. В юности я столько лет провел за границей, что сбросил с себя покров предрассудков. Мне хотелось бы сказать то же самое о моих соседях-аристократах — отвратительное слово, но, полагаю, мне придется употребить его,— об аристократах, живущих по соседству. В вопросах искусства это неисправимые варвары, мистер Хартрайт. Они вытаращили бы глаза при виде Карла Пятого[1], подающего кисти Тициану. Не откажите поставить этот поднос с монетами вон в тот шкафчик и подайте мне другой. Мои бедные нервы в таком состоянии, что любое усилие причиняет мне неслыханные страдания... Да. Благодарю вас.

Как иллюстрация к теории равенства, только что им провозглашенной, хладнокровное приказание мистера Фэрли очень позабавило меня. Я поставил поднос в шкаф и почтительно подал ему другой. Он начал перебирать

[1] Карл V (1500—1558) — император Священной Римской империи, в состав которой входили почти все европейские государства XVI века Был современником великого венецианского живописца Тициана.

монеты, чистить их маленькими замшевыми подушечками, возиться с ними и томно любоваться на них, продолжая в то же время разговаривать со мной:

— Тысяча благодарностей и тысяча извинений. Вы любите древние монеты?.. Да? Я счастлив, что наши вкусы совпадают еще в одном, помимо вопросов искусства. Кстати, коснемся житейского: вы довольны вашими условиями?

— Вполне, мистер Фэрли.

— Я так рад. Что еще? Да, вспомнил. Относительно моих забот о вашем благополучии, которые вы благосклонно согласились принять за то, что предоставляете мне право пользоваться вашими достижениями в области искусства. Мой камердинер зайдет к вам в конце недели, чтобы узнать, нет ли каких приказаний. И — что еще? Странно, не правда ли? Мне надо было еще многое сказать, но я, кажется, все забыл. Не дернете ли вы шнурок? В том углу... Да. Благодарю.

Я позвонил, и слуга с прилизанными волосами, которого я видел впервые, неслышно появился в комнате, подобострастно улыбаясь,— лакей с головы до пят.

— Луи,— сказал мистер Фэрли, полируя свои ногти одной из замшевых подушечек, предназначенных для очистки монет,— сегодня утром я кое-что записал на моих табличках. Найдите их. Тысяча извинений, мистер Хартрайт. Боюсь, что я вам наскучил.— Он устало закрыл глаза, прежде чем я смог что-либо ответить.

Он и вправду наскучил мне, и я молча смотрел на мадонну Рафаэля.

Лакей вышел из комнаты и вернулся с книжечкой в переплете из слоновой кости. Мистер Фэрли с легким вздохом очнулся, взял книжечку и мановением пальца велел лакею ждать дальнейших приказаний.

— Да. Именно так! — сказал мистер Фэрли, посоветовавшись с табличками.— Луи, подайте эту папку.— Он указал на папки, лежащие на полке у одного из окон.— Нет, не ту. Не с зеленым корешком! В ней гравюры Рембрандта, мистер Хартрайт. Вы любите гравюры?.. Рад, что у нас одинаковые вкусы... Папку с красным корешком, Луи. Не уроните ее!.. Вы не можете вообразить, какие муки я претерпел бы, мистер Хартрайт, если бы Луи уронил эту папку! Она не упадет со стула? Вы считаете, что она не упадет? Да? Я счастлив. Сделайте одолжение, посмотрите

эти рисунки, если вы в самом деле считаете, что они в безопасности... Луи, уходите. Вы осел! Вы же видите, что я держу таблички! Долго ли я должен их еще держать? Почему вы не берете их у меня из рук?.. Тысячу извинений, мистер Хартрайт. Слуги — такие ослы, не правда ли?.. Как вам нравятся эти рисунки? Они прибыли в ужасном состоянии — мне показалось, что от них пахнет руками этих лавочников, торговцев картинами... Можете ли вы ими заняться?

Хотя нервы мои были недостаточно чувствительны, чтобы уловить запах рук каких-то плебеев, вкус мой был достаточно развит: я увидел перед собой прекраснейшие рисунки и акварели; по большей части это были великолепные образцы английской школы, и они, конечно, заслуживали более внимательного отношения со стороны их бывших хозяев.

- Их следует привести в порядок. По-моему, они очень ценны.. - начал я.

– Простите,— перебил мистер Фэрли.— Вы не возражаете, если я закрою глаза, пока вы будете говорить? Даже этот свет ярок для меня. Да?..

– Я хотел сказать, что рисунки заслуживают...

Мистер Фэрли вдруг открыл глаза и закатил их под лоб в невыразимой муке.

– Умоляю простить меня, мистер Хартрайт,— слабо прокаркал он,— но мне послышались голоса каких-то ужасных детей в саду — в моем саду! Под окнами...

Я ничего не слышу, мистер Фэрли.

Сделайте одолжение — вы так снисходительны к моим бедным нервам, мистер Хартрайт,— сделайте одолжение, приподымите — чуть-чуть! — уголок этой занавески Только, ради бога, чтобы солнце не упало на меня... Выгляните в сад...

Я исполнил его просьбу. Сад был окружен глухой стеной. В нем не было ни единой души. Я оповестил об этом радостном факте мистера Фэрли.

Тысяча благодарностей. Моя фантазия, вероятно. В доме, хвала создателю, нет никаких детей, но слуги (эти люди рождаются без нервов!) иногда поощряют деревенских Дети — какое отродье! О боже, какое отродье! Признаться ли вам, мистер Хартрайт, я так хотел бы усовершенствовать их конструкцию! Природа создала их как специальные механизмы для издавания криков, но наш

очаровательный Рафаэль представлял их себе в тысячу раз привлекательнее, не так ли?

Он указал на картину, в верхнем углу которой были изображены традиционные головки херувимов итальянской школы — курчавые облака служили им удобной опорой для подбородков.

— Вот идеал! — сказал мистер Фэрли, осклабившись на херувимов.— Такие милые розовые личики! Такие милые нежные крылышки — и ничего больше! Ни грязных ног для беготни, ни крикливых глоток для воплей. Какое бесконечное превосходство мечты над реальностью!.. Я опять закрою глаза, если позволите. Так вы вправду займетесь рисунками? Я так рад! О чем мы хотели еще поговорить? Я забыл. Не позвоните ли вы Луи?

К этому времени я так же страстно желал закончить наше свидание, как, по-видимому, и мистер Фэрли. Я решил обойтись без помощи лакея.

— Единственное, о чем я хотел спросить вас, мистер Фэрли,— сказал я,— касается моих уроков с молодыми леди.

— Вот именно,— сказал мистер Фэрли.— Я хотел бы иметь достаточно сил, чтобы разобраться в этом. Но у меня нет сил. Пусть молодые леди, которые будут пользоваться вашими любезными услугами, сами решают... Да! Моя племянница очень любит ваше очаровательное искусство. И знает о нем достаточно, чтобы понимать, насколько она в нем слаба. Пожалуйста, займитесь этим. Мы поняли друг друга, не так ли? Я не смею отрывать вас дальше от ваших прелестных занятий. Так приятно договориться обо всем, покончить со всем житейским! Не откажите позвонить Луи, чтобы он отнес папку в ваши комнаты.

— Я отнесу ее сам, мистер Фэрли, если позволите.

— В самом деле? У вас хватит сил? Как приятно быть таким сильным! Вы уверены, что не уроните ее? Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт. Я такой мученик, что вряд ли смогу часто наслаждаться вашим обществом. Вы постараетесь, уходя, не очень хлопнуть дверью и не уронить папку? Благодарю вас. Осторожнее с портьерами — малейший шум вонзается в мои бедные нервы, как нож. Всего лучшего.

Когда портьеры бесшумно раздвинулись и двери неслышно закрылись за мной, я на мгновение остановился

в маленьком холле и глубокий вздох облегчения вырвался из моей груди. Покинув мистера Фэрли, я как будто вынырнул на поверхность, пробыв долгое время в холодном зеленом омуте.

Усевшись за работу в моей веселой студии, я первым долгом решил как можно реже показываться в апартаментах хозяина дома, разве только в тех исключительных случаях, когда он сам меня пригласит. Покончив с этим вопросом, я снова обрел душевное равновесие, нарушенное высокомерной развязностью и наглой учтивостью мистера Фэрли. Остаток утра прошел спокойно и приятно за работой: я просматривал рисунки, раскладывал их, обрезал обтрепанные края и приготовлял их для окантовки. Но чем дальше, тем нетерпеливее ждал я двух часов. Мне не сиделось на месте, я не мог сосредоточиться, работа моя не клеилась, хотя и была весьма несложной.

Ровно в два я, немного волнуясь, спустился в столовую. Возвращение в эту комнату сулило мне много неожиданностей. Я должен был познакомиться с мисс Фэрли и, что было еще интереснее, если розыски мисс Голкомб в семейных архивах увенчались успехом, разгадать тайну женщины в белом.

VIII

Когда я вошел в столовую, мисс Голкомб уже сидела за столом в обществе какой-то пожилой дамы.

Эта дама, с которой меня познакомили, была миссис Вэзи, старая гувернантка мисс Фэрли. Ее-то и назвала утром моя сотрапезница «воплощением добродетели», заметив, однако, при этом, что миссис Вэзи «не идет в счет». Я могу только подтвердить, что мисс Голкомб совершенно правильно определила характер почтенной старушки. Миссис Вэзи олицетворяла человеческое спокойствие и женскую приветливость. В ленивой, сонной улыбке, сквозившей на ее полном кротком лице, проглядывала простодушная удовлетворенность своим безмятежным существованием. Иные из нас мчатся сквозь жизнь, иные прогуливаются по ней — миссис Вэзи провела всю жизнь сидя. С утра до вечера она сидела: в доме, в саду, у окна, во всяких неожиданных местах, на раскладном стульчике, когда друзья пробовали уговорить ее про-

гуляться; она садилась, чтобы поглядеть на что-нибудь, чтобы поговорить о чем-нибудь, чтобы произнести простейшие «да» или «нет» в ответ на самые обыденные вопросы. Ее всегда видели с той же мирной улыбкой на устах, с тем же рассеянно-внимательным взглядом, в той же удобной и чинной позе — всегда и при всех обстоятельствах, какими бы они ни были. Благодушная, мягкая, невыразимо спокойная старушка, которая, казалось, так и не жила с той самой минуты, как родилась. У природы столько дел в этом мире, ей приходится создавать такую массу разнообразнейших творений, что, возможно, по временам она и сама не в силах разобраться во всей этой путанице. Исходя из этого, я лично навсегда останусь при мнении, что, когда миссис Вэзи родилась, мать-природа была всецело поглощена сотворением капусты, и бедная леди стала жертвой сельских занятий праматери всего сущего.

— Ну, миссис Вэзи,— сказала мисс Голкомб, особенно оживленная, остроумная и блестящая по сравнению с тихой старушкой, которая сидела с ней рядом,— что вы хотите — котлетку?

Миссис Вэзи положила свои полные ручки в ямочках на стол, кротко улыбнулась и сказала:

— Да, дорогая.

— А что перед мистером Хартрайтом? Цыпленок? Вы, кажется, больше любите цыплят, миссис Вэзи?

Миссис Вэзи сняла ручки со стола, положила их на колени, созерцательно посмотрела на вареного цыпленка и сказала:

— Да, дорогая.

— Чего же вам все-таки хочется? Чтобы мистер Хартрайт передал вам цыпленка или я — котлету?

Миссис Вэзи снова положила одну из своих ручек на край стола, задумалась и сказала:

— Что хотите, дорогая.

— Господи, ну что вам больше по вкусу? Может быть, положить вам кусочек и того и другого? Или вы начнете с цыпленка, тем более что мистер Хартрайт, по-видимому, жаждет отрезать для вас крылышко?

Миссис Вэзи положила вторую ручку на стол, чуть-чуть оживилась, потом погасла, послушно кивнула и сказала:

— Пожалуйста, сэр.

Не правда ли, благодушная, кроткая, невыразимо спокойная и безобидная старушка? Но может быть, на сегодня довольно о миссис Вэзи?

В продолжение всего этого времени не было и признаков появления мисс Фэрли. Мы покончили с завтраком, но она все еще не приходила. От быстрых глаз мисс Голкомб ничто не могло укрыться. Она заметила взгляды, которые я украдкой бросал на дверь.

— Я понимаю вас, мистер Хартрайт,— сказала она,— вам хотелось бы знать, где ваша вторая ученица. Головная боль у нее прошла, но аппетита нет. С моей помощью вы найдете ее в саду.

Взяв зонтик, лежащий подле нее на стуле, она направилась в сад через большую стеклянную дверь, открывавшуюся прямо на лужайку перед домом. Само собой разумеется, миссис Вэзи осталась сидеть за столом в прежней удобной позе, очевидно намереваясь просидеть так весь день.

Когда мы пересекли лужайку, мисс Голкомб значительно посмотрела на меня и покачала головой.

— Ваше таинственное приключение все еще окутано непроницаемым мраком, как ему и полагается,— сказала она.— Все утро я просматривала письма, но ничего еще не нашла. Однако не отчаивайтесь, мистер Хартрайт. Это дело любопытное, а в союзниках у вас женщина, поэтому рано или поздно успех обеспечен. Письма еще не все прочитаны, остались три связки, и вы можете положиться на меня — я потрачу на них весь вечер.

«Мои утренние ожидания не оправдались. Будет ли знакомство с мисс Фэрли таким же разочарованием?» — подумал я.

— Как вам понравился мистер Фэрли? — спросила мисс Голкомб, когда мы пошли по аллее.— Он очень нервничал сегодня? Не трудитесь отвечать, мистер Хартрайт: достаточно того, что вы замялись. По вашему лицу мне ясно, что сегодня он особенно нервничал. Чтоб вы сами не нервничали, я больше ни о чем не спрошу вас.

Свернув на узкую дорожку, мы вышли к красивому бревенчатому домику в швейцарском стиле, поднялись по ступенькам и очутились в комнате. Молодая девушка стояла у простого некрашеного стола, глядя вдаль на расстилавшуюся за деревьями равнину, поросшую вере-

ском, и задумчиво перелистывала маленький альбом. Это была мисс Фэрли.

Как описать ее? Как передать то первое впечатление независимо от собственных переживаний и от всего того, что произошло в дальнейшем? Могу ли я снова увидеть ее такой, какой увидел ее впервые, для того чтобы те, кто читает эти страницы, увидели ее вместе со мной?

Портрет Лоры Фэрли в той же позе и в той же комнате, написанный мною акварелью некоторое время спустя после нашей первой встречи, лежит сейчас на моем письменном столе. Я пишу и смотрю на него. Передо мной на фоне зелени и летнего домика отчетливо возникает светлый юный образ. Она в простом белом кисейном платье в голубую полоску. Бледно-голубой шарф из той же материи ласково и воздушно обвивает ее плечи. Маленькая соломенная шляпка, скромно отделанная лентой в цвет платья, бросает прозрачную, легкую тень на ее лоб. Ее волосы очень светлого каштанового оттенка — не льняные, но воздушные; не золотые, но блестящие,— и кажется, будто они тают в воздухе, сливаясь с тенью от ее шляпы. Они разделены на прямой пробор и мягкими прядями обрамляют ее лицо. Брови чуть темнее волос, а глаза того кристально-прозрачного бирюзового цвета, который так часто воспевают поэты и который так редко встречается в жизни. Прекрасен цвет, прекрасен разрез этих глаз — больших, задумчивых, нежных,— но прекраснее всего глубокая правдивость, сияющая в них неподдельно и неизменно, как отражение Лучшего Мира. Пленительное очарование, которое они так мягко и так непреодолимо излучают, преображает ее лицо, скрывая все его недостатки; поэтому трудно говорить об отдельных его чертах. Не замечаешь, что подбородок несколько слабо развит; что нос (отнюдь не орлиный — таковой неизбежно придает женскому лицу злой и хищный вид, как бы красив он ни был) маловат и не отличается идеальной правильностью; что нежные, мягкие губы с приподнятыми уголками иногда нервно подергиваются, когда она улыбается. Все эти недостатки, возможно, были бы заметны на другом женском лице, но тут их не видишь, все сливается в одно целое — живое, прелестное, выразительное, присущее только ей одной. Так велика непреодолимая сила очарования ее волшебных глаз.

Передал ли все это мой бедный портрет, написанный

с такой любовью и старанием в те безмятежные, счастливые дни?.. О, как мертво все на рисунке и как живо в моей памяти! Светловолосая хрупкая девушка в легком платье, голубоглазая и невинная, с альбомом в руках — вот и все, что можно увидеть на портрете; вот, может быть, и все, что можно передать словами. Женщина, впервые давшая жизнь, свет и форму нашему туманному представлению о красоте, заполнит в нашей душе пустоту, о которой мы и не подозревали до появления ее. Наша душа откликнется в такую минуту на очарование, несравненно более глубокое, чем то, которое постигается разумом и может быть выражено в словах. Когда обаяние женской красоты проникает в самые глубины нашего сердца, оно становится невыразимым, ибо переходит ту грань, за которой перо уже не властно.

Подумайте о ней, как вы думали о той, что впервые задела в вас струны, молчавшие при других женщинах. Пусть ясные, чистые голубые глаза встретятся с вашими, как они встретились с моими в том первом, неповторимом взгляде, который мы оба запомнили навсегда. Пусть голос ее звучит, как музыка, в ваших ушах так же сладостно, как звучал в моих. Пусть шаги ее, когда она появляется на этих страницах и уходит с них, напомнят вам те, воздушные, на которые отзывалось ваше сердце. Представьте ее себе как воплощение вашей самой несбыточной мечты, и тогда вы увидите ту, что живет в моем сердце.

Среди вихря ощущений, поднявшихся во мне при виде нее,— ощущений, знакомых всем нам, внезапно пробуждающихся к жизни в глубине наших сердец, так часто умирающих и так редко рождающихся заново, одно, почти мучительное, отзывалось во мне тупой, неясной болью. Оно тревожило и мучило меня, казалось таким неоправданным, было так не к месту в присутствии мисс Фэрли.

К яркому впечатлению, которое произвели на меня ее красота, ее обаяние, простота и скромность ее манер, примешивалось другое чувство, смутно мешавшее мне. То мне казалось, что причина кроется в ней, то я обвинял в этой раздвоенности самого себя, но что-то мешало мне воспринимать ее цельно, как следовало бы. Ощущение это усиливалось, когда она смотрела на меня; иными словами, именно тогда, когда красота ее была перед моими глазами, я был смущен чувством какой-то неудовлетворенности.

Я не понимал, в чем дело, не мог определить этого ощущения. Чего-то не хватало, а чего именно — я не знал.

Эта странная «игра воображения» (так думал я тогда) не способствовала моей непринужденности в первые минуты знакомства с мисс Фэрли. На ее милое приветствие я ничем не сумел ответить. Заметив мое смущение и, очевидно, объяснив его моей застенчивостью, мисс Голкомб легко и находчиво, как всегда, взяла нить разговора в свои руки.

— Посмотрите, мистер Хартрайт,— сказала она, показывая на альбом и на маленькую ручку, перебиравшую его листы.— Согласитесь, наконец вы нашли примерную ученицу. Узнав, что вы приехали, она хватает свой бесценный альбом, смотрит прямо в лицо божественной природе и жаждет начать уроки!

Мисс Фэрли засмеялась так весело, словно солнечный луч озарил ее лицо.

— Я не сто́ю этих похвал,— возразила она, глядя своими ясными, правдивыми глазами то на мисс Голкомб, то на меня.— Как ни люблю я рисовать, я всегда сознаю, что рисую плохо, и скорее боюсь, чем жажду уроков. Узнав, что вы здесь, мистер Хартрайт, я стала просматривать свои рисунки, как когда-то, девочкой, я просматривала школьные уроки в страхе, что получу за них плохую отметку.

Она призналась в этом очень просто и с детской серьезностью прижала к себе свой альбом.

— Плохие или хорошие, рисунки все равно должны предстать на суд учителя, и дело с концом,— сказала решительно мисс Голкомб.— Давайте возьмем их с собой в коляску, Лора. Пусть мистер Хартрайт впервые увидит их, когда мы будем трястись на ухабах. Если только мы сумеем помешать ему во время прогулки увидеть природу такой, какая она есть — когда он будет смотреть вокруг себя, и такой, какой она бывает — когда заглянет в наши альбомы,— мы принудим его наговорить нам с отчаяния массу комплиментов, и павлиньи перышки нашего самолюбия не помнутся.

— Я надеюсь, что мистер Хартрайт не будет говорить мне комплиментов,— сказала мисс Фэрли, когда мы вышли из домика.

— Смею спросить: почему? — сказал я.

— Потому что я поверю всему, что вы мне скажете,— просто ответила она.

Этими безыскусственными словами она дала мне ключ к своему характеру. Доверие к людям было отражением ее собственной полной правдивости. Тогда я угадал это сердцем. Теперь я знаю это по опыту.

Миссис Вэзи все еще сидела за опустевшим обеденным столом, когда мы весело подняли ее с места, чтобы пересадить в открытую коляску и вместе ехать на обещанную прогулку. Пожилая леди и мисс Голкомб сели на заднее сиденье, а мисс Фэрли и я устроились против них. Альбом, конечно, был доверен моему опытному глазу, но серьезный разговор о рисунках был немыслим при мисс Голкомб, которая откровенно высмеивала всякое женское искусство, в том числе свое и своей сестры. Мне гораздо больше запомнился наш разговор, особенно когда в беседе принимала участие мисс Фэрли, чем рисунки, которые я машинально просматривал. Все, что связано с ней, я помню так живо, как будто это было вчера.

Да! Признаюсь, что с первого же дня, очарованный ею, я позволил себе забыться, я забыл свое положение. Самый простой ее вопрос: «Как держать карандаш? Как смешивать краски?» — малейшая перемена в выражении ее глаз, устремленных на меня с таким серьезным желанием научиться всему, чему я мог научить, и постичь все, что я мог показать, приковывало к себе мое внимание несравненно сильнее, чем самые красивые места, мимо которых мы проезжали, или игра света и тени над волнистой равниной и пологими берегами моря. Не странно ли, что все окружающее так мало на нас влияет, когда мы всецело поглощены какой-то думой? Только в книгах, но не в действительности мы ищем утешения на лоне природы, когда мы в горе, или созвучия в ней, когда мы счастливы. Восторги перед ее красотами, так подробно и красноречиво воспетые в стихах современных поэтов, не отвечают необходимой жизненной потребности даже лучших из нас. Детьми мы их не замечали. Те, кто проводит жизнь среди многообразных чудес моря и суши, обычно нечувствительны к явлениям природы, не имеющим прямого отношения к их призванию в жизни. Наша способность воспринимать красоту окружающего нас мира является, по правде сказать, частью нашей общей культуры. Мы часто познаем эту красоту только через искусство.

И то — только в те минуты, когда мы ничем другим не заняты и ничто другое нас не отвлекает. Все, что может постичь наша мысль, все, что может познать наша душа, не зависит от красоты или уродства мира, в котором мы живем. Возможно, причина отсутствия связи между человеком и вселенной кроется в огромной разнице между личной судьбой человека и явлениями природы. Высочайшие горы исчезнут во мраке времен, малейшее движение чистой человеческой души — бессмертно.

После трехчасовой прогулки наша коляска снова проехала через ворота лиммериджского дома.

На обратном пути я предоставил дамам выбрать пейзаж, который они должны были рисовать под моим наблюдением на следующий день. Когда они удалились, чтобы переодеться к обеду, и я остался один в своей комнате, мне стало вдруг почему-то не по себе. Я чувствовал смутное недовольство самим собой, не понимая, в чем его причина. Потому ли, что на прогулке я держал себя скорее как гость, чем как учитель; потому ли, что в меня снова вселилось то странное чувство, которое встревожило и огорчило меня при первом знакомстве с мисс Фэрли. Во всяком случае, я почувствовал облегчение, когда настал обеденный час и я мог присоединиться к обществу хозяек дома.

Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в столовую, была разница в туалетах трех дам. В то время как миссис Вэзи и мисс Голкомб были роскошно одеты (каждая в манере, присущей ее возрасту) — первая в серебряно-сером, вторая в светло-палевом платье, которое очень шло к ее смуглому лицу и черным волосам,— мисс Фэрли была в очень скромном платье из белого муслина. Оно было снежно-белым и очень шло к ней, но это простенькое платье могла бы носить и жена или дочь бедного человека. Ее гувернантка была одета гораздо богаче, чем она сама. Позднее, когда я поближе узнал мисс Фэрли, я понял, что это была своего рода деликатность, боязнь хотя бы в одежде подчеркнуть свое богатство. Ни миссис Вэзи, ни мисс Голкомб никогда не могли ее уговорить одеваться наряднее и роскошнее, чем они.

Покончив с обедом, мы все вместе вернулись в большую гостиную. Несмотря на то что мистер Фэрли (очевидно, в память могущественного короля, самолично подававшего кисти Тициану) приказал дворецкому узнать, какие

вина я предпочитаю после обеда, я решительно отказался от искушения посидеть в великолепном одиночестве за бутылками собственного выбора и испросил у дам разрешения на время моего пребывания в Лиммеридже покидать обеденный стол всегда вместе с ними, по благородному обычаю иностранцев.

Гостиная, в которую мы перешли, такая же большая, как и столовая, была на нижнем этаже. В глубине комнаты широкие стеклянные двери открывались на террасу, всю уставленную цветами и всевозможными растениями. В мягком, сумрачном свете листья и цветы сливались в одно гармо"" еское целое, и сладкое благоухание вечера приветствовало нас через открытую дверь. Миссис Вэзи неизменно садилась первая — она завладела креслом в углу и сразу же уютно задремала. Мисс Фэрли по моей просьбе села за рояль, я — подле нее, а мисс Голкомб — у окна, чтобы, пользуясь последними спокойными лучами догорающего заката, просмотреть письма своей матери

Как живо встает перед моим мысленным взором мирный домашний уют этой гостиной, в то время как я пишу! Оттуда, где я сидел, мне была видна грациозная фигура мисс Голкомб. Наполовину освещенная мягким вечерним светом, наполовину в тени, мисс Голкомб внимательно просматривала письма, лежавшие у нее на коленях Прелестный профиль той, что сидела за роялем, тонко выделялся на темнеющем фоне стены. На террасе цветы, декоративные травы и ползучие растения еле качались в вечернем воздухе — так тихо, что их шороха не было слышно. Небо было безоблачным, и таинственный лунный свет уже начинал разливаться по его восточному краю. Мир и уединение смягчали все мысли и чувства, сливаясь в упоительной гармонии; отрадная тишина, все более глубокая, по мере того как сгущались сумерки, окружала нас, когда зазвучала полная нежности музыка Моцарта. Это был вечер незабываемых впечатлений и звуков.

Мы сидели в молчании. Миссис Вэзи спала. Мисс Фэрли играла, мисс Голкомб читала, пока не погас последний луч вечерней зари. К этому времени луна уже всходила над террасой, и ее бледные таинственные лучи заливали глубину комнаты. Переход от сумерек к лунному свету был так прекрасен, что, когда слуга

принес свечи, мы не зажгли их, оставшись, по взаимному согласию, в темноте,— только на рояле горели две свечи. Мисс Фэрли играла еще около получаса, а потом вышла на озаренную луной террасу, чтобы полюбоваться садом. Я последовал за ней. Мисс Голкомб пересела к роялю, поближе к свече, чтобы продолжать чтение. Она была так погружена в письма, что, казалось, и не заметила, как мы вышли.

Мы пробыли на террасе не более пяти минут — мисс Фэрли, по моему совету, повязала голову белой косыночкой, опасаясь ночной прохлады,— как вдруг я услышал изменившийся голос мисс Голкомб. Она тихо и настойчиво звала меня:

— Мистер Хартрайт, подите сюда на минуту, я хочу поговорить с вами.

Я вернулся в комнату. В глубине гостиной, у стены, стоял рояль. Подле него с той стороны, которая была дальше от террасы, сидела мисс Голкомб. На коленях у нее в беспорядке лежали письма, одно из них она держала у свечи. Я сел напротив нее на низенькую кушетку; отсюда я ясно различал фигуру мисс Фэрли, ходившей по террасе в мягком свете луны.

— Я хочу, чтобы вы прослушали конец этого письма,— сказала мисс Голкомб.— Вы скажете мне, проливает ли это свет на ваше странное приключение по дороге в Лондон. Это письмо моей матери к ее второму мужу, мистеру Фэрли. В нем говорится о том, что произошло лет двенадцать назад. К тому времени мистер и миссис Фэрли с моей сводной сестрой Лорой уже много лет жили в этом доме. Меня тогда не было с ними, я заканчивала свое образование в Париже.

Она говорила очень серьезно и, казалось, была в затруднении. В эту минуту мисс Фэрли показалась в глубине террасы, посмотрела на нас и, увидев, что мы заняты, пошла дальше.

Мисс Голкомб начала читать:

— «Вам, дорогой Филипп, наверно, уже надоело постоянно слушать о моей школе и ее учениках. Вините в этом скучное однообразие нашей жизни в Лиммеридже, но не меня. К тому же на сей раз я напишу вам кое-что интересное по поводу одной из наших школьниц.

Вы знаете старую миссис Кемп, нашу деревенскую лавочницу. Она много лет болела, а сейчас день ото дня

угасает. Ее сестра, единственная ее родственница, приехала на той неделе, чтобы побыть с ней до ее кончины. Сестру зовут миссис Ка́терик. Она из Хемпшира. Четыре дня назад она пришла ко мне и привела с собой своего единственного ребенка — прелестную девочку, которая всего на год старше нашей дорогой Лоры...»

Не успела эта фраза замереть на устах читавшей, как мисс Фэрли снова прошла мимо двери, тихо напевая одну из мелодий, которые только что играла.

Мисс Голкомб подождала, пока она скрылась из виду, а затем продолжала:

— «Миссис Катерик, по-видимому, вполне порядочная, воспитанная и почтенная женщина средних лет. В молодости она, наверно, была недурна собой. Есть, однако, что-то в ее манерах и наружности, чего я не понимаю. Она до такой степени ничего о себе не рассказывает, что это граничит с таинственностью. И на лице у нее выражение — не умею описать его,— будто у нее что-то на уме. Вообще это какая-то ходячая тайна. Ко мне она явилась, однако, по очень простому поводу: когда она уезжала из Хемпшира, ей пришлось взять с собой дочь, так как ребенка не с кем было оставить. Неизвестно, когда умрет миссис Кемп, через неделю или через несколько месяцев, поэтому миссис Катерик пришла спросить меня, можно ли ее девочке посещать пока нашу школу с условием, что после кончины миссис Кемп девочка вернется с матерью в Хемпшир. Конечно, я сразу же дала свое согласие, и, когда мы с Лорой пошли на нашу обычную прогулку, мы взяли с собой эту девочку (ей всего одиннадцать лет) и отвели ее в школу...»

Снова силуэт мисс Фэрли — такой очаровательной и нежной в белом как снег платье, в косынке, которую она подвязала под подбородком,— скользнул в лунном луче. Мисс Голкомб подождала, пока она скроется, и продолжала:

— «Я очень привязалась к нашей новой ученице, особенно по причине, о которой упомяну только в конце письма, чтобы сделать вам сюрприз. О дочери мать рассказала так же мало, как и о себе. Я сама поняла (это выяснилось на первых же уроках), что умственное развитие бедняжки недостаточно для ее лет. Я взяла ее к нам домой на следующий день и попросила доктора понаблюдать за ней и поговорить с ней, а потом сказать

свое мнение. Он нашел, что ум девочки разовьется с годами и что занятия в школе ей чрезвычайно полезны, потому что, хотя она и запоминает уроки очень медленно, но зато крепко и надолго. Ну вот, дорогой мой, не думайте, что я привязалась к какой-то дурочке. Нет, бедная маленькая Анна Катерик очень ласковое, любящее, благодарное дитя. Она говорит иногда очень своеобразные и милые вещи, но как-то странно, внезапно и все время как будто боится чего-то. Несмотря на то что она всегда очень чистенькая, одета она безвкусно. Поэтому я решила, что белые Лорины платьица и шляпки можно переделать для Анны, и сказала ей, что маленьким девочкам с хорошим цветом лица очень идет белое. Сначала она растерялась, а потом вся вспыхнула и поняла. Ее маленькие ручки схватили мою руку. Она поцеловала ее, Филипп, и воскликнула (так серьезно!): «Всю жизнь я буду ходить только в белом, в память о вас, мэм, и мне будет казаться, что я все еще нравлюсь вам, даже когда я уеду и вас больше не увижу». Вот образец тех оригинальных мыслей, которые она высказывает так мило. Бедная малютка! Я подарю ей много платьиц, с запасом, и она сможет удлинять их, когда из них вырастет».

Мисс Голкомб замолчала и посмотрела на меня.

— Как вы думаете, сколько лет той несчастной, которую вы встретили на большой дороге? — спросила она.— Может ли ей быть около двадцати двух?

— Да, мисс Голкомб.

— И она была с головы до ног одета в белое?

— Да, она была вся в белом.

Как раз в эту минуту мисс Фэрли показалась на террасе в третий раз, но, вместо того чтобы пройти дальше, она облокотилась на перила, спиной к нам, и стала глядеть на темный сад. Я смотрел на мерцание ее воздушного белого платья и белой косынки в лунных лучах, и ощущение, которому нет названия, начало вкрадываться в мое сердце.

— Вся в белом? — повторила мисс Голкомб.— Сейчас я прочитаю вам конец — то есть самое главное. Но мне хочется немного помедлить... Какое странное совпадение: белое платье женщины, которую вы встретили, и белое платьице, которое вызвало тот странный ответ маленькой школьницы. Доктор, наверное, ошибся, предполагая, что умственная отсталость пройдет у девочки с возрастом.

Может быть, она так и осталась недоразвитой и ее странное ребяческое желание носить только белое не изменилось, когда она стала взрослой?

Я что-то ответил, что — я и сам не знаю. Все мое внимание было приковано к белому платью мисс Фэрли.

— Выслушайте последнюю фразу,— сказала мисс Голкомб.— Думаю, она удивит вас.

В ту минуту, когда она поднесла письмо к свече, мисс Фэрли повернулась лицом к нам, нерешительно посмотрела вокруг, подошла к стеклянной двери и остановилась, глядя на нас.

Мисс Голкомб читала:

— «А теперь, любовь моя, заканчивая свое письмо, я скажу о причине, настоящей, главной причине моей привязанности к Анне Катерик. Дорогой Филипп, хотя она и наполовину не так хороша, но по необъяснимому капризу случая, как это порой бывает, у нее те же волосы, глаза, овал лица — одним словом, она вылитая...»

Я вскочил с кушетки прежде, чем мисс Голкомб закончила фразу, меня охватил леденящий ужас, как и тогда ночью на безлюдной дороге, когда кто-то внезапно прикоснулся к моему плечу.

Передо мной стояла мисс Фэрли, одинокая белая фигура в бледном лунном свете,— воплощение женщины в белом: та же поза, тот же поворот головы, тот же овал лица! Мучившее меня подозрение мгновенно превратилось в уверенность. Я понял, чего мне не хватало раньше: я не отдавал себе отчета в роковом сходстве беглянки из сумасшедшего дома с моей ученицей в Лиммеридже.

— Вы увидели, что они похожи! — воскликнула мисс Голкомб. Письмо выпало у нее из рук, и глаза ее блеснули, встретившись с моими.— Они и сейчас похожи, как одиннадцать лет назад!

— Вижу, и мне невыразимо тяжко... Как будто случайное сходство той жалкой, одинокой, несчастной женщины с мисс Фэрли зловещей тенью омрачает будущее прелестного невинного существа, которое сейчас глядит на нас. Скорее освободите меня от этого ощущения! Позовите ее сюда — из этого мертвенного лунного света, умоляю, позовите ее сюда!

— Вы удивляете меня, мистер Хартрайт. Это позволительно женщинам, но я считала, что мужчины в девятнадцатом веке уже не суеверны.

— Позовите ее сюда!

— Ш-ш!.. Она сама идет к нам. Ничего не говорите при ней. Сохраним в тайне обнаруженное нами сходство, пусть это будет нашим секретом... Идите к нам, Лора, и разбудите миссис Вэзи музыкой. Мистер Хартрайт просит еще музыки, на этот раз ему хочется послушать что-нибудь особенно веселое, живое!

IX

Так закончился мой первый, полный событий день в Лиммеридже.

Мисс Голкомб и я хранили наш секрет, но, кроме неоспоримого факта, что мисс Фэрли и Анна Катерик поразительно похожи друг на друга, ни один новый луч не осветил тайну женщины в белом. При первой же возможности мисс Голкомб осторожно завела со своей сестрой разговор о матери, о прошлых днях и об Анне Катерик. Однако воспоминания мисс Фэрли о маленькой школьнице были весьма смутными и туманными. Она помнила о своем сходстве с любимицей матери, но как о чем-то давно прошедшем. Она не упоминала ни о подаренных белых платьях, ни о странных словах, в которых девочка так безыскусственно выразила свою благодарность миссис Фэрли. Она помнила только, что Анна пробыла в Лиммеридже всего несколько месяцев, а затем вернулась домой, в Хемпшир.

Чтение остальных писем тоже не дало никаких результатов. Мы установили, что та, кого я встретил тогда ночью, была Анной Катерик; мы предположили, что ее белую одежду можно объяснить ее некоторой умственной отсталостью и не угасающей с годами благодарностью к миссис Фэрли, и на этом — как мы тогда думали — наше расследование кончилось.

Время шло, и золотые предвестники осени уже прокладывали себе дорогу сквозь летнюю зелень деревьев. Мирные, мимолетные, блаженные дни! Мой рассказ скользит по ним так же быстро, как проскользнули они. Какие из сокровищ, которыми они так щедро меня дарили, остались со мной, чтобы я мог перечислить их на этих страницах? От них ничего не осталось, кроме самого печального признания, какое только может сделать человек: признания в своем безрассудстве.

Это признание нетрудно сделать, ибо моя сердечная тайна, наверно, стала уже явной. Моя слабая, неудачная попытка описать мисс Фэрли, конечно, уже выдала меня. Так бывает со всеми нами. Наши слова — великаны, когда они во вред нам, и карлики, когда мы ждем от них помощи.

Я любил ее.

О, как хорошо знакома мне та скорбь и та горечь, которыми полны эти три слова! Я могу вздохнуть над моим печальным признанием вместе с самой сострадательной из женщин, читающей эти слова и сожалеющей обо мне. Я могу засмеяться над ними так же горько, как и самый черствый мужчина, который отнесется к ним с презрением. Я любил ее! Сочувствуйте мне или презирайте меня, но я признаюсь в этом, твердо решив сказать всю правду.

Что могло оправдать меня? До некоторой степени те обстоятельства, в которых протекала моя жизнь в Лиммеридже.

Утренние часы я проводил в тихом уединении моих комнат. Работы над реставрацией рисунков моего хозяина у меня было достаточно, для того чтобы руки и глаза мои были заняты, но зато мой разум мог свободно предаваться опасным излишествам своего необузданного воображения. Губительное одиночество — ибо оно длилось достаточно долго, чтобы лишить меня силы воли, и недостаточно долго, чтобы укрепить эту силу. Губительное одиночество — ибо сразу после него в течение многих недель, днем и вечером, я находился в обществе двух женщин, из которых одна обладала большими познаниями, блестящим остроумием, безупречной светскостью, а другая — обаянием красоты, мягкости и правдивости, которые очищают и покоряют сердце мужчины. Ни один день не проходил без опасной близости учителя с ученицей. Так часто рука моя была подле ее руки, щека моя, когда мы наклонялись над альбомом, почти касалась ее щеки! Чем внимательнее следила она за движением моей кисти, тем ближе ко мне был запах ее волос и теплый аромат ее дыхания. Лучистый взор ее очей останавливался на мне во время наших занятий, и порой мне приходилось сидеть так близко от нее, что я дрожал при мысли о прикосновении к ней; порой она так низко наклонялась посмотреть мой рисунок, что голос

ее невольно затихал, когда она обращалась ко мне, и ленты ее шляпы, колеблемые ветром, задевали мое лицо прежде, чем она успевала отвести их.

Наши вечера скорее разнообразили эту близость, чем препятствовали ей. Моя любовь к музыке, которую она исполняла так прелестно, так тонко, и ее непритворная радость оттого, что она может доставить мне своей игрой на рояле удовольствие, какое я доставлял ей своим рисованием, еще крепче завязывали узы, соединившие нас. Случайные слова в разговоре, простота нравов, которая разрешала наше соседство за обеденным столом, блеск остроумия мисс Голкомб, подшучивавшей над усердием учителя и рвением ученицы, даже кроткое одобрение на лице миссис Вэзи, видящей в мисс Фэрли и во мне идеал молодых людей, потому что мы ей никогда не мешали,— все эти и многие другие пустяки сближали нас в непринужденной домашней обстановке и вели нас обоих к одному безнадежному концу.

Я был обязан помнить свое зависимое положение и не давать воли своим чувствам. Я так и сделал, но было уже слишком поздно. Благоразумие и опытность, помогавшие мне устоять против чар других женщин и хранившие меня от других искушений, покинули меня. По роду моей профессии мне приходилось в прошлом часто общаться с молодыми девушками, которые иногда бывали очень красивы. Моя работа была моим правом на место в жизни. Я умел оставлять симпатии, понятные в мои годы, в передних моих хозяев так же хладнокровно, как оставлял внизу зонтик, чтобы пройти наверх. Я давно привык с полным равнодушием относиться к тому, что мое положение учителя рисования считалось достаточной гарантией для того, чтобы какая-либо из моих учениц не почувствовала ко мне нечто большее, чем простой интерес. Я был допущен в общество молодых и привлекательных женщин так же, как допускалось к ним какое-либо безвредное домашнее животное. Я рано научился благоразумию, оно сурово и строго вело меня вперед по моему жизненному пути, не позволяя мне сбиваться с него. А теперь я впервые забыл о нем. Да, с таким трудом давшееся мне умение держать себя в руках и быть равнодушным совершенно оставило меня, как будто никогда его и не было. Я потерял его так же безвозвратно, как это подчас бывает и с другими мужчинами, когда дело

касается женщин. Мне следовало быть начеку с самого первого дня. Я должен был задуматься над тем, почему комната, в которую она входила, казалась мне родным домом, а когда уходила, та же комната становилась пустынной и чужой. Почему я сразу же замечал малейшую перемену в ее туалете, чего никогда не замечал у других женщин; почему я смотрел на нее, слушал ее, касался ее руки, когда мы здоровались утром и прощались на ночь, с чувством, какого никогда до тех пор ни к кому не испытывал. Мне следовало заглянуть в свое сердце, распознать это новое, непонятное, зарождающееся чувство и вырвать его с корнем, пока еще не было поздно. Почему это было немыслимо? Почему я был не в силах сделать это? Я уже ответил в трех словах, со всей простотой и ясностью: я любил ее.

Шли дни и недели, третий месяц моего пребывания в Кумберленде подходил к концу. Блаженная, однообразная, спокойная, уединенная жизнь наша текла, как река, и несла меня на своих волнах. Память прошлого, мысли о будущем, сознание безнадежного и непрочного моего положения — все это молчало во мне. Убаюканный упоительной песней своего сердца, не видя и не сознавая опасности, мне грозившей, я несся все ближе и ближе к роковому концу. Безмолвное предостережение, заставившее меня очнуться и осознать свою непростительную слабость, исходило от нее самой и потому было непререкаемо правдивым и милостивым.

Однажды вечером мы расстались, как обычно. Никогда за все это время ни одного слова о моем чувстве к ней не слетело с моих губ, никогда ничем я ее не потревожил. Но назавтра, когда мы встретились, она сама была другая со мной, она изменилась ко мне — и благодаря этому я все понял.

Мне и сейчас трудно открыть перед всеми святая святых ее сердца, как я открыл свое. Скажу только, что в ту минуту, когда она поняла мою сердечную тайну, она поняла и свою. За одну ночь ее отношение ко мне изменилось. Она была слишком благородна и искренна по своей натуре, чтобы обманывать других и самое себя. Когда смутная догадка, которую я старался усыпить, впервые коснулась ее сердца, ее правдивое лицо выдало все и сказало мне открыто и просто: «Мне жаль вас, мне жаль себя».

Глаза ее говорили и еще что-то, чего я тогда никак не мог понять. Но я понимал, почему с этого дня она, при других приветливая и внимательная ко мне, как только мы оставались одни, хваталась за первое попавшееся занятие, становилась грустной и озабоченной. Я понимал почему нежные губы перестали улыбаться, а ясные го лубые глаза глядели на меня то с ангельским состраданием, то с недоумением ребенка. Но было в ней и что-то еще, чего я не понимал. Рука ее бывала холодна как лед, лицо застывало в неестественной неподвижности, во всех ее движениях сквозил какой-то безотчетный страх и страдальческое смущение, но вызвано это был не тем, что мы осознали нашу взаимную любовь. Она изменилась, и это каким-то образом сблизило нас, но в то же время что-то уводило нас все дальше и дальше друг от друга неизвестно почему.

Мучась сомнениями, чувствуя за всем этим нечто скрытое, я начал искать возможного объяснения в поведении, манерах, выражении лица мисс Голкомб. Живя в постоянной близости, мы не могли не чувствовать и не уметь различать того, что происходит в душе каждого из нас Перемена, происшедшая в Лоре, отразилась и на ее сестре Хотя мисс Голкомб ни единым словом не дала мне понять, что ее отношение ко мне изменилось, проницательные глаза ее теперь все время следили за мной. Иногда во взгляде ее мелькал затаенный гнев, иногда что-то похожее на страх, а иногда нечто такое, чего я опять-таки не понимал.

Прошла неделя, и мы все чувствовали себя напряженно, неловко. Мое положение, отягченное сознанием своей слабости и непозволительной дерзости, слишком поздно мною осознанными, становилось невыносимым Я чувствовал, что должен раз и навсегда сбросить с себя томительный гнет, который мешал мне жить и дышать свободно, но с чего начать или что сначала сказать, я не знал.

Из этого унизительного, беспомощного положения меня вызволила мисс Голкомб. Она сказала мне необходимую, неожиданную правду; ее сердечность поддержала меня, когда я услышал эту горькую правду; в дальнейшем ее трезвый ум и мужество помогли исправить страшную ошибку, грозившую непоправимым несчастьем каждому из нас в Лиммеридже.

X

Это произошло в четверг, к концу моего трехмесячного пребывания в Кумберленде.

Утром, спустившись вниз к завтраку, я впервые не застал мисс Голкомб на ее обычном месте за столом.

Мисс Фэрли была на лужайке перед домом. Она поклонилась мне, но не вошла в столовую. Хотя ни один из нас не сказал другому ничего такого, что могло бы его смутить, все же нас разделяло какое-то странное смущение, и мы избегали оставаться наедине. Она ждала на лужайке, а я в столовой, пока не придет миссис Вэзи или мисс Голкомб. Еще две недели назад как охотно мы пожали бы друг другу руки и заговорили о всякой всячине!

Через несколько минут вошла мисс Голкомб. У нее был озабоченный вид, и она рассеянно извинилась за свое опоздание.

— Меня задержал мистер Фэрли,— сказала она.— Он хотел посоветоваться со мной по поводу некоторых домашних дел.

Мисс Фэрли пришла из сада, и мы поздоровались. Рука ее была холоднее, чем обычно. Она не подняла на меня глаз и была очень бледна. Даже миссис Вэзи заметила это, когда через несколько минут вошла в столовую.

— Это, наверно, оттого, что ветер переменился,— сказала старая дама.— Скоро наступит зима, да, душа моя, скоро наступит зима!

Для нас с ней зима уже наступила!

Наш утренний завтрак, всегда проходивший в оживленных разговорах о том, что мы будем делать в течение дня, на этот раз прошел в молчании. Мисс Фэрли, казалось, чувствовала неловкость этих длинных пауз и умоляюще поглядывала на сестру. Мисс Голкомб наконец не выдержала и сказала:

— Я видела твоего дядю сегодня утром, Лора. Он считает, что следует приготовить красную комнату, и подтверждает то, о чем я тебе уже говорила. Это будет в понедельник — не во вторник.

При этих словах мисс Фэрли опустила глаза. Пальцы ее стали беспокойно перебирать хлебные крошки на скатерти. Не только щеки — даже губы ее побелели и задрожали. Не я один увидел это. Мисс Голкомб тоже

заметила волнение своей сестры и решительно встала из-за стола.

Миссис Вэзи и мисс Фэрли вместе вышли из комнаты. Ласковые, грустные голубые глаза на мгновение остановились на мне в предчувствии наступающей длительной разлуки. Сердце мое сжалось в ответ. Я понял, что мне суждено скоро потерять ее и что любовь моя только окрепнет в разлуке.

Когда дверь за ней закрылась, я направился в сад. Мисс Голкомб стояла с шляпой в руке у большого окна, открывающегося на лужайку, и внимательно смотрела на меня.

— Есть у вас свободное время,— спросила она,— прежде чем вы пойдете к себе работать?

— Конечно, мисс Голкомб, мое время к вашим услугам.

— Я хочу кое-что сказать вам наедине, мистер Хартрайт. Возьмите вашу шляпу и пойдемте в сад. Там нас никто не потревожит в этот ранний час.

Когда мы спустились на лужайку, один из помощников садовника, совсем молодой парень, прошел мимо нас к дому с письмом в руке. Мисс Голкомб остановила его.

— Это письмо ко мне? — спросила она.

— Нет, мисс, мне велено передать его мисс Фэрли,— ответил парень, протягивая ей письмо.

Мисс Голкомб взяла письмо и посмотрела на адрес.

— Незнакомый почерк,— сказала она.— Кто может писать Лоре?.. Где вы взяли это письмо? — продолжала она, обращаясь к садовнику.

— А мне дала его одна женщина,— отвечал тот.

— Что за женщина?

— Такая старая женщина, мисс.

— Вот как! Старая женщина... А вы ее знаете?

— Не могу сказать, чтобы знал ее, мисс. Она мне совершенно незнакома.

— В какую сторону она ушла?

— Туда,— отвечал помощник садовника, широким жестом руки охватывая всю южную сторону Англии.

— Любопытно! — сказала мисс Голкомб.— Наверно, какая-нибудь просьба о помощи... Возьмите,— прибавила она, протягивая ему письмо.— Отнесите в дом и отдайте кому-нибудь из слуг. А теперь, мистер Хартрайт, если вы не возражаете, пойдемте дальше.

Она повела меня той же дорожкой, по которой я следовал за ней в первый день моего пребывания в Лиммеридже. Мы шли молча. У маленького домика, где Лора Фэрли и я впервые увидели друг друга, мисс Голкомб остановилась и сказала:

— То, что я хочу сказать вам, я скажу здесь.

С этими словами она вошла в домик, села за стол и указала мне на стул возле себя. Еще утром в столовой, когда она заговорила со мной, я начал догадываться а теперь твердо знал,— о чем будет речь.

— Мистер Хартрайт,— сказала мисс Голкомб,— я начну с искреннего признания. Я скажу без обиняков я их ненавижу — и без комплиментов — я их презираю,— что за время вашего пребывания у нас я прониклась к вам искренней дружбой и уважением. Вы с самого начала расположили меня к себе вашим отношением к той несчастной женщине, которую вы встретили при таких необычных обстоятельствах. Может быть, ваше поведение в данном случае нельзя назвать осмотрительным, но оно говорит о чуткости и доброте человека, которого можно назвать джентльменом в полном смысле слова. Я ждала от вас только хорошего, и вы не обманули этих ожиданий.

Она умолкла, но жестом дала мне понять, что еще не все сказала. Когда я вошел с нею в домик, я не думал о женщине в белом, но слова мисс Голкомб напомнили мне о моем приключении. Мысль о нем уже не покидала меня в продолжение всего разговора, который закончился совершенно неожиданно...

— Как друг ваш,— продолжала мисс Голкомб,— скажу вам откровенно и напрямик — я поняла вашу сердечную тайну сама, без всякой помощи, без намека со стороны кого бы то ни было. Мистер Хартрайт, вы безрассудно разрешили себе полюбить — боюсь, что глубоко и серьезно,— мою сестру Лору. Я не буду мучить вас, заставляя исповедоваться. Я вижу и знаю, что вы слишком честный человек, чтобы отрицать это. Я не виню вас, но скорблю, что в сердце ваше вкралась любовь, обреченная на безнадежность. Правда, вы не делали никаких попыток говорить об этом моей сестре. Вы виноваты только в слабости и в том, что не умеете блюсти собственные интересы,— больше ни в чем. Если б вы хоть раз поступили менее сдержанно и скромно, я бы приказала вам оставить наш дом немедленно и без предупреждений, я бы ни с кем не стала советоваться. Но в данном случае я виню только ваш возраст и ваше положение — не вас лично. Дайте руку, я причинила вам боль и сделаю еще больнее, но этому помочь нельзя. Дайте сначала руку вашему другу Мэриан Голкомб.

Я был тронут до глубины души этой неожиданной добротой, теплой, благородной, этим бесстрашным дружелюбием, обращенным ко мне, как к равному. Они взывали прямо к моему сердцу, чести, мужеству Я хотел

взглянуть на нее, но глаза мои были влажны, я хотел поблагодарить ее, но голос изменил мне.

— Выслушайте меня,— сказала она, умышленно не замечая моего волнения,— выслушайте, и покончим с этим. Я чувствую истинное облегчение, что могу не касаться вопроса о социальном неравенстве (несправедливого и тягостного, как я считаю) в связи с тем, о чем я вам сейчас должна сказать. Обстоятельства, которые заденут вас за живое, щадят меня, избавляя от жестокой необходимости причинять лишнюю боль человеку, жившему в тесной дружбе под одной крышей со мной, напоминанием об унизительном значении знатности и положения в обществе. Вы должны покинуть Лиммеридж, мистер Хартрайт, пока еще не поздно. Мой долг сказать вам это. Моим долгом было бы сказать вам то же самое — в силу одной серьезной причины,— даже если бы вы принадлежали к самой древней и богатой фамилии в Англии. Вы должны оставить нас не потому, что вы учитель рисования...— Она помолчала с минуту, посмотрела мне прямо в лицо и твердо положила свою руку на мою.— Не потому, что вы учитель рисования,— повторила она,— но потому, что Лора Фэрли помолвлена и выходит замуж.

Эти последние слова, как выстрел, пронзили мне сердце. Рука моя перестала чувствовать пожатие ее руки. Я молчал, я не шевелился. Резкий осенний ветер, круживший мертвые листья у наших ног, вдруг дохнул на меня ледяным дыханием, будто безумные надежды мои были тоже мертвыми листьями, уносимыми ветром. Надежды! Помолвленная или нет — все равно она была недосягаема для меня. Вспомнили бы об этом другие на моем месте? Нет, если б они любили, как я.

Удар обрушился, и не осталось ничего, кроме тупой, сковывающей боли. Мисс Голкомб снова сжала мою руку. Я поднял голову и взглянул на нее. Ее большие черные глаза были прикованы к моему лицу, они заметили, как я был бледен, я чувствовал это.

— Покончите с этим! — сказала она.— Здесь, где вы впервые ее увидали, покончите с этим! Не малодушничайте, как женщина. Вы должны вырвать это из сердца, как мужчина!

Сдержанная страсть, звучащая в ее словах, сила ее воли, повелительный взгляд, устремленный на меня, заставили меня очнуться. Через минуту я мог оправдать ее веру в мое мужество. Я, по крайней мере внешне, овладел собой.

— Вы пришли в себя?

— Да, мисс Голкомб, достаточно, чтобы просить прощения у нее и у вас; достаточно для того, чтобы последовать вашему совету и хоть этим доказать мою благодарность за ваше предостережение.

— Вы уже доказали ее своим ответом,— произнесла она.— Мистер Хартрайт, нам нечего больше скрывать друг от друга. Я не утаю от вас, что моя сестра, сама того не сознавая, выдала себя. Вы должны покинуть нас ради нее, не только ради себя. Ваше присутствие здесь, ваша вынужденная близость — безобидная, видит бог, во всех отношениях — мучит и тревожит ее. Я, которая любит ее больше жизни, я, которая научилась верить в это чистое, благородное, невинное сердце, как я верю в бога, слишком хорошо знаю, что тайные угрызения терзают ее, с тех пор как, вопреки ей самой, первая тень неверности по отношению к предстоящему браку закралась в ее сердце. Я не говорю — было бы бесполезно говорить это после всего случившегося,— что эта помолвка когда-либо сильно затрагивала ее чувство. Ее помолвка — дело чести, а не любви. Отец на смертном одре два года назад благословил ее на этот брак. Сама она ни обрадовалась, ни отказалась — она просто дала свое согласие. До вашего приезда она была в таком же положении, как и сотни других женщин, которые выходят замуж не по сердечной привязанности и учатся любить (или ненавидеть) мужа уже после свадьбы, а не до нее. Я не могу выразить, как глубоко я надеюсь — так же как и вы должны самоотверженно надеяться,— что новое чувство, нарушившее ее прежнее спокойствие и безмятежность, не пустило еще в ее сердце таких глубоких корней, которые нельзя уже будет вырвать. Ваше отсутствие (если бы я не была непоколебимо уверена в вашей чести, мужестве и здравом смысле, я бы не доверилась вам, как доверяюсь сейчас), ваше отсутствие поможет моим стараниям, а время поможет нам троим. Отрадно знать, что не напрасно я с самого начала почувствовала к вам доверие, отрадно знать, что и на этот раз вы будете таким же честным, мужественным и великодушным к вашей ученице, в отношении которой

вы имели несчастье забыться, каким вы были к той незнакомой и отверженной, которая обратилась к вам за помощью.

Опять женщина в белом! Разве нельзя было, говоря о мисс Фэрли и обо мне, не воскрешать памяти об Анне Катерик и не ставить ее между нами, как роковое предопределение, избежать которого нет никакой надежды?

— Скажите мне, как оправдать перед мистером Фэрли нарушение нашего договора? — сказал я.— И после того как он согласится отпустить меня, скажите, когда мне уехать? Я обещаю слепо повиноваться вам и вашим советам.

— Время не терпит,— отвечала она.— Вы слышали, утром я упомянула о следующем понедельнике и о необходимости привести в порядок комнату для гостей. Гость, которого мы ждем в понедельник...

Я был не в силах дождаться конца ее фразы. Вспомнив поведение и выражение лица мисс Фэрли за утренним завтраком, я понял, что гость, которого ждали в Лиммеридже, был ее будущий муж. Я не мог сдержаться, это было сильнее моей воли. Я прервал мисс Голкомб.

— Разрешите мне уехать сегодня,— сказал я горько.— Чем скорее, тем лучше...

— Нет, не сегодня,— возразила она.— Единственный предлог, на который вы можете сослаться, чтобы объяснить мистеру Фэрли ваш отъезд до истечения срока договора,— это то, что в силу непредвиденных обстоятельств вы вынуждены просить у него разрешения немедленно вернуться в Лондон. Вы должны подождать до завтра и поговорить с ним после утренней почты, тогда он отнесет перемену ваших планов за счет якобы полученного вами письма из Лондона. Нехорошо и нечестно прибегать к обману, даже самому безобидному, но я слишком хорошо знаю мистера Фэрли: если только ему придет в голову, что все это выдумка, он вас никогда не отпустит. Поговорите с ним в пятницу утром; займитесь после этого (в ваших собственных интересах и в интересах вашего хозяина) вашей неоконченной работой. Оставьте все в полном порядке и уезжайте отсюда в субботу утром. Таким образом, у вас хватит времени, мистер Хартрайт, да и у нас тоже.

Прежде чем я мог ей ответить, что все ее желания будут исполнены, мы оба услышали приближающиеся шаги.

Кто-то из домашних искал нас. Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло. Неужели к нам шла мисс Фэрли?

С облегчением, горестным и безнадежным — до такой степени изменилось уже мое положение,— я увидел, что это была только ее горничная.

— Можно попросить вас на минуту, мисс? — сказала девушка взволнованно и смущенно.

Мисс Голкомб спустилась к ней, и они отошли на несколько шагов.

Оставшись один, я с безнадежной грустью, описать которую не в силах, стал думать о моем бесславном возвращении к горестному одиночеству в моей бедной комнате в Лондоне. Воспоминания о моей доброй старенькой матушке и сестре, которые так радовались моей службе в Кумберленде, мысли о том, что я постыдно забыл их и только сейчас впервые о них вспомнил, нахлынули на меня, будя во мне горестное раскаяние,— так упрекали бы меня старые забытые друзья. Что почувствуют мои мать и сестра, когда я вернусь к ним, бросив службу, с исповедью о моем безрассудстве? Они, возлагавшие на меня столько надежд в тот памятный, счастливый прощальный вечер в Хемпстеде!..

Опять Анна Катерик! Даже воспоминание о прощальном вечере с матушкой и сестрой было теперь связано для меня с другим воспоминанием: об освещенной луной дороге в Лондон. Что это означало? Должны ли я и эта женщина снова встретиться? Возможно. Знала ли она, что я живу в Лондоне? Я ведь сам сказал ей об этом до или после того, как она недоверчиво спросила, много ли у меня знакомых баронетов. До или после? Я был слишком взволнован, чтобы вспомнить, когда именно.

Прошло несколько минут, прежде чем мисс Голкомб вернулась, отпустив горничную. Она была тоже явно взволнована.

— Мы с вами условились обо всем необходимом, мистер Хартрайт,— сказала она.— Мы поняли друг друга, как настоящие друзья, и теперь можем вернуться домой. Признаюсь, я беспокоюсь о Лоре. Она прислала сказать, что хочет немедленно видеть меня. Горничная говорит, что барышню очень встревожило какое-то письмо, которое она получила сегодня утром,— несомненно, то самое, которое я велела отнести в дом, когда мы шли сюда.

Мы поспешили обратно. Мисс Голкомб уже сказала мне то, что хотела, я же сказал ей далеко не все. С той самой минуты, как я узнал, что гость, которого ждут в Лиммеридже,— будущий муж мисс Фэрли, я чувствовал жгучее любопытство, горькую необходимость узнать, кто он. По всей вероятности, мне не представилась бы новая возможность спросить об этом, и я решил сделать это теперь.

— Вы с такой добротой сказали, что мы понимаем друг друга, мисс Голкомб. Теперь, когда вы поверили в мою благодарность и готовность последовать всем вашим советам, могу ли я спросить, кто...— Я замялся. Я заставил себя думать о нем, но как трудно было назвать его ее будущим мужем! — Кто этот джентльмен, за которого выходит мисс Фэрли?

Очевидно, она была всецело поглощена мыслями о сестре. Она рассеянно отвечала:

— Владелец большого поместья в Хемпшире.

Хемпшир... где родилась Анна Катерик. Снова женщина в белом. В этом было что-то роковое.

— А его имя? — спросил я как можно равнодушнее и спокойнее.

— Сэр Персиваль Глайд.

Сэр... сэр Персиваль. Вопрос Анны Катерик про баронетов, с которыми я мог быть знаком, снова припомнился мне. Я внезапно остановился и посмотрел на мисс Голкомб.

— Сэр Персиваль Глайд,— повторила она, думая, что я не расслышал.

— Он баронет? — спросил я с нескрываемым волнением.

Она помедлила, а потом довольно холодно ответила:

— Баронет.

XI

На обратном пути домой мы не сказали больше ни слова. Мисс Голкомб поспешила подняться к сестре. Я вернулся в свою студию, чтобы привести в порядок, прежде чем передать их в другие руки, те рисунки мистера Фэрли, которые я еще не успел реставрировать и окантовать. Когда я остался один, на меня лавиной нахлынули

мысли, которые я отгонял раньше, мысли, которые делали мое положение еще более тягостным.

Она выходит замуж. Ее мужем будет сэр Персиваль Глайд. Он баронет и владелец поместья в Хемпшире.

В Англии были сотни баронетов и десятки владельцев поместий в Хемпшире. Судя по всему, пока что у меня не было ни малейших оснований подозревать, что слова женщины в белом имели отношение к сэру Персивалю Глайду, баронету. И все же я почувствовал, что они относились именно к нему. Потому ли, что теперь я знал, что он имеет отношение к мисс Фэрли, а та, в свою очередь, к Анне Катерик, с той самой ночи, когда я убедился в их сходстве? Потому ли, что утренние события взволновали меня и я был весь во власти воображаемых страхов из-за простых совпадений, простых случайностей? Но разговор с мисс Голкомб на обратном пути из летнего домика оказал на меня странное влияние. Предчувствие какой-то страшной опасности, подстерегавшей нас в неизвестном будущем, овладело мной целиком. Я почувствовал, что теперь я — одно из звеньев той цепи событий, разорвать которую не сможет даже мой отъезд из Кумберленда. Мучительные мысли о том, к чему все это приведет, чем все это кончится, все более омрачали мою душу. Каким бы горьким ни было мое страдание из-за несчастного конца моей дерзкой любви, оно было притуплено и приглушено еще более сильным страданием: предчувствием, что со временем с нами неминуемо случится нечто совершенно непредвиденное и грозное...

Я работал уже около получаса, когда в мою дверь постучали. На мой вопрос: «Кто там?» — дверь открылась, и, к моему удивлению, в комнату вошла мисс Голкомб.

Она была чем-то разгневана и сильно взволнована. Прежде чем я успел предложить ей сесть, она схватила стул и опустилась на него подле меня.

— Мистер Хартрайт,— сказала она,— мне казалось, что всякие неприятные разговоры уже окончены, по крайней мере на сегодня. Но это не так. Кто-то затеял гадкую интригу с целью испугать мою сестру и помешать ее замужеству. Вы видели, что я велела садовнику отнести в дом письмо, адресованное мисс Фэрли?

— Конечно.

— Это анонимное письмо, гнусная попытка опорочить сэра Персиваля Глайда в глазах моей сестры. Оно испугало и встревожило ее, и мне с трудом удалось ее успокоить, прежде чем я смогла оставить ее одну и прийти сюда. Я знаю, что не имею права советоваться с вами о наших семейных делах, они не могут представлять для вас интереса...

— Простите меня, мисс Голкомб, я чувствую живейший интерес ко всему, что касается мисс Фэрли или вас.

— Я рада, что вы это сказали. Вы единственный человек в доме, да и вне дома, с которым я могу посоветоваться. Мистер Фэрли так носится со своими нервами и приходит в такой ужас при малейшей мысли о каких-нибудь затруднениях, что обращаться к нему нет никакого смысла. Наш священник — хороший, но слабохарактерный человек, он способен заниматься только делами своего прихода, а наши соседи — просто равнодушные знакомые, которых никак нельзя беспокоить в минуты треволнений и опасностей. Посоветуйте: следует ли мне предпринимать немедленные шаги к выяснению, кто автор этого письма, или подождать до завтра и обратиться к поверенному мистера Фэрли? Стоит ли терять целый день или нет? Это очень важно. Как вы думаете, мистер Хартрайт? Если бы необходимость не заставила меня в разговоре с вами упомянуть о некоторых обстоятельствах, конечно, можно было бы считать непростительным, что сейчас я обращаюсь именно к вам. Но после всего, что было между нами сегодня, право, я могу не принимать во внимание, что мы с вами знакомы всего три месяца.

Она подала мне письмо. Оно начиналось сразу, без обращения, вот так:

«Верите ли вы в сны? Я надеюсь, что да, ради вас самих. Посмотрите, что говорится о снах в священном писании, и выслушайте предостережение, пока еще не поздно.

Прошлой ночью я видела сон о вас, мисс Фэрли. Мне снилось, что я стою в церкви. Я — по одну сторону аналоя, а священник с молитвенником в руках — по другую.

Через некоторое время в церковь вошли двое — мужчина и женщина, чтобы сочетаться браком. Той женщиной были вы. В чудесном белом атласном платье, в длинной

белой прозрачной фате вы выглядели такой красивой и невинной, что сердце замерло во мне и глаза мои наполнились слезами.

Слезы эти были благословенными слезами жалости, моя молодая леди, и, вместо того чтобы литься из моих глаз, как текут слезы у всех нас, они превратились в два светлых луча, которые все дальше и дальше устремлялись от меня к мужчине, стоявшему с вами перед аналоем, пока не коснулись его груди. Два луча, как две светлые радуги, протянулись между ним и мной. Я посмотрела, куда они указывали, и заглянула в самую глубину его сердца.

Внешность мужчины, за которого вы выходили замуж, была весьма приятной. Он был не высок и не низок — чуть ниже среднего роста. Оживленный, веселый, довольный, лет сорока пяти. У него было бледное лицо и облысевший лоб, у него были темные волосы и красивые каштановые бакенбарды. Глаза карие и очень блестящие; нос такой прямой, красивый и тонкий, что подошел бы и женщине. И руки тоже. Время от времени его беспокоил сухой, отрывистый кашель, и когда он прикрывал рот рукой, на ней виднелся багровый рубец от старой раны. Такой ли он, как снился мне? Вам лучше знать, мисс Фэрли, вы сами знаете — ошиблась я или нет. Читайте дальше. Узнайте, что я увидела под его внешней оболочкой,— заклинаю вас, читайте себе на пользу.

Я посмотрела туда, куда шли лучи, и заглянула в самое его сердце. Оно было черным, как ночь, и на нем было написано пылающими, огненными буквами рукою падшего ангела: «Без сострадания и без раскаяния. Он сеял горести на пути других и будет жить, сея горести на пути той, что стоит подле него». Я прочитала это, и тогда лучи переместились и устремились за его плечо: за ним стоял дьявол и смеялся. И лучи переместились вновь и устремились за ваше плечо: за вами стоял ангел и плакал. И в третий раз переместились лучи и легли между вами и этим человеком. Они ширились и ширились, оттесняя вас друг от друга. И священник напрасно искал венчальную молитву — она исчезла из книги, и он перестал листать книгу и закрыл ее, отчаявшись. А я проснулась в слезах, и сердце мое разрывалось от горя, ибо я верю в сны.

Верьте тоже, мисс Фэрли, молю вас, ради вас самих

верьте, верьте, как я. Иосиф и Даниил и другие в священном писании верили в сны.

Разузнайте о прошлом этого человека с рубцом на руке, прежде чем произнести слова, которые сделают вас его несчастной женой. Я предупреждаю вас не ради себя, но ради вас. Забота о вашем благополучии будет жить во мне до последнего моего дыхания. Дочь вашей матери в сердце моем, ибо мать ваша была моим первым, лучшим, моим единственным другом».

На этом без всякой подписи это удивительное письмо заканчивалось. Оно было написано довольно неразборчиво на линованной бумаге, усеянной кляксами. Почерк был несколько слаб и неясен, но ничем особым не отличался.

— Это письмо не безграмотное,— сказала мисс Голкомб,— и в то же время оно, конечно, слишком несвязное, чтобы предположить, что его писал образованный человек из высшего круга. Описание подвенечного платья и фаты и некоторые другие выражения говорят о том, что его писала женщина. Как по-вашему, мистер Хартрайт?

— Я тоже так думаю. Не только женщина, но женщина, чей рассудок, должно быть...

— ...расстроен? — подсказала мисс Голкомб.— Мне тоже так показалось.

Я не отвечал. Глаза мои были прикованы к последней фразе письма. «Дочь вашей матери в сердце моем, ибо мать ваша была моим первым, лучшим, моим единственным другом». Эти слова и мои сомнения в здравом смысле пишущего подсказывали мне предположение, о котором я боялся подумать, не то чтобы высказать его вслух. Я начинал опасаться за собственный рассудок. Не было ли это просто навязчивой мыслью — во всем непонятном находить следы одного и того же зловещего влияния, угадывать один и тот же скрытый источник. На этот раз я решил не поддаваться искушению и не высказывать никаких предвзятых предположений и догадок.

— Если есть малейшая возможность доискаться, кто писал это письмо,— сказал я, возвращая его мисс Голкомб,— я считаю, что никакого вреда не будет, если мы начнем искать сейчас же, немедленно. Надо расспросить садовника о старухе, которая дала ему письмо, а затем навести справки в деревне. Но сначала разрешите задать вам один вопрос. Вы сказали, что можете посоветоваться

с поверенным мистера Фэрли завтра. Зачем откладывать? Почему не сделать этого сегодня?

— Я объясню вам,— отвечала мисс Голкомб.— Мне придется коснуться некоторых подробностей, относящихся к помолвке моей сестры. Я не видела необходимости упоминать о них утром в разговоре с вами. Сэр Персиваль Глайд приезжает сюда в понедельник, чтобы условиться о том, когда именно состоится свадьба. Ведь этот вопрос не был решен. Он хочет, чтобы свадьба была до конца года.

— Мисс Фэрли знает об этом? — спросил я нетерпеливо.

— Нет, и не подозревает. После всего происшедшего я не могу взять на себя ответственность сказать ей об этом. Сэр Персиваль Глайд говорил по этому поводу с мистером Фэрли, и тот сам сказал мне, что, как опекун Лоры, он готов пойти навстречу желаниям сэра Персиваля. Мистер Фэрли написал поверенному нашей семьи, мистеру Гилмору. Тот должен был уехать по делам в Глазго, но ответил, что на обратном пути он заедет в Лиммеридж. Завтра он приезжает и пробудет с нами несколько дней, чтобы сэр Персиваль Глайд мог представить ему свои доводы для ускорения свадьбы. Если сэру Персивалю это удастся, то мистер Гилмор вернется в Лондон уже с распоряжением насчет приданого моей сестры и брачного контракта. Вы понимаете теперь, мистер Хартрайт, почему я сказала, что завтра мы сможем посоветоваться с юристом. Мистер Гилмор — испытанный друг двух поколений семьи Фэрли, мы можем вполне ему довериться.

Брачный контракт! Эти слова наполняли меня отчаянием ревности, заглушавшим все лучшее, что было во мне. Я подумал — мне трудно признаться в этом, но я не должен скрывать ничего из подробностей этой ужасной истории, которую я теперь решил обнародовать,— я подумал о туманных обвинениях против сэра Персиваля Глайда, содержащихся в анонимном письме, и во мне вспыхнула отвратительная надежда. Что, если эти дикие обвинения справедливы? Что, если правда будет доказана до того, как решающее слово будет произнесено и брачный контракт заключен? Я хотел бы считать, что чувство, владевшее мной тогда, было всецело связано с заботой о благополучии мисс Фэрли. Но я должен признаться, что

мною владела безрассудная, мстительная, безнадежная ненависть к человеку, который должен был стать ее мужем.

— Если мы хотим знать правду,— сказал я под влиянием этого нового чувства,— не будем терять ни минуты. Я еще раз советую расспросить садовника и после пойти в деревню.

— Я думаю, что могу помочь вам и в том и в другом,— сказала мисс Голкомб.— Пойдемте вместе, мистер Хартрайт, и сделаем все, что только возможно.

Я уже хотел было открыть перед нею двери, но остановился, чтобы задать ей один важный вопрос, прежде чем мы выйдем из комнаты.

— В анонимном письме подробно описана внешность жениха,— сказал я.— Имя сэра Персиваля Глайда не упомянуто, я знаю. Но похож ли он на этот портрет?

— Все точно. Даже то, что ему сорок пять лет.

Сорок пять. А ей не было еще и двадцати одного года. Мужчины его возраста часто женились на молоденьких девушках, что, как известно, иногда не мешало этим бракам быть счастливыми. Я знал это. Но даже упоминание о его зрелом возрасте в сравнении с ее юностью усилило мою слепую ненависть и недоверие к нему.

— Все точно,— продолжала мисс Голкомб,— даже то, что у него рубец на правой руке. Это рубец от раны, полученной им несколько лет назад во время путешествия по Италии. Внешность его, несомненно, хорошо известна автору анонимного письма.

— А кашель, о котором тоже упомянуто, насколько я помню?

— Да, даже это правда. Он не обращает на кашель внимания, но подчас это тревожит его друзей.

— Я полагаю, никаких слухов, порочащих его, не доходило до вас?

— Мистер Хартрайт! Я надеюсь, вы достаточно справедливы, чтобы не поддаться влиянию этого гнусного письма.

Я почувствовал, что краснею, ибо письмо, безусловно, повлияло на меня.

— Надеюсь, что нет,— отвечал я смущенно.— Может быть, я не имел права задавать этот вопрос?

— Я не жалею, что вы об этом спросили,— сказала она,— потому что могу отдать должное репутации сэра

Персиваля. Никаких слухов, порочащих его, никогда не доносилось ни до кого из нашей семьи, мистер Хартрайт. Он два раза успешно баллотировался на выборах и прошел это испытание не опороченный. Человек, которому удалось это в Англии,— человек с установившейся безупречной репутацией.

Я молча открыл перед нею двери и последовал за нею. Она не убедила меня. Если бы ангел спустился с неба, чтобы подтвердить правоту ее слов, даже он не убедил бы меня.

Мы застали садовника за обычной работой. Но из глупого парня ничего нельзя было вытянуть. Женщина, которая дала ему письмо, была старухой. Она ему ни слова не сказала. Она ушла в направлении к югу. Вот все, что мог рассказать нам садовник.

XII

Мы терпеливо расспрашивали самых разнообразных людей во всех концах деревни и тщательно наводили справки по всему Лиммериджу. Но все наши розыски ни к чему не привели. Трое из жителей деревни уверяли нас, что видели именно ту женщину, которую мы искали, но ни один из них не мог описать ее внешности и указать, в какую сторону она ушла. В общем, они помогли нам не больше, чем их ненаблюдательные соседи.

Наша любознательность вскоре привела нас на край деревни, где находилась школа, когда-то основанная миссис Фэрли. Проходя мимо здания, предназначенного для мальчиков, я предложил для успокоения совести навести напоследок справки у учителя, предполагая, что по роду своей службы он должен быть самым осведомленным человеком в деревне.

— Боюсь, что в то время, когда эта женщина проходила мимо школы,— сказала мисс Голкомб,— учитель был занят уроками. Все же попробуем.

Мы вошли во двор и обогнули здание, чтобы войти в школу. Проходя мимо окна, я остановился и заглянул в него.

Учитель сидел за кафедрой, спиной ко мне. По-видимому, он читал нотацию школьникам, которые собрались вокруг него. Только один крепкий белобрысый мальчуган стоял отдельно от всех, на табуретке в углу. Беспомощный

маленький Робинзон Крузо, одинокий, затерянный на своем пустынном островке в наказание за какой-то проступок.

Дверь была открыта настежь, когда мы подошли к ней, и голос учителя отчетливо доносился до нас. Мы на минуту остановились у порога.

— Ну, так вот, дети,— говорил учитель,— запомните, что я вам скажу. Если в нашей школе я услышу еще хоть одно слово о привидениях, всем вам не поздоровится. Привидений нет. Они не существуют на свете, а потому всякий мальчик, верящий в них, верит в то, чего нет; а мальчик, посещающий нашу школу и верящий в то, чего нет, идет наперекор здравому смыслу и тем самым нарушает дисциплину, а посему подлежит строгому наказанию. Все вы видите Джекоба Постлвейта вон там, на позорной табуретке. Он наказан вовсе не за то, что, по его словам, вчера вечером он видел привидение. Он наказан за то, что слишком дерзок и упрям, чтобы внять голосу рассудка, и настойчиво твердит о своем привидении, несмотря на мои слова, что привидений нет, быть не может и никогда не бывает. Если Джекоб Постлвейт не образумится, я палкой выколочу из него привидение! А если эту глупость будут повторять за ним остальные, я приму меры и выколочу рассказы о привидениях из всех школьников!

— Кажется, мы выбрали неподходящее время для визита,— сказала мисс Голкомб, открывая двери и решительно направляясь в класс.

Наше появление произвело огромное впечатление на мальчишек. По-видимому, они решили, что мы пришли специально для того, чтобы посмотреть, как будут пороть Джекоба Постлвейта.

— Идите домой обедать,— сказал учитель.— Все, кроме Джекоба. Он останется стоять, где стоял. Пусть привидение принесет ему поесть, если хочет.

При исчезновении товарищей и надежды на обед мужество покинуло юного Джекоба. Он вынул руки из карманов, посмотрел на них, медленно поднес к глазам и начал старательно тереть глаза кулаками, сопровождая эту работу приступами сопения через правильные промежутки времени.

— Мы зашли спросить вас кое о чем, мистер Демпстер,— сказала мисс Голкомб, обращаясь к учителю.— Мы никак не ожидали, что вы будете изгонять привидения. Что это значит? Что случилось?

— Этот скверный мальчишка напугал всю школу, заявив, что вчера вечером видел привидение,— отвечал учитель.— Он упрямо настаивает на своей глупой выдумке, несмотря на все мои уговоры и доводы.

— Удивительно! — сказала мисс Голкомб.— Я и не думала, что у какого-нибудь мальчишки хватит фантазии увидеть привидение. От всей души желаю вам справиться с этим дополнением к вашей тяжелой задаче — воспитывать юные умы в Лиммеридже, мистер Демпстер, и успешно искоренить их суеверие. А пока разрешите объяснить, почему я здесь и чего я хочу.

Она задала учителю тот же вопрос, который мы задавали почти каждому из жителей деревни. Последовал тот же обескураживающий ответ: мистер Демпстер и в глаза не видел ту, кого мы искали.

— Пожалуй, мы можем вернуться домой,— сказала мисс Голкомб.— Сведений, которые нам нужны, мы, очевидно, не получим.

Она поклонилась учителю и была уже готова выйти из класса, когда унылая фигура Джекоба Постлвейта, жалобно сопевшего на покаянном месте, привлекла ее внимание. Она остановилась, чтобы на прощанье подбодрить маленького узника.

— Ты глупыш,— сказала она,— почему бы тебе не попросить прощенья у мистера Демпстера и не попридержать язык насчет привидений!

— Так ведь я же его видел! — упорствовал Джекоб Постлвейт и, выпучив глаза от ужаса, захлебнулся в слезах.

— Вздор и чепуха! Ничего подобного ты не мог видеть! Привидение! Вот как! Какое же привидение...

— Прошу прощенья, мисс Голкомб,— сказал учитель несколько смущенно,— мне кажется, что лучше не расспрашивать мальчика. Он несет невероятную чепуху и может по недомыслию...

— Может... что? — быстро спросила мисс Голкомб.

— Расстроить вас,— отвечал мистер Демпстер, сам явно расстроенный.

— Право, мистер Демпстер, вы льстите мне, считая меня настолько нервной особой, что подобные выдумки могут меня расстроить.— И она насмешливо повернулась

к Джекобу.— А ну-ка,— сказала она,— расскажи мне об этом. Ты, скверный мальчишка, когда ты видел привидение?

— Вчера на закате,— отвечал Джекоб.

— А, так ты видел его в сумерках. На что же оно было похоже?

— Все белое, как и полагается привидению,— отвечал этот знаток привидений с непоколебимой убежденностью.

— Где ж оно было?

— А вон там, на кладбище, как и полагается.

— «Такое, как полагается, и там, где полагается». Плутишка, ты говоришь о привидениях, будто знаешь их с колыбели! Но во всяком случае, ты хорошо затвердил свой урок. Наверно, ты можешь сказать, чей это был призрак?

— Ну конечно, могу! — отвечал Джекоб, мрачно и победоносно кивая головой.

Мистер Демпстер уже несколько раз делал попытки перебить своего ученика. На этот раз он прервал мальчика так решительно, что его услышали.

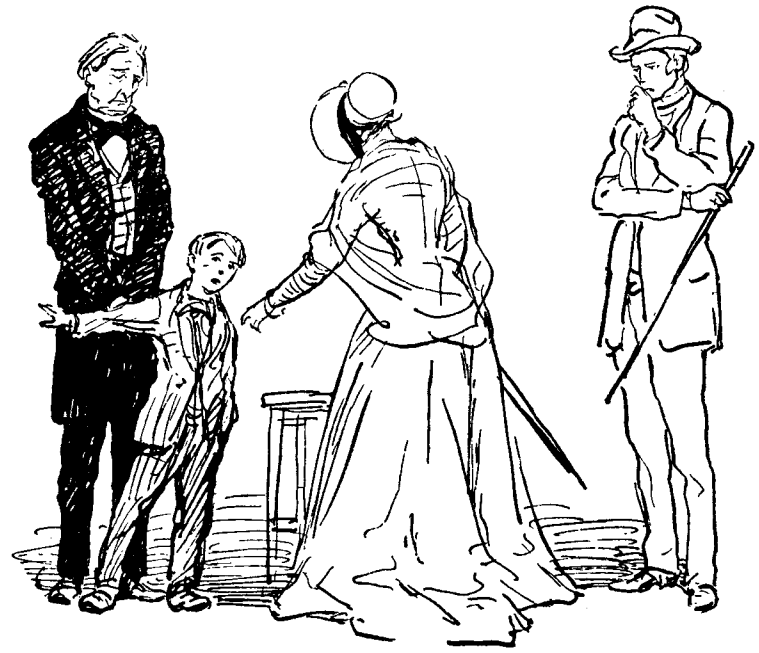
— Простите меня, мисс Голкомб,— сказал он.— Осмелюсь заметить, что вы только поощряете дурные наклонности мальчика, задавая ему эти вопросы.

— Я только задам ему еще один вопрос, мистер Демпстер, и буду вполне удовлетворена. Ну,— продолжала она, обращаясь к мальчику,— чей же это был призрак?

— Призрак миссис Фэрли,— отвечал Джекоб шепотом.

Впечатление, которое этот потрясающий ответ произвел на мисс Голкомб, полностью оправдало тревогу учителя, пытавшегося помешать разговору. Покраснев от негодования, она кинулась к маленькому Джекобу так гневно и стремительно, что тот от испуга разразился новым потоком слез. Но она тут же взяла себя в руки и, ничего не сказав ему, обратилась к учителю.

— Бесполезно считать такого ребенка ответственным за свои слова,— сказала она.— Я не сомневаюсь, что кто-то другой внушил ему эту глупость. Нет ни одного человека в деревне, который не был бы чем-либо обязан моей матери, и если есть люди, которые забыли об уважении и благодарности к ее памяти, я разыщу их. Если



я имею хоть каплю влияния на мистера Фэрли, они жестоко поплатятся.

— Думаю — нет, больше того: я уверен, мисс Голкомб, что вы ошибаетесь,— сказал учитель.— Все это от начала до конца просто выдумка этого глупого мальчишки. Он видел или ему показалось, что видел, женщину в белом, когда он шел вчера вечером через кладбище. Эта фигура будто бы стояла у мраморного креста, который в Лимеридже все знают как памятник над могилой миссис Фэрли. Этого было достаточно, чтобы подсказать мальчику ответ, который, естественно, так поразил вас.

Мисс Голкомб, очевидно, почувствовала, что объяснение школьного учителя слишком разумно, чтобы его открыто оспаривать, хотя, по-видимому, была не вполне с ним согласна. Она ничего не сказала и, поблагодарив мистера Демпстера, обещала повидать его, когда ее сомнения рассеются. Потом она поклонилась и вышла из класса.

Во время этой странной сцены я стоял в стороне,

внимательно слушал и делал свои выводы. Как только мы остались вдвоем, мисс Голкомб спросила меня, какого я мнения обо всем услышанном.

— У меня сложилось вполне определенное мнение,— отвечал я.— Я уверен, что рассказ мальчика основан на подлинном факте. Признаюсь, мне очень хотелось бы увидеть памятник над могилой миссис Фэрли и осмотреть землю вокруг него.

— Хорошо, вы увидите могилу.

Мы пошли к кладбищу. Она молчала, глубоко задумавшись.

— То, что произошло в школе,— сказала она наконец,— так отвлекло меня от того письма, что я просто не могу сосредоточиться на мысли о нем. Может быть, не стоит больше наводить справки, а подождать до завтра и передать всё в руки мистера Гилмора?

— Ни в коем случае, мисс Голкомб. Напротив! То, что произошло в школе, убеждает меня в необходимости вести дальнейшие розыски.

— Почему?

— Подозрение, зародившееся во мне, когда я прочитал анонимное письмо, теперь подтвердилось.

— По всей вероятности, мистер Хартрайт, у вас были до сих пор основания скрывать от меня ваше подозрение?

— Я сам боялся думать о нем. Я считал его совершенно нелепым, необоснованным, мне казалось, что оно плод моего больного воображения. Но я больше этого не думаю. Не только ответы мальчика, но и случайная фраза, слетевшая с уст учителя, утвердили меня в моем предположении. Возможно, дальнейшее докажет, что я заблуждаюсь, мисс Голкомб, но сейчас я твердо уверен, что мнимый призрак на кладбище и автор анонимного письма — это одно и то же лицо.

Она остановилась, побледнела и пытливо посмотрела на меня:

— Кто же это?

— Школьный учитель, сам того не зная, ответил вам. Говоря о фигуре, которую мальчик видел на кладбище, учитель сказал: «Женщина в белом».

— Неужели Анна Катерик?

— Да, Анна Катерик.

Она тяжело оперлась на мою руку.

— Я не знаю отчего,— сказала она тихо,— но ваше подозрение приводит меня в ужас и надрывает мне сердце. Я чувствую...— Она остановилась и сделала попытку улыбнуться.— Мистер Хартрайт,— продолжала она,— я покажу вам могилу и сразу же пойду домой. Лору нельзя оставлять одну надолго. Я лучше вернусь и побуду с ней.

Мы подошли к самому кладбищу. Церковь, угрюмое здание из серого камня, стояла в небольшой ложбине, защищенной от суровых ветров, дувших через поросшую вереском равнину, которая простиралась вокруг.

Могилы тянулись по склону холма — немного дальше от церкви. Невысокая стена из грубого камня окружала кладбище; оно лежало под небом голое и открытое. Лишь в глубине его группа хилых деревцов бросала скупую тень на хилую, редкую траву да быстрый ручеек протекал по каменистому руслу. На кладбище можно было пройти с трех сторон, там, где к ограде примыкали снаружи и изнутри широкие каменные ступени. Неподалеку от одного из таких входов, за ручьем и деревцами, возвышался мраморный крест над могилой миссис Фэрли, резко отличавшийся от скромных надгробий, которые стояли вокруг.

— Теперь я могу не идти с вами дальше,— сказала мисс Голкомб, указывая на мраморный крест.— Вы, конечно, расскажете мне, если обнаружите что-нибудь подтверждающее вашу догадку. Давайте встретимся дома.

Она ушла, оставив меня одного. Я перешел по каменным ступеням на кладбищенскую дорожку, которая вела прямо к могиле миссис Фэрли.

Трава кругом была слишком скудная и почва слишком твердая, чтобы можно было разглядеть чьи-то следы. Не найдя их, я стал внимательно разглядывать мраморный крест и плиту под ним, на которой была выгравирована надпись.

Белый мрамор был местами покрыт пятнами от непогоды, но часть плиты обращала на себя внимание девственной, ничем не запятнанной белизной. Я стал присматриваться и понял, что ее вытирали или мыли совсем недавно. Несомненно, это было сделано чьими-то заботливыми руками, ибо чистое место резко выделялось на потускневшем мраморе. Казалось, кто-то начал чистить

памятник и второпях не успел докончить свою работу. Кто же это мог быть?

Я постоял, раздумывая над этим. Оттуда, где я находился, не было видно и признака жилья. Вокруг меня было царство мертвых. Я вернулся к церкви, обошел ее и вышел за церковную ограду. Передо мной была тропинка, которая вела вниз, к заброшенной каменоломне. На склоне оврага стоял домик, у его дверей пожилая женщина занималась стиркой.

Я подошел к ней и стал расспрашивать о церкви и о кладбище. Она охотно разговорилась и с первых же слов сказала мне, что муж ее одновременно и могильщик и причетник в церкви. Я отозвался с похвалой о памятнике миссис Фэрли. Женщина покачала головой и сказала, что ему бы надлежало быть в лучшем состоянии. Следить за ним было обязанностью ее мужа, но он все болеет, и сил у него не хватает. Уже несколько месяцев, как он еле доползает до церкви по воскресеньям, чтобы нести свою службу; вот почему памятник стоит заброшенный. Муж стал теперь поправляться и надеется, что через недельку или дней через десять у него хватит сил заняться памятником и почистить его.

Эти сведения, которые она сообщила мне на простонародном кумберлендском диалекте, подтвердили мои догадки. Я дал бедной женщине несколько монет и вернулся в Лиммеридж.

По-видимому, памятник чистила посторонняя рука. В связи с тем, что́ я уже знал, и с тем, что я начал подозревать после рассказа о привидении, замеченном в сумерках, я твердо решил понаблюдать за могилой миссис Фэрли в тот же вечер — вернуться на кладбище на закате и дождаться ночи. Чистка памятника была не закончена — та, которая начала эту работу, возможно, вернется, чтобы закончить ее.

Дома я рассказал мисс Голкомб о своих планах. Она как будто удивилась и встревожилась, когда я пояснил ей мою цель, но ничего не возразила. Она только проговорила: «Надеюсь, ваша затея кончится благополучно».

Когда она собралась уходить, я как можно равнодушнее осведомился о здоровье мисс Фэрли. В ответ я услышал, что настроение ее несколько улучшилось и мисс Голкомб надеется уговорить ее погулять, пока солнце еще не зашло.

Я вернулся в свою комнату и снова занялся коллекцией рисунков. Необходимо было привести их в порядок, а кроме того, работа помогла мне немного рассеяться и отвлечься от мысли о беспросветном будущем, ожидавшем меня.

Время от времени я отрывался от своего занятия, чтобы посмотреть в окно, и наблюдал, как солнце спускалось все ниже и ниже к горизонту. В одну из таких минут я увидел, что под моими окнами по широкой, усыпанной гравием дорожке идет мисс Фэрли.

Я не видел ее с утра и за завтраком почти не разговаривал с нею. Еще день в Лиммеридже — вот все, что мне оставалось. А потом я, может быть, больше никогда ее не увижу... Этого было достаточно, чтобы приковать меня к окну. У меня хватило такта спрятаться за ставнями, чтобы она не увидела меня, но не хватило сил удержаться от искушения следить за ней до тех пор, пока она не скроется из глаз.

Она была в коричневой пелерине поверх простого черного платья и в той же соломенной шляпке, что и в первую нашу встречу. Теперь к шляпке была прикреплена вуаль, закрывавшая от меня ее лицо. У ног ее бежала любимая спутница ее прогулок — маленькая итальянская левретка в элегантной красной попонке, которая оберегала нежную кожу собачки от холодного воздуха. Но мисс Фэрли, казалось, не обращала никакого внимания на свою левретку. Она шла вперед, склонив голову и спрятав руки под пелерину. Как и в тот час, когда я услышал, что она выходит замуж, мертвые листья, гонимые ветром, кружились вокруг нее и падали на землю, пока она шла в бледном свете угасающего заката. Левретка дрожала, жалась к ее ногам, как бы желая привлечь ее внимание. Но она по-прежнему не замечала ее... Она уходила все дальше от меня, все дальше, а мертвые листья кружились вокруг нее и падали на дорожку, пока она совсем не скрылась из виду, а я не остался один с моей печалью.

Через час я закончил работу. Солнце уже совсем закатилось. Я взял в передней пальто и шляпу и выскользнул из дому никем не замеченный.

На небе вихрем клубились темные тучи, с моря дул пронзительный ветер. Берег был далеко, но гул прибоя отдавался унылым эхом в моих ушах, когда я пришел на

кладбище. Оно выглядело еще пустыннее, чем обычно. Кругом не было ни души. Я стал выбирать место, где я мог ждать и сторожить, глядя на белый крест, возвышавшийся над могилой миссис Фэрли.

XIII

Кладбище было расположено неподалеку от церкви, на открытом месте, что вынуждало меня как можно осмотрительнее выбрать место для наблюдения.

Главный вход церкви был прямо против кладбища. Церковная дверь была защищена каменным притвором. После некоторого колебания, вызванного естественным нежеланием прятаться, я все же решился войти в притвор. С обеих сторон были прорезаны небольшие отверстия для окон. Через одно из них мне была видна могила миссис Фэрли. Из второго — каменоломня вдали и домик причетника. Передо мной, у главного входа, простирались часть пустынного кладбища и склон унылого порыжевшего холма, над которым неслись по ветру темные вечерние тучи. Не видно, не слышно было ни единой живой души, птица не пролетала, не доносился даже лай собаки из дома причетника. Когда затихал отдаленный гул прибоя, слышалось только унылое шуршание сухих листьев, еще не слетевших с низких деревцов около могилы миссис Фэрли, да еле слышное журчание ручья по каменному руслу. Печальный час, печальное место. По мере того как проходили минуты, мне становилось все больше не по себе в моем каменном тайнике.

Сумерки еще не сгустились, отсвет заката еще медлил на небе. Прошло более получаса моего одинокого бдения, когда я услышал шаги и чей-то голос. Шаги приближались из-за церкви, голос был женский.

— Не тревожьтесь о письме, моя милочка, говорил кто-то,— я благополучно передала его прямо в руки парню. Он взял его и ни слова не сказал. Он пошел своей дорогой, а я своей, и никто не следил за мной, за это я ручаюсь.

Эти слова до такой степени потрясли меня, возродив все мои надежды на предстоящую встречу, что я испытывал почти страданье Последовала пауза, но шаги приближались. Через минуту я увидел, что две женщины прошли мимо церкви, как раз под оконцем, в которое

я смотрел. Они направлялись прямо к могиле, и мне были видны только их спины.

На одной из женщин были капор и шаль. Другая была в длинной темно-синей накидке с капюшоном, надвинутым на голову. Край ее платья виднелся из-под накидки. Сердце мое забилось еще сильней: платье было белое.

На полдороге между церковью и могилой они остановились, и женщина в шали повернула голову к своей подруге, лицо которой оставалось в тени капюшона.

— Ни в коем случае не снимайте эту теплую накидку,— сказал голос, который я уже слышал,— голос женщины в шали.— Мисс Тодд права, говоря, что вы слишком привлекали к себе внимание вчера, вся в белом. Я немножко погуляю, пока вы здесь. Не знаю, как вы, а я не люблю кладбищ. Кончайте свое дело к моему возвращению, чтобы мы могли добраться домой засветло.

С этими словами она повернула обратно. Теперь я видел ее лицо. Это было лицо пожилой женщины, загорелое, обветренное, румяное, ничего бесчестного или подозрительного в нем не было. Около церкви она остановилась и плотнее закуталась в шаль.

— Чудачка,— сказала она вполголоса,— и всегда была чудачкой, с тех пор как я ее знаю. Вечно выдумывает, вечно все по-своему! Но безобидная, бедняжка, совсем безобидная, как малое дитя.

Она вздохнула, оглянулась на могилы, покачала головой, как будто мрачный вид кладбища был ей совсем не по душе, и скрылась за церковью.

Я на минуту задумался: не последовать ли за ней? Не заговорить ли? Но непреодолимое желание встретиться лицом к лицу с ее спутницей решило этот вопрос. Женщину в шали я мог повидать, когда она будет возвращаться на кладбище, хотя вряд ли она могла дать мне сведения, за которыми я охотился. Лицо, передавшее письмо, не представляло большого интереса. Главным лицом была та, что написала письмо. Только она могла дать мне нужные сведения. И, по моим убеждениям, именно она — автор письма — была сейчас на кладбище.

В то время как эти мысли проносились в моем мозгу, я увидал, как женщина в накидке подошла к самой могиле и немного постояла над ней. Потом она огляделась и, вынув из-под накидки белый кусок полотна или платок,

пошла к ручью. Ручей вбегал на кладбище через небольшое отверстие в каменной стене и немного дальше вытекал в такое же отверстие. Она намочила тряпку в воде и вернулась к могиле. Я видел, как она приложилась к кресту, опустилась на колени перед могильной плитой и стала мыть ее.

Поразмыслив, как осторожнее приблизиться к ней, чтобы она не испугалась, я решил обойти стену, скрывавшую меня только наполовину, и войти на кладбище через другой вход, чтобы она могла увидеть меня издали. Но она так углубилась в свое занятие, что не слышала моих шагов, пока я не подошел довольно близко. Тогда она подняла голову, вскрикнула, вскочила на ноги и замерла в безмолвном, неподвижном испуге.

— Не пугайтесь,— сказал я.— Вы, конечно, помните меня?

При этом я остановился, потом медленно сделал несколько шагов, снова остановился и мало-помалу подошел к ней совсем близко. Если до этого у меня и были сомнения, то теперь их не стало. Передо мной — у могилы миссис Фэрли — стояла та, которую я встретил тогда в полу́ночный час на безлюдной большой дороге.

— Вы вспомнили меня? — спросил я.— Мы встретились глубокой ночью, и я помог вам добраться до Лондона. Вы, конечно, этого не забыли?

Ее черты смягчились, вздох облегчения вырвался из ее груди. Я увидел, как воспоминание начало медленно выводить ее из мертвенного оцепенения, которым испуг сковал ее.

— Не пытайтесь пока что говорить со мной,— продолжал я.— Сначала придите в себя, сначала убедитесь, что я вам друг.

— Вы очень добры ко мне,— прошептала она.— Так же добры, как тогда.

Она замолчала, я тоже молчал. Я не только хотел дать ей время прийти в себя — мне самому надо было собраться с мыслями.

В тусклом, мерцающем вечернем свете эта женщина и я — мы встретились снова, над чужой могилой, мертвые лежали вокруг, пустынные холмы обступали нас со всех сторон. Час, место, обстоятельства, при которых мы теперь стояли лицом к лицу в сумрачном безмолвии этой унылой ложбины, вся дальнейшая жизнь, зависящая от каких-то

случайных слов, которыми мы обменяемся, сознание, что, насколько мне известно, все будущее Лоры Фэрли обусловлено тем, заслужу я или нет доверие несчастной, которая стояла, дрожа от испуга, у могилы ее матери,— все это грозило лишить меня спокойствия и самообладания, от которых зависел мой дальнейший успех. Сознавая это, я приложил все силы, чтобы взять себя в руки, я сделал все возможное, чтобы эти несколько минут раздумья послужили на пользу.

— Вы успокоились? — спросил я, как только решил, что можно обратиться к ней.— Можете ли вы говорить со мной, уже не боясь меня и не забывая, что я вам друг?

— Как вы попали сюда? — сказала она, не обратив внимания на мои слова.

— Разве вы забыли, что, когда мы виделись в последний раз, я сказал вам о моем отъезде в Кумберленд. С тех пор я здесь, я живу в Лиммеридже.

— В Лиммеридже! — Бледное ее лицо оживилось, когда она повторила эти слова; блуждающие глаза остановились на мне с внезапно пробудившимся интересом.— Ах, как вы счастливы там, наверно! — сказала она, глядя на меня уже без тени прежнего испуга.

Я воспользовался тем, что в ней снова пробудилось доверие ко мне, чтобы рассмотреть ее лицо с вниманием и любопытством, от чего я ранее удерживался из осторожности. Я смотрел на нее, полный воспоминаний о другом прелестном лице, которое там, на озаренной луной террасе, напомнило мне ее лицо. Тогда в мисс Фэрли я увидел роковое сходство с Анной Катерик. Теперь, когда перед моими глазами было лицо Анны Катерик, я видел ее сходство с мисс Фэрли, несмотря на некоторую разницу в их внешности. Те же черты лица, та же фигура, тот же цвет волос, то же нервное подергивание губ, тот же рост, стан, поворот головы. Они были разительно похожи, более похожи, чем я ранее предполагал. Но на этом их сходство кончалось и начиналось различие в отдельных подробностях. Прелестный цвет лица мисс Фэрли, кристальная ясность ее глаз, атласная чистота кожи, розовая нежность губ — вот чего не было на изможденном, измученном лице, на которое я смотрел. И хотя самая мысль об этом была мне ненавистна, во мне росло убеждение, что достаточно было бы какой-либо

печальной перемены в будущем, чтобы сделать это сходство полным. Если когда-нибудь страданье и горе наложат свою печать на юную красоту мисс Фэрли, тогда Анна Катерик и она станут похожи, как близнецы, как две капли воды, как живое отражение друг друга.

Я содрогнулся от этой мысли. Было нечто зловещее в моем слепом, безрассудном неверии в будущее. Я обрадовался, когда мои размышления были прерваны — рука Анны Катерик прикоснулась к моему плечу. Это прикосновение было таким же внезапным и легким, как и в тот первый раз, когда ужаснуло меня.

— Вы смóтрите на меня и думаете о чем-то,— сказала она своим странным, глухим, прерывистым голосом.— О чем?

— Ни о чем особенном,— отвечал я.— Мне только непонятно, как вы попали сюда.

— Я приехала с подругой, которая очень добра ко мне. Я здесь всего два дня.

— И вы приходили сюда вчера?

— Откуда вы это знаете?

— Просто догадался.

Она отвернулась от меня и снова стала на колени перед могилой.

— Куда же мне еще идти, как не сюда? — сказала она.— Здесь мой друг, который был мне ближе матери, единственный друг, к которому я могу прийти в Лиммеридже. О, как мне больно, когда я вижу пятна на ее могиле! Ее памятник должен быть белым как снег в память о ней. Мне захотелось помыть его вчера, я не могла не прийти для этого сегодня. Разве это нехорошо? Думаю, что нет. Если я делаю это ради миссис Фэрли, в этом не может быть ничего плохого.

Вечная благодарность к своей благодетельнице, очевидно, руководила этой несчастной. Ее ограниченный ум не воспринимал никаких новых впечатлений, кроме тех первых, память о которых не угасала в ней с детства. Я понял, что, если я хочу, чтобы она стала более доверчивой и откровенной, лучше всего предложить ей продолжать работу, для которой она пришла на кладбище. Как только я сказал ей об этом, она сразу же принялась мыть памятник. Она прикасалась к нему с такой нежностью, словно это было живое существо. Она снова и снова шептала про себя слова надгробной надписи, будто далекие дни ее детства вернулись и она опять старательно твердит свой урок, сидя на коленях у миссис Фэрли.

— Не удивляйтесь,— сказал я, осторожно нащупывая почву для дальнейших вопросов,— если я признаюсь, как я рад тому, что вы здесь. Я очень беспокоился о вас, когда вы уехали от меня в кебе.

Она быстро подняла голову и подозрительно посмотрела на меня.

— Беспокоились? — повторила она.— Почему?

— После того как мы расстались тогда ночью, произошло нечто очень странное. Два человека проехали мимо меня в погоне за кем-то. Они не видели меня, но остановились совсем близко и заговорили с полисменом на углу улицы.

Она сразу оставила свою работу. Рука ее с мокрой тряпкой, которой она мыла надпись, упала. Другой рукой она ухватилась за мраморный крест у изголовья могилы. Она медленно повернула ко мне голову — испуг застыл на ее лице. Я решил идти напропалую, отступать было слишком поздно.

— Эти два человека заговорили с полисменом,— сказал я,— и спросили, не видел ли он вас. Он вас не видел, и тогда один из этих мужчин сказал, что вы убежали из сумасшедшего дома.

Она вскочила на ноги, как будто мои последние слова были сигналом для ее преследователей.

— Подождите! Выслушайте до конца! — вскричал я.— Подождите, вы поймете, что я вам друг. Одно мое слово — и эти люди узнали бы, по какой дороге вы уехали, и я не сказал этого слова. Я помог вашему побегу, я помог вам. Поймите, постарайтесь понять! Поймите то, что я говорю вам!

Звук моего голоса, казалось, успокоил ее больше, чем сами слова. Она силилась понять их. Она переложила сырую тряпку из одной руки в другую, так же как перекладывала сумочку в ту ночь, когда я увидел ее впервые. Смысл моих слов начал медленно доходить до ее расстроенного, смятенного рассудка. Постепенно выражение ее лица смягчилось, и она взглянула на меня с любопытством, но уже без страха.

— Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу, нет?

— Конечно, нет. Я рад, что вы оттуда убежали. Я рад, что помог вам.

— Да-да, конечно, вы очень помогли мне,— отвечала она как-то рассеянно.— Убежать было легко, иначе я не сумела бы этого сделать. Они никогда не сторожили меня, как сторожили других. Я была такая тихая, такая послушная, так всего боялась! Труднее всего было найти Лондон — в этом вы помогли мне. Поблагодарила ли я вас тогда? Я благодарю вас теперь, очень благодарю.

— Далеко ли больница оттуда, где вы со мной встретились? Докажите же, что считаете меня вашим другом,— скажите, где она находится?

Она упомянула о лечебнице — о частной лечебнице, находившейся неподалеку от того места, где я впервые увидел ее. А потом, очевидно испугавшись, не употреблю ли я во зло ее ответ, взволнованно, настойчиво повторила свой прежний вопрос:

— Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу, нет?

— Повторяю: я рад, что вы убежали, рад, что вам теперь хорошо,— отвечал я.— Вы сказали тогда, что в Лондоне у вас есть подруга. Вы разыскали ее?

— Да, было очень поздно, но одна девушка в доме сидела за шитьем, она помогла мне разбудить миссис Клеменс — так зовут мою подругу. Она хорошая, добрая женщина, но не такая, как миссис Фэрли. Ах, таких, как миссис Фэрли, нет!

— Миссис Клеменс — ваша старая подруга? Вы с ней уже давно знакомы?

— Да, она жила по соседству с нами когда-то, в Хемпшире. Она любила меня и заботилась обо мне, когда я была маленькая. Много лет назад, когда она уезжала от нас, она записала в моем молитвеннике свой лондонский адрес и сказала: «Если вам когда-нибудь будет плохо, Анна, приезжайте ко мне. У меня нет мужа, который мог бы запрещать мне что-либо, нет детей, чтобы смотреть за ними, вот я и буду заботиться о вас». Добрые слова, правда? Наверно, я помню их именно оттого, что они были добрыми, эти слова. Я так мало что помню, так мало, так мало!

— Разве у вас нет отца и матери, чтобы заботиться о вас?

— Отца? Я его никогда не видела. Я никогда не

слышала, чтобы мать говорила о нем. Отец? О господи, он, наверно, давно умер.

— А ваша мать?

— Я с ней не очень-то лажу. Мы не ладим и боимся друг друга.

«Не ладим и боимся друг друга»! При этих словах во мне впервые шевельнулось подозрение, что, возможно, именно мать поместила ее в сумасшедший дом.

— Не спрашивайте меня о матери,— продолжала она.— Мне приятнее говорить о миссис Клеменс. Миссис Клеменс, как и вы, не считает, что меня надо вернуть обратно в больницу. Она тоже радуется, как и вы, что я убежала оттуда. Она плакала над моей бедой и сказала, что ее надо скрывать от всех.

Ее беда... Что она хотела этим сказать? Не из-за этого ли она написала анонимное письмо? Не употребила ли она это слово в том обычном смысле, что и многие другие женщины, пишущие анонимные письма, чтобы помешать браку своих неверных возлюбленных?

Я решил выяснить, что она подразумевает под словом «беда», прежде чем мы заговорим о другом.

— Какая беда? — спросил я.

— Та беда, что меня заперли в больницу,— отвечала она, по-видимому искренне удивленная моим вопросом — Какая еще может быть другая беда?

Надо было действовать как можно деликатнее и осторожнее, но обязательно достигнуть цели — это было необходимо для успеха моих дальнейших расследований.

— Есть другая беда,— сказал я,— которая может случиться с молодой женщиной и из-за которой она может терпеть всю жизнь горе и позор.

— А какая? — пытливо спросила она.

— Такая беда, какая бывает, когда женщина, полагаясь на свою добродетель, слишком вверяется мужчине, которого любит.

Она взглянула на меня с безыскусственным удивлением ребенка. Ни малейшего смущения, ни краски, ни признаков какого-то тайного стыда не было на ее лице, так прямодушно и искренне отражавшем все чувства. Выражение ее лица и глаз убедило меня сильнее, чем это могли бы сделать любые ее слова, что причина, побудившая ее написать письмо мисс Фэрли, была совсем

не та, которую я первоначально заподозрил. Но теперь все становилось еще более непонятным. В письме хоть и не называли имени сэра Персиваля Глайда, но указывали именно на него. У нее, бесспорно, была очень серьезная причина, основанная на каком-то глубоком чувстве несправедливой обиды, чтобы тайно оговаривать его перед мисс Фэрли в тех выражениях, которые она употребила в своем письме. И эта причина была совсем иная, чем просто горькая женская обида. Если он и причинил ей зло, то совсем другого порядка. Какое же зло он ей сделал?

— Я не понимаю вас,— сказала она после очевидных и тщетных усилий уразуметь то, что я ей сказал.

— Ну хорошо,— ответил я.— Вернемся к тому, о чем мы говорили. Расскажите, долго ли вы прожили с миссис Клеменс в Лондоне и как вы попали сюда.

— Долго ли? — повторила она.— Я все время жила с миссис Клеменс, пока мы не приехали сюда два дня назад.

— Значит, вы живете в деревне? — сказал я.— Странно, что я ничего не слышал о вас.

— Нет, нет, не в деревне. За три версты отсюда, на ферме. Вы знаете эту ферму? Ее называют фермой Тодда

Я хорошо помнил это место — мы часто проезжали мимо него во время наших прогулок. Это была одна из самых старых ферм в округе, расположенная в пустынной, укрытой местности, у подножия двух холмов.

— Хозяева фермы — родственники миссис Клеменс,— продолжала она.— Они часто приглашали ее к себе в гости. Она сказала, что поедет и возьмет меня с собой — тут спокойно и свежий воздух. Это очень хорошо с ее стороны, правда? Я поехала бы куда угодно, только бы жить спокойно и в безопасности. А когда я узнала, что ферма Тодда недалеко от Лиммериджа, ох как я обрадовалась! Я бы всю дорогу босиком прошла, только бы опять увидеть школу, и деревню, и дом в Лиммеридже! Они очень хорошие люди, эти Тодды. Мне хочется пожить у них подольше. Только одно мне не нравится в них и в миссис Клеменс...

— Что именно?

— Они смеются над тем, что я одеваюсь в белое. Они говорят, что это чудачество. Но ведь миссис Фэрли лучше знала! Миссис Фэрли никогда бы не заставила меня надеть эту некрасивую синюю накидку. Ах, при жизни она так любила белое! И вот теперь над ее могилой белый памятник, и я делаю его еще белее — ради нее. Она сама часто носила белое и всегда одевала в белое свою маленькую дочку. А как мисс Фэрли? Здорова и благополучна? Ходит ли она в белом, как в детстве?

Голос ее упал, когда она спросила про мисс Фэрли. Она все больше отворачивалась от меня. Мне показалось, что в ней произошла какая-то перемена. Очевидно, на совести ее было анонимное письмо, и я решил задать ей вопрос таким образом, чтобы заставить ее сразу признаться.

— Мисс Фэрли была не очень здорова сегодня утром,— сказал я.

Она что-то пробормотала в ответ, но так тихо, что я ничего не расслышал.

— Вы, кажется, спросили, что случилось с мисс Фэрли сегодня? — продолжал я.

— Нет,— ответила она нетерпеливо,— я ни о чем не спрашивала, вовсе нет!

— Но я все-таки скажу вам,— продолжал я.— Мисс Фэрли получила ваше письмо.

В продолжение нашего разговора она стояла на ко-

леньях, тщательно отмывая пятна на могильной плите. При первых словах моей фразы она оставила свою работу и медленно повернулась ко мне, продолжая стоять на коленях. Конец же буквально ошеломил ее. Тряпка выпала из ее рук, губы приоткрылись, тусклая бледность покрыла ее лицо.

— Откуда вы знаете? — слабо сказала она.— Кто показал вам письмо? — И вдруг поняла, что выдала себя этими словами. Она сложила руки в отчаянии.— Я не писала его! — задыхаясь от испуга, пробормотала она.— Я ничего о нем не знаю!

— Нет,— сказал я,— вы написали письмо и знаете это. Нехорошо было посылать такое письмо, нехорошо было пугать мисс Фэрли. Если у вас было что сказать ей, надо было пойти в Лиммеридж самой. Вы должны были сами сказать все молодой леди.

Она припала лицом к могильному камню, обвила его руками и не отвечала.

— Если у вас хорошие намерения, мисс Фэрли будет так же добра к вам, как была ее мать,— продолжал я.— Мисс Фэрли никому не расскажет о вас и не допустит, чтобы с вами случилась беда. Почему вам не повидаться с ней завтра на ферме или не встретиться с ней в саду в Лиммеридже?

— О миссис Фэрли, если б я могла умереть и успокоиться около вас! — прошептала она, прижавшись губами к камню и с горячей нежностью обращаясь к останкам, покоящимся под ним.— Вы знаете, как я люблю ваше дитя из-за любви к вам. О миссис Фэрли, научите меня, как спасти ее! Будьте по-прежнему моей любимой родной матерью и скажите, как это лучше сделать.

Я видел, как она целовала камень, я видел, как горячо ее руки обнимали и гладили его холодную поверхность. Это зрелище глубоко тронуло меня, я склонился над ней и с нежностью взял ее бедные, беззащитные руки в свои, безуспешно пытаясь успокоить ее.

Она вырвала руки и не подняла головы от могильной плиты. Желая успокоить ее во что бы то ни стало, я воззвал к тому чувству, которое, по-видимому, ее тревожило с самого начала нашего знакомства: к ее горячему желанию уверить меня, что она вполне нормальна и отвечает за свои поступки.

— Ну полно, полно,— ласково сказал я, постарайтесь успокоиться, иначе мне придется переменить о вас мнение. Не заставляйте меня предполагать, что человек, поместивший вас в больницу...

Слова замерли на моих устах. Не успел я упомянуть о человеке, отправившем ее в сумасшедший дом, как лицо ее мгновенно разительно изменилось. Обычно такое трогательное в своей нервной, тонкой, слабой нерешительности, оно внезапно омрачилось выражением безумной ненависти и страха, придавшим ее чертам дикую, неестественную силу. Глаза ее горели в тусклом свете сумерек, как глаза дикого зверя. Она схватила тряпку, которую перед тем выронила, как будто это было живое, ненавистное ей существо, и стиснула ее в руках с такой силой, что несколько капель упало на могильную плиту.

— Говорите о чем-нибудь другом,— прошептала она сквозь зубы.— Если вы не перестанете говорить об этом, я не знаю, что я сделаю!

Никаких признаков прежней кротости не было в ней теперь. Память о доброте миссис Фэрли не была, как я раньше предполагал, единственным сильным впечатлением в ее прошлом. Рядом с благодарным, светлым воспоминанием о школьных днях в Лиммеридже жила мстительная мысль о страшном зле, которое ей причинили, заперев ее в сумасшедший дом. Кто же совершил это злое дело? Неужели ее родная мать?

Тяжело было отказаться от дальнейших расспросов, но я заставил себя сделать это. При виде состояния, в котором она была, жестоко было бы думать о чем бы то ни было другом, кроме необходимости успокоить ее.

— Я не скажу ничего, что могло бы огорчить вас,— сказал я мягко.

— Вы чего-то хотите от меня,— отвечала она резко и подозрительно.— Не смотрите на меня так. Говорите: что вам нужно?

— Я хочу только, чтобы вы успокоились и, когда придете в себя, подумали над моими словами.

— Какими словами? — Она помолчала и начала теребить в руках тряпку, шепча про себя: «Что он сказал?» Потом снова повернулась ко мне и нетерпеливо кивнула головой.— Почему вы не хотите помочь мне? — резко спросила она.

— Хорошо, я помогу вам,— сказал я.— Я просил вас повидаться с мисс Фэрли завтра и сказать ей всю правду о письме...

— А, мисс Фэрли, Фэрли, Фэрли...— Простое повторение любимого, знакомого имени, казалось, успокаивало ее.

Ее лицо смягчилось и стало похоже на прежнее.

— Не бойтесь мисс Фэрли,— продолжал я.— Не бойтесь, что попадете в беду из-за письма. Из него она уже многое знает, и вам будет нетрудно рассказать ей все. Не скрывайте от нее ничего, вам незачем это делать. Вы никаких имен в письме не называли, но мисс Фэрли знает, что тот, о ком вы писали,— сэр Персиваль Глайд...

Не успел я произнести это имя, как она вскочила на ноги и дикий, страшный вопль вырвался из ее груди. Он огласил все кладбище. Сердце мое содрогнулось от его ужасного звука. Страшное выражение гнева, слетевшее было с ее лица, вновь усилилось.

Этот вопль при одном упоминании его имени, взгляд, полный ненависти и страха, сказали мне все. Никаких сомнений у меня больше не оставалось. Не ее мать была виновата в том, что ее заключили в сумасшедший дом. Это сделал человек, имя которого было сэр Персиваль Глайд.

Крик донесся не только до меня. Я слышал, как вдали звякнул запор в доме причетника. Я услышал голос ее подруги, женщины в шали, которую звали миссис Клеменс.

— Иду! Иду! — кричала она из-за деревьев.

Через минуту показалась миссис Клеменс. Она почти бежала к нам.

— Кто вы? — вскричала она, входя на кладбище.— Как вы смеете пугать эту бедную, беззащитную женщину?

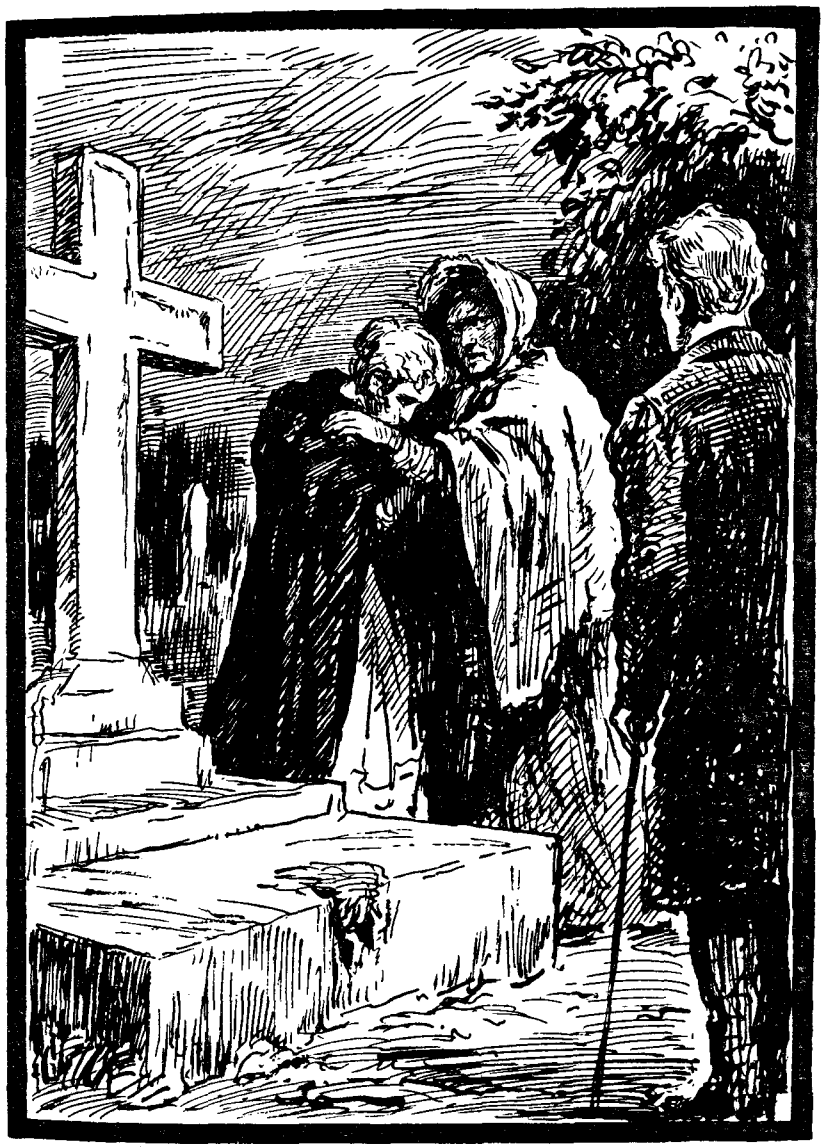
Прежде чем я успел ответить, она была уже около Анны Катерик и обнимала ее.

— Что с вами, дорогая? — говорила она.— Что он вам сделал?

— Ничего,— отвечала несчастная.— Ничего. Я только испугалась.

Миссис Клеменс бесстрашно обернулась ко мне с негодованием, за которое я тут же проникся к ней уважением.

— Мне было бы очень стыдно, если бы я заслужил ваш гнев,— сказал я.— Но я не заслужил его. Я испугал ее



без всякого намерения. Она видит меня не в первый раз. Спросите сами, и она вам скажет, что я не способен нарочно напугать ее.

Я говорил очень отчетливо, чтобы Анна Катерик тоже услышала и поняла, и увидел, что смысл моих слов дошел до нее.

— Да, да,— сказала она.— Он был добр ко мне однажды, он помог мне...— Она зашептала на ухо своей подруге.

— Вот как! — сказала удивленно миссис Клеменс.— Конечно, это меняет дело. Простите, что я так грубо разговаривала с вами, сэр, но согласитесь, что со стороны это выглядело подозрительно. Я сама виновата больше вас: потакаю ее затеям и отпускаю ее в такое пустынное место одну. Пойдем, дорогая, пойдем теперь домой.

Мне показалось, что добрая женщина боялась возвращаться на ферму в такой час, и я предложил проводить их через пустошь. Миссис Клеменс поблагодарила, но отказалась, говоря, что по дороге они, наверно, повстречают работников с фермы.

— Простите меня, прошу вас! — сказал я, когда Анна Катерик взяла за руку свою подругу, чтобы уйти.

Я был так далек от намерения напугать и растревожить ее. Сердце мое заныло, когда я вгляделся в ее грустное, бледное, взволнованное лицо.

— Я постараюсь,— отвечала она.— Но вы слишком многое знаете. Думаю, что теперь я всегда буду бояться вас.

Миссис Клеменс бросила на меня быстрый взгляд и сочувственно покачала головой.

— Доброй ночи, сэр,— сказала она.— Вы ни в чем не виноваты, я знаю, но лучше бы вы напугали меня, а не ее, бедную.

Они сделали несколько шагов. Я решил, что они уходят. Вдруг Анна Катерик остановилась и сказала своей подруге:

— Подожди минутку, я должна попрощаться.

Она вернулась к могиле, с любовью обняла памятник и поцеловала его.

— Мне уже лучше,— вздохнула она, спокойно глядя на меня.— Я вам прощаю.

Она снова присоединилась к миссис Клеменс, и они покинули кладбище. Я видел, как они остановились у

церкви и обменялись несколькими словами с женой причетника, которая вышла из дому и ждала, наблюдая за нами издали. Потом они побрели по тропинке, ведущей в степь.

Я смотрел вслед Анне Катерик, пока она не растаяла в сумерках, — смотрел ей вслед с такой щемящей грустью, будто в последний раз видел в этом мире печали и слез женщину в белом.

XIV

Через полчаса я был дома и докладывал мисс Голкомб обо всем, что случилось.

Она слушала меня от начала до конца с глубокой, молчаливой сосредоточенностью. В женщине ее темперамента это было сильнейшим доказательством того, какое впечатление произвел на нее мой рассказ.

— Я теряю голову,— вот все, что она сказала, когда я закончил,— я теряю голову, когда думаю о будущем.

— Будущее зависит от того, какую пользу мы сумеем извлечь из настоящего. Возможно, Анна Катерик будет более откровенна с женщиной, чем была со мной. Если б мисс Фэрли...— попробовал предложить я.

— Об этом сейчас и думать нечего,— перебила мисс Голкомб решительно.

— Тогда разрешите посоветовать вам,— продолжал я,— чтобы вы сами повидали Анну Катерик и сами постарались завоевать ее доверие. Что касается меня, то я боюсь снова напугать несчастную, как я уже это сделал. Вы не возражаете, если завтра я провожу вас до фермы?

— Конечно, нет. Я пойду куда угодно и готова сделать все что угодно для блага Лоры. Как называется эта ферма?

— Вы должны хорошо ее знать. Она называется фермой Тодда.

— Знаю. Это одна из ферм, принадлежащих мистеру Фэрли. У нас в молочной работает дочка фермера. Она постоянно навещает своих. Может быть, она слышала или видела там что-нибудь, что нам поможет. Я сейчас спрошу, здесь ли она.

Она позвонила и послала слугу узнать. Вернувшись, он доложил, что молочница ушла на ферму. Она не была

дома вот уже три дня, и экономка отпустила ее на часок.

— Я поговорю с ней завтра,— сказала мисс Голкомб, когда слуга вышел.— А тем временем объясните, зачем, собственно, мне видеться с Анной Катерик. Разве у вас есть какие-либо сомнения, что человек, поместивший ее в сумасшедший дом,— сэр Персиваль Глайд?

— Ни тени сомнения. Но причина, из-за которой он это сделал, мне непонятна. Принимая во внимание разницу в их общественном положении, исключающую всякую мысль о том, что они могут быть родственниками, чрезвычайно важно знать — даже учитывая, что ее, может быть, действительно надо было поместить в лечебницу,— чрезвычайно важно знать, почему именно он взял на себя серьезную ответственность, отправив ее...

— ...в частную лечебницу, вы, кажется, сказали?

— Да, в частную лечебницу, где за то, чтобы содержать ее в качестве пациентки, была, конечно, заплачена большая сумма, которую не мог бы себе позволить бедный человек

— Я понимаю ваши опасения, мистер Хартрайт, и обещаю вам устранить их — с помощью Анны Катерик или без ее помощи. Сэр Персиваль Глайд недолго пробудет в нашем доме, если не представит исчерпывающих объяснений мистеру Гилмору и мне. Будущее моей сестры — главная забота моей жизни, и, думаю, я имею право сказать решающее слово по поводу ее замужества.

Мы расстались на ночь.

На следующее утро после завтрака одно обстоятельство, которое очень запомнилось мне в связи с тем, что произошло в дальнейшем, помешало нам немедленно отправиться на ферму.

Это был мой последний день в Лиммеридже. Необходимо было, как только придет почта, последовать совету мисс Голкомб и испросить у мистера Фэрли разрешения расторгнуть наш договор за месяц до истечения срока ввиду необходимости моего немедленного возвращения в Лондон.

По счастью, как бы для того, чтобы видимость была соблюдена, я получил два письма из Лондона. Я сейчас же пошел в свою комнату и послал слугу спросить мистера Фэрли, может ли он принять меня по важному делу и в какое именно время.

Я ждал возвращения слуги, не испытывая ни малейшей тревоги по поводу того, как мой хозяин отнесется к моей просьбе. Отпустит ли меня мистер Фэрли или нет, я все равно уеду. Сознание, что я сделал уже первый шаг на печальном пути, который с этой поры навсегда разлучит меня с мисс Фэрли, казалось, притупило во мне желание собственного благополучия. Покончено было с моим самолюбием бедняка, покончено с мелким тщеславием художника. Никакая дерзость мистера Фэрли — если б он пожелал быть дерзким — не могла бы ранить меня теперь.

Слуга вернулся с ответом, к которому я был готов. Мистер Фэрли крайне сожалел, что из-за плохого самочувствия он не в силах доставить себе удовольствие повидать меня, поэтому он просил извинить его и сообщить ему, что именно я хочу, в письменной форме. Подобные просьбы я уже получал в течение моего трехмесячного пребывания в Лиммеридже. Все это время мистер Фэрли был «счастлив, что я нахожусь в его доме», но никогда не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы повидать меня вторично. Слуга относил от меня своему барину новую охапку рисунков, реставрированных и окантованных мною, с моими «глубокими уважениями», и возвращался с пустыми руками, принося от мистера Фэрли «искренние приветы», «тысячу извинений и тысячу благодарностей» вместе с неизменным сожалением, что по состоянию здоровья мистер Фэрли по-прежнему должен оставаться одиноким узником в своих покоях. Нельзя было придумать лучшей системы, наиболее приятно устраивавшей обе стороны. Трудно сказать, кто из нас при этом чувствовал больше благодарности к больным нервам мистера Фэрли.

Я немедленно написал ему письмо в выражениях самых почтительных, ясных и кратких. Спустя полчаса мне вручили ответ. Он был написан изысканно-правильным почерком, лиловыми чернилами на гладкой, как слоновая кость, и плотной, как картон, атласной бумаге.

Ответ гласил:

«От мистера Фэрли, привет мистеру Хартрайту. Мистер Фэрли не может выразить (по состоянию своего здоровья), до какой степени он удивлен и огорчен просьбой мистера Хартрайта. Мистер Фэрли не деловой человек, но он посоветовался со своим дворецким, и это лицо, будучи

деловым человеком, поддерживает мнение мистера Фэрли, что ходатайство мистера Хартрайта о разрешении нарушить договор не может быть оправдано решительно ничем, разве только вопросом жизни или смерти.

Если бы высокое чувство преклонения перед искусством и его служителями, составляющее единственное утешение и отраду мучительного существования мистера Фэрли, могло быть поколеблено, то нынешние действия мистера Хартрайта поколебали бы его. Этого не произошло. Чувства эти остались незыблемыми — они изменились только в отношении самого мистера Хартрайта.

Высказав свое мнение в той малой мере, в которой это позволяют сделать невыносимые муки, причиняемые ему нервами, мистеру Фэрли ничего не остается добавить по поводу крайне непристойного домогательства, врученного ему. Ввиду болезненного состояния мистера Фэрли ему необходим полнейший покой, как душевный, так и телесный, а посему он не потерпит, чтобы мистер Хартрайт нарушал сей покой дальнейшим пребыванием в его доме при обстоятельствах столь раздражающего свойства для обеих сторон. Сообразно с этим мистер Фэрли, желая оградить свое спокойствие, отказывается от своих прав на мистера Хартрайта и уведомляет его, что он волен оставить его дом!»

Я прочитал письмо и отложил его в сторону вместе с другими бумагами. Было время, когда меня оскорбила бы его дерзость. Но теперь я отнесся к нему просто как к увольнению в письменной форме. Я больше не думал о нем; оно моментально испарилось у меня из памяти, когда я спустился в столовую и сказал мисс Голкомб, что готов идти с ней на ферму.

— Мистер Фэрли удовлетворил вашу просьбу? — спросила она, когда мы вышли из дому.

— Он разрешил мне уехать, мисс Голкомб.

Она быстро взглянула на меня и впервые за все время нашего знакомства по собственному почину взяла меня под руку. Никакие слова не выразили бы с большей деликатностью, что она понимала, в каких выражениях мне давали отставку, и сочувствовала мне не как человек, стоявший выше меня на общественной лестнице, но как друг. Меня не оскорбила дерзость этого мужского письма, но глубоко тронула подкупающая женская доброта.

По пути к ферме мы условились, что мисс Голкомб войдет в дом одна, а я подожду ее неподалеку. Мы решили поступить так, боясь, что мое присутствие, после того что произошло вчера вечером на кладбище, испугает Анну Катерик и она отнесется подозрительно к совершенно незнакомой ей даме. Мисс Голкомб оставила меня, желая сначала поговорить с женой фермера, не сомневаясь в ее дружеской помощи.

Я думал, что пробуду один довольно долго. К моему удивлению, не прошло и пяти минут, как мисс Голкомб вернулась.

— Анна Катерик отказалась повидать вас? — спросил я изумленно.

— Анна Катерик уехала,— отвечала мисс Голкомб.

— Уехала?

— Да, с миссис Клеменс. Они обе уехали рано утром, в восемь часов.

Я молчал. Я чувствовал, что наша единственная возможность выяснить что-либо исчезла вместе с ними.

— Миссис Тодд знает о своих гостях не больше, чем я,— продолжала мисс Голкомб,— и она тоже, как и я, в полном недоумении. Вчера, после того как они расстались с вами, они благополучно вернулись домой и, как обычно, провели вечер с семьей мистера Тодда. Однако перед самым ужином Анна Катерик напугала всех, упав в обморок. С ней и раньше, в первый день ее приезда на ферму, был обморок, но не столь глубокий, и миссис Тодд объясняла его тогда тем, что Анну Катерик, очевидно, потрясла какая-то новость, вычитанная ею в местной газете, которую Анна взяла со стола и принялась читать за минуту или две до того, как ей сделалось дурно.

— Знает ли миссис Тодд, что именно так потрясло Анну?

— Нет,— отвечала мисс Голкомб.— Она просмотрела газету и ничего особенного не нашла. Я все же захотела просмотреть ее сама и на первой же странице обнаружила, что редактор за недостатком новостей перепечатал ряд заметок из отдела великосветской хроники одной лондонской газеты; среди них было сообщение о предстоящем браке моей сестры. Я сразу же поняла, что это и взволновало Анну Катерик. Очевидно, это сообщение и побудило ее написать анонимное письмо, переданное нам на следующий день.

— В этом нет никакого сомнения. Но чем был вызван ее вчерашний обморок?

— Неизвестно. Причина совершенно непонятна. В комнате никого чужого не было. Единственным гостем была наша молочница, одна из дочерей мистера Тодда, как я вам уже говорила. Разговор шел о местных новостях и сплетнях. Вдруг Анна вскрикнула и побелела как полотно, по-видимому, без всякой причины. Ее отнесли наверх, и миссис Клеменс осталась при ней. Слышно было, как они еще долго разговаривали, после того как все уже легли спать. Рано утром миссис Клеменс отвела миссис Тодд в сторону и чрезвычайно удивила ее, заявив, что они должны немедленно уехать. В объяснение она сказала, что серьезнейшая причина заставляет Анну Катерик покинуть Лиммеридж, но не по вине кого-либо из обитателей фермы. Невозможно было заставить миссис Клеменс быть более вразумительной. Она лишь качала головой и твердила, что просит ради спокойствия Анны Катерик ни о чем ее не расспрашивать. По-видимому сама серьезно встревоженная, она повторяла, что Анне необходимо уехать, что она должна ехать вместе с ней и что они вынуждены скрыть, куда они едут. Я избавлю вас от рассказа о возражениях и доводах гостеприимной миссис Тодд. Кончилось все тем, что она сама отвезла их на ближайшую станцию часа три спустя. По дороге она тщетно пыталась добиться, чтобы они объяснили ей, в чем дело. Она высадила их у самой станции, обидевшись и рассердившись на них до такой степени за внезапный отъезд и отказ поделиться с ней, что в сердцах уехала, даже не попрощавшись с ними. Вот и все. Вспомните, мистер Хартрайт, и скажите мне, может быть, вчера вечером на кладбище что-нибудь случилось, чем можно объяснить непонятный отъезд этих двух женщин?

— Сначала, мисс Голкомб, я хочу понять причину обморока Анны Катерик, который так встревожил всех на ферме. Это случилось много часов спустя после того, как мы расстались и когда прошло уже достаточно времени, чтобы то сильное волнение, которое я имел несчастье причинить ей, утихло и успокоилось. Расспросили ли вы о сплетнях, которые передавала молочница, когда Анне стало дурно?

— Да. Но сама миссис Тодд не слышала этого разговора за домашними делами. Она могла только сказать

мне, что это были «просто новости», очевидно подразумевая, что они, по обыкновению, толковали о своих делах.

— Возможно, у молочницы память лучше, чем у ее матери,— сказал я.— Думаю, будет правильнее вам самой поговорить с девушкой, как только мы вернемся.

Мое предложение было принято и приведено в исполнение сразу же по возвращении. Мисс Голкомб повела меня в помещения для прислуги, и мы застали девушку в молочной. Она, засучив рукава, чистила большой бидон от молока и что-то беззаботно напевала.

— Я привела джентльмена посмотреть вашу молочную, Ганна,— сказала мисс Голкомб.— Ведь это одна из достопримечательностей нашего дома, которая делает вам честь.

Девушка покраснела, сделала книксен и застенчиво сказала, что прилагает все силы, чтобы все было в чистоте и порядке.

— Мы только что вернулись с фермы,— продолжала мисс Голкомб.— Вы вчера были там, я слышала, и застали дома гостей?

— Да, мисс.

— Мне сказали, что с одной из них стало дурно. Разве было сказано что-нибудь, что могло бы расстроить или напугать ее? Ведь вы ни о чем страшном не говорили, нет?

— О нет, мисс,— смеясь, отвечала девушка,— мы с сестрой только обменивались всякими новостями.

— Ваша сестра рассказывала о ферме?

— Да, мисс.

— А вы рассказывали про Лиммеридж?

— Да, мисс. Я уверена, что не было ничего такого, что могло бы испугать бедняжку. Как раз когда она упала, рассказывала я. Я так испугалась, мисс,— я ведь никогда не падаю в обморок.

Прежде чем мы успели задать ей еще вопрос, ее позвали принять корзину яиц. Она вышла, и я шепнул мисс Голкомб:

— Спросите, не говорила ли она вчера о том, что в Лиммеридже ждут гостей.

Мисс Голкомб взглядом дала мне понять, что ей все ясно, и, как только девушка вернулась, спросила ее.

— О да, мисс, говорила,— чистосердечно ответила девушка.— И о том, что в Лиммеридже ждут гостей, и

о том, что корова-пеструшка заболела. Вот и все новости, какие были у меня для моих родных.

— Вы сказали, кого именно мы ждем? Сказали, что сэр Персиваль Глайд приедет в понедельник?

— Да, мисс. Я сказала, что ждут сэра Персиваля Глайда. Надеюсь, ничего плохого я не сделала?

— О нет... Пойдемте, мистер Хартрайт. Если мы будем продолжать отвлекать ее разговорами, Ганна решит, что мы явились с намерением мешать ей работать.

Как только мы остались одни, мы посмотрели друг на друга.

— Вы все еще сомневаетесь, мисс Голкомб?

— Сэру Персивалю Глайду придется рассеять мои сомнения, или Лора Фэрли никогда на станет его женой.

XV

Подойдя к подъезду, мы увидели, что по аллее к дому приближается кабриолет. Мисс Голкомб подождала, пока экипаж подъехал, и подошла пожать руку пожилому человеку, бодро выскочившему из кабриолета, как только спустили ступеньки. Приехал мистер Гилмор.

Когда нас представили друг другу, я стал рассматривать его с интересом, который мне трудно было скрыть. Ему предстояло остаться в Лиммеридже после моего отъезда, выслушать объяснение сэра Персиваля Глайда и своим советом помочь мисс Голкомб прийти к определенному решению. Он должен был ждать выяснения вопроса о браке и в том случае, если вопрос будет решен положительно, составить своей рукой брачный контракт, который бесповоротно свяжет судьбу мисс Фэрли с сэром Персивалем Глайдом. Даже в ту пору, когда я не знал того, что знаю теперь, я смотрел на поверенного с интересом, какого никогда раньше не чувствовал ни к одному из незнакомых мне смертных.

Внешне мистер Гилмор был полной противоположностью нашему обычному представлению о старых юристах. У него был цветущий вид, седые, длинные, аккуратно причесанные волосы; черный сюртук его, жилет и брюки сидели на нем безукоризненно; белый галстук был тщательно завязан, и его светло-лиловые перчатки могли бы смело красоваться на руках какого-нибудь модного священнослужителя без страха и упрека. Его манеры и речь

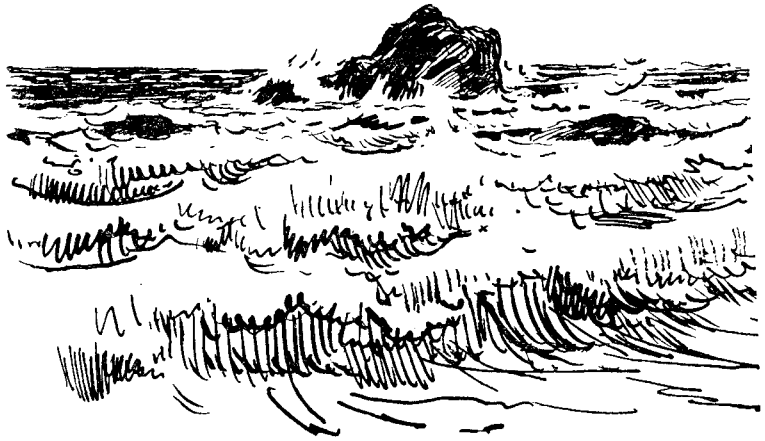
отличались отменной светскостью и изысканностью старой школы, а также остроумием и находчивостью человека, по своей профессии обязанного быть всегда начеку и во всеоружии. Великолепное здоровье и прекрасные виды на будущее для начала, а затем безоблачная карьера добропорядочного человека, приятная, деятельная, почтенная старость — вот мое впечатление в целом от мистера Гилмора. Справедливости ради надо отметить, что чем дольше и лучше узнавал я его, тем сильнее утверждался в этом мнении.

Я оставил старого джентльмена и мисс Голкомб у дверей дома, чтобы мое присутствие не помешало их разговору о делах семьи Фэрли. Они прошли в гостиную, а я снова спустился по ступенькам подъезда, чтобы побродить по саду.

Часы моего пребывания в Лиммериджe были сочтены; мой отъезд назавтра был бесповоротно решен; мое участие в расследовании по поводу анонимного письма было закончено. Я не причинил бы никакого вреда никому, кроме самого себя,— на то короткое время, которое оставалось мне,— дав волю своему чувству и освободив его от того холодного, жестокого запрета, который мне пришлось наложить на него. Я хотел попрощаться с теми местами, которые были свидетелями быстротечных мгновений моего счастья и моей любви.

Я машинально свернул на дорожку, проходившую под окнами моей комнаты, на ту аллею, где вчера она гуляла со своей собачкой, и пошел по милым следам — до калитки, ведущей в сад, где цвели ее розы. Осень уже угрюмо обнажила его. Цветы, которые она учила меня различать по именам, те цветы, которые я учил ее рисовать, увяли, и маленькие дорожки среди клумб были мокры от дождя. Я прошел по аллее, где мы вместе вдыхали теплое благоухание августовских вечеров, где мы вместе любовались мириадами комбинаций света и тени у наших ног. Со стонущих веток вокруг меня осыпались листья, и запах осенней гнили преследовал меня.

Я был уже за садом и шел по тропинке, подымавшейся на ближайший холм. Лежавшее поодаль старое дерево, на котором мы часто отдыхали, было пропитано сыростью; места, где под обломками камня гнездились папоротники, которые я, бывало, рисовал для нее, превратились в лужи стоячей воды, стынущей вокруг островков из мокрой



сорной травы. Я взошел на вершину холма и поглядел на просторы, которыми мы любовались так часто в те счастливые дни. Все было голо и серо, все выглядело совсем иным, чем было в моей памяти. Солнечные лучи ее присутствия уже не грели меня; очарованье ее голоса не пленяло моего слуха. На том месте, откуда я сейчас глядел вниз, она рассказывала мне о своем отце, о том, как горячо они любили друг друга и как она до сих пор тосковала, когда входила в его комнаты или занималась чем-то, что напоминало ей о нем.

Разве вид, открывшийся с холма, где я стоял в полном одиночестве, был похож на тот, которым я любовался, слушая ее рассказы? Я отвернулся и спустился вниз, через равнину, через дюны, к берегу моря. Там, где однажды она задумчиво рисовала какие-то фигуры на песке кончиком своего зонтика, волны, бешено гонимые прибоем, нескончаемой чередой высоко вздымали свои белые пенистые гребни. Ветер и волны давно стерли ее следы на песке там, где, бывало, мы сидели рядом и она расспрашивала меня обо мне и моей семье, задавала мне подробные, чисто женские вопросы о матушке и сестре и

простодушно гадала, покину ли я когда-нибудь свое одинокое жилье и буду ли иметь свою семью и домашний очаг. Я смотрел на безграничный однообразный водный простор, и берег, где мы проводили вместе солнечные часы нашего досуга, был мне чужим, будто я стоял на берегах незнакомой земли.

Безмолвное уныние окружающего наполнило мое сердце холодом. Я вернулся к дому и саду, где следы ее присутствия были на каждом повороте дорожек, где все говорило о ней.

Неподалеку от террасы я встретил мистера Гилмора. По-видимому, он искал меня, ибо ускорил свои шаги, заметив мое появление. Мое настроение не располагало меня к встрече с чужим человеком. Но она была неизбежной, и я покорился с намерением извлечь из этой встречи как можно больше пользы.

— Именно вас я и хочу повидать,— промолвил старый поверенный.— Мне надо сказать вам два слова, мой дорогой сэр, и, если вы не возражаете, я воспользуюсь представившимся мне случаем. Выражаясь яснее, мисс Голкомб и я говорили о семейных делах, из-за которых

я здесь, и, естественно, она должна была коснуться неприятных обстоятельств, связанных с анонимным письмом. Она рассказала мне об участии, которое вы так усердно и добросовестно принимали в этом деле. Я понимаю, что это дает вам полное право интересоваться тем, как будет продолжено начатое вами расследование. Вам, конечно, хочется, чтобы оно было передано в надежные руки. Дорогой сэр, будьте покойны — оно будет в моих руках.

— Конечно, вы гораздо лучше меня можете посоветовать, как надо действовать, мистер Гилмор. Не будет ли нескромным с моей стороны, если я спрошу, что вы думаете предпринять?

— Я уже составил себе план действий, мистер Хартрайт, по мере возможности. Я думаю послать копию анонимного письма с изложением всех сопутствующих ему обстоятельств человеку, которого я немного знаю: поверенному сэра Персиваля Глайда. Подлинник я оставил у себя, чтобы показать его сэру Персивалю, как только он приедет. Я также принял меры к тому, чтобы выследить обеих женщин, и послал одного из слуг — верного человека — на станцию выяснить, куда они направились. Ему даны деньги и велено последовать за ними, если он их разыщет или обнаружит их следы. Вот все, что мы можем предпринять до приезда сэра Персиваля. Лично я не сомневаюсь, что все объяснения, которых можно ожидать от джентльмена и честного человека, он представит нам с готовностью. Сэр Персиваль занимает очень высокое положение, сэр,— превосходное общественное положение, безупречная репутация. Я не сомневаюсь в результатах. Рад, что могу это сказать: за него я вполне спокоен. Подобные случаи постоянно встречаются в моей практике: анонимные письма, погибшие женщины — прискорбные явления нашего общественного строя. Я не отрицаю, что в данном деле есть свои особенности и осложнения, но сам случай, к прискорбию, банален, весьма банален.

— К сожалению, мистер Гилмор, я не разделяю ваших взглядов на это дело.

— Вот именно, дорогой сэр, вот именно. Я стар — и у меня практическая точка зрения. Вы молоды — и у вас романтическая точка зрения. Не будем спорить о наших взглядах. По роду моей профессии я постоянно живу среди

словопрений, мистер Хартрайт, и всегда рад, когда могу избежать их, как делаю это сейчас. Подождем и посмотрим, как развернутся события,— да, да, да, подождем и посмотрим, как развернутся события. Прелестное место! Хорошая охота? Впрочем, вряд ли. Насколько мне известно, мистер Фэрли не устраивал на своих землях охотничьего заповедника. Все же прелестное место и премилые люди. Вы рисуете и пишете акварелью, как я слышал? Завидный талант! В каком стиле?

Мы начали разговор на общие темы, вернее, мистер Гилмор говорил, а я слушал. Но мои мысли были далеки от него и от тех предметов, на которые он изливал свое красноречие. Моя одинокая прогулка в течение последних двух часов возымела свое действие: мне хотелось теперь как можно скорее уехать из Лиммериджа. Зачем было продолжать эту пытку прощанья? Кому я был нужен здесь? Кому могла понадобиться моя помощь?

В моем дальнейшем пребывании в Кумберленде не было никакой необходимости, час отъезда не был установлен моим хозяином. Почему бы не покончить со всем этим сразу?

Я решил, что пора кончать. Оставалось еще несколько часов до темноты — откладывать мой отъезд в Лондон было ни к чему. Воспользовавшись первым предлогом, чтобы извиниться перед мистером Гилмором, я вернулся в дом.

На пути в мою комнату я встретил мисс Голкомб. По моей поспешности она заметила, что я что-то задумал, и спросила, что случилось.

Я объяснил ей причины, побуждавшие меня ускорить мой отъезд, рассказал все в точности так, как рассказал об этом здесь.

— Нет, нет,— сказала она задушевно и серьезно.— Уезжайте как друг, откушайте с нами еще раз. Оставайтесь и пообедайте с нами. Оставайтесь и помогите нам провести наш последний вечер так же приятно, как мы провели с вами первый, если только это возможно. Это мое приглашение, приглашение миссис Вэзи...— Она замялась немного и продолжала: — А также приглашение Лоры.

Я обещал задержаться. Видит бог, у меня не было желания оставлять по себе печальную память в ком бы то ни было.

Самым приятным местом для меня до обеденного звонка была моя собственная комната. Я просидел там до обеда, а затем сошел вниз.

В течение целого дня я не говорил с мисс Фэрли и даже не видел ее. Первая встреча за весь день была тяжелым испытанием как для нее, так и для меня. Она тоже изо всех сил старалась, чтобы этот последний вечер был похож на наши прежние невозвратные золотые вечера. Она надела платье, которое мне нравилось больше других ее платьев,— из темно-синего шелка, просто и изысканно отделанное старинными кружевами. Она подошла ко мне с прежней приветливостью и подала мне руку с прежним прямодушием. Ее холодные пальцы дрожали в моей руке, на бледных щеках горели алые пятна, она пыталась улыбнуться, но улыбка угасла на ее устах, когда я взглянул на нее. Все говорило о том, каких усилий ей стоило казаться спокойной. Сердце мое и так принадлежало ей, но если б это было возможно, я полюбил бы ее с этой минуты еще сильнее, чем прежде.

Мистер Гилмор очень выручил нас. Он был в превосходном настроении и занимал нас разговорами с неослабевающим воодушевлением. Мисс Голкомб отважно вторила ему, и я делал все возможное, чтобы следовать ее примеру. Нежные голубые глаза, выражение которых я так хорошо изучил, умоляюще посмотрели на меня, когда мы садились за стол. «Помогите моей сестре,— казалось, говорил ее встревоженный взгляд,— помогите ей, и вы поможете мне».

Внешне мы все выглядели за обедом вполне довольными и спокойными. Когда дамы поднялись из-за стола и мы с мистером Гилмором остались одни в столовой, новое небольшое событие заняло наше внимание и дало мне возможность успокоиться и помолчать в течение нескольких минут.

Слуга, которого послали в погоню за Анной Катерик и ее подругой, вернулся и пришел в столовую с докладом.

— Ну,— сказал мистер Гилмор,— что вы разузнали?

— Я выяснил, сэр, что эти женщины взяли билеты на здешней станции до Карлайля,— отвечал слуга.

— Узнав об этом, вы, конечно, отправились в Карлайль?

— Да, сэр. Но должен, к сожалению, признаться, что они как в воду канули, и я больше ничего о них не мог разузнать.

— Вы спрашивали в Карлайле, на станции?

— Да, сэр.

— И на постоялых дворах?

— Да, сэр.

— И оставили в полицейском участке заявление, которое я дал вам?

— Оставил, сэр.

— Ну что ж, друг мой, вы сделали все, что могли, и я сделал все, что мог; оставим пока это дело... Наши козыри биты, мистер Хартрайт,— продолжал, обращаясь ко мне, старый джентльмен, когда слуга удалился.— На сегодня женщины перехитрили нас и расстроили наши планы. Нам теперь остается только подождать до следующего понедельника, когда приедет сэр Персиваль Глайд... Не налить ли вам еще вина? Хороший портвейн! Доброе, крепкое, старое вино. Хотя в моем погребе есть и получше.

Мы вернулись в гостиную, где я проводил счастливейшие вечера моей жизни и где был теперь в последний раз. С тех пор как похолодало и дни стали короче, гостиная выглядела совсем по-иному. Стеклянная дверь на террасу была закрыта и завешена плотными портьерами. Вместо мягкого света сумерек, при котором мы, бывало, сидели, яркий свет лампы слепил теперь глаза.

Все стало иным, и внутри и снаружи, все изменилось.

Мисс Голкомб и мистер Гилмор сели за карточный стол, миссис Вэзи — в свое обычное кресло. Они могли располагать собой как хотели в этот вечер; тем сильнее чувствовал я свою скованность. Я видел, как мисс Фэрли медлила у рояля. Раньше для меня было так естественно подойти к ней. Теперь я был в нерешительности и не знал, к кому обратиться и что делать. Мисс Фэрли быстро взглянула на меня, взяла ноты с пюпитра и подошла ко мне.

— Не сыграть ли вам какую-нибудь из мелодий Моцарта, которые вам так нравились? — спросила она смущенно, открывая ноты и опустив глаза.

Прежде чем я успел поблагодарить ее, она поспешно вернулась к роялю. Стул подле него, на котором я, бывало,

сидел, теперь никем не был занят. Она взяла несколько аккордов, взглянула на меня и посмотрела в ноты.

— Не сядете ли вы на ваше старое место? — спросила она прерывисто и тихо.

— Да, я посижу здесь на прощанье,— ответил я.

Она ничего не сказала. С сосредоточенным вниманием она разглядывала ноты, которые знала наизусть, которые играла столько раз в минувшие дни. Я понял, что она слышала мой ответ, понял, что она чувствует мое присутствие рядом с нею, когда увидел, как алые пятна на ее щеках погасли и лицо ее побледнело.

— Мне очень жаль, что вы уезжаете,— почти прошептала она, все пристальнее вглядываясь в ноты.

Пальцы ее летали по клавишам со странной лихорадочной энергией, которой я раньше не замечал в ее игре.

— Я буду помнить эти добрые слова, мисс Фэрли, спустя долгое время после того, как пройдет завтрашний день.

Ее лицо побледнело еще больше, и она почти совсем отвернулась от меня.

— Не говорите о завтрашнем дне,— сказала она тихо.— Пусть музыка говорит с нами сегодня вечером языком более выразительным, чем наш.

Губы ее задрожали, с них слетел легкий вздох, который она напрасно пыталась заглушить. Ее пальцы нерешительно скользнули по клавишам, прозвучала фальшивая нота, она хотела поправиться, сбилась и бросила играть. Мисс Голкомб и мистер Гилмор удивленно подняли головы от карт, за которыми они сидели. Даже миссис Вэзи, дремавшая в кресле, проснулась от внезапной тишины и осведомилась, что случилось.

— Вы играете в вист, мистер Хартрайт? — спросила мисс Голкомб, значительно посмотрев на мой стул.

Я понял ее намек, я знал, что она права. Я сейчас же встал, чтобы подойти к карточному столу. Когда я отошел от рояля, мисс Фэрли перевернула нотную страницу и снова прикоснулась к клавишам, уже более уверенной рукой.

— Все-таки я сыграю это,— сказала она с каким-то восторгом,— я сыграю это в последний раз!

— Прошу вас, миссис Вэзи,— сказала мисс Голкомб,— мистеру Гилмору и мне надоело играть в экартэ, будьте партнером мистера Хартрайта в висте.

Старый адвокат насмешливо улыбнулся. Он выигрывал и как раз в это время предъявил короля. Внезапную перемену карточной игры он, очевидно, приписал тому, что дама не желала проигрывать.

В течение остального вечера мисс Фэрли не проронила ни слова, не бросила на меня ни единого взгляда. Она сидела за роялем, а я за карточным столом. Она играла непрерывно — играла так, будто искала в музыке спасения от самой себя. Временами пальцы ее касались клавиш с томительной любовью, с мягкой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и печальной для слуха, временами они изменяли ей или торопливо бегали по клавишам, как если бы играть было им в тягость. И все же, как ни менялось то выражение, которое они передавали в музыке, они повиновались ей, не ослабевая ни на минуту. Она поднялась из-за рояля, только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи.

Миссис Вэзи была ближе всех к двери — и первая пожала мне руку.

— Я больше не увижу вас, мистер Хартрайт,— сказала старая дама.— Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы всегда были очень добры и внимательны ко мне, а я, как старая женщина, ценю доброту и внимание. Желаю вам всего наилучшего, сэр, желаю вам на прощанье счастья.

Следующим был мистер Гилмор.

— Надеюсь, мы будем иметь возможность продолжить наше знакомство в будущем, мистер Хартрайт. Вам понятно, что то небольшое дело находится в верных руках? Да, да, конечно. Бог мой, как холодно! Не буду задерживать вас у дверей. Счастливого пути, дорогой сэр, бон вояж, как говорят французы.

Подошла мисс Голкомб.

— Завтра утром, в половине восьмого...— А потом прибавила шепотом: — Я видела и слышала больше, чем вы думаете. Ваше поведение сегодня вечером сделало меня вашим другом на всю жизнь.

Мисс Фэрли была последней. Я боялся, что взгляд мой выдаст меня, и старался не смотреть на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне.

— Я уеду рано утром,— сказал я,— уеду, мисс Фэрли, прежде, чем вы...

— Нет-нет,— быстро перебила она,— не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна, чтобы забыть последние три месяца...

Голос изменил ей, рука ее тихо пожала мою и сразу отпустила. Не успел я сказать «доброй ночи», как она уже ушла.

Я быстро приближаюсь к концу моего рассказа, приближаюсь так же неизбежно, как наступил рассвет моего последнего утра в Лиммеридже.

Не было еще и половины восьмого, когда я спустился вниз, но обе они уже сидели за столом и ждали меня. В холоде, при тусклом освещении, в унылом утреннем безмолвии дома мы все трое сели за стол и старались есть, старались говорить. Но наши усилия были тщетны, и я встал, чтобы положить этому конец.

Когда я протянул руку и мисс Голкомб, стоявшая ближе ко мне, взяла ее, мисс Фэрли отвернулась и поспешно вышла из комнаты.

— Так лучше,— сказала мисс Голкомб, когда дверь закрылась.— Так лучше и для нее, и для вас.

С минуту я не мог говорить. Тяжко было потерять ее без единого слова, без единого взгляда на прощанье. Я справился со своим волнением и постарался попрощаться с мисс Голкомб в подобающих выражениях, но слова, которые теснились во мне, свелись к единственной фразе: «Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?» — вот было все, что я мог сказать.

— Вы по достоинству заслужили все, что я хотела бы для вас сделать, пока мы оба живы. Чем бы все это ни кончилось, вы будете об этом знать.

— И если когда-нибудь я смогу чем-то помочь вам, пусть через много лет, после того как изгладится память о моей дерзости и моем безрассудстве...

Я был не в силах продолжать. Голос мой упал, глаза были влажны...

Она схватила мои руки, пожала их крепко, уверенно, по-мужски, черные глаза ее сверкнули, щеки запылали, энергичное лицо ее просияло и стало прекрасным, озарившись внутренним светом великодушного сочувствия.

— Я полагаюсь на вас, и, если мы будем нуждаться в помощи, я позову вас как моего друга и ее друга, как

моего и ее брата.— Она остановилась, подошла ближе — смелая, благородная женщина,— по-сестрински дотронулась губами до моего лба и назвала меня по имени.— Да благословит вас бог, Уолтер! — сказала она.— Подождите здесь и успокойтесь. Для вашей же пользы мне лучше уйти. Я посмотрю с балкона, как вы будете уезжать.

Она удалилась. Я подошел к окну, за которым не было ничего, кроме унылой осенней пустоты. Я должен был взять себя в руки, прежде чем навсегда покинуть эту комнату.

Не прошло и минуты, как вдруг дверь тихо отворилась, и я услышал шелест женского платья. Сердце мое забилось, я обернулся. Из глубины комнаты ко мне шла мисс Фэрли. Когда наши взгляды встретились и она поняла, что мы одни, она с минуту постояла в нерешительности. Потом с мужеством, которое женщины так редко проявляют в малых испытаниях и так часто — в больших, она подошла ко мне, бледная и странно тихая, пряча что-то в складках своего платья.

— Я пошла в гостиную,— сказала она,— чтобы взять это. Пусть это напомнит вам о пребывании у нас и о друзьях, которых вы здесь оставляете. Вы говорили мне, что я делаю успехи, и я подумала, что вам...

Она отвернула лицо и протянула мне свой рисунок — маленький летний домик, где мы встретились в первый раз. Рисунок дрожал в ее руке и задрожал в моей, когда я взял его.

Я боялся выдать свое чувство и только ответил:

— Я никогда с ним не расстанусь. Самым дорогим моим сокровищем на всю жизнь будет этот рисунок. Я благодарю вас за него, я благодарю вас за то, что вы не дали мне уехать, не попрощавшись с вами.

— О,— сказала она простодушно,— могла ли я не попрощаться с вами после того, как мы провели вместе столько счастливых дней!..

— Эти дни не вернутся никогда, мисс Фэрли, наши дороги в жизни лежат так далеко друг от друга. Но если когда-нибудь настанет время, когда преданность моего сердца и все силы мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования. Мисс Голкомб обещала позвать меня — вы мне тоже это обещаете?

В ее нежных глазах сквозь слезы тускло мерцала печаль расставания

Я обещаю, проговорила она прерывающимся голосом.— О, не смотрите на меня так! Я обещаю от всего сердца!

Я протянул ей руку:

У вас много друзей, которые любят вас, мисс Фэрли. И все, кто любит вас, надеются, что вы будете счастливы. Можно ли сказать вам, что и я надеюсь на это?

Слезы градом катились по ее щекам Одной рукой она оперлась на стол и протянула мне другую. Я взял ее, я пожал ее крепко, голова моя склонилась к ее руке, слезы упали на нее, губы прижались к ней — не с любовью, о нет! — в эту последнюю минуту не с любовью, но с самозабвением отчаяния.

— Ради бога, оставьте меня,— слабо прошептала она.

Эти умоляющие слова открыли мне тайну ее сердца. Я не имел права слышать их, не имел права ответить на них. Во имя ее святой беззащитности эти слова заставляли меня немедленно уйти.

Все было кончено. Я выпустил ее руку из своей. Я ничего не сказал больше. Слезы, мои слезы, скрыли ее от меня, я смахнул их, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Она упала в кресло, положила руки на стол и устало опустила на них голову. Последний прощальный взгляд — и дверь за мной закрылась, пучина разлуки разверзлась между нами — образ Лоры Фэрли стал памятью прошлого.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ УИНСЕНТ ГИЛМОР ИЗ ЧЕНСЕРИ-ЛЕЙН, ПОВЕРЕННЫЙ СЕМЬИ ФЭРЛИ

I

пишу эти строки по просьбе моего друга Уолтера Хартрайта. Их назначение: запечатлеть некоторые события, причинившие серьезный ущерб интересам мисс Фэрли и происшедшие уже после отъезда мистера Хартрайта из Лиммериджа.

Нет нужды упоминать здесь о том, каково мое личное мнение по поводу обнародования этой достопримечательной семейной истории. Часть оной будет рассказана в моем повествовании. Мистер Хартрайт взял на себя ответственность за это обнародование, и, как будет явствовать из обстоятельств, мною описываемых, он вполне заслужил право поступать в данном случае по своему усмотрению. Дабы эта история наиболее правдивым и занимательным образом стала известна читателям, необходимо, чтобы ее рассказывали по ходу дела именно те лица, которые были непосредственно замешаны в происшедших событиях. Вот почему я появляюсь здесь в качестве рассказчика.

Я присутствовал при временном пребывании сэра Персиваля Глайда в Кумберленде и принимал участие в одном важном деле, которое явилось следствием его недолгого присутствия в доме мистера Фэрли. А посему мой

долг прибавить новые звенья к цепи событий и подхватить самою цепь в том месте, где на сегодняшний день мистер Хартрайт выпустил ее из рук.

В пятницу второго ноября я прибыл в Лиммеридж.

Я намеревался дождаться приезда сэра Персиваля. Если бы в результате его визита была назначена дата свадьбы сэра Персиваля с мисс Фэрли, я должен был, получив соответствующие указания, вернуться в Лондон и заняться составлением брачного контракта для молодой леди.

Мистер Фэрли не соблаговолил принять меня в пятницу. В течение многих лет он был или, вернее, воображал себя инвалидом и посему велел передать мне, что недостаточно здоров, чтобы повидаться со мной.

Первой из членов семьи, с кем я встретился, была мисс Голкомб. Она приветствовала меня у дверей дома и представила мне мистера Хартрайта, который в течение некоторого времени проживал в Лиммеридже.

Мисс Фэрли я увидел только за обедом. Я огорчился, заметив, что она выглядит не столь хорошо, как раньше. Она прелестная, милая девушка, такая же внимательная и добрая, как была ее мать, но, между нами, она больше походит на своего отца. У миссис Фэрли были темные глаза и волосы. Ее старшая дочь мисс Голкомб мне ее очень напоминает. Мисс Фэрли играла нам вечером на рояле, но, по-моему, хуже, чем обычно. В вист мы сыграли всего один роббер, что было лишь профанацией этой благородной игры. Мистер Хартрайт произвел на меня весьма приятное впечатление при первом знакомстве, но вскоре я убедился, что и он не свободен от недостатков, присущих его возрасту. Теперешние молодые люди не умеют трех вещей: посидеть за вином, играть в вист и сделать даме комплимент. Мистер Хартрайт не был исключением из общего правила. Впрочем, в других отношениях даже тогда, при первом знакомстве, он показался мне скромным и весьма порядочным молодым человеком.

Так прошла пятница. Я не буду говорить здесь о более серьезных вопросах, которые занимали меня в тот день: об анонимном письме к мисс Фэрли, о мерах, которые я счел нужным принять в связи с этим, и о моей полной уверенности, что сэр Персиваль Глайд с готовностью

представит исчерпывающие объяснения по поводу этого неприятного случая.

В субботу мистер Хартрайт уехал раньше, чем я сошел к завтраку. Мисс Фэрли весь день не выходила из своей комнаты. Мисс Голкомб, по-моему, была не в духе. Дом был уже не тот, что при мистере и миссис Филипп Фэрли. Днем я пошел погулять и повидать те места, которые впервые увидел лет тридцать назад, когда был приглашен в Лиммеридж в качестве поверенного по делам семьи. Все выглядело уже не таким, как прежде.

В два часа мистер Фэрли прислал сказать, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принять меня. Вот он-то как раз совсем не изменился с тех пор, как я его знал. Он, как всегда, говорил только о себе — о своих нервах, о своих замечательных древних монетах и о бесподобных офортах Рембрандта. Как только я заговорил о делах, из-за которых приехал, он закрыл глаза и заявил, что я «утомляю» его. Но я все-таки продолжал «утомлять» его, снова и снова возвращаясь к главной теме нашего раговора. Мне пришлось убедиться, что он смотрит на предстоящий брак своей племянницы как на решенный вопрос; сам он соизволил давно на него согласиться; это был выгодный брак, и лично он будет чрезвычайно рад, когда все беспокойства, связанные с этим, окажутся уже позади. Что касается брачного контракта — насчет этого я мог посоветоваться с его племянницей и почерпнуть сведения из собственного знакомства с делами семьи. Я обязан подготовить брачный контракт сам, а его роль опекуна свести до минимума. Вообще все, что он мог бы сделать, сводилось к тому, чтобы произнести «да» в нужную минуту. Во всем остальном он был готов, пальцем не пошевелив, самоотверженно пойти навстречу и мне, и всем другим «с бесконечным

наслаждением». Разве я не вижу, что передо мной немощный страдалец, навеки пригвожденный к одру болезни? Неужели он заслуживает, чтобы ему докучали? Нет. Так зачем же ему докучать?

Если б я не был досконально знаком с делами семьи, я, вероятно, удивился бы такому полному безразличию со стороны мистера Фэрли. Но я прекрасно помнил, что мистер Фэрли холост и заинтересован в поместье и доходах с него только пожизненно. Учитывая все это, я не был ни удивлен, ни огорчен результатами нашей встречи. Мистер Фэрли вполне оправдал мои ожидания, вот и все.

Воскресенье прошло очень скучно. Я получил письмо от поверенного сэра Персиваля Глайда, подтверждающее получение пересланной ему копии анонимного письма и моего заявления.

Мисс Фэрли вышла к нам днем, бледная и печальная. Она выглядела совсем другой, чем была раньше. Я немного поговорил с ней и попытался коснуться вопроса о сэре Персивале. Она слушала молча. Охотно поддерживая разговор на другие темы, она уклонилась от этой. Я подумал, не жалеет ли она о своей помолвке, как это часто бывает с молодыми леди, когда уже поздно отступать.

Сэр Персиваль Глайд приехал в понедельник.

Он показался мне весьма привлекательным и внешностью и манерами. Он выглядел несколько старше, чем я ожидал: рано облысевшая спереди голова и немного утомленное лицо старили его. Но он был оживлен и подвижен, как молодой человек. Его встреча с мисс Голкомб была очаровательной — сердечной и непринужденной. Когда ему представили меня, он оказал мне такой любезный прием, что мы сразу почувствовали себя как старые знакомые. Мисс Фэрли не присутствовала, когда его встречали. Она вошла к нам минут десять спустя. Сэр Персиваль поднялся и приветствовал ее чрезвычайно учтиво. Очевидно, он был очень огорчен, что молодая леди плохо выглядит, и вел себя с ней так нежно и почтительно, с такой непритязательной деликатностью, что это делало честь как его воспитанности, так и здравому смыслу. Поэтому я никак не мог понять, почему мисс Фэрли выглядела в его присутствии смущенной и подавленной и воспользовалась первой же возможностью уйти из ком-

наты. Сэр Персиваль, казалось, не заметил ее сдержанности при встрече с ним и ее поспешного бегства. Пока она была с ним — он не навязывал ей своего внимания, а когда она ушла, не смутил мисс Голкомб никакими замечаниями по поводу ее ухода. За все время моего пребывания вместе с ним в Лиммеридже его такт и воспитанность всегда были на высоте.

Как только мисс Фэрли покинула комнату, он сам заговорил об анонимном письме, избавив нас от этой неприятной необходимости. Он заехал в Лондон по пути из Хемпшира, повидал своего поверенного, прочитал документы, пересланные мной, и поспешил в Кумберленд, желая как можно скорее дать нам самые полные и удовлетворительные объяснения. Услышав, в каких выражениях он говорил об этом, я предложил ему прочитать подлинник письма, которое я сохранил для него. Он поблагодарил меня и отказался взглянуть на письмо, говоря, что поскольку он видел копию, то охотно оставит оригинал в наших руках.

Затем он сделал нам заявление, которое было именно таким, как я ожидал.

Миссис Катерик, сказал он, в прошлом оказала много услуг членам его семьи и ему самому, и потому он считал себя некоторым образом в долгу у нее. Она была несчастна вдвойне, ибо была замужем за человеком, который ее оставил, и имела ребенка, чьи умственные способности были в расстроенном состоянии с самых малых лет. После свадьбы миссис Катерик переехала в ту часть Хемпшира, которая находилась далеко от имения сэра Персиваля, но он не захотел терять ее из виду. Его хорошее отношение к этой бедной женщине в благодарность за ее преданность его семье только возросло, когда он узнал, с каким терпением и мужеством она переносила ниспосланные ей несчастья. С течением времени признаки полного расстройства рассудка ее несчастной дочери стали настолько явными, что необходимо было поместить ее под медицинский надзор. Миссис Катерик признала это необходимым сама, но в то же время в силу предрассудков, понятных в столь почтенной женщине, она ни в коем случае не хотела, чтобы ее дочь попала, как нищая, в общественную больницу. Сэр Персиваль, уважая этот предрассудок, как он вообще уважает всякое проявление независимости в людях всех классов общества, решил

выразить свою благодарность за преданность миссис Катерик к его семье, взяв на себя расходы по содержанию ее дочери в прекрасной частной лечебнице. К великому огорчению и ее матери и его самого, несчастная каким-то образом узнала, что он принимал участие в ее водворении в лечебницу, и прониклась к нему неприязнью, которая дошла до лютой ненависти. Одним из последствий этой ненависти и подозрительности, принимавших у нее разные формы еще в лечебнице, было анонимное письмо, написанное ею после побега из сумасшедшего дома.

Если мисс Голкомб и мистер Гилмор, которые помнят содержание анонимного письма, находят, что его объяснения нельзя считать исчерпывающими, или захотели бы узнать дополнительные подробности о лечебнице (адрес он упомянул, так же как и фамилии двух докторов, давших заключение, на основании которого пациентка была принята в сумасшедший дом), он готов ответить на любой вопрос и пролить свет на любую неясность. Он исполнил свой долг в отношении несчастной, дав указания своему поверенному найти ее и снова поместить под медицинский присмотр. Он чрезвычайно желал исполнить теперь свой долг по отношению к мисс Фэрли и ее семье так же прямодушно и честно.

Я был первым, кто ответил ему. Мой собственный долг был для меня ясен. В том-то и состоит красота юриспруденции, что она может оспаривать любое заявление любого человека, при каких бы обстоятельствах и в какой бы форме оно ни было сделано.

Если бы мне официально предложили возбудить дело против сэра Персиваля Глайда на основании его собственного заявления, я, несомненно, мог бы это сделать. Но долг мой состоял не в этом. Мои обязанности в данном случае были чисто юридическими. Я должен был взвесить объяснение, только что выслушанное нами, учитывая высокое общественное положение и безупречную репутацию джентльмена, представившего нам это объяснение. Я должен был честно решить, были ли обстоятельства, изложенные сэром Персивалем, за него или против него. Лично я был глубоко убежден, что они были за него; сообразно с этим я объявил во всеуслышание, что, с моей точки зрения, его объяснение является, бесспорно, исчерпывающим.

Устремив на меня серьезный взгляд, мисс Голкомб сказала, со своей стороны, несколько слов в том же роде, однако как-то неуверенно, что, по-моему, было не совсем уместно и оправданно. Я не могу с достоверностью сказать, заметил ли это сэр Персиваль или нет. Думаю, что заметил, ибо он снова вернулся к предмету нашей беседы, хотя с полным правом мог уже не касаться его.

— Если бы я излагал все эти факты только перед мистером Гилмором,— сказал он,— я считал бы дальнейшее упоминание об этом печальном случае неуместным. Я знаю, что мистер Гилмор, как джентльмен, поверил бы мне на слово, и обсуждение этой темы было бы закончено. Но с дамой я должен вести себя иначе и считаю своим долгом сделать для нее то, чего не сделал бы ни для одного мужчины: представить ей доказательства, подтверждающие истину моих слов. Вам неудобно просить у меня таких доказательств, мисс Голкомб, поэтому мой долг по отношению к вам и в особенности к мисс Фэрли самому представить их. Покорнейше прошу вас немедленно написать миссис Катерик, матери этой несчастной женщины, с просьбой подтвердить то объяснение, которое я дал вам сейчас.

Я увидел, что мисс Голкомб изменилась в лице,— по-видимому, ей стало неловко. Предложение сэра Персиваля, хотя он и сделал его чрезвычайно любезно, очевидно, показалось ей (как и мне) намеком, весьма тонким, что он заметил неуверенность, которая сквозила в ее тоне несколько минут назад.

— Надеюсь, сэр Персиваль, вы не настолько несправедливы ко мне, чтобы заподозрить меня в недоверии к вам? — быстро сказала она.

— Конечно, нет, мисс Голкомб, я предложил сделать это только в знак моего уважения к вам. Простите ли вы мое упрямство, если я все-таки буду настаивать на своем?

С этими словами он подошел к письменному столу, придвинул к нему стул и открыл ящик с письменными принадлежностями.

— Прошу вас, напишите короткую записку из любезности ко мне. Это отнимет у вас всего несколько минут. Вы можете задать миссис Катерик два вопроса: была ли ее дочь помещена в сумасшедший дом с ее ведома и одобрения? Второе: заслуживало ли мое участие в этом

деле ее благодарности? У мистера Гилмора уже не осталось сомнений, у вас — тоже, но успокойте мои собственные сомнения и напишите эту записку!

— Вы заставляете меня уступить вашей просьбе, сэр Персиваль, хотя я предпочла бы отказать вам.— С этими словами мисс Голкомб встала со стула и подошла к письменному столу.

Сэр Персиваль поблагодарил ее, подал ей перо и отошел к камину.

Маленькая левретка мисс Фэрли лежала на ковре перед камином. Он протянул к ней руку и добродушно поманил собаку.

— Подойди, Нина,— сказал он.— Мы с тобой помним друг друга, правда?

Маленькая собачонка, трусливая, капризная, какими обычно бывают эти избалованные собачки, злобно огрызнулась на него, отпрянула от его руки, зарычала, задрожала и забилась под кушетку. Трудно предположить, чтобы такой пустяк, как прием, оказанный ему собакой, мог вывести сэра Персиваля из равновесия, однако я заметил, что он сразу же быстро отошел к окну. Возможно, временами он бывает вспыльчив. Если так, то я ему сочувствую. Я тоже иногда могу вспылить.

Мисс Голкомб недолго писала записку. Закончив ее, она встала и подала ее сэру Персивалю. Он поклонился, взял записку, тут же, не читая, сложил ее, запечатал, надписал адрес и вернул ей. Это было сделано с такой учтивостью и с таким достоинством, что, право, ничего подобного я в жизни не видывал!

— Вы настаиваете, чтобы я отослала письмо, сэр Персиваль? — спросила мисс Голкомб.

— Умоляю вас об этом,— отвечал он.— А теперь, когда письмо написано и запечатано, разрешите задать вам один или два вопроса относительно несчастной женщины, которой оно касается. Я прочитал заявление мистера Гилмора, любезно посланное им моему поверенному, с описанием обстоятельств, при которых была установлена личность автора анонимного письма. Но есть подробности, о которых не упомянуто. Виделась ли Анна Катерик с мисс Фэрли?

— Конечно, нет.

— А с вами, мисс Голкомб?

— Нет.

— Она не видела никого из домашних, кроме некоего мистера Хартрайта, который случайно встретил ее на здешнем кладбище?

— Никого больше.

— Мистер Хартрайт был в Лиммеридже, кажется, в качестве учителя рисования? Он принадлежит к одному из художественных обществ?

— По-моему, да,— отвечала мисс Голкомб.

Он помолчал с минуту, как будто обдумывая этот ответ, а затем прибавил:

— Вы выяснили, где жила Анна Катерик, когда была здесь?

— Да. На ферме Тодда.

— Найти ее — наш общий долг по отношению к этой несчастной,— продолжал сэр Персиваль.— Возможно, она сказала на ферме что-нибудь такое, что поможет нам узнать, где она сейчас. При случае я прогуляюсь туда и порасспрошу их. А пока что могу ли я просить вас, мисс Голкомб, чтобы вы были столь любезны и передали мисс Фэрли мои объяснения — мне самому слишком тягостно касаться этой неприятной темы,— конечно, когда вы получите ответ от миссис Катерик.

Мисс Голкомб обещала исполнить его просьбу. Он поблагодарил ее, любезно поклонился и оставил нас, чтобы отдохнуть в своих комнатах. Когда он открывал дверь, злая левретка высунула свою острую мордочку из-под кушетки и залаяла на него.

— Мы хорошо потрудились, мисс Голкомб,— сказал я, когда мы остались одни.— Все хорошо, что хорошо кончается.

— Да, безусловно,— отвечала она.— Я рада, что ваши опасения рассеялись.

— Мои! Но после того как вы написали такое письмо, и ваши тоже, надеюсь!

— О да, разве может быть иначе? Я знаю, это невозможно, но мне так хотелось бы,— продолжала она, говоря больше сама с собой, чем со мной,— чтобы Уолтер Хартрайт был еще здесь, присутствовал при этом объяснении и слышал, как мне предложили написать это письмо...

Ее последние слова меня удивили и, пожалуй, даже обидели.

— Мистер Хартрайт, безусловно, принимал самое жи-

вое участие в деле с анонимным письмом,— сказал я,— и я готов признать, что в целом он вел себя весьма осмотрительно и благоразумно, но я никак не могу понять, каким образом его присутствие могло бы изменить то впечатление, которое произвели на нас с вами слова сэра Персиваля.

— Просто мне показалось...— отвечала она рассеянно.— Нет нужды спорить, мистер Гилмор. Вам лучше знать. Принимая во внимание ваш жизненный опыт, лучшего руководителя я не могла бы и желать.

Мне не очень понравилось, что она явно перекладывает всю ответственность на мои плечи. Я бы не удивился, если б это сделал мистер Фэрли, но я никак не ожидал, чтобы умная и решительная мисс Голкомб стала уклоняться от того, чтобы высказать собственное мнение.

— Если вас беспокоят еще какие-то сомнения, почему вы немедленно не скажете мне о них? — сказал я.— Скажите прямо: есть у вас причины не верить сэру Персивалю Глайду?

— Никаких.

— Может быть, что-то в его объяснении показалось вам противоречивым или несообразным?

— Что я могу сказать после того, как он дал мне неопровержимое доказательство, что говорит правду? Разве у него может быть лучший свидетель, чем мать этой женщины, мистер Гилмор?

— Лучшего свидетеля и быть не может, конечно. Если ответ на ваше письмо будет удовлетворительным, лично я не могу понять, каких еще объяснений мог бы требовать от сэра Персиваля любой человек, доброжелательно к нему настроенный.

— В таком случае отошлем письмо,— сказала она, вставая, чтобы выйти из комнаты.— Не будем больше говорить об этом, пока не получим ответа. Не обращайте внимания на мою неуверенность. Я могу ее объяснить только тем, что слишком тревожилась за Лору последнее время, а тревога, мистер Гилмор, может вывести из равновесия самого сильного из нас.

Она поспешно вышла из комнаты. Ее обычно такой уверенный голос дрогнул на последних словах. Тонкая, горячая, страстная натура — женщина, каких редко встретишь в наш пошлый, поверхностный век. Я знал ее с юных лет, я наблюдал ее по мере того, как она росла, я видел,

как она вела себя во времена разных семейных передряг, и мое длительное знакомство с ней заставляло меня тем внимательнее относиться к ее неуверенности, чего я, конечно, не сделал бы, будь на ее месте другая женщина. Я не видел никакого основания для колебаний или каких-либо сомнений, но все же мне стало чуть-чуть не по себе, и я встревожился. В молодости я бы горячился и досадовал на собственное непонятное настроение, но к старости я стал умнее и по-философски решил рассеяться, то есть пойти прогуляться.

II

За обедом все мы снова встретились.

Сэр Персиваль был в таком безудержно веселом настроении, что я с трудом узнавал в нем того самого человека, чей спокойный такт, воспитанность и уравновешенность произвели на меня столь сильное впечатление при утреннем свидании. Он вел себя по-прежнему, мне кажется, только в отношении мисс Фэрли. Одного ее взгляда или слова было достаточно, чтобы приковать к себе его внимание и прервать самый громкий его смех, самый остроумный поток его речи. Хотя он ни разу не пытался открыто втянуть ее в разговор, он не упускал возможности сделать это как бы случайно, при малейшем поводе с ее стороны. Меня удивляло, что, хотя мисс Фэрли, по-видимому, замечала его внимание, оно ее не трогало и она оставалась безучастной. Время от времени она слегка смущалась, когда он смотрел на нее или обращался к ней, но не становилась теплее, приветливее. Знатность, богатство, прекрасное воспитание, прекрасная внешность, глубокое уважение джентльмена и преданность любящего человека — все было смиренно положено к ее ногам, и по-видимому, понапрасну.

На следующий день, во вторник, сэр Персиваль, взяв в провожатые одного из слуг, пошел утром на ферму Тодда. Его расспросы, как я узнал позднее, ни к чему не привели. По возвращении он имел беседу с мистером Фэрли, а днем ездил кататься верхом с мисс Голкомб. Вот все, что произошло за этот день. Вечер прошел как обычно. Никакой перемены ни в сэре Персивале, ни в мисс Фэрли.

В среду утром произошло следующее событие — почта

доставила нам ответ миссис Катерик. Я снял копию с этого документа, которую здесь и помещаю. Написано было следующее:

«Сударыня, честь имею известить Вас, что я получила письмо, в котором Вы запрашиваете, была ли моя дочь Анна отдана под медицинский присмотр с моего ведома и согласия и было ли участие сэра Персиваля Глайда в этом деле таковым, чтобы заслужить мою благодарность к этому джентльмену. Прошу Вас принять мой утвердительный ответ на оба эти вопроса. Остаюсь Вашей покорной слугой

Джейн-Анна Катерик».

Сухо, коротко и ясно. По форме — довольно деловое письмо для женщины, по существу — полное подтверждение слов сэра Персиваля. Лучшего и желать было нельзя. Таково было мое мнение и до некоторой степени мнение мисс Голкомб. Сэр Персиваль, когда ему показали письмо, казалось, не был удивлен его сухостью и краткостью. Он сказал, что миссис Катерик немногословная женщина, здравомыслящая и прямая, но лишенная всякого воображения, которая пишет так же коротко и ясно, как и говорит.

Теперь, когда мы получили ответ, следовало познакомить мисс Фэрли с объяснением сэра Персиваля. Мисс Голкомб взяла это на себя и вышла было уже из комнаты, чтобы идти к сестре, но внезапно вернулась и села рядом со мной. Я сидел в кресле и читал газету. За минуту до этого сэр Персиваль пошел осматривать конюшни, и в комнате, кроме нас, никого не было.

— Мы действительно сделали все, что могли? — сказала она, теребя в руках письмо миссис Катерик.

— Мы сделали все и даже больше, чем это было нужно, если мы друзья сэра Персиваля, которые знают его и верят ему,— ответил я, слегка раздосадованный тем, что ее опасения вернулись.— Но если мы враги ему и подозреваем его...

— Нет-нет, об этом не может быть двух мнений! — возразила она.— Мы друзья сэра Персиваля, и, если великодушие и снисходительность заслуживают уважения, мы должны были бы восхищаться им сейчас. Вы знаете, что вчера он виделся с мистером Фэрли, а потом ездил кататься верхом со мной?

— Да, я видел вас.

— Сначала мы говорили об Анне и об удивительной встрече с ней мистера Хартрайта. Но вскоре мы оставили эту тему, и сэр Персиваль заговорил о своей помолвке с Лорой, проявив при этом полное бескорыстие. Он сказал, что заметил ее плохое настроение и готов отнести перемену ее отношения к нему за счет всего случившегося. Но если к этому есть более серьезные причины, он умоляет, чтобы ни мистер Фэрли, ни я ни в чем ее не принуждали. Он только просит в последний раз напомнить ей, при каких обстоятельствах состоялось их обручение и как он вел себя в продолжение всего этого времени. Если, поразмыслив над этим, она серьезно пожелает, чтобы он перестал питать надежду стать ее мужем, если она сама, своими устами скажет ему об этом, он пожертвует собой, предоставив ей полную свободу взять обратно свое обещание.

— Ни один человек не мог бы сказать больше, мисс Голкомб. Я по опыту знаю, что не многие мужчины поступили бы так на его месте.

Она помолчала в ответ и посмотрела на меня со странным, тревожным и скорбным выражением.

— Я никого не обвиняю и ничего не подозреваю! — внезапно разразилась она.— Но я не хочу и не возьму на себя ответственность убеждать Лору в необходимости этого брака.

— Именно об этом вас и просил сэр Персиваль,— возразил я с удивлением.— Он умолял вас ни к чему ее не принуждать.

— И в то же время он заставляет меня делать это, передавая ей его слова.

— Каким образом?

— Вы знаете характер Лоры, мистер Гилмор! Если я скажу ей, что она должна вспомнить о том, как происходило ее обручение, тем самым я взываю к двум сильнейшим ее чувствам: к ее любви к отцу и к ее неизменной честности. Вы знаете, что никогда в жизни она не нарушила ни одного обещания,— она стала считать себя помолвленной со времени роковой болезни своего отца. Умирая, отец взял с нее слово, что она станет женой сэра Персиваля Глайда.

Признаюсь, ее точка зрения немного встревожила меня.

— Вы, очевидно, хотите сказать, что, когда сэр Пер-

сиваль говорил с вами вчера, он рассчитывал именно на то, на что вы сейчас намекаете?

Ее открытое, бесстрашное лицо ответило мне за нее.

— Неужели вы думаете, что я хоть на минуту осталась бы в присутствии человека, которого могла бы заподозрить в такой низости? — гневно спросила она.

Мне понравилось ее прямодушное негодование. По роду нашей профессии мы так часто встречаемся со злобой и так редко — с негодованием!

— В таком случае,— сказал я,— простите, если я скажу на нашем юридическом языке: вы переходите границы дозволенного. Какими бы ни были последствия, но сэр Персиваль вправе ожидать, чтобы ваша сестра обстоятельно поразмыслила над своим обязательством, прежде чем нарушить его. Если ее восстановило против него это несчастное письмо, немедленно пойдите и скажите ей, что он совершенно оправдался в моих и ваших глазах. Какие еще у нее могут быть возражения против брака с ним? Чем может она объяснить свое изменившееся отношение к человеку, на брак с которым она сама дала согласие два года назад?

— С точки зрения закона и рассудка, мистер Гилмор, ничем, вероятно. Если мы обе колеблемся, вы можете приписать наше странное поведение капризу, и мы постараемся как-нибудь перенести это.— С этими словами она поднялась и ушла.

Когда здравомыслящая женщина уклоняется от прямого ответа на заданный ей вопрос, в девяноста девяти случаях из ста это значит, что она что-то скрывает. Я снова начал читать газету, твердо убежденный, что у мисс Голкомб и мисс Фэрли есть какой-то секрет, который они скрывают от сэра Персиваля и меня. Это было нехорошо по отношению ко мне и особенно по отношению к сэру Персивалю.

Позднее в этот день мои догадки или, лучше сказать, моя уверенность подтвердилась поведением мисс Голкомб, когда мы снова встретились с нею. В сдержанных выражениях она подозрительно кратко сообщила мне о своем разговоре с мисс Фэрли. По-видимому, мисс Фэрли отнеслась совершенно спокойно к объяснению по поводу письма, но, когда мисс Голкомб начала говорить, что сэр Персиваль приехал в Лиммеридж, чтобы просить ее назначить день свадьбы, она попросила не упоминать об этом

больше и дать ей повременить. Если бы сэр Персиваль согласился оставить ее сейчас в покое, она ручалась, что даст ему окончательный ответ до конца года. Она умоляла об этой отсрочке с таким жаром и волнением, что мисс Голкомб обещала сделать все от нее зависящее, чтобы помочь ей в этом. Таким образом, по настойчивой просьбе мисс Фэрли дальнейшее обсуждение вопроса о свадьбе было закончено.

Эта временная отсрочка, возможно, очень устраивала молодую леди, но ставила меня в затруднительное положение. Утром я получил письмо от своего компаньона, обязывающее меня вернуться в город на следующий день. По всей вероятности, в этом году я не смог бы вторично приехать в Лиммеридж. В таком случае, если б мисс Фэрли окончательно решилась на замужество, мы с ней не увиделись бы до заключения брачного контракта, и нам пришлось бы вести переписку по поводу вопросов, которые должны были обсуждаться только устно при личном свидании. Я ничего не сказал об этих трудностях, пока с сэром Персивалем не переговорят по поводу предполагаемой отсрочки. Он был слишком любезным джентльменом, чтобы не пойти навстречу желаниям мисс Фэрли. Когда мисс Голкомб уведомила меня об этом, я сказал ей, что мне совершенно необходимо переговорить с ее сестрой до моего отъезда из Лиммериджа. Мы условились, что я повидаю мисс Фэрли на следующее утро в ее гостиной. Она не сошла к обеду и не присоединилась к нам вечером под предлогом нездоровья. По-моему, сэру Персивалю это было неприятно.

На следующее утро сразу же после завтрака я поднялся в гостиную к мисс Фэрли. Бедная девушка была очень грустна и бледна, но встретила меня так ласково и приветливо, что я не смог прочитать ей нотацию, которую составил, идя наверх. Ее любимая левретка была в комнате, и я предполагал, что она станет рычать и бросаться на меня. Как это ни странно, капризная собачонка не оправдала моих опасений, прыгнув мне на колени и уткнув свою острую мордочку в мою руку, как только я опустился в кресло.

— Когда вы были маленькая, дитя мое, вы часто сидели у меня на коленях,— сказал я,— а теперь ваша собачка, очевидно, решила наследовать опустевший трон после вас... Этот прелестный рисунок — ваш? — Я показал

на лежавший подле нее на столе альбом, который она рассматривала, когда я вошел.

На открытой странице был изображен акварелью какой-то пейзаж, отлично выполненный. О нем-то я и спросил ее. Вопрос был пустячным. Но не мог же я сразу приступить к разговору о делах!

— Нет,— сказала она, смущенно отводя глаза от рисунка.— Это рисовала не я.

Я помнил, что у нее с детских лет была привычка постоянно теребить в руках первую попавшуюся вещь, когда с ней кто-нибудь разговаривал. На этот раз ее рука потянулась к альбому и начала рассеянно теребить поля рисунка. Выражение грусти стало еще явственнее на ее лице.

Она не смотрела ни на меня, ни на альбом. Глаза ее смущенно блуждали по комнате; по-видимому, она догадывалась, о чем я пришел говорить с ней. Увидев это, я решил приступить к делу без проволочки.

— Я хочу попрощаться с вами, моя дорогая. Это одна из причин, по которой я пришел к вам сегодня,— начал я.— Я должен немедленно вернуться в Лондон, но, прежде чем уехать, я хочу переговорить с вами по поводу ваших дел.

— Мне очень жаль, что вы уезжаете, мистер Гилмор,— сказала она, ласково глядя на меня.— Когда вы здесь, я вспоминаю о счастливых прошлых днях.

— Надеюсь, я приеду и напомню вам об этих днях снова,— продолжал я.— Но ввиду того, что есть некоторая недоговоренность относительно вашего будущего, мне придется воспользоваться нашим сегодняшним свиданием и поговорить с вами о делах. Я ваш старый друг и поверенный и должен напомнить вам — надеюсь, ничем вас не обижая — о возможности вашего брака с сэром Персивалем Глайдом.

Она отдернула руку от альбома, будто обожглась о него. Она сжала руки на коленях, опустила глаза, и на лице ее отразилась подавленность, граничащая с отчаянием.

— Неужели так необходимо говорить о моем замужестве? — спросила она тихо.

— Необходимо коснуться этого вопроса, не задерживаясь на нем,— сказал я.— Давайте скажем просто, что вы можете выйти замуж, а можете и не выйти замуж.

В первом случае я должен заранее подготовить ваш брачный контракт. Я не могу сделать этого, не посоветовавшись с вами хотя бы из вежливости. Пожалуй, у меня сегодня единственная возможность услышать лично от вас, чего вы хотели бы. Разрешите мне поэтому изложить в немногих словах теперешнее положение ваших дел и в каком они будут состоянии, если вы, предположим, выйдете замуж.

Я объснил ей назначение брачного контракта и потом с абсолютной точностью рассказал ей, каковы ее перспективы, во-первых, к моменту ее совершеннолетия, а во-вторых, после смерти ее дядюшки, подчеркивая различие между поместьем, которым она будет владеть пожизненно, и капиталом, которым сможет распоряжаться самостоятельно. Она внимательно слушала с прежним выражением подавленности, по-прежнему нервно сжимая руки на коленях.

— А теперь,— закончил я,— скажите мне, что именно хотелось бы вам обусловить в брачном контракте — в том случае, если он понадобится. Конечно, с одобрения вашего опекуна и принимая во внимание, что вы еще несовершеннолетняя.

Она беспокойно подвинулась на стуле, а потом вдруг очень серьезно посмотрела на меня.

— Если это произойдет,— проговорила она упавшим голосом,— если я...

— Если вы выйдете замуж,— пришел я ей на помощь.

— Не разлучайте меня с Мэриан! — вскричала она с внезапной энергией.— О мистер Гилмор, пусть в контракте будет условие, что Мэриан останется жить со мной!

При других обстоятельствах мне, может быть, показалось бы смешным это женское толкование сего делового вопроса после моего подробного объяснения, но взгляд ее и тон были таковы, что я серьезно встревожился. Ее немногие слова выдавали, как сильно она цеплялась за прошлое,— это было дурным предзнаменованием для будущего.

— Вы можете очень легко частным образом договориться о том, чтобы мисс Голкомб жила с вами,— сказал я.— Вы, кажется, не поняли моего вопроса. Он касается вашего капитала и того, как вы хотите распорядиться вашими деньгами. Предположим, что, когда вы достигнете

совершеннолетия, вы захотите составить завещание. Кому вы хотели бы оставить ваши деньги?

— Мэриан была мне сестрой и матерью,— сказала добрая, любящая девушка, и ее прелестные голубые глаза засияли при этих словах.— Можно мне оставить их Мэриан, мистер Гилмор?

— Конечно, душа моя,— отвечал я.— Но вспомните, какая это большая сумма. Вы хотите отдать всё мисс Голкомб?

Она заколебалась, побледнела, потом покраснела, и рука ее снова потянулась к альбому.

— Не всё,— сказала она,— есть еще кто-то, кроме Мэриан.. — Она замолчала, и пальцы ее начали выстукивать на полях альбома какую-то любимую мелодию.

— Вы хотите сказать, есть еще какой-то родственник, помимо мисс Голкомб? — подсказал я ей, видя, что она затрудняется продолжать.

Лицо ее вдруг вспыхнуло, пальцы судорожно и крепко сжали альбом.

— Есть еще кто-то,— сказала она, не обратив внимания на мои последние слова, хотя, по-видимому, слышала их,— есть человек, которому, наверно, было бы приятно получить что-нибудь в знак памяти. Что в этом плохого, если я умру первая...

Она опять замолкла. Румянец внезапно вспыхнул на ее лице и так же быстро погас. Рука задрожала и отодвинулась от альбома. Она молча посмотрела на меня, потом отвернулась. Когда она сделала легкое движение, ее платок упал на пол, и вдруг она закрыла лицо руками.

Грустно было мне, помня ее радостным, счастливым ребенком, смеющимся по целым дням, увидеть ее теперь, в расцвете юности и красоты, такой разбитой и страдающей.

Огорченный до глубины души, я забыл о своем возрасте и о разнице в наших летах. Я пододвинул свое кресло, поднял ее носовой платок и тихонько отвел руки от ее лица.

— Не плачьте, ангел мой,— сказал я, вытирая платком слезы, стоявшие в ее глазах, будто она была той маленькой Лорой Фэрли, которую я знал десять лет назад.

Я сделал все, что мог, чтобы успокоить ее. Она положила головку на мое плечо и слабо улыбнулась мне сквозь слезы.

— Простите, я не смогла удержаться от слез,— сказала она просто,— я не очень хорошо себя чувствую последнее время, ослабела и немного нервничаю; я часто плачу без причины, когда остаюсь одна. Мне лучше теперь, и я могу отвечать вам как надо, мистер Гилмор, право могу.

— Нет, нет, моя дорогая,— возразил я,— будем считать, что на данное время мы закончили наш разговор. Вы сказали достаточно для того, чтобы я как можно тщательнее позаботился о ваших интересах, и мы можем поговорить об остальном когда-нибудь при случае. Покончим теперь с делами и поговорим о чем-нибудь другом.

Я начал говорить с ней на другие темы. Минут через десять настроение ее улучшилось, и я поднялся, чтобы уйти.

— Приезжайте опять,— сказала она очень серьезно.— Я постараюсь стать более достойной вашего доброго отношения ко мне, если только вы опять приедете!

Снова она цеплялась за прошлое в моем лице и в лице мисс Голкомб. Меня тревожило и огорчало, что она в самом начале своей жизни уже оглядывалась назад, как я — в конце моей.

— Если я снова приеду, надеюсь, я застану вас в лучшем настроении,— сказал я,— более веселой и более счастливой. Да благословит вас бог, ангел мой!

Вместо ответа она подставила мне щечку для поцелуя. Даже у адвокатов есть сердце, и мое немного щемило, когда я попрощался с ней.

Наше свидание продолжалось не более получаса, и за этот промежуток времени она ни словом не обмолвилась о причинах, которыми можно было бы объяснить ее непонятное отчаяние и ужас перед предстоящим замужеством. Не знаю, почему и каким образом, но я был теперь на ее стороне в этом вопросе. Я вошел в комнату, считая, что сэр Персиваль Глайд имеет основание жаловаться на ее обращение с ним. Я вышел из комнаты, в глубине души желая, чтобы она поймала его на слове и взяла обратно свое обещание. Конечно, человеку в моем возрасте и с моим житейским опытом не полагалось бы колебаться так безрассудно. Я не хочу оправдываться, я могу только честно признаться, что это было так.

Близился час моего отъезда. Я послал сказать мистеру Фэрли, что зайду попрощаться с ним, если ему будет угодно, но заранее прошу прощения за то, что буду вынужден торопиться. Он прислал мне в ответ записку — карандашом на полоске бумаги: «Сердечный привет и наилучшие пожелания, дорогой Гилмор. Всякая поспешность невыразимо пагубна для меня. Не забывайте о своем здоровье. До свиданья».

Перед тем как уехать, мы с мисс Голкомб поговорили с глазу на глаз в течение нескольких минут.

— Вы сказали Лоре все, что хотели? — спросила она.

— Да,— отвечал я.— Она очень слаба и нервна. Я рад, что вы около нее, чтобы о ней позаботиться.

Проницательные глаза мисс Голкомб внимательно изучали мое лицо.

— Вы начинаете менять свое мнение о поведении Лоры,— сказала она.— Сегодня вы снисходительнее к ней, чем были вчера.

Ни один здравомыслящий человек не будет вступать неподготовленный в словесное препирательство с женщиной. Я ответил ей:

— Дайте мне знать обо всем, что произойдет. Только получив ваше письмо, я начну составлять брачный контракт.

Она все еще внимательно смотрела на меня.

— Мне хотелось бы, чтобы со всем этим было покончено. Покончено раз и навсегда, мистер Гилмор. Того же самого хотели бы и вы.— С этими словами она ушла.

Сэр Персиваль чрезвычайно любезно проводил меня до кабриолета.

— Если вы когда-нибудь будете по соседству с моим поместьем,— сказал он,— прошу не забывать, что я искренне хочу продолжать наше знакомство. Старый и верный друг этой семьи всегда будет желаннейшим гостем в любом из моих владений.

Воистину неотразимый человек, любезный, внимательный, очаровательно простой и отнюдь не высокомерный,— джентльмен с головы до ног. По дороге на станцию я чувствовал, что с радостью сделал бы все в интересах сэра Персиваля Глайда — все что угодно, кроме составления брачного контракта для его будущей жены.

III

Прошла неделя с моего возвращения в Лондон — без всяких вестей от мисс Голкомб.

Через восемь дней на моем столе среди других писем было письмо и от нее.

Она извещала меня, что предложение сэра Персиваля Глайда было окончательно принято и что свадьба состоится, как он этого и хотел, еще до Нового года. По всей вероятности, это произойдет в середине декабря. В марте мисс Фэрли должен был исполнится двадцать один год. Таким образом, она становилась женой сэра Персиваля за три месяца до своего совершеннолетия.

Мне не следовало ни удивляться, ни огорчаться, и тем не менее я был и удивлен, и огорчен. Кроме того, я досадовал на мисс Голкомб за краткость ее письма. Все это привело к тому, что мое настроение было испорчено на целый день. В нескольких строках моя корреспондентка уведомляла меня, что сэр Персиваль уехал из Кумберленда к себе домой, в Хемпшир, а в заключение писала, что Лора весьма нуждается в перемене обстановки и поэтому решено, что мисс Голкомб повезет свою сестру к старым друзьям в Йоркшир. На этом письмо заканчивалось без всякого объяснения относительно тех обстоятельств, которые заставили мисс Фэрли согласиться на брак с сэром Персивалем через неделю после того, как я видел ее в последний раз.

Позднее мне подробно рассказали о причине этого внезапного решения. Но не буду передавать его со слов других. Все это произошло в присутствии мисс Голкомб, и, когда ее повествование придет на смену моему, она сама опишет со всеми подробностями, как именно это произошло. А пока что, прежде чем я положу перо и удалюсь с этих страниц, мой прямой долг рассказать об одном деле, связанном с замужеством мисс Фэрли, а именно: о составлении ее брачного контракта.

Нельзя объяснить значение этого документа, не осветив предварительно некоторых подробностей, касающихся материального положения невесты.

Я постараюсь изложить их как можно ясней и короче, без разных технических деталей и терминов. Это весьма важно. Я предупреждаю тех, кто читает эти строки, что вопрос о наследстве мисс Фэрли играл очень серьезную

роль в ее истории, и если читатели хотят понять, как развивались дальнейшие события, им придется довериться опыту мистера Гилмора и выслушать его доклад.

Наследство, на которое могла рассчитывать мисс Фэрли, было двоякого рода: недвижимая собственность, земли, которые должны были перейти к ней лишь по смерти ее дяди, и денежный капитал, который поступал в ее распоряжение по достижении ею совершеннолетия.

Займемся сначала вопросом о землях.

Во времена деда мисс Фэрли (назовем его мистер Фэрли-старший) наследниками Лиммериджа — ибо мистер Фэрли-старший умер, оставив трех сыновей,— были: Филипп, Фредерик и Артур Фэрли. Филипп, как старший сын, унаследовал поместье. Если бы он умер, не оставив по себе сына, поместье перешло бы ко второму брату, Фредерику. Если бы Фредерик умер, тоже не оставив по себе сына, поместье наследовал бы третий брат, Артур.

Случилось так, что, когда мистер Филипп Фэрли умер, у него осталась единственная дочь, Лора,— главное действующее лицо этой истории,— и поэтому поместье перешло по закону его второму брату, Фредерику, холостяку. Третий брат, Артур, умер задолго до смерти Филиппа Фэрли, оставив сына и дочь. Сын утонул восемнадцати лет от роду в Оксфорде. Его смерть делала Лору, дочь Филиппа Фэрли, возможной наследницей поместья, которое досталось бы ей только в том случае, если б ее дядя Фредерик умер, не оставив ребенка мужского пола.

Значит, если только мистер Фредерик Фэрли не женится и не оставит наследника (а ни того ни другого от него никак нельзя было ожидать), его племянница Лора должна была получить поместье после его смерти, но — это необходимо отметить — только в пожизненное владение.

Если бы она умерла незамужней девицей или бездетной, поместье перешло бы к ее двоюродной сестре Магдалене, дочери мистера Артура Фэрли. Если бы она, то есть Лора Фэрли, вышла замуж, обеспечив себя надлежащим брачным контрактом — иными словами, контрактом, который я намерен был для нее составить,— доход от поместья (верные три тысячи фунтов в год) при жизни был бы в ее распоряжении. Если бы она умерла раньше своего мужа, он, естественно, мог надеяться на этот доход в продолжение своей жизни. Если бы у нее родился сын,

этот сын стал бы наследником Лиммериджа вместо ее двоюродной сестры Магдалены. Таким образом, женитьба на мисс Фэрли сулила сэру Персивалю после смерти мистера Фредерика Фэрли, во-первых, три тысячи фунтов в год (при жизни жены с ее разрешения, а после ее смерти — на законном основании, если он ее переживет) и, во-вторых, переход поместья Лиммеридж по наследству к его сыну, если таковой родится.

Вот и все касательно недвижимого имущества или доходов от него в случае замужества мисс Фэрли. Относительно этого пункта в брачном контракте между поверенным сэра Персиваля Глайда и мной не могло возникнуть никаких разногласий или других трудностей.

Рассмотрим теперь вопрос о денежном капитале, который являлся личной собственностью мисс Фэрли. Она должна была получить его к своему совершеннолетию. Эта часть ее наследства представляла сама по себе солидное состояние. Оно переходило к ней по завещанию ее отца и достигало суммы в двадцать тысяч фунтов. Помимо того, она имела еще пожизненный доход от суммы в десять тысяч фунтов. В случае ее смерти эти десять тысяч должны были перейти к ее родной тетке Элеоноре, единственной сестре ее покойного отца. Для того чтобы помочь читателю разобраться в этих семейных делах, я задержусь на минуту, чтобы объяснить, почему тетка наследовала эту сумму только по смерти племянницы.

Мистер Филипп Фэрли был в прекрасных отношениях со своей сестрой Элеонорой до тех пор, пока она оставалась незамужней. Но когда, уже немолодой, она вышла замуж за одного итальянского джентльмена, по фамилии Фоско, правильнее сказать — за знатного итальянца, ибо он носил титул графа,— мистер Фэрли так нетерпимо отнесся к ее замужеству, что порвал с ней все отношения и даже вычеркнул ее имя из своего завещания. Остальные члены семьи сочли его отрицательное отношение к браку сестры более или менее необоснованным. Граф Фоско, хоть и не богатый человек, был все же отнюдь не нищий искатель приключений. Он имел небольшой, но приличный собственный доход, много лет жил в Англии и принадлежал к высшему обществу. Но все это ничего не значило для мистера Фэрли. Он был англичанином старого закала во многих отношениях и терпеть не мог иностранцев только за то,

что они иностранцы. Позднее, по настоянию мисс Лоры Фэрли, он все же согласился снова вписать имя сестры в свое завещание при условии, что та унаследует деньги только после смерти его дочери, а доход с этой суммы в десять тысяч фунтов будет в пожизненном пользовании его дочери, то есть Лоры Фэрли. Капитал же, если бы тетка умерла раньше племянницы, переходил к двоюродной сестре мисс Фэрли — Магдалене. Принимая во внимание возраст обеих наследниц, шансы тетки получить десять тысяч фунтов, естественно, были чрезвычайно сомнительными. Крайне обиженная несправедливостью брата, мадам Фоско отказалась встречаться с племянницей и не желала верить, что только благодаря вмешательству мисс Фэрли ее имя снова фигурировало в завещании.

Такова история этих десяти тысяч. По этому поводу никаких разногласий с поверенным сэра Персиваля тоже не могло возникнуть. Доходы с этой суммы должна была получать жена сэра Персиваля, а капитал переходил к тетке только по смерти племянницы.

Изложив все эти предварительные обстоятельства, я могу наконец подойти к тому, в чем заключалась суть всего дела: к двадцати тысячам фунтов.

По достижении двадцати одного года мисс Фэрли должна была получить эту сумму в полную собственность и могла распоряжаться ею в зависимости от тех условий, которые мне удалось бы выговорить в ее пользу при составлении брачного контракта. Остальные пункты контракта были чисто формальными, о них можно здесь и не упоминать. Но пункт, касающийся этих денег, слишком важен, чтобы не остановиться на нем. Я сделаю это вкратце.

Я намеревался договориться о двадцати тысячах фунтов таким образом: капитал должен был давать пожизненный доход самой леди; после ее смерти этим доходом должен был пожизненно пользоваться сэр Персиваль Глайд, а капитал наследовали дети от этого брака.

В случае бездетности сама леди могла распорядиться этой суммой по своему усмотрению, ввиду чего я оставлял за ней право составить завещание. Это означало: если бы леди Глайд умерла бездетной, ее сводная сестра мисс Голкомб и те из родных и друзей, кого она желала бы облагодетельствовать, могли наследовать по смерти ее

мужа суммы, которые она им оставляла. Однако, если бы после нее остались дети, естественно, весь этот капитал переходил к ним. Таковы были условия, вписанные мною в проект брачного контракта. И читатель не может не согласиться, по-моему, с тем, что они были справедливы и беспристрастны.

Посмотрим, как отнесся к моему предложению поверенный будущего мужа.

Я был чрезвычайно загружен делами, когда получил письмо мисс Голкомб. Но я выкроил время и составил брачный контракт. Менее чем через неделю после того, как мисс Голкомб известила меня о предстоящем браке, я послал брачный контракт на одобрение поверенному сэра Персиваля.

Через два дня поверенный баронета прислал мне документы обратно с отметками и примечаниями. В общем, его возражения были самыми пустячными или чисто техническими, пока дело не касалось двадцати тысяч фунтов. Против этого пункта стояли строки, подчеркнутые красными чернилами. Они гласили: «Неприемлемо. Капитал целиком переходит к сэру Персивалю Глайду в том случае, если он переживет свою жену и у них не будет детей».

Это значило, что ни одна копейка не достанется ни мисс Голкомб, ни кому-либо из родственников или друзей леди Глайд. Если она умрет бездетной, весь капитал очутится в кармане ее мужа.

На это дерзкое предложение я ответил так резко и кратко, как только мог:

«Дорогой сэр! Относительно брачного контракта мисс Фэрли. Безоговорочно настаиваю на пункте, против которого вы возражаете. Ваш такой-то». Через четверть часа я получил: «Дорогой сэр! Относительно брачного контракта мисс Фэрли. Безоговорочно настаиваю на том, что подчеркнуто красными чернилами и против чего вы возражаете. Ваш такой-то».

Иными словами, мы зашли в тупик, и нам не оставалось ничего другого, как посовещаться с нашими клиентами.

Как известно, моим клиентом, поелику мисс Фэрли не было еще двадцати одного года, был ее опекун мистер Фэрли. Я сразу же написал ему, изложив, как обстояло дело, и не только настаивал на том, чтобы он поддержал выдвинутое мною условие, но и подробно объяснил ему

те корыстные мотивы, которые скрывались за возражением относительно двадцати тысяч фунтов.

Познакомившись с делами сэра Персиваля, я выяснил, что долги на его собственном поместье были огромны и что его доходы, ранее весьма значительные, сводились в настоящее время к такой малой сумме, которая для человека его положения была просто ничтожной. Сэр Персиваль крайне нуждался в свободных деньгах, и возражение его поверенного против одного из условий брачного контракта было не чем иным, как откровенным и эгоистическим подтверждением этого факта.

Ответ мистера Фэрли пришел на другой день и оказался донельзя уклончивым и неопределенным. В переводе на удобопонятный язык ответ сводился к следующему: «Не будет ли дорогой Гилмор настолько любезен, чтобы не беспокоить своего друга и клиента такими пустяками, как забота о том, что может произойти в будущем? Может ли быть, чтобы молодая двадцатилетняя женщина умерла раньше сорокапятилетнего мужчины, и к тому же не народив детей? С другой стороны, можно ли недооценивать в этом суетном мире великое значение безмятежного покоя? Если в обмен на такой жалкий земной вздор, как перспектива получить в отдаленном будущем двадцать тысяч фунтов, предлагают такое блаженство, как безмятежный покой, разве это не выгодная сделка? Безусловно, да. Так почему же не согласиться на нее?»

Я с возмущением отшвырнул от себя письмо. В ту минуту, как оно упало на пол, раздался стук в дверь, и в контору вошел мистер Мерримен, поверенный сэра Персиваля. В нашей среде много разновидностей хитрейших юристов, но труднее всего, как я считаю, иметь дело с теми из них, кто водит вас за нос под личиной неизменного благодушия. Безнадежнее всего иметь дело с толстыми, упитанными, дружелюбно улыбающимися коллегами. Мистер Мерримен принадлежал именно к таковым.

— Как поживает милейший мистер Гилмор? — начал он, сияя приветливостью.— Счастлив видеть вас, сэр, в таком великолепном здравии. Я проходил мимо и решил зайти к вам на случай, если вам есть что сказать мне. Давайте покончим с нашим небольшим разногласием. Вы уже получили ответ от вашего клиента?

— Да. А вы от вашего?

— Дражайший сэр! Я хотел бы, о, как я хотел бы, чтобы он снял с моих плеч всякую ответственность, но он так упрям, скажем лучше — так настойчив, что не желает сделать это! «Мерримен,— сказал он,— поступайте, как находите правильным, и считайте, что я ни во что не вмешиваюсь, пока с делами не будет покончено». Вот слова сэра Персиваля. Он произнес их две недели назад, я могу только заставить его повторить то же самое, не более. Я, как вы знаете, мистер Гилмор, уступчивый человек. Уверяю вас, в частной беседе, конечно, что лично я тут же вычеркнул бы свое примечание. Но если сэр Персиваль не желает сам заботиться о своих интересах и слепо доверяется мне, что мне остается, как не защищать его интересы? Я связан по рукам — вы согласны со мной, дорогой сэр? — я связан по рукам.

— Иными словами, вы настаиваете на вашей оговорке? — сказал я.

— Да, черт побери! У меня нет другого выхода.— Он подошел погреться у камина, напевая себе под нос какую-то пошлую песенку.— Что говорит ваша сторона? — продолжал он.— Скажите, прошу вас, что говорит ваш клиент?

Мне было стыдно рассказывать ему об этом. Я попробовал выиграть время. По правде сказать, я пошел даже дальше. Мои деловые инстинкты взяли верх над моим благоразумием, и я попытался сторговаться с ним.

— Двадцать тысяч фунтов — слишком крупная сумма, чтобы друзья леди так сразу и отдали ее,— сказал я.

— Совершенно верно,— ответил мистер Мерримен, задумчиво глядя вниз на свои ботинки.— Очень метко сказано, сэр, очень метко.

— Возможно, что компромисс, обоюдно устраивающий и жениха и семью леди, не испугал бы моего клиента,— продолжал я.— Ну, не упрямьтесь! Мы можем полюбовно договориться об этой сумме. Каков ваш минимум?

— Наш минимум,— сказал мистер Мерримен,— равняется девятнадцати тысячам девятистам девяноста девяти фунтам одиннадцати пенсам и трем фартингам! Ха-ха-ха! Не могу не сострить. Люблю хорошую шутку!

— Милая шуточка! — заметил я.— Она сто́ит как раз того фартинга, который вы позабыли.

Мистер Мерримен был в восторге. Стены задрожали от его хохота. Но мне было не до шуток, и я снова заговорил о делах, чтобы закончить наше свидание.

— Сегодня пятница,— сказал я,— дайте нам время до вторника для окончательного ответа.

— С удовольствием,— отвечал мистер Мерримен,— даже дольше, дорогой сэр, если желаете.— Он взял шляпу и собрался уже уходить, но обратился ко мне снова.— Кстати,— сказал он,— ваш кумберлендский клиент ничего больше не слышал про женщину с анонимным письмом?

— Нет, ничего,— ответил я.— Удалось ли вам ее выследить?

— Нет еще,— отвечал мой коллега.— Но мы не отчаиваемся. Сэр Персиваль подозревает, что кто-то прячет ее, и мы с кого-то глаз не спускаем.

— Вы подозреваете старуху, что была с ней в Кумберленде, да? — сказал я.

— О нет, сэр, кого-то другого,— отвечал мистер Мерримен,— мы еще не зацапали старуху. Наш «кто-то» — мужчина. Мы следим за ним здесь, в Лондоне. Мы сильно подозреваем, что он принимал участие в ее побеге. Дело не обошлось без его помощи. Сэр Персиваль хотел допросить его сразу же, но я сказал: «Нет, мы только спугнем его вопросами — надо выждать и понаблюдать за ним. Посмотрим, что дальше будет». Опасно оставлять эту женщину на свободе, мистер Гилмор,— неизвестно, что она может еще натворить... Счастливо оставаться, дорогой сэр. Надеюсь, во вторник я буду иметь удовольствие получить от вас весточку.— Он любезно осклабился и вышел.

Я довольно рассеянно прислушивался к тому, что рассказывал мой коллега. Я был так озабочен брачным контрактом, что пропустил мимо ушей все остальное. Оставшись один, я снова начал размышлять, как поступить дальше.

Если бы дело касалось любого другого из моих клиентов, я составил бы контракт в соответствии с полученными указаниями, как бы это ни было неприятно мне самому. Но я не мог отнестись с таким деловым равнодушием к мисс Фэрли. Я был по-настоящему привязан к ней, я с благодарностью вспоминал, что ее отец был не только моим клиентом, но и близким другом. Когда я составлял ее брачный контракт, я чувствовал к ней то же самое, что чувствовал бы к родной дочери, не будь я старым холостяком. Поэтому я решил, не считаясь с собственными неудобствами и затруднениями, во что бы то ни стало защищать ее интересы. Писать мистеру Фэрли вторично было совершенно бесполезно, он только снова выскользнул бы из моих рук. Возможно, что личное свидание с ним и личные переговоры принесли бы больше пользы. На следующий день была суббота. Я решил, что придется поразмять свои старые кости и съездить в Кумберленд, чтобы попытаться уговорить мистера Фэрли принять справедливое, разумное и правильное решение. Бесспорно, шансов на удачу было мало, но, по крайней мере, совесть перестала бы мучить меня. Я сделал бы все, что мог сделать человек в моем положении, для защиты интересов единственной дочери своего старого друга.

В субботу была прекрасная погода, сияло солнце, дул восточный ветер. Последнее время я опять чувствовал, будто мою голову стягивает обруч, и страдал от головных болей — два года назад доктор в связи с этим серьезно предостерег меня,— поэтому я решил пройтись по свежему воздуху. Я отправил чемодан на вокзал, а сам пошел туда

пешком. Когда я вышел на Холборн, какой-то человек, быстро шедший мне навстречу, остановился и заговорил со мной. Это был Уолтер Хартрайт.

Если бы он не поклонился мне первый, я бы, конечно, прошел мимо. Он так изменился, что я с трудом его узнал. Бледный, осунувшийся, он держался как-то неуверенно и все время озирался по сторонам. Я помнил его в Лиммериджe всегда аккуратным и подтянутым. Но на этот раз он был так небрежно одет, что, право, если бы один из моих клерков появился в таком виде, мне было бы стыдно за него.

— Вы давно вернулись из Кумберленда? — спросил он.— Я получил на днях письмо от мисс Голкомб. Я знаю, что объяснения сэра Персиваля Глайда были признаны удовлетворительными. Скоро ли будет свадьба? Может быть, вы знаете, мистер Гилмор?

Он говорил так быстро и в то же время так конфузился, что его с трудом можно было понять. Если он и жил в Лиммериджe на равной ноге с членами семьи Фэрли, это еще не давало ему права, с моей точки зрения, расспрашивать меня об их делах. Я решил поставить его на место.

— Поживем — увидим, мистер Хартрайт,— сказал я.— Поживем — увидим. Пожалуй, мы правильно поступим, если будем следить в газетах за сообщением о свадьбе. Извините, если я замечу, что, к сожалению, сейчас вы выглядите хуже, чем когда мы с вами расстались.

Легкая судорога пробежала по его лицу, я почти пожалел, что ответил ему так сдержанно.

— Я не имею права спрашивать о ее свадьбе,— сказал он с горечью.— Мне, как и другим, придется прочитать об этом в газетах... Да,— продолжал он, прежде чем я успел ответить,— последнее время я не очень хорошо себя чувствую. Мне хочется переменить обстановку и работу. У вас обширный круг знакомых, мистер Гилмор. Если вы услышите, что какой-нибудь заграничной экспедиции нужен художник, и вам некого будет рекомендовать, я буду вам очень благодарен, если вы вспомните обо мне. Я ручаюсь, что аттестации мои в порядке, а мне самому безразлично, куда ехать, за какие океаны, и на какой срок.

Говоря это, он озирался по сторонам. Вид у него был

странный, загнанный, как будто среди пешеходов был кто-то, кто следил за ним.

— Если я узнаю о чем-либо подходящем, я не премину известить вас,— сказал я, а затем прибавил: — Я еду сегодня в Лиммеридж по делу. Мисс Голкомб и мисс Фэрли уехали погостить к каким-то знакомым в Йоркшир.

Глаза его оживились. Казалось, он хочет что-то спросить, но лицо его снова передернулось от волнения. Он схватил мою руку, крепко пожал ее и ушел, так и не сказав больше ни единого слова. Я обернулся и посмотрел ему вслед с некоторым сожалением, хотя он и был для меня почти чужим человеком. Благодаря моей профессии я достаточно хорошо разбираюсь в молодых людях и могу сразу определить по внешним признакам, когда они сбиваются с пути. По дороге на вокзал я, к сожалению, сильно усомнился в будущем благополучии мистера Хартрайта.

IV

Выехав рано утром из Лондона, я прибыл в Лиммеридж к обеду. Дом показался мне донельзя пустым и скучным. Я думал, что за отсутствием молодых леди миссис Вэзи составит мне компанию за обедом. Но у нее был насморк, и она сидела у себя в комнате. Удивленные моим приездом, слуги хлопотали и нелепо суетились. Даже дворецкий, достаточно старый и умудренный опытом, чтобы понимать, что делает, подал мне бутылку ледяного портвейна.

Вести о здоровье мистера Фэрли были такими, как всегда. Когда я послал сказать ему о моем приезде, мне ответили, что он с восторгом примет меня на следующее утро, но на сегодняшний вечер это внезапное известие повергло его в полную прострацию, вызвав жесточайшее сердцебиение. Всю ночь жалобно завывал ветер, и в пустом доме то тут, то там гулко раздавались какие-то скрипы и трески. Я плохо выспался и в отвратительном настроении позавтракал утром в столовой в полнейшем одиночестве.

В десять часов меня отвели в апартаменты мистера Фэрли. Он был у себя в гостиной, в своем кресле и в обычном несносном настроении. Когда я вошел, его камердинер стоял перед ним навытяжку с тяжелейшей

охапкой офортов в руках. Мистер Фэрли просматривал их. Несчастный француз изгибался самым жалким образом, и казалось, вот-вот упадет от усталости, а его хозяин невозмутимо перелистывал офорты и разглядывал их скрытые красоты через лупу.

— Лучший из всех добрых, старых друзей,— сказал мистер Фэрли, лениво откидываясь в кресле и не глядя на меня.— Вы совершенно здоровы? Как мило, что вы приехали скрасить мое одиночество, дорогой Гилмор!

Я ждал, что при моем появлении камердинеру будет разрешено удалиться, но не тут-то было — он остался стоять, продолжая гнуться под тяжестью офортов, а мистер Фэрли продолжал сидеть в кресле, невозмутимо поворачивая лупу в холеных пальцах.

— Я приехал поговорить с вами по очень важному делу,— сказал я.— Простите меня, но я хотел бы говорить с вами наедине.

Несчастный камердинер взглянул на меня с благодарностью. Мистер Фэрли с невыразимым изумлением слабо пролепетал:

— Наедине...

Но мне было не до шуток, и я твердо решил дать ему понять, о чем я говорю.

— Сделайте мне одолжение и разрешите уйти этому человеку,— сказал я, указывая на камердинера.

Брови мистера Фэрли высоко поднялись, а губы сложились в саркастическую улыбку.

— Человеку? — повторил он.— Вы шутите, старина Гилмор! Что вы подразумеваете, называя его человеком? До того как я полчаса назад захотел взглянуть на офорты, он, возможно, был человеком и станет им опять, когда мне надоест их смотреть. Но сейчас он просто подпорка для собрания офортов. Ну, разве подпорка может помешать нам разговаривать? К чему возражать против подпорки, Гилмор?

— Я возражаю. Прошу вас в третий раз, мистер Фэрли. Я хочу говорить с вами с глазу на глаз.

Мой тон и манера не оставляли ему выхода из положения, ему пришлось подчиниться. Он посмотрел на камердинера и с раздражением указал на стул подле себя.

— Положите офорты и убирайтесь,— сказал он.— Вы уверены, что я закончил осмотр на этом месте? Вы не перепутали? Ну, чего вы стоите? Не раздражайте

меня. Вы поставили колокольчик так, чтоб мне удобно было позвонить? Да? Так какого же черта вы не уходите?

Камердинер удалился. Мистер Фэрли изогнулся в кресле, вытер лупу своим тончайшим батистовым платком и предался созерцанию офортов сбоку. При данных обстоятельствах мне было трудно сдерживаться, однако я сдержался.

— Я приехал к вам сегодня в интересах вашей семьи и вашей племянницы, хотя это было для меня чрезвычайно неудобно,— сказал я.— Мне кажется, что я заслужил некоторого внимания с вашей стороны.

— Не кричите на меня! — взвизгнул мистер Фэрли, беспомощно откидываясь в кресле и закрывая глаза.— Ради бога, не кричите на меня! Я не выдержу этого, я слишком слаб!

Ради Лоры Фэрли я твердо решил, что не дам ему вывести себя из терпения.

— Я приехал с целью убедить вас пересмотреть ваше письмо,— продолжал я,— и не заставлять меня приносить в жертву законные права вашей племянницы и ее имущество. Разрешите мне снова и в последний раз изложить вам, как обстоит дело.

Мистер Фэрли с видом великомученика глубоко вздохнул и покачал головой.

— Это безжалостно с вашей стороны, Гилмор, совершенно безжалостно! — сказал он.— Но что поделаешь, говорите.

Я подробно перечислил ему все пункты брачного контракта и осветил их со всех точек зрения. Он лежал, откинувшись в кресле, с закрытыми глазами в продолжение всего моего доклада. Когда я кончил свою речь, он лениво приоткрыл глаза, взял со столика флакон с нюхательной солью и стал томно нюхать его.

— Мой добрый Гилмор,— приговаривал он между понюшками,— как это мило и заботливо с вашей стороны! Из-за вас я готов примириться с человечеством.

— Прошу вас ответить мне напрямик, мистер Фэрли. Я повторяю вам снова, что сэр Персиваль Глайд не имеет никакого права претендовать на большее, чем доход с капитала. Сам капитал, если у вашей племянницы не будет детей, должен остаться в ее руках и в случае ее смерти вернуться в вашу семью. Сэру Персивалю придется ус-

тупить, если вы будете на этом настаивать. Ему придется уступить, если он не хочет, чтобы его заподозрили в том, что он женится на мисс Фэрли исключительно из корыстных целей.

Мистер Фэрли шутливо помахал в мою сторону нюхательным флаконом:

— Вы, мой добрый, старый Гилмор, терпеть не можете титулы и родовитость, правда? Как вы ненавидите Глайда за то, что он баронет! Какой вы радикал, о боже, какой вы радикал!

Я — радикал!!! Я мог вытерпеть многое, но, исповедуя незыблемые принципы консерваторов в течение всей моей жизни, я не мог снести, чтобы меня назвали радикалом! Кровь моя вскипела, я вскочил со стула, я онемел от негодования.

— Не сотрясайте стены! — завопил мистер Фэрли.— Ради всего святого, перестаньте сотрясать стены! Лучший из всех Гилморов, я не хотел вас обидеть! Мои взгляды настолько либеральны, что порой мне кажется, что я и сам радикал. Да. Мы пара радикалов. Умоляю вас, не сердитесь. Я не в силах ссориться — я слишком немощен. Бросим эту тему, да? Подите сюда и полюбуйтесь на эти милые офорты. Я научу вас понимать невыразимую жемчужность этих линий. Ну подойдите же, ну будьте славным Гилмором!

Пока он ворковал в таком роде, мне, к счастью, удалось прийти в себя. Когда я снова заговорил, я уже настолько владел собой, что мог обойти презрительным молчанием его наглую выходку.

— Вы глубоко заблуждаетесь, сэр,— сказал я,— предполагая, что я предубежден против сэра Персиваля Глайда. Я могу только сожалеть, что в этом деле он всецело доверился своему поверенному, и потому обращаться к самому сэру Персивалю Глайду бесполезно. Но я ничего не имею лично против него. Мои слова могли бы относиться к любому человеку, независимо от его положения. Принцип, за который я ратую, давно признан всеми. Если бы вы обратились к любому юристу, он сказал бы вам, как посторонний человек, то же самое, что говорю я, как старый друг вашей семьи. Он сказал бы вам, что крайне неразумно отдавать все деньги, принадлежащие леди, в полное распоряжение человека, за которого она выходит замуж. Исходя из обычной, вполне законной предосто-

рожности, он ни в коем случае не согласился бы дать мужу возможность получить капитал в двадцать тысяч фунтов в случае смерти жены.

— В самом деле, Гилмор? — сказал мистер Фэрли.— Если бы он сказал что-либо наполовину столь ужасное, уверяю вас, я позвонил бы Луи и приказал немедленно вывести его из комнаты.

— Вам не удастся вывести меня из терпения, мистер Фэрли! Ради вашей племянницы и ее покойного отца — вам не удастся вывести меня из терпения! Прежде чем я уйду, вам придется взять всю ответственность за этот возмутительный брачный контракт на себя.

— Не надо, умоляю вас, не надо! — сказал мистер Фэрли.— Вспомните, что время — деньги, Гилмор, и не пренебрегайте им так. Если бы я мог, я поспорил бы с вами, но я не могу, у меня не хватит жизненных сил. Вам хочется растревожить меня, самого себя, Глайда, Лору, и — о боги! — ради чего-то, что вряд ли произойдет! Нет, дорогой друг, во имя безмятежности и покоя — положительно нет!

— Значит, я должен считать, что вы придерживаетесь решения, изложенного вами в письме?

— Да, прошу вас. Счастлив, что наконец мы поняли друг друга. Посидите еще, хорошо?

Я подошел к двери, и мистеру Фэрли пришлось позвонить в свой колокольчик. Прежде чем перешагнуть за порог, я в последний раз обратился к нему.

— Что бы ни случилось в дальнейшем, сэр,— сказал я,— помните, что я исполнил свой долг и предупредил вас. Как преданный друг и поверенный вашей семьи, я говорю вам на прощанье, что я бы никогда не выдал замуж свою дочь по такому брачному контракту, какой вы вынуждаете меня составить для мисс Фэрли.

Дверь за моей спиной открылась, и камердинер застыл на пороге в ожидании.

— Луи,— сказал мистер Фэрли,— проводите мистера Гилмора, а потом возвращайтесь держать мои офорты. Заставьте их подать вам хороший завтрак, Гилмор, заставьте моих бездельников-слуг, этих ленивых животных, подать вам хороший завтрак.

Я ничего не ответил, он был мне слишком противен. Я поклонился и молча вышел из комнаты. Обратный поезд уходил в два часа дня, с ним я и вернулся в Лондон.

Во вторник я отослал поверенному сэра Персиваля Глайда заново составленный брачный контракт, практически лишавший наследства тех лиц, о которых хотела вспомнить в своем завещании мисс Фэрли. У меня не было другого выхода. Если бы я отказался, другой юрист составил бы подобный брачный контракт вместо меня.

Мой труд окончен. Мое личное участие в истории этой семьи на этом прекращается. Другие опишут те странные события, которые вскоре последовали. С глубоким прискорбием я заканчиваю свой отчет. С глубоким прискорбием на прощанье я повторяю последние слова, произнесенные мною в Лиммеридже: я никогда не выдал бы замуж свою дочь по такому брачному контракту, какой я был вынужден составить для Лоры Фэрли.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ МЭРИАН ГОЛКОМБ

(Выписки из ее дневника)

I

8 ноября. Лиммеридж

Сегодня утром уехал мистер Гилмор.

Разговор с Лорой, по-видимому, огорчил и удивил его больше, чем он хотел в этом признаться. Он так поглядел на меня, когда мы прощались, что я даже испугалась, не выдала ли Лора по неосторожности истинную причину своей печали и моей тревоги. Я настолько разволновалась, что отказалась ехать кататься верхом с сэром Персивалем и вместо этого пошла к Лоре.

С той самой минуты, как мне стало ясно, что я недооценила силу несчастной привязанности Лоры, я перестала верить себе и своим суждениям. Я должна была понять, что чуткость, сдержанность, доброта и благородство Уолтера Хартрайта, которые так нравились мне и завоевали мою искреннюю привязанность и уважение, были именно теми качествами, к которым Лора, такая чуткая и великодушная, должна была неотвратимо потянуться. И все же, пока она сама не призналась мне в этом, я и не подозревала, как глубоко это чувство запало ей в сердце. Сначала я думала, что время поможет ей

исцелиться. Теперь я боюсь, что она никогда не разлюбит его и это пагубно отразится на всем ее будущем. Мысль, что я могла так жестоко ошибиться, заставляет меня теперь сомневаться во всем. Я не верю себе. Я стала крайне нерешительной. Несмотря на все доказательства, я еще не вполне верю сэру Персивалю. Я даже не решаюсь поговорить с Лорой. Сегодня утром я стояла у порога ее комнаты и не знала, спросить ли ее о том, о чем я хотела, или нет.

Когда наконец я вошла, она нетерпеливо ходила по комнате, возбужденная и взволнованная; прежде чем я успела вымолвить слово, она сама обратилась ко мне.

— Я хотела видеть тебя,— сказала она.— Посиди со мной, Мэриан! У меня нет больше сил! Я должна с этим покончить!

Щеки ее горели, движения были непривычно решительны, голос непривычно тверд. Альбом с рисунками Хартрайта, над которым она сидит часами, когда остается одна, был у нее в руках. Я тихонько отняла его у нее и положила подальше на столик, чтобы она его не видела.

— Расскажи мне, дорогая, как ты намерена поступить. Мистер Гилмор тебе что-нибудь посоветовал?

Она покачала головой.

— Нет, я думаю совсем о другом. Мистер Гилмор был очень добр и ласков со мной. Мэриан, мне стыдно, что я начала при нем плакать и напугала его. Я ничего не могу с собой поделать, я не могу удержаться от слез. Для самой себя, для всех нас мне надо собрать все свое мужество и раз навсегда покончить с этим.

— Ты хочешь сказать, что тебе придется набраться мужества, чтобы отказать сэру Персивалю?

— Нет,— ответила она,— чтобы сказать ему всю правду, дорогая!

С этими словами она обняла меня и положила мне голову на грудь. Напротив нас на стене висела миниатюра — портрет ее отца. Я наклонилась к Лоре и увидела, что она смотрит на этот портрет.

— Я не могу отказать ему сама,— продолжала она.— Чем бы все это ни кончилось, мне все равно не быть счастливой. Чтобы ~~не~~ мучиться в будущем угрызениями совести, вспоминая, как я нарушила свое обязательство и забыла предсмертное напутствие моего отца, мне осталось только одно, Мэриан...

— Что ты хочешь сделать? — перебила я.

— Сказать сэру Персивалю всю правду,— отвечала она.— Когда он все узнает, он сам вернет мне свободу, по собственному желанию, а не потому, что я прошу его об этом.

— Всю правду, Лора? О чем ты говоришь? Тебе достаточно сказать сэру Персивалю, что ты обручилась

с ним не по своей воле, вот и все. Тогда он вернет тебе слово — он сам мне сказал.

— Но разве я могу это сделать, когда отец благословил нас с моего согласия? И я бы сдержала свое слово, не радуясь, наверно, но и не ропща...— Она замолчала, придвинулась ко мне и прислонилась щекой к моей щеке.— Я бы сдержала свое слово, Мэриан, если бы в моем сердце не зародилась другая любовь, которой не было, когда я согласилась стать женой сэра Персиваля.

— Лора! Неужели ты до такой степени унизишься перед ним, что скажешь ему об этом?

— Я унижусь, если ценою обмана получу свободу и скрою от него то, что он вправе знать.

— Он ничего не должен знать!

— Нет, Мэриан, ты заблуждаешься! Я никого не могу обманывать, а тем более человека, которому отдал меня отец,— человека, которому я сама дала слово.— Она поцеловала меня.— Душа моя,— сказала она тихо,— будь ты на моем месте, ты поступила бы, как я, но ты так меня любишь и так мной гордишься, что забываешь об этом. Пусть лучше сэр Персиваль осудит меня, но я не могу быть столь низкой, чтобы сначала изменить ему в мыслях, а потом для собственной выгоды скрыть это от него!

Я отстранила ее от себя с изумлением. Первый раз в жизни мы с ней поменялись местами: решимость проявляла она, а не я. Я смотрела на бледное, обреченное юное лицо — в ее взгляде, с любовью устремленном на меня, я видела чистоту, правдивость, благородство,— и все предостережения и доводы, готовые слететь с моих губ, замерли, растаяли, как звук пустой и суетный... Я молча опустила голову. Будь я на ее месте, мелкое женское самолюбие, из-за которого лгут многие женщины, заставило бы и меня солгать.

— Не сердись на меня, Мэриан,— сказала она, ошибочно истолковав мое молчание.

Вместо ответа я притянула ее к себе. Слезы мои текут нелегко. Когда я плачу, мне кажется, что рыдания рвут меня на части, я пугаю ими всех окружающих, а главное, они не облегчают моего горя.

— Много дней, дорогая, думала я над этим,— продолжала она, сплетая и расплетая мне волосы с той

детской привычкой вечно что-то крутить в пальцах, от которой миссис Вэзи до сих пор терпеливо и тщетно старалась ее отучить.— Я думала над этим очень серьезно и знаю, что у меня хватит мужества. Ведь совесть твердит мне, что я права. Дай мне поговорить с ним завтра — при тебе, Мэриан. Я не скажу ничего лишнего, ничего такого, за что нам с тобой пришлось бы потом краснеть. Но у меня будет легче на сердце, когда этот обман кончится. Я хочу знать и чувствовать, что я ничего от него не скрыла, и пусть он сам решает, как поступить, когда узнает от меня всю правду.

Она вздохнула и снова прильнула ко мне. Грустное предчувствие, что такой разговор ни к чему хорошему не приведет, тяжким бременем легло мне на душу, но, по-прежнему не веря себе самой, я сказала ей наконец, что все будет так, как она хочет. Она поблагодарила меня, и мало-помалу мы заговорили о другом.

Обедала она вместе с нами и держала себя с сэром Персивалем более непринужденно, чем раньше. Позднее, вечером, она подошла к роялю и заиграла какую-то громкую, бравурную пьесу. С тех пор как уехал бедный Хартрайт, она никогда не играет прелестных старых мелодий Моцарта, которые он так любил. Они уже не стоят на пюпитре. Она спрятала куда-то эти ноты, чтобы никто не мог попросить ее сыграть что-нибудь из ее любимых вещей.

В продолжение целого дня я не имела возможности узнать, изменила ли она свое утреннее решение. Я поняла, что оно неизменно, когда Лора, пожелав сэру Персивалю спокойной ночи, тихо прибавила, что хочет поговорить с ним завтра утром и просит его прийти к ней в гостиную, где мы обе будем ждать его. При этих словах он побледнел, и, когда подошел мой черед пожать ему руку, я почувствовала, что его рука слегка дрожит. Завтра решалось его будущее, и, по-видимому, он сознавал это.

Наши спальни рядом, и, как обычно, я зашла к Лоре пожелать ей спокойной ночи, пока она еще не заснула. Наклонившись, чтобы поцеловать ее, я заметила, что альбом с рисунками спрятан у нее под подушкой, куда она девочкой прятала свои любимые игрушки. У меня не хватило духу упрекнуть ее за это, я только показала на альбом и покачала головой. Она протянула мне руки и прижалась ко мне.

— Оставь его здесь на сегодня,— прошептала она.— Завтра мне, возможно, придется проститься с ним навеки.

9-е

Первое утреннее событие не очень-то улучшило мое настроение. Я получила письмо от бедняги Уолтера Хартрайта — в ответ на мое, в котором я описывала ему, как сэр Персиваль Глайд снял с себя подозрения, вызванные письмом Анны Катерик. Уолтер весьма сдержанно отзывается об этом и с горечью пишет, что не решается высказать свое мнение о тех, кто стоит выше его. Это грустно, но его краткий рассказ о самом себе огорчает меня еще больше. По его словам, с каждым днем ему становится все труднее входить в прежнюю колею, и он умоляет меня, если это возможно, помочь ему найти работу вдали от Англии, среди новой обстановки и новых людей. Я тем охотнее постараюсь исполнить его просьбу, что в конце его письма есть строки, которые меня просто встревожили.

Упомянув о том, что он ничего больше не слышал об Анне Катерик, он вдруг чрезвычайно таинственно и несвязно намекает на то, что, с тех пор как он вернулся в Лондон, за ним все время следят какие-то неизвестные люди. Он признает, что не может привести в доказательство никаких фактов, но это странное подозрение преследует его и днем и ночью. Я начинаю за него бояться: мне кажется, что его постоянная, навязчивая мысль о Лоре оказалась для него непосильным бременем.

Я немедленно напишу кое-кому из старых друзей моей матери, людям со связями, и попрошу их помочь ему найти такую службу. Перемена места и работы, возможно, единственное спасение для него в этот критический период его жизни.

К моей радости, сэр Персиваль прислал сказать, что не будет завтракать с нами. Он-де выпил утром чашку кофе и до сих пор еще занят своей корреспонденцией. В одиннадцать часов, если мы согласны, сэр Персиваль будет иметь честь навестить мисс Фэрли и мисс Голкомб.

Пока нам передавали его поручение, я смотрела на Лору. Утром, когда я вошла в ее комнату, она была непривычно тиха и сосредоточенна и оставалась такой за завтраком. Даже когда мы сели на кушетку и стали ждать

сэра Персиваля, она продолжала сохранять полное самообладание.

— Не бойся за меня, Мэриан,— вот все, что она сказала.— Я могу забыться при таком старом друге, как мистер Гилмор, или при такой любимой сестре, как ты, но я сумею быть сдержанной при сэре Персивале Глайде.

Я смотрела на нее и слушала с немым изумлением. На протяжении всех этих лет, когда мы были так близки друг другу, сила ее характера была скрыта от меня, она сама не подозревала о ней, пока любовь и страдание не вызвали эту силу к жизни.

Часы пробили одиннадцать, раздался стук в дверь, и сэр Персиваль вошел в комнату. Сдержанное волнение и тревога сквозили на его лице. Сухой, отрывистый кашель беспокоил его больше обычного. Он сел за стол напротив нас, а Лора осталась сидеть подле меня. Я внимательно смотрела на них обоих — он был бледнее, чем она.

Он произнес несколько незначительных слов, с видимым усилием сохраняя свою привычную непринужденность. Но голос изменял ему, и глаза выдавали его внутреннюю тревогу. Наверно, он почувствовал это сам, потому что умолк на середине фразы и не пытался больше скрывать свое волнение.

На мгновение воцарилась мертвая тишина. Лора прервала ее.

— Я хочу поговорить с вами, сэр Персиваль,— сказала она,— о деле, которое касается нас обоих и имеет для нас важное значение. Моя сестра тут, потому что ее присутствие помогает мне и придает уверенности. Она не подсказала мне ни единого слова из того, что я собираюсь сказать вам. Я выскажу вам собственные мысли. Прежде чем я перейду к дальнейшему, я хочу, чтобы вы это поняли.

Сэр Персиваль поклонился. Пока что она держала себя с большим достоинством и полным спокойствием. Она взглянула на него, он взглянул на нее. По-видимому, вначале они были готовы понять друг друга до конца.

— Я слышала от Мэриан,— продолжала она,— что мне достаточно попросить вас вернуть мое слово, и вы сделаете это. Вы сами так сказали. Это было великодушно и благородно с вашей стороны; я благодарна вам, но я не могу этим воспользоваться.

Напряженное выражение его лица немного смягчилось. Но я видела, как он нетерпеливо и нервно постукивает ногой по ковру, и поняла, что тревога сэра Персиваля не проходит.

— Я не забыла,— сказала она,— что, перед тем как сделать мне предложение, вы испросили согласия моего отца. Возможно, вы со своей стороны тоже не забыли, что я сказала, когда дала вам свое согласие. Я отважилась сказать вам, что решаюсь на брак с вами только под влиянием и по совету моего отца. Я послушалась отца потому, что всегда видела в нем самого близкого друга и защитника. Я его потеряла. Мне осталось любить только память о нем, но моя вера в дорогого покойного друга жива, как и прежде. Я и сейчас верю, что он хотел сделать так, как для меня будет лучше. Я и теперь должна была бы руководиться его желаниями и надеждами...

Голос ее впервые задрожал. Ее неугомонные пальцы потянулись ко мне и ухватились за мою руку. С минуту длилось молчание, потом заговорил сэр Персиваль.

— Могу ли я спросить вас,— сказал он,— показал ли я себя в чем-либо недостойным доверия вашего отца — доверия, которое до сих пор было моим счастьем и гордостью?

— Мне не в чем упрекнуть вас,— сказала она.— Вы всегда относились ко мне чутко и внимательно. Вы заслужили мое доверие, но что для меня еще важнее — вам доверял мой отец. Вы никогда не дали мне какого-либо повода для того, чтобы я могла взять обратно свое слово. Я говорю вам все это из желания полностью признать мои обязательства перед вами. Из уважения к этим обязательствам, к моему слову и к памяти моего отца я не имею права нарушать свое обещание. Наша помолвка должна расстроиться по вашему собственному желанию. Это должны сделать вы сами, сэр Персиваль.

Он вдруг перестал стучать ногой по ковру и весь подался вперед.

— Я сам? — сказал он.— Но какое же у меня может быть основание для этого?

Я услышала, как участилось ее дыхание, я почувствовала, как похолодели ее пальцы. Несмотря на ее уверения, что она будет мужественна, я испугалась за нее. Но я ошиблась.

— Основание, о котором мне трудно говорить,— отвечала она.— Во мне произошла перемена, сэр Персиваль, настолько серьезная, что она могла бы служить вам основанием для разрыва.

Он так побледнел, что даже губы его стали бесцветными. Он повернулся в кресле, снял руку со стола и прикрыл глаза; мы видели теперь только его профиль.

— Какая перемена?

Его голос, глухой и подавленный, неприятно поразил меня.

Она тяжело вздохнула и придвинулась ко мне. Я почувствовала, что она дрожит, и хотела заговорить вместо нее, но она тихонько пожала мне руку, чтобы остановить меня, и снова обратилась к сэру Персивалю.

— Я слышала и верю, что самая большая и преданная любовь — это любовь, которую жена должна питать к своему мужу,— сказала она.— В начале нашей помолвки я думала, что со временем полюблю вас. Простите ли вы меня, сэр Персиваль, если я признаюсь вам, что больше не думаю так?

Слезы заблестели в ее глазах и медленно потекли по ее щекам, когда она опустила голову, ожидая ответа.

Он не вымолвил ни слова, закрыл лицо рукой и сидел неподвижно. Он запустил пальцы в волосы. Что означал этот жест — скрытый гнев или отчаяние,— трудно было сказать. Ни одно движение не выдавало его сокровенных мыслей в ту минуту, когда решалась их общая судьба.

Я решила заставить его высказаться ради Лоры.

— Сэр Персиваль,— твердо сказала я,— почему вы не отвечаете моей сестре? Она сказала вам слишком много, по-моему...— Тут мой несчастный характер взял верх над моей рассудительностью, и я прибавила: — Она сказала больше, чем мог бы от нее потребовать любой человек на вашем месте.

Эта опрометчивая фраза давала ему возможность уклониться от прямого ответа. Он моментально этим воспользовался.

— Простите меня, мисс Голкомб,— сказал он, прикрыв лицо рукой.— Простите, если я напомню вам, что сам я не претендовал на это право.

Несколько слов, прямых и откровенных, заставили бы его высказаться, и я было хотела уже их произнести, но Лора перебила меня.

— Я надеюсь, что не напрасно сделала вам это тягостное для меня признание,— сказала она.— Мне осталось добавить еще несколько слов, и я надеюсь, вы не усомнитесь в их полной правдивости.

— Прошу вас верить в это,— горячо ответил он, опустив руку и повернувшись к нам. Его лицо выражало нетерпеливое внимание, ничего, кроме самого нетерпеливого внимания.

— Поймите, что я говорила с вами не из эгоистических целей,— сказала она.— Вы откажетесь от меня, сэр Персиваль, не для того, чтобы я вышла замуж за другого, вы только дадите мне возможность остаться на всю жизнь незамужней. Я виновата перед вами только в мыслях. Ни единого слова...— Она помолчала, подыскивая выражение, и так смутилась, что больно было смотреть на нее.— Ни единого слова,— терпеливо и решительно продолжала она,— не было сказано ни мною, ни человеком, о котором я упоминаю в вашем присутствии в первый и последний раз. Ни единого слова, ни о моем чувстве к нему, ни о его чувстве ко мне, и ничего никогда не будет сказано. Вряд ли мы снова встретимся с ним в этой жизни. Прошу вас, разрешите мне больше не говорить об этом, и поверьте, что это всё. Вот та правда, сэр Персиваль, которую был вправе услышать мой будущий муж, как бы тяжело это ни было для меня самой. Я верю в его великодушие, надеясь на его прощение, я верю в его честь, зная, что он сохранит мое признание в тайне.

— Ваше доверие для меня священно,— сказал он,— и я не обману его.

Он замолчал, как бы желая услышать ее ответ.

— Я сказала все, что хотела,— прибавила она тихо,— я сказала более чем достаточно для того, чтобы вы могли взять обратно ваше слово.

— Вы сказали более чем достаточно! — воскликнул он.— Для меня теперь дороже всего на свете сдержать свое слово! — Он встал и сделал несколько шагов к ней.

Она с ужасом отпрянула от него, и слабый крик вырвался из ее груди. Все, что она говорила, было подтверждением ее чистоты и правдивости, а этот человек хорошо понимал, какое бесценное сокровище — чистая и правдивая женщина. Благородство ее поведения послужило ей только во вред. С самого начала я этого

боялась. Если бы она дала мне хоть малейшую возможность, я помешала бы этому. Даже сейчас, когда было уже поздно, я все еще надеялась, что сэр Персиваль скажет что-нибудь такое, что поможет мне исправить положение.

— Вы предложили мне, мисс Фэрли, самому отказаться от брака с вами,— продолжал он.— Но могу ли я быть столь бездушным, чтобы отказаться от благороднейшей из женщин!

Он говорил так горячо, со страстью и воодушевлением и в то же время с такой деликатностью, что она подняла голову, вся порозовела и взглянула на него, внезапно оживившись.

— Нет! — твердо сказала она.— От несчастнейшей из женщин, если я должна отдать себя тому, кого не могу любить.

— Но разве вы не сможете полюбить в будущем,— спросил он,— если целью всей моей жизни будет заслужить вашу любовь?

— Никогда! — отвечала она.— Если вы все еще настаиваете на нашем браке, я буду вам верной и преданной женой, сэр Персиваль, но вашей любящей женой, насколько я себя знаю,— никогда!

При этом она выглядела такой невыразимо прекрасной, что ни один мужчина в мире не мог бы добровольно отказаться от нее. Я изо всех сил старалась почувствовать, что сэр Персиваль заслуживает осуждения, но, вопреки всему, мне было жаль его.

— Я с благодарностью принимаю вашу верность и преданность,— сказал он.— Как бы мало ни дали вы мне, ни одна другая женщина в мире не смогла бы дать мне больше.

Ее левая рука сжимала мою, правая безжизненно повисла. Он тихо взял ее руку, поднес к своим губам, скорее прикоснулся к ней, чем поцеловал, поклонился, а затем с отменным тактом и сдержанностью молча покинул комнату.

Она не пошевелилась и ничего не промолвила, когда он ушел. Она сидела рядом со мной, холодная и безучастная, опустив глаза. Я видела, что говорить безнадежно и бесполезно, я только молча обняла ее и прижала к себе. Мы просидели долгое время — так долго и так печально, что мне стало страшно. Я мягко попыталась заговорить с ней, чтобы вывести ее из оцепенения.

Звук моего голоса, казалось, пробудил ее. Она вдруг отодвинулась от меня и встала.

— Я должна покориться судьбе, Мэриан,— сказала она.— В новой жизни у меня будет много трудных обязанностей; одну из них надо выполнить сегодня.

Сказав это, она подошла к столику у окна, где лежали ее рисовальные принадлежности, тщательно собрала их и положила в ящик комода. Заперев его, она подала мне ключ.

— Я должна расстаться со всем, что мне его напоминает,— сказала она.— Спрячь этот ключ — он мне больше никогда не понадобится.

Прежде чем я успела что-либо ответить, она сняла с книжной полки альбом с рисунками Уолтера Хартрайта. С минуту она колебалась, с любовью держа в руках альбом, потом поднесла его к губам и поцеловала.

— О Лора, Лора! — сказала я, не сердясь, не упрекая, но с бесконечной печалью, которая переполняла мое сердце.

— В последний раз, Мэриан! — умоляюще сказала она.— Пойми, я прощаюсь с ним навсегда!

Положив альбом на стол, она вынула гребень из волос. Они упали в несравненной красоте на ее плечи и спину, окутали ее всю длинными прядями. Отделив от них густой локон, она отрезала его и вложила в альбом. Потом поспешно закрыла его и отдала мне в руки.

— Вы пишете друг другу,— сказала она.— Пока я жива, если он обо мне спросит, говори, что мне хорошо, не говори, что я несчастна! Не огорчай его, Мэриан, ради меня — не огорчай его никогда! Если я умру первая, обещай мне отдать ему альбом. Когда меня не станет, ты отдашь и скажешь, что я сама вложила туда локон. И скажи, Мэриан, скажи за меня то, о чем мне самой никогда не придется сказать ему: скажи, что я его любила!

Она обвила мою шею руками и прошептала эти последние слова с таким восторгом, что сердце мое чуть не разорвалось от горя. Вся ее сдержанность покинула ее при первом же порыве любви. Она вырвалась из моих объятий и упала на кушетку, содрогаясь от отчаянных рыданий.

Напрасно я утешала и уговаривала ее — на нее уже ничто не действовало. Таков был печальный, непредви-

денный для нас обеих конец этого памятного дня. Когда рыдания ее наконец утихли, она была слишком измучена, чтобы говорить. Она задремала, а я спрятала альбом, чтобы она его не увидала, когда проснется. Лицо мое было вполне спокойно, когда она открыла глаза, хотя один господь знает, что творилось в моем сердце. Мы ни словом не обмолвились о горестном утреннем свидании. В этот день мы больше не говорили о сэре Персивале и не вспоминали Уолтера Хартрайта.

10-е

Сегодня утром она была уже спокойнее, и я вернулась к грустному вчерашнему разговору, умоляя ее разрешить мне переговорить с сэром Персивалем и мистером Фэрли по поводу ее печального замужества более решительно, чем сделала это она. Лора ласково, но твердо прервала мои увещания.

— Для меня все решалось вчера,— сказала она.— И все было решено. Отступать уже поздно.

Днем сэр Персиваль говорил со мной о том, что произошло в Лориной комнате. Он уверял меня, что ее полная искренность вызвала в нем такую ответную веру в ее невинность и чистоту, что он ни на минуту не почувствовал недостойной ревности ни во время разговора с Лорой, ни потом, когда остался один. Как ни глубоко сожалел он о печальной привязанности, предвосхитившей ту любовь, которую она могла бы питать к нему, он был непоколебимо уверен, что об этом действительно никогда не было говорено в прошлом и при любых обстоятельствах об этом не будет упоминаться в будущем. Он был убежден в этом и в доказательство даже не спрашивал, когда это произошло и кто был тот, кого она любила. Все, что мисс Фэрли сочла нужным сказать ему, полностью удовлетворяло его, и, право, он не чувствовал больше никаких тревог и сомнений по этому поводу.

Высказав все это, он выжидательно посмотрел на меня. Мне было очень неловко за мое необъяснимое предубеждение против него и за недостойное подозрение, что он рассчитывает, не отвечу ли я по неосторожности именно на те вопросы, которые, по его словам, он не желал задавать. С заметным смущением я постаралась уклониться от всяких дальнейших намеков на эту тему. В то же время я решила поддержать ходатайство Лоры и

дерзко сказала ему, как глубоко я сожалею, что его великодушие не простерлось дальше и не заставило его отказаться от брака с ней.

Тут он снова обезоружил меня тем, что не пытался защищаться. Он только умолял меня понять, что, если б мисс Фэрли оставила его по собственному желанию, его согласие на это означало бы только, что он покорился судьбе, тогда как отказаться от нее самому означало бы, что он по своей воле разбил счастье своей жизни. Ее поведение во время вчерашнего свидания так усилило его неизменную любовь, которую он питал к ней последние два года, что убить это чувство он был теперь не в силах. Если я сочту его слабым, эгоистичным и неумолимым по отношению к женщине, которую он обожает, он постарается примириться с этим. Он спрашивает только: будет ли она, оставаясь одинокой и не смея открыто заявить о своей любви, счастливее, чем если выйдет замуж за человека, благословляющего землю, по которой она ступает? В последнем случае у него есть хоть какая-то надежда на возможность счастья для нее, в первом случае — как она сама это сказала — такой надежды нет.

Я отвечала ему, ибо у меня женский язык, который не может молчать, но ничего убедительного я сказать не могла. Было совершенно очевидно, что он воспользовался преимуществом, которое предоставлял ему путь, избранный Лорой накануне. Я предчувствовала, что так и будет, а теперь убедилась в этом. Остается только одна надежда: что его побуждения вызваны его горячей, искренней привязанностью к Лоре.

Прежде чем закрыть свой дневник, должна еще прибавить, что написала сегодня о бедном Хартрайте двум старым друзьям моей покойной матери. Оба они люди влиятельные в Лондоне. Если они могут сделать что-то для него, они это сделают, я уверена. Более всего — после Лоры — я беспокоюсь за бедного Уолтера. Мое уважение и симпатия к нему только возросли, с тех пор как он уехал. Я всем сердцем надеюсь, что правильно делаю, помогая ему устроиться за границей. Я горячо надеюсь, что в будущем у него все будет хорошо и благополучно!

11-е

Сэр Персиваль был у мистера Фэрли. За мной прислали, чтобы я присутствовала при их свидании.

По всему было видно: мистер Фэрли чрезвычайно доволен тем, что «семейная неурядица» (как он изволит называть замужество своей племянницы) наконец улажена. До сих пор я не считала нужным высказывать ему свое мнение, но, когда он начал говорить в своей отвратительно томной манере, что теперь, идя навстречу желаниям сэра Персиваля, пора назначить день свадьбы, я обрадовалась возможности поиграть на нервах мистера Фэрли и горячо запротестовала против того, чтобы Лору торопили с этим решением. Сэр Персиваль немедленно стал уверять, что он тут ни при чем — предложение насчет дня свадьбы сделано без его ведома.

Мистер Фэрли откинулся на спинку кресла, закрыв глаза, сказал, что мы оба делаем честь человечеству, а затем опять невозмутимо заговорил о дне венчания, как будто сэр Персиваль и я были совершенно согласны с ним. Кончилось тем, что я наотрез отказалась напоминать Лоре о дне свадьбы, если только она сама не спросит об этом. Затем я пошла к двери. Сэр Персиваль выглядел смущенным и опечаленным. Мистер Фэрли лениво вытянул ноги на своей бархатной скамеечке и сказал:

— Дорогая Мэриан! Как я завидую вашей крепкой нервной системе! Не хлопайте дверью!

Придя наверх, я узнала, что Лора спрашивала обо мне и миссис Вэзи сказала ей о моем визите к мистеру Фэрли. Лора спросила, зачем он меня позвал, и я рассказала ей, не скрывая своей досады и неудовольствия. Ее ответ чрезвычайно поразил и огорчил меня — по правде сказать, ничего подобного я от нее не ожидала.

— Дядя прав,— сказала она.— Я причинила достаточно волнения и беспокойства и тебе, и всем окружающим. Этого больше не следует делать, Мэриан. Пусть сэр Персиваль решает все сам.

Я начала спорить с ней, но она была непоколебима.

— Я связана словом,— отвечала она.— Я простилась с прошлым. Как бы я ни отдаляла этот несчастный день, он все равно настанет. Нет, Мэриан, я повторяю: дядя прав. Я причинила слишком много тревоги и беспокойства всем вам, пора прекратить это.

Раньше она была само послушание, теперь она пассивно-непоколебима в своем отречении — вернее, в своем отчаянии. Как ни горячо я ее люблю, мне было бы легче, если бы она была возбуждена и взволнована. Та холодная,

ко всему безучастная Лора, которую я вижу теперь перед собой, так не похожа на прежнюю Лору!

12-е

За завтраком сэр Персиваль заговорил со мной о Лоре, и мне ничего другого не оставалось, как передать ему ее слова.

В это время она сама сошла к нам вниз. В присутствии сэра Персиваля она так же неестественно спокойна, как и при мне. Когда завтрак кончился, он отвел ее к окну и что-то сказал ей. Они пробыли вместе всего две или три минуты, потом она ушла в сопровождении миссис Вэзи, а сэр Персиваль подошел ко мне. Он сказал, что умолял ее назначить день свадьбы по ее собственному желанию и усмотрению.

В ответ она только сказала, чтобы он обратился к мисс Голкомб.

Мне трудно писать, так я сержусь. Несмотря на все мои попытки помешать ему, сэр Персиваль и на этот раз добился своего с наибольшей выгодой для себя. Его желания и намерения остались такими же, какими были, когда он приехал к нам, а Лора, покорившись неизбежности своего замужества, остается холодной и равнодушной.

Попрощавшись со всем, что напоминало ей о Хартрайте, она как бы рассталась с прежней своей нежностью, отзывчивостью, впечатлительностью.

Я пишу эти строки в три часа дня; сэр Персиваль уже уехал, торопясь, как счастливый жених, подготовить все в Хемпшире для приема своей будущей супруги. Если только не произойдет никакой помехи, они повенчаются именно тогда, когда он этого хотел,— в конце года. У меня просто горят пальцы, когда я пишу об этом!

13-е

Бессонная ночь из-за дум о Лоре. К утру я решила попробовать, не выведет ли ее из оцепенения, в котором она пребывает, полная перемена обстановки. Если я увезу ее из Лиммериджа и окружу друзьями, ее апатия, безусловно, пройдет. После некоторого размышления я решила написать Арнольдсам в Йоркшир. Они простые, сердечные, радушные люди и знали Лору еще девочкой. Отправив письмо, я сказала ей об этом. Мне было бы легче, если бы она воспротивилась, выразила недовольство. Но она ответила только:

— С тобой я куда угодно поеду, Мэриан. Ты права, так, наверно, будет лучше!

14-е

Я написала мистеру Гилмору, что эта несчастная свадьба действительно состоится, и упомянула о временной перемене обстановки, которую я задумала для пользы Лоры. Мне не хотелось касаться подробностей. На это еще хватит времени до конца года.

15-е

Я получила три письма. Первое от Арнольдсов. Они в восторге, что скоро увидят Лору и меня. Второе — от джентльмена, которому я писала по поводу Уолтера Хартрайта. Он уведомляет меня, что моя просьба исполнена. Третье — от самого Уолтера. Бедняга в самых сердечных выражениях благодарит меня за то, что с моей помощью сможет скоро покинуть свой дом, своих друзей, свою родину. Из Ливерпуля в Центральную Америку вскоре отплывает частная археологическая экспедиция на поиски следов древних культур. Художник, который должен был отправиться с экспедицией, по-видимому, струсил в последнюю минуту, и Уолтер едет вместо него. Он подписал контракт на полгода, считая с момента прибытия экспедиции в Гондурас. Контракт будет продлен еще на год, если раскопки будут успешными и обеспечены денежными средствами.

Он заканчивает письмо обещанием написать мне прощальную записку с корабля, перед самым отплытием. Мне осталось молиться и надеяться, что мы оба поступаем наилучшим образом. Это такой серьезный шаг! Мне страшно за Уолтера, когда я думаю о его путешествии. И все же, принимая во внимание его несчастное положение, как могу я ожидать от него или желать для него, чтобы он остался?

16-е

Коляска у подъезда. Лора и я едем в гости к Арнольдсам.

23-е. Йоркшир. Пóслдин

Вот уже неделя, как мы в новых местах, среди новых людей. Ей стало лучше, но я надеялась на большее.

Я решила пробыть здесь по крайней мере еще неделю. Пока в этом нет необходимости, совершенно незачем торопиться с возвращением в Лиммеридж.

24-е. Послдин

Печальные вести с утренней почтой. Экспедиция в Центральную Америку отплыла 21-го. Мы расстались с настоящим человеком, мы потеряли верного друга. Уолтер Хартрайт покинул Англию.

25-е. Послдин

Печальные вести вчера, скверные — сегодня. Сэр Персиваль Глайд написал мистеру Фэрли, а мистер Фэрли написал Лоре и мне, чтобы мы немедленно возвращались в Лиммеридж.

Что это значит? Что день свадьбы назначен в наше отсутствие?

II

27-е. Лиммеридж

Мои предчувствия сбылись. Свадьба назначена на двадцать второе декабря.

Оказывается, через день после того, как мы уехали в Йоркшир, сэр Персиваль написал мистеру Фэрли, что необходимый ремонт и переделка его дома в Хемпшире займет гораздо больше времени, чем он предполагал. Ему будет легче договориться с рабочими о сроке ремонта, если он будет знать, когда именно произойдет свадебная церемония. Он мог бы рассчитать тогда время, нужное для ремонта, и, кроме того, известить друзей, собиравшихся погостить у него этой зимой, что не сможет принять их, так как в доме будут происходить работы.

Мистер Фэрли ответил на его письмо предложением, чтобы сэр Персиваль сам назначил дату свадьбы, которая, конечно, будет одобрена мисс Фэрли, как ручался ее опекун.

Сэр Персиваль немедленно написал в ответ, что предлагает вторую половину декабря, число двадцать второе, или двадцать четвертое, или любой другой день, угодный самой леди невесте и ее опекуну.

Так как сама леди невеста отсутствовала и посему не имела возможности высказаться, ее опекун решил за нее,

что свадьба произойдет двадцать второго декабря, и соответственно с этим вызвал нас в Лиммеридж.

Объяснив мне все это вчера при личном свидании, мистер Фэрли самым любезным образом предложил мне переговорить с Лорой. Чувствуя, что сопротивляться бесполезно, я согласилась передать ей поручение мистера Фэрли, заявив, однако, что ни в коем случае не буду стараться получить ее согласие. Поздравив меня с моей «великолепной добросовестностью», как если бы при встрече он поздравил меня с «великолепным здоровьем», мистер Фэрли, казалось, вполне успокоился, переложив одну из своих родственных обязанностей на мои плечи.

Сегодня утром я поговорила с Лорой, как обещала. Ее равнодушие, вернее, ее безучастность на этот раз не устояла перед новостью, которую мне пришлось ей сообщить. Она побледнела и задрожала.

— Не так скоро, Мэриан,— молила она.— Не так скоро!

Этого было достаточно для меня. Малейшего ее намека для меня было бы достаточно. Я встала, чтобы выйти из комнаты и одержать победу над мистером Фэрли.

Когда я была уже в дверях, она схватила меня за платье.

— Пусти! — сказала я.— Мне не терпится сказать твоему дядюшке, что ему с сэром Персивалем не всегда удастся поступать по-своему.

Она горько вздохнула, не выпуская из рук моего платья.

— Нет,— тихо сказала она,— слишком поздно, Мэриан, слишком поздно!

— Совсем не поздно! — отрезала я.— Вопрос о дне свадьбы решаем мы, женщины. И поверь мне, Лора, я сумею воспользоваться этим по-женски.

С этими словами я высвободила платье из ее рук, но она обхватила меня за талию, удерживая меня еще крепче.

— Все это запутает нас еще больше и причинит нам только лишние тревоги и огорчения,— сказала она.— Дядя рассердится, а у сэра Персиваля, когда он приедет, будут новые поводы для недовольства и жалоб.

— Тем лучше! — вскричала я.— Кому какое дело до его недовольства и жалоб! Ты готова разбить свое сердце, чтобы угодить ему! Ни один мужчина не стоит жертв с

нашей стороны! Мужчины! Это враги нашей чистоты и покоя — они отрывают нас от родительской любви и сестринской дружбы, они всецело присваивают нас, беззащитных женщин, и привязывают к себе, как сажают на цепь собак! Что дают нам взамен лучшие из них? Пусти меня, Лора! Я вне себя от негодования, во мне все кипит, когда я думаю об этом!

Слезы, жалкие, малодушные женские слезы досады и гнева душили меня.

Она грустно улыбнулась и закрыла мне лицо своим платком, чтобы скрыть от меня мое собственное малодушие, то малодушие, которое, как она знала, я презираю в других женщинах больше всего.

— О Мэриан,— сказала она,— ты плачешь! Подумай, что бы ты сказала, если бы мы с тобой поменялись местами и эти слезы были моими. Вся твоя любовь, и мужество, и преданность не изменят того, что рано или поздно должно произойти. Пусть будет так, как хочет дядюшка. Я готова на любые жертвы, лишь бы из-за меня не было этих тревог и огорчений. Скажи только, что останешься со мной, Мэриан, когда я выйду замуж, и не говори больше ничего.

Но я сказала еще многое. Я заставила высохнуть презренные слезы, которые не облегчали меня, но огорчали ее. Я умоляла, я убеждала. Все было напрасно.

Она заставила меня дважды повторить мое обещание остаться с ней после ее замужества и вдруг задала вопрос, который отвлек меня от моего горя и сочувствия к ней.

— Когда мы были в Послдине, Мэриан,— сказала она,— ты получила письмо...

По ее дрогнувшему голосу, по тому, как она отвела глаза и склонила головку мне на плечо, по нерешительности, с которой она оборвала свой вопрос, мне было ясно, о ком она спрашивала.

— Я думала, Лора, что мы с тобой больше не будем говорить о нем,— сказала я ласково.

— Ты получила письмо от него? — настаивала она.

— Да,— отвечала я,— если уж тебе так хочется знать — получила.

— Ты будешь писать ему снова?

Я замялась. Я не решилась сказать ей, что он уехал из Англии и что я сама помогла его отъезду. Что я мог-

ла ей ответить? Он уехал в такую даль, куда письма, наверно, шли многие месяцы, даже годы.

— Предположим, я снова соберусь написать ему,— сказала я наконец.— Что тогда, Лора?

Ее щека пылала у моего плеча, руки дрожали, обнимая меня.

— Не пиши ему про двадцать второе,— шепнула она.— Обещай мне, Мэриан, обещай, что даже имени моего не упомянешь в следующем письме к нему.

Я обещала. Мне было невыразимо грустно. Она выпустила меня из объятий, подошла к окну и стала глядеть в него, спиной ко мне. Через минуту она снова заговорила, не оборачиваясь ко мне, чтобы я не могла разглядеть ее лицо.

— Ты пойдешь к дяде? — спросила она.— Ты скажешь ему, что я согласна на те условия, которые он считает наилучшими? Ничего, что ты уйдешь сейчас, Мэриан. Мне лучше некоторое время побыть одной.

Я вышла. Если бы по мановению моего мизинца я могла спровадить мистера Фэрли и сэра Персиваля Глайда на самый дальний край земли, я бы сделала это, не задумываясь ни на минуту! На этот раз мой несчастный характер выручил меня. Гнев выжег мои слезы, а то я бы, наверно, упала и разрыдалась. Я ворвалась к мистеру Фэрли, сердито крикнула ему: «Лора согласна на двадцать второе!» — и ринулась обратно, не дожидаясь ответа. Убегая, я так хлопнула дверью, что, надеюсь, его нервная система разбита сегодня на целый день.

28-е

Утром я перечла письмо бедного Хартрайта. Со вчерашнего дня меня мучат сомнения, правильно ли я поступила, скрыв от Лоры его отъезд.

Поразмыслив, я решила, что я права. Судя по его письму, подготовка к этой экспедиции в Центральную Америку говорит о том, что начальники экспедиции понимают, насколько она опасна. Это тревожит меня, а что было бы с ней, если бы она об этом узнала? И так уже грустно — его отъезд лишил нас верного друга, на преданность которого в нужную минуту мы могли полностью рассчитывать, если бы эта минута настала и мы сами были беспомощны. Но еще печальнее сознавать, что он уехал,

рискуя погибнуть в страшном климате, в совершенно дикой стране, среди диких племен. Говорить об этом Лоре, когда в этом нет крайней необходимости, было бы, конечно, жестоко.

Я даже думаю, не пойти ли еще дальше — не сжечь ли его письмо из опасения, что оно может когда-нибудь попасть в чужие руки? В нем не только говорится о Лоре в таких выражениях, которые должны навсегда остаться между нами, но и о его подозрениях — упрямых, необоснованных, но очень тревожных,— что за ним постоянно следят с тех пор, как он уехал отсюда. Он утверждает, что на пристани в Ливерпуле среди толпы, наблюдавшей за отплытием корабля, он видел тех самых незнакомцев, которые ходили за ним по пятам по лондонским улицам. Он заявляет, что слышал имя Анны Катерик за своей спиной, когда всходил на корабль. Вот его собственные слова: «В этих событиях есть скрытый смысл, они должны привести к какому-то результату. Тайна Анны Катерик еще не раскрыта. Возможно, что я никогда больше с ней не встречусь, но, если когда-нибудь вам придется увидеть ее, мисс Голкомб, приложите все усилия, чтобы воспользоваться этим лучше, чем сделал я. Я глубоко верю, что это необходимо, и молю вас помнить мои слова». Вот что он написал! Нет, я ни в коем случае не позабуду его слов, я слишком часто вспоминаю все, что Хартрайт говорил об Анне Катерик. Но хранить его письмо опасно. Малейшая случайность — и оно может попасть в чужие руки. Я могу заболеть, могу умереть — лучше сжечь письмо сразу, пусть одной заботой будет меньше.

Оно сожжено.

Кучка серого пепла лежит на камине — все, что осталось от его прощального письма, может быть, его последнего в жизни письма ко мне. Неужели таков печальный конец этой печальной истории? О нет, только не это! Конечно, конечно, это еще не конец!

29-е

Приготовления к свадьбе начались. Приехала портниха. Лора совершенно безучастна, совершенно равнодушна к вопросам, волнующим каждую женщину. Она предоставила все мне и портнихе. Если бы бедный Хартрайт был баронетом и ее суженым по выбору ее отца, она, конечно, вела бы себя совершенно иначе! Как она ка-

призничала бы и волновалась и как трудно было бы самой отличной портнихе угодить ей!

30-е

Каждый день мы получаем вести от сэра Персиваля. Вот последняя новость: ремонт и отделка его дома займут около полугода. Если бы художники, обойщики и обивщики могли не только соорудить роскошные хоромы для Лоры, но и сделать ее счастливой, я бы весьма интересовалась устройством ее будущего дома. Но при данных обстоятельствах единственное, к чему я не осталась полностью равнодушной,— это та часть его письма, которая относится к свадебному путешествию. Есть предположение, что зима будет необычайно суровой, и потому ввиду хрупкого здоровья Лоры он предлагает повезти ее на зиму в Рим и остаться там до лета. Если его план не встретит одобрения, он готов провести зиму в Лондоне, сняв для этого наиболее подходящий дом.

Не принимая во внимание моих собственных чувств (это мой долг, и я это делаю), лично я считаю, что надо согласиться на первое предложение. В обоих случаях наша разлука с Лорой неизбежна. Если они поедут за границу, разлука эта будет более длительной, чем если они останутся на зиму в Лондоне. Но Лоре полезен мягкий климат, а главное — путешествие по интереснейшей в мире стране, первое в ее жизни путешествие. Все его радости и удовольствия помогут Лоре примириться с новой жизнью, рассеют ее печальное настроение.

С ее характером она не нашла бы утешения в беззаботных удовольствиях лондонского света. Она только еще тяжелее переносила бы гнет своего несчастного замужества. Я не могу передать, как мне страшно за начало ее новой жизни. Если она поедет путешествовать, я еще смогу на что-то надеяться, если останется — я утрачу последнюю надежду.

Так странно перечитывать эту последнюю запись в моем дневнике: я пишу о Лорином замужестве и о предстоящей разлуке с нею, как пишут о решенных вопросах. Какими холодными и бесчувственными кажутся эти спокойные рассуждения о будущем! Но что еще остается мне, когда день свадьбы все приближается? Не пройдет и месяца, как она станет его Лорой, уже не моей. Его Лорой! Эти два слова кажутся мне такими же непонятными,

я так же ошеломлена и убита ими, как если бы вместо замужества я писала о ее смерти.

1 декабря

Грустный, грустный день! День, о котором мне не хочется подробно писать. Отложив вчера разговор об этом, я была вынуждена сегодня утром сказать ей о свадебном путешествии, предложенном сэром Персивалем.

Глубоко убежденная, что я буду с ней, куда бы она ни поехала, бедное дитя,— ведь она еще дитя во многих отношениях,— она почти обрадовалась возможности повидать воочию красоты Рима и Неаполя. У меня сердце чуть не разорвалось от боли, когда мне пришлось рассеять ее заблуждение и поставить ее перед лицом действительности. Мне пришлось сказать ей, что ни один мужчина не потерпит, чтобы соперник — или соперница — оспаривали у него привязанность его жены в первые месяцы женитьбы, что бы ни случилось потом. Мне пришлось предостеречь ее, что наше совместное будущее зависит от того, сумею ли я не возбудить ревность и недоверие сэра Персиваля, встав между ними в начале их брака в качестве ближайшей наперсницы его жены. Капля по капле я вливала в это чистое сердце и неопытный ум горечь житейской мудрости, чувствуя в глубине души, как все лучшее и высшее во мне восстает против этой грустной задачи. Теперь это уже позади. Она знает теперь свой горький, но неизбежный урок. У нее больше не осталось чистых, девических иллюзий. Моя рука разрушила их. Лучше моя, чем его рука,— это мое единственное утешение. Лучше моя рука, чем его.

Первое предложение принято. Они едут в Италию. А я — если сэр Персиваль согласится — встречу их и останусь жить с ними, когда они вернутся с континента. Другими словами, впервые за всю мою жизнь я должна просить о личном одолжении человека, которому я меньше всего хотела бы быть обязанной! Что ж! Мне кажется, что для Лоры я отважилась бы и на большее.

2-е

Перечитывая свои записи, я вижу, что всегда отзываюсь о сэре Персивале в самых неодобрительных выражениях. Но дела приняли такой оборот, что мне необходимо искоренить мое предубеждение против него.

Когда оно возникло — я не знаю. Его, безусловно, раньше не было.

Возможно, нежелание Лоры выходить за него замуж восстановило меня против него. Возможно, что, сама того не понимая, я заразилась совершенно необоснованным предубеждением Хартрайта. А может быть, в моем сознании все еще тлеет безотчетное подозрение в связи с письмом Анны Катерик, несмотря на объяснения сэра Персиваля и доказательство его правоты, которое находится в моих собственных руках. Мне трудно разобраться во всем этом. Я знаю одно: я обязана, особенно теперь, перестать относиться в сэру Персивалю с неоправданной подозрительностью. Писать о нем неизменно в неодобрительных выражениях стало для меня привычным, но я должна перестать это делать. Даже если ради этого мне придется не вести моего дневника, пока они не поженятся! Я серьезно недовольна собой сегодня, писать больше не буду.

16-е

Прошло целых две недели, и я ни разу не открыла этих страниц. Я достаточно долго не прикасалась к моему дневнику, чтобы прийти в лучшее, более благоприятное расположение духа — по крайней мере, по отношению к сэру Персивалю.

Эти две недели прошли незаметно. Платья почти все готовы, из Лондона прибыли новые сундуки для свадебного путешествия. Бедняжка Лора в течение целого дня ни на минуту не расстается со мной. Вчера ночью, когда нам обеим не спалось, она пришла в мою спальню и прокралась в мою постель, чтобы поговорить со мной.

— Скоро я расстанусь с тобой, Мэриан,— сказала она.— Пока возможно, я хочу побольше быть с тобой.

Они должны обвенчаться в лиммериджской церкви, и, слава богу, никто из наших соседей не приглашен на свадьбу. Единственным гостем будет наш старый друг мистер Арнольдс. Он приедет из Послдина, чтобы быть посаженым отцом, ибо дядюшка Лоры слишком изнежен и не осмелился высунуть нос наружу в такую безжалостно холодную погоду, которая сейчас стоит. Если бы я не решила с сегодняшнего дня видеть все только в радужном свете, полнейшее отсутствие родственников-мужчин у Лоры в такую важную для нее минуту могло бы вселить

в меня опасение за ее будущее. Но с унынием и подозрительностью покончено, вернее — я не хочу писать о них в моем дневнике.

Завтра должен приехать сэр Персиваль. Он предложил — в случае, если мы хотим, чтобы все происходило согласно строгому этикету,— написать нашему священнику и попросить у него гостеприимства на короткое время, которое он, сэр Персиваль, будет в Лиммеридже до венчания. Но мистер Фэрли и я решили, что затруднять себя всякими мелкими церемониями и ритуалами не стоит. В нашем диком прибрежном захолустье, в нашем большом, пустынном доме мы можем не считаться с предрассудками, которые мешают спокойно жить обитателям городов. Поблагодарив сэра Персиваля за учтивость, я ответила ему просьбой занять его прежние комнаты в Лиммеридже.

17-е

Он приехал сегодня — тревожный и усталый, как мне показалось, хотя продолжал разговаривать и смеяться, как человек, вполне довольный всем происходящим. Он привез Лоре в подарок несколько поистине великолепных драгоценностей. Лора благосклонно приняла их, сохраняя, внешне по крайней мере, полное спокойствие. Единственный признак внутренней борьбы, происходящей в ней, хотя она усиленно старается казаться невозмутимой,— это ее нежелание быть в одиночестве. Вместо того чтобы оставаться, как обычно, в своей комнате, она как будто боится заходить туда. Когда сегодня после завтрака я пошла наверх, чтобы одеться для прогулки, она вызвалась идти со мной. Перед обедом она распахнула дверь из своей комнаты в мою, чтобы разговаривать со мной, пока мы переодевались.

— Не давай мне ни одной свободной минуты,— сказала она.— Заставляй меня все время быть на людях. Не давай мне задумываться, вот все, о чем я прошу, Мэриан,— не давай мне думать.

Эта перемена в ней только усиливает ее привлекательность в глазах сэра Персиваля. Ее общительность он истолковал, по-видимому, в свою пользу. На ее щеках лихорадочный румянец, в глазах лихорадочный блеск — он приветствует это, считая, что она похорошела и повеселела. Сегодня за обедом она разговаривала с такой искусственной веселостью и небрежностью, так не

вяжущейся с ее характером, что мне втайне хотелось заставить ее замолчать и увести ее. Восторг и удивление сэра Персиваля не поддаются описанию. Тревога, которую я заметила на его лице в первый день его приезда, совершенно рассеялась, и даже, с моей точки зрения, он помолодел лет на десять.

Несомненно — хотя какая-то странная настороженность мешает мне видеть это,— несомненно, будущий муж Лоры очень красивый мужчина. Когда у человека правильные черты лица, это красиво,— у него они правильные. Красиво, когда у мужчины (или у женщины) глаза большие и карие,— у него они большие и карие. Даже лысина идет к нему, так как благодаря этому лоб его кажется еще выше, а лицо еще умнее. Непринужденная элегантность его манер, неустанная оживленность его движений, изысканное остроумие его речи — все это бесспорные достоинства, и он ими, безусловно, обладает. Разве можно винить мистера Гилмора, если он, не зная тайной любви Лоры, удивляется, что она сожалеет о своей помолвке? Всякий другой человек на его месте разделял бы его удивление. Если бы меня спросили сейчас, какие недостатки я нахожу в сэре Персивале, я могла бы указать только на два. Во-первых, непрестанное беспокойство и возбуждение, причиной которых является, возможно, его незаурядно энергичный характер. Во-вторых, его резкая, раздражительная манера разговаривать с прислугой, которая, вероятно, является просто дурной привычкой. Нет, я не могу отрицать и не буду отрицать — сэр Персиваль Глайд очень красивый и очень приятный мужчина! Вот! Я наконец написала это и рада, что с этим покончено.

18-е

Сегодня утром, чувствуя себя усталой и подавленной, я оставила Лору в обществе миссис Вэзи и пошла на одну из моих бодрых, быстрых прогулок, которые я совсем забросила за последнее время. Я свернула через равнину, поросшую вереском, на открытую дорогу, ведущую к ферме Тодда. Полчаса спустя я очень удивилась появлению сэра Персиваля, шедшего мне навстречу от фермы. Он шагал быстро, помахивая тростью, по обыкновению, с высоко поднятой головой, в охотничьей куртке, которая развевалась по ветру. Когда мы встретились, он, не дожи-

даясь моего вопроса, тут же сказал мне, что ходил на ферму спросить, не получали ли Тодды каких-либо известий об Анне Катерик со времени его последнего визита.

— И вам сказали, конечно, что они по-прежнему ничего не знают?

— Абсолютно ничего,— отвечал он.— Я начинаю серьезно опасаться, что мы не найдем ее. Не слышали ли вы случайно,— продолжал он, пристально глядя на меня,— может быть, этот художник, мистер Хартрайт, знает что-либо о ней?

— Он ничего о ней не слышал и не видел ее с тех пор, как уехал из Кумберленда,— отвечала я.

— Очень жаль,— сказал сэр Персиваль явно разочарованным тоном, но в то же время, как это ни странно, он выглядел как человек, который наконец может вздохнуть свободно.— Трудно предугадать, какие еще беды могут приключиться с этим жалким существом. Я чрезвычайно недоволен, что не могу снова поместить ее в лечебницу, где она находилась под заботливым присмотром, в котором она так нуждается.

При этом он выглядел искренне недовольным. Я выразила ему свое сочувствие, и на обратном пути мы говорили о другом. Разве моя случайная встреча с ним не говорит о хорошей черте его характера? Разве не бескорыстно и не трогательно с его стороны накануне своей свадьбы думать об Анне Катерик — и даже пойти на ферму Тодда, чтобы справиться о ней, когда он мог несравненно приятнее провести время дома, в обществе Лоры. Принимая во внимание, что он поступил так только из чистого

сострадания, его поведение в данном случае говорит о его доброте и заслуживает самых высоких похвал. Ну что ж! Я чрезвычайно хвалю его — вот и все.

19-е

Новое открытие в неиссякаемом источнике добродетели сэра Персиваля.

Сегодня в разговоре с ним я осторожно коснулась моего намерения жить под одной крышей с его женой, когда он привезет ее обратно в Англию. При первом же намеке он с жаром схватил меня за руку и сказал, что сам хотел предложить мне это. Из всех женщин он выбрал бы именно такую подругу для своей жены, как мисс Голкомб. Он просил меня верить, что я делаю ему огромное одолжение, соглашаясь по-прежнему жить с Лорой после ее замужества.

Когда я поблагодарила его от имени нас обеих за его любезное внимание к нам, мы заговорили о свадебном путешествии и о светском обществе, с которым Лоре предстоит познакомиться в Риме. Он перечислил имена нескольких друзей, с которыми предполагает встретиться за границей этой зимой. Все они англичане, насколько я помню, за одним исключением. Это исключение — граф Фоско.

Впервые замужество Лоры предстает в благоприятном свете благодаря известию о том, что молодые супруги, наверно, встретятся на континенте с графом Фоско и его женой. Возможно, эта встреча положит конец длительной семейной распре. До сих пор мадам Фоско предпочитала забывать о своих обязанностях тетки по отношению к племяннице из-за досады на покойного мистера Фэрли за его поступок с завещанием. Но теперь она уже не сможет относиться к Лоре, как к чужой. Сэр Персиваль и граф Фоско — старинные друзья, их женам не остается ничего другого, как встретиться по-приятельски. В дни своего девичества мадам Фоско была одной из самых сумасбродных женщин, которых мне доводилось встречать,— капризной, требовательной и тщеславной до глупости. Если ее мужу удалось перевоспитать ее, он заслуживает благодарности со стороны всех ее родственников — начиная с меня.

Мне хочется познакомиться с графом. Он самый близкий друг будущего мужа Лоры и поэтому вызывает во мне

живейший интерес. Ни Лора, ни я никогда его не видели. О нем я знаю только, что благодаря его случайному присутствию на ступенях церкви Тринита дель Монте в Риме сэр Персиваль был спасен от ограбления и гибели в ту критическую минуту, когда сэра Персиваля ранили в руку и в следующее мгновение, возможно, всадили бы ему нож в сердце. Я также помню, что во время нелепых возражений покойного мистера Фэрли против замужества его сестры граф написал ему весьма хладнокровное и разумное письмо, которое, должна отметить, осталось без ответа. Вот все, что я знаю о друге сэра Персиваля. Приедет ли он когда-нибудь в Англию? Понравится ли он мне?

Мое перо унеслось в область чистых умозрений. Пора вернуться к трезвым фактам. Бесспорно, сэр Персиваль отнесся более чем любезно — с большой теплотой — к моему предложению жить около его жены. Я уверена, что мужу Лоры не придется жаловаться на меня, если только я смогу относиться к нему, как начала. Я уже провозгласила его красивым, приятным, преисполненным сочувствия ко всем несчастным и искренней теплоты ко мне. Право, я с трудом узнаю самое себя в новом качестве пылкого друга сэра Персиваля.

20-е

Я ненавижу сэра Персиваля! Я начисто отрицаю, что у него хорошая внешность. Я считаю его чрезвычайно злобным, неприятным, совершенно лишенным доброты и мягкости. Вчера вечером нам прислали визитные карточки молодых супругов. Лора распечатала пакет и в первый раз увидела свою будущую фамилию напечатанной. Сэр Персиваль фамильярно смотрел через ее плечо на визитную карточку, которая уже превратила мисс Фэрли в леди Глайд, и, улыбаясь, с гнусным самодовольством что-то шепнул ей на ухо. Я не знаю, что именно,— Лора не захотела сказать мне,— но ее лицо стало вдруг мертвенно бледным. Я испугалась, что с ней будет обморок. Сэр Персиваль не обратил на это ни малейшего внимания, казалось, он и не заметил, что до такой степени огорчил ее. Вся моя старая неприязнь к нему воскресла в одно мгновение, и часы, которые протекли с этого мгновения, не смогли ее рассеять. Я стала еще безрассуднее, еще несправедливее, чем была.

В двух словах — как легко мое перо напишет и их! — в двух словах: я его ненавижу!

21-е

Волнения этого тревожного времени — не они ли нарушили мое душевное равновесие, мою трезвую рассудительность? Последние несколько дней я писала в легкомысленном тоне, который — видит бог! — так не соответствует моим переживаниям, что мне неприятно перечитывать мой дневник.

Может быть, за последнюю неделю лихорадочное возбуждение Лоры передалось мне. Если так, этот припадок у меня уже прошел, оставив меня в каком-то странном состоянии. Неотвязная мысль, что свадьбе не бывать, что ей что-то помешает, преследует меня еще с прошлой ночи. Откуда взялась эта странная фантазия? Не является ли она результатом моего беспокойства за будущее Лоры? Или ее бессознательно подсказывают мне все возрастающие возбужденность и раздражительность, которые я замечаю в сэре Персивале по мере того, как приближается день свадьбы? Не знаю. Я знаю одно: эта фантастическая мысль — при данных обстоятельствах самая дикая из всех, которые могли бы прийти в голову женщине,— не оставляет меня, и, как я ни стараюсь, я не могу проследить, откуда она взялась.

Сегодняшний день прошел в беспорядочной, утомительной суматохе. Как описать его? Однако я должна это сделать. Все лучше, чем предаваться мрачным мыслям.

Добрая миссис Вэзи, забытая и заброшенная нами в последнее время, утром очень расстроила нас не по своей вине. В течение нескольких месяцев она украдкой вязала для своей дорогой воспитанницы теплую шотландскую шаль. Удивительно, как женщина в ее возрасте и с ее привычками могла сделать такую прекрасную вещь! Подарок был поднесен сегодня утром, и, когда любящая старая подруга ее сиротливого детства гордо накинула шаль на ее плечи, бедная отзывчивая Лора совсем расстроилась! Не успела я успокоить их обеих и вытереть собственные слезы, как мистер Фэрли прислал за мной, чтобы осчастливить меня длинным перечнем предосторожностей, которые он считает необходимыми предпринять для охраны собственного покоя в день свадьбы.

«Дорогая Лора» получит от него подарок — плохонькое колечко с вправленными в золотой ободок волосами ее любящего дяди (вместо кольца с драгоценным камнем) и с бессмысленной надписью изнутри по-французски о сродстве душ и вечной дружбе. «Дорогая Лора» должна получить из моих рук эту нежную дань немедленно, дабы успеть оправиться от волнения, причиненного ей дядюшкиным подарком прежде, чем предстанет перед самим дядюшкой. «Дорогая Лора» должна нанести ему визит вечером, но, бога ради, не устраивать сцен. «Дорогая Лора» должна прийти к нему вторично на следующее утро, уже в свадебном туалете, но снова, бога ради, не устраивать сцен. «Дорогая Лора» должна в третий раз явиться к нему перед самым отъездом, не надрывая его сердца упоминанием о том, в котором именно часу она уезжает, и, бога ради, не проливая слез! «Из сострадания, дорогая Мэриан, ради всего родственного, восхитительно сдержанного — без слез!» Эта эгоистическая чепуха в такую минуту так возмутила меня, что я, конечно, ошеломила бы мистера Фэрли одной из самых жестоких истин, которые ему когда-либо доводилось слышать, если бы приезд мистера Арнольдса из Послдина не призвал меня немедленно к долгу гостеприимства.

Дальше в продолжение целого дня творилось что-то неописуемое. Думаю, что ни один человек в доме не в силах был бы описать эту сумятицу. Все сбились с ног в беспорядочной суматохе, от нагромождения всяких мелких происшествий, полной неразберихи и всеобщей путаницы. Прибывали платья, о которых забыли; упаковывались сундуки, которые потом приходилось распаковывать и упаковывать снова; присылались подарки от друзей близких и далеких, от людей знатных и простых. Мы все излишне суетились и торопились, с волнением ожидая завтрашнего дня. Особенно сэр Персиваль, которому не сиделось на месте ни минуты. Его отрывистый, сухой кашель непрестанно беспокоил его. Целый день он выбегал из дому и стал вдруг таким пытливым и любознательным, что приставал с вопросами к совершенно посторонним людям, являвшимся с разными поручениями. Прибавьте ко всему этому неотвязную мысль у Лоры и у меня, что завтра нам предстоит расстаться, и грозно преследующий нас страх (о котором мы молчим), что этот плачевный брак может стать роковой ошибкой ее жизни и моим непоправимым горем. Впервые за всю нашу радостную дол-

голетнюю дружбу мы избегали смотреть друг другу в глаза и весь вечер по обоюдному молчаливому согласию удерживались от разговора наедине. Я не в силах писать об этом. Какое бы несчастье ни ожидало меня в будущем, я всегда буду вспоминать двадцать первое декабря — канун ее свадьбы — как самый безотрадный и горестный день в моей жизни.

Я пишу эти строки в одиночестве моей комнаты. Сейчас далеко за полночь. Я только что была у Лоры, чтобы украдкой посмотреть, как она спит в своей прелестной белой кроватке, в которой спала с детства.

Она лежала, не сознавая, что я смотрю на нее, неподвижно и тихо, но не спала. При свете ночника я видела ее полузакрытые веки и следы слез, блестевшие на ее бледных щеках. Мой подарок — всего только маленькая брошь — лежал на ее ночном столике вместе с молитвенником и миниатюрой ее отца, с которой она никогда не расстается. С минуту я глядела на нее, рука ее покоилась на белом одеяле, она дышала так тихо, так ровно, что оборка ее ночной рубашки не колыхалась. Я глядела на нее — на ту Лору, какую я видела столько раз и какой я ее больше никогда не увижу,— и потом крадучись вернулась в свою комнату. Моя любимая! Как одинока ты, несмотря на всю твою красоту и богатство! Тот, кто отдал бы жизнь за тебя, далеко; яростное море в эту грозную ночь швыряет его корабль из стороны в сторону по бешеным волнам. Кто еще есть у тебя? Ни отца, ни брата, ни единого друга, кроме беспомощной, слабой женщины, которая пишет эти печальные строки и ждет утра около тебя, в горе, с которым не может совладать, в сомнениях, которые не может побороть. О, сколько упований будет вверено завтра этому человеку! Если он когда-нибудь об этом забудет, если чем-нибудь тебя обидит...

22-е

7 часов

Сумбурное, беспорядочное утро. Она только что встала; она спокойнее и сдержаннее, чем была вчера,— теперь, когда час настал.

10 часов

Она одета. Мы обнялись, мы обещали друг другу быть мужественными. Я забежала к себе в комнату на минуту.

В вихре и смятении моих мыслей я различаю одну дикую, фантастическую: что-то еще случится, что помешает этому браку. Не мелькает ли эта мысль и у него? Через окно мне видно, как он тревожно снует между каретами, которые стоят у дверей. Какое безумие писать это! Свадьба — это несомненный факт. Меньше чем через полчаса мы отправляемся в церковь.

11 часов

Все кончено. Они обвенчаны.

3 часа

Они уехали! Я слепну от слез — я не могу больше писать.

На этом заканчивается первый период этой истории.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ МЭРИАН ГОЛКОМБ

I

Блекуотер-Парк, Хемпшир.
11 июня 1850 года

Прошло шесть месяцев, шесть долгих, тоскливых месяцев с тех пор, как мы с Лорой виделись в последний раз.

Сколько дней осталось мне ждать? Всего один! Завтра, двенадцатого, путешественники возвращаются в Англию. Мне трудно осознать это счастье, мне не верится, что через двадцать четыре часа окончится последний день моей разлуки с Лорой.

Она и ее муж пробыли всю зиму в Италии, потом поехали в Тироль. Обратно они едут в сопровождении графа Фоско с женой, которые хотят поселиться близ Лондона и, пока не выберут себе постоянную резиденцию, приглашены на лето в Блекуотер-Парк. Раз Лора возвращается, мне все равно, кто бы с ней ни вернулся. Пусть сэр Персиваль, если ему так нравится, наполняет дом сверху донизу гостями при условии, что его жена и я будем жить в этом доме вместе.

А пока что я уже здесь, в Блекуотер-Парке. Это «древний и интереснейший замок (как услужливо ос-

ведомляет меня путеводитель по графству) сэра Персиваля Глайда, баронета» и, как могу теперь присовокупить я сама, будущее постоянное жилище безвестной Мэриан Голкомб, незамужней девицы, сидящей сейчас в уютном будуаре за чашкой чая и окруженной всеми ее пожитками, как-то: тремя чемоданами и одним саквояжем.

Вчера я уехала из Лиммериджа, получив накануне очаровательное письмо от Лоры из Парижа. Сначала я колебалась, встречать ли их в Лондоне или в Хемпшире, но в последнем письме Лора писала, что сэр Персиваль хочет сойти в Саутхемптонском порту и ехать прямо в свое поместье. Он столько истратил за границей, что до конца сезона у него не осталось средств на прожитие в Лондоне. Из экономии он решил скромно провести лето и осень в Блекуотере. Лоре надоели светские удовольствия и радости путешествия, и она очень довольна перспективой сельской тишины и уединения, о которой благоразумно радеет для нее муж. Что касается меня — с ней я буду счастлива где угодно. Поэтому для начала мы все очень довольны — каждый по-своему.

Вчера я ночевала в Лондоне, а днем была так занята разными визитами и поручениями, что только к вечеру приехала в Блекуотер-Парк.

Судя по моему первому смутному впечатлению, Блекуотер — полная противоположность Лиммериджу. Здание стоит на ровном месте, со всех сторон его замыкают — почти душат, с моей точки зрения северянки, привыкшей к простору,— деревья. Я еще не видела никого, кроме слуги, открывшего мне двери, и домоправительницы, очень любезной особы, показавшей мне мои комнаты и принесшей мне чай. У меня премилый маленький будуар и спальня в конце длинного коридора на втором этаже. Комнаты слуг и несколько запасных спален находятся наверху. Гостиная, столовая и другие комнаты — внизу. Я еще не видела ни одной из них и ничего не знаю о доме, кроме следующего: часть его, говорят, существует с незапамятных времен — более пятисот лет. Вокруг него когда-то был ров с водой. Свое название «Блекуотер» — «Черная вода» — он получил из-за озера в парке.

Башенные часы гулко и торжественно пробили одиннадцать. Башня возвышается в самом центре дома — я

видела ее, когда подъезжала. Большой пес проснулся от гула часов, и лает, и подвывает где-то за домом. Я слышу, как отдаются шаги внизу и гремят запоры и засовы у входных дверей. Очевидно, слуги ложатся спать. Не последовать ли и мне их примеру?..

Нет, мне совсем не спится. Не спится — сказала я? Мне кажется, я никогда больше не сомкну глаз. Сознание, что завтра я снова увижу дорогое ее лицо, услышу ее голос, держит меня в непрестанном лихорадочном ожидании. Если бы я была мужчиной, я велела бы сейчас оседлать лучшего коня из конюшен сэра Персиваля и поскакала бы на восток, навстречу восходящему солнцу, бешеным галопом — подобно знаменитому разбойнику из Йорка[1]. Будучи, однако, всего только женщиной, пожизненно приговоренной к терпению, благовоспитанности и кринолинам, я должна из уважения к мнению окружающих успокоиться каким-нибудь чисто женским способом.

Чтение не помогает — я не могу сосредоточиться на книге. Постараюсь написать как можно больше и заснуть от усталости.

За последнее время я забросила мой дневник. На пороге новой жизни кого я вспомню из людей, какие события воскреснут в моей памяти, какие превратности судьбы и перемены, происшедшие за эти полгода — за этот долгий, тоскливый, пустой промежуток времени со дня свадьбы Лоры?

Чаще всего я вспоминаю Уолтера Хартрайта. Он идет во главе туманной процессии моих отсутствующих друзей. Я получила несколько строк от него, написанных после того, как экспедиция выгрузилась на берег в Гондурасе. Письмо это было более бодрым и живым, чем прежние его послания.

Месяц или полтора спустя я прочитала перепечатанное из американского еженедельника сообщение об отъезде экспедиции в глубь страны. В последний раз их видели на пороге первобытного тропического леса. У каждого из них было ружье за плечами и мешок за спиной. С тех пор культурный мир потерял их следы. Ни строчки от Уолтера я больше не получала; в газетах не появлялось больше никаких известий об экспедиции.

[1] Разбойник из Йорка — Дик Тёрпин, разбойник и конокрад, живший в Англии XVIII века.

Такой же непроницаемый мрак окутал участь Анны Катерик и ее спутницы миссис Клеменс. О них совершенно ничего не известно. В Англии они или нет, живы или умерли, никто не знает. Даже поверенный сэра Персиваля потерял надежду найти их и приказал прекратить бесполезные поиски.

Наш добрый старый друг мистер Гилмор должен был прервать свою работу в юридической конторе. Ранней весной мы встревожились, узнав, что его нашли без чувств в его кабинете. С ним был апоплексический удар. До этого он часто жаловался на давление и головные боли. Доктор предупреждал его, что, если он будет работать по-прежнему с утра до вечера, воображая, что он все еще молод, это будет иметь для него роковые последствия. Ему категорически приказано не появляться в конторе, по крайней мере в продолжение года, и отдыхать, полностью изменив распорядок жизни. Он оставил все дела своему компаньону, а сам находится теперь в Германии у родственников, занимающихся там торговлей. Таким образом, еще один верный друг, человек, на преданность и опыт которого можно было всецело положиться, потерян для нас, но верю и надеюсь — ненадолго.

Бедную миссис Вэзи я довезла до Лондона. Было бы жестоко оставлять ее в одиночестве Лиммериджа, после того как Лора и я уехали из нашего дома. Мы договорились, что она будет жить у своей незамужней младшей сестры, содержащей школу в Клафаме. Миссис Вэзи осенью приедет погостить у своей воспитанницы, вернее — у своей приемной дочери.

Я благополучно довезла добрую старушку до места назначения, оставив ее на попечение сестры, безмятежно счастливую тем, что через несколько месяцев она снова увидит Лору.

Что касается мистера Фэрли, то я, думается, не буду несправедливой, если скажу, что он был чрезвычайно рад отъезду женщин из его дома. Было бы совершенно нелепо предполагать, что ему не хватает его племянницы — раньше он месяцами не делал никаких попыток повидать ее. Его слова, сказанные при нашем с миссис Вэзи отъезде, что «сердце его разрывается от отчаяния», я считаю признанием, что он втайне ликует, избавившись наконец от нас. Последний его каприз заключается в том, что он нанял двух фотографов, чтобы они беспрерывно делали

дагерротипы[1] редкостных сокровищ, находящихся в его коллекции. Полный комплект таких дагерротипов будет пожертвован Обществу механиков в Карлайле. Дагерротипы будут наклеены на отличный картон, под ними будут претенциозные надписи красными чернилами: «Мадонна с младенцем» Рафаэля — из собрания Фредерика Фэрли, эсквайра», «Медная монета времен Тиглата Пильзера — из собрания Фредерика Фэрли, эсквайра», «Уникальная гравюра Рембрандта, известная в Европе под названием «Помарка» — из-за помарки гравировщика в одном ее углу,— помарки не существует ни на одной другой копии. Оценена в 300 гиней. Из собрания Фредерика Фэрли, эсквайра». Дюжины подобных дагерротипов с надписями были готовы, когда я уезжала, оставалось сделать еще сотни. Погрузившись с головой в это новое занятие, мистер Фэрли будет счастлив в течение многих месяцев, а два несчастных фотографа разделят мученический венец, который до сих пор мистер Фэрли возлагал на одного камердинера.

Вот и все о людях и событиях, которые запомнились мне больше всего. Что же сказать напоследок о той, кто занимает главное место в моем сердце? Мысль о Лоре не покидала меня, когда я писала эти строки. Что происходило с ней в течение этих шести месяцев? Что вспомнить о ней, прежде чем я закрою мой дневник на ночь?

Я могу руководствоваться только ее письмами — и ни в одном из этих писем нет ответа на вопросы, которые я непрерывно задавала ей. Каждое из ее писем оставляет меня в неизвестности по поводу главного.

Хорошо ли он относится к ней? Стала ли она счастливее, чем была, когда мы расстались с ней в день ее венчания? Во всех моих письмах я задавала ей прямо или косвенно эти два основных вопроса. Во всех письмах она уклонялась от ответа или делала вид, что эти вопросы относятся только к состоянию ее здоровья. Снова и снова она писала мне, что здорова; что ей нравится путешествовать; что впервые в жизни она ни разу не простудилась за зиму,— но никогда ни словом не обмолвилась, что ей хорошо, что она примирилась со своим замужеством и

[1] Дагерротип — снимок, сделанный на металлической пластинке, покрытой слоем йодистого серебра, предшественник современной фотографии; название получил по имени французского изобретателя Дагéра (1787—1851).

может теперь думать о дне двадцать второго декабря без сожаления и раскаяния. В своих письмах она упоминает о муже, как если бы вскользь писала о каком-нибудь знакомом, путешествующем с ними и взявшем на себя все дорожные хлопоты: «Сэр Персиваль назначил наш отъезд на такое-то число». «Сэр Персиваль решил, что мы поедем по такой-то дороге». Очень редко называет она его в своих письмах просто «Персиваль», почти всегда присоединяя к его имени титул.

Я не нахожу, чтобы его взгляды и образ жизни оказали на нее существенное влияние. Столь обычные перемены, происходящие после замужества в юной, чистой, восприимчивой женской душе, как будто совсем не коснулись Лоры. Она пишет о собственных мыслях и впечатлениях посреди всех окружающих ее чудес совершенно вне зависимости от его присутствия. Если бы вместо мужа с ней путешествовала я, она писала бы кому-то другому такие же точно письма. Ни малейшего намека на близость между нею и мужем в ее письмах нет. Когда она отвлекается от описания своего путешествия и переходит к тому, что ожидает ее в Англии, она пишет только обо мне и о своей будущей жизни со мною, ее сестрой, совершенно забывая о своем будущем в качестве жены сэра Персиваля. Во всем этом нет скрытых жалоб, которые дали бы мне понять, что она несчастлива в своем замужестве. Впечатление, создавшееся у меня от нашей переписки, слава богу, не приводит к такому прискорбному выводу. Но, сравнивая Лору, которую я знала раньше, с той, что живет теперь для меня на страницах этих писем, я вижу в ней какую-то постоянную апатию, неизменное равнодушие к своей новой роли жены. Иными словами — в течение полугода мне писала Лора Фэрли, но отнюдь не леди Глайд.

Упоминая несколько раз в своих письмах о графе Фоско, она хранит такое же странное молчание относительно своего впечатления от ближайшего друга своего мужа, как и обо всем, что касается поведения и характера сэра Персиваля.

В конце осени граф и его жена по невыясненной причине внезапно переменили свое намерение ехать в Рим, где сэр Персиваль думал с ними повидаться, и вместо этого направились в Вену. Из Вены они весной уехали в Тироль, где встретились с молодыми супругами на их обратном

пути в Англию. Лора охотно пишет о своей встрече с мадам Фоско, уверяя меня, что тетка ее, став женой графа Фоско, настолько изменилась к лучшему с того времени, когда была старой девой, что я с трудом узнáю ее при встрече. Относительно графа Фоско (который интересует меня несравненно больше своей жены) Лора хранит осторожное молчание. Она написала мне только в одном из своих писем, что он для нее загадка и что она ничего не хочет говорить о нем прежде, чем я не составлю о нем собственное мнение.

Я считаю, что это плохая рекомендация для графа. Лора, больше чем другие люди в ее возрасте, сохранила тонкую интуицию ребенка, инстинктом угадывающего друга. Если я права и ее первое впечатление от графа было неблагоприятное, пожалуй, и мне заранее неприятен этот знаменитый иностранец. Но терпение, терпение — эта неизвестность теперь уже не долго продлится. Рано или поздно — все станет на свое место и прояснится. Завтра!

Пробило полночь. Собираясь закончить эти страницы, я выглянула в окно.

Ночь тихая, душная, луны нет. Звезды тусклые, их мало. Деревья, замыкающие дом со всех сторон, на расстоянии выглядят как непроницаемая темная масса, как огромный каменный вал. До меня доносится отдаленное, глухое кваканье лягушек; эхо от ударов башенных часов раздается в душной тишине долгое время спустя после того, как они пробили. Мне интересно, каков Блекуотер-Парк днем? Ночью он мне не очень-то нравится.

12-е

День исследований и открытий. День гораздо более интересный во многих отношениях, чем я могла бы это вчера предположить.

Конечно, я начала с осмотра дома.

Центральная часть дома относится ко временам непомерно превознесенной пресловутой королевы Елизаветы. Внизу тянутся параллельно друг другу две огромные длиннейшие галереи с низкими потолками. Они кажутся еще более темными и угрюмыми от безобразных фамильных портретов по стенам, каждый из которых я готова была бы предать огню. Комнаты этажом выше не требуют ремонта, но ими редко пользуются. Вежливая

домоправительница, сопровождавшая меня, предложила мне осмотреть их, но предупредила, что я найду их несколько запущенными. Моя заинтересованность в чистоте своих юбок и чулок превышает мой интерес ко всем елизаветинским спальням во всем королевстве, и потому я твердо отказалась пачкать свою одежду, исследуя древнюю грязь и пыль. Домоправительница сказала: «Я разделяю ваше мнение, мисс» — и, по-видимому, считает меня теперь самой благоразумной из всех знакомых ей женщин.

На этом закончим описание главного здания. К нему справа и слева примыкают два крыла. Полуразрушенное левое крыло когда-то было самостоятельным зданием; оно построено в XIV веке. Один из предков сэра Персиваля по материнской линии — не помню и не интересуюсь, кто именно,— пристроил к нему главное здание во времена вышеупомянутой королевы Елизаветы. Домоправительница сказала, что знатоки и ценители считают архитектуру и отделку левого крыла весьма примечательными. Дальнейшие исследования показали, что знатоки, судившие о достопримечательностях замка сэра Персиваля, могли оценить сей замок, только победив свой страх перед крысами, плесенью и мраком. Я призналась домоправительнице, что я отнюдь не знаток, и намекнула, что к «древнему крылу» не мешало бы отнестись так же, как и к елизаветинским спальням. Домоправительница снова сказала: «Я разделяю ваше мнение, мисс» — и посмотрела на меня, не скрывая своего восторга перед моим удивительным здравым смыслом.

Мы направились к правому крылу, пристроенному во время Георга II, дабы закончить осмотр архитектурной неразберихи в Блекуотер-Парке.

Это обитаемая часть дома, отремонтированная и отделанная для Лоры. Мои две комнаты и остальные спальни находятся на втором этаже. На нижнем этаже расположены гостиная, столовая, малая гостиная, библиотека и хорошенький маленький будуар для Лоры. Комнаты изящно убраны в современном вкусе и роскошно обставлены элегантной современной мебелью. Они не такие просторные и светлые, как наши комнаты в Лиммеридже, но в них приятно жить. Памятуя рассказы о Блекуотер-Парке, я страшно боялась утомительных антикварных стульев, мрачных цветных стекол, пыльных

ветхих драпировок и всего этого древнего хлама, который собирают вокруг себя люди, лишенные чувства комфорта и презревшие удобства своих друзей. Я с невыразимым облегчением увидела, что девятнадцатое столетие вторглось в будущий дом мой и вытеснило дряхлые «добрые, старые времена» из обихода нашей повседневной жизни.

Так провела я утро — то в комнатах внизу, то перед домом на большой площади, обнесенной пышными чугунными решетками и воротами, охраняющими поместье. Большой круглый водоем для рыб, выложенный камнем, с аллегорическим чудовищем на дне, находится в центре площади. В нем плавают золотые и серебряные рыбки, и он обрамлен широкой полосой мягчайшего газона, на который когда-либо ступала моя нога. До завтрака я довольно приятно провела там время в тени деревьев. А потом взяла свою большую соломенную шляпу и пошла побродить в одиночестве по солнышку.

Днем подтвердилось то впечатление, которое сложилось у меня ночью: в Блекуотере слишком много деревьев. Они просто задушили дом. По большей части деревья молодые, посаженные слишком густо. Я подозреваю, что задолго до времен сэра Персиваля старые деревья сильно повырубили. Кто-то из последующих владельцев, разгневавшись на это, решил засадить плешины как можно быстрее и гуще. Оглядевшись вокруг, я увидела слева цветник и пошла посмотреть, что он собой представляет.

При ближайшем рассмотрении цветник оказался небольшим, довольно жалким и заброшенным. Я поспешила уйти и, открыв маленькую калитку в ограде, очутилась в парке серебристых пихт.

Красивая извилистая аллея вела меня вдаль, и вскоре благодаря своему опыту прибрежной жительницы севера я поняла, что приближаюсь к песчаной, поросшей вереском пустоши. Через полмили аллея в парке резко свернула в сторону, деревья внезапно расступились, и я очутилась на краю широкого, отрытого пространства. Впереди, неподалеку, лежало озеро Блекуотер, название которого было присвоено дому.

Передо мной был отлогий песчаный спуск, покрытый кое-где кочками, поросшими вереском. Само озеро, по-видимому, когда-то доходило до того места, где я сейчас

стояла. Постепенно оно высыхало и теперь было втрое меньше своего прежнего размера. Его тихие, стоячие воды лежали во впадине в четверти мили от меня. Озеро превратилось в прудики и лужи, окруженные камышами и тростниками, с торчащими тут и там буграми мшистой земли. На дальнем, противоположном берегу озера деревья выглядели сплошной зеленой массой и закрывали горизонт, отбрасывая черную тень на ленивые, сонные, неглубокие воды. Спустившись к самому озеру, я разглядела дальний берег, топкий и болотистый, он порос тучной травой и плакучими ивами. Вода, довольно чистая и прозрачная на открытой песчаной стороне, озаренной солнцем, у другого берега выглядела черной и зловещей в густой прибрежной тени кустов и деревьев. Квакали лягушки, и водяные крысы шныряли с берега в озеро, отражаясь в прозрачной мелкой воде. Подойдя ближе к заболоченному озеру, я увидела наполовину высунувшиеся из воды сгнившие обломки старой лодки. Слабый солнечный луч, пробившись сквозь чащу деревьев, дрожал на гнилом куске дерева. На нем, свернувшись в клубок и коварно застыв, лежала змея, греясь на солнце. Все окружающее производило впечатление одиночества и разрушения, а великолепие яркого летнего неба только подчеркивало и сгущало мрак и уныние лесной пустыни, над которой сияло солнце. Я повернулась и пошла обратно к песчаному высокому берегу, по направлению к заброшенному сараю, стоявшему на краю парка. Сарай был столь невзрачен, что до тех пор не привлекал моего внимания, всецело сосредоточенного на диком лесном озере.

Подойдя к сараю, я увидела, что когда-то в нем хранились лодки, а позднее его пытались превратить в примитивную беседку, поставив внутри скамью из еловых досок, несколько табуреток и стол. Я вошла в сарай и села на скамью, чтобы немного отдохнуть.

Не прошло и минуты, как я услышала, что на мое учащенное дыхание отзывается какое-то эхо снизу. Я прислушалась: кто-то тихо, прерывисто дышал прямо под скамьей, на которой я сидела. Нервы мои в порядке, и я не прихожу в ужас из-за пустяков, но на этот раз я вскочила на ноги от страха, окликнула — никто не отозвался, собрала остатки храбрости и посмотрела под скамью.

Там, забившись в самый дальний угол, лежал невольный виновник моего испуга — собака, белая с черными пятнами. Бедняга слабо заскулила, когда я позвала ее, но не пошевелилась. Я отодвинула скамью и оглядела ее. Глаза бедной собаки были подернуты пленкой, на белой блестящей шерсти выступили пятна крови. Страдание бессловесных существ — бесспорно, одно из самых грустных зрелищ на свете. Я осторожно взяла раненую собаку на руки и, сделав нечто вроде гамака из собственной юбки, положила ее туда. Как можно быстрее я понесла ее домой.

Не найдя никого в холле, я поднялась к себе в будуар, устроила собаке подстилку из старого теплого платка и позвонила. Служанка, самая рослая и толстая из всех, каких знал свет, отозвалась на мой звонок. Она была в таком бессмысленно веселом настроении, что это вывело бы из терпения и святого. Пухлое, бесформенное лицо ее растянулось в широченную улыбку при виде лежащей на полу раненой собаки.

— Что смешного вы увидели в этом? — сердито спросила я.— Вы знаете, чья это собака?

— Нет, мисс, право, не знаю.— Она нагнулась, посмотрела на изорванный бок собаки, вся расплылась в улыбке от пришедшей ей в голову мысли и, хихикнув, сказала: — Это дело рук Бакстера, мисс.

Я так разозлилась, что готова была надрать ей уши.

— Бакстер? — сказала я.— Кто этот бесчувственный дурак, которого вы называете Бакстером?

Девушка хихикнула еще веселее, чем прежде.

— Бог с вами, мисс. Бакстер — лесник, и когда он видит какую-нибудь приблудную собаку, он стреляет в нее. Это его обязанность, мисс. По-моему, собака сдохнет. Вон он куда ее ранил! Это дело рук Бакстера, мисс, и это его обязанность.

От возмущения я почти пожелала в душе, чтобы вместо собаки Бакстер подстрелил эту служанку. Видя, что от этой бесчувственной особы бесполезно ожидать какой-либо помощи для бедного животного, которое мучилось у наших ног, я велела ей позвать домоправительницу. Она ушла с той же широченной улыбкой на толстом лице. Когда дверь за ней закрылась, я услышала, как она бормотала в коридоре:

— Это дело Бакстера и его обязанность, так-то вот.

Домоправительница, женщина с некоторым образованием и неглупая, заботливо принесла с собой молока и теплой воды. При виде собаки она отшатнулась и побледнела.

— О господи! — воскликнула она.— Да это собака миссис Катерик!

— Чья? — спросила я в совершенном изумлении.

— Миссис Катерик. Вы ее знаете, мисс?

— Нет, но я о ней слышала. Она живет здесь? Она получила какие-нибудь вести о дочери?

— Нет, мисс Голкомб. Она приходила сюда справляться, не слышали ли мы чего.

— Приходила? Когда?

— Только вчера. Она сказала, что где-то в наших местах видели женщину, похожую по описанию на ее дочь. Мы об этом ничего не слышали. В деревне, куда мы посылали справиться по просьбе миссис Катерик, тоже ничего об этом не знают. С ней была эта собака. Когда она уходила, я видела, как собачонка бежала за ней. Наверно, собака забежала в парк, там ее и подстрелили... Где вы ее нашли, мисс Голкомб?

— В старом сарае у озера.

— Так-так, это на нашей стороне. Бедное животное, наверно, доползло до беседки и забилось в угол, как делают собаки перед смертью. Смочите ей губы молоком, мисс Голкомб, а я обмою рану. Боюсь, что уже ничем нельзя помочь. Однако можно попытаться.

Миссис Катерик! Это имя, как эхо, отдавалось в моих ушах. Пока мы возились с собакой, мне вспоминались слова Уолтера Хартрайта: «Если когда-нибудь вам встретится Анна Катерик, воспользуйтесь этим лучше, чем сделал я».

Благодаря тому что я нашла эту несчастную собаку, я узнала про визит миссис Катерик в Блекуотер-Парк, а это, в свою очередь, могло привести еще к каким-то открытиям. Я решила использовать эту возможность и как можно больше разузнать о ней.

— Вы, кажется, сказали, что миссис Катерик живет где-то поблизости? — спросила я.

— О нет! — сказала домоправительница.— Она живет в Уэлмингаме, а это по крайней мере милях в двадцати пяти от нас.

— Вы, наверно, давно знакомы с миссис Катерик?

— Напротив, мисс. До вчерашнего дня я никогда ее

не видела. Я, конечно, слышала о ней и о доброте сэра Персиваля, который помог устроить ее дочь в лечебницу. У миссис Катерик немного странные манеры, но, в общем, она в высшей степени почтенная женщина. Она, по-видимому, была разочарована, когда узнала, что нет никакого основания — совершенно никакого, насколько нам известно,— предполагать, что ее дочь где-то в этих местах.

— Миссис Катерик интересует меня. Я немного знаю про нее,— сказала я, чтобы продлить этот разговор.— Я жалею, что вчера не приехала пораньше, чтобы застать ее. Она пробыла здесь долго?

— Да,— отвечала домоправительница.— Она пробыла у нас довольно долго. И думаю, осталась бы еще на некоторое время, если бы меня не позвали к одному незнакомому джентльмену, заходившему спросить, когда вернется сэр Персиваль. Как только миссис Катерик услышала, что горничная позвала меня к нему, она сейчас же поднялась и ушла. Прощаясь, она просила меня не рассказывать сэру Персивалю о том, что заходила. Я подумала, что довольно странно обращаться с такой просьбой к человеку, занимающему столь ответственное положение в этом доме, как я.

Эта просьба показалась странной и мне. Сэр Персиваль уверял меня в Лиммеридже, что у него с миссис Катерик прекрасные отношения. Если это действительно так, почему ей не хотелось, чтобы он знал о ее визите в Блекуотер.

Понимая, что домоправительница ждет, чтобы я высказалась по поводу странной просьбы миссис Катерик, я сказала:

— Наверно, она боялась, что известие о ее посещении будет неприятно сэру Персивалю, напомнив ему, что дочь ее еще не нашлась. Она много говорила о дочери?

— Очень мало,— отвечала домоправительница.— Она говорила главным образом о сэре Персивале и расспрашивала, где он путешествует и что за женщина та леди, на которой он женился. Она, казалось, больше рассердилась, чем огорчилась, узнав, что никаких следов ее дочери в наших местах не обнаружено. «Я отказываюсь от поисков,— вот, насколько я помню, были ее последние слова.— Я отказываюсь от поисков, мэм, она для меня потеряна». И тут же стала спрашивать про леди Глайд:

красивая ли она, молодая ли, здоровая ли... О господи! Я так и знала! Посмотрите, мисс Голкомб. Бедная собака наконец отмучилась.

Собака сдохла. Со слабым стоном она протянула лапы. Она лежала мертвая у наших ног.

8 часов

Я только что вернулась снизу, из столовой, отобедав в полном одиночестве. Я вижу из окна, как на листве деревьев уже дрожит багровый отсвет заката, а я все продолжаю писать мой дневник, чтобы умерить нетерпение, с которым я жду возвращения наших путешественников. По моим вычислениям, они уже должны были вернуться. В доме так одиноко и пустынно в душной вечерней тишине! Господи! Сколько еще минут должно пройти до того, как я услышу стук колес и сбегу вниз, чтобы очутиться в объятиях Лоры?

Бедная собака! Я предпочла бы, чтобы мой первый день в Блекуотере не был омрачен смертью, хотя бы и бродячей собаки.

Уэлмингам... Перечитывая мои записи, я вижу, что это название городка, где живет миссис Катерик. Ее записка все еще у меня, та самая, что пришла в ответ на письмо, которое заставил меня написать ей сэр Персиваль. В один из ближайших дней, когда мне представится возможность, я возьму эту записку с собой вместо визитной карточки, познакомившись с миссис Катерик, постараюсь извлечь из нее все, что можно. Мне непонятно, почему она хотела скрыть от сэра Персиваля свое посещение, и я вовсе не уверена — как, по-видимому, уверена в этом домоправительница,— что дочь ее не скрывается где-то в здешних местах. Что сказал бы по этому поводу Уолтер Хартрайт? Бедный, славный Хартрайт! Я начинаю чувствовать, что мне недостает его искренних советов и дружеской помощи. Чу, что-то послышалось. Что за беготня внизу? Конечно! Я слышу цоканье копыт, слышу шуршанье колес!

II

15 июня

Суматоха, поднявшаяся при их возвращении, уже улеглась. Прошло два дня, как путешественники вернулись, и этого промежутка было достаточно, чтобы наша новая

жизнь в Блекуотер-Парке вошла в свою обычную колею. Теперь я могу снова улучить минутку, чтобы вернуться к своему дневнику и спокойно продолжать свои записи.

По-моему, мне следует начать с одного странного наблюдения, которое я сделала с тех пор, как Лора вернулась.

Когда два члена семьи или два близких друга расстались — один уехал за границу, а другой остался дома,— возвращение из путешествия родственника или друга всегда ставит того, кто был дома, в трудное положение. Первый жадно впитывал новые мысли, новые впечатления, второй пассивно пребывал на старом месте. Вначале это создает некоторую отчужденность между самыми любящими родственниками, между самыми близкими друзьями и нарушает их близость — неожиданно и безотчетно для них обоих. После того как прошли первые счастливые минуты нашей встречи с Лорой и мы сели рядом, держась

за руки, чтобы отдышаться и успокоиться для разговора, я сразу почувствовала эту отчужденность и поняла, что она ее тоже чувствует. Сейчас, когда мы понемногу вернулись к более или менее привычному для нас образу жизни, это чувство немного рассеялось и, наверно, в недалеком будущем совсем пройдет. Но, конечно, именно оно окрасило то первое впечатление, которое произвела на меня Лора, и только поэтому я и упоминаю об этой отчужденности.

Она нашла, что я прежняя Мэриан, а я нашла, что Лора изменилась.

Изменилась внешне, а в одном отношении и внутренне. Я не могу сказать, чтоб она стала менее красивой,— могу только сказать, что она стала менее красивой для меня.

Те, кто не видел ее моими глазами, пожалуй, сочтут, что она похорошела. Лицо округлилось и порозовело, черты его стали определеннее, фигура окрепла, движения сделались более уверенными и свободными, чем в дни ее девичества. Но мне чего-то не хватает, когда я гляжу на нее. Того, что было в радостной, невинной Лоре Фэрли, я не могу найти в леди Глайд. В прошлом в ее лице была юная свежесть и мягкость, неизъяснимая, нежная красота, переменчивая, но неизменно очаровательная, передать которую нельзя было ни словами, ни в живописи, как часто говорил Уолтер Хартрайт. Это очарование ушло. Слабое его отражение промелькнуло на ее лице, когда она побледнела от волнения при виде меня в вечер своего приезда, но оно не появлялось вновь. Ни одно из ее писем не подготовило меня к этой перемене в ней. Напротив, мне казалось, что, во всяком случае внешне, она совсем не изменилась. Может быть, я не понимала ее писем, так же как сейчас не понимаю выражения ее лица? Нужды нет! Расцвела ли ее красота или нет за последние полгода, но благодаря нашей разлуке Лора стала мне еще дороже. И это, во всяком случае, один из хороших результатов ее замужества!

Перемена, происшедшая в ее характере, не удивила меня — письма ее подготовили меня к этому. Теперь, когда она снова дома, она по-прежнему не желает обсуждать со мной подробности своей замужней жизни, как избегала этого в своих письмах, когда мы были в разлуке. При первой же моей попытке заговорить на

эту запретную тему, она зажала мне рот рукой тем прежним жестом, трогательно и горько напомнившим мне о счастливом времени, когда у нас не было секретов друг от друга.

— Когда мы будем оставаться наедине, Мэриан,— сказала она,— нам будет радостнее и легче общаться друг с другом, если мы примем мою замужнюю жизнь такой, какая она есть, и будем как можно меньше думать и говорить об этом. Я поделилась бы с тобой всем, моя дорогая,— продолжала она, нервно расстегивая и застегивая мой пояс,— если бы я могла говорить только о себе, но ведь мне пришлось бы говорить и о моем муже; а теперь, когда я за ним замужем, по-моему, лучше не делать этого — ради него, ради тебя и ради меня. Я не хочу этим сказать, что нас с тобой что-то огорчило бы,— нет, нет! — я ни за что на свете не хочу, чтобы ты так думала. Но мне так хочется чувствовать себя совсем счастливой — ведь ты теперь снова со мной — и так хочется, чтобы ты была тоже счастлива! — Она внезапно умолкла и оглядела гостиную, в которой мы сидели.— Ах! — воскликнула она, всплеснув руками и радостно улыбаясь.— Вот еще вновь обретенный старый друг! Твой книжный шкаф, Мэриан, милый, старый шкаф из Лиммериджа! Как я рада, что ты привезла его! И этот ужасный, неуклюжий мужской зонтик, который ты всегда брала с собой на прогулки, если было пасмурно! Но главное — твое дорогое, умное смуглое лицо передо мной, как и прежде! В этой комнате я как будто опять дома. Как сделать, чтобы все здесь еще больше стало похоже на дом? Я перевешу портрет моего отца из моей комнаты в твою, Мэриан, и буду хранить здесь все маленькие сокровища из Лиммериджа. Каждый день мы подолгу будем сидеть здесь, в этих дружественных стенах. О Мэриан! — сказала она, садясь вдруг на маленькую скамеечку у моих ног и задумчиво глядя мне в лицо.— С моей стороны, эгоистично так говорить, но тебе гораздо лучше оставаться незамужней, если только... если только ты не полюбишь очень сильно своего будущего мужа. Но ты никогда, никого сильно не полюбишь, кроме меня, правда? — Она замолчала и положила голову на мои колени.— Ты написала много писем и получила много ответных писем за последнее время? — спросила она глухо, упавшим голосом, не поднимая лица. Я поняла, к кому от-

носился этот вопрос, но сочла своим долгом не поощрять ее к дальнейшим разговорам на эту тему и молчала.— Что слышно от него? — продолжала она, целуя мои руки.— Он здоров и счастлив и продолжает работать? Оправился ли он и не забыл ли меня?

Ей не следовало бы задавать подобные вопросы. Ей следовало бы помнить о решении, принятом ею в то утро, когда сэр Персиваль принудил ее не расторгать помолвку с ним и когда она навсегда передала в мои руки альбом с рисунками Хартрайта. Но, увы, где тот безупречный человек, который никогда не изменяет своим добрым намерениям и не отступает от раз принятого решения? Где та женщина, которая действительно спо-

собна вырвать из своего сердца образ того, кого по-настоящему любит? В книгах пишут, что такие совершенные люди есть, но что говорит нам собственный опыт?

Я не пыталась увещевать ее,— может быть, оттого, что мне искренне понравилось ее бесстрашное чистосердечие, открывавшее мне то, что многие женщины постарались бы утаить даже от самой близкой подруги, а может быть, оттого, что, будь я на ее месте, я задала бы тот же вопрос и так же не забыла бы любимого. Я могла только честно ответить ей, что не писала ему и ничего не получала от него за последнее время, и перевела разговор на менее опасную тему. Весь этот разговор опечалил меня — наш первый откровенный разговор с ней со дня ее приезда. Перемена в наших отношениях, ибо нас навсегда разделяет запрещенная тема, в первый раз за всю нашу жизнь; грустная уверенность в отсутствии всякого теплого чувства, всякой душевной близости между нею и ее мужем, в чем убедило меня ее нежелание говорить об этом; печальное открытие, что несчастная привязанность все еще живет глубоко в ее сердце (пусть и самым безгрешным, самым невинным образом),— всего этого было бы достаточно, чтобы опечалить любую другую женщину, любящую ее и сочувствующую ей так же горячо, как и я.

Меня утешает только одно, несмотря ни на что. Утешает и успокаивает. Прелесть и кротость ее характера, ее способность горячо любить, нежное женское обаяние, которое делало ее любимицей и отрадой всех, кто к ней приближался,— все это по-прежнему ей присуще. Я склонна сомневаться в правильности остальных моих впечатлений. В этом — самом счастливом, самом лучшем — я убеждаюсь все больше и больше с каждым часом.

Вернемся теперь к ее спутникам. Первым, кому я уделю внимание, будет ее муж. Что заметила я такого в сэре Персивале со времени его приезда, чтобы мое мнение о нем улучшилось?

Не знаю, что сказать. По-видимому, какие-то мелкие неприятности и огорчения ожидали его здесь, и, конечно, ни один человек при таких обстоятельствах не мог проявить себя в наивыгоднейшем свете. По-моему, за время своего отсутствия он похудел. Его утомительный

кашель и неприятная суетливость еще больше усилились. Его манеры, особенно его обращение со мной, стали гораздо суше. В тот вечер, когда они вернулись, он поздоровался со мной совсем не так учтиво, как прежде,— ни любезного приветствия, ни выражения искренней радости. При виде меня — ничего, кроме короткого рукопожатия и отрывистого: «Здрасте, мисс Голкомб, рад видеть вас». Он относится ко мне, по-видимому, как к одной из принадлежностей Блекуотер-Парка: я на своем месте и он может не обращать на меня никакого внимания.

У большинства мужчин характер яснее всего выявляется в домашней обстановке — и сэр Персиваль, оказывается, одержим настоящей манией чистоты и порядка, чего я в нем раньше не замечала. Если я беру книгу в библиотеке и оставляю ее потом на столе, он идет за мной следом и водружает книгу обратно на полку. Если я встаю со стула и оставляю его стоять там, где сидела, он спешит поставить стул на место у стены. Поднимая с ковра цветочные лепестки, он ворчит что-то себе под нос, как будто это горячие угли, прожегшие дыры в ковре. Он обрушивается на слуг, если заметит морщинку на скатерти или если обеденный стол недостаточно тщательно сервирован,— накидывается на слуг с такой яростью, будто они нанесли ему личное оскорбление!

Я уже упомянула о разных заботах, по-видимому одолевших его со времени его приезда. Неприятная перемена, которую я в нем заметила, может быть, является следствием этих забот. Я стараюсь уверить себя в этом, потому что очень хочу не огорчаться и не терять веры в будущее. После долгого отсутствия любому человеку в минуту возвращения было бы неприятно встретиться с досадными затруднениями. А с сэром Персивалем это произошло на моих глазах.

В тот вечер, когда они приехали, домоправительница пошла за мной в холл, чтобы встретить хозяина с хозяйкой и их гостей. Как только сэр Персиваль увидел ее, он сразу же спросил, не заходил ли кто за последнее время. Домоправительница сказала ему, как и мне накануне, о визите какого-то постороннего джентльмена, заходившего узнать, когда хозяин вернется. Сэр Персиваль сейчас же

осведомился о фамилии этого человека. Джентльмен не назвал себя. По какому делу? Он не объяснил этого. Как он выглядел? Домоправительница пыталась описать его, но не заметила в его наружности никаких особых примет, по которым ее хозяин мог бы его узнать. Сэр Персиваль нахмурился, сердито топнул ногой и прошел в комнаты, не обращая внимания ни на кого из присутствующих. Почему он так расстроился из-за такого пустяка, не знаю — знаю только, что он действительно серьезно расстроился.

В общем, я лучше воздержусь составлять свое мнение о его характере и поведении, пока его заботы, каковы бы они ни были, не рассеются. Ибо сейчас он втайне, конечно, терзается ими. Я переверну страницу и до поры до времени оставлю мужа Лоры в покое.

Дальше следуют двое гостей — граф и графиня Фоско. Сначала я опишу графиню, чтобы поскорее от нее отделаться.

Лора ничего не преувеличила, когда написала мне, что я с трудом узна́ю ее тетку, когда снова с ней встречусь. Я никогда еще не видела, чтобы супружеская жизнь так изменила женщину, как изменила она мадам Фоско.

Будучи Элеонорой Фэрли, тридцати семи лет от роду, она всегда болтала всякий вздор и отравляла жизнь несчастных мужчин теми мелкими капризами и придирками, какими тщеславная и пустая женщина способна терзать многотерпеливую мужскую половину человечества. Став графиней Фоско, сорока трех лет, она часами молчит, сидя на одном месте в каком-то странном оцепенении. Безобразные, смешные локоны, бывало свисавшие по обе стороны ее лица, превратились теперь в мелкие коротенькие завитушки, которые обрамляют ее лицо наподобие старинного парика. На голове ее возвышается почтенный чепец — и впервые за всю свою жизнь она выглядит настоящей светской дамой. Никто (конечно, за исключением ее собственного мужа) не видит теперь того, что мог раньше лицезреть каждый,— я говорю о структуре женского скелета, в частности о верхней его половине и плечевых суставах. В черных или серых наглухо закрытых платьях, которые раньше смешили бы ее или возмущали, смотря по настроению, она безмолвно

восседает в кресле где-нибудь в уголке; ее сухие белые руки — такие сухие и белые, что кажутся сделанными из мела,— непрерывно заняты либо монотонным вышиванием, либо изготовлением нескончаемых маленьких пахитосок для графа. В те редкие мгновения, когда ее холодные голубые глаза отрываются от работы, обычно они устремлены на мужа покорно и вопросительно, с выражением, напоминающим взгляд преданной собаки. Единственный признак какого-то внутреннего тепла, который я сумела различить под ее ледяным внешним покровом, проявлялся два или три раза в виде глухой звериной ревности к мужу. Она способна ревновать его

к любой женщине в доме (включая горничных), с которой разговаривает граф или на которую граф глядит, хотя сам и не проявляет при этом никакого особого внимания или заинтересованности. За исключением этого намека на «душевную теплоту», утром, днем и вечером, в доме и вне дома, в хорошую и плохую погоду она холодна, как статуя, и непроницаема, как мрамор, из которого статуя сделана. С точки зрения общественной пользы необычайная перемена, происшедшая в ней, является, несомненно, переменой к лучшему, ибо превратила ее в вежливую, молчаливую, сдержанную женщину, которая никому не мешает. Какой она стала в действительности — лучше или хуже,— это другой вопрос. Я несколько раз замечала такое выражение в ее поджатых губах и такую интонацию в ее бесстрастном голосе, что, мне кажется, в теперешнем укрощенном состоянии она затаила в себе нечто опасное, тогда как раньше, когда она жила по своей воле, это находило себе выход. Возможно, я ошибаюсь. Но по-моему, я права. Увидим.

А чародей, сотворивший это волшебное превращение,— муж-иностранец, укротивший эту когда-то своенравную англичанку до такой степени, что даже ее ближайшие родственники с трудом ее узнают,— а сам граф? Что сказать о нем?

Вкратце: он выглядит как человек, который мог бы укротить кого угодно. Если бы вместо женщины он женился на тигрице, он укротил бы тигрицу. Если бы женился на мне, я крутила бы ему пахитоски, как это делает его жена, и держала бы язык за зубами, как она под его повелительным взглядом.

Мне чуть-чуть страшно признаться в этом даже здесь, на этих страницах. Этот человек заинтересовал меня, привлек меня, понравился мне. За два коротких дня он снискал мое благосклонное расположение, а как он сотворил это чудо, я, право, не могу сказать.

Меня очень удивляет, что сейчас, когда я думаю о нем, я так ясно вижу его перед собой! Гораздо более ясно, чем сэра Персиваля, или мистера Фэрли, или Уолтера Хартрайта, или кого угодно из отсутствующих, за исключением одной только Лоры! Голос его звучит в моих ушах, как будто он говорит со мной в эту минуту. Как описать его? В его наружности, одежде, поведении

есть особенности, которые я самым решительным образом осудила бы или безжалостно высмеяла в любом другом человеке. Почему же я не могу ни осудить, ни высмеять этого в нем?

Например, он чрезвычайно толст. До этого толстяки никогда мне не нравились. Я считала всеобщее мнение о добродушии толстяков таким же ошибочным, как и то, что только добродушные люди могут стать толстыми. Как будто прибавка в весе имеет благотворное влияние на характер человека! Я неизменно спорила с этим утверждением, приводя в пример толстых людей, которые были коварны, жестоки и порочны, как самые тощие и худосочные из их современников. Я спрашивала: можно ли считать Генриха VIII[1] добродушным? Или папу Александра VI[2] хорошим человеком? Разве супруги-убийцы Маннинги не были чудовищно толстыми? А деревенские кормилицы, которые берут младенцев «на выкорм»,— ведь их жестокость вошла в поговорку у нас в Англии, а они в огромном своем большинстве толстухи! И так далее, и тому подобное. Сотни примеров — древних и современных, среди чужеземцев и земляков, среди знатных и простолюдинов. Придерживаясь таких взглядов, я, к своему великому изумлению, должна признаться, что граф Фоско, толстый, как сам Генрих VIII, завоевал мою благосклонность в один день, несмотря на свою устрашающую тучность. Это поразительно. Может быть, его лицо так располагает к себе?

Возможно. Он удивительно похож на прославленного Наполеона, только в увеличенных размерах. У него безукоризненно правильные наполеоновские черты лица. По величественному спокойствию и непреклонной силе оно напоминает лицо великого солдата. Сначала на меня, безусловно, произвело впечатление это замечательное сходство, но, помимо этого, что-то в его лице поразило меня еще сильнее. Пожалуй, его глаза. Это самые бездонные серо-стальные глаза, которые я когда-либо видела. Подчас они сверкают ослепительным, но холодным блеском, неотразимо приковывая к себе и одновременно вызывая во мне ощущения, которые я предпочла бы не испытывать.

[1] Генрих VIII (1491—1547) английский король с 1509 года, из династии Тюдоров. Был необычайно жесток и тучен.

[2] Папа Александр VI (1431—1503) — глава католической церкви с 1492 года. Отличался коварством и жестокостью.

В лице его есть некоторые странные особенности. Кожа у него матово-бледная, с желтоватым оттенком, разительно не соответствующая темно-каштановому цвету его волос. Я сильно подозреваю, что он носит парик. На гладко выбритом лице его меньше морщин, чем на моем, хотя, по словам сэра Персиваля, ему около шестидесяти лет. Но не это отличает его, с моей точки зрения, от всех остальных мужчин, которых я видела. Присущая ему особенность, выделяющая его из ряда обыкновенных людей, всецело заключается, насколько я могу сейчас об этом судить, в необыкновенной выразительности и необычайной силе его глаз.

Его изысканные манеры и блестящее знание английского языка, возможно, тоже помогли ему утвердиться в моем хорошем мнении. Слушая женщину, он спокойно-почтителен и внимателен, на его лице отражается искреннее удовольствие. Когда он говорит о чем-либо с женщиной, в голосе его звучат мягкие, бархатные интонации, перед которыми, что бы мы ни говорили, трудно устоять. Он великолепно владеет английским языком, и это, бесспорно, способствует его обаянию и является одним из его неопровержимых достоинств. Мне часто приходилось слышать о необыкновенной способности итальянцев усваивать наш сильный, жесткий северный язык; но до знакомства с графом Фоско мне никогда не верилось, чтобы какой-нибудь иностранец мог владеть английским языком так блестяще, как владеет им он. Временами трудно поверить, что он не наш соотечественник, настолько в его произношении отсутствует иностранный акцент; что касается беглости, то найдется немного англичан, которые говорили бы по-английски так свободно и красноречиво, как граф. Иногда в построении его фраз есть что-то неуловимо иностранное, но я еще никогда не слышала, чтобы он употребил неправильное выражение или затруднился в выборе подходящего слова.

Все повадки этого странного человека имеют в себе нечто своеобразно-оригинальное и ошеломляюще противоречивое. Несмотря на свою тучность и преклонный возраст, он движется необыкновенно легко и свободно. У него бесшумная походка, как у некоторых женщин. Кроме того, хотя он производит впечатление по-настоящему сильного и умного человека, он так же чувстви-

телен, как самая слабонервная женщина. Он вздрагивает от резкого звука так же непроизвольно, как и Лора. Он так вздрогнул и отшатнулся вчера, когда сэр Персиваль ударил одну из собак, что мне стало стыдно за собственное хладнокровие и бесчувственность.

Кстати, это напоминает мне еще об одной любопытной черте его характера — о его необыкновенной любви к ручным животным.

Кое-кого из своих любимцев ему пришлось оставить на континенте, но с собой он привез хохлатого какаду, двух канареек и целый выводок белых мышей. Он сам заботится обо всем необходимом для своих питомцев и, завоевав их любовь, полностью приручил их. Какаду, чрезвычайно злой и коварный со всеми окружающими, по-видимому, просто влюблен в своего хозяина. Когда граф выпускает его из клетки, какаду скачет у него на коленях, потом карабкается вверх по его могучему туловищу и чешет клюв о двойной подбородок графа с самым ласковым видом. Стоит графу распахнуть дверцу клетки канареек и позвать их, как прелестные, умные, дрессированные пичужки бесстрашно садятся ему на руку и, когда, растопырив свои толстенные пальцы, он командует им: «Все наверх!», канарейки, заливаясь во все горло, с восторгом скачут с пальца на палец, пока не добираются до большого. Его белые мыши живут в пестро расписанной пагоде — красивой, большой клетке из тонких железных прутьев, которую он сам придумал и смастерил. Мыши почти такие же ручные, как канарейки, и тоже постоянно бегают на свободе. Они лазают по всему его телу, высовываются из-под его жилета и сидят белоснежными парочками на его широких плечах. По-видимому, больше всего он любит своих белых мышей, предпочитая их остальным своим любимцам. Он улыбается им, целует их и называет всякими ласкательными именами. Если бы только можно было предположить, что у какого-либо англичанина были бы такие же детские склонности и вкусы, он, конечно, стыдился бы этого и скрывал свою слабость от всех. Но граф, по-видимому, не находит ничего особенного в поразительном контрасте между колоссальностью своей фигуры и миниатюрностью своих ручных зверушек. Если бы графу пришлось быть в компании английских охотников на крупного зверя, он, наверно, невозмутимо ласкал бы при них своих белых мышей и чирикал со своими канарейками, а если бы охотники стали потешаться над его вкусами, он отнесся бы к ним со снисходительной жалостью, искренне считая их варварами.

Казалось бы, это совершенно несовместимо, но на самом деле это именно так, как я пишу: граф, привязанный к своему какаду, как старая дева, справляющийся со своими белыми мышами с ловкостью шарманщика, вре-

менами, когда какой-нибудь вопрос заинтересует его, способен высказывать такие независимые мысли, так прекрасно знаком с литературой разных стран, так хорошо знает светское общество всех столиц Европы, что мог бы стать влиятельной фигурой в любом уголке нашего цивилизованного мира. Сей дрессировщик канареек и строитель пагод для белых мышей является, как сказал мне сам сэр Персиваль, одним из виднейших современных химиков-экспериментаторов. Среди других удивительных открытий, которые им сделаны, есть, например, такое: он изобрел средство превращать тело умершего человека в камень, чтобы оно сохранялось до скончания веков.

Этот толстый, ленивый, пожилой человек, чьи нервы так чувствительны, что он вздрагивает от резкого звука и отшатывается при виде того, как бьют собаку, на следующее утро после своего приезда пошел на конюшенный двор и положил руку на голову цепного пса, такого свирепого, что даже грум, который его кормит, боится подходить к нему близко. Жена графа и я присутствовали при этом. Я не скоро позабуду эту короткую сцену.

— Осторожней с собакой, сэр,— сказал грум,— она на всех бросается!

— Потому и бросается, друг мой,— спокойно возразил граф,— что все ее боятся. Посмотрим, бросится ли она на меня.— И он положил свою толстую желтовато-белую руку, на которой десять минут назад сидели канарейки, на огромную голову чудовища, глядя ему прямо в глаза. Его лицо и собачья морда были на расстоянии вершка друг от друга.— Вы, большие псы, все трусы,— сказал он презрительно.— Ты способен загрызть бедную кошку, жалкий трус. Ты способен броситься на голодного нищего, жалкий трус. Ты набрасываешься на всех, кого можешь застать врасплох, на всех, кто боится твоего громадного роста, твоих злобных клыков, твоей кровожадной пасти! Ты мог бы задушить меня в один миг, презренный, жалкий задира, но не смеешь даже посмотреть мне в лицо, ибо я тебя не боюсь. Может быть, ты передумаешь и попробуешь вонзить клыки в мою толстую шею? Ба! Куда тебе! — Он повернулся спиной к собаке, смеясь над изумлением окружающих, а пес с поджатым хвостом смиренно пополз в свою

конуру — О, мой бедный жилет! — патетично сказал граф.— Как жаль, что я пришел сюда! Слюна этого задиры испачкала мой красивый жилет.

Эти слова относятся к еще одному из его непонятных чудачеств. Он любит одеваться со страстью отъявленного щеголя и за два дня в Блекуотер-Парке появлялся уже в четырех великолепных жилетах — пышных, ярких и невероятно широких даже для него.

Его такт и находчивость в мелочах так же примечательны, как и странная непоследовательность его характера и детская наивность некоторых его вкусов и склонностей

Я уже убедилась, что он хочет установить самые дружеские отношения со всеми нами на время своего пребывания в этом доме По-видимому, он понял, что Лора не любит его (как она сама призналась мне в этом), но он заметил, что она очень любит цветы. Он ежедневно подносит ей букетик, собранный и составленный им самим, и забавляет меня тем, что всегда имеет про запас другой букетик, совершенно такой же, для своей ледяной и ревнивой супруги, чтобы умиротворить ее прежде, чем она успеет обидеться. Стоит посмотреть, как он ведет себя с графиней на глазах у окружающих! Он отвешивает ей поклоны, называя ее не иначе как «ангел мой», он подносит ей на пальцах своих канареек, чтобы они нанесли ей визит и спели ей песенку; когда жена подает ему пахитоски, он целует ей руки; он угощает ее марципанами и игриво кладет их прямо ей в рот из бонбоньерки, которую постоянно носит с собой в кармане. Стальная плеть, с помощью которой он держит ее в подчинении, никогда не появляется при свидетелях — это домашняя плеть, и хранится она наверху, в его комнатах.

Со мной, чтобы завоевать мое расположение, он ведет себя совершенно иначе. Он льстит моему самолюбию, разговаривая со мной так серьезно и глубокомысленно, словно я мужчина. Да! Я вижу его насквозь, когда его нет поблизости. Я понимаю, когда думаю о нем здесь, в моей собственной комнате, что он совершенно сознательно льстит мне. Но стоит мне сойти вниз и очутиться в его обществе, как он снова обводит меня вокруг пальца, и я польщена, будто вовсе и не видела его насквозь до этого. Он умеет справляться со мной

так же, как умеет справляться со своей женой и Лорой, с овчаркой на конюшенном дворе, как ежечасно в течение целого дня справляется с самим сэром Персивалем. «Персиваль, дорогой мой! Я в восторге от вашего грубого английского юмора!», «Дорогой Персиваль, как вы радуете меня вашей трезвой английской рассудительностью!». Так парирует он самые грубые выходки сэра Персиваля, направленные против его изнеженных вкусов,— всегда называя баронета по имени, улыбаясь ему с невозмутимым превосходством, милостиво похлопывая его по плечу и относясь к нему, как благосклонный отец — к своенравному сыну.

Этот оригинальный человек так заинтересовал меня, что я расспросила сэра Персиваля о его прошлом.

Сэр Персиваль или не хочет рассказывать, или действительно мало о нем знает. Много лет назад он познакомился с графом в Риме при обстоятельствах, о которых я уже упоминала однажды. С тех пор они постоянно виделись в Лондоне, Париже, Вене, но никогда больше не встречались в Италии. Как это ни странно, сам граф уже много лет не бывал у себя на родине. Может быть, он жертва какого-нибудь политического преследования? Во всяком случае, он из патриотизма старается не терять из виду ни одного из своих соотечественников, живущих в Англии. В тот же вечер, как он приехал, он спросил, как далеко мы находимся от ближайшего города и не проживает ли там какой-нибудь иностранец.

Он поддерживает обширную переписку с разными лицами на континенте; на конвертах, адресованных ему, самые разнообразные марки. Сегодня утром в столовой у его прибора я видела конверт с большой государственной печатью. Может быть, он состоит в переписке со своим правительством? Если так, то это не вяжется с моим первым предположением о том, что, возможно, он политический эмигрант.

Как много я написала о графе Фоско! А каков итог? — как спросил бы меня с невозмутимо-деловым видом наш бедный, славный мистер Гилмор. Могу только повторить, что даже за это кратковременное знакомство я почувствовала какую-то странную, непонятную мне самой и, пожалуй, неприятную для меня притягательную силу графа. Он как будто приобрел надо мной влияние,

подобное тому, какое, по-видимому, имеет на сэра Персиваля. Сэр Персиваль, как я заметила, явно боится обидеть графа, хотя иногда позволяет себе вольности и подчас грубости по отношению к своему другу. Может быть, я тоже побаиваюсь графа? Конечно, мне еще никогда не приходилось видеть человека, которого я бы так не хотела иметь своим врагом, как графа. Оттого ли, что он мне нравится, или оттого, что я его боюсь? Chi sa? — как сказал бы граф Фоско на своем родном языке. Кто знает?

16 июня

Сегодня мне есть что записать, помимо собственных мыслей и впечатлений. Приехал гость — ни Лора, ни я не знаем, кто он, и, по-видимому, сэр Персиваль никак не ожидал его визита.

Мы все сидели за завтраком в комнате с новыми окнами, которые, следуя французской моде, открываются, как двери, на веранду.

Граф, пожиравший пирожные с аппетитом юной школьницы, только что рассмешил всех нас, попросив с самым глубокомысленным видом передать ему четвертое по счету пирожное, когда вошел слуга с докладом о посетителе:

— Мистер Мерримен приехал, сэр Персиваль, и просит вас немедленно принять его.

Сэр Персиваль вздрогнул и посмотрел на слугу с сердитым беспокойством.

— Мистер Мерримен? — повторил он, как будто не веря своим ушам.

— Да, сэр Персиваль, мистер Мерримен, из Лондона.

— Где он?

— В библиотеке, сэр Персиваль.

Он сейчас же встал из-за стола и вышел, не сказав нам ни слова.

— Кто этот мистер Мерримен? — спросила Лора, обращаясь ко мне.

— Понятия не имею,— вот все, что я могла сказать ей в ответ.

Граф покончил со своим пирожным и отошел к столику у окна, чтобы полюбоваться на своего злобного какаду. С птицей на плече он повернулся к нам.

— Мистер Мерримен — поверенный сэра Персиваля,— произнес он спокойно.

Поверенный сэра Персиваля. Это был совершенно прямой ответ на заданный Лорой вопрос, но в данном случае этот ответ далеко не удовлетворил нас. Если бы мистер Мерримен явился по приглашению своего клиента, в его визите не было бы, конечно, ничего удивительного. Но когда поверенный приезжает в Хемпшир из Лондона без вызова и когда его появление сильно озадачивает его клиента, то, очевидно, поверенный привез какие-то неожиданные и важные известия — возможно, плохие, возможно, хорошие, но, безусловно, из ряда вон выходящие.

Лора и я молча просидели за столом еще с четверть часа, беспокоясь и поджидая возвращения сэра Персиваля. Он все не приходил, и мы встали, чтобы уйти.

Граф, неизменно внимательный, направился к нам из глубины комнаты, где он кормил своего какаду, по-прежнему восседавшего у него на плече, чтобы распахнуть перед нами двери. Лора и мадам Фоско вышли первые. Только я хотела пойти вслед за ними, как он подал мне знак остановиться и заговорил со мной с каким-то странным видом.

— Да,— сказал он, как бы спокойно отвечая на мои собственные мысли,— да, мисс Голкомб, что-то действительно случилось!

Я хотела было ответить: «Я ничего подобного не говорила», но злой какаду взъерошил свои крылья и испустил такой крик, что нервы мои не выдержали, и я была рада возможности немедленно покинуть комнату.

У лестницы я догнала Лору. Граф Фоско догадался, о чем думала я. Лора думала о том же самом, и слова ее прозвучали как эхо на его слова. Она тихонько шепнула мне с испуганным видом, что, наверно, что-то случилось.

III

16 июня

Мне хочется прибавить еще несколько строк к описанию сегодняшнего дня, прежде чем я лягу спать.

Часа через два после того, как сэр Персиваль покинул столовую, чтобы принять в библиотеке своего поверенного

мистера Мерримена, я вышла из своей комнаты, собираясь погулять в парке. Когда я была у лестницы, дверь из библиотеки открылась и оттуда вышел гость в сопровождении хозяина дома. Чтобы не мешать им своим появлением, я решила подождать и не спускаться вниз, пока они не пройдут через холл. Они говорили друг с другом приглушенными голосами, но их слова отчетливо доносились до меня.

— Успокойтесь, сэр Персиваль,— услышала я голос поверенного.— Все будет зависеть от леди Глайд.

Я была готова вернуться на несколько минут обратно в мою комнату, но, услыхав имя Лоры в устах чужого человека, я остановилась.

Подслушивать, конечно, скверно и постыдно, но найдется ли хоть одна-единственная женщина из всех нас, которая руководствовалась бы всегда абстрактными принципами чести, когда эти принципы указывают в одну сторону, а ее привязанность и заинтересованность, вытекающая из этой привязанности,— в противоположную?

Да! Я подслушивала, и при подобных же обстоятельствах подслушивала бы снова, даже если бы для этого пришлось приложить ухо к замочной скважине.

— Вы понимаете, сэр Персиваль,— продолжал поверенный,— леди Глайд должна подписаться в присутствии свидетеля или двух свидетелей, если вы хотите принять особые предосторожности. Затем она должна приложить руку к печати и произнести вслух: «Это мое сознательное действие, и я скрепляю его своей подписью». Если это будет проделано на этой неделе, все прекрасно уладится и все тревоги останутся позади. Если же нет...

— Что вы хотите этим сказать? — сердито перебил его сэр Персиваль.— Если это необходимо, это будет сделано. Я вам это обещаю, Мерримен.

— Прекрасно, сэр Персиваль. Но все деловые вопросы можно решать двояко, и мы, юристы, должны предусматривать это. Если по какой-нибудь непредвиденной случайности нельзя будет сделать то, о чем мы с вами условились, думаю, что сумею уговорить их не предъявлять вексель еще месяца три. Но откуда мы достанем денег, когда срок истечет?..

— К черту векселя! Деньги можно достать только

одним путем, и повторяю вам — этим путем я их и достану. Выпейте стакан вина на дорогу, Мерримен.

— Очень вам благодарен, сэр Персиваль, я боюсь опоздать на поезд и не могу терять ни минуты. Вы дадите мне знать, как только уладите это дело? И не забудете предосторожности, о которых я вам говорил?

— Конечно, нет!.. Вот и ваша двуколка у подъезда. Мой грум одним духом отвезет вас на станцию. Садитесь скорей... Бенджамин, неситесь во весь опор! Если мистер Мерримен опоздает на поезд, вы у меня больше не служите. Держитесь крепче, Мерримен, и, если двуколка опрокинется, будьте уверены, что дьявол спасет своего подручного! — С этим прощальным благословением баронет повернулся на каблуках и пошел обратно в библиотеку.

Я услышала немного, но слова, долетевшие до моих ушей, очень встревожили меня. Что-то случилось, и это было, очевидно, сопряжено с серьезными денежными затруднениями, а выручить сэра Персиваля могла одна Лора. Меня ужаснуло, что она будет замешана в тайные махинации своего мужа. Возможно, я преувеличиваю все это по неопытности в делах и из-за моего инстинктивного недоверия к сэру Персивалю. Вместо того чтобы идти на прогулку, я немедленно пошла рассказать Лоре обо всем услышанном.

Меня даже удивило, с каким равнодушием она выслушала мои неприятные новости. По-видимому, она знает больше, чем я предполагала, о характере своего мужа и о его делах.

— Я боялась именно этого,— сказала она,— когда услышала о человеке, который заходил сюда до нашего приезда и не пожелал назвать себя.

— Кто же это был, как ты думаешь? — спросила я.

— Очевидно, кто-то, кто имеет серьезные претензии к сэру Персивалю,— отвечала она.— Наверно, он же был причиной и сегодняшнего визита мистера Мерримена.

— Ты знаешь, что это за претензии?

— Нет, никаких подробностей я не знаю.

— Ты ничего не подпишешь, прежде чем не прочитаешь, Лора?

— Конечно, нет, Мэриан. Я сделаю все, что могу, чтобы честно и никому не причиняя этим вреда выручить его.

Сделаю это для того, дорогая моя, чтобы мы с тобой могли в дальнейшем жить легко и спокойно. Но я не сделаю ничего, если это будет непонятным или внушающим сомнения — таким, за что в будущем в один прекрасный день нам с тобой пришлось бы краснеть. Давай не будем больше говорить об этом. Ты в шляпе — пойдем помечтаем в саду?

Выйдя из дому, мы сразу же направились в тень.

Проходя под деревьями, окружавшими дом, мы увидели графа Фоско, медленно прогуливавшегося под палящими лучами июньского солнца. На нем была соломенная шляпа с большими полями, окаймленная лиловой лентой. Голубая блуза, затейливо вышитая на груди, облегала его огромное тело и там, где человеку полагается иметь талию, была перехвачена широким красным сафьяновым поясом. На нем были шаровары с такой же вышивкой у щиколоток, как на блузе, и красные восточные сафьяновые туфли. Он пел знаменитую арию Фигаро из «Севильского цирюльника», с руладами, воспроизводить которые может только горло итальянца, и аккомпанировал себе на концертино, широко разводя руками и грациозно покачивая в такт головой, и был похож на толстую святую Цецилию, переодетую в мужское платье. «Фигаро тут, Фигаро там»,— пел граф, весело вскидывая концертино и приветствуя нас с воздушной грацией и изяществом двадцатилетнего Фигаро.

— Поверь мне, Лора, этому человеку кое-что известно о затруднениях сэра Персиваля,— сказала я, когда мы с безопасного расстояния ответили на приветствие графа.

— Почему ты так думаешь? — спросила она.

— Откуда же он знает, что мистер Мерримен — поверенный сэра Персиваля? — отозвалась я.— К тому же, когда я выходила следом за тобой из столовой, граф сам сказал мне, не дожидаясь моего вопроса, что что-то случилось. Будь уверена, он знает больше нас.

— Только не спрашивай его ни о чем! Не доверяй ему.

— По-видимому, он тебе совсем не нравится, Лора. Чем заслужил он твою неприязнь?

— Ничем, Мэриан. Напротив, он был воплощением любезности и внимания на нашем пути домой и не-

сколько раз даже останавливал вспышки раздражения сэра Персиваля, подчеркивая этим свое хорошее отношение ко мне. Может быть, он не нравится мне оттого, что имеет сильное влияние на моего мужа. Может быть, мое самолюбие страдает оттого, что я обязана его заступничеству. Знаю одно: он мне действительно не нравится.

Остаток дня и вечер прошли вполне благополучно. Граф и я играли в шахматы. Он вежливо дал мне выиграть первые две партии, но в третьей партии, когда понял, что я его раскусила, в течение десяти минут нанес мне полное поражение, предварительно испросив прощения. Сэр Персиваль ни разу за весь вечер не упомянул о визите своего поверенного. Но либо этот визит, либо что-то другое сильно изменили его к лучшему. Он был так любезен и учтив со всеми нами, как бывал когда-то в Лиммеридже. С женой он был настолько ласков и предупредителен, что даже ледяная графиня Фоско оживилась и несколько раз поглядывала на него со строгим недоумением.

Что это значит?

Мне кажется, я понимаю, в чем дело: боюсь, что и Лора догадывается; и я уверена, что граф Фоско не только догадывается, но определенно знает, что это значит.

Я подметила украдкой, что сэр Персиваль не раз в течение вечера взглядом искал его одобрения.

17 июня

День событий. Горячо надеюсь, что не день бедствий к тому же.

За завтраком, так же как и накануне вечером, сэр Персиваль ни словом не обмолвился о таинственном «деловом вопросе» (как выразился поверенный), который ему предстояло разрешить. Однако через час он вдруг вошел в будуар, где мы с его женой, в шляпах, ждали мадам Фоско, чтобы отправиться вместе на прогулку, и осведомился, где граф.

— Мы скоро его увидим,— сказала я.

— Дело в том,— сказал сэр Персиваль, нервно расхаживая по комнате,— что Фоско и его жена нужны мне для одной пустячной формальности. Я попрошу вас, Лора, зайти на минуту в библиотеку.— Он остановился и, казалось, только сейчас заметил, что мы одеты для про-

гулки.— Вы только что пришли,— спросил он,— или собираетесь уходить?

— Мы хотели пойти на озеро,— сказала Лора.— Но если у вас есть другие предложения...

— Нет-нет,— поспешно ответил он,— мои дела могут подождать. Не все ли равно, когда заняться ими — сейчас или после прогулки. Итак, все идут к озеру? Хорошая мысль. Проведем утро в безделье — я тоже пойду с вами.

На словах он, казалось, был готов, вопреки своему обычаю, уступить желаниям других, но его манеры и выражение лица выдавали его. Он, очевидно, был рад любому предлогу, чтобы отложить выполнение этой «пустячной формальности», о которой он сам только что упомянул. Сердце мое упало, когда я пришла к этому неизбежному выводу.

В это время граф и его жена присоединились к нам. В руках у графини был вышитый табачный кисет ее супруга и папиросная бумага для его нескончаемых пахитосок. Граф, в блузе и соломенной шляпе, нес с собой веселую клетку-пагоду с белыми мышами и улыбался как им, так и нам с неотразимым благодушием.

— С вашего любезного разрешения,— сказал граф,— я возьму эту семейку — моих маленьких, миленьких, кротких мышек — проветриться вместе с нами. В доме есть собака — могу ли я оставить моих бедных белых детишек на милость собаки? Ах, никогда!

Он по-отечески прочирикал что-то через прутья пагоды своим белым детишкам, и мы вышли из дому.

В парке сэр Персиваль отделился от нас. Одна из особенностей его беспокойного характера — всегда уединяться и в одиночестве вырезывать для себя палки. По-видимому, ему нравится строгать и резать все, что попадается ему под руку. Дом наполнен сверху донизу его палками, он никогда не пользуется ими дважды. Погуляв с новой палкой, он теряет к ней всякий интерес и занимается вырезыванием новой.

В старой беседке он снова присоединился к нам. Когда мы все уселись, у нас завязался разговор, который я постараюсь записать сейчас дословно. С моей точки зрения, это весьма знаменательный разговор. После него я начала сознательно опасаться влияния графа Фоско на мои мысли и представления и твердо

решила ни в коем случае не поддаваться в будущем этому влиянию.

Беседка оказалась достаточно вместительной для всех нас, но сэр Персиваль предпочел остаться у порога, где он обстругивал свою очередную палку. Мы, трое женщин, удобно расположились на широкой скамье. Лора занялась вышиванием, а мадам Фоско начала крутить пахитоски. Я, по обыкновению, ничего не делала. Мои руки были и, наверно, навсегда останутся такими же неумелыми, как и мужские. Граф добродушно сел на стул, слишком маленький для него,— он ухитрился поместиться на нем, опираясь спиной на стенку беседки, которая потрескивала и кряхтела под его тяжестью. Он поставил пагоду к себе на колени и, как обычно, выпустил мышек побегать по его груди и плечам. Это хорошенькие, безвредные, маленькие зверушки, но, по-моему, есть что-то отталкивающее в том, как они лазают по человеческому телу. Меня мороз подирает по коже от этого зрелища, и в голову мне приходят пренеприятные мысли об узниках, умирающих в темницах, где эти существа могут беспрепятственно ползать по ним.

Утро было облачное и ветреное. Озеро выглядело сегодня особенно диким, угрюмым и мрачным от непрестанной смены света и тени на его зеркальной глади.

— Некоторым людям все это кажется живописным,— сказал сэр Персиваль, указывая вдаль своей недоструганной палкой,— а я считаю это пятном на дворянском поместье. Во времена моих предков озеро доходило до этого места. Поглядите-ка на него теперь! В нем нет и четырех футов глубины, и все оно состоит из больших и малых луж. Мне хотелось бы иметь достаточно средств, чтобы осушить его и засадить деревьями. Мой управитель, суеверный идиот, убежден, что над этим озером висит проклятие, как над мертвым морем. Что вы думаете по этому поводу, Фоско? Подходящее место для убийства, а?

— Мой добрый Персиваль,— строго возразил граф,— где ваш английский здравый смысл? Вода слишком мелка, чтобы покрыть мертвое тело, и повсюду песок, на котором отпечатаются следы преступника. В общем, это самое неподходящее место для убийства, которое когда-либо попадалось мне на глаза.

— Вздор,— сказал сэр Персиваль, яростно строгая

палку.— Вы знаете, что я хочу сказать. Угрюмый вид, безлюдье. Если вы хотите — вы поймете меня, если нет — я не стану пояснять вам мою мысль.

— Почему нет? — спросил граф.— Ведь вашу мысль можно пояснить в двух словах. Если бы убийство задумал глупец, он счел бы ваше озеро подходящим местом для этого. Если бы убийство задумал мудрец, он счел бы ваше озеро самым неподходящим местом для убийства. Вот смысл ваших слов. Если это то самое, о чем вы думали, я просто добавил необходимые пояснения. Примите их, Персиваль, вместе с благословением вашего добряка Фоско.

Лора подняла глаза на графа. На ее лице явно отразилась неприязнь к нему. Но он был так занят своими мышами, что не заметил ее взгляда.

— Мне жаль, что вид озера наводит на такую страшную мысль,— сказала она.— И если граф Фоско разделяет убийц по категориям, я считаю, что он делает это в весьма неподходящих выражениях. Называть их глупцами — значит относиться к ним со снисходительностью, которой они не заслуживают. Называть их мудрецами нельзя, ибо в этом есть глубокое противоречие. Я всегда слышала: воистину мудрые люди — добрые люди, и преступление им ненавистно.

— Дорогая моя леди,— сказал граф,— это великолепные сентенции, и я видал подобные заголовки в школьных учебниках.— Он поднял на ладони одну из своих белых мышек и начал презабавно разговаривать с ней.— Моя хорошенькая атласная мышка-плутишка,— сказал граф,— вот вам урок морали. Воистину мудрая мышь — это воистину добрая мышь. Так и передайте, пожалуйста, вашим подружкам и до конца дней ваших не смейте грызть прутья вашей клетки.

— Можно высмеять все что угодно,— продолжала отважно Лора,— но вам нелегко будет, граф, указать мне пример, когда мудрец стал бы преступником.

Граф пожал своими широченными плечами и улыбнулся Лоре с подкупающей приветливостью.

— Совершенно верно! — сказал он.— Преступление глупца всегда бывает раскрыто. Преступление мудреца остается навсегда нераскрытым. Если бы я мог указать вам пример — значит, преступление совершил не мудрец. Дорогая леди Глайд, ваш английский здравый смысл мне

не по плечу. Мне сделали шах и мат на этот раз. Правда, мисс Голкомб?

— Не сдавайтесь, Лора! — насмешливо воскликнул сэр Персиваль, который слушал у порога.— Скажите ему еще, что всякое преступление неизменно бывает раскрыто... Вот вам еще кусочек морали из детского учебника, Фоско. Все преступления неизменно бывают раскрыты. Какая дьявольская чушь!

— Я верю в это,— спокойно сказала Лора.

Сэр Персиваль залился таким злобным и неистовым хохотом, что мы все удивленно оглянулись на него. Больше всех, казалось, удивился граф.

— Я тоже верю в это,— сказала я, приходя Лоре на помощь.

Сэр Персиваль, так безотчетно хохотавший над замечанием своей жены, казалось, рассердился на мои слова. Он яростно ударил по песку своей новой палкой и быстро пошел от нас прочь.

— Бедняга Персиваль! — воскликнул граф Фоско, с улыбкой глядя ему вслед.— Он жертва английского сплина. Но, мои дорогие мисс Голкомб и леди Глайд, вы в самом деле верите, что преступление всегда бывает раскрыто?.. А вы, мой ангел? — обратился он к своей жене, молчавшей все это время.— Вы тоже так считаете?

— Я жду, пока мне объяснят,— отвечала графиня ледяным и укоризненным тоном, предназначенным для Лоры и меня.— Я жду, прежде чем отважусь высказать собственное мнение в присутствии таких высокообразованных джентльменов.

— Вот как, графиня! — заметила я.— Я помню, как когда-то вы боролись за права женщин, а ведь женская свобода мнений была одним из этих прав!

— Мне интересно знать, каково ваше мнение, граф? — продолжала мадам Фоско, невозмутимо крутя пахитоски и не обращая на меня ни малейшего внимания.

Граф задумчиво гладил пухлым мизинцем одну из своих белых мышек и ответил не сразу.

— Просто удивительно,— сказал он,— как легко общество скрывает худшие из своих погрешностей с помощью трескучих, громких фраз. Механизм, созданный для раскрытия преступления, крайне убог и жалок, однако

стоит только выдумать крылатое словцо, что все обстоит благополучно, как все готовы слепо этому поверить, все сбиты с толку. Преступление всегда бывает раскрыто, да? И убийство всегда бывает наказано? Моральные сентенции! Спросите следователей, ведущих дознание, так ли это, леди Глайд. Спросите председателей обществ страхования жизни, правда ли это, мисс Голкомб. Почитайте ваши газеты. Среди тех немногих происшествий, которые попадают в газеты, разве нет отдельных случаев, когда убитые найдены, а убийцы не обнаружены? Помножьте преступления, о которых пишут, на те, о которых не пишут, и найденные мертвые тела на ненайденные мертвые тела — к какому выводу вы придете? А вот к какому: есть глупые убийцы — их ловят, и есть умные убийцы — они неуловимы. Что такое скрытое и раскрытое преступление? Состязание в ловкости между полицией, с одной стороны, и отдельной личностью — с другой. Если преступник — примитивный, грубый дурак, полиция в девяти случаях из десяти выигрывает. Если преступник — хладнокровный, образованный, умный человек, полиция в девяти случаях из десяти проигрывает. Если полиция выиграла состязание, вас об этом широко оповещают. Если нет, вам об этом не сообщают. И вот на этом шатком фундаменте вы строите вашу удобную высоконравственную формулу, что преступление всегда бывает раскрыто. Да! Те преступления, о которых вам известно. А остальные?

— Чертовски правильно — и хорошо сказано! — воскликнул голос у входа в беседку.

Сэр Персиваль обрел свое душевное равновесие и вернулся к нам в то время, как мы слушали графа.

— Возможно, кое-что и правильно. Возможно, и недурно сказано. Но мне непонятно, почему граф Фоско с таким восторгом прославляет победу преступника над обществом и почему вы, сэр Персиваль, так горячо аплодируете ему за это,— заметила я.

— Слышите, Фоско? — спросил сэр Персиваль.— Послушайте моего совета и поскорее соглашайтесь с вашими слушательницами. Скажите им, что Добродетель — превосходная вещь, это им понравится, смею вас уверить.

Граф беззвучно захохотал, трясясь всем телом; две

белые мыши, сидевшие на его жилете, стремглав кинулись вниз и, дрожа от ужаса, забились в свою пагоду.

— Наши дамы, мой дорогой Персиваль, расскажут мне про Добродетель,— сказал он.— В этом вопросе авторитетом являются они, а не я. Они знают, что такое Добродетель, а я — нет.

— Вы слышите? — сказал сэр Персиваль.— Ужасно, не правда ли?

— Это правда,— спокойно сказал граф.— Я — гражданин мира, и в свое время мне пришлось встретиться с таким количеством различного рода добродетелей, что к старости я затрудняюсь, какую из них признать за истинную. Здесь, в Англии, добродетельно одно, а там, в Китае, добродетельно совершенно другое. Джон Буль — англичанин говорит, что его добродетель истинная, а Джон-китаец уверяет, что истинна его, китайская, добродетель. А я говорю «да» одному и «нет» другому, но все равно не могу разобраться, прав ли Джон Буль в сапогах или китаец с косичкой... Ах, мышка, милая моя крошка, иди поцелуй меня! А с твоей точки зрения, кто является воистину добродетельным человеком, моя красотка? Тот, кто держит тебя в тепле и кормит досыта. Правильная точка зрения, ибо она по крайней мере общедоступна.

— Подождите минутку, граф,— вмешалась я.— Согласитесь, что у нас в Англии, во всяком случае, есть одно несомненное достоинство, которого нет в Китае. Китайские императорские власти казнят тысячи невинных людей под малейшим предлогом, мы же в Англии неповинны в массовых казнях, мы не совершаем этого страшного преступления — нам от всего сердца ненавистно безрассудное кровопролитие.

— Правильно, Мэриан! — сказала Лора.— Хорошая мысль, хорошо высказанная.

— Прошу вас, разрешите графу продолжать,— строго сказала мадам Фоско.— Вы поймете, молодые леди, что граф никогда не говорит о чем-либо, не имея на то веских оснований.

— Благодарю вас, ангел мой,— отозвался граф.— Хотите бомбошку? — Он вынул из кармана хорошенькую инкрустированную коробочку, открыл ее и поставил на стол.— Шоколад à la vanille! — воскликнул этот непостижимый человек, весело потряхивая бонбоньерку и от-

вешивая всем поклоны.— Дань Фоско прелестному обществу добродетельных дам.

— Будьте добры, продолжайте, граф! — сказала его жена, злобно взглянув на меня.— Сделайте мне одолжение, ответьте мисс Голкомб.

— Утверждение мисс Голкомб неоспоримо,— отозвался учтивый итальянец.— Да! Я с ней согласен. Джону Булю ненавистны преступления китайцев. Джон Буль — самый зрячий из старых джентльменов, когда дело касается сучка в глазах у соседей, и самый слепой, когда дело касается бревна в собственном глазу. Он предпочитает не замечать того, что происходит у него под носом. Лучше ли он тех, кого осуждает? Английское общество, мисс Голкомб, столь же часто соучастник преступления, как и враг преступления. Да, да! Ни в одной другой стране преступление не является тем, чем оно является в Англии. Оно служит здесь на пользу обществу столь же часто, как и наносит ему вред. Крупный мошенник содержит целую семью. Чем хуже он, тем сочувственнее вы относитесь к его жене и детям. Беспутный, разнузданный мот, без конца занимающий деньги направо и налево, вытянет у своих друзей больше, чем безупречно честный человек, решившийся попросить взаймы один раз за всю свою жизнь в крайней нужде. В первом случае никто не удивится и все дадут денег, во втором случае все удивятся и вряд ли дадут в долг. Разве тюрьма, в которую заточен в конце своей карьеры преступник, хуже работного дома, где кончает свои дни честный человек? Мистер Благотворитель, желающий облегчить нищету, ищет ее по тюрьмам и помогает преступникам, он не интересуется лачугами, где ютятся честные бедняки. А этот английский поэт, завоевавший признание и всеобщую симпатию, с необыкновенной легкостью воспевший свои трогательные переживания,— кто он? Милый молодой человек начал свою карьеру с подлога и кончил жизнь самоубийством. Я говорю о вашем дорогом, романтичном, симпатичном Чаттертоне[1]. Как по-вашему, кто из двух бедных, полуголодных портних преуспеет в жизни: та ли, что, не поддаваясь искушению, остается честной, или та, что соблазнилась легкой наживой и начала воровать? Вы все будете знать, что она

[1] Чаттертон Томас (1752—1770) — английский поэт

разбогатела нечестным путем — это будет известно всей доброй, веселой Англии,— но она будет жить в довольстве, нарушив заповедь, а умерла бы с голоду, если бы не нарушила ее... Поди сюда, моя славная мышечка! Гей, беги быстрей! На минутку я превращу тебя в добродетельную даму. Сиди тут на моей огромной ладони и слушай! Предположим, ты, мышка, вышла замуж за бедняка, по любви,— и вот половина твоих друзей осуждает тебя, а половина тебя жалеет. Теперь наоборот: ты продала себя за золото и обвенчалась с человеком, которого не любишь,— и все твои друзья в восторге! Священник освящает гнуснейшую из всех человеческих сделок и благодушно улыбается за твоим столом, если ты любезно пригласишь его отобедать. Гей, беги скорей! Стань мышью снова и пискни в ответ. Оставаясь добродетельной дамой, ты еще, пожалуй, заявишь мне, что обществу ненавистно преступление, и тогда, мышка, я начну сомневаться, есть ли у тебя глаза и уши... О, я плохой человек, леди Глайд, ведь так? У меня на языке то, что у других на уме, и, в то время как все остальные сговорились принимать маску за настоящее лицо, моя рука грубо срывает жалкую личину и не боится обнажить для всеобщего обозрения голый страшный череп. Пожалуй, для того, чтобы не пасть в ваших глазах, мне следует встать на свои огромные ножищи и пойти прогуляться. Дорогие дамы, как сказал ваш славный Шеридан[1], «я ухожу и оставляю вам на память свою репутацию».

Он поднялся, поставил пагоду на стол и начал пересчитывать своих мышей.

— Одна, две, три, четыре... Ха! — вскричал он в ужасе.— Куда девалась пятая, самая юная, самая белая, самая прелестная — мой перл среди белых мышек?

Ни Лора, ни я не были расположены в эту минуту к веселью. Развязный цинизм графа открыл нам в его характере новые черты, ужаснувшие нас. Но нельзя было смотреть без смеха на комичное отчаяние этого колоссального человека при исчезновении малюсенькой мыши. Мы невольно рассмеялись. Мадам Фоско встала, чтобы выйти из беседки и дать своему мужу возможность оты-

[1] Шеридан Ричард Бринсли (1751—1816) — знаменитый английский драматург. Вышеприведенная фраза взята из его комедии «Школа злословия».

скать его драгоценную пропажу; мы поднялись вслед за ней.

Не успели мы сделать и трех шагов, как зоркие глаза графа обнаружили мышь под скамейкой, где мы сидели. Он отодвинул скамью, взял маленькую беглянку на руки и вдруг замер, стоя на коленях и уставившись на пятно, темневшее на полу.

Когда он поднялся на ноги, руки его так дрожали, что он с трудом засунул мышку в пагоду, лицо его было мертвенно-бледным.

— Персиваль! — позвал он шепотом.— Персиваль, подите сюда!

Сэр Персиваль в течение последних нескольких минут не обращал на нас ни малейшего внимания. Он был всецело поглощен тем, что своей новой палкой рисовал на песке какие-то цифры, а затем стирал их.

— В чем дело? — небрежно спросил он, входя в беседку.

— Вы ничего не видите? — сказал граф, хватая его за руки и указывая вниз, туда, где он нашел мышь.

— Вижу — сухой песок,— отвечал сэр Персиваль,— с грязным пятном посередине.

— Это не грязь,— прошептал граф, хватая сэра Персиваля за шиворот и не замечая, что от волнения трясет его.— Это кровь!

Лора, стоявшая достаточно близко, чтобы расслышать это последнее слово, с ужасом взглянула на меня.

— Пустяки, моя дорогая,— сказала я,— пугаться совершенно не следует. Это кровь одной приблудной собаки.

Все вопросительно уставились на меня.

— Откуда вы это знаете? — спросил сэр Персиваль, заговорив первый.

— В тот день, когда вы вернулись из-за границы, я нашла здесь собаку,— отвечала я.— Бедняга заблудилась, и ее подстрелил лесник.

— Чья это была собака? — спросил сэр Персиваль.— Одна из моих?

— Ты пробовала спасти ее? — серьезно спросила Лора.— Ты, конечно, хотела спасти ее, Мэриан?

— Да,— сказала я.— Мы с домоправительницей сделали всё, что могли, но собака была смертельно ранена и сдохла на наших глазах.

— Чья же это была собака? — с легким раздражением переспросил сэр Персиваль.— Одна из моих?

— Нет.

— Тогда чья же? Домоправительница знает?

В эту минуту я вспомнила слова домоправительницы, что миссис Катерик просила не говорить сэру Персивалю о ее визите в Блекуотер-Парк, и хотела было уклониться от ответа. Но это возбудило бы ненужные подозрения — отступать было поздно. Мне оставалось только отвечать, не раздумывая над последствиями.

— Да,— сказала я.— Домоправительница узнала собаку. Она сказала мне, что это собака миссис Катерик.

До этой минуты сэр Персиваль стоял в глубине беседки, а я отвечала ему с порога. Но как только с моих губ слетело имя миссис Катерик, он грубо оттолкнул графа и подошел ко мне.

— Каким образом домоправительница узнала, что это собака миссис Катерик? — спросил он, глядя на меня исподлобья так пристально и угрюмо, что я удивилась и рассердилась.

— Она узнала ее,— спокойно ответила я.— Миссис Катерик приводила собаку с собой.

— Приводила с собой? Куда?

— К нам, сюда.

— Какого черта нужно было здесь миссис Катерик?

Тон, которым он задал этот вопрос, был гораздо оскорбительнее, чем его слова. Я молча отвернулась от него, давая ему понять, что считаю его невежливым.

В это время тяжелая рука графа успокоительно легла на плечо сэра Персиваля, и благозвучный голос графа умоляюще произнес:

— Дорогой Персиваль! Тише! Тише!

Сэр Персиваль резко обернулся к нему. Граф только улыбнулся в ответ и повторил успокоительно:

— Тише, друг мой, тише!

Сэр Персиваль с минуту постоял в нерешительности, сделал несколько шагов ко мне и, к моему великому изумлению, извинился передо мной.

— Прошу прощения, мисс Голкомб! — сказал он.— Мои нервы не в порядке в последнее время; боюсь, что я стал немного раздражителен. Но мне хотелось бы знать,

зачем миссис Катерик понадобилось приходить сюда? Когда это было? Кто, кроме домоправительницы, видался с нею?

— Никто, по-моему,— отвечала я.

Граф вмешался снова.

— Почему бы не спросить об этом домоправительницу? — сказал он.— Вам следует обратиться к первоисточнику, Персиваль.

— В самом деле! — сказал сэр Персиваль.— Конечно, надо первым долгом расспросить именно ее. Глупо, что я сам не догадался об этом.— С этими словами он сейчас же отправился домой, не дожидаясь нас.

Как только сэр Персиваль повернулся к нам спиной, я поняла причину вмешательства графа. Он забросал меня вопросами о миссис Катерик и о цели ее прихода в Блекуотер, чего не мог бы сделать в присутствии своего друга. Я отвечала ему очень вежливо, но сдержанно, ибо твердо решила держаться как можно дальше от графа Фоско и не пускаться с ним ни в какие откровенности. Однако Лора неумышленно помогла ему — она стала задавать мне вопросы сама. Мне пришлось отвечать ей. Через несколько минут граф знал о миссис Катерик все, что знала я, узнал он также и о тех событиях, которые таким странным образом связывали нас с ее дочерью Анной после того, как Хартрайт с ней встретился.

Мои сведения, казалось, произвели на него сильное впечатление.

По-видимому, он совершенно ничего не знал об Анне Катерик и о ее истории, несмотря на свою близость с сэром Персивалем и знакомство со всеми другими его делами. Я убеждена теперь, что сэр Персиваль скрыл тайну Анны Катерик даже от своего лучшего друга, поэтому ее история стала для меня еще более непонятной и подозрительной.

Граф с жадным любопытством вслушивался в каждое мое слово. Любопытство бывает разное; на этот раз на лице графа я видела любопытство, смешанное с неподдельным изумлением.

Обмениваясь вопросами и ответами, мы все вместе мирно брели обратно через лесок. Первое, что мы увидели, подойдя к дому, была двуколка сэра Персиваля. Она стояла у подъезда; грум в рабочей куртке держал лошадь под уздцы. Судя по всему, допрос домоправительницы привел к неожиданным и важным результатам.

— Прекрасный конь, друг мой! — сказал граф, обращаясь к груму с подкупающей фамильярностью.— Кто будет править? Вы?

— Я не поеду, сэр,— отвечал грум, поглядывая на свою рабочую куртку и, очевидно, думая, что иностранный джентльмен принял ее за кучерскую ливрею.— Мой хозяин будет править сам.

— Ага! — сказал граф.— Он будет править сам? Вот как? Не понимаю, зачем ему это нужно, когда вы можете править за него. Верно, он собирается утомить эту гладкую, красивую лошадь, отправляясь в дальний путь?

— Не знаю, сэр,— отвечал грум.— Лошадь эта — кобыла, с позволения вашей милости. Это самая быстроходная кобыла на нашей конюшне, сэр. Ее зовут Рыжая Молли, она может бежать без устали. На короткие расстояния сэр Персиваль обычно берет Исаака Йоркского.

— А на дальние — вашу красивую Рыжую Молли?

— Да, сэр.

— Логический вывод, мисс Голкомб,— сказал граф, весело поворачиваясь ко мне,— сэр Персиваль уезжает сегодня далеко.

Я ничего не ответила. Я пришла к своему собственному выводу, и мне не хотелось делиться им с графом Фоско.

Когда сэр Персиваль был в Кумберленде, думала я про себя, он отправился в далекую прогулку на ферму Тодда из-за Анны. Очевидно, и теперь он готов ехать из Хемпшира в Уэлмингтон из-за Анны, чтобы расспросить о ней миссис Катерик.

Мы вошли в дом. Когда мы проходили через холл, сэр Персиваль поспешно вышел к нам навстречу из библиотеки. Он был бледен и взволнован, но, несмотря на это, чрезвычайно любезно обратился к нам.

— Я очень сожалею, что мне приходится уезжать — далеко, по неотложным делам,— начал он.— Завтра утром я постараюсь вернуться, но до отъезда мне хотелось бы покончить с той пустячной формальностью, о которой я вам уже говорил. Лора, не пройдете ли вы в библиотеку? Это не займет и минуты. Графиня, разрешите побеспокоить вас тоже. Вас, Фоско, и графиню я попрошу только засвидетельствовать подпись, вот и все. Пойдемте сейчас же и покончим с этим.

Он распахнул перед ними двери библиотеки и, войдя последним, закрыл их за собой.

С минуту я постояла в холле с бьющимся сердцем, с тяжелым предчувствием. Потом я подошла к лестнице и медленно поднялась наверх, в свою комнату.

IV

17 июня

Только я хотела открыть дверь в свой будуар, как услышала снизу голос сэра Персиваля.

— Я должен попросить вас спуститься к нам, мисс Голкомб,— сказал он.— Это вина Фоско, я ни при чем. Он выдвигает какие-то нелепые возражения против того, чтобы его жена была свидетельницей, и заставил меня просить вас присоединиться к нам в библиотеке.

Я вошла туда вместе с сэром Персивалем. Лора ждала у письменного стола, тревожно теребя в руках свою соломенную шляпу. Мадам Фоско сидела в кресле подле нее, невозмутимо любуясь своим мужем, который стоял в глубине комнаты, ощипывая засохшие листья с цветов на подоконнике.

Как только я появилась в дверях, граф направился ко мне, чтобы объяснить, в чем дело.

— Ради бога, извините, мисс Голкомб. Вы знаете, что говорят англичане о моих соотечественниках? В представлении Джона Буля мы, итальянцы, лукавые и недоверчивые люди. Считайте, что я не лучше остальных моих земляков. Я лукавый и недоверчивый итальянец. Вы сами так думали, моя дорогая леди, не правда ли? Ну, так вот — в силу своего лукавства и недоверчивости я возражаю, чтобы мадам Фоско расписывалась как свидетельница под подписью леди Глайд, когда я являюсь свидетелем тоже.

— Нет ни малейших оснований для его возражения,— вмешался сэр Персиваль.— Я уже объяснил ему, что по английским законам мадам Фоско имеет право засвидетельствовать подпись одновременно со своим мужем.

— Пусть так,— продолжал граф.— Законы Англии говорят «да», но совесть Фоско говорит «нет».— Он

растопырил толстые пальцы на груди своей блузы и торжественно отвесил нам поклон, как бы знакомя каждого из нас со своей совестью.— Я не знаю и не желаю знать, что из себя представляет документ, который собирается подписывать леди Глайд,— продолжал он,— но говорю только — в будущем может случиться, что сэру Персивалю или его представителям придется ссылаться на своих двух свидетелей. В таком случае было бы желательно, чтобы эти два лица были людьми, не зависящими друг от друга, имеющими свои собственные взгляды, чего не может быть, если моя жена будет свидетельницей одновременно со мной, ибо у нас с ней одинаковый взгляд на вещи — мой. Я не допущу, чтобы в один прекрасный день мне заявили, что мадам Фоско действовала под моим давлением, по принуждению, и потому фактически вовсе не является свидетельницей. В интересах самого Персиваля я предлагаю, чтобы свидетелями были: я, как его ближайший друг, и мисс Голкомб, как ближайшая подруга его жены. Можете считать меня иезуитом, если вам нравится, придирой и педантом, мелочным и капризным человеком, но, милостиво принимая во внимание мою итальянскую недоверчивость, будьте снисходительны к моей щепетильной итальянской совести.— Он снова отвесил поклон и отступил на несколько шагов, как бы удаляя свою совесть из нашего общества столь же вежливо, как и знакомил нас с нею.

Щепетильность графа была, возможно, достойна всяческой похвалы и уважения, но что-то в его манерах усилило мою неохоту быть замешанной в это дело с подписями. *Если бы все это не имело отношения к* Лоре, ничто не могло бы заставить меня согласиться быть свидетельницей. Но при виде ее взволнованного лица я решила, что лучше пойти на какой угодно риск, чем оставить ее без поддержки.

— Я охотно останусь здесь,— сказала я,— и, если у меня не найдется повода для придирок, можете положиться на меня как на свидетельницу.

Сэр Персиваль посмотрел на меня пронизывающим взглядом, как бы желая что-то сказать. Но его внимание отвлекла мадам Фоско. Графиня поднялась с кресла, уловив взгляд, брошенный ей мужем. Очевидно, ей приказывали покинуть комнату.

— Оставайтесь, не уходите,— сказал сэр Персиваль.

Мадам Фоско взглядом испросила приказаний, получила их, сказала, что предпочитает удалиться, и хладнокровно ушла. Граф зажег пахитоску, вернулся к цветам на подоконнике и занялся их окуриванием, глубоко озабоченный уничтожением тли.

Тем временем сэр Персиваль отпер нижний ящик одного из книжных шкафов и вынул оттуда лист пергамента, сложенный в несколько раз. Он положил его на стол, отогнул последнюю складку, а остальное крепко придерживал рукой. Перед нами была чистая полоса пергамента с небольшими отметинами для проставления печати. Все, что там было написано, находилось в свернутой части документа, которую он придерживал рукой. Лора и я поглядели друг на друга. Она была бледна, но на лице ее не было ни колебаний, ни страха.

Сэр Персиваль окунул перо в чернила и подал его своей жене.

— Вы подпишите ваше имя вот здесь,— сказал он, указывая ей на надлежащее место,— затем подпишитесь вы, мисс Голкомб, и вы, Фоско,— напротив этих двух отметин. Подите сюда, Фоско! Подпись не засвидетельствуешь, мечтая у окна и окуривая цветы.

Граф бросил свою пахитоску и присоединился к нам, небрежно засунув руку за свой красный пояс и пристально глядя в лицо сэру Персивалю. Лора с пером в руках тоже глядела на своего мужа. Сэр Персиваль стоял между ними, опершись на сложенный пергамент, лежавший на столе, и бросал на меня такие зловещие и вместе с тем смущенные взгляды, что выглядел скорей как преступник за решеткой, чем как джентльмен в своем собственном доме.

— Подписывайтесь здесь,— повторил он, быстро оборачиваясь к Лоре и снова указывая на пергамент.

— Что именно я должна подписать? — спокойно спросила она.

— Мне некогда объяснять,— отвечал он.— Двуколка у подъезда, мне надо ехать. К тому же, даже если бы у меня было время, вы все равно ничего не поняли бы. Это чисто формальный документ, с разными юридическими терминами и тому подобными вещами. Ну, скорей! Подпишите ваше имя, и поскорей покончим с этим.

— Но ведь мне надо знать, что именно я подписываю, сэр Персиваль, прежде чем проставить свое имя.

— Ерунда! Какое отношение имеют женщины к делам? Повторяю вам — вы все равно ничего не поймете.

— Во всяком случае, дайте мне возможность попытаться понять. Когда мистеру Гилмору надо было, чтобы я подписалась под чем-нибудь, он всегда заранее объяснял мне, для чего это нужно, и я его всегда понимала.

— Полагаю, что он так и делал. Он был вашим служащим и был обязан давать вам объяснения. Я ваш муж и не обязан делать этого. Вы намерены еще долго задерживать меня? Я вам снова повторяю: читать все это сейчас нет времени — двуколка у подъезда и я спешу. Да подпишетесь ли вы наконец или нет?

Она все еще держала перо в руках, но не решалась подписываться.

— Если моя подпись обязывает меня к чему-то,— сказала она,— согласитесь, что я имею право узнать, в чем состоит мое обязательство.

Он схватил пергамент и сердито стукнул им по столу.

— Ну, говорите начистоту! — вскричал он.— Вы всегда отличались правдивостью. Не беда, что здесь мисс Голкомб и Фоско. Скажите прямо, что не доверяете мне!

Граф вынул руку из-за пояса и положил ее на плечо сэру Персивалю. Тот раздраженно стряхнул ее. Граф с невозмутимым спокойствием снова положил руку ему на плечо.

— Сдержите ваш необузданный нрав, Персиваль,— сказал он.— Леди Глайд права.

— «Права»! — вскричал сэр Персиваль.— Жена права, не доверяя своему мужу!

— Несправедливо и жестоко обвинять меня в недоверии к вам,— сказала Лора.— Спросите у Мэриан, не права ли я, желая узнать, к чему обязывает меня подпись, прежде чем подписаться.

— Я не потерплю никаких обращений к мисс Голкомб! — оборвал ее сэр Персиваль.— Мисс Голкомб не имеет к этому никакого отношения.

Пока что я молчала и предпочла бы молчать и дальше. Но Лора повернулась ко мне с таким страдальческим выражением на лице, а поведение ее мужа было настолько несправедливым, что ради нее я решила высказаться.

— Простите, сэр Персиваль,— сказала я,— но смею думать, я имею некоторое отношение ко всему этому, как один из свидетелей. Я считаю возражение Лоры совершенно обоснованным. Что касается меня, я не могу взять на себя ответственность засвидетельствовать ее подпись, прежде чем она не поймет, что за документ она подписывает.

— Хладнокровное заявление, клянусь честью! — крикнул сэр Персиваль.— В следующий раз, когда вы навяжетесь в чей-нибудь дом, мисс Голкомб, советую вам помнить, что хозяину дома не платят за гостеприимство, становясь на сторону его жены в делах, которые вас не касаются!

Я вскочила на ноги, как будто он меня ударил. Если бы я была мужчиной, я сбила бы его с ног и тут же оставила бы его дом, чтобы никогда, ни под каким видом больше сюда не возвращаться. Но я была всего только женщиной и я так горячо любила его жену!

Слава богу, эта горячая любовь помогла мне сдержаться, и я молча опустилась на стул. Лора поняла, как мне было больно, поняла, как трудно мне было сдержаться. Она подбежала ко мне со слезами на глазах.

— О Мэриан,— тихо шепнула она,— если бы моя мать была жива, она не смогла бы сделать для меня больше, чем ты!

— Вернитесь и подпишите! — крикнул сэр Персиваль из-за стола.

— Подписаться? — шепнула она мне на ухо.— Я сделаю, как ты скажешь.

— Нет,— отвечала я.— Правда на твоей стороне. Ничего не подписывай, прежде чем не прочитаешь.

— Идите сюда и подписывайтесь! — еще громче и яростнее закричал сэр Персиваль.

Граф, наблюдавший за Лорой и мной с неослабевающим вниманием, вмешался во второй раз.

— Персиваль,— сказал он,— я помню, что нахожусь в присутствии дам. Не забывайте и вы об этом, прошу вас.

Онемев от гнева, сэр Персиваль обернулся к нему. Крепкая рука графа медленно сжала его плечо, и спокойный голос графа тихо повторил:

— Будьте добры, не забывайте и вы об этом.

Они посмотрели друг на друга. Сэр Персиваль медленно высвободил свое плечо, медленно отвел глаза от взгляда графа, угрюмо посмотрел на документ, лежавший на столе, и заговорил с видом укрощенного зверя, но совсем не как человек, осознавший свою неправоту.

— Я никого не хотел обидеть,— сказал он.— Но упрямство моей жены вывело бы из терпения и святого. Я сказал ей, что это простая формальность,— чего еще ей нужно? Можете говорить все что угодно, но долг жены — не противоречить мужу. Я вас спрашиваю в последний раз, леди Глайд, подпишетесь вы или нет?

Лора подошла к столу и снова взяла в руки перо.

— Я подпишу с удовольствием,— сказала она.— Но относитесь ко мне как к разумному человеку. Мне все равно, какая бы жертва от меня ни потребовалась, лишь бы это никому не повредило и не привело ни к чему плохому...

— Кто требует от вас каких-то жертв? — прервал он ее с плохо сдерживаемым раздражением.

— Я хотела сказать,— продолжала она,— что я готова пойти на всевозможные уступки, только бы это не задевало мою честь. Если я не решаюсь поставить свое имя под документом, о котором совершенно не знаю, за что вы так сердитесь на меня? Мне горько, что вы относитесь к щепетильности графа Фоско гораздо снисходительнее, чем к моей.

Злополучный, хотя и вполне естественный намек на необыкновенное влияние, которое имел на него граф Фоско, окончательно вывел из себя сэра Персиваля.

— Щепетильность! — повторил он.— Ваша щепетильность! Вы поздно вспомнили о ней. Мне казалось, что вы покончили с подобными пустяками, когда возвели в добродетель необходимость выйти за меня замуж!

Как только он произнес эти слова, Лора отшвырнула перо, посмотрела на него с выражением, какого я никогда еще не видела на ее лице, и молча отвернулась от него.

Ее откровенное горькое презрение к нему было так не похоже на нее, так не в ее характере, что мы все замерли от изумления. В грубых словах ее мужа, очевидно, был какой-то скрытый смысл, понятный ей одной. В них

сквозило какое-то страшное оскорбление, непонятное для меня, но след его так ясно отразился на ее лице, что даже посторонний человек заметил бы это.

Граф, не будучи посторонним человеком, увидел все это так же явственно, как и я. Когда я встала, чтобы подойти к Лоре, я услышала, как он еле слышно шепнул сэру Персивалю:

— Вы глупец!

Лора направилась к двери, я последовала за ней, но в это время сэр Персиваль снова заговорил.

— Значит, вы положительно отказываетесь поставить свою подпись? — спросил он Лору упавшим голосом, как человек, осознавший, что зашел слишком далеко.

— После того, что вы сказали,— отвечала она твердо,— я отказываюсь подписываться, прежде чем не прочитаю этот документ от начала до конца... Пойдем, Мэриан, мы оставались здесь слишком долго.

— Одну минуту! — вмешался граф, не давая заговорить сэру Персивалю.— Одну минуту, леди Глайд, умоляю вас!

Лора готова была выйти из комнаты, не обращая на него внимания, но я остановила ее.

— Не делай графа своим врагом! — шепнула я ей.— Поступай, как хочешь, только не делай графа своим врагом!

Она послушалась меня. Я закрыла дверь, и мы остановились у порога. Сэр Персиваль сел за стол, облокотившись на пергамент и подперев кулаком голову. Граф, как хозяин положения, каким он бывал всюду и везде, стоял между ним и нами.

— Леди Глайд,— сказал он с мягкостью, которая скорее относилась к нашему злополучному положению, чем к нам самим,— прошу вас простить меня, если я осмелюсь внести одно предложение. Поверьте, что я делаю это только из глубокого уважения и искренней доброжелательности к хозяйке этого дома.— Он резко повернулся к сэру Персивалю.— Разве так уж необходимо,— сказал он,— чтобы эта вещь, на которую вы облокотились, была подписана сегодня?

— Это необходимо, ибо я так задумал и так хочу,— угрюмо отвечал тот.— Но эти соображения совершенно не влияют на леди Глайд, как вы могли заметить.

— Отвечайте прямо: можно отложить это дело до завтра? Да или нет?

— Да, если уж вам так хочется.

— Тогда зачем вы теряете время? Пусть подписи ждут до завтра, пока вы не вернетесь.

Сэр Персиваль с проклятием хмуро поднял на него глаза.

— Вы говорите со мной тоном, который мне не нравится,— сказал он.— Я не потерплю такого тона ни от кого.

— Я советую вам для вашей же пользы,— отвечал ему граф с улыбкой спокойного презрения.— Подождите немного и дайте подумать леди Глайд. Вы забыли, что двуколка ждет вас у подъезда? Мой тон удивил вас, да? Безусловно! Ибо это тон человека, умеющего держать себя в руках. Разве в свое время я не давал вам хороших советов? Вам и не сосчитать их. Бывал я когда-нибудь не прав? Ручаюсь, что вы не сможете назвать ни одного такого случая. Идите! Отправляйтесь в путь. Дело с подписями может подождать до завтра. Пусть ждет! Вы возобновите разговор об этом, когда вернетесь.

Сэр Персиваль заколебался и посмотрел на часы. Его желание поехать куда-то воскресло при словах графа и, по-видимому, боролось в нем с желанием заполучить подпись Лоры. С минуту он раздумывал, а потом встал со стула.

— Меня легко уговорить, когда мне некогда спорить,— сказал он.— Я последую вашему совету, Фоско, не потому, что я нуждаюсь в ваших советах или верю им, а просто потому, что не хочу дольше задерживаться...— Он помолчал и мрачно взглянул на жену: — Если вы не подпишетесь завтра!..

Он с грохотом открыл ящик и запер в нем пергамент Взяв со стола шляпу и перчатки, он шагнул к дверям. Лора и я отшатнулись, чтобы пропустить его.

— Запомните: завтра! — сказал он жене и вышел.

Мы подождали, пока он не пройдет через холл и не уедет. Граф подошел к нам, покуда мы стояли у двери.

— Вы только что видели Персиваля с самой худшей стороны, мисс Голкомб,— сказал он.— Как его старый друг, я жалею его, и мне за него стыдно. Как его старый

друг, я обещаю вам, что завтра он будет вести себя благопристойнее, чем сегодня.

Пока он говорил это, Лора выразительно пожала мне руку. Любой женщине было бы тяжело, если бы друг ее мужа просил за него прощения,— для нее это тоже было тяжелым испытанием. Я вежливо поблагодарила графа и увела ее. Да! Я поблагодарила его, ибо уже поняла с чувством неизъяснимого унижения и беспомощности, что из-за каприза или с какой-то целью, но он желал, чтобы я оставалась в Блекуотер-Парке. Я поняла: если граф не поможет мне своим влиянием на сэра Персиваля, мне придется уехать. Только благодаря влиянию этого человека, влиянию, которого я боялась больше всего, я могла быть подле Лоры в эти тягостные для нее минуты.

Когда мы вышли в холл, мы услышали грохот колес по гравию — сэр Персиваль умчался.

— Куда он поехал, Мэриан? — шепнула Лора.— Каждая новая его затея наполняет меня каким-то страшным предчувствием. Ты что-нибудь подозреваешь?

После того, что ей пришлось пережить сегодня, мне не хотелось говорить с ней о моих подозрениях.

— Откуда мне знать про его секреты? — отвечала я уклончиво.

— Может быть, домоправительница знает? — настаивала она.

— Конечно, нет,— отвечала я.— Она знает, вероятно, не больше нас.

Лора в раздумье покачала головой.

— Разве ты не слышала от домоправительницы, будто Анну Катерик видели где-то в наших местах? Как ты думаешь, может быть, он поехал ее искать?

— Право, Лора, мне хочется сейчас успокоиться и не думать об этом, а после того, что было сегодня, по-моему, и тебе лучше последовать моему примеру. Пойдем в мою комнату: отдохни и успокойся немного.

Мы сели вместе перед окном, чтобы душистый летний воздух освежил наши лица.

— Мне стыдно смотреть на тебя, Мэриан, после того, что ты сейчас пережила из-за меня,— сказала она.— Дорогая, меня душат слезы, как подумаю об этом! Но я постараюсь загладить его вину перед тобой, я постараюсь!

— Ш-ш! — возразила я.— Не говори так! Что значит моя пустячная обида по сравнению с твоим огорчением?

— Ты слышала, что он сказал мне? — продолжала она взволнованно.— Ты слышала слова, но ты не знаешь их смысла. Ты не знаешь, почему я отшвырнула перо и отвернулась от него.— Она встала и заходила по комнате.— Я многое скрыла от тебя, Мэриан, чтобы не огорчать тебя и не омрачать нашу встречу. Ты не знаешь, как он оскорблял меня. Но ты должна узнать об этом — ведь ты сама слышала, как он говорил со мной сегодня. Ты слышала, с какой насмешкой он отозвался о моей щепетильности, как он сказал, что мне было необходимо выйти за него замуж.— Она снова села, лицо ее вспыхнуло, она сжала руки.— Я не могу сейчас рассказывать тебе об этом,— сказала она.— Я разрыдаюсь, если буду рассказывать. Потом, Мэриан, потом, когда я успокоюсь. У меня болит голова, дорогая, болит, болит... Где твой флакон с нюхательной солью? Давай поговорим о тебе. Из-за тебя я жалею, что не подписалась. Не сделать ли это завтра? Все лучше, чем рисковать разлукой с тобой. Если я откажусь, он обвинит в этом тебя — ведь ты открыто стала на мою сторону. Что нам делать? О, кто бы нам помог и посоветовал! Если бы у нас был преданный друг!..

Она горько вздохнула. Я поняла по выражению ее лица, что она думала о Хартрайте, поняла это тем более ясно, что и сама думала о нем. Всего через полгода после ее замужества мы уже нуждались в преданной помощи, которую он предложил нам на прощанье. Как далека была я тогда от мысли, что эта помощь может нам когда-нибудь понадобиться!

— Мы должны постараться помочь себе сами,— сказала я.— Давай спокойно обсудим этот вопрос, Лора, и постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы прийти к правильному решению.

Сопоставив то, что было известно Лоре о затруднениях ее мужа, с тем, что я услышала из его разговора с поверенным, мы пришли к неизбежному выводу: документ в библиотеке был составлен с целью займа. Подпись Лоры была совершенно необходима сэру Персивалю для достижения этой цели. Но каким путем и откуда он мыслил добыть эти деньги, а также степень личной

ответственности Лоры, которую она принимала на себя, подписываясь под документом, не прочитав его содержания,— эти вопросы были за пределами нашего понимания, ибо ни одна из нас не разбиралась в делах и юридических тонкостях. Лично я была убеждена, что документ относился к какой-то весьма сомнительной, мошеннической сделке.

К этому заключению я пришла не потому, что сэр Персиваль не пожелал ни прочитать нам текста, ни объяснить содержание документа. Он мог поступить так из-за своей раздражительности и обычного своеволия. Сомнения в его честности возникли у меня, когда я увидела разительную перемену в его поведении и манерах в Блекуотер-Парке и убедилась в том, что он просто притворялся другим человеком во время своего сватовства в Лиммеридже. Его изысканный такт, его церемонная вежливость, которая так приятно гармонировала со старомодными взглядами мистера Гилмора, его скромная манера держать себя с Лорой, его благодушие со мной, его сдержанность с мистером Фэрли — все было притворством злого, коварного и грубого человека, сбросившего маску, как только он достиг своей цели. Сегодня в библиотеке он, уже не стесняясь, показал нам свое настоящее лицо. Я промолчу о горе, которое это открытие причинило мне из-за Лоры, ибо у меня нет слов выразить это горе. Я только объясняю, почему я решила воспротивиться тому, чтобы она подписывала документ, не познакомившись предварительно с его содержанием.

При этих обстоятельствах нам оставалось только категорически отказаться ставить свои подписи, приведя для этого достаточно твердые деловые основания, чтобы поколебать решение сэра Персиваля и дать ему понять, что мы, две женщины, разбираемся в законах и деловых обязательствах не хуже, чем он.

После некоторого размышления я решила написать единственному человеку, к которому мы могли обратиться за помощью в нашем безвыходном положении. Это был мистер Кирл, компаньон мистера Гилмора, заменявший нашего старого друга, вынужденного отказаться от дел и уехать из Лондона для поправки здоровья. Я объяснила Лоре, что сам мистер Гилмор рекомендовал мне своего компаньона как человека безупречной честности и вы-

держки, знающего подробно обо всех ее делах. С полного ее одобрения я сразу же села ему писать.

Я начала с того, что в точности описала мистеру Кирлу наше положение и попросила у него совета, ясного и простого, которому мы могли бы последовать, не боясь совершить какую-либо ошибку. Письмо мое было очень кратким, в нем не было ни ненужных извинений, ни ненужных подробностей.

Я собиралась уже подписывать адрес на конверте, когда Лора напомнила мне об одном обстоятельстве, о котором я не подумала раньше.

— Но каким образом мы получим ответ вовремя? — спросила она.— Твое письмо придет в Лондон завтра утром, а ответ мы получим послезавтра.

Получить ответ вовремя мы могли только в том случае, если поверенный пошлет нам свое письмо со специальным посыльным. Я объяснила все это в приписке и попросила, чтобы поверенный отправил к нам посыльного с одиннадцатичасовым утренним поездом. Таким образом, он мог быть завтра в Блекуотер-Парке самое позднее к двум часам пополудни Посыльный должен был отдать письмо лично мне в руки, ни в коем случае никому другому, и не вступать в лишние разговоры ни с кем из посторонних.

— Предположим, сэр Персиваль приедет завтра до двух часов,— сказала я Лоре.— Поэтому тебе лучше уйти с утра из дому с работой или с книгой и не появляться, пока посыльный не приедет. Я буду ждать его здесь, чтобы не произошло никаких недоразумений. Если мы примем все эти предосторожности, я надеюсь, нас не застигнут врасплох. А теперь пойдем вниз, в гостиную. Мы можем вызвать ненужные подозрения, если долго задержимся здесь.

— Подозрения? — повторила она.— Чьи подозрения, когда сэр Персиваль уехал? Ты говоришь о графе Фоско?

— Может быть, Лора.

— Он начинает тебе так же сильно не нравиться, как и мне, Мэриан.

— Нет, «не нравиться» — это не то слово. В этом слове всегда есть какая-то доля пренебрежения. Я отнюдь не испытываю пренебрежения к графу Фоско.

— Ты не боишься его, ведь нет?

— Может быть, и боюсь — немножко.

— Боишься его, после того как он заступился за нас сегодня!

— Да. Я боюсь его заступничества больше, чем гнева сэра Персиваля. Вспомни, что я тебе сказала в библиотеке, Лора. Поступай как хочешь, только не делай графа своим врагом!

Мы спустились вниз. Лора вошла в гостиную, а я направилась с письмом к почтовой сумке, висевшей в холле на стене у входных дверей.

Наружная дверь была открыта, мне пришлось пройти мимо нее. Граф Фоско и его жена стояли на ступеньках подъезда лицом ко мне и о чем-то разговаривали.

Графиня поспешно вошла в холл и попросила меня уделить ей несколько минут для конфиденциального разговора. Несколько удивленная подобной просьбой со стороны такой особы, я опустила в сумку свое письмо и ответила, что я к ее услугам. Она с непривычной задушевностью взяла меня под руку и, вместо того чтобы войти со мной в одну из пустых комнат, повела меня к газону, окружавшему водоем.

Когда мы проходили мимо графа, стоявшего на ступеньках, он с улыбкой отвесил нам поклон и сразу же вошел в холл, захлопнув за собой двери.

Графиня ласково водила меня вокруг водоема. Я ожидала от нее какого-нибудь необыкновенного сообщения. Но конфиденции мадам Фоско сводились всего только к выражению ее симпатии ко мне в связи с тем, что произошло в библиотеке. Муж рассказал ей обо всем, а также о наглой выходке сэра Персиваля. Она так расстроилась и огорчилась из-за меня и Лоры, что решила, если что-либо подобное повторится, высказать сэру Персивалю свое возмущение и покинуть его дом. Граф одобрил ее решение, а теперь она надеялась получить и мое одобрение.

Все это показалось мне чрезвычайно странным со стороны такой замкнутой и ледяной дамы, как графиня Фоско, особенно после тех резкостей, которыми мы обменялись утром в беседке. Но конечно, следовало отнестись вежливо и по-дружески к этому проявлению симпатии с ее стороны, тем более что она была старше меня. Поэтому я отвечала графине в ее тоне и, думая, что мы уже всё сказали друг другу, хотела вернуться домой.

Но мадам Фоско, видимо, не желала расставаться со

мной и, к моему удивлению, продолжала свои излияния. Будучи до этих пор самой молчаливой из женщин, она докучала мне теперь подробностями о своей замужней жизни, об отношениях сэра Персиваля к Лоре, о своем личном счастье, о поведении покойного мистера Фэрли в деле с завещанием и о тысяче разных разностей, пока не утомила меня вконец, задержав меня на полчаса или больше. Заметила ли она, что сильно надоела мне своими разговорами, или нет, не знаю, но она вдруг умолкла столь же неожиданно, как и разговорилась, посмотрела на входную дверь, мгновенно оледенела и выпустила мою руку прежде, чем я сама сумела от нее высвободиться.

Открыв двери и войдя в холл, я столкнулась нос к носу с графом. Он как раз опускал какое-то письмо в почтовую сумку.

Захлопнув сумку, он обратился ко мне с вопросом, где мадам Фоско. Я сказала ему. Он сейчас же вышел из дома, чтобы присоединиться к своей супруге. Когда он говорил со мной, он выглядел таким необычно сдержанным и подавленным, что я невольно обернулась и посмотрела ему вслед: он был или нездоров, или не в духе.

Почему я тут же подошла к почтовой сумке, вынула из нее мое письмо и со смутным подозрением осмотрела его, почему я решила, что конверт следует запечатать печатью для большей сохранности, я объяснить не сумею. Как известно, женщины часто действуют под влиянием импульса, который они сами не могут объяснить. Вот это самое, очевидно, произошло и со мной.

Как бы там ни было, поднявшись к себе и приготовившись ставить печать, я поздравила себя с тем, что повиновалась этому импульсу: конверт совсем расклеился; только я дотронулась до него, как он раскрылся. Может быть, я забыла его заклеить? Может быть, клей был плохой?

А может быть... нет! Я гоню от себя мысль, которая пришла мне в голову. Мне противно думать об этом, мне не хочется видеть того, что и так ясно, как божий день.

Я с трепетом жду завтрашнего дня. Все зависит от моего самообладания и благоразумия. О двух предосторожностях я, во всяком случае, не позабуду: надо быть как можно приветливее с графом и быть особенно начеку когда посыльный мистера Кирла приедет сюда с ответом.

V

Когда в обеденный час мы снова собрались вместе, граф Фоско был в своем обычном превосходном настроении. Он всячески старался развлечь и позабавить нас, как бы желая изгладить из нашей памяти все, что произошло днем в библиотеке. Яркие описания его дорожных приключений; забавные анекдоты о знаменитостях, с которыми он встречался на континенте; оригинальные размышления об обычаях и нравах народностей Европы на основе различных примеров, почерпнутых из его собственных наблюдений; комичные признания в своих молодых безумствах и невинных проказах, когда он был законодателем мод в одном захолустном итальянском городишке и писал нелепые романы наподобие французских бульварных романов для второсортной газеты,— все это лилось нескончаемым, искрометным потоком с его уст, возбуждая наш интерес и любопытство. Он говорил обо всем очень откровенно, но в то же время так деликатно и тонко, что Лора и я слушали его с неослабевающим вниманием и, как это ни непоследовательно, почти с таким же восхищением, как сама мадам Фоско. Женщины могут устоять перед любовью мужчины, перед его славой, перед его красивой внешностью, перед его богатством, но они не в силах устоять перед его красноречием, если только оно обращено к ним.

После обеда, когда прекрасное впечатление, которое он произвел на нас, не успело еще остыть, граф скромно удалился почитать в библиотеку.

Лора предложила пройтись по саду, чтобы закончить наш вечер прогулкой. Необходимо было из вежливости предложить мадам Фоско пойти с нами, но, по-видимому заранее получив приказ, она отказалась от нашего приглашения.

— Граф, наверно, захочет покурить,— заметила она в объяснение,— никто не может угодить ему, кроме меня. Он любит, когда я сама делаю ему пахитоски.

Ее холодные голубые глаза даже потеплели при этом. Она, кажется, и вправду гордится, что ей дозволено священнодействовать, поставляя своему повелителю отдохновительное курево!

Мы с Лорой отправились на прогулку вдвоем. Вечер был душный и мглистый. В воздухе было предчувствие

грозы; цветы в саду поникли, почва потрескалась от жары, росы не было. В прогалинах меж деревьями запад пылал бледно-желтым заревом, солнце садилось, еле видное во мгле. Наверно, ночью будет дождь.

— В какую сторону мы направимся? — спросила я.

— К озеру,. Мэриан, если хочешь,— ответила она.

— Ты, кажется, очень полюбила это угрюмое озеро, непонятно за что.

— Нет, не озеро, но весь ландшафт вокруг него. Здесь, в поместье, лишь песок, вереск и сосны напоминают мне Лиммеридж. Но если ты предпочитаешь не ходить на озеро, пойдем еще куда-нибудь.

— У меня нет любимых прогулок в Блекуотер-Парке, моя дорогая. Мне все равно. Все мне кажется здесь одинаковым. Пойдем к озеру, может быть, там, на открытом месте, будет прохладнее, чем здесь.

Мы в молчании прошли через сумрачный парк. Душный вечер удручал нас обеих, и, когда мы дошли до беседки, мы были рады посидеть там и отдохнуть.

Над озером низко навис белесый туман. Густая коричневая полоса деревьев на противоположном берегу казалась карликовым лесом, висящим в воздухе. Отлогий песчаный берег, спускавшийся вниз, таинственно терялся в тумане. Стояла гробовая тишина. Ни шороха листьев, ни птичьего вскрика в лесу, ни плеска, ни звука над невидимым озером. Даже лягушки не квакали сегодня вечером.

— Как пустынно и мрачно вокруг! — сказала Лора.— Зато здесь никто нас не увидит и не услышит.

Она говорила тихо и глядела задумчиво вдаль на песок и туман. Я видела, что Лора слишком поглощена своими мыслями, чтобы воспринимать мрачность окружающего, но оно подавляло меня, как тяжкое предчувствие.

— Я обещала рассказать тебе всю правду, Мэриан, о моей замужней жизни, вместо того чтобы предоставлять тебе строить о ней догадки,— начала она.— Я таилась от тебя первый и, поверь мне, последний раз в жизни. Ты знаешь, что я молчала ради тебя и, пожалуй, немного и ради себя самой. Женщине тяжело признаться, что человек, которому она отдала всю свою жизнь, совсем не ценит этот дар. Если бы ты была замужем, Мэриан, и особенно если бы ты была счастлива замужем, ты поняла

бы меня еще лучше. Но у тебя нет мужа, и, как бы добра и преданна ты ни была, многое останется для тебя непонятным...

Что я могла ей ответить? Я могла только взять ее за руку и вложить в мой взгляд всю любовь, которую я к ней чувствовала.

— Как часто,— продолжала она,— я слышала, как ты смеялась над тем, что ты называла своей бедностью! Как часто ты насмешливо поздравляла меня с моим богатством! О, Мэриан, никогда больше не смейся над этим! Благословляй судьбу за то, что ты бедна,— благодаря этому ты хозяйка собственной жизни, это спасло тебя от горя, которое выпало мне на долю.

Какое грустное признание, какая жестокая правда! Достаточно было мне прожить всего несколько дней в Блекуотер-Парке, чтобы понять — как понял бы это и любой человек,— почему ее муж женился на ней.

— Я не буду огорчать тебя, рассказывая о том, как быстро начались мои горести и испытания,— я не хочу, чтобы ты знала, какими они были. Пусть все это останется только в моей памяти. Если я расскажу тебе, как он отнесся к моей первой и последней попытке объясниться с ним, ты поймешь, как он обращался со мной все это время, поймешь, как если бы я тебе все подробно рассказала. Однажды в Риме мы поехали к гробнице Цецилии Мэтелла. Небо было безоблачным и сияющим, древние руины были так прекрасны! Вспомнив, что в незапамятные времена эта гробница была воздвигнута мужем Цецилии Мэтелла в память горячо любимой им жены, мне от всего сердца захотелось завоевать любовь моего мужа. «Вы поставили бы такой памятник для меня, Персиваль? — спросила я его.— До того как мы поженились, вы говорили, что так горячо любите меня, но с тех пор...» Я не могла продолжать. Он даже не посмотрел на меня, Мэриан! Я опустила вуаль, чтобы он не увидел моих слез. Я думала, что он не заметил их, но это было не так. Он сказал: «Поедем отсюда» — и засмеялся про себя, подсаживая меня в седло. Потом он сам вскочил на коня и снова засмеялся, когда мы отъехали. «Если я воздвигну вам памятник, это будет сделано на ваши собственные деньги,— сказал он.— Интересно, была ли эта Цецилия Мэтелла богата и на

ее ли средства он был построен?» Я не ответила — я не могла говорить от слез. «Ах вы, белокурые женщины, всегда дуетесь! — сказал он.— Чего вы хотите? Комплиментов и нежностей? Что ж! Я в хорошем настроении сегодня. Считайте, что я уже наговорил вам кучу комплиментов и нежностей!» Когда мужчины говорят нам грубости, они не знают, как надолго мы это запоминаем и как нам от этого больно. Если бы я продолжала плакать, мне было бы легче, но его явное презрение высушило мои слезы и ожесточило мое сердце. С той поры, Мэриан, я перестала гнать от себя мысли об Уолтере Хартрайте. Я утешалась воспоминаниями о тех счастливых днях, когда мы с ним втайне горячо любили друг друга, и мне делалось легче на душе. В чем еще я могла искать утешения? Если бы мы с тобой были вместе, может быть, ты помогла бы мне. Я знаю, что это нехорошо, дорогая. Но скажи мне, разве я виновата?

Мне пришлось спрятать от нее лицо.

— Не спрашивай меня! — сказала я.— Разве я страдала, как ты? Разве я имею право осуждать тебя?

— Я стала думать о нем,— продолжала она, понижая голос и придвигаясь ко мне.— Я думала о нем, когда Персиваль оставлял меня по вечерам одну и проводил время со своими друзьями. Я мечтала, что, если бы бог благословил меня бедностью, я стала бы женой Уолтера. Я представляла себе, как я жду его домой с работы, как люблю его и все для него делаю и за это люблю его еще горячее. Я видела, будто наяву, как он приходит домой усталый, а я снимаю с него пальто и шляпу и готовлю для него, Мэриан, и ему нравится, что для него я научилась готовить и хозяйничать. О, как я надеюсь, что он не так одинок и несчастен, как я! Что он не думает обо мне все время, как это делаю я!

Когда она произносила эти печальные слова, в голосе ее зазвучала забытая нежность, и прошлая девическая красота овеяла ее лицо. Глаза ее с такой любовью смотрели на мрачный, пустынный, зловещий ландшафт, расстилавшийся перед нами, будто видели родные холмы Кумберленда за мглистой и грозной далью.

— Не говори больше об Уолтере! — сказала я, как только смогла говорить.— О Лора, не мучай сейчас нас обеих воспоминаниями о нем!

Она очнулась и поглядела на меня с нежностью:

— Чтобы не огорчать тебя, я готова никогда больше не произносить его имени.

— Подумай о себе,— просила я,— я говорю это ради тебя. Если бы твой муж услышал...

— Это не удивило бы его.

Она произнесла эти странные слова с усталым безразличием. Перемена, происшедшая в ней, потрясла меня не менее, чем сам ответ.

— Не удивило бы его! — повторила я.— Лора, что ты говоришь! Ты пугаешь меня!

— Это правда,— сказала она.— Об этом я и хотела сказать тебе сегодня, когда мы были в твоей комнате. Когда я обо всем рассказала ему в Лиммеридже, я скрыла от него только одно — и ты сама сказала мне, что это не грех. Я скрыла от него имя — и он узнал его.

Я слушала ее молча, не в силах говорить. Последняя надежда на ее счастье, которая еще теплилась во мне, погасла.

— Это случилось в Риме,— продолжала она устало и равнодушно.— Мы были на вечере у друзей Персиваля, у четы Меркленд. Она славилась как прекрасная художница, и некоторые из гостей просили ее показать рисунки. Мы все любовались ими, но к моему отзыву она отнеслась с особенным вниманием. «Вы, конечно, сами рисуете?» — спросила она. «Когда-то я немного рисовала,— ответила я,— но больше не занимаюсь этим».— «Если вы когда-то рисовали,— сказала она,— в один прекрасный день вы снова вернетесь к этому занятию, поэтому разрешите порекомендовать вам учителя». Я промолчала — ты понимаешь почему, Мэриан,— и попыталась перевести разговор на другую тему. Но миссис Меркленд продолжала: «У меня были разные учителя, но лучшим из них, самым способным и внимательным был некто Хартрайт. Если вы снова начнете рисовать, попробуйте брать у него уроки. Он скромный, очень воспитанный молодой человек — я уверена, что он вам понравится». Подумай, Мэриан, она говорила со мной в присутствии большого общества, при посторонних людях, приглашенных на прием в честь новобрачных! Я сделала все, чтобы скрыть свое волнение,— ничего не ответила ей и стала пристально рассматривать рисунки. Когда наконец я осмелилась поднять глаза, мой муж смотрел на меня,

взгляды наши встретились. Я поняла, что мое лицо выдало меня. «Насчет мистера Хартрайта мы решим, когда вернемся в Англию, миссис Мерклэнд,— сказал он.— Я согласен с вами, я уверен, что он понравится леди Глайд». Он так подчеркнул свои слова, что щеки мои вспыхнули, а сердце так забилось, что мне стало больно дышать. Ничего больше не было сказано. Мы уехали рано. По дороге в отель он молчал. Он помог мне выйти из коляски и проводил меня наверх, как обычно. Но как только мы вошли в гостиную, он запер дверь, толкнул меня в кресло и встал передо мной, держа меня за плечи. «С того самого утра в Лиммеридже, когда вы дерзко осмелились во всем мне признаться,— сказал он,— мне было интересно, кто этот человек. Сегодня я прочитал его имя на вашем лице. Это ваш учитель рисования Уолтер Хартрайт. Вы будете каяться в этом — и он тоже — до конца ваших дней. Теперь идите спать, пусть он приснится вам, если вам нравится,— с рубцами от моего хлыста!» И с тех пор, как только он на меня рассердится, он с угрозами издевается над моим признанием, которое я ему сделала в твоем присутствии. Мне нечем противодействовать тому позорному толкованию, которое он придает моей исповеди. Я не могу ни заставить его поверить мне, ни заставить его замолчать. Ты удивилась, когда он сказал сегодня, что я вышла за него замуж по необходимости. В следующий раз, когда он, рассердившись на что-нибудь, повторит эти слова, ты уже не удивишься... О Мэриан, не надо! Ты делаешь мне больно!

Я сжимала ее в объятиях. Горькое, мучительное чувство раскаяния переполняло меня. Да, раскаяния! Бледное от отчаяния лицо Уолтера, когда мои жестокие слова пронзили его сердце там, в летнем домике в Лиммеридже, встало передо мной с немым, нестерпимым укором. Моя рука указала путь, который увел человека, любимого моей сестрой, от его родины, от его друзей. Между этими юными сердцами встала я, чтобы навеки разлучить их. Жизнь их была разбита и свидетельствовала о моем злодеянии.

И я совершила это злодеяние для сэра Персиваля Глайда.

Для сэра Персиваля Глайда...

Ее голос смутно доносился до меня. Я понимала, что она меня утешает — меня, которая не заслужила ничего, кроме ее осуждающего молчания!

Я не знаю, сколько времени прошло, пока наконец я смогла подавить свое горе и смятение. Я пришла в себя от ее поцелуя и поняла, что гляжу прямо перед собой, на озеро.

— Уже поздно! — услышала я ее шепот.— В парке будет совсем темно.— Она потрясла меня за руку и повторила: — Мэриан! В парке будет темно!

— Еще минуту,— сказала я,— побудем здесь еще минуту, я хочу успокоиться.

Мне не хотелось, чтобы она видела выражение моих глаз — я смотрела прямо перед собой.

Было поздно. Темная полоса деревьев на небе растаяла в сгустившихся сумерках и казалась какой-то неясной дымкой. Туман, окутавший озеро, разросся и неслышно подкрадывался к нам. Стояла по-прежнему глубокая, беззвучная тишина, но она уже не пугала — в ней была таинственность и величавость.

— Мы далеко от дома,— шепнула она,— давай вернемся.

Она внезапно умолкла и, отвернувшись от меня, устремила глаза на вход в беседку.

— Мэриан! — дрожа от испуга, сказала она.— Ты ничего не видишь? Смотри!

— Куда?

— Вон там, внизу!

Я посмотрела туда, куда она указывала рукой, и тоже увидела: выделяясь смутным очертанием на фоне тумана, вдали двигалась какая-то фигура. Она остановилась далеко перед нами, подождала и медленно прошла в белом облаке, пока совсем не слилась с туманом и не исчезла.

Обе мы были взволнованы и измучены всем, что случилось за сегодняшний день. Прошло несколько минут, прежде чем Лора отважилась войти в парк, а я — отвести ее домой.

— Кто это был — мужчина или женщина? — спросила она тихо, когда наконец мы вошли в сырую, прохладную аллею.

— Не знаю.

— А как ты думаешь?

— По-моему, это была женщина.

— Мне показалось, что это мужчина в длинном плаще.

— Возможно, это был мужчина. В этом неясном освещении трудно было разглядеть.

— Постой, Мэриан! Мне страшно — я не вижу тропинки. А что, если эта фигура идет за нами?

— Не думаю, Лора. Право, бояться совершенно нечего. Деревня находится неподалеку от берега, все свободно могут гулять там и днем и ночью. Странно, что мы до сих пор никого не видели на озере.

Мы шли через парк. Было очень темно — так темно, что мы с трудом различали дорогу. Я взяла Лору за руку, и мы пошли еще быстрее.

Мы прошли уже половину пути, как вдруг она остановилась и удержала меня за руку. Она прислушалась.

— Ш-ш...— шепнула она.— Кто-то идет за нами.

— Это шуршат сухие листья,— сказала я, чтобы ее успокоить,— или ветка упала с дерева.

— Но сейчас лето, Мэриан, а ветра нет и в помине. Слушай!

И я услышала тоже — чьи-то легкие шаги приближались к нам.

— Пусть это будет кто угодно,— сказала я,— пойдем дальше. Через минуту мы будем уже совсем близко от дома, и, если что-нибудь случится, нас услышат.

Мы пошли вперед так быстро, что Лора совсем задохнулась, когда мы вышли из парка. Впереди мы уже видели освещенные окна дома.

Я остановилась, чтобы дать ей отдышаться. Только мы хотели было двинуться дальше, как она снова остановилась и сделала мне знак прислушаться. Чей-то глубокий вздох долетел до нас из-за темной, сумрачной гущи деревьев.

— Кто там? — окликнула я.

Никто не отозвался.

— Кто там? — повторила я.

Стояла тишина, и вдруг мы снова услышали чьи-то шаги — они удалялись от нас в темноту все дальше, дальше, пока совсем не затихли вдали.

Мы поспешили выйти на открытую лужайку, быстро пересекли ее и, не сказав больше ни слова друг другу, подошли к дому.

В холле при свете лампы Лора, вся бледная, подняла на меня испуганные глаза.

— Я чуть не умерла от страха! — сказала она.— Кто бы это мог быть?

— Мы попробуем разгадать это завтра,— отвечала я,— а пока никому не говори об этом.

— Почему?

— Потому что молчание безопаснее, и в этом доме лучше молчать.

Я сейчас же отослала Лору наверх, подождала с минуту, сняла шляпу, пригладила волосы и отправилась на разведку. Сначала я пошла в библиотеку под тем предлогом, что хочу взять какую-нибудь книгу.

Граф сидел в самом огромном кресле в доме, мирно курил и читал. Он положил ноги на диван, снял с себя галстук, ворот его рубашки был расстегнут. На пуфике подле него, как послушная девочка, сидела мадам Фоско, скручивая его пахитоски. С первого же взгляда я поняла, что вечером ни муж, ни жена никуда не выходили из дому.

При моем появлении граф Фоско со смущенной любезностью встал и начал повязывать галстук.

— Прошу вас, не тревожьтесь,— сказала я,— я пришла сюда только за книгой.

— Все мужчины моих размеров несчастны, ибо страдают от жары,— сказал граф, величественно обмахиваясь огромным зеленым веером,— мне хотелось бы поменяться местами с моей превосходной женой — она холодна в эту минуту, как рыба там, в водоеме.

Графиня разрешила себе растаять от удовольствия при этом своеобразном комплименте своего супруга.

— Мне никогда не бывает жарко, мисс Голкомб,— заметила она скромно, с видом женщины, признающейся в своих особых талантах.

— Вы с леди Глайд гуляли сегодня вечером? — спросил граф, пока я для отвода глаз брала с полки книгу.

— Да, мы пошли немного освежиться.

— Разрешите спросить, куда вы ходили?

— К озеру — до самой беседки.

— Э? До самой беседки?

При других обстоятельствах, возможно, я сочла бы его любопытство назойливым, но сейчас оно было лишним доказательством того, что ни он, ни его жена не имели никакого отношения к таинственному явлению на озере.

— Никаких новых приключений, надеюсь? — продолжал он.— Никаких больше находок вроде раненой собаки?

Он устремил на меня свои бездонные серые глаза — их холодный стальной блеск всегда принуждает меня смотреть на него и, когда я смотрю, всегда меня смущает. В такие минуты во мне растет неотвратимое убеждение, что он читает мои мысли. Я ощутила это и сейчас.

— Нет,— сказала я коротко,— ни приключений, ни находок.

Я попыталась отвести от него глаза и уйти. Как это ни странно, мне, пожалуй, не удалось бы осуществить мою попытку, если бы мадам Фоско не помогла мне, заставив его посмотреть в свою сторону.

— Граф, мисс Голкомб стоит! — сказала она.

Он отвернулся, чтобы подать мне стул, а я ухватилась за этот предлог, чтобы поблагодарить его, извиниться и выскользнуть вон.

Час спустя, когда горничная Лоры пришла в спальню помочь молодой леди раздеться, я пожаловалась на ночную духоту, чтобы разузнать, где провели слуги вечер.

— Вы, конечно, измучились внизу от жары? — спросила я.

— Нет, мисс,— сказала девушка,— мы ее не почувствовали.

— Вы все, наверно, ходили в парк?

— Кое-кто из нас собрался пойти, мисс, но кухарка сказала, что посидит во дворе — там прохладно, и мы все решили вынести туда стулья и просидели там весь вечер.

Оставалось разузнать, где была вечером домоправительница.

— Миссис Майклсон легла уже спать? — осведомилась я.

— Вряд ли, мисс,— отвечала, улыбаясь, девушка. — Она, пожалуй, встает сейчас, а не ложится спать.

— Почему? Что вы хотите сказать? Разве миссис Майклсон спала днем?

— Нет, мисс, не совсем так. Она весь вечер проспала у себя в комнате на кушетке.

То, что я своими глазами видела в библиотеке, и то, что слышала сейчас от горничной, вело к неизбежному

заключению. Ни мадам Фоско, ни ее муж, ни кто-либо из прислуги не ходил на озеро. Фигура, которую мы там видели, была фигурой какого-то постороннего человека. Шаги, которые мы слышали в лесу, не принадлежали никому из домашних.

Кто же это был?

Строить догадки бесполезно. Я даже не знаю, была ли фигура женской или мужской. По-моему, это была женщина.

VI

18 июня

Угрызения совести, замучившие меня вечером после рассказа Лоры, вернулись в безмолвии ночи и не дали мне заснуть.

Я зажгла свечу и стала перечитывать мои старые дневники, чтобы проверить, в какой мере я виновата в роковом замужестве Лоры и как мне надлежало поступить, чтобы спасти ее от этого брака. Результат немного облегчил мою совесть. Я убедилась, что, как бы слепо и неразумно я тогда ни действовала, мною руководило только желание ее блага. Обычно слезы не приносят мне облегчения, но на этот раз было не так. Я выплакалась, и мне стало немного легче. Утром я встала с твердо принятым решением, со спокойными мыслями. Что бы ни сказал мне впредь сэр Персиваль, я никогда больше не рассержусь на него, никогда не позабуду, что остаюсь здесь, несмотря на обиды, угрозы и оскорбления, только для того, чтобы быть подле Лоры.

Утром нам не пришлось заниматься отгадыванием, чью фигуру мы видели на озере и чьи шаги слышали в парке, из-за маленькой неприятности, сильно огорчившей Лору. Она потеряла брошку, которую я подарила ей на память накануне ее свадьбы. Брошка была на ней вчера вечером, поэтому мы предполагали, что Лора потеряла ее либо в беседке, либо на обратном пути домой. Слуги искали брошь повсюду, но нигде не нашли. Лора отправилась искать ее сама. Найдет она ее или нет, но это великолепный предлог для отсутствия Лоры, если сэр Персиваль вернется раньше, чем приедет посыльный с письмом от компаньона мистера Гилмора.

Пробило час дня. Что лучше — ждать посыльного

здесь или незаметно выскользнуть из дома и подождать его за воротами?

В доме я никому не доверяю, поэтому решила осуществить второй план. Граф, на мое счастье, находится в столовой. Когда десять минут назад я бежала наверх по лестнице, я слышала из-за двери, как он дрессирует своих канареек:

— Летите сюда, на мой мизинчик, мои пре-прелестные! Вылетайте из клетки! Ну, наверх! Раз, два, три — вверх! Три, два, раз — вниз! Раз, два, три — чирик-чик-чик!

Канарейки восторженно пели хором, а граф свистел и чирикал в ответ, будто и сам был птицей! Через открытую дверь моей комнаты до меня доносятся их пронзительное пение и свист. Сейчас как раз время убежать, чтобы никто меня не заметил.

4 часа

С тех пор как часа три назад я сделала свою последнюю запись, в Блекуотер-Парке все потекло по новому руслу. Не знаю, к лучшему или худшему, и боюсь над этим задумываться.

Придется вернуться к тому, на чем я остановилась, иначе я совсем запутаюсь.

Решив ждать посыльного за воротами, я пошла вниз. На лестнице мне никто не повстречался. В холле я услышала, что граф все еще дрессирует своих канареек. Но, пересекая лужайку перед домом, я поравнялась с мадам Фоско, совершавшей свою любимую прогулку вокруг водоема. Сразу же замедлив шаги, чтобы она не заметила, как я тороплюсь, я из предосторожности спросила ее, не собирается ли она идти гулять. Улыбнувшись мне самым приветливым образом, она сказала, что предпочитает не удаляться от дома, любезно кивнула мне и пошла домой. Я оглянулась и, увидев, что она закрыла за собой дверь, быстро прошла через конюшенный двор и очутилась за калиткой.

Через четверть часа я была у ворот, за домиком привратника.

Аллея передо мной поворачивала сначала налево, потом шла все прямо, затем круто сворачивала направо, на большую дорогу. Между этими двумя поворотами, скрытыми и от домика привратника и от шоссе, ведущего на

станцию, я стала прохаживаться взад и вперед в нетерпеливом ожидании. По обеим сторонам тянулась высокая изгородь. Минут двадцать я никого не видела и не слышала.

Наконец раздался стук колес, и навстречу мне выехала карета со станции. Я сделала кучеру знак. Карета остановилась, и из окна высунулся пожилой человек почтенного вида.

— Простите меня, прошу вас,— сказала я,— но вы, наверно, едете в Блекуотер-Парк?

— Да, мэм.

— С письмом для кого-то?

— С письмом для мисс Голкомб, мэм.

— Я мисс Голкомб. Вы можете отдать мне письмо.

Посыльный приложился к шляпе, вышел из кареты и подал мне письмо.

Я сразу же распечатала его и прочитала. Я перепишу его в дневник, а затем из предосторожности уничтожу оригинал.

«Уважаемая леди, ваше письмо, полученное мною сегодня утром, сильно встревожило меня. Постараюсь ответить на него как можно короче и яснее.

Внимательно рассмотрев ваше заявление, я, зная положение дел леди Глайд по брачному контракту, пришел к выводу, о котором весьма сожалею: сэр Персиваль Глайд намеревается сделать заем из основного капитала леди Глайд (иными словами, заем из двадцати тысяч фунтов, ей принадлежащих), заставив ее стать участницей этой сделки, что является не чем иным, как вопиющим злоупотреблением ее доверием. В том случае, если леди Глайд захочет опротестовать этот заем, подпись ее будет свидетельствовать о том, что этот заем был сделан с ее ведома и согласия. Всякие другие предположения по поводу сделки, для которой требовалась бы подпись леди Глайд, исключаются.

Если леди Глайд подпишет вышеуказанный документ, ее поверенные будут обязаны выдать деньги сэру Персивалю Глайду из основного ее капитала в двадцать тысяч фунтов. Если сэр Персиваль Глайд не вернет обратно занятую сумму, капитал леди Глайд уменьшится в соответствии с одолженной ею суммой. В случае, если у леди Глайд будут дети, их наследство уменьшится на такую же сумму. Короче говоря, эта сделка, если только леди

Глайд не уверена в противном, может считаться мошенничеством в отношении ее будущих детей.

Ввиду всего этого я рекомендую леди Глайд не подписывать документ на том основании, что сначала она хочет представить его на одобрение поверенному ее семьи, то есть мне, ввиду отсутствия моего компаньона, мистера Гилмора. Против этого не может быть никаких возражений, так как, если сделка вполне честная и не ущемляет самым серьезным образом интересов леди Глайд, я, конечно, дам свое согласие на ее подпись.

Примите уверения, что в случае надобности я готов оказать вам всяческую помощь. Остаюсь вашим преданным слугой.

Уильям Кирл».

Я с благодарностью прочитала его разумное и любезное письмо. Оно подсказывало Лоре, как уклониться от подписи, и объясняло нам обеим назначение самого документа.

Пока я читала письмо, посыльный стоял подле меня, ожидая дальнейших моих указаний.

— Передайте, пожалуйста, что я все поняла и очень благодарна мистеру Кирлу,— сказала я.— Другого ответа не требуется.

Как раз в ту минуту, когда я произнесла эти слова, держа в руках распечатанное письмо, граф Фоско свернул с шоссе и вырос передо мной словно из-под земли.

Его внезапное появление здесь, где я никак не ожидала его увидеть, ошеломило меня. Посыльный попрощался со мной и сел в карету. Я ничего больше не сказала ему и в растерянности даже не ответила на его поклон. Я застыла на месте, убедившись, что хитрость моя обнаружена — и кем же? Самим графом Фоско!

— Вы возвращаетесь домой, мисс Голкомб? — спросил он, не выказывая со своей стороны ни малейшего удивления и даже не взглянув на отъезжающую карету.

Я собралась с силами и утвердительно кивнула в ответ.

— Я тоже иду домой,— сказал он.— Не откажите мне в удовольствии сопровождать вас. Возьмите меня под руку, прошу вас. Вы, кажется, очень удивились при виде меня?

Я взяла его под руку. Я снова с предельной ясностью поняла, что лучше пойти на любые жертвы, чем нажить себе врага в лице этого человека.

— Вы, кажется, удивились при виде меня? — повторил он спокойным, зловещим тоном.

— Мне думалось, вы в столовой с вашими канарейками, граф,— отвечала я, стараясь говорить как можно спокойнее и увереннее.

— Так оно и было. Но мои маленькие пернатые дети похожи на всех остальных детей, дорогая леди. Они бывают иногда непослушными, как, например, сегодня утром. Когда я водворял их обратно в клетку, вошла моя жена и сказала, что вы отправились гулять одна. Вы сами сказали ей об этом?

— Конечно.

— Что же, мисс Голкомб, искушение сопровождать вас было слишком сильным, чтобы я мог ему противиться. В моем возрасте можно уже признаваться в таких вещах, не так ли? Я схватил шляпу и отправился предлагать вам себя в провожатые. Лучше такой провожатый, как старый толстяк Фоско, чем никакой. Я пошел не в том направлении, в отчаянии вернулся обратно и наконец достиг (можно так выразиться?) вершины своих желаний!

Пересыпая свою речь комплиментами, он продолжал ораторствовать. Мне оставалось только молчать и делать вид, что я вполне спокойна. Ни разу он даже отдаленно не намекнул на карету на дороге и письмо, которое я продолжала держать в руке. Эта многозначительная деликатность убедила меня, что он самым бесчестным путем разузнал о моем обращении к поверенному и теперь, убедившись, что я получила ответ, считал свою миссию выполненной и старался усыпить мои подозрения, которые, как он понимал, должны были у меня зародиться. У меня достало ума, чтобы не делать попыток обмануть его фальшивыми объяснениями, но я была слишком женщиной, чтобы не чувствовать, как постыдно идти об руку с ним!

На лужайке перед домом мы увидели, как двуколка отъезжает к каретнику. Сэр Персиваль только что вернулся. Он встретил нас у подъезда. Каковы бы ни были результаты его поездки, они не смягчили его дикого нрава.

— Ну вот, двое вернулись! — сказал он угрюмо.— Почему в доме никого нет? Где леди Глайд?

Я сказала ему, что Лора потеряла брошку и ищет ее в парке.

— Так или иначе,— мрачно проворчал он,— советую ей не забывать, что я жду ее днем в библиотеке. Через полчаса я желаю видеть ее!

Я высвободила свою руку и медленно поднялась на ступеньки. Граф удостоил меня одним из своих великолепных поклонов и весело обратился к грозному хозяину дома.

— Ну как, Персиваль,— сказал он,— ваша поездка была приятной? Что, красотка Рыжая Молли сильно устала с дороги?

— К черту Рыжую Молли и поездку тоже! Я хочу завтракать.

— А я хочу сначала поговорить с вами,— ответствовал граф.— Пятиминутный разговор, друг мой, здесь, на лужайке.

— О чем?

— О делах, которые касаются вас.

Я медлила в холле, слушая эти вопросы и ответы. Через открытую дверь я видела, как сэр Персиваль в нерешительности сердито засунул руки в карманы.

— Если вы собираетесь снова надоедать мне вашей проклятой щепетильностью,— сказал он,— я не желаю вас слушать! Я хочу завтракать.

— Пойдемте поговорим,— повторил граф, по-прежнему не обращая никакого внимания на грубости своего друга.

Сэр Персиваль спустился вниз по ступенькам. Граф взял его под руку и отвел в глубину двора. Очевидно, разговор шел о подписи Лоры. Они, конечно, говорили о Лоре и обо мне. Я задыхалась от волнения. Как важно было бы знать, о чем именно шла речь между ними! Но при всем желании я не могла услышать ни слова из этого разговора.

Я стала бродить по дому из комнаты в комнату. Письмо поверенного жгло меня, я спрятала его на груди, боясь доверить его ящику и ключу в собственной комнате. Я сходила с ума от беспокойства. Лора не возвращалась. Я хотела пойти искать ее, но до такой степени устала от

тревог и сегодняшней жары, что вернулась в гостиную и прилегла на кушетку.

Не успела я лечь, как дверь тихо приоткрылась и в комнату заглянул граф.

— Прошу извинить меня, мисс Голкомб,— сказал он,— я осмелился потревожить вас только из-за хороших известий. Персиваль, капризный во всем, как вы знаете, вдруг передумал в последнюю минуту, и затея с подписями отложена. Большое облегчение для всех нас, мисс Голкомб. Я вижу по вашему лицу, какое это доставляет вам удовольствие. Передайте, прошу вас, мое глубокое уважение и искренние поздравления леди Глайд, когда будете говорить ей об этой приятной новости.

Он ушел раньше, чем я успела прийти в себя от изумления. Несомненно, сэр Персиваль изменил свое намерение благодаря влиянию графа; тот переубедил его, зная о моем письме к поверенному и о том, что я получила ответ.

Я поняла все это, но настолько обессилела от волнения и усталости, что не могла задуматься ни над сомнительным настоящим, ни над туманным будущим. Я снова попыталась подняться и пойти искать Лору, но голова моя кружилась и ноги подкашивались. Мне ничего другого не оставалось, как снова лечь на кушетку, помимо собственной воли.

В доме царила тишина. Тихое жужжанье кузнечиков за открытым окном убаюкивало меня. Глаза мои слипались. Постепенно я погрузилась в какое-то странное состояние — я не бодрствовала, ибо ничего не сознавала вокруг, но и не спала, ибо понимала свое состояние. Мое возбужденное воображение покинуло мое бренное тело, и в каком-то трансе, в какой-то мечте — не знаю, как и назвать это,— я увидела Уолтера Хартрайта. С утра я вовсе не думала о нем, Лора ни словом, ни намеком о нем не обмолвилась. Но сейчас я видела его перед собой так ясно, будто вернулись прежние дни и мы снова вместе в Лиммеридже.

Он предстал передо мной в толпе других людей, чьи лица я не могла разглядеть. Все они лежали на ступенях огромного разрушенного храма. Гигантские тропические деревья, перевитые лианами, окружали этот храм, закрывали небо и бросали мрачную тень на беспомощных,

заброшенных людей. Сквозь густую листву виднелись чудовищные каменные изваяния. Казалось, они смотрят и посмеиваются над теми, кто посмел нарушить их покой. Белые испарения, клубясь, ползли по земле, поднялись, как дым, окружили людей и растаяли, оставив большинство из них мертвыми. В ужасе и отчаянии я умоляла Уолтера бежать. «Вернись, вернись! — кричала я.— Вспомни, что ты обещал ей и мне! Вернись к нам прежде, чем болезнь настигнет тебя и умертвит, как остальных!» Он взглянул на меня — на лице его было выражение неземного покоя. «Подожди,— сказал он,— я вернусь. С той ночи, когда я встретил одинокую женщину на дороге, моя жизнь стала орудием рока, незримого для нас. Здесь, в этих диких дебрях, и там, когда я вернусь на родину, мне предназначено идти по темной, безвестной дороге, ведущей меня, тебя и нашу любимую сестру к непостижимому возмездию и неизбежному концу. Жди меня. Болезнь, сгубившая других, пощадит меня»

Я снова увидела его. Он все еще был в лесу. Число его несчастных товарищей сократилось до нескольких человек. Храм исчез, идолов не стало, вместо них среди дремучего леса появились темные фигуры низкорослых, уродливых людей. Они мелькали за деревьями со стрелами и луками в руках. Снова испугалась я за Уолтера и вскрикнула, чтобы предостеречь его. Снова обернулся он ко мне с непоколебимым спокойствием: «Я иду по предназначенной мне дороге. Жди меня. Стрелы, которые сразят других, пощадят меня».

В третий раз увидела я его на затонувшем корабле, севшем на риф у диких песчаных берегов. Переполненные шлюпки плыли к берегу, он один остался на корабле и шел ко дну вместе с судном. Я крикнула ему, чтобы он бросился к шлюпке, чтобы постарался спастись! Его спокойное лицо обернулось ко мне, не дрогнувший голос произнес прежний ответ: «Еще шаг на пути. Жди меня. Воды, поглотившие других, пощадят меня».

Я увидела его в последний раз. Он стоял на коленях у надгробного памятника из белого мрамора, и тень женщины, окутанной вуалью, поднялась из могилы и стала подле него. Неземное спокойствие, отражавшееся на его лице, сменилось страшным отчаянием. Но голос с прежней неотвратимостью донесся до меня. «Тьма

сгущается,— сказал он,— но я иду все дальше. Смерть уносит добрых, прекрасных, юных, щадя меня. Губительная болезнь, разящие стрелы, морские пучины, могила, в которой погребены любовь и надежда,— все это вехи на моем пути, они ведут меня все ближе и ближе к концу».

Сердце мое замерло от ужаса, который не выразишь словами, от горя, которое не выплачешь в слезах. Тьма сгустилась вокруг путника у мраморного надгробья, вокруг женщины под вуалью, вставшей из могилы, сгустилась вокруг спящей, которая смотрела на них. Я ничего больше не видела, не слышала...

Я очнулась от легкого прикосновения к моему плечу. Это была Лора.

Она стояла на коленях у кушетки. Лицо ее пылало от возбуждения, глаза смотрели на меня с каким-то странным, диким выражением. При виде ее я вздрогнула от страха.

— Что случилось? — спросила я.— Что тебя так испугало?

Она оглянулась на приоткрытую дверь, приложила губы к моему уху и ответила шепотом:

— Мэриан! Фигура на озере, шаги прошлой ночью... Я только что видела ее! Я только что с ней говорила!

— Господи, кто же это?

— Анна Катерик!

Пробудившись от моего необычного сна, я была так испугана волнением и странным поведением Лоры, что теперь, когда это имя сорвалось с ее губ, я буквально оцепенела. Я могла только молча глядеть на нее.

Она была слишком поглощена тем, что случилось с ней, чтобы заметить мое состояние.

— Я видела Анну Катерик! Я разговаривала с Анной Катерик! — повторяла она на все лады, думая, что я ее не расслышала.— О Мэриан, мне надо столько рассказать тебе! Пойдем отсюда, нас могут застать здесь и помешать нам! Пойдем сейчас же в мою комнату!

С этими словами она схватила меня за руку и потащила через библиотеку в последнюю комнату на нижнем этаже, которая была отведена специально для нее. Никто, кроме ее личной горничной, ни под каким предлогом не мог помешать нам. Она втолкнула меня

в комнату, заперла дверь и задернула легкие занавески на окнах.

Странное, тупое оцепенение, которое овладело мной при виде ее, все еще не проходило. Но растущая уверенность, что осложнения, давно угрожавшие и ей и мне, железным кольцом сомкнулись вокруг нас, начала медленно проникать в мое сознание. Я не могла выразить словами мое ощущение — оно смутно поднималось во мне, но полностью осознать его я была еще не в силах. «Анна Катерик! — повторяла я про себя, беспомощно и безнадежно.— Анна Катерик!»

Лора притянула меня на оттоманку, стоявшую посреди комнаты.

— Смотри! — сказала она.— Посмотри сюда! — И показала на ворот платья.

Я увидела, что брошь ее была опять на месте. В этом было нечто реальное, брошку можно было потрогать руками. Смятение моих мыслей немного улеглось, и я начала приходить в себя.

— Где ты нашла свою брошку? — Первые слова, которые я могла сказать ей в эту важную минуту, относились к такому пустяку!

— Она нашла ее, Мэриан!

— Где?

— На полу в беседке... О, с чего начать, как рассказать тебе об этом! Она так странно говорила со мной, она выглядела такой больной... Она так внезапно исчезла!

Взволнованная этими воспоминаниями, она повысила голос. Ставшее уже привычным, не оставляющее меня ни днем, ни ночью гнетущее недоверие ко всем и ко всему в этом доме побудило меня предостеречь ее, так же как перед этим вид ее брошки вывел меня из столбняка и заставил заговорить.

— Говори тише,— сказала я,— окно открыто, и садовая дорожка проходит под ним. Начни сначала, Лора. Расскажи мне решительно все, что произошло между этой женщиной и тобой.

— Не закрыть ли окно?

— Нет, не надо. Только говори тише, помни: в доме твоего мужа говорить об Анне Катерик опасно! Где ты видела ее?

— В беседке, Мэриан. Как ты знаешь, я пошла искать

свою брошку, и, когда шла по тропинке через парк, я внимательно смотрела себе под ноги на каждом шагу. Таким образом спустя долгое время я наконец дошла до беседки. Как только я вошла, я стала на колени, чтобы поискать брошку на полу. Я была спиной к выходу и вдруг услышала за собой чей-то тихий, странный голос. «Мисс Фэрли! — окликнули меня.— Мисс Фэрли!» Да, мое прежнее имя — дорогое, родное имя, с которым, казалось, я рассталась навсегда. Я вскочила на ноги. Я не испугалась — голос был слишком ласковый и мягкий, чтобы испугать меня,— но очень удивилась. У входа стояла совершенно незнакомая мне женщина.

— Как она была одета?

— На ней было чистенькое, премилое белое платье, поверх него был накинут старый, изношенный темный платок. Она была в капоре из коричневой соломки, таком же старом и жалком, как и платок. Меня поразила разница между ее платьем и остальной ее одеждой, и она поняла, что я заметила это. «Не обращайте внимания на мой капор и платок,— сказала она внезапно торопливым, задыхающимся голосом.— Раз они не белые, мне все равно, какие они. На мое платье смотрите сколько хотите — за него мне не стыдно». Это было так странно, ведь правда? Прежде чем я могла сказать что-нибудь, чтобы успокоить ее, она протянула ко мне руку, и я увидела на ее ладони мою брошку. Я так обрадовалась и была ей так благодарна, что подошла к ней совсем близко. «Вы благодарны мне настолько, что не откажете мне в небольшом одолжении?» — спросила она. «Конечно, нет,— отвечала я.— Я буду рада сделать для вас все, что смогу».— «Тогда дайте мне самой приколоть эту брошь к вашему платью, ведь я ее нашла». Просьба ее была настолько неожиданной, Мэриан, и она высказала ее с такой необыкновенной пылкостью, что я даже отступила на шаг или на два, не зная, как ей ответить. «Ах,— сказала она,— ваша мать разрешила бы мне приколоть брошку!» В ее взгляде и голосе был такой упрек, она так укоризненно упомянула о моей матери, что мне стало стыдно за свою нечуткость. Я взяла ее за руку, в которой она держала брошку, и ласково притянула к себе. «Вы знали мою мать? — спросила я.— Это было давно? Я вас видела прежде?» Она старательно приколола брошку к моему платью и положила руки мне на грудь. «Вы не помните прекрасный

весенний день в Лиммеридже,— сказала она,— и вашу мать, ведущую за руки двух маленьких девочек по дороге в школу? Мне больше не о чем думать с тех пор — я всегда это помню. Одной из этих маленьких девочек были вы, другой была я. Хорошенькая умница мисс Фэрли и бедная тупица Анна Катерик были тогда ближе друг к другу, чем сейчас».

— Когда она назвала себя, ты вспомнила ее, Лора?

— Да, я вспомнила, как в Лиммеридже ты спрашивала меня про Анну Катерик и говорила, что когда-то между нами находили большое сходство.

— Почему ты вспомнила об этом, Лора?

— Ее собственное лицо напомнило мне. Когда я увидела ее так близко, я вдруг поняла, что мы действительно очень похожи друг на друга! У нее было бледное, худое, измученное лицо, но оно поразило меня, будто я увидела свое отражение в зеркале. Я была бы точно такой, если бы долго болела. Не знаю почему, но это так потрясло меня, что с минуту я не могла говорить.

— И она, наверно, обиделась на твое молчание?

— Боюсь, что обиделась. «У вас не такое лицо, как у вашей матери,— сказала она,— да и сердце тоже не такое. Лицо вашей матери было смуглым, но сердце вашей матери, мисс Фэрли, было ангельским».— «Поверьте, я очень хорошо отношусь к вам,— сказала я,— хоть и не умею как следует высказать это. Почему вы называете меня мисс Фэрли?» — «Потому что я люблю имя Фэрли и ненавижу имя Глайд!» — воскликнула она с яростью. Пока что я не замечала в ней никаких признаков безумия, но в эту минуту мне показалось, что глаза ее стали сумасшедшими. «Я думала, вы, может быть, не знаете о моем замужестве»,— сказала я, вспомнив странное письмо, которое она прислала мне в Лиммеридж, и пытаясь успокоить ее. Она горько вздохнула и отвернулась от меня. «Не знаю, что вы замужем? — повторила она.— Я здесь именно потому, что вы замужем. Я здесь, чтобы искупить мою вину перед вами, прежде чем я встречусь с вашей матерью там, в загробном мире». Она отходила все дальше и дальше от меня, пока не вышла из беседки. Несколько минут она прислушивалась и осматривалась. Когда она снова повернулась ко мне, чтобы продолжать наш разговор, вместо того чтобы подойти поближе, она осталась у входа, глядя на меня и загораживая вход обеими руками. «Вы видели меня вчера на озере? — спросила она.— Вы слышали, как я шла за вами через лес? Целыми днями я ждала возможности поговорить с вами наедине — и ради этого покидала своего единственного на свете друга. Я оставляла ее в страхе и тревоге за меня, я рисковала снова попасть в сумасшедший дом, и все это ради вас, мисс Фэрли, все ради вас!» Я встревожилась, Мэриан. Она

произнесла эти слова с таким выражением, что мне стало жаль ее до глубины души. Мне стало так жаль эту несчастную женщину, что я осмелилась попросить ее войти и сесть рядом со мной.

— А она?

— Нет, она отказалась. Она покачала головой и сказала, что ей нужно сторожить у входа, чтобы нас никто не подслушал. Так она и осталась стоять там с распростертыми руками, то наклоняясь вперед, чтобы сказать мне что-то, то внезапно оборачиваясь и вглядываясь в окружающее. «Я была здесь вчера,— сказала она,— я пришла задолго до темноты и слышала, как вы разговаривали с леди, которая была с вами. Я слышала все, что вы сказали ей о вашем муже. Слышала, как вы сказали, что не можете заставить его поверить вам, не можете заставить его молчать. О, я поняла, что означают эти слова, сердце подсказало мне их смысл. Как я могла позволить вам выйти за него замуж! О, мой страх, мой безумный, жалкий, мучительный страх!» Она зарылась лицом в свой старый платок и начала стонать и шептать что-то про себя. Я испугалась, что с ней будет такой припадок отчаяния, с которым ни ей, ни мне потом не справиться. «Умоляю вас, успокойтесь,— сказала я,— лучше расскажите мне, как вы могли бы помешать моему браку». Она отвела платок от лица и рассеянно поглядела на меня. «Мне надо было набраться мужества и остаться в Лиммериджe,— отвечала она,— мне не надо было поддаваться страху при известии, что он приезжает. Я должна была, пока не поздно, предупредить и спасти вас. Почему у меня хватило смелости только на то, чтобы написать вам? Почему я сделала зло, когда хотела только добра? О, мой страх, мой безумный, жалкий, мучительный страх!» Она снова повторила эти слова и закрыла лицо своим изношенным платком. Было так страшно смотреть на нее, так страшно ее слушать!

— Ты, конечно, спросила, Лора, чего она боится?

— Да, спросила.

— И что она ответила?

— В ответ она спросила меня, разве я не боялась бы человека, который упрятал меня в сумасшедший дом и хочет снова это сделать? Я сказала: «Разве вы до сих пор его боитесь? Ведь вы не пришли бы сейчас сюда, если бы боялись».— «Теперь я его уже не боюсь,

нет»,— отвечала она. Я спросила ее почему. Она вдруг вошла в беседку и сказала: «Разве вы не догадываетесь?» Я отрицательно покачала головой. «Взгляните на меня»,— продолжала она. Я сказала, что мне грустно видеть ее такой печальной и больной. При моих словах она улыбнулась. «Больной? — повторила она.— Я умираю. Теперь вы знаете, почему я его больше не боюсь. Как вы думаете, встречусь ли я на небесах с вашей матушкой? И если встречусь, простит ли она меня?» Ее слова так удивили меня, что я ничего не могла ей ответить. «А я все время думаю об этом,— продолжала она.— Я думала только об этом, когда пряталась от вашего мужа, и после, когда лежала больная. Поэтому я и пришла сюда — я хочу искупить свою вину, хочу исправить зло, которое невольно причинила». Я стала горячо просить ее объяснить мне, что она хочет сказать. Она смотрела на меня в упор каким-то отсутствующим взглядом. «Исправлю ли я это зло? — с сомнением сказала она про себя.— У вас есть друзья, они будут на вашей стороне. Если вы будете знать его тайну, он станет бояться вас, он не посмеет вас обидеть. Он будет бояться вас и ваших друзей и ради самого себя будет хорошо обращаться с вами. А если я буду знать, что он добр к вам благодаря мне...» Я слушала ее, затаив дыхание, но она умолкла.

— Ты пыталась заставить ее продолжать?

— Да, но она только отстранилась от меня и прислонилась к стене беседки. «О! — простонала она с отчаянной, безумной нежностью в голосе.— О, если бы только меня похоронили рядом с вашей матушкой! Если бы только я могла проснуться подле нее, когда ангелы затрубят и мертвые воскреснут!» Мэриан, слушать ее было так страшно, что я вся дрожала. «Но надежды на это нет,— сказала она, придвигаясь ближе и пристально глядя на меня.— Надежды нет для меня, бедной, чужой. Не придется мне успокоиться под мраморным крестом, который я омыла своими руками, чтобы он стал белоснежно-чистым в память о ней. Нет, нет! Не волею людской, а милостью господней буду я с ней там, где нет зла и насилия, там, где усталые обретут вечный покой». Она произнесла эти слова печально и тихо, безнадежно вздохнула и умолкла. Лицо ее стало недоуменным и озабоченным. Казалось, она силится что-то

припомнить. «О чем я вам только что говорила? — спросила она спустя некоторое время.— Когда я вспоминаю о вашей матушке, все остальное исчезает из моей головы. О чем я говорила? О чем я говорила?» Я напомнила бедной девушке как можно ласковее и осторожнее. «Ах, да, да,— сказала она все еще как-то недоуменно и рассеянно.— Нет у вас защиты от вашего жестокого мужа. Да. И мне надо сделать то, для чего я пришла сюда: я должна сказать вам то, о чем боялась раньше сказать».— «О чем же?» — спросила я. «О тайне, которой боится ваш жестокий муж,— отвечала она.— Однажды я пригрозила ему тайной, и он испугался. Вы тоже можете пригрозить и напугать его». Лицо ее омрачилось, глаза загорелись гневным, мрачным блеском. Она начала как-то странно, бессмысленно размахивать руками. «Моя мать знает эту тайну,— сказала она,— моя мать полжизни отдала этой тайне. Как-то раз, когда я была уже большая, она мне кое-что сказала. А на следующий день ваш муж...»

— Да-да! Что она сказала о твоем муже?

— Она замолчала, Мэриан.

— И ничего больше не сказала?

— И чутко прислушалась. «Ш-ш! — прошептала она, делая мне знак рукой.— Ш-ш!» Она вышла из беседки, медленно, крадучись пошла прочь и скрылась из моих глаз.

— Ты, конечно, последовала за ней?

— Да, я так встревожилась, что решила идти за ней. Только я встала, как она снова появилась у входа. «А тайна? — шепнула я ей.— Подождите, вы должны рассказать мне про тайну!» Она схватила меня за руку и посмотрела на меня дикими, испуганными глазами. «Не сейчас,— сказала она.— Мы не одни, за нами следят. Приходите сюда завтра в это же время одна — помните, только вы одна». Она поспешно втолкнула меня в беседку, и больше я ее не видела.

— О Лора, Лора, еще одна упущенная возможность! Если бы я была с тобой, она бы так не убежала! В какую сторону она ушла?

— Налево, туда, где лес спускается к самому берегу.

— Ты побежала за ней? Окликнула?

— Я не могла! Мне было страшно пошевельнуться.

— Но когда ты встала, когда ты вышла из беседки?

— Я сразу побежала сюда рассказать тебе обо всем.

— А в парке ты никого не видела и не слышала?

— Нет, когда я шла по аллее, все было тихо, я никого не встретила.

Я задумалась на минуту. Тот, кто, по словам Анны Катерик, тайно присутствовал при их свидании, существовал в действительности или был плодом ее больной фантазии? Ответить на этот вопрос не представлялось возможным. Одно было совершенно очевидно: мы снова упустили случай расспросить ее, упустили безвозвратно и безнадежно, если только она не придет завтра в беседку в назначенный час.

— Ты уверена, что ничего не забыла, что пересказала мне каждое ее слово?

— Да, по-моему,— отвечала она.— Но ты сама знаешь, Мэриан, что моя память хуже твоей. Правда, я слушала ее так внимательно, мне было так интересно и ее слова так глубоко меня тронули, что вряд ли я что-нибудь забыла.

— Лора, дорогая, все, что касается Анны Катерик, имеет для нас огромное значение. Подумай еще. Постарайся припомнить. Она не сказала, где сейчас живет?

— Нет, этого я не помню.

— Она не упоминала о своей подруге и спутнице — о женщине по имени Клеменс?

— О да! Я забыла об этом. Она говорила, что миссис Клеменс хотела идти вместе с ней на озеро. Миссис Клеменс умоляла, чтобы она не ходила одна в нашу сторону.

— Больше она ничего не говорила о миссис Клеменс?

— Нет, это все.

— Она не сказала тебе, где она скрывалась, когда уехала с фермы Тодда?

— Нет, ничего не сказала.

— А о том, где она с тех пор жила? Где лежала больная?

— Нет, Мэриан, ни слова. Скажи мне, прошу тебя, скажи скорей, что ты думаешь обо всем этом? У меня мысли путаются. Я не знаю, что предпринять.

— Ты должна сделать следующее, моя дорогая. Завтра тебе обязательно нужно пойти в беседку. Ты должна снова повидать ее, это очень важно. Может быть,

ты даже не представляешь себе, как много от этого зависит. На этот раз ты будешь не одна. Я буду идти следом за тобой на безопасном расстоянии. Никто меня не увидит, но я буду держаться достаточно близко, чтобы услышать твой голос, если что-нибудь случится. Анна Катерик ускользнула от Уолтера Хартрайта, ускользнула от тебя. Что бы ни случилось, она не ускользнет от меня.

Глаза Лоры читали мои мысли.

— Ты веришь,— сказала она,— в тайну, которой боится мой муж? Мэриан, а что, если она существует только в воображении Анны Катерик? А что, если Анна хотела повидать меня только в силу старых воспоминаний? Она вела себя так странно, что я сомневаюсь в правде ее слов. Можно ли верить ей вообще?

— Я уверена только в одном, Лора: в своих наблюдениях за поведением твоего мужа. По его поступкам я сужу, насколько Анна Катерик права; я уверена, что тайна существует.

Больше я ничего не прибавила и встала, чтобы выйти из комнаты. Меня тревожили мысли, которыми я не хотела с ней делиться,— ей было опасно знать их. Я была под влиянием зловещего сна, от которого она меня пробудила; мрачной, гнетущей тенью он ложился мне на душу, а тут еще новые мрачные впечатления! Меня томило предчувствие. Грозное будущее надвигалось на нас. Я подумала о Хартрайте — я увидела его так ясно, каким он был в минуту прощания, вспомнила, каким я видела его во сне. И я сама начала сомневаться, не движемся ли мы слепо и неотвратимо к предназначенному и неизбежному концу.

Расставшись с Лорой, которая поднялась наверх одна, я пошла посмотреть, какие дороги и тропинки ведут к нашему дому. Меня тревожили обстоятельства, при которых Анна Катерик рассталась с Лорой. Мне хотелось выяснить, где и как проводит сегодня время граф Фоско. Результаты поездки, из которой сэр Персиваль вернулся несколько часов назад, тоже вселяли в меня опасения.

Поискав их обоих во всех направлениях и нигде не обнаружив, я вернулась домой и осмотрела все комнаты нижнего этажа. В комнатах никого не было. Вернувшись в холл, я поднялась наверх к Лоре. Когда я проходила

по коридору, мадам Фоско открыла дверь своей комнаты. Я остановилась, чтобы спросить, не видела ли она своего мужа и сэра Персиваля. Да, она видела их обоих из окна час с лишним назад. Граф посмотрел наверх со своей обычной любезностью и сказал, как всегда внимательный к ней, что они с его другом идут в далекую прогулку.

В далекую прогулку! Насколько мне было известно, совместные прогулки были не в их привычках. Сэр Персиваль любил только верховую езду, а граф (не считая случаев, когда он стремился сопровождать меня) вообще не любил гулять.

Когда я пришла к Лоре, оказалось, что в мое отсутствие она вспомнила о деле с подписью. Мы совершенно забыли о нем за разговором об Анне Катерик. Она встретила меня словами, что удивлена, почему ее не зовут в библиотеку к сэру Персивалю.

— Можешь успокоиться,— сказала я.— По крайней мере, сегодня ни тебя, ни меня не будут беспокоить по этому поводу. Сэр Персиваль изменил свои планы — дело с подписями отложено.

— Отложено? — с изумлением повторила Лора.-- Кто тебе сказал?

— Граф Фоско сообщил мне об этом. Думаю, что именно его влиянию мы обязаны перемене планов твоего мужа.

— Но этого быть не может, Мэриан! Если моя подпись, как мы предполагали, нужна сэру Персивалю, чтобы достать необходимые ему деньги, как он мог отложить это?

— Думаю, Лора, что ответ напрашивается сам собой. Разве ты забыла о подслушанном мною на лестнице разговоре сэра Персиваля с его поверенным?

— Но я не помню...

— А я помню. Было предложено два выхода. Или получить твою подпись под документом, или выиграть время, выдав вексель на три месяца. Очевидно, он решил, что последнее более приемлемо, и мы можем надеяться, что наше участие в затруднениях сэра Персиваля пока не потребуется.

— О, Мэриан, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой!

— Правдой, дорогая моя? Ты недавно сделала мне

комплимент по поводу моей памяти, а сейчас как будто чуть-чуть сомневаешься в ней. Я принесу свой дневник, и ты посмотришь, права я или нет.

Я тут же пошла за моим дневником.

Посмотрев мои записи по поводу визита поверенного, мы обе убедились, что я была совершенно права относительно выбора, перед которым стоял сэр Персиваль. Для меня, как и для Лоры, было большим облегчением убедиться, что моя память пока что служит мне верой и правдой. В опасной неопределенности нашего положения нельзя предугадать, как много зависит от точности моих воспоминаний и регулярности записей в моем дневнике. По лицу и поведению Лоры я догадываюсь, что и она такого же мнения. Это всё такие пустяки, мне даже неловко о них писать, но как ярко они свидетельствуют о нашей полной беспомощности! Значит, нам и вправду не на что положиться, если тот факт, что память не изменяет мне, был воспринят нами с такой радостью, будто мы обрели нового друга!

Гонг, призывающий к обеду, разлучил нас. Как только он отзвучал, появились сэр Персиваль и граф. Они вернулись из своей «далекой прогулки». Мы услышали, как хозяин дома внизу кричит на прислугу за опоздание и как гость вмешивается, по обыкновению, чтобы поддержать мир и порядок в доме.

Вот и вечер прошел. Никаких особых происшествий не было. Но я уловила некоторые особенности в поведении и настроении сэра Персиваля и графа и легла спать, очень встревоженная за Анну Катерик и за результаты ее завтрашнего свидания с Лорой.

За последнее время я хорошо изучила характер сэра Персиваля. Он наиболее опасен и фальшив, когда надевает личину любезности. Когда он бывает в «вежливом» настроении, можно не сомневаться, что это не к добру. Длительная прогулка с графом привела к тому, что манеры его исправились, особенно по отношению к собственной жене. К тайному удивлению Лоры и к моему тайному ужасу, он стал называть ее по имени, спросил, давно ли она не имеет писем от своего дяди и когда собирается пригласить миссис Вэзи в Блекуотер-Парк. Словом, он был так любезен и внимателен к Лоре, что почти напомнил самого себя в дни своего гнусного ухаживания в Лимеридже. Уже одно это является плохим предзнаме-

нованием. Но еще более зловещим, по-моему, было следующее: в гостиной после обеда он притворился спящим, а сам украдкой следил глазами за Лорой и мной, думая, что ни одна из нас этого не замечает. Все эти дни я прекрасно понимала, что он внезапно уехал в Уэлмингам, чтобы повидаться там с миссис Катерик, но после сегодняшнего вечера я боюсь, что поездка его была не напрасной. Очевидно, он получил какие-то важные сведения, за которыми ездил. Если бы я знала, где Анна Катерик, я встала бы завтра на рассвете, чтобы предостеречь ее.

В то время как сегодня вечером сэр Персиваль был таким, каким я его, к сожалению, слишком хорошо знала по прошлому, граф Фоско предстал передо мной в совершенно новом свете. Он позволил мне впервые познакомиться с собой в роли человека чувства — чувства, как мне кажется, подлинного, не притворного.

Начнем с того, что он был сдержан и молчалив, глаза и голос его выражали искреннее, скрытое переживание. Он был (будто между его костюмом и настроением существовала какая-то связь) в самом великолепном из всех своих жилетов — бледно-зеленого атласа, отделанном весьма изысканно тонким серебряным галуном. В голосе его звучала нежность, он улыбался с задумчивым отеческим восхищением, обращаясь к Лоре или ко мне. Он пожимал под столом руку своей жене, когда она благодарила его за какое-нибудь пустячное внимание с его стороны, оказанное ей за обедом. Он чокался с ней.

— За ваше здоровье и счастье, ангел мой! — возгласил он, глядя на нее любящим, затуманенным взором.

Он почти ничего не ел, вздыхал и в ответ на насмешки сэра Персиваля проговорил только: «Мой добрый Персиваль!» После обеда он взял Лору за руку и попросил, не будет ли она бесконечно добра сыграть ему что-нибудь на рояле. Она была так удивлена, что покорилась. Он сел подле рояля, золотая цепочка его часов извивалась и пряталась, как змея, в складках его атласного жилета цвета морской воды. Его огромная голова томно склонилась к плечу, и он тихо помахивал своими бледно-желтыми пальцами в такт музыке. Он чрезвычайно хвалил самую пьесу и нежно восхищался Лориной манерой играть, не так, как делал это когда-то бедный Хартрайт, выражая от души свою неподдельную радость от прекрасной музыки, но со знанием дела, с культурной, профессиональной оценкой качества произведения и стиля игры исполнительницы. Когда сгустились сумерки, он умолял не профанировать прелестного вечернего освещения и не зажигать лампы. Своей страшной, беззвучной походкой он подкрался к окну, у которого я стояла в глубине гостиной, чтобы быть подальше от него и как можно меньше попадаться ему на глаза. Он подошел с просьбой, чтобы я поддержала его протест против лампы. Если бы в эту минуту она могла испепелить его, я сама пошла бы за лампой на кухню и принесла в гостиную, чтобы он сгорел дотла!

— Конечно, вы любите эти мягкие, трепетные английские сумерки? — сказал он тихо.— О, как я люблю их! Я чувствую, как мое врожденное преклонение перед всем благородным, великим, добрым поет в моей душе от небесного дыхания такого вечера, как этот. Природа полна для меня невыразимого очарования и неизъяснимой нежности! Я старый, толстый человек, мисс Голкомб, и речь, которая идет вашим устам, звучит как бред и посмешище в моих. Тяжко в минуту неподдельного чувства казаться смешным, как будто душа моя похожа на меня — так же стара и излишне тучна! Посмотрите, моя дорогая леди, как тает свет на этих деревьях за окном! Трогает ли это так же глубоко ваше сердце, как трогает мое?

Он замолчал, поглядел на меня и вполголоса прочел знаменитые строки Данте о вечерних сумерках с такой проникновенностью, что это придало еще большее очарование бессмертной красоте самих стихов.

— Ба! — вскричал он вдруг, когда заключительные строки благородного итальянского сонета замерли на его устах.— Я строю из себя старого дурака и только надоедаю вам! Закроем окна наших душ и вернемся к житейским, суетным заботам... Персиваль! Я даю свою санкцию на появление ламп. Леди Глайд, мисс Голкомб, Элеонора, жена моя,— кто из вас снизойдет до партии домино в моей компании?

Он обратился с этим предложением ко всем нам, но смотрел главным образом на Лору.

Она согласилась, ибо разделяет мой страх перед ним

и боится обидеть его чем бы то ни было. В эту минуту играть с ним в домино было бы свыше моих сил. Никакие соображения не смогли бы заставить меня сесть с ним за один стол. Казалось, глаза его проникали в самые глубокие тайники моей души и читали мои сокровенные мысли в призрачном, неясном свете сумерек. Воспоминание о моем вещем сне, преследовавшее меня весь вечер, с новой силой встало передо мной и наполнило меня грозным предчувствием и невыразимым ужасом. Я снова увидела белый надгробный памятник над могилой и женщину под вуалью рядом с Хартрайтом. Мысль о Лоре закипела во мне с такой болью и горечью, какой я никогда еще не испытывала. Когда она проходила мимо меня к игральному столу, я схватила ее за руку и поцеловала, как будто эта ночь должна была навеки разлучить нас. И когда все с изумлением поглядели на меня, я выбежала из гостиной в сад, чтобы во тьме ночной спрятаться от них, спрятаться от самой себя.

В этот вечер мы разошлись по своим комнатам позднее, чем обычно. К полуночи порывы глухого, печального ветра среди деревьев нарушили летнюю тишину. Все мы почувствовали в воздухе внезапное похолодание, но граф первый заметил усиливающийся ветер. Зажигая для меня свечу, он остановился и предостерегающе поднял руку.

— Слушайте! — сказал он.— Завтра нас ждет перемена погоды.

VII

19 июня

Вчерашние события подготовили меня к тому, что рано или поздно нам будет худо. День сегодня еще не пришел к концу, а худшее уже случилось.

Высчитав, в какое примерно время Анна Катерик появилась вчера в беседке, мы пришли к заключению, что это было около половины третьего. Поэтому я решила, что Лоре лучше показаться за вторым завтраком, а потом она выскользнет из дому, а я останусь, с тем чтобы последовать за ней, как только смогу. Таким образом, если ничто нам не помешает, она придет в беседку до половины третьего, а я — около трех часов.

Перемена погоды, которую предвещал нам вчера ночью

ветер, наступила сегодня утром. Когда я проснулась, дождь лил как из ведра и шел до полудня. Потом тучи рассеялись, и солнце снова озарило голубые небеса, обещая прекрасную погоду на целый день.

Мое беспокойство по поводу того, как сэр Персиваль и граф проведут сегодняшнее утро, не могло рассеяться по крайней мере в отношении сэра Персиваля, ибо он ушел из дому сразу после завтрака, несмотря на проливной дождь. Он не сказал нам, куда идет и когда вернется. Мы увидели через окно, как он поспешно шел мимо в макинтоше и высоких сапогах, вот и все.

Граф спокойно провел все утро дома, частью в библиотеке, частью в гостиной, наигрывая какие-то музыкальные отрывки и мурлыча себе под нос итальянские арии. Судя по всему, сентиментальная сторона его характера все еще одерживала верх. Он был молчалив и чувствителен и готов был вздыхать и тяжеловесно томиться по малейшему поводу, как могут вздыхать и томиться только толстяки.

Наступил час второго завтрака, но сэр Персиваль не возвращался. Граф занял за столом место своего отсутствующего друга, уныло проглотил половину торта, выпил целый кувшин сливок и, как только прикончил их, объяснил нам истинный смысл своих гастрономических достижений.

— Вкус к сладкому,— сказал он нам с самым томным видом и самым ласкающим тоном,— является невинным пристрастием женщин и детей. Мне приятно разделять его с ними — это еще одно доказательство, мои дорогие леди, моей привязанности к вам.

Десять минут спустя Лора встала из-за стола. Мне очень хотелось уйти вместе с ней, но это показалось бы подозрительным, а главное, если бы Анна Катерик увидела Лору в сопровождении кого-либо другого, мы, по всей вероятности, навсегда потеряли бы ее доверие и возможность узнать от нее что-либо.

Поэтому я терпеливо дождалась, пока слуги не пришли убирать со стола. Когда я вышла из столовой, никаких признаков сэра Персиваля ни в доме, ни снаружи не было. Я оставила графа, когда он с куском сахара в зубах приглашал своего злющего какаду взобраться вверх по его жилету и добыть это лакомство, а мадам Фоско, сидя напротив него, наблюдала за ним и птицей так внима-

тельно, будто никогда за всю свою жизнь не видела ничего более интересного. Я оставила их и тихонько вышла из дома. По дороге к парку я старательно пряталась за деревьями, чтобы меня не увидали из окон столовой. Никто не увидел меня, никто за мной не следил. На моих часах было уже без четверти три.

В парке я ускорила шаги и быстро прошла половину дороги. Потом я стала идти медленно и осторожно, но по-прежнему никого не видела и не слышала ничьих шагов. Мало-помалу я подошла к беседке, остановилась, прислушалась, подошла еще ближе — настолько близко, что, если бы в беседке кто-то был, я бы услышала. Стояла полная тишина, кругом не было ни единой души.

Обойдя беседку, я наконец осмелилась заглянуть в нее. Беседка была пуста. В ней не было никого.

Я позвала: «Лора!» — сначала тихо, потом громче. Никто не появился, никто не откликнулся. Судя по всему, единственным человеком по соседству с озером и парком была я сама.

Сердце мое забилось от волнения, но я не поддалась ему и начала искать сначала в беседке, потом вокруг нее — не найду ли каких-нибудь признаков, что Лора действительно была здесь. В беседке я ничего не нашла, зато снаружи увидела следы на песке.

На песке были отпечатки двух пар ног — большие мужские следы и маленькие. Я поставила свою ногу на маленькие и убедилась, что это следы Лоры. В одном месте, неподалеку от беседки, при ближайшем рассмотрении я заметила в песке ямку — было совершенно очевидно, что это углубление сделано чьими-то руками. Я стала искать следы дальше, желая узнать, в каком они шли направлении.

Следы вели налево от беседки, к опушке парка, потом исчезали. Предполагая, что люди, чьи следы я видела на песке, вошли здесь в лес, я начала искать тропинку. Сначала я не заметила ее, но потом нашла. По тропинке я дошла почти до самой деревни, потом эту тропинку пересекла другая. Я свернула на нее и увидела на одном из кустов, обрамлявших дорожку, кусочек бахромы от женской шали. Я сняла его, убедилась, что Лора проходила здесь, и пошла дальше. К моей радости, дорожка привела меня прямо к дому. К моей радости, ибо я убедилась, что Лора по той или иной причине выбрала

окольный путь и уже вернулась домой. Я прошла мимо служб через конюшенный двор. Первым человеком, которого я встретила, была домоправительница — миссис Майклсон.

— Вы не знаете, леди Глайд вернулась с прогулки или нет?

— Миледи с сэром Персивалем недавно вернулись,— отвечала домоправительница.— Боюсь, мисс Голкомб, что случилась какая-то большая неприятность.

Сердце мое упало.

— Какое-нибудь несчастье, вы хотите сказать? — спросила я ослабевшим голосом.

— Нет-нет, слава богу, никакого несчастья не произошло. Но миледи вся в слезах побежала наверх в свою комнату, а сэр Персиваль приказал мне немедленно рассчитать Фанни.

Фанни, милая, очень преданная Лоре девушка, уже много лет была ее личной горничной. Единственный человек в этом доме, на чью верность и привязанность мы могли положиться.

— Где сейчас Фанни? — спросила я.

— У меня в комнате, мисс Голкомб. Бедная девушка в большом горе, я велела ей посидеть там и успокоиться.

Я пошла к миссис Майклсон повидать Фанни. Она сидела в уголке и заливалась горючими слезами. Рядом с ней стоял уложенный чемодан.

Она ничего не могла объяснить мне — она совершенно не знала, почему ее уволили. Сэр Персиваль приказал ей немедленно убираться, выдав ей жалованье за месяц вперед. Никаких объяснений ей не дали, никаких обвинений в плохом поведении ей не предъявили. Ей запретили обращаться к своей госпоже; запретили даже попрощаться с ней. Ей надлежало немедленно покинуть дом, не объясняясь и не прощаясь ни с кем.

Я постаралась немного успокоить Фанни и спросила, где она предполагает переночевать сегодня. Она отвечала, что думает пойти в деревенскую гостиницу, хозяйку которой, почтенную женщину, хорошо знали многие слуги в Блекуотер-Парке. На следующее утро она думает вернуться к своим родственникам в Кумберленд, не останавливаясь в Лондоне, где она никого не знает.

Я сразу же сообразила, что с отъездом Фанни нам

представляется случай отправить письма в Лондон и Лиммеридж, что было крайне важно. Поэтому я предупредила ее, что вечером принесу ей известия от ее госпожи и что обе мы сделаем все, чтобы помочь ей. С этими словами я пожала ей руку и отправилась наверх.

Дверь комнаты Лоры вела в маленькую переднюю, а затем уже в коридор. Когда я попробовала открыть дверь в переднюю, она оказалась закрытой изнутри.

Я постучала, и та самая толстая служанка, которая с такой тупой бесчувственностью отнеслась к раненой собаке, показалась на пороге. Ее звали Маргарет Порчер. Она была самой неуклюжей, глупой и упрямой из всей здешней прислуги.

Ухмыляясь, она молча застыла на пороге.

— Почему вы торчите здесь? — спросила я.— Разве вы не видите, что я хочу войти?

— Но вы не войдете,— сказала она, ухмыляясь во весь рот.

— Как вы смеете так разговаривать? Посторонитесь сию же минуту!

Она загородила мне дорогу всей своей тушей, обхватила двери огромными красными лапами и кивнула безмозглой головой.

— Приказ хозяина,— сказала она и кивнула опять.

Мне пришлось собрать все свои силы, чтобы удержаться и не высказать, что́ я думала о ней и о ее хозяине. Я вовремя вспомнила, что должна обратиться за разъяснениями к нему самому. Я сейчас же пошла вниз искать его. К стыду своему, должна признаться, что мое решение держать себя в руках и не раздражаться на сэра Персиваля было начисто забыто. После всего того, что я вытерпела и подавляла в себе в этом доме, мне было прямо-таки приятно чувствовать, как сильно я рассердилась.

В столовой и гостиной никого не было. В библиотеке я застала сэра Персиваля, графа и мадам Фоско. Они стояли вместе. Сэр Персиваль держал в руках какой-то клочок бумаги. Открывая дверь, я услышала, как граф сказал ему:

— Нет, тысячу раз нет!

Я подошла к нему и посмотрела прямо ему в лицо.

— Правильно ли я поняла, сэр Персиваль? Комната

вашей жены — тюрьма, а ваша служанка — тюремщик, который сторожит ее? — спросила я.

— Да, вам придется это понять,— отвечал он.— Берегитесь, как бы моему тюремщику не пришлось сторожить двух, берегитесь, чтобы ваша комната тоже не стала тюрьмой!

— Берегитесь вы сами! Как смеете вы так обращаться с вашей женой и угрожать мне! — вскричала я в бешенстве.— В Англии существуют законы, чтобы защитить женщину от жестокого обращения и оскорбления! Если вы тронете хоть один волосок на Лориной голове, если вы осмелитесь посягнуть на мою свободу,— будь что будет, но я обращусь к этим законам.

Вместо ответа он повернулся к графу.

— Что я вам говорил? — спросил он.— Что вы теперь скажете?

— То, что говорил раньше,— отвечал граф.— Нет.

Даже сейчас, несмотря на свой гнев, я чувствовала на себе спокойные, холодные, стальные глаза графа. Как только он проговорил свое категорическое «нет», он оторвал свой взгляд от меня и многозначительно посмотрел на жену. Мадам Фоско немедленно придвинулась ко мне и, стоя рядом со мной, обратилась к сэру Персивалю прежде, чем мы успели произнести хоть единое слово.

— Будьте любезны выслушать меня,— сказала она ледяным тоном.— Благодарю вас за гостеприимство, сэр Персиваль, я вынуждена отказаться от него в дальнейшем... Я не останусь в доме, где с дамами обращаются подобно тому, как сегодня обошлись с вашей женой или с мисс Голкомб.

Сэр Персиваль попятился и уставился на нее в мертвом молчании. Он буквально замер от удивления, услышав декларацию мадам Фоско, на которую, как хорошо было известно и ему и мне, она никогда не отважилась бы без разрешения своего мужа. Граф стоял подле сэра Персиваля и смотрел на жену с нескрываемым восхищением.

— Божественная женщина! — сказал он вполголоса. С этими словами подошел к ней и взял ее под руку.— Я к вашим услугам, Элеонора,— проговорил он со спокойным достоинством, которого я никогда раньше не замечала в нем.— И к услугам мисс Голкомб, если она

окажет мне честь принять всяческое содействие, которое я ей предлагаю.

— Черт возьми! Что это значит? — вскричал сэр Персиваль, когда граф вместе с мадам Фоско спокойно направился к двери.

— В другое время это значило бы то, что я хотел сказать, но в данную минуту это значит то, что сказала моя жена,— отвечал непостижимый итальянец.— Мы впервые поменялись местами, Персиваль, и решение мадам Фоско — мое решение.

Сэр Персиваль скомкал клочок бумаги, который держал в руке, и, с проклятьем оттолкнув графа, стал перед ним у дверей.

— Будь по-вашему! — сказал он глухим от ярости голосом.— Будь по-вашему, но вот посмóтрите, к чему это приведет! — И с этими словами он вышел из комнаты.

Мадам Фоско вопросительно взглянула на мужа.

— Он так внезапно ушел,— сказала она.— Что это значит?

— Это значит, что нам с вами удалось образумить самого вспыльчивого человека в Англии,— отвечал граф.— Это значит, мисс Голкомб, что леди Глайд спасена от грубой несправедливости, а вы — от повторения столь дерзкого выпада. Разрешите мне выразить мое восхищение перед вашим мужеством и вашим поведением в очень трудную минуту.

— Искреннее восхищение,— подсказала мадам Фоско.

— Искреннее восхищение,— отозвался, как эхо, граф.

Силы мои иссякли, гнев утих, моя решимость победить всякое сопротивление больше не помогала мне. Невыносимая тревога за Лору, чувство беспомощного неведения о том, что произошло с ней в беседке, лежали на мне непосильной тяжестью. Чтобы соблюсти приличие, я хотела ответить графу и его супруге в том же высокопарном тоне, в котором они говорили со мной, но не могла говорить и, задыхаясь, молча смотрела на двери. Граф понял мое состояние, распахнул двери, вышел и закрыл их за собой. В ту же минуту послышались тяжелые шаги сэра Персиваля, который спускался по лестнице. Я услышала, как они зашептались. В это время мадам Фоско с самым

невозмутимым и любезным видом говорила мне, как она рада за всех нас, что ни ей, ни ее супругу не пришлось покинуть Блекуотер-Парк из-за поведения сэра Персиваля. Прежде чем она закончила свою речь, перешептывание прекратилось, дверь открылась и в комнату заглянул граф.

— Мисс Голкомб,— сказал он,— я счастлив уведомить вас: леди Глайд снова хозяйка в своем доме. Считая, что вам будет приятнее услышать об этой перемене к лучшему от меня, чем от сэра Персиваля, я вернулся, чтобы доложить вам об этом.

— Восхитительная деликатность! — сказала мадам Фоско, возвращая своему супругу комплимент, который он перед этим ей сделал.

Граф улыбнулся и отвесил поклон, как будто получил официальное одобрение со стороны какого-нибудь постороннего лица, а затем подвинулся, чтобы дать мне дорогу.

Сэр Персиваль был в холле. Когда я бежала вверх по лестнице, я слышала, как он нетерпеливо просил графа выйти из библиотеки.

— Чего вы там ждете? — сказал он.— Я хочу поговорить с вами!

— А я хочу поразмыслить в одиночестве,— возразил тот.— Позже, Персиваль, позже!

Ни он, ни его друг ничего больше не сказали. Я была уже наверху и бежала по коридору. Я так спешила, что забыла закрыть за собой двери из коридора в переднюю, но захлопнула двери спальной, как только вбежала туда.

Лора сидела одна в глубине комнаты, уронив руки на стол и склонив на них голову. Она вскрикнула от радости при виде меня.

— Как ты сюда вошла? — спросила она.— Кто тебе разрешил? Неужели сэр Персиваль?

Но мне так хотелось поскорей расспросить ее о том, что с ней случилось, что я не могла отвечать ей — я могла только сама задавать вопросы. Однако желание Лоры узнать, что произошло внизу, было сильнее моего нетерпения. Она настойчиво повторяла свой вопрос.

— Конечно, граф,— с нетерпением отвечала я.— Благодаря его влиянию...

Она прервала меня гневным жестом.

— Не говори мне о нем! — вскричала она.— Граф самый гнусный из людей, гнуснее всех на свете! Граф — жалкий шпион!..

Не успела она закончить свою фразу, как раздался тихий стук в дверь.

Я первая подошла к двери, чтобы посмотреть, кто там. За дверью я увидела мадам Фоско. Она стояла передо мной с моим носовым платком в руках.

— Вы обронили его внизу, мисс Голкомб,— сказала она.— Я решила занести его вам по дороге в свою комнату.

Лицо ее, всегда бледное, было покрыто сейчас такой мертвенной бледностью, что я отшатнулась при виде ее. Руки ее, обычно такие уверенные и спокойные, заметно дрожали, а глаза хищно смотрели мимо меня прямо на Лору.

Прежде чем постучать, она подслушивала за дверью! Я поняла это по ее бледному лицу, по дрожанию рук, по взгляду, устремленному на Лору.

Постояв так, она молча отвернулась от меня и медленно пошла прочь.

Я снова закрыла дверь:

— О, Лора, Лора! Мы обе проклянем тот день, когда ты назвала графа шпионом!

— Ты сама назвала бы его так, Мэриан, если бы знала то, что я теперь знаю. Анна Катерик была права. Вчера кто-то действительно следил за нами, и это был...

— Ты уверена, что это был граф?

— Совершенно уверена. Он шпион сэра Персиваля, он его осведомитель. Он послал сэра Персиваля сторожить и ждать с утра меня и Анну Катерик!

— Анну нашли? Ты виделась с ней на озере?

— Нет. Она спаслась благодаря тому, что не пришла. Когда я вошла в беседку, там никого не было.

— Ну? Ну?

— Я села и подождала несколько минут. Но нетерпение мое было так велико, что я встала и решила немного походить. Когда я вышла из беседки, я заметила у входа следы на песке. Я нагнулась, чтобы рассмотреть их, и увидела, что на песке большими буквами написано какое-то слово. Это слово было «смотри».

— И ты стала разрывать песок на этом месте и выкопала ямку?

— Откуда ты это знаешь, Мэриан?

— Я сама видела это углубление, когда пришла за тобой в беседку. Продолжай, ради бога!

— Ну вот, я разрыла песок и очень скоро наткнулась на клочок бумаги, на котором было что-то написано. В конце стояли инициалы Анны Катерик.

— Где записка?

— Сэр Персиваль отнял ее у меня.

— Ты можешь припомнить, что там было написано, и повторить?

— Я помню смысл и могу передать его тебе, Мэриан. Записка была очень коротенькая. Ты запомнила бы ее слово в слово.

— Прежде всего расскажи мне ее содержание, а потом будешь рассказывать, что было дальше.

Она исполнила мою просьбу.

Записываю ее слова в точности.

«Вчера нас с вами видел высокий толстый старик, мне пришлось убежать от него. Ему не удалось догнать меня, он потерял меня из виду в лесу. Я не хочу рисковать и приходить сюда в назначенный нами час. Я пишу это в 6 часов утра и спрячу записку в песок, чтобы предупредить вас. В следующий раз, когда мы с вами будем говорить про тайну вашего жестокого мужа, мы должны или встретиться с вами в надежном месте, или не встречаться совсем. Потерпите немного. Я обещаю вам, что вы меня снова увидите, и скоро. А. К.».

Ссылка на высокого толстого старика (Лора была уверена, что помнит эти слова в точности) не оставляла сомнения в том, кто именно был незваным гостем около беседки. Я вспомнила, как я сказала вчера сэру Персивалю в присутствии графа, что Лора пошла в беседку искать свою брошку. По всей вероятности, граф позаботился успокоить ее известием, что подпись ее не нужна больше, и поэтому решил отправиться в беседку сразу же после того, как сообщил мне в гостиной об изменении в планах сэра Персиваля. В таком случае он мог подойти к беседке только в ту минуту, когда Анна Катерик его заметила, не раньше. То, что она так подозрительно быстро рассталась с Лорой, очевидно, и побудило его сделать неудачную попытку догнать ее. Граф не мог слышать их предыдущего разговора. Когда я прикинула расстояние от дома до озера

и сопоставила час, в который он зашел ко мне в гостиную, с часом встречи Лоры с Анной Катерик в беседке, у меня не осталось в этом никакого сомнения.

Придя к этому выводу, я постаралась узнать от Лоры, что же произошло после того, как граф сообщил сэру Персивалю о своих наблюдениях.

— Каким образом ты отдала ему записку? — спросила я.— Что ты с ней сделала, когда нашла ее в песке?

— После того как я прочитала ее,— отвечала она,— я взяла ее в беседку, чтобы посидеть там и перечитать еще раз. Только я начала читать, как на нее упала чья-то тень. Я подняла глаза и увидела сэра Персиваля — он стоял у входа и наблюдал за мной.

— Ты попыталась спрятать записку?

— Да, но он остановил меня. «Можете не стараться и не прятать записку,— сказал он,— я ее уже прочитал». Я беспомощно смотрела на него, я ничего не могла выговорить. «Вы понимаете? — продолжал он.— Я прочитал ее. Два часа назад я вырыл записку из песка, и опять зарыл ее, и опять написал слово «смотри», чтобы она попала в ваши руки. Теперь вам не отвертеться, вам не удастся солгать. Вчера у вас было тайное свидание с Анной Катерик, а сегодня у вас в руках записка от нее. Я еще не изловил ее, но поймал вас. Дайте мне эту записку». Он подошел ко мне — я была с ним одна, Мэриан, что мне оставалось делать? — я отдала ему записку.

— Что он тогда сказал?

— Сначала он ничего не сказал. Он схватил меня за руку, вытащил из беседки и начал озираться по сторонам, по-видимому опасаясь, что нас увидят или услышат. Потом он крепко сжал мою руку — над локтем — и прошептал: «Что вам говорила вчера Анна Катерик? Я требую, чтобы вы рассказали мне все с первого до последнего слова!»

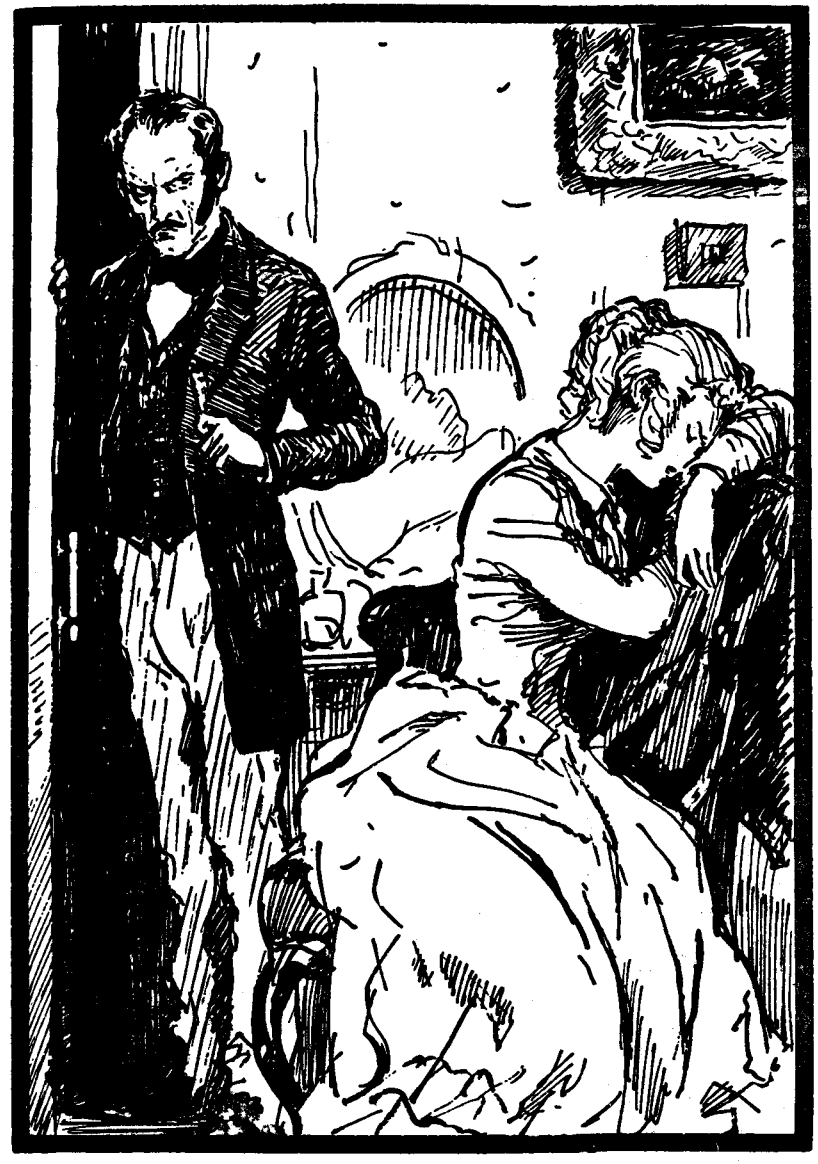
— И ты это сделала?

— Я была с ним одна, Мэриан, он вцепился в мою руку — мне было так больно! Что мне оставалось делать?

— На твоей руке остался синяк? Покажи мне его.

— Зачем?

— Я хочу его видеть, Лора, ибо надо положить конец нашему терпению. С сегодняшнего дня мы должны начать сопротивляться. Этот синяк — оружие против него.



Дай мне взглянуть на синяк,— может быть, в дальнейшем мне придется показать под присягой, что я его видела.

— О Мэриан, не гляди так! Не говори так! Мне уже не больно.

— Покажи мне синяк!

Она показала мне свои синяки. Мне было уже не до слез, я не могла ни жалеть ее, ни содрогаться при виде этих синяков. Говорят, что мы, женщины, либо лучше, либо хуже мужчин. Если бы сейчас он появился передо мной, я бы не устояла от искушения... Но, слава создателю, его жена ничего не заметила на моем лице. Кроткая, невинная, любящая, она думала только, что я жалею ее и боюсь за нее, не больше.

— Не принимай мои синяки слишком близко к сердцу,— сказала она, спуская рукав,— мне сейчас уже не больно.

— Ради тебя я постараюсь не думать о них, моя дорогая. Ну хорошо. Значит, ты передала ему все, что сказала тебе Анна Катерик,— то самое, о чем ты говорила и мне?

— Да, все. Он этого требовал, я была с ним одна, я ничего не могла скрыть от него.

— Когда ты замолчала, он что-нибудь сказал?

— Он посмотрел на меня и засмеялся язвительно, злобно. «Я заставлю вас признаться во всем! — сказал он.— Вы слышите? Я хочу знать все остальное!» Я клялась, что рассказала ему все. «О нет! — отвечал он.— Вы знаете гораздо больше, чем хотите в этом признаться. Вы не желаете говорить? Я вас заставлю! Я выпытаю из вас все, если не здесь, то дома!» Он повел меня домой незнакомой дорогой — я уже больше не надеялась, что встречу тебя,— и молчал, пока вдали не показался наш дом. Тогда он остановился и сказал: «Я еще раз даю вам возможность во всем мне признаться. Может быть, вы передумали и скажете мне все остальное?» Я могла только повторить ему то же самое, что рассказала перед этим. Он начал осыпать меня проклятиями за мое «упрямство», и пошел дальше, и привел меня домой. «Вам не удастся обмануть меня,— сказал он.— Вы знаете больше, чем хотите рассказать. Я вытяну из вас все — и из вашей сестры тоже. Мне надоели ваши перешептывания и секреты, их больше не будет. Ни вы, ни она не увидите

больше друг друга, пока во всем не признаетесь мне. Вас будут сторожить и днем и ночью, пока вы не скажете мне всю правду». Он был глух к моим мольбам и уверениям. Он отвел меня в мою спальню. Фанни сидела здесь и занималась починкой. Он приказал ей немедленно удалиться. «Я позабочусь о том, чтобы вас не втянули в этот заговор,— сказал он.— Вы сегодня же уедете. Если вашей госпоже угодно иметь горничную — я ей выберу горничную по своему усмотрению». Он втолкнул меня в комнату и запер за мной дверь на ключ. Потом прислал эту бесчувственную женщину сторожить меня, Мэриан! Он выглядел и разговаривал как сумасшедший. Тебе, наверно, не верится, но это вправду было так.

— Я верю, я все понимаю, Лора. Он сошел с ума — сошел с ума от страха, ибо у него совесть нечиста. После твоего рассказа я совершенно уверена, что вчера Анна Катерик хотела рассказать тебе тайну, которая может погубить твоего мужа. Он думает, что ты уже знаешь эту тайну. Что бы ты ни сказала ему теперь, он не успокоится,— ничто не убедит его, что ты говоришь правду. Я говорю все это не для того, чтобы напугать тебя, ангел мой, а для того, чтобы открыть тебе глаза на положение, в котором ты находишься. Я хочу убедить тебя, что мне необходимо действовать в твою защиту, пока шансы еще на нашей стороне. Благодаря вмешательству графа Фоско я могла повидать тебя сегодня, но завтра граф может не пожелать больше вмешиваться. Сэр Персиваль выгнал Фанни, потому что она сообразительная девушка и искренне преданна тебе, а выбрал на ее место женщину, которая относится к тебе с полным равнодушием, равную по тупости цепному псу во дворе. Невозможно предугадать, какие жестокие меры он предпримет в дальнейшем, если только мы не используем все наши возможности, пока они у нас есть.

— Но что мы можем сделать, Мэриан? О, если бы мы могли навсегда уехать отсюда и никогда больше сюда не возвращаться!

— Выслушай меня, ангел мой, и постарайся поверить, что ты не совсем беззащитна, пока я с тобой.

— Я постараюсь — я уже верю в это. Но не думай только обо мне — не забудь про бедную Фанни. Она тоже нуждается в утешении и помощи.

— Я не забуду ее. Я виделась с ней перед тем, как пришла сюда, и уговорилась повидать ее еще раз вечером. В Блекуотер-Парке письма не в безопасности, когда их опускаешь в почтовую сумку, а мне придется сегодня отослать два письма относительно тебя — они должны попасть в руки одной только Фанни.

— Какие письма?

— Во-первых, Лора, я хочу написать компаньону мистера Гилмора, который предложил нам свою помощь. Я мало разбираюсь в законах, но уверена, что они могут защитить женщину от жестокого обращения, к которому прибегнул сегодня этот негодяй. Я не буду пускаться в подробности относительно Анны Катерик, так как никаких точных сведений о ней я сообщить не могу. Но поверенному станет известно об этих синяках и о том, как тебя заперли в твоей комнате. Я не успокоюсь, пока он не узнает об этом!

— Но подумай об огласке, Мэриан!

— Я рассчитываю именно на огласку. Опасаться огласки должен сэр Персиваль, а не ты. Только перспектива огласки может принудить его к какому-то компромиссу.

Я поднялась, чтобы уйти, но Лора умоляла меня не оставлять ее одну.

— Ты доведешь его до крайности,— сказала она,— и наше положение станет во много раз опаснее.

Я поняла правду, ужасающую правду ее слов. Но мне не хотелось признаваться ей в этом. В нашем отчаянном положении нам оставалось только идти на риск, до такой степени мы были бессильны и беззащитны. Я осторожно сказала ей об этом. Она горько вздохнула, но не стала спорить. Она только спросила, кому я хочу написать второе письмо.

— Мистеру Фэрли,— сказала я.— Твой дядя — твой ближайший родственник и глава семьи. Он обязан вмешаться — и сделает это.

Лора грустно покачала головой.

— Да, да! — продолжала я.— Твой дядя слаб, эгоистичен, равнодушен, это так, я знаю, но все же он не сэр Персиваль Глайд, и у него нет таких друзей, как граф Фоско. Я не жду от него доброты или родственной нежности, но он сделает все, чтобы оградить свой покой. Если только мне удастся убедить его, что, вмешайся он сейчас,

в дальнейшем он избежит всяких треволнений и неприятной ответственности, тогда он расшевелится ради самого себя. Я знаю, как вести себя с ним, Лора, кое-какая практика у меня уже была.

— Если бы только ты сумела упросить его разрешить мне вернуться на время в Лиммеридж и спокойно пожить там с тобой, Мэриан, я стала бы, наверно, почти такой же счастливой, как была до замужества!

Эти слова направили мои мысли по новому пути. Можно ли поставить сэра Персиваля перед необходимостью выбирать между двумя возможностями: подвергнуться судебному преследованию за жестокое обращение с женой или согласиться спокойно разъехаться с ней под предлогом, что она поедет погостить к своему дядюшке? Согласится ли он на последнее предложение? Это было более чем сомнительно. И все же, каким бы безнадежным оно ни казалось мне, попробовать стоило. Я решила отважиться на это просто с отчаяния, за неимением лучшего.

— Я напишу дяде о твоем желании,— сказала я,— и посоветуюсь с поверенным. Может быть, из этого что-нибудь выйдет.

С этими словами я снова поднялась, чтобы уйти, и снова Лора удержала меня.

— Не оставляй меня! — сказала она неуверенно.— Мои письменные принадлежности на этом столе, ты можешь писать письма здесь.

Мне было очень горько отказывать ей в этой просьбе. Но мы и так уже слишком долго были вместе. Если бы мы возбудили новые подозрения, то, может быть, не смогли бы больше видеться друг с другом. Мне следовало сейчас появиться внизу, среди этих негодяев, которые, возможно, в эту минуту думали и говорили о нас. Я объяснила все Лоре и убедила ее, что нам необходимо расстаться.

— Приблизительно через час или около того, ангел мой, я вернусь к тебе,— сказала я.— На сегодня самое худшее уже позади. Сиди спокойно и не бойся ничего.

— Ключ в двери, Мэриан? Можно мне запереться изнутри?

— Да, конечно, вот ключ. Запрись и никому не отпирай, пока я не вернусь.

Я поцеловала ее и оставила одну. Уходя, я с ра-

достью услышала, как за мной защелкнулся замок,— теперь я знала, что она в целости и сохранности за запертой дверью.

VIII

19 июня

На лестнице мне пришло в голову, что и мою дверь следовало бы запирать, а ключ для верности иметь всегда при себе, когда я ухожу из комнаты. Мой дневник вместе с другими бумагами был заперт в ящике письменного стола, но письменные принадлежности лежали сверху. В числе их была моя печать (с весьма обычным вензелем — два голубя пьют из одной чаши) и несколько листков промокательной бумаги с отпечатками моих записей, сделанных накануне ночью. Мне казалось опасным оставлять незапертыми даже эти пустяки, до такой степени я была во власти подозрений, ставших частью меня самой. В мое отсутствие замок ящика казался мне ненадежной защитой. Надо было преградить доступ к этому ящику — мне следовало запирать дверь своей комнаты.

Никаких следов чужого пребывания в моей комнате я не обнаружила. Мои письменные принадлежности (я дала строгие указания горничной никогда не трогать их) лежали, как обычно, в беспорядке на столе. Единственное, что бросилось мне в глаза, была моя печать, аккуратно положенная на поднос вместе с карандашами и воском. Класть ее туда, должна признаться, было не в моих привычках, к тому же я никак не могла припомнить, когда я это сделала. С другой стороны, я не могла припомнить, куда, собственно, я ее бросила,— весьма возможно, что на этот раз я машинально положила ее на место, и я не стала ломать себе голову над этой новой загадкой, с меня было достаточно волнений сегодняшнего дня. Я заперла дверь, положила ключ в карман и спустилась вниз.

Мадам Фоско была в холле одна и разглядывала барометр.

— Все еще падает,— сказала она.— Боюсь, что снова пойдет дождь.— Лицо ее было, по обыкновению, бледным и непроницаемым. Но рука, показывавшая на стрелку барометра, заметно дрожала.

Успела ли она уже передать своему мужу, как Лора в моем присутствии назвала его шпионом? Я сильно подозреваю, что это так. Одна мысль о последствиях, которые это может иметь, наполняет меня ужасом — ужасом тем более непреодолимым, что, по существу, я не понимаю его причины. Мадам Фоско не простила своей племяннице, что та, сама того не подозревая, стоит между нею и наследством в десять тысяч фунтов. Несмотря на ее напускную, внешне безупречную любезность, я непоколебимо уверена в этом. Моя уверенность вытекает из разных мелочей, которые женщины так хорошо умеют подмечать друг у друга. Все эти соображения мгновенно нахлынули на меня и побудили заговорить с ней в напрасной надежде употребить все мое влияние, всю силу моего красноречия, чтобы хоть как-нибудь искупить оскорбление, нанесенное графу Лорой.

— Могу ли я надеяться, мадам Фоско, что вы любезно простите меня, если я осмелюсь заговорить с вами по поводу одного чрезвычайно прискорбного случая?

Она скрестила руки на груди и величественно наклонила голову, не произнеся ни слова и не спуская с меня глаз.

— Когда вы были так добры принести мне мой носовой платок,— продолжала я,— я очень, очень боюсь, что вы могли случайно услышать слова Лоры, которые я не желаю повторять и не буду пытаться оправдывать. Я только позволю себе надеяться, что вы не сочли их настолько важными, чтобы упоминать о них графу?

— Я не придала им никакого значения! — резко и горячо сказала мадам Фоско.— Но,— прибавила она, мгновенно делаясь ледяной,— у меня нет секретов от моего мужа, даже пустячных. Как только он заметил мое огорченное лицо, мне пришлось исполнить свой неприятный долг и объяснить ему причину моего огорчения. Признаюсь вам откровенно, мисс Голкомб, я все рассказала ему.

Я была готова к этому, однако вся похолодела при ее словах.

— Разрешите мне со всей серьезностью умолять вас, мадам Фоско, и умолять графа принять во внимание печальные обстоятельства, в которых сейчас находится моя сестра. Она сказала это, когда была вне себя от несправедливой обиды, нанесенной ей мужем. Она сама

не помнила, что говорила, когда произнесла эти опрометчивые слова. Могу ли я надеяться, что, принимая все это во внимание, ее слова будут великодушно прощены?

— Безусловно! — сказал за моей спиной спокойный голос графа.

Он подкрался к нам своей бесшумной походкой, держа в руках книгу.

— Когда леди Глайд произнесла эти необдуманные слова,— продолжал он,— она совершила несправедливость по отношению ко мне, которую я оплакиваю — и прощаю. Не будем никогда больше возвращаться к этому, мисс Голкомб. Постараемся предать эти слова забвению.

— Вы так добры,— пробормотала я,— вы снимаете такую огромную тяжесть с моей души!..

Я попыталась продолжать, но его глаза не отрывались от меня, его страшная улыбка, скрывающая его истинные чувства, безжалостно и неумолимо застыла на его широком, гладком лице. Моя уверенность в его безграничной фальшивости, сознание, до чего я унизилась, вымаливая прощения у него и у его жены, привели меня в такое смятение, что слова замерли на моих устах, и я молча стояла перед ним.

— Я на коленях умоляю вас не говорить больше об этом, мисс Голкомб. Я воистину потрясен, что вы сочли нужным сказать так много! — С этими любезными словами он взял мою руку — о, как я себя презираю, как мало утешает меня сознание, что я покорилась этому ради Лоры! — он взял мою руку и поднес к своим ядовитым губам.

До этих пор я еще никогда не чувствовала с такой предельной ясностью, как велик мой ужас перед ним. Эта безобидная фамильярность потрясла меня, как самое гнусное оскорбление, которое мужчина мог бы мне нанести. Я скрыла свое отвращение и попыталась улыбнуться — я, когда-то так безжалостно осуждавшая лживость других женщин, была в этот миг фальшивее худшей из них, была такой же фальшивой, как этот Иуда, чьи губы прикоснулись к моей руке.

Я не могла бы сохранять свое унизительное самообладание, если бы он продолжал смотреть на меня. Ревнивая, как тигрица, жена его пришла мне на помощь

и отвлекла его внимание, когда он завладел моей рукой. Холодные голубые глаза ее засверкали, бледные щеки вспыхнули, она вдруг стала выглядеть на много лет моложе.

— Граф,— сказала она,— вы забываете, что ваша вежливость иностранца непонятна англичанке!

— Простите меня, мой ангел! Она понятна самой лучшей из всех англичанок в мире! — С этими словами он выпустил мою руку и невозмутимо поднес к губам руку своей жены.

Я побежала наверх, чтобы найти прибежище в своей комнате. Если бы у меня было время для размышлений, когда я осталась одна, мои собственные мысли причинили бы мне много страданий. Но размышлять было некогда.

По счастью, времени было в обрез, и это сознание поддерживало мое мужество и спокойствие,— мне оставалось только действовать.

Необходимо было написать поверенному и мистеру Фэрли, и я, ни минуты не колеблясь, села за письменный стол.

Мне не приходилось выбирать, к кому обратиться за помощью, я могла рассчитывать только на самое себя, ни на кого больше. У сэра Персиваля не было по соседству ни друзей, ни родных, которым я могла бы написать. У него не было знакомых среди людей, занимающих в свете такое же положение, как и он. С соседями по имению он тоже не знался и был с ними скорее в плохих отношениях. У нас обеих не было ни отца, ни брата, которые могли бы приехать и стать на нашу защиту. Оставалось только написать эти два не очень убедительных письма. Если бы мы с Лорой попытались тайно бежать из Блекуотер-Парка, все дальнейшие мирные переговоры с сэром Персивалем были бы невозможны. Все осудили бы нас за это. Ничего, кроме перспективы неминуемой гибели, не могло бы служить нам оправданием в случае такого побега. Сначала надо было попробовать, не помогут ли нам письма.

Я ничего не написала поверенному об Анне Катерик, потому что (как я уже сказала Лоре) она была связана с тайной, которую мы не могли объяснить, и потому сообщать о ней юристу было бесполезно. Я предоставила поверенному отнести позорное поведение сэра Персиваля

за счет новых разногласий с женой по поводу денежных дел. Я просто просила его совета и спрашивала, можно ли принять законные меры для защиты Лоры, если бы она захотела покинуть Блекуотер-Парк и вернуться со мной на некоторое время в Лиммеридж, а ее муж не соглашался бы на это. Относительно подробностей ее отъезда я отсылала его к мистеру Фэрли, заверяя его, что пишу с согласия самой Лоры.

Я закончила свое письмо просьбой действовать как можно скорей и употребить власть закона, чтобы помочь нам.

Затем я занялась письмом к мистеру Фэрли. Чтобы заставить его немного расшевелиться, я обратилась к нему в выражениях, о которых уже упомянула Лоре. В письмо к нему я вложила копию моего письма к поверенному, чтобы мистер Фэрли понял, насколько все это серьезно, и представила ему наш переезд в Лиммеридж как единственный выход из создавшегося положения. По моим словам, только это могло предотвратить опасность, грозящую Лоре, и уберечь дядю с племянницей от неизбежных неприятностей в недалеком будущем.

Написав и запечатав оба письма, я пошла показать их Лоре.

— Тебя никто не беспокоил? — спросила я, когда она открыла мне двери.

— Никто не стучался ко мне,— отвечала она,— но я слышала чьи-то шаги в передней.

— Кто это был — мужчина или женщина?

— Женщина. Я слышала шуршание ее юбок.

— Шуршание шелка?

— Да, шелка.

Очевидно, мадам Фоско была на страже. Если она делала это по собственному почину, это не было страшно. Но если она сторожила Лору по приказанию графа, будучи послушным инструментом в его руках, это было слишком серьезно, чтобы не обратить на это внимания.

— Когда ты перестала слышать, как шуршат юбки в передней, что было дальше? — спросила я.— Они зашуршали по коридору?

— Да. Я сидела тихо и слушала, это было именно так.

— В какую сторону?

— К твоей комнате.

Я задумалась. Я не слышала этого шуршания. Я была слишком занята своими письмами. Рука у меня тяжелая, перо мое скрипит и царапает бумагу. Мадам Фоско могла скорее различить этот звук, чем я — шуршание ее шелковых юбок. Это было лишней причиной не доверять мои письма почтовой сумке в холле.

Лора заметила мою задумчивость.

— Новые затруднения! — устало сказала она.— Новые затруднения, новые опасности!

— Никакой опасности,— возразила я,— просто маленькое затруднение. Я думаю о наилучшем способе передать письма в руки Фанни.

— Значит, ты их уже написала? О, Мэриан, умоляю тебя, будь осторожна!

— Нет-нет, бояться нечего. Скажи мне, который час?

Было без четверти шесть. Дойти до деревенской гостиницы и вернуться к обеду у меня уже не было времени. Но если бы я стала ждать до вечера, мне, пожалуй, не удалось бы незаметно уйти из дому.

— Запрись, и пусть ключ остается в замочной скважине, Лора,— сказала я.— А за меня не бойся. Если за дверью кто-нибудь будет меня спрашивать, откликнись и скажи, что я пошла погулять.

— Когда ты вернешься?

— К обеду — непременно. Мужайся, душа моя! Завтра в это время о твоем положении будет известно разумному, честному, здравомыслящему человеку. После мистера Гилмора нашим ближайшим другом является его компаньон.

Я вышла и решила, что, пока не узнаю, что делается на нижнем этаже, мне лучше не показываться в костюме для прогулки. Я еще не установила, в доме сэр Персиваль или нет.

Пение канареек в библиотеке и запах табачного дыма, струящийся через приоткрытую дверь, сразу подсказали мне, где находится граф. Я оглянулась, когда проходила мимо, и, к своему изумлению, увидела, что он с очаровательной любезностью показывает достижения своих любимцев — домоправительнице! Очевидно, он сам пригласил ее посмотреть на них, потому что ей никогда бы не пришло в голову пойти в библиотеку. За каждым по-

ступком этого человека всегда стоит какой-то умысел. Что он сейчас замышляет?

Мне было некогда заниматься расследованием причин, побудивших его чаровать домоправительницу. Я начала искать мадам Фоско и убедилась, что она занята своим любимым делом — графиня гуляла вокруг водоема.

Я не знала, как она встретит меня после вспышки ревности, которую я возбудила в ней незадолго до этого. Но муж успел укротить ее — она заговорила со мной со своей обычной вежливостью. Я обратилась к ней только для того, чтобы разузнать, куда девался сэр Персиваль. Мне удалось косвенно упомянуть о нем, и после некоторого сопротивления она наконец сдалась и сказала, что он вышел из дому.

— Какую из лошадей он взял? — спросила я небрежно.

— Ни одной. Он ушел пешком два часа назад. Насколько я поняла — чтобы навести справки о женщине по имени Анна Катерик. По-видимому, он решил во что бы то ни стало найти ее — непонятно для чего. Не знаете ли вы, мисс Голкомб, ее сумасшествие опасно?

— Не знаю, графиня.

— Вы идете домой?

— Да, я думаю. Наверно, скоро уже надо будет переодеваться к обеду.

Мы вместе вернулись в дом. Мадам Фоско поплыла в библиотеку и закрыла за собой двери. Я сразу же бросилась за шляпой и шалью. Нельзя было терять ни минуты, если я хотела добежать до гостиницы, увидеться с Фанни и вовремя вернуться к обеду.

Когда я снова проходила через холл, там не было ни души. Пение канареек в библиотеке прекратилось. Мне некогда было останавливаться для новых расследований. Я убедилась, что путь свободен, и поспешила выйти из дому с двумя письмами в кармане.

По дороге в деревню я приготовилась к тому, что, возможно, повстречаюсь с сэром Персивалем. Я была уверена, что не растеряюсь, если мне придется иметь дело с ним одним. Всякая женщина, умеющая держать себя в руках, всегда может справиться с мужчиной, который в гневе не помнит себя. У меня не было такого страха перед сэром Персивалем, какой я испытывала

перед графом. Вместо того чтобы обеспокоиться, услышав о цели его прогулки, я, наоборот, успокоилась. Пока он будет занят поисками Анны Катерик, у Лоры и у меня есть некоторая доля надежды, что он временно перестанет преследовать нас. Ради нас самих и ради бедной Анны я молила бога, чтобы ей удалось снова скрыться от него.

Я спешила изо всех сил, оборачиваясь время от времени, дабы убедиться, что за мной никто не идет, пока не дошла до перекрестка, откуда дорога вела прямо в деревню.

На моем пути мне никто и ничто не встретилось, кроме пустого фургона. Скрип его неподмазанных колес был очень неприятен, и, когда я увидела, что фургон едет в деревню по той же дороге, я остановилась, чтобы пропустить его. Мне показалось, что я вижу чьи-то ноги в тени за фургоном; возница шел впереди, рядом со своими битюгами. Дорога была настолько узкой, что фургон задевал деревья и кустарник с двух сторон, и мне пришлось подождать, пока он не проедет, чтобы проверить мое впечатление. Очевидно, я ошиблась: когда фургон проехал, дорога за ним была безлюдна.

Я дошла до гостиницы, не повстречавшись с сэром Персивалем и не заметив на пути ничего подозрительного. Мне было приятно узнать, что хозяйка отнеслась к Фанни очень любезно. Девушке отвели маленькую комнату, где она могла посидеть вдали от шумной столовой, и уютную спаленку на самом верху. Увидев меня, она опять начала плакать и совершенно справедливо заметила, бедняжка, как тяжело, когда тебя выгоняют, будто ты совершила какой-то непростительный поступок, а на самом деле твое поведение безупречно. Даже сам хозяин, прогнавший ее, ничего не мог поставить ей в вину.

— Постарайтесь примириться с этим, Фанни,— сказала я.— Мы с вашей госпожой останемся вашими друзьями и приложим все усилия, чтобы ваши рекомендации не пострадали. Теперь послушайте. У меня сейчас очень мало времени. Я хочу дать вам важное поручение. Мне необходимо, чтобы вы доставили по назначению эти два письма. Одно, с маркой, вы опустите в почтовый ящик в Лондоне, где вы будете завтра утром. Другое, адресованное мистеру Фэрли, вы отдадите ему в собственные руки, как только приедете домой. Спрячьте

оба письма, никому не показывайте и не отдавайте их. Они имеют важное значение для вашей госпожи.

Фанни спрятала письма за пазуху.

— Там они и останутся, пока я не выполню вашего приказания, мисс,— сказала она.

— Смотрите не опоздайте завтра на станцию,— продолжала я.— И когда увидите экономку в Лиммеридже, передайте ей привет от меня и скажите, что я беру вас в услужение, пока леди Глайд не сможет взять вас обратно. Может быть, мы встретимся раньше, чем вы думаете. Итак, не падайте духом и не опоздайте завтра на поезд.

— Благодарю вас, мисс, очень благодарю вас! У меня стало легче на сердце, когда я услышала ваш голос. Передайте миледи, что я никогда не забуду ее. Я оставила все в полном порядке. О господи, кто-то поможет ей сегодня переодеться к обеду! У меня сердце разрывается, мисс, как я об этом подумаю.

Когда я вернулась домой, у меня оставалось всего четверть часа, чтобы привести себя в порядок и сказать два слова Лоре, перед тем как спуститься вниз к обеду.

— Письмо уже у Фанни,— шепнула я ей через дверь.— Ты будешь обедать с нами?

— О нет-нет, ни за что на свете!

— Что-нибудь случилось? Кто-нибудь приходил к тебе?

— Да, только что. Сэр Персиваль.

— Он вошел в комнату?

— Нет, он напугал меня — он так стучал в дверь! Я сказала: «Кто там?» — «Вы сами знаете кто,— отвечал он.— Вы передумали? Вы скажете мне все остальное? Я вас заставлю! Рано или поздно я все из вас вытяну! Я знаю, что вам известно, где сейчас Анна Катерик».— «Я правда, правда не знаю!» — сказала я. «Нет, знаете! — крикнул он в ответ.— Я преодолею ваше упрямство, запомните это! Я у вас все выпытаю!» С этими словами, Мэриан, он ушел всего пять минут назад.

Он не нашел Анну! Сегодня ночью мы в безопасности — он еще не нашел ее.

— Ты идешь вниз, Мэриан? Приходи ко мне вечером.

— Да-да. Не беспокойся, если я немного запоздаю,— я должна быть очень осмотрительной и не обидеть их тем, что рано уйду.

Гонг прозвонил к обеду, и я поспешила спуститься вниз.

Сэр Персиваль повел в столовую мадам Фоско, а граф предложил руку мне. Он был почему-то весь красный и, казалось, не мог отдышаться. Одет он был не так тщательно, как обычно. Может быть, он тоже ходил куда-то и боялся опоздать к обеду? Или сегодня он особенно страдал от жары?

Как бы там ни было, он был чем-то встревожен настолько, что не мог скрыть это. В продолжение обеда он был так же молчалив, как сам сэр Персиваль, и время от времени украдкой поглядывал на свою жену с выражением тревоги и неудовольствия, которых я в нем до сих пор никогда по отношению к ней не замечала. Единственным светским ритуалом, который он выполнял за обедом неукоснительно, как всегда, была его внимательность и любезность ко мне. Какую гнусную цель он преследует, я еще не догадалась. Какой бы она ни была, его неизменная вежливость в отношении меня, неизменная почтительность с Лорой, неизменное противодействие грубой вспыльчивости сэра Персиваля являются способами, которыми он твердо и неукоснительно пользуется для достижения этой непонятной мне цели с той самой минуты, как появился в доме. Впервые я заподозрила это в тот день, когда в библиотеке он встал на нашу защиту по поводу подписи под документом. Я теперь совершенно уверена, что он преследует какую-то определенную цель.

Когда мадам Фоско и я поднялись из-за стола, граф тоже встал, чтобы сопровождать нас в гостиную.

— Зачем вы уходите? — спросил сэр Персиваль.— Я говорю о вас, Фоско.

— Я ухожу, ибо уже напился и наелся,— отвечал граф.— Будьте снисходительны, Персиваль, к моей иностранной привычке уходить и приходить вместе с дамами.

— Ерунда! Лишний стакан бордоского не повредит вам! Посидите со мной, как англичанин. Я хочу спокойно поговорить с вами за стаканом вина.

— Я приветствую спокойный разговор всем сердцем,

Персиваль, но не сейчас и не за стаканом вина. Попозже вечером — с удовольствием, попозже вечером.

— Куда как вежливо! — в ярости сказал Персиваль.— Вежливое обращение с хозяином дома, клянусь честью!

За обедом я много раз видела, как он нерешительно поглядывал на графа, тогда как граф избегал смотреть на него. Это обстоятельство в совокупности с настойчивым желанием хозяина поговорить о чем-то и упрямая решимость гостя избежать разговора напомнили мне, что сэр Персиваль и днем напрасно просил своего друга выйти из библиотеки, чтобы поговорить с ним. Граф уклонился от переговоров днем и снова уклонялся от этого после обеда. Какими бы ни были эти переговоры, они, очевидно, представляли большую важность для сэра Персиваля — и, возможно, некоторую опасность для графа, судя по его неохоте разговаривать со своим другом.

Эти мысли промелькнули у меня в голове по дороге из столовой в гостиную. Сердитое восклицание сэра Персиваля по поводу того, что его приятель оставлял его одного в столовой, по-видимому, не произвело никакого впечатления на графа. Он упрямо проводил нас до чайного столика, подождал с минуту в комнате, вышел в холл и вернулся с почтовой сумкой в руках. Было восемь часов. В это время письма из Блекуотера отсылались на станцию.

— Нет ли у вас писем для отправки, мисс Голкомб? — спросил граф, подходя ко мне с почтовой сумкой.

Я увидела, как мадам Фоско, разливавшая чай, замерла со щипчиками для сахара в руках, чтобы услышать мой ответ.

— Нет, граф, благодарю вас, у меня нет сегодня писем.

Он отдал сумку слуге, находившемуся в комнате, сел за рояль и заиграл веселую неаполитанскую уличную песенку «Моя Каролина», которую повторил дважды. Жена его, обычно самая медлительная из женщин, приготовила чай с такой быстротой, с какой сделала бы это я, мгновенно выпила свою чашку и тихо выскользнула из комнаты.

Я хотела последовать ее примеру, отчасти боясь, что

она попытается причинить Лоре какую-нибудь неприятность, отчасти оттого, что решила не оставаться наедине с ее мужем.

Прежде чем я успела дойти до порога, граф остановил меня, попросив налить ему чаю. Я подала ему чашку и снова попыталась уйти. Он опять остановил меня; на этот раз он сел за рояль и обратился ко мне по поводу одного музыкального вопроса, который, как он заявил, задевал честь его страны.

Напрасны были мои уверения, что я совершенно незнакома с музыкой вообще, не разбираюсь в ней и не имею к ней никакого вкуса. Он воззвал ко мне с неистовой пылкостью, прекратившей все мои дальнейшие возражения.

Англичане и немцы, провозгласил он с негодованием, всегда презирали итальянцев за их неспособность заниматься серьезной музыкой. Англичане постоянно твердят о своих ораториях, а немцы постоянно твердят о своих симфониях. Разве все мы позабыли его бессмертного друга и земляка Россини? Разве «Моисей в Египте» не является божественной оратории, которую можно петь на сцене, вместо того чтобы холодно исполнять ее в концертах? Разве увертюра к «Вильгельму Теллю» не симфония, только названная по-другому? Знакома ли я с музыкой оперы «Моисей в Египте»? Не прослушаю ли я это, и это, и еще это, для того чтобы убедиться, что ничего более божественного и великого не было создано ни одним из смертных? И, не ожидая моего согласия или отказа, не спуская с меня своих стальных глаз, он начал оглушительно колотить по клавишам и петь с громогласным, безудержным восторгом, останавливаясь только для того, чтобы с неистовым пылом объявить мне название музыкального отрывка: «Хор египтян во мгле кромешной, мисс Голкомб!»... «Речитатив Моисея перед скрижалями с заповедями»... «Молитва израильтян при переходе через Красное море». Ага! Ага! Разве это не божественная музыка? Разве это не потрясающая музыка? Рояль ходил ходуном под его мощными руками, чайные чашки дребезжали на столе, а он пел во все горло своим мощным басом, отбивая такт огромной ножищей.

Было нечто ужасное, нечто свирепое и дьявольское в его бурном ликовании по поводу собственной игры

и пения и в торжестве, с которым он наблюдал произведенное на меня впечатление, тогда как я все дальше и дальше отступала к двери. Наконец я освободилась не собственными усилиями, но благодаря сэру Персивалю. Он открыл дверь столовой и сердито крикнул:

— Что это за адский грохот?!

Граф сейчас же встал из-за рояля.

— Увы, там, где Персиваль, гармонии и мелодии конец,— сказал он.— Муза музыки, мисс Голкомб, в отчаянии покидает нас, и мне, старому, толстому менестрелю, придется излить остаток своего энтузиазма на открытом воздухе!

Он величественно вышел на веранду и, засунув руки в карманы, начал вполголоса исполнять в саду речитатив Моисея.

Я слышала, как сэр Персиваль окликнул его через окно столовой. Но он не обратил на это никакого внимания. Казалось, он был твердо намерен ничего не слышать. Долгожданный спокойный разговор между ними все еще откладывался, все еще зависел от доброй воли и расположения самого графа.

Он задержал меня в гостиной на целых полчаса после ухода своей супруги. Где же она находилась и чем она была занята в этот промежуток времени?

Я пошла наверх, чтобы узнать об этом, но ничего не узнала. Когда я спросила Лору, оказалось, что она ничего не слышала. Никто ее не беспокоил, никакого шуршания шелковых юбок не доносилось до нее ни из передней, ни из коридора.

Было уже без двадцати девять, я пошла в свою комнату за дневником, вернулась и посидела с Лорой, то занимаясь своими записями, то разговаривая с ней. Никто не подходил к нам близко, ничего не случилось. Мы пробыли вместе до десяти часов. Затем я поднялась, сказала ей несколько одобрительных слов на прощанье и пожелала спокойной ночи. Она снова заперлась на ключ, после того как мы условились, что первым долгом я навещу ее утром.

Мне оставалось дописать еще несколько фраз в моем дневнике, прежде чем лечь спать. Расставшись с Лорой, я в последний раз за этот мучительный день спустилась в гостиную просто для того, чтобы показаться, извиниться и уйти спать на час раньше обычного.

Сэр Персиваль и граф с супругой сидели там. Сэр Персиваль зевал в кресле, граф читал, а мадам Фоско обмахивалась веером. Как это ни странно, лицо ее горело. Она, никогда не страдающая от жары, безусловно, страдала от нее сегодня вечером.

— Боюсь, графиня, что вы чувствуете себя хуже, чем обычно? — спросила я.

— Я только что хотела сказать вам то же самое,— отвечала она.— Вы очень бледны, моя дорогая.

«Моя дорогая»! В первый раз она обращалась ко мне с такой фамильярностью! Когда она произнесла эти слова, на лице ее появилась дерзкая улыбка.

— У меня одна из моих обычных мигреней,— холодно отвечала я.

— Вот как? Наверно, из-за того, что вы не гуляли сегодня. Прогулка перед обедом была бы очень полезна для вас.— Она как-то странно подчеркнула слово «прогулка». Уж не заметила ли она, как я уходила? Ну так что ж, теперь письма были уже в целости и сохранности у Фанни.

— Пойдем покурим, Фоско,— сказал сэр Персиваль, поднимаясь и бросая нерешительный взгляд на своего приятеля.

— Когда дамы пойдут спать — с удовольствием, Персиваль,— отвечал граф.

— Простите меня, графиня, если сегодня я уйду первая,— сказала я.— Единственное лекарство от такой головной боли, как моя,— это сон.

Я попрощалась. Когда я пожимала руку этой женщины, на лице ее по-прежнему играла дерзкая улыбка. Сэр Персиваль не обратил на меня никакого внимания. Он нетерпеливо посматривал на мадам Фоско, но она, по-видимому, вовсе не собиралась ложиться спать. Граф, сидя за книгой, улыбался про себя. Для спокойного разговора с сэром Персивалем опять возникло препятствие — на этот раз им была графиня.

IX

19 июня

Когда я наконец очутилась одна в своей комнате, я открыла дневник и приготовилась продолжать мои записи о сегодняшнем дне.

Минут десять я сидела с пером в руке, размышляя о событиях за последние двенадцать часов. Когда наконец я принялась за дело, передо мной встало затруднение, которого я никогда раньше не испытывала. Несмотря на все мои усилия сосредоточиться, мысли мои с непонятной настойчивостью возвращались к сэру Персивалю и графу. Вместо дневника все мое внимание было устремлено на разговор, который откладывался в течение целого дня и должен был произойти в одиноком безмолвии ночи.

Пребывая в этом непривычном настроении, я совершенно не могла заставить себя припомнить, что произошло утром. Мне ничего другого не оставалось, как отложить дневник и позабыть о нем на некоторое время.

Открыв дверь из спальни в мой будуар, я вошла туда и закрыла за собой двери, чтобы сквозняк не задул свечу, стоявшую на моем туалетном столике в спальной. Окно будуара было распахнуто настежь, и я подошла к нему, чтобы посмотреть, какая ночь.

Было темно и тихо. Ни луны, ни звезд на небе. В неподвижном, душном воздухе пахло дождем. Я протянула руку за окно. Дождь только собирался идти.

Облокотившись на подоконник, я простояла так около четверти часа, рассеянно вглядываясь в черную тьму и не слыша ничего, кроме отдаленных голосов прислуги или звука закрывающейся двери внизу.

Охваченная тоской, я хотела было отойти от окна и вернуться в спальню, чтобы сделать новую попытку дописать неоконченную фразу в дневнике, когда до меня донесся запах табачного дыма, отчетливо различаемый в душном ночном воздухе. Через минуту я увидела в непроглядной тьме огонек от папиросы; он приближался к моему окну. Я не слышала ничьих шагов и не различала ничего, кроме этого огонька. В ночной тиши он двигался мимо окна, у которого я стояла, и остановился напротив окна моей спальни, где я оставила зажженную свечу.

Огонек постоял с минуту, потом двинулся обратно в том направлении, откуда появился. Я следила за ним глазами и вдруг увидела второй огонек, немного больше первого, приближавшийся к первому. Оба огонька встретились в темноте. Вспомнив, кто курил сигары, а кто пахитосы, я заключила, что граф вышел первый, чтобы

посмотреть и послушать под моим окном, а сэр Персиваль потом присоединился к нему. Очевидно, они оба шли прямо по траве, иначе я расслышала бы грузную походку сэра Персиваля, тогда как бесшумные шаги графа не донеслись бы до меня, даже если бы он шел по гравию.

Я тихо стояла у окна, уверенная, что в темной комнате они оба не могут меня увидеть.

— В чем дело? — услышала я приглушенный голос сэра Персиваля.— Почему вы не хотите войти и посидеть со мной?

— Я жду, пока свет в этом окне не погаснет,— тихо отвечал ему граф.

— Чем он вам мешает?

— Он означает, что она еще не легла. Она достаточно сообразительна, чтобы что-то заподозрить, и у нее хватит смелости сойти вниз и подслушать нас, если ей это удастся. Терпение, Персиваль, терпение!

— Ерунда! Вы постоянно твердите о терпении!

— Сейчас я буду говорить о другом. Мой дорогой друг, вы на краю домашней пропасти, и, если я дам этим двум женщинам возможность сделать это, клянусь честью, они столкнут вас туда.

— Что вы хотите этим сказать, черт возьми?!

— Мы с вами объяснимся, Персиваль, когда свет в этом окне погаснет и когда я еще раз осмотрю комнаты по обе стороны библиотеки да заодно брошу взгляд на лестницу.

Они стали медленно удаляться, и последующий разговор между ними — они говорили вполголоса прасслышать было невозможно. Но ничего, теперь я знала достаточно, чтобы решиться оправдать мнение графа о моей сообразительности и смелости. Прежде чем огоньки исчезли во тьме ночной, я пришла к заключению, что при разговоре этих двух будет присутствовать третий — в качестве слушателя — и что, несмотря на все предосторожности графа, этим третьим буду я. Оправдать меня в собственных глазах и дать мне мужество выполнить задуманное могло только одно: честь Лоры, счастье Лоры, сама жизнь Лоры — все это, может быть, зависело в будущем от тонкости моего слуха и точности моей памяти на сегодняшнюю ночь.

Я слышала слова графа о том, что он намеревается

осмотреть комнаты, примыкающие к библиотеке, а также лестницу, прежде чем начнет «объясняться» с сэром Персивалем. Значит, разговор будет происходить именно в библиотеке. В ту минуту, когда я поняла это, у меня зародилась мысль, каким образом я смогу расстроить планы графа — или, иными словами, подслушать его разговор с сэром Персивалем, не делая попыток проникнуть в нижний этаж.

Описывая комнаты нижнего этажа, я упомянула о шедшей вдоль них веранде, на которую открывались большие французские окна всех комнат. Крыша веранды была плоской, дождевая вода стекала с нее по трубам в стоявшие внизу большие бочки и употреблялась для домашних надобностей. На узкой, крытой железом крыше, проходившей под окнами наших спален фута на три ниже подоконников, стояли на довольно большом расстоянии друг от друга ряды горшков с цветами. Они были защищены от ветра и от возможности упасть вниз невысоким узорным чугунным парапетом, который тянулся по краю крыши.

План, пришедший мне в голову, состоял в том, чтобы вылезти на эту крышу из окна моей спальни, доползти до того места, которое находилось прямо над окном библиотеки, и там притаиться между цветочными горшками у самого парапета. Если сэр Персиваль и граф будут сегодня, как обычно, сидеть и курить в креслах у открытого окна — а я много раз видела, как в прежние вечера они это делали,— то каждое их слово (если только они не будут шептаться, а, как мы знаем, длинные разговоры трудно вести шепотом) будет долетать до меня. Но если сегодня они захотят посидеть в глубине комнаты, тогда я услышу немного или совсем ничего. В таком случае мне придется отважиться на гораздо больший риск и как-нибудь да перехитрить их обоих.

Как ни сильна была моя решимость, подкрепленная сознанием отчаянного положения, в котором мы находимся, все же я горячо надеялась, что мне удастся избежать необходимости пускаться в столь рискованное предприятие. Смелость моя была всего только смелостью женщины и чуть не покинула меня, когда я представила себе, что мне придется спуститься вниз и я буду совсем близко от сэра Персиваля и графа — одна, глубокой ночью.

Я тихонько вернулась к себе в спальню, чтобы испробовать более легкий способ подслушивания — на крыше веранды.

Во-первых, необходимо было переодеться. Я сняла шелковое платье — его шелест в тишине летней ночи мог выдать меня. Потом я сняла свои белые накрахмаленные нижние юбки и заменила их одной черной из фланели. Поверх нее я надела свой черный дорожный плащ и накинула на голову капюшон. В моем обычном вечернем туалете мои юбки покрывают широкое пространство, на котором могли бы поместиться трое мужчин. В моем теперешнем, облегающем костюме ни один мужчина не мог бы пролезть сквозь более узкие щели, чем я. Из-за крайне малого расстояния между цветочными горшками и стенами дома, с одной стороны, и парапетом на краю крыши — с другой, это последнее соображение было чрезвычайно важным. Кто мог предугадать последствия, если бы я опрокинула что-нибудь или произвела малейший шум?

Прежде чем потушить свечу, я положила около нее спички и ощупью пробралась в темноте обратно в будуар. Я заперла его дверь, так же как заперла двери спальной, тихонько вылезла из окна и осторожно спустила ноги на крышу.

Мои комнаты были в конце нового крыла дома, в нем жили мы все. Прежде чем достичь того места, которое находилось над окнами библиотеки, мне надо было проползти мимо пяти окон. Первым было окно пустой, запасной, комнаты. Второе и третье были окнами комнат Лоры, четвертое — сэра Персиваля, пятое — графини. Дальше шли окна, под которыми мне уже не надо было ползти: окно туалетной комнаты графа, ванной комнаты и второй запасной спальни.

Когда я ступила на крышу веранды, до меня не долетало ни единого звука. Вокруг меня сгустилась черная, слепящая ночная тьма; только та часть крыши, на которую открывались окна спальни мадам Фоско, как раз в том месте над библиотекой, где мне надо было спрятаться, была освещена. Графиня еще не ложилась. В окнах ее спальни я видела свет.

Отступать было поздно, ждать было некогда. Я решила поставить все на карту и положиться на собственную осторожность и на ночную темноту. «Ради Лоры!» — по-

думала я, делая первый шаг по крыше, придерживая плащ одной рукой и ощупывая стену дома другой. Лучше было идти вдоль стены, чем у парапета, где я могла нечаянно столкнуть один из цветочных горшков.

Я миновала темное окно пустой комнаты, пробуя крышу рукой, прежде чем ступить на нее всей моей тяжестью. Я прошла под темными окнами спальни Лоры (господи, спаси и сохрани ее!), я прошла под темным окном комнаты сэра Персиваля. Потом с минуту подождала, опустилась на колени и поползла дальше, прижимаясь к крыше и стараясь не задеть головой подоконник освещенного окна графини.

Когда я осмелилась взглянуть на окно, я увидела, что оно наполовину прикрыто, а штора опущена. Я увидела промелькнувшую за шторой тень мадам Фоско, потом тень медленно двинулась обратно. Пока что графиня не слышала, как я ползла мимо, иначе она остановилась бы, даже если бы у нее не хватило отваги выглянуть в окно.

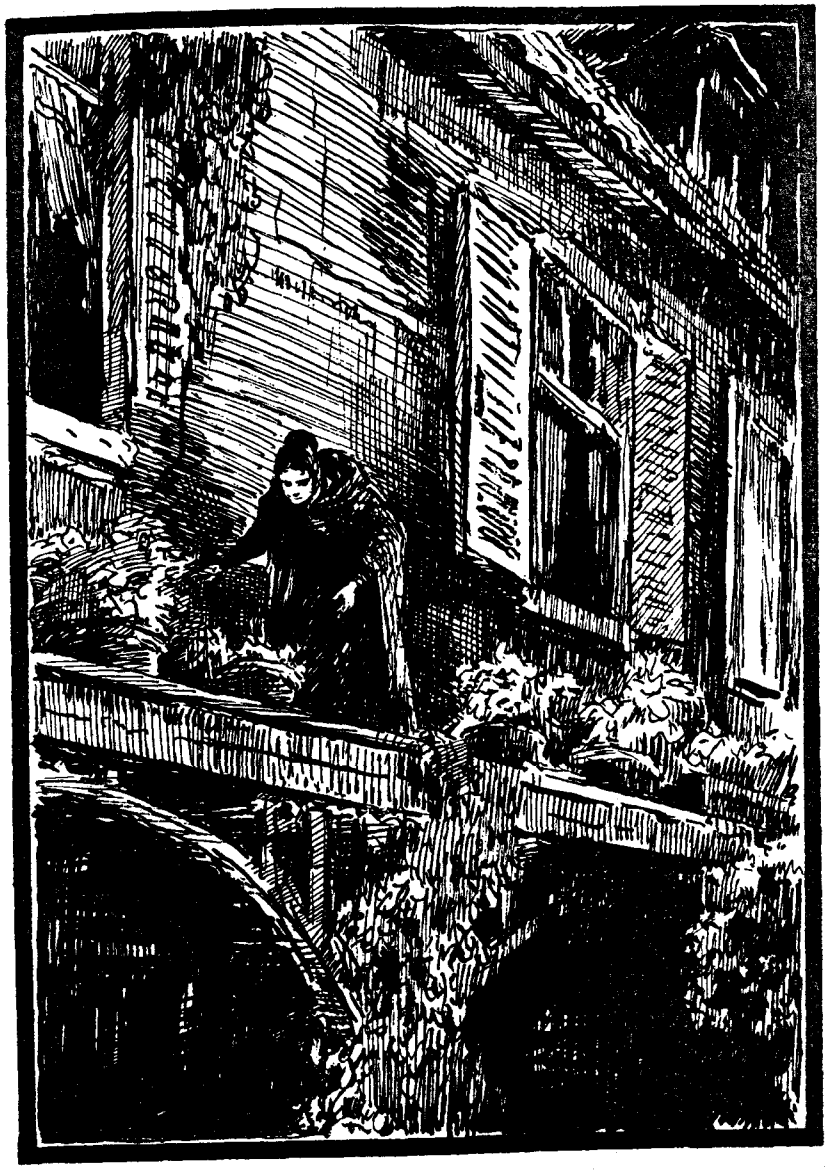
Я села боком у самого парапета между цветочными горшками, сначала на ощупь уверившись, что я ничего не задену. Места было достаточно, чтобы опуститься на корточки. Душистые цветы и листья задели мою щеку, когда я беззвучно прислонилась головой к парапету.

Я услышала, как внизу открывали двери или закрывали — последнее было верней. Три двери закрылись. Очевидно, двери в холл и в две комнаты по обе стороны библиотеки, те самые, которые граф собирался осматривать. Первое, что я увидела, был огонек папиросы, снова прошедшей мимо веранды к моему окну. Он подождал там с минуту и вернулся обратно.

— Черт бы побрал вашу непоседливость! Когда вы наконец сядете? — проворчал подо мной голос сэра Персиваля.

— Уф, как жарко,— устало отдуваясь, вздохнул граф.

За его восклицанием раздался скрежет садовых кресел по полу веранды. Я обрадовалась. Это значило, что они сядут, как обычно, у самого окна. Пока что счастье было на моей стороне. Когда наконец они уселись в свои кресла, часы на башне пробили без четверти двенадцать. Я услышала, как мадам Фоско зевнула за открытым окном, тень ее снова промелькнула за белыми шторами.



Тем временем внизу сэр Персиваль и граф начали разговаривать, то повышая, то понижая голос, но не шепчась. Необычное и опасное мое положение, боязнь (которую я не могла побороть) открытого окна мадам Фоско — все это затрудняло, вернее, делало сначала просто невозможным для меня всецело сосредоточиться на разговоре внизу. В течение нескольких минут я могла только осмыслить разговор в целом. Граф сказал, что единственное освещенное окно — это окно его жены; на нижнем этаже, кроме них, нет никого, и теперь они могут беспрепятственно говорить друг с другом.

В ответ сэр Персиваль разбранил своего приятеля: тот беззастенчиво пренебрегал его желаниями и интересами в течение целого дня! Граф стал защищаться, оправдываясь тем, что его одолели собственные заботы и дела, требующие его внимания. Они могли беспрепятственно поговорить только сейчас, ибо никто не мог помешать им или подслушать их.

— В наших делах наступил серьезный кризис, Персиваль,— сказал он,— и, если мы вообще хотим прийти к какому-нибудь решению насчет будущего, мы должны договориться об этом сегодня ночью.

Это была первая фраза графа, приковавшая к себе мое внимание и заставившая меня полностью сосредоточиться. С этой минуты я, затаив дыхание, слушала их разговор и запомнила его дословно.

— Кризис,— повторил сэр Персиваль.— Нет, это серьезнее, чем вы думаете, вот что я вам скажу.

— Я так и предполагал, судя по вашему поведению за последние дни,— холодно отвечал граф.— Но подождите. Прежде чем говорить о том, чего я не знаю, давайте уточним, что именно мне известно. Сначала посмотрим, прав ли я относительно прошлого, прежде чем я предложу вам кое-какой план на будущее.

— Стойте. Я принесу бренди и воду. Выпейте и вы.

— Благодарю вас, Персиваль, с удовольствием. Холодной воды, чайную ложку и сахарницу для меня. Сахарная вода, друг мой,— вот все, что я пью.

— Сахарная вода для мужчины в вашем возрасте! Вот вам! Приготовляйте вашу отвратительную смесь! Вы, иностранцы,— все на один лад.

— Послушайте-ка, Персиваль. Я изложу вам положение, в котором мы очутились, а вы скажете мне, прав

я или ошибаюсь. Мы с вами вернулись сюда из-за границы с сильно пошатнувшимися делами.

— Нельзя ли покороче? Мне нужны были тысячи, а вам — сотни. Если бы мы не достали этих денег, мы с вами вылетели бы в трубу. Такова была ситуация. Делайте из нее какой вам угодно вывод. Продолжайте.

— Итак, Персиваль, выражаясь вашим крепким английским языком, вы нуждались в тысячах, а я — в сотнях, и добыть эти тысячи (оставив несколько сотен для меня) вы могли только с помощью вашей жены. Что я вам говорил про вашу жену по дороге в Англию? И что я вам сказал, когда мы прибыли сюда и я своими глазами увидел, что за женщина мисс Голкомб?

— Откуда я знаю? Наверно, вы, как обычно, наговорили массу разной чепухи.

— Я сказал: человеческая изобретательность пока что открыла только два способа подчинить женщину мужчине. Один способ — это ежедневно колотить ее,— метод, широко применяемый в грубых, низших слоях населения, но совершенно не принятый в утонченных, высших кругах. Второй способ, требующий продолжительного времени, более сложный, но не менее действенный,— держать женщину в постоянном подчинении и никогда ни в чем не уступать ей. Так следует поступать с животными, детьми и женщинами, которые являются не чем иным, как взрослыми детьми. Спокойная настойчивость — вот качество, которое отсутствует у животных, детей и женщин. Если им хоть раз удалось поколебать это высшее качество в их господине, они выходят у него из повиновения. Если им никогда не удается сделать этого, он держит их в постоянном подчинении. Я сказал вам: помните эту простую истину, когда захотите, чтобы ваша жена помогла вам своими деньгами. Я сказал: не забывайте эту истину особенно в присутствии сестры вашей жены — мисс Голкомб. Разве вы помнили об этом? Вы ни разу не вспомнили этого незыблемого правила за все то время, когда одно за другим перед нами вставали в этом доме затруднения и осложнения. Вы с готовностью поддавались всем провокациям вашей жены или ее сестры. Из-за вашей вспыльчивости сорвалось дело с подписью — вы упустили из рук наличные деньги; вы принудили мисс Голкомб написать поверенному первый раз...

— Разве она написала ему вторично?

— Да, написала сегодня.

Стул с грохотом свалился на пол веранды, как будто его отшвырнули ногой.

Хорошо, что сэр Персиваль пришел в такую ярость от слов графа. Услыхав, что меня вторично выследили, я так вздрогнула, что парапет издал легкий треск. Значит, граф видел меня, когда я шла в деревню, и проследил меня до гостиницы? Или понял, что я передала письма Фанни, когда я сказала ему, что у меня ничего нет для почтовой сумки? Но как удалось ему узнать, что́ именно и кому именно я писала, когда я собственноручно передала мои письма прямо в руки Фанни и она сразу положила их к себе за пазуху?

— Благодарите вашу счастливую звезду,— снова услышала я голос графа,— что я нахожусь здесь, в вашем доме, и постоянно распутываю этот злополучный клубок, который вы сами запутываете. Благодарите вашу счастливую звезду, что я сказал «нет», когда вы, как безумец, хотели запереть на ключ мисс Голкомб, как заперли из-за дурацкой вспыльчивости вашу жену. Где у вас глаза? Как можете вы смотреть на мисс Голкомб и не видеть, что она обладает проницательностью и решительностью мужчины! Если бы эта женщина была мне другом, я презирал бы весь мир и ничего не боялся. Если бы эта женщина стала мне врагом, я при всем моем уме и опытности — я, Фоско, хитрый, как сам дьявол, как вы мне сотни раз говорили,— пожалуй, призадумался бы. Как говорится в вашей английской поговорке, мне пришлось бы действовать с оглядкой. И это великолепное существо — за ее здоровье я поднимаю свой бокал с сахарной водой! — это великолепное существо, в силу своей любви и отваги стоящее, как гранитная скала, между нами и этой жалкой, пугливой хорошенькой блондинкой, вашей женой, эту изумительную женщину, которой я восхищаюсь от всей души, хотя и противодействую ей в наших интересах, вы доводите до крайности, как будто она ничуть не умнее и не мужественнее, чем остальные женщины. Персиваль! Персиваль! Вы заслуживаете банкротства, и вы обанкротились.

Последовала пауза. Я записываю слова этого негодяя обо мне, ибо намерена запомнить их,— я надеюсь, что,

несмотря на все его козни, настанет день, когда я смогу высказать ему все, что я о нем думаю, и брошу ему в лицо один за другим его гнусные комплименты!

Сэр Персиваль первый прервал молчание.

— Да, да! Ругайтесь и бушуйте сколько угодно,— хмуро сказал он.— Помимо трудностей с деньгами, есть и другие трудности. Вы сами предприняли бы серьезные меры в отношении этих двух женщин, если бы знали то, что знаю я.

— Все в свое время — о других трудностях мы поговорим потом,— отозвался граф.— Путайтесь в них сами, Персиваль, если вам нравится, но не запутывайте меня. Во-первых, давайте договоримся относительно наших денежных дел. Победил ли я ваше упрямство? Доказал ли, что ваша вспыльчивость не доведет вас до добра и ничем вам не поможет, или мне придется еще немного побушевать, как вы изволили выразиться с вашей милой английской прямолинейностью?

— Тьфу! Ворчать на меня легко, вы лучше скажите, что предпринять,— это будет потруднее.

— Разве? Ба! Надо сделать вот что: с этой ночи вы передаете бразды правления в мои руки. В будущем вы предоставите действовать только мне самому. Ведь я говорю с британским дельцом, ха? Ну, Персиваль, вас это устраивает?

— Если я соглашусь, что́ именно вы хотите предпринять?

— Сначала ответьте мне. Будет все в моих руках или нет?

— Предположим — будет. Что тогда?

— Начну с нескольких вопросов. Я должен знать обстоятельства дела во всех подробностях, а затем руководствоваться ими. Я должен немного выждать, хотя время не терпит. Я уже известил вас, что сегодня мисс Голкомб вторично написала своему поверенному.

— Как вы об этом узнали? Что она сказала?

— Не стоит толочься на месте, Персиваль, я не стану рассказывать, не то мы никогда не покончим с этим. Хватит с вас того, что я это выяснил с большим волнением и хлопотами для себя. Вот почему я избегал говорить с вами в течение целого дня. Теперь я хочу освежить в памяти ваши дела — мы с вами давно о них не говорили. Вы достали деньги, не добившись подписи вашей жены,

под векселя, истекающие в трехмесячный срок. Достали под такие проценты, что при мысли о них мои волосы бедного иностранца дыбом встают! Неужели векселя нельзя оплатить, когда их срок истечет, не прибегая к помощи вашей жены?

— Нельзя.

— Что? У вас нет денег в банке?

— Всего несколько сотен, тогда как мне нужны тысячи!

— И у вас нет возможности заложить что-нибудь, для того чтобы раздобыть деньги?

— Нет.

— Что же у вас с женой имеется на сегодняшний день?

— Ничего, кроме дохода с ее капитала в двадцать тысяч фунтов. Этих денег еле хватает на ежедневные траты.

— На что можете вы рассчитывать в будущем со стороны вашей жены?

— Когда умрет ее дядя, она будет получать три тысячи фунтов в год.

— Прекрасный капиталец, Персиваль! Что за человек ее дядя? Старик?

— Нет. Пожилой человек.

— Добродушный, щедрый? Женат? Впрочем, кажется, жена говорила мне, что он холостяк.

— Конечно, холостяк. Если бы он был женат и имел сына, леди Глайд не была бы наследницей его имения. Я вам скажу, что он из себя представляет. Это плаксивый, болтливый, себялюбивый дурак, надоедающий всем и каждому нытьем о своем здоровье.

— Люди такого сорта обычно живут до глубокой старости и женятся именно тогда, когда от них этого меньше всего ожидаешь. Мне не очень-то верится, друг мой, что вам скоро удастся заполучить эти три тысячи в год. Больше вы ничего не должны получить от вашей жены?

— Ничего.

— Так-таки ничего?

— Ничего. Только в случае ее смерти...

— Ага! В случае ее смерти.

Опять последовала пауза. Граф прошел через веранду на садовую дорожку. Я поняла, что он движется, по его голосу.

— Вот наконец и дождь пошел,— услышала я.

Дождь шел на самом деле. Состояние моего плаща показывало, что дождь шел уже некоторое время.

Граф вернулся на веранду — я услышала, как заскрипело под его тяжестью кресло, когда он снова уселся в него.

— Итак, Персиваль,— сказал он,— что вы получите в случае смерти леди Глайд?

— Если у нее не будет детей...

— А возможно, что они будут?

— Нет, это совершенно исключено.

— Итак?

— Ну что ж, тогда я получу ее двадцать тысяч.

— Наличными?

— Наличными.

Они снова замолчали. Как только их голоса замерли, черная тень мадам Фоско снова показалась за шторами. На этот раз, вместо того чтобы пройти, она застыла на месте. Я увидела, как ее пальцы медленно ухватились за штору и приподняли ее. За окном показалось смутное очертание лица графини, она смотрела вдаль поверх меня. Затаив дыхание, я замерла на месте, закутанная с головы до ног в мой черный плащ. Дождь, быстро промочивший меня насквозь, стекал по стеклу и мешал ей видеть. Я услышала, как она сказала вполголоса: «Опять дождь!» — и опустила штору. Я с облегчением вздохнула.

Разговор внизу продолжался. На этот раз первым заговорил граф:

— Персиваль, вы любите вашу жену?

— Фоско! Это нескромный вопрос.

— Я откровенный человек и повторяю его.

— Какого черта вы так уставились на меня?

— Вы не хотите отвечать мне? Ну, скажем, ваша жена умрет этим летом...

— Прекратите это, Фоско!

— Скажем, ваша жена умрет...

— Прекратите, я вам говорю!

— В таком случае вы выиграете двадцать тысяч и проиграете...

— Проиграю возможность получать три тысячи в год.

— Отдаленную возможность, Персиваль, всего только отдаленную возможность. А вам нужны деньги сейчас,

немедленно. В вашем положении выигрыш верен, проигрыш сомнителен.

— Говорите о себе, не только обо мне. Кое-что из нужной мне суммы я занял когда-то для вас. Что касается выигрыша, то смерть моей жены означает десять тысяч фунтов в кармане вашей жены. Как вы ни сообразительны, вы сейчас, по-видимому, очень удобно позабыли о наследстве мадам Фоско! Не смотрите на меня так! Я не желаю этого! От этих ваших взглядов и вопросов у меня мурашки по телу пошли, клянусь всеми святыми!

— По телу? Разве «тело» по-английски «совесть»? Я говорю о смерти вашей жены, как говорил бы об одной из возможностей. А почему бы нет? Почтенные юристы, царапающие каракулями ваши завещания, говорят о смерти прямо в лицо своим клиентам. Разве от юристов у вас тоже бегают мурашки по телу? Нет? Так почему же от моих слов! Сегодня ночью я просто занимаюсь выяснением ваших дел, я хочу безошибочно знать их. Обрисую вам положение, в котором вы находитесь: если ваша жена будет жива, вы оплатите векселя ее подписью под документом. Если она умрет, вы оплатите векселя ее смертью.

Когда он проговорил эти слова, свет в комнате мадам Фоско погас. Весь второй этаж дома погрузился в темноту.

— Разговоры! Разговоры! — проворчал сэр Перси-валь.— Послушать вас, так можно подумать, что подпись моей жены уже стоит под документом.

— Вы передали дела в мои руки,— отпарировал граф,— у меня впереди около двух месяцев, чтобы обернуться. Не будем больше говорить об этом, прошу вас. Когда истечет срок векселей, вы сами убедитесь, что сто́ят мои разговоры! А теперь, Персиваль, покончив на сегодня с житейскими мелочами, я могу выслушать вас, если вам хочется посоветоваться со мной об этой второй трудности, которая примешалась к нашим небольшим затруднениям и из-за которой вы настолько изменились к худшему, что я с трудом узнаю вас. Говорите, друг мой, и простите, если я снова оскорблю ваш изощренный национальный вкус, намешав себе водички с сахаром.

— Хорошо сказать «говорите»! — возразил сэр Перси-

валь гораздо более спокойным и вежливым тоном, чем раньше.— Я просто не знаю, с чего начать.

— Помочь вам? — предложил граф.— Хотите, я назову эту вашу трудность? Что, если я окрещу ее «Анной Катерик»?

— Послушайте, Фоско, мы с вами давно знаем друг друга, и если вы помогали мне в кое-каких передрягах, то и я, в свою очередь, делал все, что мог, и выручал вас деньгами. Мы сделали друг другу много дружеских одолжений, как водится между мужчинами. Но мы кое-что скрывали один от другого, не так ли?

— Это у вас были секреты от меня, Персиваль. У вас в Блекуотер-Парке есть какой-то скелет в шкафу[1], который чуть-чуть высунулся из него в последние дни и стал заметен и другим, помимо вас.

— Что ж, предположим. Если это вас не касается, зачем любопытствовать по этому поводу, правда?

— Разве похоже на то, что я любопытствую?

— Да, похоже.

— Вот как! Значит, на моем лице написана правда? Какой огромный запас прекрасных душевных качеств заложен в человеке, который, достигнув моего возраста, еще не потерял способности отражать на своем лице свои подлинные чувства! Да ну же, Глайд, будем чистосердечны и откровенны друг с другом. Ваш секрет сам меня нашел, не я его искал. Предположим, я любопытствую. Раз и навсегда: угодно ли вам, чтобы я, как старый ваш друг, уважал ваш секрет и предоставил вам хранить его?

— Да, именно этого я и хочу.

— Тогда я перестаю интересоваться им. С этой самой минуты мое любопытство умерло.

— В самом деле?

— Почему вы в этом сомневаетесь?

— Мне немножко знакомы ваши окольные пути, Фоско, и я не уверен, что вы не постараетесь все-таки докопаться до него.

Вдруг кресло внизу заскрипело снова, и я почувствовала, как подо мной дрогнула колонна, поддерживающая крышу веранды. Граф вскочил на ноги и от негодования ударил по колонне кулаком.

---

[1] Английское выражение, означающее «семейная тайна».

— Персиваль! Персиваль! — вскричал он с жаром.— Неужели вы так плохо меня знаете? Неужели до сих пор меня не поняли? По характеру я принадлежу к благороднейшему античному миру! Я способен на самые высокие подвиги, когда мне представляется случай совершать их. Все несчастье моей жизни заключается в том, что подобных случаев было так мало! Дружба священна для меня! Разве я виноват, что ваш скелет сам приоткрыл дверцу вашего шкафа и попался мне на глаза? Почему я признался в своем любопытстве? Чтобы усовершенствовать собственную выдержку и самообладание, вы, жалкий, поверхностный, ненаблюдательный англичанин! Я мог бы вытянуть из вас ваш секрет, мне бы это ничего не стоило, вы сами это знаете! Но вы воззвали к моему чувству дружбы, а дружба для меня священна. Глядите! Я топчу ногами свое низкое любопытство. Мои пылкие чувства торжествуют над ним. Признайте эти чувства, Персиваль! Берите с них пример, Персиваль! Пожмем друг другу руки — я вас прощаю!

Голос его дрогнул на этих словах, дрогнул, как если бы он в самом деле прослезился.

Сэр Персиваль стал смущенно бормотать извинения, но граф был слишком великодушен, чтобы слушать его.

— Нет! — сказал он.— Если друг обидел меня, я прощаю его, не требуя извинений. Скажите прямо: вам нужна моя помощь?

— Да, очень.

— Вы можете сказать мне, в чем дело, не открывая секрета?

— Во всяком случае, я могу попробовать сделать это.

— Тогда пробуйте.

— Дело обстоит так: я уже сказал вам, что, несмотря на все старания, мне не удалось найти Анну Катерик.

— Да, сказали.

— Фоско, я погиб, если она не найдется.

— Ха! Неужели это так серьезно?

Узкая полоска света скользнула по веранде и упала на дорожку. Граф поднес лампу к самому лицу своего друга, чтобы вглядеться в него.

— Да,— произнес он,— на этот раз правда отражается на вашем лице. Очевидно, это столь же серьезно, как и дело с векселями.

— Гораздо серьезнее! И это так же верно, как и то, что я сижу здесь перед вами!

Свет снова померк. Разговор возобновился.

— Я показал вам письмо к моей жене, которое Анна Катерик зарыла в песок,— продолжал сэр Персиваль.— Она не хвастает, Фоско, она действительно знает мою тайну.

— Упоминайте об этой тайне как можно реже в моем присутствии, Персиваль. Она знает ее от вас?

— Нет. От своей матери.

— Две женщины знакомы с вашими личными делами — скверно, друг мой, скверно! Еще вопрос, прежде чем мы пойдем дальше. Мне теперь совершенно ясно, почему вы упрятали дочь в сумасшедший дом, но ее побег оттуда остается для меня загадкой. Подозреваете ли вы, что какой-то ваш враг подкупил людей, которым был поручен присмотр за ней, и они нарочно дали ей убежать?

— Нет. Она была самой послушной и безобидной из их пациенток, и они просто доверяли ей. Она достаточно слабоумна, чтобы пребывать в сумасшедшем доме, но достаточно умна, чтобы погубить меня, если останется на свободе. Вы меня понимаете?

— Понимаю. Теперь, Персиваль, ответьте мне на самое главное, и тогда я буду знать, что делать. В чем заключается в настоящую минуту опасность для вас?

— Анна Катерик находится где-то по соседству и общается с леди Глайд — вот в чем опасность! Разве не ясно из письма, которое было зарыто в песок, что моя жена знает мою тайну, хотя и отрицает это?

— Одну минуту, Персиваль. Если леди Глайд знает вашу тайну, значит, она понимает, что разглашение этой тайны скомпрометирует вас. В качестве вашей жены ей, безусловно, не имеет смысла выдавать вас.

— Вы так думаете? Слушайте дальше. Если бы она была хоть немного привязана ко мне, ей было бы невыгодно делать это. Но я — только препятствие на пути другого человека. Она любила его до замужества, она любит его и теперь, проклятого проходимца, простого учителя рисования по фамилии Хартрайт!

— Мой дорогой друг! Ну что тут особенного? Все они влюблены в кого-то другого. Кто на первом месте в сер-

дце женщины? При всем моем опыте я никогда не встречал мужчины, который был бы номером первым. Встречал номер второй, иногда номер третий, четвертый, пятый — часто. Но номер первый — никогда! Он существует, конечно, но я его не встречал!

— Подождите! Я еще не кончил. Как вы думаете, кто с самого начала помогал Анне Катерик, когда служащие сумасшедшего дома помчались за ней вдогонку? Хартрайт! Как вы думаете, кто снова виделся с ней в Кумберленде? Хартрайт! Он дважды говорил с ней с глазу на глаз... Стоп! Не прерывайте меня. Негодяй влюблен в мою жену не меньше, чем она в него. Оба они знают о моей тайне. Дайте им только встретиться, и они в собственных интересах предадут и погубят меня.

— Спокойно, Персиваль, спокойно! Разве вы не верите в порядочность леди Глайд?

— К черту порядочность леди Глайд! Я верю только в ее деньги. Вы теперь поняли, как обстоит дело? Возможно, сама по себе она безвредна, но вместе с этим бродягой Хартрайтом...

— Да-да, я понимаю. Где этот мистер Хартрайт?

— За границей. Я не советовал бы ему торопиться с возвращением, если он хочет сохранить свою шкуру.

— Вы уверены, что он за границей?

— Уверен. Я распорядился, чтобы за ним следили с той минуты, как он уехал из Кумберленда, и до самого его отплытия. О, могу вас уверить, я был осторожен! Анна Катерик жила в доме одного фермера около Лиммериджа. Я сам ходил на ферму после того, как она удрала оттуда, и убедился, что фермеру и его жене ничего не известно. Я дал ее матери указания насчет письма к мисс Голкомб, снимающего с меня всякие подозрения в злом умысле в связи с тем, что я упрятал ее в сумасшедший дом. Страшно сказать, сколько я истратил, чтобы найти ее, и вдруг, несмотря на все предосторожности, она появляется в моем собственном имении, у меня под носом,— и снова исчезает! Откуда я знаю, с кем еще она встречается и откровенничает? Этот проныра, негодяй Хартрайт, может вернуться в любую минуту — а я не буду знать об этом! Он завтра же сможет воспользоваться...

— Нет, Персиваль, нет! Ему не удастся это сделать. Пока я здесь и эта женщина тоже где-то неподалеку,

я отвечаю за то, что она попадет к нам в руки прежде, чем встретится с мистером Хартрайтом, даже если он и вернется. Я понимаю, да, да, я понимаю! Во-первых, необходимо найти Анну Катерик. Об остальном можете не беспокоиться. Ваша жена у вас под рукой, мисс Голкомб неразлучна с ней и, стало быть, тоже в ваших руках, а мистера Хартрайта нет в Англии. Ваша невидимка Анна Катерик — вот о чем мы должны думать в настоящую минуту. Вы расспрашивали о ней?

— Да. Я был у ее матери. Я обыскал всю деревню — и безуспешно.

— Можно ли положиться на ее мать?

— Да.

— Она однажды уже выдала вашу тайну.

— Она этого больше не сделает.

— Почему бы нет? Разве ей выгодно молчать?

— Да, весьма выгодно.

— Я счастлив слышать это, Персиваль,— ради вас. Не падайте духом, друг мой. Как я вам уже сказал, наши материальные дела таковы, что у меня достанет времени обернуться. С завтрашнего дня я начну искать Анну Катерик, надеюсь, более успешно, чем вы. Еще один вопрос, прежде чем мы отправимся спать.

— Какой?

— Вот какой. Когда я пошел в беседку доложить леди Глайд, что небольшое недоразумение в связи с ее подписью под документом улажено, я случайно увидел, как какая-то женщина подозрительно быстро рассталась с вашей женой. Волею судеб я был недостаточно близко, чтобы разглядеть ее лицо. Как я узнаю нашу незримую Анну? На кого она похожа?

— Похожа? Что же, в двух словах: она до тошноты похожа на мою жену!

Кресло застонало, и колонна содрогнулась снова. Граф вскочил на ноги, на этот раз от изумления.

— Что!!! — вскричал он.

— Вообразите себе мою жену после тяжелой болезни и немножко не в своем уме — и перед вами Анна Катерик,— отвечал сэр Персиваль.

— Между ними есть какое-то родство?

— Совершенно никакого.

— И они до такой степени похожи друг на друга?

— Да, до такой степени. Чего вы смеетесь?

Ответа не последовало. Стояла тишина. Граф беззвучно хохотал, трясясь всем телом.

— Чего вы смеетесь? — повторил сэр Персиваль.

— Я смеюсь над собственными фантазиями, мой дорогой друг. Примите во внимание мой итальянский юмор — разве я не принадлежу к знаменитой нации, выдумавшей Паяца? Великолепно, великолепно! Итак, когда я увижу Анну Катерик, я сразу ее узнаю. Хватит на сегодня. Можете спать спокойно, Персиваль. Спите сном праведника, сын мой, вы увидите, что́ я для вас сделаю, когда в помощь нам взойдет солнце! В моей огромной голове теснятся грандиозные планы и проекты. Вы оплатите ваши долги и найдете Анну Катерик, даю вам священную клятву в этом! Я друг, которого вы должны лелеять в самом сокровенном уголке вашего сердца. Разве нет? Не заслужил ли я те небольшие денежные одолжения, о которых вы так деликатно напомнили мне незадолго до этого? Что бы ни было в будущем, никогда больше не оскорбляйте во мне лучшие чувства. Признавайте их, Персиваль! Берите с них пример, Персиваль! Я опять прощаю вас. Я опять жму вашу руку. Спокойной ночи!

Ни слова больше не последовало. Я услышала, как граф закрыл дверь библиотеки. Я услышала, как сэр Персиваль закрыл ставни. Дождь лил непрерывно. Я закоченела и промокла до костей. Когда я попробовала пошевельнуться, мне стало так больно, что пришлось подождать. Сделав новую попытку, мне удалось стать на колени на мокрую, скользкую крышу. Когда я доползла до стены, я увидела, как осветилось окно комнаты графа. Мужество вернулось ко мне, и, не спуская глаз с его окна, я поползла дальше.

Часы пробили четверть второго, когда наконец я положила руки на подоконник моей комнаты.

По пути я не увидела и не услышала ничего подозрительного. Мое отсутствие не было обнаружено.

X

20 июня.

8 часов утра.

На безоблачном небе сияет солнце. Я еще не подходила к постели, я еще не смыкала усталых глаз. Из того же

окна, из которого вчера я смотрела в ночную тьму, смотрю сегодня на яркий утренний свет.

Я считаю часы, прошедшие с тех пор, как я вернулась в свою спальню. Эти часы кажутся мне неделями.

Вероятно, прошло немного времени, но каким долгим оно кажется мне — с той минуты, как в темноте я опустилась на пол своего будуара, продрогшая и промокшая насквозь, бесполезное, беззащитное, панически напуганное существо.

Я не помню, когда пришла в себя. Не помню, как добралась до спальни, зажгла свечу и начала искать, забыв, как это ни странно, где оно лежит, сухое белье и одежду, чтобы переодеться и хоть немного согреться. Я помню, что я это сделала, но когда именно, не помню.

Как случилось, что я перестала дрожать от холода и начала гореть от нестерпимого жара?

Наверно, это произошло еще до рассвета. Да, помню, я слышала, как пробило три часа. Помню, как удары башенных часов пробудили мое дремавшее сознание и я с необыкновенной ясностью представила себе все, что произошло. Помню, как я решила держать себя в руках и терпеливо — час за часом — ждать первого удобного случая, чтобы вырвать Лору из этого ужасного дома, не подвергаясь опасности, что нас сразу поймают и вернут обратно. Помню, как начала убеждаться, что разговор этих двух злодеев не только полностью оправдывал наш побег, но и давал нам в руки оружие борьбы с ними. Помню, это побудило меня немедленно записать их слова в точности, как они были сказаны, пока слова эти не изгладились из моей памяти. Все это я помню ясно — в голове моей еще нет путаницы. Я пришла в спальню с пером, чернилами и дневником до рассвета, села у открытого окна, чтобы немного охладить свою пылающую голову, и писала непрерывно, все быстрей, все неутомимей, пока не начал просыпаться дом, пока не забрезжило утро. Это я помню так ясно! Я начала писать при свече, а доканчивала эту страницу при солнечном свете нового дня!

Почему я продолжаю сидеть за столом? Почему продолжаю утомлять мои воспаленные глаза и бедную голову? Почему бы не лечь и отдохнуть, почему бы не попытаться утишить во сне жар, снедающий меня?

Я не смею. Страх страшнее всех других страхов ов-

ладел мной. Я боюсь этого жара, который жжет мою кожу; я боюсь этого пульсирования и боли в голове. Если я лягу сейчас, хватит ли у меня сил и сознания, чтобы снова подняться?

О этот дождь, этот жестокий дождь, из-за которого я так продрогла вчера ночью!

9 часов

Пробило девять или восемь ударов? Кажется, девять. Я опять трясусь, дрожу в нестерпимом ознобе на жарком летнем воздухе. Спала ли я, сидя здесь? Не знаю.

О господи, неужели я заболею?

Заболеть! В такое время! Моя голова — я так боюсь за свою голову. Я еще могу писать, но все строчки сливаются вместе. Я различаю слова. Лора! Я пишу «Лора» и вижу написанное слово. Сколько было ударов — восемь или девять?

О, как мне холодно! Какой дождь лил вчера ночью! И удары часов, удары — я не могу сосчитать их — все время отзываются в моем мозгу...

Примечание

На этом запись в дневнике перестает быть разборчивой. Последующие несколько строк содержат в себе обрывки фраз вперемежку с кляксами и росчерками пера. Последние отметки на бумаге отдаленно напоминают буквы «Л» и «А», то есть имя леди Глайд.

На следующей странице дневника — другая запись. Почерк мужской — крупный, размашистый, твердый, четкий. Запись помечена датой «21 июня» и содержит следующие строки:

ПОСЛЕСЛОВИЕ ИСКРЕННЕГО ДРУГА

Благодаря болезни нашей превосходной мисс Голкомб мне представилась возможность испытать неожиданное интеллектуальное удовольствие.

Я говорю о прочтении этого интереснейшего дневника, который я только что дочитал до последней строки.

В нем несколько сотен страниц. Положа руку на сердце, я заявляю, что каждая страница очаровала, освежила, восхитила меня.

Такому чувствительному человеку, как я, невыразимо приятно, когда он может сказать это.

Замечательная женщина!

Я подразумеваю мисс Голкомб.

Громаднейший труд!

Я подразумеваю дневник.

Да, это потрясающие страницы. Чуткость, которую я нахожу в них, сдержанность, редкое мужество, великолепнейшая память, правильная оценка характеров, легкая грациозность стиля, очаровательные взрывы женской чувствительности — все это несказанно усилило мое восхищение и преклонение перед этим божественным существом, перед этой великолепной Мэриан. Ее описание моей собственной персоны сделано рукой мастера, оно превосходно в высшей степени. Я от всего сердца свидетельствую, что портрет совершенно верен. Я понимаю, какое неотразимое впечатление должен я был произвести, чтобы меня описали такими роскошными, богатыми, крупными мазками! Я вновь скорблю о жестокой необходимости быть в разногласии с ней и противопоставлять мои интересы ее интересам. При более счастливом стечении обстоятельств — как я был бы достоин мисс Голкомб! Как достойна была бы мисс Голкомб меня!

Чувства, которыми живет мое сердце, свидетельствуют сами за себя. Они провозглашают, что строки, только что мною написанные, глубоко правдивы.

Эти чувства возвышают меня над чисто личными соображениями. С полной беспристрастностью я отдаю должное превосходному плану, благодаря которому эта непревзойденная женщина слышала частную беседу между Персивалем и мною, а также чудодейственной точности, с которой она изложила наш разговор от начала до конца.

Эти чувства побудили меня предложить невежественному доктору, лечащему ее, мои обширные познания в области фармакологии и мое знакомство с утонченными средствами, которые медицина и магнетическая наука предоставили на пользу человечеству. Пока что этот лекарь отказывается прибегать к моей помощи. Жалкий человек!

В заключение: эти чувства вдохновили эти строки — благодарные, нежные, отеческие строки. Я закрываю дневник. Моя щепетильность в отношении частной собствен-

ности вынуждает меня положить его обратно (руками моей жены) в стол мисс Голкомб. События торопят меня. Руководствуясь ими, я иду к намеченной цели. Необозримые перспективы успеха открываются перед моим взором. Я выполняю то, что предназначено мне судьбой, со спокойствием, ужасающим меня самого. Я волен только в своем почтительнейшем восхищении. С благоговейной нежностью я кладу его к ногам мисс Голкомб.

Я шепчу про себя молитвы о ее выздоровлении.

Я соболезную вместе с ней по поводу краха тех планов, которые она составляла в пользу своей сестры. В то же самое время я молю ее верить, что сведения, почерпнутые мною из ее дневника, ни в коем случае не содействовали этому краху. Ее записи просто подтвердили правильность некоторых моих умозаключений. Я благодарен этим страницам только за то, что они пробудили во мне самые возвышенные чувства.

Для личности, одаренной в равной со мной степени изысканной чувствительностью, это простое утверждение объяснит и извинит все.

Мисс Голкомб — личность, одаренная той же изысканностью чувств.

Убежденный в этом

Фоско.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ ФРЕДЕРИК ФЭРЛИ, ЭСКВАЙР, ВЛАДЕЛЕЦ ИМЕНИЯ ЛИММЕРИДЖ[1]

Несчастье моей жизни заключается в том, что никто не хочет оставить меня в покое.

Зачем — спрашиваю я всех и каждого,— зачем докучать мне? Никто не отвечает на этот вопрос, никто не оставляет меня в покое. Родственники, друзья, посторонние постоянно надоедают мне. За что? Что я им сделал? Я задаю этот вопрос самому себе, задаю этот вопрос моему камердинеру Луи пятьсот раз на день: что я им сделал? Ни я, ни он не можем ответить. Просто удивительно.

В последнее время мне надоедают, непрерывно приставая, чтобы я написал этот отчет. Разве человек в моей стадии нервного расстройства способен писать какие-то отчеты? Когда я привожу это весьма основательное возражение, мне говорят, что некоторые серьезные события, касающиеся моей племянницы, произошли при мне и поэтому именно я должен описать их. В случае, если я не смогу принудить себя исполнить просимое, мне угрожают такими последствиями, одна мысль о которых ввергает

[1] О том, каким образом был получен отчет мистера Фэрли, а также и последующие отчеты, мы расскажем в дальнейшем. *(Примеч. автора.)*

меня в полную прострацию. Право, нет нужды угрожать мне. Разбитый своими недугами и семейными неурядицами, я не способен сопротивляться. Если вы настаиваете — вы злоупотребляете моим бессилием, ведь я уже уступил! Я постараюсь припомнить, что смогу (протестуя!), и написать, что смогу (также протестуя!), а то, что я не смогу припомнить и написать, моему камердинеру Луи придется припомнить и написать вместо меня. Он осел, а я инвалид, и мы вместе, наверно, наделаем массу ошибок. Как унизительно!

Мне говорят, что я обязан вспомнить даты. Господи боже! За всю свою жизнь я никогда не делал этого — я категорически отказываюсь припоминать какие бы то ни было даты! Я даже не знал бы, с чего начать!

Я спросил Луи. Он совсем не такой осел, каким я до сих пор его считал. Он помнит дату события приблизительно, а я помню имена действующих лиц. Это было какого-то числа в конце июня или в начале июля, а имя действующего лица (по-моему, чрезвычайно вульгарное) было Фанни.

Итак, в конце июня или в начале июля я полулежал, как обычно, в своем кресле, окруженный разными произведениями искусства, которые я коллекционирую, чтобы усовершенствовать вкусы моих соседей-дикарей. Выражаясь яснее, вокруг меня были дагерротипы моих картин, гравюр, офортов, эстампов, древних монет и прочего, которые я намерен в один из ближайших дней пожертвовать (дагерротипы, конечно, я говорю о них, но этот английский язык так неуклюж, что понять его трудно), пожертвовать учреждению в Карлайле (отвратительное место!), имея в виду усовершенствование вкусов его членов (истых варваров и вандалов, с моей точки зрения). Можно было бы предположить, что джентльмена, собирающегося оказать огромное национальное благодеяние своим соотечественникам, не станут так бесчувственно беспокоить разными частными затруднениями и семейными неурядицами. Ошибка — уверяю вас! По отношению ко мне это далеко не так!

Как бы там ни было, я полулежал, окруженный моими сокровищами искусства, мечтая о безмятежном утре. Именно потому, что я жаждал безмятежности, вошел Луи. Естественно, я осведомился, что означает его приход,— ведь я не звонил в колокольчик! Я редко ругаюсь — это

такая неджентльменская привычка,— но, когда Луи ухмыльнулся в ответ, считаю совершенно естественным, что я проклял его за это. Во всяком случае, я это сделал.

По моим наблюдениям, подобные суровые меры неизменно приводят в чувство людей низших классов. Это привело Луи в чувство. Он был так любезен, что перестал ухмыляться и доложил о просьбе какой-то молодой особы принять ее. Он прибавил (с отвратительной болтливостью, свойственной прислуге), что ее имя Фанни.

— Какая Фанни?

— Горничная леди Глайд, сэр.

— Что нужно горничной леди Глайд от меня?

— Письмо, сэр.

— Возьмите его.

— Она отказывается отдавать его кому бы то ни было, кроме вас, сэр.

— Кто послал письмо?

— Мисс Голкомб, сэр.

Как только я услышал имя мисс Голкомб, я сдался. Я привык сдаваться мисс Голкомб. Я знаю по опыту, что в таком случае шуму будет меньше. Я сдался и на этот раз. Дорогая Мэриан!

— Пусть горничная леди Глайд войдет. Луи, остановитесь! Ее башмаки скрипят?

Я был вынужден задать этот вопрос. Скрипучие башмаки расстраивают меня на целый день. Я покорился необходимости принять молодую особу, но не желал покоряться тому, что ее башмаки расстроят меня. Есть предел даже моему долготерпению.

Луи заверил меня, что на ее башмаки можно положиться. Я махнул рукой. Он впустил ее. Надо ли говорить, что ее смущение выразилось в том, что она молчала как убитая и только громко сопела. Тем, кто изучает женскую природу на низшей ступени развития, безусловно, можно и не говорить об этом.

Я буду справедлив к девушке. Ее башмаки не скрипели. Но почему у молодых особ, находящихся в услужении, всегда потеют руки? Почему у них всегда толстые носы и твердые щеки? И почему их лица так плачевно незаконченны, особенно уголки век? Я недостаточно здоров, чтобы углубляться в отвлеченные вопросы, я обращаюсь к ученым, которые достаточно здоровы: почему у нас нет разновидностей среди молодых особ?

— У вас письмо ко мне от мисс Голкомб? Положите его на стол, только, пожалуйста, ничего не опрокидывайте. Как поживает мисс Голкомб?

— Хорошо, благодарю вас, сэр.

— А леди Глайд?

Ответа не последовало. Лицо молодой особы стало еще более незаконченным, и, кажется, она начала плакать. Я, бесспорно, увидел какую-то влагу на ее щеках. Слезы или пот? Луи (с которым я посоветовался) склонен считать, что это были слезы. Он принадлежит к ее классу; и ему полагается разбираться в этом. Предположим — слезы.

За исключением тех случаев, когда искусство в силу своего совершенства делает их не похожими на настоящие слезы, я отношусь к ним определенно отрицательно. Говоря научным языком, слезы являются выделениями. Я могу понять, что выделения могут быть здоровыми или болезненными, но я не могу понять, что́ в них интересного с сентиментальной точки зрения. Возможно, благодаря тому, что мои собственные выделения все целиком болезненны, я слегка предубежден против них. Несмотря на это, я вел себя в данном случае с большим тактом и вполне сочувственно. Я закрыл глаза и сказал Луи:

— Попытайтесь выяснить, что она хочет этим сказать.

Луи попытался, и молодая особа попыталась. Им удалось до такой степени запутать друг друга, что, должен искренне признаться, они чрезвычайно позабавили меня. Думаю, что снова пошлю за ними, когда буду в плохом настроении. Я только что упомянул об этом Луи. Как ни странно, это как будто смутило его. Бедный малый!

Надеюсь, от меня не ждут, что я буду объяснять причину слез горничной моей племянницы, пересказанную мне с ее слов на английском языке моего швейцарского камердинера. Для меня это непосильная задача. Может быть, я смогу передать только собственные впечатления и чувства в связи с этим. Угодно вам? Прошу вас ответить утвердительно.

По-моему, она начала говорить мне (через Луи), что ее хозяин отказал ей от места. (Заметьте странную не-

последовательность молодой особы. При чем тут я, если ей отказали от места?) Получив расчет, она пошла ночевать в гостиницу. (Я не содержу гостиниц — к чему же говорить об этом мне?) К вечеру мисс Голкомб зашла к ней попрощаться и дала ей два письма — одно для меня, другое для какого-то джентльмена в Лондоне. (Но я-то не джентльмен в Лондоне, будь он проклят!) Она тщательно спрятала оба письма за пазуху. (Но мне-то какое дело до ее пазухи?) Она очень горевала, когда мисс Голкомб ушла, и ничего не пила и не ела, пока не настало время ложиться, и вот тогда — было около девяти часов вечера,— вспомнив, что у нее ни крошки весь день во рту не было, она захотела выпить чашку чая. (Почему я должен быть в ответе за эти вульгарные переживания, которые начинаются слезами, а кончаются чашкой чая?) Как раз в ту минуту, как она «поставила котелок на огонь» (я пишу эти слова с авторитетного утверждения Луи, что он понимает их смысл и готов объяснить его мне, но я принципиально не желаю слушать никаких объяснений), итак, едва только она «поставила котелок на огонь», как дверь отворилась и ее «как обухом по голове хватило» (собственные ее слова, на этот раз непонятные даже для Луи) при появлении «ее сиятельства миледи графини». С чувством глубокой иронии я передаю, как титулует мою сестру горничная моей племянницы. Моя бедная сестра — скучнейшая женщина, вышедшая замуж за иностранца. Продолжаю: дверь отворилась, ее сиятельство миледи графиня появилась в комнате, и молодую особу «как обухом по голове хватило». Весьма примечательно!

Право, мне необходимо немного отдохнуть, прежде чем я соберусь с силами и смогу продолжать. После того как, откинувшись в кресле, я полежу несколько минут с закрытыми глазами и Луи смочит мои бедные, измученные виски одеколоном, возможно, я смогу писать дальше.

Ее сиятельство миледи графиня...

Нет! Я в силах продолжать, но не в силах сидеть. У Луи ужаснейший акцент, но он знает английский язык и может писать под диктовку. Чрезвычайно удобно!

Ее сиятельство миледи графиня объяснила свое неожиданное появление в гостинице тем, что пришла передать Фанни какие-то поручения от мисс Голкомб, о которых та позабыла сказать девушке из-за спешки.

Молодая особа пожелала узнать, что это за поручения, но графиня не хотела говорить о них (как это типично для моей сестры!), пока Фанни не напьется чаю. Миледи графиня очень любезно и заботливо (как это нетипично для моей сестры!) сказала: «Моя бедная девочка, я уверена, что вам очень хочется чаю. О поручениях мы поговорим потом. Чтобы сделать вам приятное, я сама заварю чай и выпью чашечку с вами». Эти слова взволнованно повторила мне молодая особа, и, по-моему, я правильно продиктовал их Луи. Во всяком случае, графиня настойчиво желала заварить чай сама и зашла в своем унижении так далеко, что налила себе чашку и убедила девушку выпить другую. Девушка выпила чаю и, по ее словам, отпраздновала этот знаменательный случай тем, что через пять минут потеряла сознание в первый раз в своей жизни. Здесь опять я привожу ее собственные слова. Луи считает, что их сопровождало неограниченное выделение слез. Сам я не могу подтвердить правильность этого. С меня было достаточно, что я принудил себя слушать, но глаза мои были закрыты.

На чем, бишь, я остановился? Ах да, она упала в обморок, выпив чашку чая с графиней,— поступок, который, возможно, заинтересовал бы меня, имей я отношение к медицине, но, не будучи медиком, я просто скучал, когда она рассказывала мне об этом, и только. Через полчаса, когда она пришла в себя, она лежала на кушетке, а около нее, кроме хозяйки, никого не было. Графиня решила, что час слишком поздний, чтобы оставаться в гостинице, и ушла, как только девушка стала подавать признаки жизни. Хозяйка была настолько добра, что уложила девушку в постель.

Оставшись одна, молодая особа пощупала у себя за пазухой (я весьма сожалею о необходимости упоминать об этом вторично) и убедилась, что оба письма лежат там, но в довольно скомканном виде. Ночью у нее болела голова, но утром она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы отправиться в дорогу. Письмо, адресованное этому навязчивому незнакомцу — джентльмену в Лондоне, она опустила в почтовый ящик и теперь передавала второе письмо прямо мне в руки, как ей было приказано. Все это было истинной правдой, и, хотя она не могла упрекнуть себя ни в какой сознательной небрежности, она была в полном смятении и очень нуждалась в совете. При

этом, как считает Луи, выделения появились заново. Возможно. Гораздо важнее, что тут я наконец потерял всякое терпение, открыл глаза и вмешался.

— Что все сие означает? — осведомился я.

Бестолковая горничная моей племянницы вытаращила глаза и онемела.

— Попытайтесь выяснить,— сказал я камердинеру,— переводите мне, Луи.

Луи попытался и перевел. Иными словами, он немедленно погрузился с головой в колодец неразберихи, а молодая особа канула вслед за ним. Право, не помню, когда еще я так забавлялся! Я предоставил им барахтаться на дне колодца, пока меня это не утомило. Когда это перестало казаться мне забавным, я сделал над собой усилие и вытянул их наверх.

Нужно ли говорить, что мое вмешательство дало мне возможность с течением времени установить смысл замечаний молодой особы.

Я выяснил, что она в полном смятении, ибо факты, происшедшие с ней, помешали ей получить от графини дополнительные поручения мисс Голкомб. Она боялась, что эти поручения имели важное значение для ее хозяйки. Но вернуться в Блекуотер-Парк, чтобы спросить о них у самой мисс Голкомб, она не осмелилась из-за сэра Персиваля. Остаться в гостинице еще на один день она не решалась, ибо мисс Голкомб велела ей не опоздать на утренний поезд. Она чрезвычайно тревожилась, что ее несчастный обморок приведет к другому несчастью: ее госпожа подумает, что на нее нельзя положиться! Она смиренно просила моего совета: следует ли ей написать мисс Голкомб с просьбой перечислить ей поручения в ответном письме, если еще не поздно? Я не прошу прощения за эти крайне утомительные строки. Мне приказано написать их. Как это ни невероятно, но есть люди, которых в самом деле больше интересует то, что сказала мне горничная моей племянницы, чем то, что сказал ей я! Забавная извращенность!

— Я была бы вам так благодарна, если бы вы посоветовали мне, как поступить! — заметила молодая особа.

— Лучше всего ни о чем не беспокойтесь,— сказал я, применяя свои выражения к слушательнице,— я никогда ни о чем не беспокоюсь. Да. Что еще?

— Если вы считаете, сэр, что я беру на себя слишком большую смелость, желая написать мисс Голкомб, сэр, я, конечно, не посмею писать ей. Но мне так хочется сделать все, что я только могу, для моей госпожи...

Люди низшего класса никогда не могут понять, когда или как им следует выйти из комнаты. Лицам, стоящим выше их, неизменно приходится помогать им в этом. Я решил, что пробил час, когда молодой особе надо помочь уйти. Я сделал это посредством двух слов, полных здравого смысла: «До свиданья!»

Что-то снаружи или внутри у девушки вдруг скрипнуло. Луи, глазевший на нее, говорит, что она скрипнула, когда делала книксен. Любопытно. Были это ее башмаки, ее корсет или ее кости? Луи думает, что это был ее корсет. Чрезвычайно странно!

Как только я остался один, я немного вздремнул — мне давно этого хотелось. Когда я проснулся, я заметил на столике письмо нашей дорогой Мэриан. Если бы я имел хоть малейшее представление о его содержании, я, безусловно, никогда не сделал бы попытки вскрыть конверт. Будучи, к несчастью, в блаженном неведении и ничего не подозревая, я прочитал его. Оно немедленно вывело меня из равновесия на целый день.

По своей натуре я один из самых кротких людей на свете — я снисходителен ко всем, я ни на что не сержусь. Но как я уже сказал, есть предел даже моему долготерпению. Я отложил письмо Мэриан в сторону и почувствовал себя с полным правом глубоко оскорбленным.

Я должен наконец высказаться! Мое замечание будет касаться серьезнейшего вопроса, иначе я не позволил бы себе помещать его на этих страницах.

Ни в чем, по-моему, гнусный эгоизм человечества не проявляется во всех слоях общества с такой отвратительной обнаженностью, как в обращении, которое холостые люди терпят от женатых. Если вы оказались слишком человеколюбивым и осмотрительным, чтобы не прибавлять собственное семейство к уже и без того переуплотненному населению, вы становитесь объектом мщения для ваших женатых друзей. Вы — плечо, на котором они считают нужным выплакивать все свои супружеские горести. Вы почему-то друг всех их детей. Мужья и жены только говорят о супружеских треволнениях, а холо-

стяки и старые девы обязаны сносить эти треволнения на своей собственной шкуре. Привожу в пример самого себя. Я рассудительно остался холостяком, а мой бедный дорогой брат Филипп безрассудно женился. Что же он делает после своей смерти? Оставляет свою дочь мне. Она прелестная девушка, но в то же время ответственность на меня падает ужасающая. За что взваливать ее на мои плечи? А за то, видите ли, что в качестве безобидного холостяка я обязан избавлять моих женатых родственников от всех их собственных супружеских забот и обязанностей. Я делаю все от себя зависящее, чтобы наилучшим образом выполнить за моего брата его собственную обязанность: с бесконечными проволочками и затруднениями я наконец выдаю замуж мою племянницу за человека, которого сам отец выбрал ей в мужья. Между супругами возникают раздоры со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Что она делает с этими неприятными последствиями? Взваливает их на мои плечи. За что? За то, что я в качестве безобидного холостяка обязан избавлять моих женатых родственников от всех их супружеских треволнений. Бедные, беззащитные холостяки! О жалкое человечество!

Стоит ли говорить, что Мэриан угрожала мне в письме? Все угрожают мне. В случае, если бы я не решился сделать из Лиммериджа прибежище для моей племянницы с ее несчастьями, на мою самоотверженную голову должны были обрушиться всевозможные ужасы. И все-таки я колебался.

Я уже упоминал, что до сего времени обычно я покорялся дорогой Мэриан во избежание шумихи. Но в данном случае некоторые особенности ее крайне бестактного предложения заставляли меня мешкать. Если бы я сделал из Лиммериджа прибежище для моей племянницы, кто мог поручиться, что сэр Персиваль в страшном негодовании не нагрянет сюда и не обрушится на меня за укрывательство его жены? В результате моего опрометчивого согласия я предвидел такой лабиринт треволнений, что твердо решил предварительно нащупать почву, а пока что не сдаваться. Поэтому я написал дорогой Мэриан (поскольку у нее не было мужа, который мог бы предъявить на нее свои права), чтобы сначала она сама приехала сюда в Лиммеридж для переговоров со мной. Я заверял ее, что приму нашу прелестную Лору с пре-

великим удовольствием, но только если Мэриан удастся успокоить мои страхи, не иначе.

Промедление это, как я предчувствовал в то время, кончится тем, что дорогая Мэриан примчится сюда в состоянии неслыханного негодования и с хлопанием дверьми. С другой стороны, если бы я принял другое решение, сюда мог примчаться сэр Персиваль в состоянии неслыханного негодования и тоже с хлопанием дверьми. Из этих двух негодований и грохотов я предпочитал негодование Мэриан, ибо к нему уже привык! Соответственно я отослал ей письмо с обратной почтой. Во всяком случае, это был выигрыш во времени, и — о боги небесные! — одно это было уже хорошо!

Когда я нахожусь в состоянии полной прострации (упомянул ли я, что письмо Мэриан повергло меня в полную прострацию?), обычно я прихожу в себя только через три дня. Я был весьма опрометчив — я надеялся, что буду иметь трехдневный покой. Не тут-то было! Конечно, я его не имел!

На третий день я получил крайне дерзкое письмо от совершенно незнакомой мне личности. Личность называла себя компаньоном нашего поверенного в делах — нашего доброго, тупоголового старика Гилмора. Этот якобы компаньон уведомлял меня, что получил недавно письмо, адресованное ему мисс Голкомб. Распечатав конверт, он, к своему изумлению, обнаружил в нем всего только чистый лист бумаги. Это обстоятельство показалось ему весьма подозрительным (его неугомонный юридический нюх подсказывал ему, что кто-то тайно похитил письмо), и он немедленно написал мисс Голкомб. Однако ответа на свое письмо он до сих пор не получил. Оказавшись в таком затруднении, он, вместо того чтобы действовать согласно здравому смыслу, то есть предоставить все своему течению, бессмысленно надоедал мне вопросами, не знаю ли я чего-нибудь обо всем этом. Какого черта должен был я знать обо всем этом? Зачем будоражить и себя, и меня? Об этом я и написал ему. Это было одно из моих самых язвительных писем. Ничего более острого в эпистолярном стиле я не производил с той поры, как выгнал в письменной форме одного крайне надоедливого человека — мистера Уолтера Хартрайта.

Письмо мое возымело должный эффект. Я больше ничего не получал от этого юриста.

Это было неудивительно. Удивительным было то обстоятельство, что от Мэриан не только не было никакого ответа, но не было и никаких угрожающих признаков ее появления. Неожиданное отсутствие дорогой Мэриан просто окрылило меня. Было так приятно и успокоительно прийти к заключению, что между моими женатыми родственниками снова наступил мир. Пять дней нерушимого покоя, чарующего блаженного одиночества почти привели меня в равновесие. На шестой день я почувствовал себя настолько окрепшим, что послал за моим фотографом и засадил его снова за работу — делать дагерротипы моих сокровищ искусства, имея в виду, как я уже упоминал выше, усовершенствование вкусов всех окрестных варваров. Только я отпустил его в рабочую комнату и начал заниматься моими древними монетами, как внезапно появился Луи с визитной карточкой в руках.

— Еще какая-нибудь молодая особа? — сказал я.— Я ее не приму. При моем состоянии здоровья молодые особы мне не под силу. Меня нет дома.

— На этот раз джентльмен, сэр.

Джентльмен — это, конечно, было другое дело. Я взглянул на визитную карточку.

Боже милосердный! Иностранный муж моей скучнейшей сестры — граф Фоско!

Стоит ли говорить, какая мысль возникла у меня, когда я взглянул на визитную карточку гостя? Разумеется, не стоит. Сестра моя была замужем за иностранцем, и здравомыслящему человеку могло прийти в голову только одно: граф явился, чтобы занять у меня денег.

— Луи,— сказал я,— как вы думаете, он уйдет, если вы дадите ему пять шиллингов?

Луи был явно шокирован. Он невыразимо изумил меня, провозгласив, что иностранный муж моей сестры роскошно одет и выглядит «как настоящий богач». От этих сведений моя первая мысль соответственно претерпела некоторое изменение. Теперь я был убежден, что у графа имеются собственные супружеские треволнения и он приехал, по обычаю членов моей семьи, взвалить их на мои плечи.

— Он сказал, по какому делу приехал?

— Граф Фоско приехал, сэр, потому, что мисс Голкомб не в состоянии сама уехать из Блекуотер-Парка.

Новые треволнения! По-видимому, не совсем его собственные, как я предполагал, но этой дорогой Мэриан. Во всяком случае, треволнения. О боже!

— Введите его,— сказал я, покорившись своей участи.

Появление графа буквально ошеломило меня. Он был так устрашающе огромен, что, признаюсь, я задрожал. Я был совершенно уверен, что он будет сотрясать пол и повалит все мои сокровища искусства. Он не сделал ни того, ни другого. Он был в премилом светлом летнем костюме, держался с очаровательным спокойствием и самообладанием и любезно улыбался. Вначале он произвел на меня превосходное впечатление. Это не делает чести моей проницательности, как покажет дальнейшее. Об этом не следовало бы упоминать, но я откровенный человек и упоминаю об этом, несмотря ни на что.

— Разрешите вам представиться, мистер Фэрли,— сказал он,— я приехал из Блекуотер-Парка и имею счастье и честь быть супругом мадам Фоско. Позвольте мне в первый и последний раз упомянуть об этом огромном преимуществе и умолять вас не относиться ко мне как к постороннему человеку. Прошу вас — не беспокойтесь! Молю вас — не шевелитесь!

— Вы очень любезны,— отвечал я.— Я хотел бы иметь достаточно сил, чтобы приподняться. Счастлив видеть вас в Лиммеридже. Прошу вас, садитесь.

— Боюсь, что вы очень страдаете сегодня,— сказал граф.

— Как обычно,— сказал я.— Я всего-навсего сплошной клубок нервов, я только выгляжу человеком.

— В свое время я изучил много наук,— заметил этот симпатичный человек.— Среди них — и сложнейший вопрос о нервах. Могу ли я внести некоторые предположения — наипростейшие и в то же время наиглубочайшие? Разрешите исправить освещение вашей комнаты?

— Конечно. Только будьте любезны, следите, чтобы свет не падал на меня.

Он подошел к окну. Какой контраст по сравнению с дорогой Мэриан! Какая внимательность, какая бесшумная походка!

— Свет,— сказал он очаровательно интимным тоном, так успокоительно действующим на всякого инвалида,—

имеет первостепенное значение. Свет возбуждает, питает, сохраняет. Если бы вы были цветком, мистер Фэрли, вы тоже не могли бы обойтись без него. Следите за мной. Здесь, где сидите вы, я закрою ставни, чтобы свет не беспокоил вас. Там, где вы не сидите, я распахну ставни навстречу целительному солнцу. Впускайте свет в вашу комнату, даже если не переносите его на себе. Свет, сэр, заповедан нам благостным провидением. Вы исполняете заповеди провидения со своими поправками. Впускайте свет на таких же условиях.

Я счел все это весьма убедительным и заботливым. Он, бесспорно, понравился мне всей этой историей со светом. Да. Бесспорно.

— Я в смятении, мистер Фэрли,— сказал он, возвращаясь на место,— клянусь честью, мистер Фэрли, при виде вас я в смятении.

— Весьма сожалею, уверяю вас. Разрешите спросить: почему?

— Сэр, мог ли я войти в эту комнату (где находитесь вы, страдалец), увидеть вас окруженным великолепными произведениями искусства и не понять, что вы человек необычайно ранимый, человек обостренной чувствительности? Скажите, мог ли я?

Если бы у меня хватило сил приподняться, я бы поклонился ему. Но у меня не было сил, я мог только слабо улыбнуться в ответ. По существу, это было то же самое. Мы оба поняли друг друга.

— Прошу вас, следите за ходом моей мысли,— продолжал граф.— Будучи человеком утонченной чувствительности, я сижу здесь в присутствии другого человека утонченной чувствительности и сознаю ужасную необходимость ранить эту чувствительность некоторыми семейными происшествиями крайне меланхолического порядка. Каковы неизбежные последствия этого? Как я имел честь доложить вам, я в смятении!

Не в эту ли минуту я заподозрил, что он будет надоедать мне? Кажется, да.

— Неужели так необходимо упоминать об этих меланхолических происшествиях? — осведомился я.— Выражаясь нашим непритязательным английским языком, граф Фоско, нельзя ли положить их в долгий ящик?

Граф с ужасающей торжественностью вздохнул и покачал головой.

— Разве мне необходимо знать о них?

Он пожал плечами — первый иностранный жест, который он позволил себе с той минуты, как появился у меня в комнате,— и устремил на меня пренеприятный, пронизывающий взгляд. Мой инстинкт подсказал мне, что лучше закрыть глаза. Я подчинился своему инстинкту.

— Только, пожалуйста, осторожнее! — взмолился я.— Кто-нибудь умер?

— Умер! — вскричал граф с излишней иностранной горячностью.— Мистер Фэрли, ваше национальное самообладание ужасает меня. Ради создателя, что я такого сделал или сказал, чтобы вы могли предположить во мне вестника смерти?

— Тысяча извинений,— отвечал я.— Вы ничего не сделали и не сказали. Но в таких случаях я всегда заранее подготовляюсь к худшему. Это несколько смягчает удар, встречая его на полдороге, и так далее. Уверяю вас, мне невыразимо приятно слышать, что никто не умер. Кто-нибудь болен?

Я открыл глаза. Был ли он очень желтым, когда вошел, или сильно пожелтел за последние две-три минуты? Право, не знаю и не могу спросить Луи, ибо его в это время в комнате не было.

— Кто-нибудь болен? — повторил я, понимая, что мое национальное самообладание продолжает ужасать его.

— Да, мистер Фэрли, кто-то болен.

— Очень огорчен, уверяю вас. Кто же?

— К моему глубокому прискорбию, мисс Голкомб. Вероятно, вы до некоторой степени были подготовлены к этому? Вероятно, когда вы увидели, что мисс Голкомб не приехала, как вы ей предлагали, и не написала вам ответного письма, вы, как любящий дядюшка, разволновались, не заболела ли она?

Несомненно, как любящий дядюшка, я испытывал такое грустное предчувствие в какой-то из этих дней, но в ту минуту я совершенно не мог припомнить, когда именно это было. Однако я отвечал утвердительно из справедливости к самому себе. Я был очень удивлен. Болеть было так нетипично для дорогой Мэриан. Я мог предположить только какой-нибудь несчастный случай, происшедший с нею. Необъезженная верховая лошадь,

или падение с лестницы, или еще что-то в этом роде.

— Это серьезно? — спросил я.

— Серьезно? Без сомнения,— отвечал он.— Опасно? Надеюсь, что нет. К несчастью, мисс Голкомб попала под проливной дождь. Она сильно простудилась, а теперь состояние ее осложнилось сильнейшей лихорадкой.

При слове «лихорадка» я вспомнил, что наглая личность, которая разговаривала со мной, только что прибыла из Блекуотер-Парка! Я почувствовал, что падаю в обморок...

— Боже милосердный! — сказал я.— Это заразно?

— Пока нет,— отвечал он с отвратительным хладнокровием,— но, возможно, станет заразным. Когда я уезжал из Блекуотер-Парка, подобных удручающих осложнений еще не было. Я питаю глубочайший интерес к этому случаю, мистер Фэрли, и пытался помочь врачу, лечащему мисс Голкомб. Примите мои личные уверения: когда я наблюдал больную в последний раз, лихорадка была еще незаразной.

Принять его уверения! Я не принял бы его уверения ни за какие блага в мире! Я не поверил бы даже самой нерушимой из его клятв! Он был слишком желт, чтобы ему можно было поверить! Он выглядел как вопиющая зараза, как воплощение заразы. Достаточно объемистый, чтобы быть носителем целой тонны тифозных бацилл, он мог покрыть весь ковер, по которому разгуливал, скарлатинозной горячкой! При крайней необходимости я удивительно быстро соображаю. Я мгновенно решил отвязаться от него.

— Будьте так добры, простите инвалида,— сказал я,— но длительные переговоры любого рода чрезвычайно утомляют меня. Разрешите узнать причину, по которой вы оказали мне честь вашим посещением?

Я горячо надеялся, что этот толстый намек выбьет его из колеи, сконфузит его, принудит к вежливым извинениям, короче — заставит его выйти вон из комнаты. Напротив! Мои слова только усадили его на стул. Он стал еще торжественнее, напыщеннее и болтливее. Он выставил вперед два страшных пальца и уставился на меня одним из своих пренеприятно проницательных взглядов. Что мне оставалось делать? Вообразите себе

мое положение сами, прошу вас. Разве можно его описать? По-моему, нет!

— Причины моего визита,— неукротимо продолжал он,— перечислены на моих пальцах. Их две. Во-первых, я приехал с глубочайшим прискорбием подтвердить, что между сэром Персивалем и леди Глайд происходят печальные разногласия. Я ближайший друг сэра Персиваля. Я связан родственными узами с леди Глайд, так как женат на ее родной тетке. Я являюсь очевидцем всего, что произошло в Блекуотер-Парке. Благодаря всему этому я имею возможность говорить с полным правом, с уверенностью, с почтительным сожалением. Сэр, я ставлю вас в известность, как главу семьи леди Глайд, что мисс Голкомб не преувеличила ничего в своем письме к вам. Я утверждаю: мера, предложенная этой превосходной леди,— единственное, что избавит вас от ужасов публичного скандала. Временная разлука мужа и жены является мирным разрешением этого труднейшего вопроса. Разлучите их сейчас, и, когда все причины для трений будут устранены, я, имеющий честь обращаться к вам, предприму шаги для того, чтобы образумить сэра Персиваля. Леди Глайд не виновата, леди Глайд оскорблена, но (следите внимательно за ходом моей мысли) именно поэтому — упоминаю об этом, сгорая от стыда! — она является источником раздражения для своего мужа, оставаясь под одной крышей с ним. Принять ее с полным правом и приличием может только ваш дом. Примите ее, прошу вас!

Вот это мило! На юге Англии происходило страшное супружеское сражение, а человек с тоннами заразных бацилл в каждой складке своего сюртука приглашает меня — на севере Англии — принять участие в этом побоище!

С той же убедительностью, с какой делаю это сейчас, я попробовал указать ему на эту несообразность. Граф неторопливо опустил один из своих страшных пальцев, выставил вперед второй и помчался во весь опор, переехав меня на ходу. У него не хватило даже обычной кучерской любезности крикнуть мне: «Эй, посторонись!» — перед тем как раздавить меня...

— Следите снова за ходом моей мысли, прошу вас,— говорил он.— Я изложил вам первую причину. Вторая причина, из-за которой я здесь,— сделать то, что наме-

ревалась сделать мисс Голкомб, если бы ей не помешала болезнь. В Блекуотер-Парке все черпают из моего неистощимого житейского опыта. Моего дружеского совета просили и по поводу вашего интересного письма к мисс Голкомб. Я сразу понял, ибо нас с вами роднит взаимная симпатия, почему вы предварительно хотели повидать ее, перед тем как пригласить к себе леди Глайд. Вы совершенно правы, сэр, не решаясь принять жену, прежде чем не убедитесь, что муж не будет этому препятствовать. Я согласен с вами. Я согласен с тем, что такой деликатный предмет, как семейные разногласия, не изложишь в письменной форме. Мой приезд сюда (сопряженный с крайними неудобствами для самого меня) сам по себе является доказательством моей чистосердечной искренности. Я, Фоско, я, знающий сэра Персиваля лучше, чем знает его мисс Голкомб, заверяю вас своим честным словом, что он не приблизится к вашему дому и не будет делать попыток повидать вас, пока его жена будет здесь жить. Дела сэра Персиваля сильно пошатнулись. Предложите ему свободу в обмен на разлуку с леди Глайд. Обещаю вам, он ухватится за свободу и вернется на континент, как только сможет уехать. Вы поняли меня? Да, поняли. Есть у вас вопросы ко мне? Если есть, я здесь, чтобы ответить на них. Спрашивайте, мистер Фэрли, спрашивайте сколько хотите.

Он уже столько наговорил и, к моему ужасу, выглядел способным наговорить еще во много раз больше! Из чистого самосохранения я уклонился от его любезного предложения.

— Премного благодарен,— ответил я,— я быстро иду к могиле. В моем болезненном состоянии я должен принимать все на веру. Разрешите сделать это и в данном случае. Надеюсь, мы поняли друг друга. Да? Весьма благодарен за ваше любезное участие. Если, паче чаяния, я начну поправляться и буду иметь возможность когда-нибудь еще встретиться с вами...

Он встал. Я решил, что он уходит. Нет. Еще разговоры, еще лишние минуты для распространения заразы, и у меня в комнате, не забудьте — у меня в комнате!

— Одну минуту! — сказал он.— Прежде чем я попрощаюсь с вами, разрешите убедить вас в одной неотложной необходимости. Дело заключается в следующем.

Вы не должны ждать выздоровления мисс Голкомб для того, чтобы принять у себя леди Глайд. За мисс Голкомб ухаживают доктор, домоправительница, а также опытнейшая сиделка — люди, за преданность и добросовестность которых я отвечаю жизнью. Я вам это говорю! Я говорю также, что тревога и беспокойство за сестру уже подорвали здоровье самой леди Глайд. У одра больной она беспомощна. Отношения ее с мужем день ото дня делаются все более неприязненными и напряженными. Если вы оставите ее еще на некоторое время в Блекуотер-Парке, это не будет способствовать выздоровлению мисс Голкомб и в то же время вы подвергнетесь риску публичного скандала, которого и вы, и я, и все мы во имя священных интересов нашей семьи всеми силами желали бы избежать. От всей души советую вам снять со своих плеч серьезную ответственность за опоздание. Напишите леди Глайд, чтобы она немедленно приезжала сюда. Исполните ваш родственный, ваш непреложный, ваш прямой долг, и, что бы ни случилось в будущем, никто ни в чем не сможет вас упрекнуть. Я говорю на основании обширного опыта — я предлагаю вам дружеский совет. Вы его принимаете? Да или нет?

Я посмотрел на него — всего только посмотрел на него,— надеюсь, лицо мое совершенно явно выражало изумление по поводу его необычайной самоуверенности и решимость позвонить Луи, чтобы тот вывел его из комнаты. Как это ни невероятно, но должен отметить: выражение моего лица, по-видимому, не произвело на него ни малейшего впечатления. У него не было нервов,— очевидно, от рождения у него не было нервов!

— Вы колеблетесь? — сказал он.— Мистер Фэрли, я понимаю вас. Вы считаете — вы видите, сэр, как благодаря моей глубокой симпатии к вам я читаю ваши сокровеннейшие мысли! — вы считаете, что леди Глайд недостаточно здорова, чтобы одной проделать длинный путь из Хемпшира в Лиммеридж. Как вам известно, ее личную горничную удалили, из остальных слуг в Блекуотер-Парке нет никого, кто мог бы ее сопровождать. Опять же вы считаете, что останавливаться на пути сюда в лондонском отеле ей будет крайне неудобно. Единым духом я подтверждаю правильность ваших возражений — единым духом я устраняю их! Следите за ходом моей мысли, прошу вас в последний раз. По возвращении

с сэром Персивалем в Англию я намеревался поселиться в окрестностях Лондона. Это намерение только что приведено в исполнение. Я снял небольшой меблированный дом в Сент-Джонз-Вуд. Будьте любезны, заметьте этот факт в совокупности с планом, который я собираюсь предложить. Леди Глайд едет в Лондон (путь недолгий!). Я сам встречаю ее на станции, сам везу переночевать в мой дом, являющийся также и домом ее родной тетушки, утром я сам отвожу ее на станцию, усаживаю в вагон, она едет сюда, и ее собственная горничная (которая находится сейчас здесь) встречает ее у дверцы кареты. Вот план, подсказанный родственной заботливостью, план, подсказанный чувством приличия,— вот ваш собственный долг, долг гостеприимства, симпатии, покровительства и сочувствия к обездоленной леди, которая в них так нуждается! Я дружески приглашаю вас, сэр, присоединиться к моей родственной заботливости во имя священных интересов нашей семьи! Я серьезно советую вам написать и отправить со мной письмо с предложением вашего гостеприимства (и сердца) и моего гостеприимства (и сердца) этой оскорбленной и несчастной леди, за чье дело я ратую!

Он махал в мою сторону своей страшной ручищей, он ударял по своей заразной груди, он разглагольствовал так высокопарно, как будто выступал передо мной в парламенте. Пробил час принять крайние меры любого рода. Пробил час позвонить Луи и принять нужные предосторожности, экстренно продезинфицировав комнаты.

И вдруг меня осенила мысль, гениальная мысль, которая, так сказать, сразу убивала двух зайцев. Я решил отвязаться от утомившего меня вконец красноречия графа и от надоедливых треволнений леди Глайд, согласившись на просьбу этого ненавистного иностранца! Я решил сразу же написать письмо. Не было никакой опасности, что приглашение будет принято, ибо, несомненно, Лора никогда не согласится уехать из Блекуотер-Парка, пока Мэриан лежит там больная. Непонятно, как это очаровательно удобное препятствие не пришло в голову самому графу,— он просто до него не додумался! Ужасная мысль, что, если я дам ему время для размышления, он еще додумается, воодушевила меня до такой потрясающей степени, что я изо всех сил

постарался сесть и бросился, буквально бросился к письменным принадлежностям, лежащим подле меня. Я написал письмо с такой быстротой, как будто я простой конторский клерк. «Дорогая Лора, пожалуйста, приезжайте, когда захотите. Переночуйте в Лондоне в доме вашей тетки. Огорчен известием о болезни дорогой Мэриан. Ваш любящий дядя». Держа эту записку на почтительном расстоянии, я протянул ее графу, откинулся в кресле и сказал:

— Простите, вот все, что я могу сделать,— я в полной прострации. Отдохните и позавтракайте внизу, хорошо? Приветы и поклоны всем, и так далее. До свиданья.

Но он произнес еще одну речь — этот человек был поистине неистощимым! Я закрыл глаза, я пытался не слушать. Несмотря на все мои усилия, кое-что я все-таки услышал. Неистощимый муж моей сестры поздравлял себя, поздравлял меня, поздравлял всех нас с результатами нашего свидания и наговорил еще с три короба о нашей взаимной симпатии. Он оплакивал мои недуги, он предлагал выписать мне рецепт, он умолял меня не забывать его проповеди по поводу освещения, он принимал мое любезнейшее приглашение отдохнуть и позавтракать, он советовал мне ожидать леди Глайд через два-три дня, он заклинал меня разрешить ему мечтать о нашем будущем свидании и не огорчать его и себя нашим сегодняшним прощанием,— он наговорил массу разной чепухи, на которую я, к своей радости, не обратил тогда никакого внимания и которую теперь совершенно не помню. Я услышал, как его сочувственный голос постепенно утихал, удалялся, но, несмотря на его колоссальный рост, я так и не услышал его шагов. Он обладал отвратительным свойством — быть совершенно бесшумным. Не знаю, когда именно он открыл и закрыл двери за собой. Спустя некоторое время, после того как воцарилась тишина, я наконец осмелился открыть глаза — его не было.

Я позвонил Луи и поспешил в ванную комнату. Омовение горячей водой с ароматным уксусом — для меня, тщательное окуривание моего кабинета и другие необходимые предосторожности были тут же приняты. Рад, что они подействовали успешно. Зараза не распространилась. Днем я хорошо поспал. Проснулся освеженный и успокоенный.

Первым долгом я осведомился о графе. Неужели мы действительно от него отделались? Да. Он уехал с дневным поездом. Позавтракал ли он и если так, то чем? Фруктовым тортом со сливками. Что за человек! Что за пищеварение!

Надо ли прибавлять еще что-либо к вышеизложенному? Думаю, что нет. По-моему, я добрался до границ, мне предназначенных. Последующее прискорбное событие произошло, слава богу, не в моем присутствии. Я горячо надеюсь, что никто не будет настолько бесчувственным, чтобы хотя бы частично обвинить меня в чем-либо! Я старался сделать все, что мог. Я никоим образом не несу ответственности за прискорбное событие, которое нельзя было предвидеть. Оно ввергло меня в полную прострацию, я пострадал от него больше, чем кто-либо другой. Мой камердинер Луи (который, право, привязан ко мне по глупости) думает, что мне уж никогда не поправиться. Он свидетель того, что в данную минуту я диктую ему, держа платок у глаз. Из справедливости к самому себе я обязан присовокупить, что все это случилось вовсе не по моей вине! Я совершенно измучен и убит горем. Что я могу еще сказать?

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ ЭЛАЙЗА МАЙКЛСОН

(домоправительница Блекуотер-Парка)

I

Меня попросили изложить все, что мне известно о течении болезни мисс Голкомб и об обстоятельствах, при которых леди Глайд уехала из Блекуотер-Парка в Лондон.

Ко мне обратились с этой просьбой, ибо, как мне сказали, мои показания необходимы в интересах истины. Будучи вдовой священника англиканской церкви (вынужденная, к несчастью, идти в услужение), я всегда считала, что истина превыше всего. Только это и побуждает меня исполнить сию просьбу, чего я, не желая компрометировать себя в связи с этой горестной семейной историей, не решилась бы сделать ни по каким другим соображениям.

В то время я не вела никаких записей и потому не могу ручаться за точность, но, думаю, буду права, если скажу, что серьезная болезнь мисс Голкомб началась во второй половине июня. Час утреннего завтрака в Блекуотер-Парке был поздним. Завтрак подавали иногда даже в десять часов утра, никогда не раньше половины десятого. Мисс Голкомб обычно первая спускалась в столовую. В то утро, о котором я сейчас пишу, она

все не приходила. После того как семья собралась за столом и прождала ее с четверть часа, за ней послали старшую горничную. Та выбежала из комнаты мисс Голкомб страшно перепуганная. Я встретилась с ней на лестнице и сразу же поспешила в спальню мисс Голкомб, чтобы посмотреть, в чем дело. Бедная леди была не в состоянии объяснить, что с ней. Она ходила по комнате с пером в руке и бредила, горя как в лихорадке. У нее был страшнейший жар. Леди Глайд (я уже не служу у сэра Персиваля, и потому будет вполне прилично, если я стану называть мою бывшую госпожу по имени, а не «миледи») первая прибежала к ней из своей спальни.

Она так разволновалась и пришла в такое отчаяние, что была не в состоянии чем-либо помочь. Граф Фоско и его супруга, которые поднялись наверх, были, наоборот, чрезвычайно внимательны и всячески старались быть полезными. Миледи графиня помогла мне уложить мисс Голкомб в постель. Милорд граф остался в будуаре и послал меня за домашней аптечкой, чтобы, не теряя времени до приезда доктора, приготовить мисс Голкомб лекарство и примочки к голове. Примочки мы приложили, но заставить мисс Голкомб принять лекарство не могли. Сэр Персиваль взял на себя обязанность послать за доктором. Он отправил верхового за ближайшим врачом — мистером Доусоном из Ок-Лодж.

Не прошло и часа, как приехал мистер Доусон. Он был почтенным пожилым доктором, хорошо известным в округе, и мы очень взволновались, когда он заявил, что считает болезнь весьма серьезной.

Милорд граф любезно вступил в разговор с доктором и с полной откровенностью высказал свое мнение по поводу болезни мисс Голкомб. Мистер Доусон не слишком любезно осведомился, является ли совет графа советом доктора, и, узнав, что это совет человека, изучавшего медицину непрофессионально, возразил, что не привык советоваться с врачами-любителями. Граф с истинно христианской кротостью улыбнулся и удалился из комнаты. Прежде чем уйти, он предупредил меня, что, если будет нужен, его смогут найти в беседке на берегу озера. Зачем он отправился туда, я сказать не могу. Он ушел и пробыл в отсутствии до семи часов вечера, то есть до самого обеда. Возможно, он хотел подать пример и подчеркнуть, что в доме должна соблюдаться полнейшая тишина. Это было так в его характере! Он был так внимателен к другим!

Ночью мисс Голкомб было очень плохо. Жар то повышался, то падал, и к утру ей стало еще хуже. Так как под рукой не было никакой подходящей сиделки, миледи графиня и я поочередно дежурили у ее постели. Леди Глайд весьма безрассудно настаивала, что будет помогать нам. Но она была так нервна и хрупка, что не могла спокойно относиться к болезни мисс Голкомб. Своим отчаянием она только причиняла вред себе и не приносила никому никакой пользы. Не было на свете более кроткой и нежной леди, но она плакала, она отчаивалась и пу-

галась. Из-за этого она была совершенно непригодна к уходу за мисс Голкомб.

Утром сэр Персиваль и милорд граф приходили осведомиться о состоянии больной.

Сэр Персиваль (очевидно, из-за огорчения своей жены и болезни мисс Голкомб) выглядел очень обеспокоенным и взволнованным. Милорд граф, наоборот, держал себя с полным достоинством и спокойствием. В одной руке у него была соломенная шляпа, а в другой — книга, и он при мне сказал сэру Персивалю, что снова пойдет на озеро заниматься науками. «В доме должна быть тишина,— сказал он.— Мы не должны курить, пока мисс Голкомб болеет. Идите вашей дорогой, Персиваль, а я пойду своей. Когда я занимаюсь, я люблю быть один. До свиданья, миссис Майклсон».

Сэр Персиваль не был настолько вежлив,— пожалуй, будет справедливее, если я скажу, что он не был настолько спокоен, чтобы попрощаться со мной с той же любезностью. Безусловно, единственный человек в доме, который всегда и при всех обстоятельствах обращался со мной, как с дамой в несчастье, был граф. Он вел себя как настоящий аристократ. Он был внимателен ко всем. Он проявлял заботу даже по отношению к одной девушке, по имени Фанни, которая была прежде личной горничной леди Глайд. Когда сэр Персиваль уволил ее, милорд граф (который в тот день показывал мне своих миленьких птичек) самым тщательным образом расспрашивал меня, что с ней дальше будет, куда она отправится из Блекуотер-Парка и так далее. Вот в таких мелочах — в таких деликатных, заботливых проявлениях сочувствия — и сказывается преимущество настоящего аристократизма и воспитанности. Я не прошу прощения за эти подробности. Они мне памятны, и я хочу только по всей справедливости воздать должное милорду графу, о котором, как мне известно, некоторые лица не очень высокого мнения. Аристократ, способный относиться с почтением к даме в несчастье и с отеческой заботой — к простой служанке, проявляет чувства и принципы слишком высокие, чтобы их не ценить. Я не высказываю своего мнения — я указываю на факты. Мое жизненное правило: «Не судите, да не судимы будете». Одна из лучших проповедей моего дорогого мужа написана именно на эту тему. Я постоянно перечитываю

ее. Проповедь эта была издана по подписке прихожан отдельной брошюрой в первые дни моего вдовства. При каждом новом прочтении я извлекаю из нее все бóльшую духовную пользу и назидание.

Мисс Голкомб не поправлялась. На вторую ночь ей стало совсем худо. Она была под неусыпным наблюдением мистера Доусона. Мы с миледи графиней поочередно исполняли обязанности сиделок. Леди Глайд настойчиво просила разрешить ей ухаживать за мисс Голкомб вместе с нами, хотя мы обе уговаривали ее отдохнуть. «Мое место подле Мэриан,— отвечала она на все увещания.— Как бы я себя ни чувствовала, здорова я или нет, никто не заставит меня отойти от нее».

К полудню я сошла вниз, чтобы присмотреть за хозяйством. Час спустя по дороге в комнату больной я встретила милорда графа. В этот день он снова с раннего утра уходил куда-то. Он вошел в холл в прекрасном настроении. В ту же минуту сэр Персиваль выглянул из библиотеки и обратился к своему благородному другу крайне резко с таким вопросом:

— Вы ее нашли?

Широкое, приятное лицо милорда графа покрылось ямочками от благожелательной улыбки, но он промолчал. Сэр Персиваль повернул голову и, заметив меня у подножия лестницы, посмотрел на меня очень сердито и невежливо.

— Идите сюда и рассказывайте,— сказал он милорду графу.— Когда в доме есть женщины, они то и дело снуют вверх и вниз по лестнице...

— Мой дорогой Персиваль,— кротко ответил милорд граф,— у миссис Майклсон есть свои обязанности. Прошу вас вместе со мной отметить, как великолепно она их исполняет!.. Как наша страдалица, миссис Майклсон?

— Ей не лучше, милорд, к моему сожалению.

— Печально, весьма печально! — заметил граф.— Вы выглядите очень утомленной, миссис Майклсон. Пора, чтобы кто-нибудь помог вам и моей жене ухаживать за больной. Думаю, что смогу оказать в этом содействие. Ввиду некоторых обстоятельств мадам Фоско придется поехать завтра или послезавтра в Лондон. Она уедет утром, а к ночи вернется и привезет с собой сиделку, прекрасного поведения и очень опытную, которая сейчас не у дел. Моя жена знает эту женщину с самой поло-

жительной стороны. До приезда сиделки не говорите о ней доктору, прошу вас, ибо к человеку, рекомендованному мной, он отнесется неприязненно. Когда она появится, она, безусловно, покажет себя с наилучшей стороны, и мистеру Доусону придется согласиться, что нет причин не брать ее на должность сиделки. Леди Глайд тоже поймет это. Прошу вас, передайте леди Глайд мое глубокое почтение и искренние симпатии.

Я выразила милорду графу свою признательность за его любезность и доброту. Сэр Персиваль нетерпеливо прервал меня, позвав своего высокого друга (к сожалению, должна отметить, что он употребил ругательные выражения) в библиотеку, убеждая графа не заставлять его больше ждать.

Я прошла наверх. Мы бедные, заблудшие создания, и как бы ни были непоколебимы принципы женщины, она не всегда может устоять перед праздным любопытством. К стыду моему, должна признаться, на этот раз праздное любопытство восторжествовало над моими незыблемыми принципами. Меня крайне заинтересовал вопрос, который сэр Персиваль задал своему высокому другу, выглянув из библиотеки. Кого должен был найти милорд граф, гуляя по Блекуотер-Парку во время своих ученых изысканий? Очевидно, какую-то женщину — это было ясно из вопроса сэра Персиваля. Мне не пришло в голову заподозрить милорда графа в какой бы то ни было нескромности — я слишком хорошо знала его высоконравственный характер. Я спрашивала себя только об одном: нашел ли он ее?

Продолжаю. Ночь прошла, снова не принеся никакого улучшения в состоянии здоровья мисс Голкомб. На следующий день ей стало немного лучше. Через день после этого миледи графиня, никому из нас не сказав о цели своей поездки, уехала с утренним поездом в Лондон. Ее благородный супруг со своей обычной внимательностью провожал ее на станцию.

Теперь я осталась ухаживать за мисс Голкомб совершенно одна. Ввиду намерения леди Глайд не отходить от одра больной я предвидела, что мне придется в дальнейшем ухаживать еще и за ней.

Единственным важным событием в тот день была неприятная стычка, происшедшая между милордом графом и мистером Доусоном.

Вернувшись со станции, милорд граф вошел в будуар мисс Голкомб, чтобы справиться о ее здоровье. Я вышла из спальни поговорить с ним, а мистер Доусон с леди Глайд остались около больной. Граф подробно расспрашивал меня о лечении и симптомах. Я доложила ему, что лечение было так называемым «физиологическим», а симптомы в промежутках между вспышками лихорадки указывали на растущую слабость и полный упадок сил. В это время мистер Доусон вышел из спальни.

— Доброе утро, сэр,— сказал милорд граф, обращаясь к доктору самым изысканным образом, с аристократической настойчивостью, против которой невозможно было устоять.— Боюсь, что никаких признаков улучшения нет?

— Напротив. Я нахожу, что больная чувствует себя гораздо лучше.

— Вы все еще настаиваете на вашем методе лечения?

— Я настаиваю на лечении, подсказанном мне моим профессиональным опытом.

— Разрешите высказать вам одно замечание по поводу чрезвычайно важного вопроса о профессиональном опыте,— заметил милорд граф.— Я не осмеливаюсь больше советовать, я осмелюсь только спросить. Сэр, вы живете вдали от гигантских центров научной деятельности — от Лондона и Парижа. Слыхали ли вы, что лихорадку успешно и разумно лечат, подкрепляя ослабевшего пациента вином, коньяком, нашатырным спиртом и хиной? Долетала ли до ваших ушей эта новая ересь высочайших медицинских светил? Да или нет?

— Если б этот вопрос задавал мне врач-профессионал, я был бы рад ответить на него,— сказал доктор, открывая дверь, чтобы уйти,— но вы не врач, и, простите, я отказываюсь отвечать вам.

Получив эту пощечину, милорд граф, как истый христианин, кротко подставил другую щеку и самым любезным образом сказал:

— До свиданья, мистер Доусон.

Если б мой покойный дорогой муж имел счастье познакомиться с милордом графом, как высоко он и граф оценили бы друг друга!

Поздно вечером с последним поездом вернулась миледи графиня и привезла с собой сиделку из Лондона. Мне

сказали, что имя этой особы миссис Рюбель. Ее внешность и ломаный английский язык выдавали в ней иностранку.

Я всегда воспитывала в себе гуманную снисходительность по отношению к иностранцам. Они не обладают нашими преимуществами и благами. В огромном большинстве своем они воспитаны в слепых заблуждениях папизма. Моим постоянным правилом и заповедью, так же как это было постоянным правилом и заповедью моего дорогого покойного мужа (смотри проповедь XXIX в собрании проповедей преподобного Самюэля Майклсона, магистра богословия), было: «Отойди от зла и сотвори благо, или поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой». Вследствие этого я не стану говорить, что миссис Рюбель показалась мне щуплой, сухой, хитрой женщиной лет пятидесяти или около того, со смуглым цветом лица, как у креолки, и острыми светло-серыми глазами. Также не упомяну я в силу вышеуказанных причин, что платье ее, хотя оно и было из гладкого черного шелка, было неподобающе дорогим по материалу и слишком разукрашено у ворота отделками и финтифлюшками для особы ее возраста и положения. Мне не хотелось бы, чтобы обо мне говорили подобным образом, и потому мой долг — не говорить ничего подобного про миссис Рюбель. Я только замечу, что держалась она если и не совсем вызывающим образом, то весьма осторожно и скрытно: больше наблюдала и мало говорила,— возможно, из скромности или неопределенности своего положения в Блекуотер-Парке. Не упомяну я также о том, что она отказалась поужинать (что было, конечно, очень странно, но, пожалуй, не подозрительно), хотя я сама любезно пригласила ее разделить скромную трапезу у меня в комнате.

По предложению графа (это было так характерно для его всепрощающей доброты) миссис Рюбель не должна была приступать к исполнению своих обязанностей до тех пор, пока доктор не повидает ее и не выразит своего согласия взять ее на должность сиделки. По-видимому, леди Глайд была против того, чтобы новая сиделка была допущена к мисс Голкомб. Такое отсутствие терпимости по отношению к иностранке со стороны такой образованной и утонченной леди очень удивило меня. Я осмелилась заметить:

— Миледи, все мы должны помнить, что не следует торопиться осуждать малых сих — наших подчиненных — только потому, что они чужестранцы.

Но леди Глайд, казалось, не расслышала меня. Она только вздохнула и поцеловала лежащую поверх одеяла руку мисс Голкомб. Едва ли рассудительный поступок у одра больной, нуждающейся в полнейшем покое. Но бедная леди Глайд ничего не смыслила в уходе за больными, совершенно ничего, и я, к сожалению, должна это отметить.

На следующее утро миссис Рюбель пришла в будуар, чтобы доктор на пути в спальню повидал ее и дал свое согласие.

Я оставила леди Глайд подле мисс Голкомб, дремавшей в это время, и присоединилась к миссис Рюбель только для того, чтобы она не чувствовала себя одинокой и не нервничала по поводу своего неопределенного положения. По-моему, она усмотрела в этом какой-то другой умысел. Она была как бы заранее уверена в согласии мистера Доусона и сидела, спокойно глядя в окно, очевидно наслаждаясь душистым, свежим воздухом. С точки зрения некоторых лиц, такое поведение показалось бы дерзким и самоуверенным.

Позволю себе заметить — я усмотрела в этом только необычайную твердость ее духа.

Вместо того чтобы подняться наверх, доктор прислал за мной, чтоб я спустилась к нему вниз. Это показалось мне несколько странным. Но миссис Рюбель не обратила на это никакого внимания. Когда я уходила, она про-

должала смотреть в окно и наслаждаться душистым, свежим воздухом.

Мистер Доусон ждал меня в столовой один.

— Относительно этой новой сиделки, миссис Майклсон,— сказал доктор.

— Да, сэр?

— Я узнал, что ее привезла из Лондона жена этого толстого старого иностранца, который все время лезет не в свое дело. Миссис Майклсон, этот толстый старый иностранец — шарлатан!

Это было так грубо! Естественно, меня это покоробило.

— Отдаете ли вы себе отчет, сэр,— сказала я,— что вы говорите об аристократе?

— Пуф! Он не единственный шарлатан с титулом. Все они графы, будь они неладны!

— Если б он не принадлежал к самой высшей знати на свете — за исключением английской знати, конечно,— он не был бы другом сэра Персиваля Глайда, сэр!

— Хорошо, миссис Майклсон, называйте его чем хотите, считайте кем угодно. Вернемся к вопросу о сиделке. У меня есть возражения против нее.

— Но вы даже не видели ее, сэр!

— Да, я возражаю, даже не повидав ее. Возможно, она лучшая из существующих сиделок, но я ее совершенно не знаю. Я указал на это сэру Персивалю, как хозяину дома. Я не встретил поддержки с его стороны. Он говорит, что сиделка, которую я бы сам пригласил, тоже была бы незнакомой женщиной из Лондона. Он считает, что если тетка его жены сама взяла на себя труд привезти эту особу, то следует взять ее на испытание. В этом есть доля правды. Было бы неприлично, если б я просто сказал: «Нет». Однако я поставил условием, что, если буду недоволен ею, она немедленно получит расчет. Как лечащий врач, я имею право ставить свои условия, и сэр Персиваль согласился со мной. Так вот, миссис Майклсон, я знаю, что могу положиться на вас, и хочу чтобы вы глаз не спускали с этой сиделки в те ение нескольких дней. Смотрите, чтоб она ни в коем случае не давала мисс Голкомб никаких лекарств, кроме моих. Ваш знатный иностранец умирает от желания испробовать на моей пациентке свои шарлатанские средства (включая месмеризм[1]), и новая сиделка, которую привезла сюда его жена, вероятно, собирается помочь ему в этом. Вы понимаете? Прекрасно. Теперь мы можем подняться наверх. Сиделка там? Я скажу ей несколько слов, прежде чем допущу ее к больной.

Мы застали миссис Рюбель все еще сидящей у окна. Я представила ее мистеру Доусону, но ни пронизывающие взгляды доктора, ни его пытливые вопросы совсем не смутили ее. Она спокойно отвечала ему на своем ломаном английском языке, и, хотя он очень старался поставить ее в тупик, она не проявила ни малейшей неосведомленности или растерянности. Бесспорно, это было результатом необычайной твердости ее духа, а вовсе не наглой самоуверенностью, о нет, ни в коем случае.

Мы все вошли в спальню.

Миссис Рюбель внимательно посмотрела на больную, сделала книксен леди Глайд, поставила две-три вещи на место и тихонько села в угол в ожидании, когда ее услуги понадобятся. Леди Глайд была, по-видимому, неприятно поражена и очень недовольна появлением незнакомой сиделки. Из боязни разбудить все еще дремавшую мисс Голкомб мы все молчали. Доктор шепотом спросил меня, как она провела ночь. Я тихо ответила: «Как обычно». Вслед за этим доктор вышел из спальни. Леди Глайд пошла за ним, наверно, для того, чтобы поговорить насчет миссис Рюбель. Со своей стороны, я уже поняла, что эту спокойную иностранку оставят на должности сиделки. Она, безусловно, знала толк в уходе за больными и понимала, что к чему. На ее месте я не могла бы вести себя правильнее в комнате больной.

Памятуя просьбу мистера Доусона, я строго наблюдала за миссис Рюбель в продолжение трех-четырех дней. Я неоднократно тихо и внезапно входила в спальню, но ни разу не застала ее ни за чем подозрительным. Леди Глайд, наблюдавшая за ней так же тщательно, как я, тоже ничего подозрительного не заметила. Ни разу не показалось мне, что пузырьки с лекарствами подменены, ни разу не видела я, чтобы миссис Рюбель перемолвилась хоть единым словом с графом или граф с нею. Она ухаживала

[1] Месмеризм — метод лечения гипнозом, применявшийся немецким врачом Месмером (1734—1815), автором ошибочной теории «животного магнетизма».

за мисс Голкомб заботливо и умело. Бедная леди то совсем ослабевала и тогда впадала в забытье, то горела и бредила в лихорадке. Миссис Рюбель не будила ее, не мешала ей и подходила к ее постели всегда очень тихо и осторожно. Воздадим хвалу достойным (англичане они или не англичане), и я воздаю должное миссис Рюбель в этом отношении. Она была крайне необщительна и весьма независима по отношению к тем, кто тоже кое-что понимал в уходе за больными. Но, за исключением этих недостатков, она была хорошей сиделкой, и ни у мистера Доусона, ни у леди Глайд не было причин жаловаться на нее.

Следующим важным происшествием в нашем доме было временное отсутствие графа — ему пришлось уехать по делам в Лондон. Это было, по-моему, на четвертый день после приезда миссис Рюбель. Он попрощался с леди Глайд в моем присутствии и весьма серьезным тоном сказал ей по поводу мисс Голкомб:

— Если хотите, доверьтесь мистеру Доусону еще на несколько дней. Но если не будет улучшения, пошлите в Лондон за хорошим врачом, с чьими советами этому олуху придется считаться. Оскорбите мистера Доусона, но спасите мисс Голкомб. Я говорю это со всей серьезностью, от всего сердца, клянусь честью!

Его сиятельство говорил глубоко прочувствованно. Но нервы леди Глайд были, очевидно, в очень плохом состоянии. Казалось, она его боится! Она вся дрожала и ничего не ответила ему на прощанье. Когда он вышел, она повернулась ко мне и сказала упавшим голосом:

— О миссис Майклсон, я так беспокоюсь за мою сестру, и мне не с кем посоветоваться! Как по-вашему, мистер Доусон ошибается? Сегодня утром он мне сам сказал, что тревожиться не о чем и посылать за другим доктором нет надобности.

— При всем моем уважении к мистеру Доусону,— отвечала я,— на вашем месте, миледи, я не пренебрегала бы советом милорда графа.

Леди Глайд вдруг отвернулась от меня с таким отчаянием, что это показалось мне даже странным.

— Его совет! — сказала она вполголоса.— Боже спаси и сохрани нас! Его совет!..

Насколько мне помнится, милорда графа целую неделю не было в Блекуотер-Парке.

По-видимому, сэр Персиваль очень переживал отсутствие его сиятельства. По-моему, он выглядел очень обеспокоенным и подавленным болезнью и несчастьями в доме. Временами он был таким возбужденным, что это бросалось в глаза. Он бродил по дому из угла в угол и часами пропадал в парке. Он всегда чрезвычайно заботливо осведомлялся о мисс Голкомб и леди Глайд (слабое здоровье которой, очевидно, искренне тревожило его). Мне думается, что благодаря этим испытаниям сердце его стало смягчаться. Если б в это время около него был какой-нибудь благочестивый друг (такого друга он нашел бы в моем дорогом покойном муже), в характере сэра Персиваля, судя по всему, безусловно, произошел бы, на радость всем нам, перелом к лучшему. Я редко ошибаюсь в подобных случаях, ибо в дни моего супружеского счастья я имела опытного наставника в лице моего дорогого покойного мужа.

Миледи графиня — единственный человек в доме, который теперь составлял сэру Персивалю компанию за утренним завтраком,— по правде сказать, обращала на него мало внимания, но, может быть, в этом он был сам виноват, ибо, по-видимому, тоже не обращал на нее внимания. Постороннему человеку, пожалуй, могло даже показаться, что они стараются избегать друг друга. Конечно, этого быть не могло. Все же графиня днем почему-то обедала одна, а вечера проводила наверху, хотя в этом не было надобности. Миссис Рюбель полностью взяла на себя обязанности сиделки и прекрасно с ними справлялась. Сэр Персиваль обедал в одиночестве, и я сама слышала, как один из слуг, по имени Вильям, при мне заметил, что его господин ест вполовину меньше, а пьет вдвое больше, чем раньше. Я не придаю веса и значения таким дерзким выпадам со стороны прислуги. Я тут же сделала слуге внушение и одернула его. Прошу это учесть.

Несколько дней, к нашей радости, мисс Голкомб было гораздо лучше. Вера наша в мистера Доусона воскресла. Сам доктор был совершенно уверен в правильности своего диагноза. Когда леди Глайд заговорила с ним о болезни мисс Голкомб, он сказал ей, что сам предложил бы послать за другим врачом и устроил бы консилиум, если б

у него была хоть тень сомнения или какие-либо опасения насчет состояния здоровья мисс Голкомб.

Только миледи графиня как будто не обрадовалась и не поверила его словам. Когда мы с ней остались одни, она сказала мне, что по-прежнему тревожится за мисс Голкомб в связи с лечением, предписанным доктором Доусоном, и с нетерпением ждет возвращения своего супруга. Судя по его письмам, он должен был приехать через три дня.

Граф и графиня писали друг другу ежедневно. В этом, как и во всех других отношениях, они были образцовой супружеской парой.

На третий день вечером в состоянии здоровья мисс Голкомб произошла перемена, которая меня очень встревожила. Миссис Рюбель тоже заметила это ухудшение. Мы ничего не сказали леди Глайд, которая в это время спала на кушетке в будуаре, совсем измученная тревогой за сестру.

Мистер Доусон приехал с визитом позднее, чем обычно. Я заметила, что при виде своей пациентки доктор изменился в лице. Он выглядел очень смущенным и встревоженным, но старался скрыть это. Послали слугу за личной аптечкой мистера Доусона, комнату опрыскали дезинфицирующими препаратами и по приказанию доктора постлали ему постель в запасной спальной.

— Разве лихорадка стала заразной? — шепнула я ему.

— Боюсь, что так,— ответил он.— Посмотрим, что будет завтра утром.

По распоряжению мистера Доусона мы не сказали леди Глайд, что мисс Голкомб стало хуже. Но доктор категорически запретил ей входить в спальню к больной на том основании, что она сама еле держится на ногах. Она попыталась возражать, произошла очень грустная сцена, но за ним был авторитет лечащего врача, и он настоял на своем.

На следующее утро, в одиннадцать часов, одного из слуг послали в Лондон с письмом к столичному врачу. Слуге было приказано как можно скорее привезти с собой обратно этого нового, лондонского доктора. Спустя полчаса после того, как посланный уехал, милорд граф вернулся в Блекуотер-Парк.

Графиня, взяв на себя всю ответственность за это,

повела его немедленно взглянуть на больную. Ничего неприличного в ее поступке, с моей точки зрения, не было. Милорд граф был женатым человеком, по возрасту годился мисс Голкомб в отцы и осматривал ее в присутствии своей супруги — родной тетки леди Глайд. Несмотря на это, мистер Доусон не хотел допускать графа к больной, хотя мне было ясно, что на этот раз он сам слишком взволнован состоянием своей пациентки, чтобы серьезно протестовать.

Наша бедная страдалица мисс Голкомб никого вокруг себя не узнавала. Казалось, она принимает друзей за врагов. Когда граф подошел к ее постели, взгляд ее, до тех пор блуждающий и бессознательный, остановился на нем с выражением такого ужаса, какого мне не забыть до конца моих дней. Милорд граф сел подле постели, пощупал ей пульс и лоб, внимательно всмотрелся в ее лицо, а потом обернулся к мистеру Доусону с таким негодованием и презрением, что доктор побледнел и стоял совершенно молча.

Потом милорд граф обратился ко мне.

— Когда произошло ухудшение? — спросил он.

Я сказала ему, в какое время я заметила перемену в состоянии здоровья мисс Голкомб.

— Леди Глайд заходила сегодня в комнату?

Я отвечала отрицательно. Доктор категорически запретил ей входить к больной еще вчера вечером и сегодня утром снова повторил свое приказание.

— А вас и миссис Рюбель поставили в известность, до какой степени опасна эта болезнь? — был следующий вопрос.

— Мы предполагали, что болезнь заразная...— отвечала я.

Он прервал меня прежде, чем я могла еще что-либо добавить.

— Тиф! — сказал он.

Пока мы обменивались этими вопросами и ответами, мистер Доусон овладел собой и обратился к милорду графу со своей обычной твердостью.

— Это не тиф,— резко возразил он.— Я протестую против вашего вмешательства, сэр. Кроме меня, никто не имеет права задавать здесь вопросы. Я приложил все старания, чтобы как можно лучше исполнить свой долг.

Милорд граф жестом прервал его — он молча указал ему на больную. Мистер Доусон, по-видимому, понял, что он подразумевал, и рассердился еще больше.

— Я сказал, что исполнил свой долг,— повторил он.— В Лондон послали за другим врачом. Я намерен советоваться только с ним и больше ни с кем. Я настаиваю, чтобы вы оставили комнату.

— Я вошел в эту комнату, сэр, во имя священного человеколюбия,— ответствовал милорд граф.— Во имя этого человеколюбия, если доктор запоздает, я опять войду в эту комнату. Я предупреждаю вас — лихорадка перешла в тиф в результате вашего неумелого лечения. Если эта несчастная леди умрет, я буду свидетельствовать в суде, что причиной ее смерти были ваше невежество и упрямство.

Прежде чем Доусон мог ему ответить, прежде чем милорд граф мог уйти, дверь из будуара отворилась и на пороге появилась леди Глайд.

— Я должна войти и войду,— сказала она с необычайной для нее решительностью.

Вместо того чтобы остановить ее, милорд граф пропустил ее в спальню, а сам вышел в будуар. Он, всегда такой заботливый и внимательный, на этот раз, очевидно, забыл об опасности заразиться тифом и о необходимости уберечь от этого леди Глайд.

К моему удивлению, мистер Доусон показал больше присутствия духа, чем милорд граф. Он сразу же остановил миледи.

— К моему искреннему сожалению, боюсь, болезнь может оказаться заразной,— сказал он.— До тех пор, миледи, пока я не выясню этого, умоляю вас не входить в комнату к мисс Голкомб.

Она с минуту постояла, вдруг уронила руки и упала навзничь. С ней был обморок. Графиня и я взяли ее от доктора и отнесли в ее собственную спальню. Граф пошел за нами и ждал в коридоре, покуда мы не вышли от леди Глайд и не известили его, что она пришла в себя.

Я пошла за доктором и передала ему, что леди Глайд просит его немедленно прийти. Он поспешил к ней, чтобы успокоить ее относительно состояния ее сестры, и уверил, что доктор из Лондона должен приехать через несколько часов. Эти часы тянулись очень медленно. Сэр Персиваль

и милорд граф сидели внизу и время от времени присылали справиться, как чувствует себя больная. Наконец, около шести часов, к нашей великой радости, приехал новый врач.

Он был моложе мистера Доусона, очень серьезный и немногословный. Не могу сказать, каким он счел предыдущее лечение, должна только заметить, что гораздо подробнее, чем доктора, он расспрашивал меня и миссис Рюбель. Осматривая больную, он слушал доктора без особого интереса. Я подумала, что, наверно, милорд граф был с самого начала прав относительно болезни мисс Голкомб. Мысль моя подтвердилась, когда спустя некоторое время мистер Доусон задал ему главный вопрос, по поводу которого и посылали за лондонским врачом.

— Ваше мнение об этой лихорадке? — осведомился он.

— Это тиф,— отвечал лондонский врач.— Тиф, без всякого сомнения.

Иностранная тихоня миссис Рюбель скрестила руки на груди и поглядела на меня с многозначительной улыбкой. Сам граф не мог бы выглядеть более удовлетворенным, чем она, если б был в это время в комнате и услыхал подтверждение своего первоначального диагноза.

Дав нам необходимые указания по уходу за больной и обещав приехать через пять дней, лондонский врач удалился в другую комнату, чтобы переговорить с мистером Доусоном наедине.

Он не говорил, есть ли надежда на выздоровление мисс Голкомб или нет, он только сказал, что на этом этапе болезни ничего определенного сказать еще нельзя.

Прошло пять тревожных, мучительных дней. Графиня Фоско и я сама помогали миссис Рюбель и дежурили у больной. Мисс Голкомб становилось все хуже и хуже. Требовался самый тщательный уход и неусыпное наблюдение. Это были очень трудные дни. Леди Глайд, которую, по словам мистера Доусона, поддерживала только неустанная тревога за сестру, с необыкновенной твердостью настояла на своем. Я и не подозревала, какой она умеет быть решительной. Она выпросила разрешение входить в спальню мисс Голкомб по нескольку раз в день, чтобы собственными глазами видеть свою сестру,

обещав не подходить к ее постели. Мистер Доусон дал свое согласие с большой неохотой. По-моему, он понимал, что спорить с ней бесполезно. Леди Глайд ходила туда каждый день и самоотверженно держала свое слово, не приближаясь к больной. Вспоминая, как я сама страдала во время смертельной болезни моего мужа, я с тем большей грустью смотрела на ее горе и потому прошу разрешения не задерживаться на этом. Приятно отметить, что между мистером Доусоном и милордом графом ссор и разногласий больше не было. Милорд граф присылал справляться о состоянии здоровья мисс Голкомб и проводил все время внизу в обществе сэра Персиваля.

На пятый день снова приехал лондонский врач. На этот раз он немного обнадежил нас. Он предупредил, что перелом наступит на десятый день, после чего можно будет говорить о выздоровлении. Он обещал обязательно приехать опять к этому времени. Потянулись дни ожидания, никаких перемен не было. Только милорд граф снова ездил в Лондон на целый день.

На десятый день милосердному провидению было угодно избавить нас от дальнейших горестей и тревог. Лондонский врач уверенно заявил, что мисс. Голкомб вне опасности.

— Теперь она может обойтись и без доктора. Все, что ей нужно,— это тщательный уход и внимание, а это она, по-моему, имеет.

Привожу его собственные слова. Вечером в тот день, отходя ко сну, я прочитала трогательную проповедь моего мужа «Выздоровление от болезни». С духовной точки зрения я получила от проповеди больше тихой радости и удовлетворения, чем когда-либо получала раньше.

Должна, к сожалению, сказать, что, когда мисс Голкомб стала выздоравливать, леди Глайд, которая до сих пор держалась на ногах, совсем ослабела. Она была слишком хрупка, чтобы пережить такие нервные потрясения. Дня через два она слегла и была вынуждена не покидать своей комнаты. Полный отдых, покой и свежий воздух были для нее единственными лекарствами, как считал сам мистер Доусон. Хорошо, что недуг ее был не опасным и не требовал наблюдения врача, ибо как раз в тот день, когда она перестала выходить из своей комнаты и слегла в постель, между графом и мистером Доусоном

разгорелась новая ссора, на этот раз настолько серьезная, что доктор оставил наш дом, чтобы больше в него не возвращаться.

Это произошло не при мне, но, как я слышала, ссора началась с того, какое количество еды надо было давать мисс Голкомб, чтобы ускорить ее выздоровление после тифа. Теперь, когда его пациентке было уже гораздо лучше, мистер Доусон менее чем когда-либо был склонен выслушивать советы непрофессионала, а милорд граф (не могу понять почему) вдруг потерял все свое обычное самообладание и присущую ему кротость. Граф стал язвительно высмеивать доктора за то, что тот позорно ошибся, приняв тиф за лихорадку. Эта неприятная размолвка кончилась тем, что мистер Доусон обратился к сэру Персивалю и пригрозил (поскольку теперь мисс Голкомб была уже вне опасности), что ноги его больше не будет в Блекуотер-Парке, если граф не перестанет вмешиваться в его медицинские дела. Ответ сэра Персиваля, хотя и не очень невежливый, только подлил масла в огонь. Крайне возмущенный отношением к нему графа Фоско, мистер Доусон уехал от нас и на следующее же утро прислал счет за свои визиты.

Поэтому мы остались теперь без медицинского руководства. Хотя в этом и не было прямой необходимости, ибо, как сказал перед этим доктор, за мисс Голкомб нужен был только тщательный уход, все же, если бы спросили меня, я, безусловно, посоветовала бы пригласить другого врача. Этого требовало простое приличие!

По-видимому, сэр Персиваль был другого мнения. Он сказал, что, если мисс Голкомб станет хуже, у нас всегда будет время пригласить какого-нибудь доктора. А пока мы могли обращаться за советами к милорду графу. Кроме того, больную не следовало беспокоить появлением в ее комнате нового, незнакомого ей человека. Конечно, это было вполне разумно, однако должна сказать, на душе у меня было неспокойно. Не нравилось мне также, что нам было приказано ничего не говорить леди Глайд про отъезд мистера Доусона. Я понимаю, что это было сделано для ее же блага. Она, безусловно, была слишком слаба для новых волнений. Все же обман как таковой мне с моими принципами весьма не по душе.

Второе происшествие, приключившееся в тот же день и ошеломившее меня своей неожиданностью, только уси-

лило мою тревогу и беспокойство, которые с тех пор уже меня не оставляли.

Сэр Персиваль прислал за мной с просьбой, чтобы я спустилась к нему в библиотеку. При моем появлении милорд граф, который был с ним, немедленно вышел и оставил нас вдвоем. Сэр Персиваль любезно попросил меня сесть, а потом обратился ко мне со следующими словами, крайне меня изумившими:

— Мне надо поговорить с вами, миссис Майклсон, об одном решении, которое я принял еще некоторое время назад. Мне пришлось отложить его из-за болезней и волнений, происходивших в нашем доме. Теперь я намерен осуществить это решение. Короче говоря, по некоторым причинам я хочу немедленно сократить штат наших служащих, конечно оставив вас присматривать за домом, как обычно. Как только леди Глайд и мисс Голкомб будут в состоянии передвигаться, им будет необходима полная перемена обстановки. Мои друзья граф и графиня Фоско на днях переедут в дом, который они сняли в пригороде Лондона. Из экономии, которую я теперь должен строго соблюдать, я решил не приглашать к себе никаких гостей. Я вас ни в чем не виню, но мои расходы по содержанию этого дома были непомерно велики. Одним словом, я намерен продать всех лошадей и рассчитать всю прислугу. Как вам известно, я всегда довожу дело до конца. Я желаю, чтобы дом был очищен от своры ничего не делающих служащих к завтрашнему дню.

— Вы хотите сказать, сэр Персиваль, что я должна рассчитать всех слуг, не предупредив их за месяц об увольнении?

— Ну да, конечно. Через месяц в доме никого из нас уже, вероятно, не будет, и я не желаю оставлять тут слуг бездельничать на свободе без хозяина.

— Но пока вы здесь, сэр Персиваль, кто же будет готовить?

— Маргарет Порчер сумеет справиться с этим, вы можете ее оставить. Зачем мне повар, если я не намерен давать званые обеды?

— Но служанка, о которой вы упомянули, сэр Персиваль, самая бестолковая служанка в доме...

— Оставьте ее, говорю вам, и пусть какая-нибудь женщина из деревни ежедневно приходит помогать с

уборкой и уходит к ночи. Мои расходы по хозяйству должны немедленно сократиться. Я послал за вами, миссис Майклсон, не для того, чтобы слушать ваши возражения, а для того, чтобы вы выполняли мои приказы... Рассчитайте всю эту ленивую свору слуг к завтрашнему дню. Кроме Порчер. Она сильна, как лошадь, и мы заставим ее работать.

— Разрешите напомнить вам, сэр Персиваль, что, если слуги должны завтра же уехать, им придется выдать жалованье за месяц вперед.

— Ну и что ж! Зато мы сэкономим на питании этих обжор!

Последнее замечание содержало в себе оскорбительнейший намек на мое управление хозяйством. Я слишком уважаю себя, чтобы защищаться от подобного обвинения. Только христианская забота о бедных мисс Голкомб и леди Глайд (которых мой уход поставил бы в чрезвычайно трудное положение) помешала мне немедленно попросить расчета самой. Я встала. Если бы я хоть на минуту продолжала наш разговор, это унизило бы чувство моего достоинства.

— После вашего последнего замечания, сэр Персиваль, мне остается только сказать вам: ваше приказание будет выполнено.— С этими словами я поклонилась и с холодным достоинством вышла из комнаты.

На следующий день все слуги уехали. Сэр Персиваль сам рассчитал кучера и грумов и отослал их в Лондон вместе с лошадьми, оставив на конюшне только одну лошадь.

В доме из слуг остались я, Маргарет Порчер и садовник, живущий отдельно в коттедже. На него были возложены обязанности грума.

Естественно, когда дом внезапно опустел — хозяйка болела и не выходила из своих комнат, мисс Голкомб была все еще беспомощна, как дитя, доктор рассорился с нами,— вполне естественно, настроение мое упало. Мне трудно было сохранить свое обычное присутствие духа. На душе у меня было очень неспокойно и тяжело. Я молилась, чтобы обе мои бедные леди поскорее выздоровели, и мне очень хотелось самой уехать из Блекуотер-Парка.

II

Последующее происшествие было настолько странным, что, пожалуй, вызвало бы во мне какое-то суеверное удивление, если б меня не подкрепляли мои незыблемые принципы, которые были против подобной языческой слабости. Мое желание быть подальше от Блекуотер-Парка из-за тревожного ощущения, что в семье неладно, как это ни странно, осуществилось, и я действительно уехала из этого дома. Правда, мое отсутствие было временным, но это совпадение, по-моему, все же весьма примечательно.

Мой отъезд произошел при следующих обстоятельствах.

Через день или два после того, как слуги уехали, сэр Персиваль снова прислал за мной. Незаслуженный упрек, брошенный мне за мое управление хозяйством, не помешал мне — я рада это отметить — воздать добром за зло, и я сразу же поспешила на его зов. Побороть свою обиду стоило мне некоторой борьбы с грешным естеством, присущим всем нам. Но, привыкнув к самоотречению, я принесла и эту жертву, тем самым исполнив свой нравственный долг.

Сэра Персиваля я застала в обществе графа Фоско. На этот раз милорд граф присутствовал при нашем разговоре до конца и поддерживал точку зрения сэра Персиваля.

Они желали поговорить со мной относительно перемены обстановки, которая, как мы надеялись, будет способствовать поправлению здоровья мисс Голкомб и леди Глайд. Сэр Персиваль заявил, что обе леди, по всей вероятности, проведут осень в Лиммеридже по приглашению Фредерика Фэрли, эсквайра. Но прежде чем поехать туда, по его мнению, а также по мнению графа Фоско, который и продолжал со мной этот разговор, им следовало пробыть некоторое время в благодатном климате Торкея. Поэтому там следовало снять дом со всевозможными удобствами, но главное затруднение состояло в необходимости найти опытного человека, способного отыскать такое помещение. Милорд граф от имени сэра Персиваля желал узнать, не буду ли я столь любезна оказать содействие нашим дамам и съездить в Торкей в их интересах.

В моем зависимом положении я, конечно, не могла ответить отказом на сделанное мне предложение.

Я только позволила себе указать на серьезные неудобства, вытекающие из моего отсутствия, ввиду того что в доме не осталось никого из прислуги, кроме Маргарет Порчер. Но сэр Персиваль и милорд граф заявили, что готовы примириться с этими неудобствами ради блага наших больных. Я почтительно предложила написать какому-нибудь агенту по найму домов в Торкее; на это мне возразили, что нанимать дом, не осмотрев его предварительно, крайне неосторожно. Мне было сказано, что графиня сама поехала бы в Девоншир, но не хочет оставлять племянницу одну в ее теперешнем болезненном состоянии, а у сэра Персиваля и милорда графа есть неотложные дела, из-за которых они должны оставаться в Блекуотер-Парке. Словом, было совершенно ясно, что, кроме меня, доверить это поручение некому, и если я откажусь, тем самым я поставлю их в безвыходное положение. Мне пришлось ответить сэру Персивалю, что я к услугам мисс Голкомб и леди Глайд.

Мы условились, что завтра утром я уеду и проведу в Торкее день-два в поисках наиболее подходящего дома, а с ответом вернусь, когда покончу со всеми делами. Милорд граф составил для меня подробный список того, что потребуется в отношении обстановки и различных удобств, а сэр Персиваль записал предельную сумму, которую мне разрешалось предлагать.

Прочитав эти инструкции, я подумала, что, пожалуй, такого дома, который описывался в них, мне не удастся найти ни на одном курорте Англии, а если и удастся, то вряд ли за такую низкую плату. Я осмелилась высказать свое предположение обоим джентльменам, но сэр Персиваль, который на этот раз сам отвечал мне, не разделял моих опасений. Спорить мне не приходилось. Я не стала больше возражать, но в глубине души была убеждена, что поручение, с которым меня посылают, весьма затруднительно, сложно и, безусловно, обречено на провал.

Перед отъездом я самолично удостоверилась, что мисс Голкомб на самом деле выздоравливает.

Она казалась грустной и очень озабоченной. Несмотря на то что она поправлялась, я ясно заметила ее тревожное настроение. Но выглядела она гораздо лучше, чем я ожидала. Она была в силах послать нежный привет

леди Глайд и просила передать ей, что чувствует себя хорошо и умоляет миледи не подниматься с постели раньше времени. Я оставила ее на попечение миссис Рюбель, которая по-прежнему держала себя с полной независимостью по отношению ко всем в доме. Когда я постучала в дверь спальни леди Глайд, графиня, которая не отходила от племянницы, открыла мне и сказала, что та все еще слаба. Сэр Персиваль и милорд граф прогуливались на дороге, когда я проезжала мимо в почтовой карете. Я поклонилась им и выехала из дома, в котором из слуг не оставалось никого, кроме одной Маргарет Порчер.

Каждому ясно, конечно, что́ я должна была с тех пор чувствовать. Все эти обстоятельства были более чем странными — они были чуть ли не подозрительными. Однако — повторяю опять — в моем зависимом положении я ничего поделать не могла, мне оставалось поступать, как мне приказывали.

Результат моей поездки в Торкей был именно таким, как я и предвидела. Дома, подобного тому, какой мне поручили найти, не было во всем городе, а если б он и нашелся, то плата, которую мне разрешалось дать за него, была бы слишком низкой. В соответствии с этим я вернулась в Блекуотер-Парк и доложила сэру Персивалю, встретившему меня у подъезда, что поездка моя была безрезультатной. Казалось, он был слишком озабочен другими делами, чтобы обратить внимание на мою неудачу. С первых же его слов я поняла, что за мое отсутствие в Блекуотер-Парке произошли большие перемены.

Граф и графиня Фоско переехали в свою новую резиденцию — в пригород Лондона, в Сент-Джонз-Вуд.

Чем был вызван столь поспешный отъезд, мне не объяснили, но сказали, что милорд граф передавал мне свой искренний привет. Когда я осмелилась спросить сэра Персиваля, кто же ухаживает теперь за леди Глайд, он ответил, что при ней находится Маргарет Порчер, а женщина из деревни приходит убирать комнаты нижнего этажа.

Его ответ буквально ошеломил меня. То, что простой, второстепенной служанке разрешили прислуживать самой леди Глайд, было вопиющим неприличием. Я сейчас же поднялась наверх и встретила Маргарет в коридоре. Ее

услуги не понадобились (совершенно естественно) — ее госпоже было сегодня настолько лучше, что она могла уже вставать с постели. Я спросила, как чувствует себя мисс Голкомб, но ответ был таким уклончивым и неприязненным, что я так ничего и не выяснила. Мне не хотелось повторять свой вопрос и нарываться на дерзость. В моем положении мне подобало как можно скорее предстать перед хозяйкой дома, и я поспешила к леди Глайд.

Я нашла, что миледи очень поправилась за последние несколько дней. Хотя она все еще была очень слаба и нервна, она могла уже подниматься и медленно ходить по комнате без посторонней помощи, чувствуя только сильную усталость. Сегодня утром она немного беспокоилась за мисс Голкомб, ибо не получала от нее никаких известий. Мысленно упрекнув миссис Рюбель в невнимательности, я ничего не сказала и помогла миледи одеться. Когда она была готова, мы вместе вышли из спальни и направились к мисс Голкомб.

В коридоре нас остановил сэр Персиваль. Он, по-видимому, нарочно поджидал нас.

— Куда вы идете? — спросил он леди Глайд.

— К Мэриан,— отвечала она.

— Предупреждаю, вас ждет большое разочарование,— заметил сэр Персиваль.— Должен сказать вам, что ее нет дома.

— Как — нет?

— Нет. Она уехала вчера утром с Фоско и его женой.

Леди Глайд была еще недостаточно здорова, чтобы хладнокровно отнестись к этой удивительной новости. Она вся побледнела и прислонилась к стенке, чтобы не упасть, молча глядя на своего мужа.

Я сама была до такой степени удивлена, что не находила слов. Я переспросила сэра Персиваля — неужели мисс Голкомб действительно уехала из Блекуотер-Парка?

— Ну конечно,— отвечал он.

— В ее состоянии, сэр Персиваль! Не предупредив о своем намерении леди Глайд!

Прежде чем он мог что-либо сказать, миледи пришла в себя.

— Не может быть! — воскликнула она с ужасом.— Но

где же был доктор? Где был мистер Доусон в то время, как Мэриан собралась ехать?

— В услугах доктора мы больше не нуждались, и его здесь не было,— сказал сэр Персиваль.— Он уехал по собственному желанию. Из одного этого вы можете заключить, что она была достаточно здорова, чтобы предпринять это путешествие. Что вы так уставились на меня? Если вы не верите, что она уехала, убедитесь в этом сами. Пройдите в ее комнату, осмотрите все другие комнаты, если хотите.

Она бросилась в комнату мисс Голкомб, а я последовала за ней. В комнатах мисс Голкомб не было никого, кроме Маргарет Порчер, которая была занята уборкой. Пусто было и во всех других комнатах, куда мы заглянули. Сэр Персиваль ждал нас в коридоре. Когда мы выходили из последней комнаты, которую осматривали, леди Глайд вдруг шепнула мне:

— Не уходите, миссис Майклсон! Ради бога, не оставляйте меня!

Не успела я ответить, как она была уже в коридоре и разговаривала с мужем:

— Что это значит, сэр Персиваль? Я требую, я прошу, я умоляю вас объяснить мне, что это значит?

— Это значит,— отвечал он,— что мисс Голкомб чувствовала себя вчера утром достаточно хорошо, чтобы встать с постели. Она решила воспользоваться отъездом супругов Фоско, чтобы отправиться с ними в Лондон.

— В Лондон?

— Да, по дороге в Лиммеридж.

Леди Глайд обратилась ко мне.

— Вы видели мисс Голкомб,—сказала она.— Скажите мне прямо, миссис Майклсон, разве она была достаточно здорова, чтобы пускаться в путь?

— По-моему, нет, миледи...

Сэр Персиваль тут же прервал меня:

— Перед тем как уехать, говорили вы сиделке или нет, что мисс Голкомб выглядит несравненно лучше?

— Да, сэр, я это сказала.

Он обратился к миледи.

— Сопоставьте мнение миссис Майклсон с вашим,— сказал он,— и постарайтесь отнестись рассудительно к простому факту. Разве мы отпустили бы ее, если б она была недостаточно здорова? Она уехала в сопровождении трех лиц: Фоско, вашей тетки и миссис Рюбель, которая поехала специально, чтобы помогать ей в дороге. Они заняли целое купе и постелили для нее постель на случай, если б она захотела прилечь отдохнуть. Сегодня сам Фоско вместе с миссис Рюбель отвезут ее в Кумберленд...

— Почему Мэриан уехала в Лиммеридж одна и оставила меня здесь? — перебила сэра Персиваля миледи.

— Потому что ваш дядюшка хочет повидать вашу сестру, прежде чем примет вас,— отвечал он.— Разве вы забыли письмо, которое она получила от него в самом начале своей болезни? Вы видели это письмо, вам его показали, вы его сами читали и должны помнить.

— Я помню.

— Так почему же вы так удивлены, что она уехала без вас? Вы хотели вернуться в Лиммеридж, и она отправилась туда, чтобы получить на это согласие вашего дядюшки.

Глаза бедной леди Глайд наполнились слезами.

— До сих пор Мэриан никогда не покидала меня, не попрощавшись,— сказала она.

— Она попрощалась бы с вами и на этот раз,— возразил сэр Персиваль,— если б за вас не боялась. Она знала, что вы ее ни за что не отпустите, станете плакать и только расстроите и себя и ее. Есть у вас еще какие-нибудь возражения? Если так, вам придется спуститься вниз и разговаривать со мной в столовой. Мне надоело все это. Я хочу выпить стакан вина!

Он поспешно ушел.

В продолжение всего этого разговора он вел себя очень странно. Казалось, он взволнован и встревожен не меньше, чем сама леди Глайд. Я никогда не могла бы раньше предположить, что он так чувствителен.

Я старалась уговорить леди Глайд вернуться в спальню, но это было бесполезно. Она продолжала стоять в коридоре, в глазах ее застыло выражение панического страха.

— С моей сестрой что-то произошло,— сказала она.

— Помните, миледи, какой энергией обладает мисс Голкомб,— заметила я.— Она могла решиться на по-

ступок, на который другие леди в ее состоянии не отважились бы. Я надеюсь, что ничего плохого с ней не случилось. Конечно, нет!

— Я должна последовать за Мэриан,— сказала миледи с тем же выражением ужаса в глазах.— Я должна ехать вслед за ней. Я должна собственными глазами убедиться, что она жива и здорова! Идемте! Идемте со мной к сэру Персивалю!

Я заколебалась, боясь, что мое появление может показаться неуместным и назойливым. Я попыталась сказать об этом миледи, но она меня не слушала. Она ухватилась за мою руку и заставила меня спуститься с ней вниз. Когда я открыла дверь в столовую, она прижалась ко мне, чтобы не упасть, так она была слаба.

Сэр Персиваль сидел за столом. Штоф с красным вином стоял перед ним. Когда мы вошли, он поднес бокал ко рту и осушил его до дна. Заметив сердитый взгляд, который он бросил на меня, я попыталась извиниться за свое невольное вторжение.

— Уж не думаете ли вы, что здесь происходит нечто таинственное? — вскричал он вдруг.— Будьте уверены, что здесь ничего ни от вас, ни от кого-либо другого не скрывают. Все делается в открытую! — Выкрикнув эти странные слова, он снова наполнил свой бокал и обратился к леди Глайд с вопросом, что ей от него нужно.

— Если моя сестра была достаточно здорова, чтобы отправиться в путь, значит, и я могу ехать,— сказала миледи более решительно, чем раньше.— Я пришла умолять вас, сэр Персиваль: поймите мое беспокойство за Мэриан и разрешите мне последовать за ней сегодня же дневным поездом.

— Вы должны подождать до завтра,— возразил сэр Персиваль,— и, если завтра не получите письма с отказом, можете ехать. Думаю, что отказа не будет, поэтому я сегодня же напишу Фоско.

Он произнес эти слова, подняв бокал и глядя через него на свет, вместо того чтобы смотреть на леди Глайд, как этого требовала вежливость. В продолжение всего разговора он ни разу не взглянул в ее сторону. Признаюсь, такая невоспитанность со стороны такого знатного джентльмена произвела на меня весьма тягостное впечатление.

— Но зачем же писать графу Фоско? — спросила удивленно миледи.

— Для того чтобы он встретил вас на вокзале,— сказал сэр Персиваль.— Он встретит вас в Лондоне, и вы переночуете в доме вашей тетушки в Сент-Джонз-Вуде.

Рука леди Глайд задрожала, и она еще крепче ухватилась за мою руку—я так и не поняла почему.

— Нет никакой надобности, чтобы граф Фоско встречал меня,— сказала она.— Я не хочу останавливаться на ночь в Лондоне.

— Вы должны сделать это. Вы не можете проделать весь путь отсюда до Кумберленда за один день. Вы переночуете в Лондоне, но я не желаю, чтобы вы останавливались в отеле на ночь одна. Фоско предложил вашему дяде, чтобы вы переночевали у него в доме, и дядя ваш дал свое согласие. Вот письмо к вам вашего дяди. Я хотел передать вам письмо еще утром, но забыл это сделать. Прочитайте, что пишет мистер Фэрли.

Лэди Глайд с минуту смотрела на письмо и вдруг вложила его в мои руки.

— Читайте вслух,— сказала она слабым голосом,— я не знаю, что со мной. Я не могу читать сама.

Это была всего только коротенькая записка, написанная так небрежно, что я изумилась. Помнится, в ней стояло: «Дражайшая Лора, приезжайте, когда хотите. Остановитесь переночевать у вашей тетушки. Огорчен известием о болезни дорогой Мэриан. Ваш любящий дядя Фредерик Фэрли».

— Но я предпочла бы не заезжать к ним! Я предпочла бы не останавливаться в Лондоне на ночь! — сказала миледи, перебивая меня и не дожидаясь, пока я кончу читать записку.— Не пишите графу Фоско! Умоляю вас, не пишите ему!

Сэр Персиваль снова наполнил свой бокал, но так неловко, что вино разлилось по столу.

— Мое зрение что-то ослабело,— пробормотал он про себя странным, глухим голосом.

Он медленно поставил бокал на стол, снова наполнил его и осушил залпом. Боюсь, вино бросилось ему в голову, ибо он выглядел и разговаривал очень странно.

— Прошу вас, не пишите графу Фоско! — настойчиво и серьезно молила леди Глайд.

— А почему бы нет, хотел бы я знать? — вдруг крикнул сэр Персиваль так яростно, что мы обе испугались.— Где вам подобает остановиться в Лондоне, как не в доме вашей тетушки, как это советует сделать вам сам мистер Фэрли? Спросите у миссис Майклсон, прав ли я!

На этот раз сэр Персиваль, бесспорно, был прав, и я не могла возразить на его предложение. Я сочувствовала леди Глайд во всех других отношениях, но не могла разделять ее несправедливого предубеждения против графа Фоско. Я еще никогда не встречала леди, занимавшую такое высокое положение в обществе, как леди Глайд, и которая была бы до такой степени во власти плачевных предрассудков по отношению к иностранцам. Ни записка ее родного дядюшки, ни растущая досада сэра Персиваля не оказывали на нее, по-видимому, никакого влияния. Она твердила, что не хочет останавливаться на ночь в Лондоне, и продолжала умолять своего мужа не писать милорду графу.

— Хватит! — грубо сказал сэр Персиваль, поворачиваясь к нам спиной.— Если у вас самой не хватает здравого смысла, чтобы понимать, что лучше, за вас приходится думать другим. Мы уже обо всем условились. Оставим это! Вам придется поступить так же, как поступила мисс Голкомб...

— Мэриан? — повторила с изумлением миледи. — Мэриан ночевала в доме графа Фоско!

— Да, в доме графа Фоско. Она провела там вчерашнюю ночь, чтобы немного передохнуть по дороге в Лиммеридж. Вам придется последовать ее примеру и поступить, как вам приказывает ваш дядя. Завтра вы переночуете у Фоско, как сделала ваша сестра. Я не желаю больше слушать никаких возражений. Не препятствуйте моим решениям! Не заставляйте меня раскаиваться в том, что я вообще вас отпускаю!

Он вскочил на ноги и вдруг вышел на веранду через открытую стеклянную дверь.

— Простите меня, миледи,— шепнула я,— но мне кажется, нам лучше не ждать здесь возвращения сэра Персиваля. Боюсь, что он слишком разгорячен вином.

Я увела ее из столовой. Она шла со мной устало и безучастно...

Как только мы снова очутились в безопасности наверху, я сделала все, что было в моих силах, чтобы успокоить миледи. Я напомнила ей, что в письме к ней и к мисс Голкомб ее дядя мистер Фэрли, безусловно, считал нужным, чтобы она поступила так, как ей предложили. Она согласилась с этим и даже сказала, что оба письма типичны для эксцентрического характера ее дядюшки, но ее опасения за мисс Голкомб, ее необъяснимый ужас перед милордом графом и нежелание провести ночь в его доме оставались прежними, несмотря на все мои доводы. Я сочла своим долгом возразить против необоснованных предрассудков миледи по отношению к милорду графу, что я и сделала с большим достоинством и подобающей моему положению почтительностью.

— Простите меня за вольность, миледи,— сказала я под конец,— но, как сказано в писании, «по делам их познаете их». Я считаю, что доброта и заботливость милорда графа в продолжение всей болезни мисс Голкомб заслуживают нашей благодарности и уважения. Даже серьезные разногласия милорда графа с мистером Доусоном происходили на почве чрезмерного внимания милорда графа к мисс Голкомб.

— Какие разногласия? — спросила миледи с внезапно пробудившимся интересом.

Я рассказала ей про неприятные обстоятельства, при которых мистер Доусон отказался от дальнейшего пребывания в нашем доме,— я сделала это тем охотнее, что с неодобрением относилась к утаиванию сэра Персиваля от леди Глайд всех этих недоразумений.

Миледи, по-видимому, еще больше разволновалась и перепугалась после моего рассказа.

— О боже мой! Все это еще хуже, чем я думала! — сказала она, заметавшись по комнате с потерянным видом.— Граф знал, что мистер Доусон никогда не согласится отпустить Мэриан в дорогу. Он нарочно оскорбил доктора, чтобы удалить его из дому.

— О миледи! — запротестовала я.

— Миссис Майклсон! — горячо воскликнула она.— Никто на свете не убедит меня, что моя сестра по собственному желанию ночевала в доме этого человека и сама согласилась уехать вместе с ним. Что бы ни говорил сэр Персиваль, что бы ни писал мой дядя, я так боюсь графа, что ни за что на свете не стала бы есть, пить и спать под его кровом, если бы думала лишь о себе. Только отчаянная тревога за Мэриан придает мне силы следовать за ней куда угодно, даже в дом графа Фоско.

Я решила напомнить миледи, что, по словам сэра Персиваля, мисс Голкомб уже уехала из Лондона в Кумберленд.

— Я боюсь этому поверить! — отвечала миледи.— Я боюсь, что она все еще в доме этого человека. Если я ошибаюсь и она в самом деле уже уехала в Лиммеридж, я ни за что не останусь на ночь у графа Фоско. Мой самый близкий друг на свете после моей сестры живет около Лондона. Вы слышали от меня и от Мэриан про миссис Вэзи. Я напишу ей и попрошу разрешения переночевать у нее. Не знаю, как доберусь туда, не знаю, как я сумею избежать на вокзале встречи с графом, но, если моя сестра уже уехала в Кумберленд, я постараюсь остановиться у миссис Вэзи. К вам у меня будет только одна просьба: позаботьтесь о том, чтобы мое письмо к миссис Вэзи было отослано в Лондон сегодня же вечером. Сэр Персиваль будет писать графу Фоско. У меня есть основания не доверять моего письма почтовой сумке внизу. Вы поможете мне отослать письмо и никому не расскажете об этом? Кто знает, может быть, это последнее одолжение, которое я у вас прошу.

Я колебалась. Все это было непонятно и странно. Мне даже казалось, что тревоги и волнения последних недель нарушили душевное равновесие миледи. Все же я наконец согласилась, хотя и понимала, что иду на риск. Если б письмо было адресовано кому-нибудь незнакомому или другому человеку, а не миссис Вэзи, которую я хорошо знала по отзывам, конечно, я отказала бы миледи. Благодарю бога ввиду того, что случилось в дальнейшем, благодарю бога — я исполнила просьбу миледи в ее последний день в Блекуотер-Парке! Письмо было написано и передано в мои руки. В тот же вечер я сама опустила его в почтовый ящик в деревне.

В тот день мы больше не видели сэра Персиваля.

По просьбе леди Глайд я ночевала в комнате рядом с ее спальней. Дверь между нашими комнатами оставалась открытой. В одиночестве и пустоте дома было нечто настолько непривычное и неприятное, что я была рада чувствовать присутствие живого человека в соседней комнате. Миледи легла очень поздно. Она перечитывала письма и жгла их, вынула из комода и шкафа все свои любимые вещицы, как будто не предполагала вернуться когда-либо еще в Блекуотер-Парк. Спала она очень беспокойно, несколько раз вскрикивала во сне, и один раз так громко, что даже сама проснулась. Но наутро она не сочла нужным поделиться со мной и рассказать мне о своих снах. Возможно, в моем положении я не имела права ожидать этого. Теперь это уже не имеет значения. Все равно мне было очень жаль ее. Мне было жаль ее от всей души.

На следующий день была прекрасная, солнечная погода. После завтрака сэр Персиваль пришел сказать, что экипаж будет подан без четверти двенадцать. Лондонский поезд останавливался на нашей станции двенадцатью минутами позже. Сэр Персиваль предупредил леди Глайд, что должен уйти, но постарается вернуться к ее отъезду. Если бы, по непредвиденной случайности, ему пришлось задержаться, мне было приказано проводить леди Глайд до станции и позаботиться о том, чтобы она не опоздала к поезду. Сэр Персиваль отрывисто отдавал эти приказания и все время ходил по комнате. Миледи внимательно следила за ним глазами. Но он ни разу даже не взглянул на нее.

Миледи все время молчала и заговорила, только когда он подошел к двери, чтобы уйти. Она протянула ему руку.

— Я больше не увижу вас,— сказала она, подчеркивая свои слова,— мы расстаемся, может быть, навсегда. По-

стараетесь ли и вы меня простить, Персиваль, от всего сердца, как я прощаю вас?

Он вдруг побледнел, и крупные капли пота выступили у него на лбу.

— Я еще вернусь,— сказал он и вышел из комнаты так поспешно, будто слова миледи его испугали.

Мне никогда не нравился сэр Персиваль, но при виде того, как он расстался с леди Глайд, мне стало стыдно за то, что я жила в его доме и ела его хлеб. Мне хотелось сказать несколько благочестивых, сочувственных слов бедной миледи, но что-то было в ее лице такое, когда она поглядела вслед своему мужу, что я передумала и промолчала.

В назначенное время карета подъехала к дому. Миледи была права — сэр Персиваль и не подумал вернуться. Я до последней минуты все ждала его, но ждала напрасно.

Я не несла никакой прямой ответственности за отъезд миледи, но на душе у меня было очень неспокойно.

— Миледи действительно едет в Лондон по собственному желанию? — спросила я, когда мы выехали за ворота.

— Я готова ехать куда угодно,— отвечала она,— только бы покончить с ужасной неизвестностью, которая мучит меня сейчас.

Тревога ее заразила и меня, я сама начала беспокоиться за мисс Голкомб не меньше, чем она. Я осмелилась попросить ее написать мне несколько строк из Лондона, если все будет благополучно. Она ответила:

— С большим удовольствием, миссис Майклсон.

— У всех у нас есть свой крест, и мы должны его безропотно нести, миледи,— сказала я, заметив, что она притихла и задумалась после того, как обещала написать мне.

Она промолчала,— казалось, она слишком была занята своими мыслями, чтобы слушать меня.

— Боюсь, что миледи плохо спала эту ночь,— сказала я спустя немного времени.

— Да,— отвечала она,— мне снились такие тяжелые сны.

— Вот как, миледи?

И я подумала, что она расскажет мне. Но нет, она снова заговорила только для того, чтобы спросить меня:

— Вы сами отправили мое письмо к миссис Вэзи?

— Да, миледи.

— Сэр Персиваль сказал, что граф Фоско встретит меня на вокзале в Лондоне?

— Сказал, миледи.

Она тяжело вздохнула и за всю дорогу не произнесла больше ни слова.

Когда мы приехали на станцию, у нас оставалось всего две минуты до отхода поезда. Садовник, везший нас, занялся багажом, а я поспешила взять билет. Поезд уже подходил к платформе, когда я вернулась к миледи. Она была очень бледная и прижимала руку к сердцу, как будто внезапная боль или страх овладели ею в это последнее мгновение.

— Как я хотела бы, чтобы вы поехали со мной! —

сказала она, хватая меня за руку, когда я отдавала ей билет.

Если б сейчас у нас было еще время или если б за день до этого я чувствовала то же, что почувствовала при этих словах, я устроила бы так, чтобы сопровождать ее, даже если бы мне пришлось тут же отказаться от места у сэра Персиваля. Но когда она высказала свое пожелание, было уже поздно. Казалось, она сама поняла это и не повторяла больше, что хотела бы, чтобы я ехала с ней. Поезд остановился. Она дала садовнику несколько шиллингов на гостинцы его детям и с сердечной простотой пожала мне руку, прежде чем войти в вагон.

— Вы были очень добры ко мне и к моей сестре,— сказала она,— добры, когда мы были совсем одиноки. Я буду помнить о вас с благодарностью, пока жива и могу вспоминать. До свидания, да благословит вас господь!

Она сказала эти слова таким голосом и с таким взглядом, что у меня навернулись слезы,— она произнесла эти слова, как будто прощалась со мной навеки.

— До свидания, миледи,— сказала я,— до скорого, до более радостного свидания. От всего сердца желаю вам счастья! До радостной новой встречи!

Она покачала головой и вздрогнула, садясь на свое место. Кондуктор закрыл купе.

— Вы верите в сны? — шепнула она мне из окна.— Вчера ночью мне снился такой страшный сон, какого я никогда раньше не видела. Он все еще наполняет меня ужасом.

Не успела я ответить, как раздался свисток — и поезд тронулся. Ее бледное, нежное лицо тихо поплыло перед моими глазами в последний раз, печально и торжественно она смотрела на меня из окна вагона. Она помахала мне рукой и скрылась из глаз.

В тот же день, к пяти часам пополудни, улучив минутку для отдыха среди массы домашних дел и забот, лежавших теперь на моих плечах, я села у себя в комнате, решив подкрепить свой смятенный дух проповедями моего дорогого покойного мужа. Впервые в жизни я не могла сосредоточиться на этих благочестивых и ободряющих словах. Придя к заключению, что отъезд леди Глайд расстроил и встревожил меня гораздо серьезнее и глубже,

чем мне это казалось, я отложила проповеди в сторону и пошла пройтись по саду. Как мне было известно, сэр Персиваль еще отсутствовал, поэтому я могла погулять вполне спокойно.

Завернув за дом и подойдя к саду, я очень удивилась при виде совершенно незнакомого мне человека, который спокойно прогуливался в нашем саду.

Это была женщина. Она шла по дорожке, спиной ко мне, и собирала цветы.

Кровь застыла в моих жилах! Незнакомка в саду была миссис Рюбель!

Я была не в силах ни подойти к ней, ни окликнуть ее. Она сама подошла ко мне, невозмутимо, как всегда, с букетом в руках.

— В чем дело, мэм? — спросила она спокойно.

— Вы здесь? — сказала я задыхаясь.— Вы не уехали в Лондон? Вы не ездили в Кумберленд?

Миссис Рюбель с презрительной усмешкой понюхала цветы.

— Конечно, нет,— сказала она,— я и не думала уезжать из Блекуотер-Парка.

Я отдышалась и набралась храбрости, чтобы задать ей другой вопрос:

— Где мисс Голкомб?

На этот раз миссис Рюбель чуть ли не засмеялась мне в лицо и ответила:

— Мисс Голкомб, мэм, тоже никуда не уезжала из Блекуотер-Парка.

Когда я услышала этот потрясающий ответ, мне мгновенно припомнилось мое прощание с леди Глайд. Я не могу сказать, что упрекала себя, но, кажется, я отдала бы все свои сбережения, чтобы четыре часа назад знать то, о чем узнала теперь.

Миссис Рюбель спокойно стояла передо мной, занятая составлением своего букета. Казалось, она ждала, что я скажу еще что-нибудь.

Но у меня не было слов, я думала об ослабевшей энергии и о хрупком здоровье леди Глайд и содрогалась, представляя себе, что будет с ней, когда она узнает эту новость. Я так тревожилась за моих бедных хозяек, что в течение нескольких минут не могла говорить. Наконец миссис Рюбель подняла глаза от своего букета, поглядела вбок и сказала:

— Вот и сэр Персиваль, мэм, вернулся с верховой прогулки.

Я тоже увидела его. Он шел к нам, злобно сбивая хлыстом головки цветов. Когда он был уже настолько близко, чтобы увидеть мое лицо, он остановился, стегнул хлыстом по своим ботфортам и вдруг захохотал так неистово и оглушительно, что испуганные птицы вспорхнули с дерева, под которым он стоял.

— Ну, миссис Майклсон,—сказал он,— вы наконец узнали обо всем, не правда ли?

Я ничего не ответила. Он повернулся к миссис Рюбель:

— Когда вы вышли в сад?

— Полчаса назад, сэр. Вы сказали, что я могу снова гулять, где захочу, как только леди Глайд уедет в Лондон.

— Совершенно верно. Я не делаю вам замечания, я только спрашиваю.— Он помолчал с минуту, а затем обратился ко мне.— Вам не верится, не так ли? — насмешливо спросил он.— Пойдемте! Идите за мной, и вы сами увидите!

Он направился к дому, я следовала за ним, миссис Рюбель шла за мной. Пройдя через чугунные ворота, он остановился и показал на нежилую часть дома.

— Вот! — сказал он.— Посмотрите на первый этаж. Вы знаете старые елизаветинские спальни? В лучшей из них находится в эту минуту живая и невредимая мисс Голкомб. Проведите ее туда, миссис Рюбель. Ключи у вас? Проведите туда миссис Майклсон, пусть она своими глазами . удостоверится, что на этот раз никто ее не обманывает.

Тон, которым он говорил со мной, помог мне несколько овладеть собой за те две-три минуты, прошедшие с тех пор, как мы вышли из сада. Не знаю, как бы я поступила в эту критическую минуту, если б всю свою жизнь провела в услужении. Но, обладая чувствами, принципами и воспитанием настоящей леди, я ни на секунду не усомнилась в том, как мне следовало сейчас поступить. Мой нравственный долг перед самой собой, мой долг перед леди Глайд обязывал меня ни в коем случае не оставаться на службе у человека, который так бессовестно обманул нас обеих и так недостойно вел себя.

— Разрешите просить вас, сэр Персиваль, уделить мне несколько минут для разговора наедине,— сказала я.— После этого я готова проследовать за этой особой в комнату мисс Голкомб.

Миссис Рюбель, на которую я указала легким поворотом головы, дерзко фыркнула, понюхала свой букет и с нарочитой медлительностью отошла к дверям дома.

— Ну! — резко сказал сэр Персиваль.—Что еще?

— Я хочу сказать, сэр, что отказываюсь от должности, которую занимала до сих пор в Блекуотер-Парке.

Буквально так я ему и сказала. Мне хотелось, чтобы он с первых же моих слов понял, что я не намерена больше оставаться в его доме и служить у него.

Он угрюмо поглядел на меня и яростным жестом засунул руки в карманы.

— Вот как? — сказал он.— Почему, хотел бы я знать?

— Мне не подобает высказывать свое мнение о том, что произошло в доме, сэр Персиваль. Я никого не хочу оскорблять. Я только хочу заявить, что считаю несовместимым с моим чувством долга перед самой собой и перед леди Глайд оставаться у вас в услужении.

— А это совместимо с вашим чувством долга по отношению ко мне — бросать мне в лицо ваши подозрения? — в бешенстве крикнул он.— Я вижу, куда вы клоните! Невинный обман, к которому мы прибегли для пользы самой леди Глайд, вы истолковали превратно и злостно! Перемена климата и обстановки были совершенно необходимы для ее здоровья, и вы так же хорошо знаете, как и я, что она никогда бы не уехала, если б ей сказали, что мисс Голкомб все еще тут. Ее обманули для ее же пользы. Мне безразлично, кто будет об этом знать! Уходите, если хотите, таких домоправительниц, как вы, много, они явятся, стоит только кликнуть. Уходите, когда хотите, но остерегайтесь распространять сплетни обо мне и моих делах! Говорите правду и только правду, иначе вам не поздоровится! Повидайте мисс Голкомб сами — и вы убедитесь, что за ней такой же хороший уход, как был раньше в ее прежних комнатах. Вспомните распоряжения доктора: он сказал, что леди Глайд как можно скорей необходима перемена обстановки. Хорошенько подумайте обо всем,

а потом можете говорить что угодно обо мне и о моих поступках, если только посмеете!

Он выпалил эту тираду, не переводя дыхания, шагая взад и вперед и яростно рассекая воздух своим хлыстом.

Но что бы он ни сказал и ни сделал, ничто не могло изменить моего мнения насчет бессовестной лжи, которую он в моем присутствии произносил накануне, и жестокого обмана, посредством которого он разлучил леди Глайд с ее сестрой, отослав ее в Лондон, в то время как она сходила с ума от беспокойства за мисс Голкомб. Естественно, я хранила эти мысли про себя и не высказала их вслух, чтобы не рассердить его еще больше. Однако это не помешало мне еще прочнее утвердиться в своем решении. «Да утихнет злоба перед кротостью ангельской». Соответственно я подавила свое возмущение, когда настал мой черед отвечать ему.

— Пока я состою у вас в услужении, сэр Персиваль,— сказала я,— надеюсь, я слишком хорошо знаю свое место, чтобы требовать у вас отчета в ваших действиях. Когда я перестану служить у вас, я достаточно знаю свое место, чтобы не говорить о том, что меня не касается...

— Когда вы хотите уходить? — бесцеремонно перебил он меня.— Не подумайте, что я желаю, чтоб вы оставались, и намерен вас уговаривать. Я справедлив и откровенен всегда и во всем. Когда вы хотите уходить?

— Мне хотелось бы уйти как можно скорее, если вам это удобно, сэр Персиваль.

— Мои удобства не имеют к этому никакого отношения. Завтра утром я навсегда уезжаю из Блекуотер-Парка и могу рассчитать вас сегодня вечером. Если вы хотите позаботиться о чьих-то удобствах, подумайте лучше о мисс Голкомб. Срок найма миссис Рюбель истекает сегодня. По некоторым причинам ей необходимо быть в Лондоне сегодня же к ночи. Если вечером вы уедете, около мисс Голкомб не останется ни одной живой души. Ухаживать за ней будет некому.

Надеюсь, я могу не говорить о том, что, конечно, я была не способна бросить мисс Голкомб на произвол судьбы, особенно теперь, когда с леди Глайд и с ней случилась такая неприятность. После того как сэр Персиваль снова подтвердил мне, что миссис Рюбель сегодня уезжает, я согласилась заменить ее и остаться в Блекуотер-Парке, поставив непременным условием, чтобы мистер Доусон снова возобновил свои визиты и вел наблюдения за состоянием здоровья мисс Голкомб. Я обещала сэру Персивалю остаться до тех пор, пока мисс Голкомб не перестанет нуждаться в моих услугах. Мы условились, что за неделю до моего отъезда я предупрежу поверенного сэра Персиваля, чтобы он мог принять необходимые меры и найти кого-нибудь на мое место. В нескольких словах мы договорились обо всем. Затем сэр Персиваль резко повернулся на каблуках и пошел прочь, а я могла подойти к миссис Рюбель. Эта удивительная иностранная персона невозмутимо сидела все время на пороге у двери дома, ожидая, пока я смогу проследовать за ней к мисс Голкомб.

Не успела я к ней приблизиться, как сэр Персиваль вдруг остановился и позвал меня обратно.

— Почему вы оставляете службу у меня? — спросил он.

Вопрос этот был настолько неожиданным после всего происшедшего между нами, что я была в затруднении, как на него ответить.

— Имейте в виду, мне дела нет, почему вы уходите! — продолжал он.— Но при поступлении на новое место вы должны будете указать причину, по которой оставили службу у меня. Какую причину вы укажете? Что семья уехала? Так?

— Против этой причины не может быть никаких возражений, сэр Персиваль...

— Прекрасно! Это все, что я хотел знать. Если ко мне обратятся за вашими рекомендациями — вот причина, по которой вы оставили службу у меня, как вы сами только что сказали. Вы взяли расчет оттого, что семья уехала!

Прежде чем я успела вымолвить слово, он повернулся и быстро пошел от меня через лужайку. Его поведение было таким же странным, как и его манера разговаривать. Признаюсь, он испугал меня.

Подойдя к миссис Рюбель, я увидела, что даже ее терпение стало иссякать.

— Наконец-то! — сказала она, пожимая своими сухими иностранными плечами.

Она пошла вперед, поднялась по лестнице, открыла своим ключом дверь длинного коридора, который вел

в старые комнаты, уцелевшие с незапамятных времен королевы Елизаветы. Эту дверь ни разу не открывали за время моего пребывания в Блекуотер-Парке. Комнаты я хорошо знала, но проходила в них через другую дверь, с противоположной стороны дома. Миссис Рюбель остановилась у третьей комнаты из тех, которые были расположены вдоль старой галереи, подала мне ключ от двери вместе с ключом от дверей коридора и сказала:

— В этой комнате находится мисс Голкомб.

Прежде чем войти, я решила дать миссис Рюбель понять, что она здесь больше не служит. Поэтому я напрямик сказала ей, что с этой минуты уход за больной возложен всецело на меня.

— Рада слышать это, мэм,— сказала миссис Рюбель,— мне очень хочется уехать.

— Вы уедете сегодня? — спросила я, чтобы удостовериться в этом.

— Раз вы всё взяли на себя, мэм, через полчаса меня не будет. Сэр Персиваль любезно предоставил в мое распоряжение садовника и экипаж. Через полчаса они мне потребуются, чтобы ехать на станцию. Я уже уложилась. Желаю вам счастливо оставаться, мэм, прощайте!

Она сделала книксен и пошла обратно по галерее, напевая себе под нос какую-то песенку и помахивая своим букетом. Благодарение богу, могу сказать: никогда больше я не видела миссис Рюбель.

Мисс Голкомб спала, когда я вошла к ней. Я с тревогой всматривалась в нее. Она лежала на высокой, мрачной, старомодной кровати. Но должна сказать, она выглядела ничуть не хуже, чем когда я видела ее в последний раз. По всем признакам за ней был должный уход. Комната была унылая, запущенная, темная. Но окно, выходившее на двор позади дома, было открыто настежь, чтобы дать доступ свежему воздуху, и все, что можно было сделать для необходимого комфорта, было сделано. Жестокий обман сэра Персиваля обрушился всецело на одну леди Глайд. Судя по всему, единственное зло, которое они с миссис Рюбель причинили мисс Голкомб, заключалось в том, что они ее спрятали.

Я тихонько вышла из комнаты, оставив больную леди мирно спать, и пошла дать распоряжение садовнику привезти в Блекуотер-Парк мистера Доусона. Я попросила

садовника, после того как он отвезет миссис Рюбель на станцию, заехать к доктору и передать ему от моего имени просьбу навестить меня. Я была уверена, что мистер Доусон приедет ко мне, а когда узнает, что графа Фоско в доме больше нет, останется и будет по-прежнему навещать мисс Голкомб.

Спустя некоторое время садовник пришел сказать, что отвез миссис Рюбель на станцию, а потом заезжал к доктору. Мистер Доусон просил передать мне, что не совсем здоров, но, если сможет, приедет завтра утром.

Доложив мне об этом, садовник хотел было уже уйти, но я остановила его. Я попросила его обязательно вернуться до наступления темноты и провести ночь в одной из пустых спален, чтобы в случае, если это будет необходимо, быть под рукой. Он понял мое нежелание оставаться одной в самой пустынной части безлюдного дома и охотно согласился. Мы условились, что он вернется к девяти часам вечера.

Он пришел в назначенный час. Как я была довольна, что из предосторожности позвала его! Еще до полуночи сэр Персиваль, который так странно вел себя днем, пришел в совершенное неистовство. С ним был такой припадок бешенства, что, если б садовник вовремя не усмирил его, боюсь и подумать, что могло бы случиться.

Целый день и весь вечер сэр Персиваль бродил по дому и саду страшно возбужденный и сердитый. Я приписала это тому, что, по всей вероятности, он выпил неумеренное количество вина за обедом. Не знаю, было ли это так, но, во всяком случае, когда поздно вечером я проходила по галерее, я вдруг услышала, как он громко и гневно что-то кричал в жилой части дома, где находился. Я заперла дверь в коридор, чтобы крик не достиг ушей мисс Голкомб, а садовник немедленно пошел к сэру Персивалю узнать, в чем дело. Только через полчаса садовник наконец вернулся. Он заявил, что его хозяин совершенно сошел с ума, но не по причине чрезмерного злоупотребления вином, как я предполагала, а то ли из-за какого-то необъяснимого панического страха, то ли из-за страшного раздражения. Садовник застал сэра Персиваля в холле. Исступленно ругаясь, тот метался по холлу и кричал, что ни минуты больше не желает оставаться в таком страшном могильном склепе, как этот

дом, и намерен немедленно, ночью же, навсегда отсюда уехать. Увидев садовника, он с проклятиями и руганью велел ему заложить коляску. Через четверть часа сэр Персиваль выбежал во двор. При свете луны он выглядел бледным, как мертвец, вскочил в коляску и, хлестнув лошадь так, что она взвилась на дыбы, уехал. Садовник слышал, как он кричал и проклинал привратника, приказывая немедленно отпереть ворота. Когда ворота открылись, садовник услышал, как в ночной тишине колеса бешено загрохотали по дороге; грохот мгновенно стих — это было все.

День или два спустя, не помню точно, коляску привез из ближайшего к нам города — из Нолсбери — конюх тамошней гостиницы. Сэр Персиваль остановился в Нолсбери, а потом уехал поездом в неизвестном направлении. Ни от него самого, ни от кого-либо другого я не получала о нем известий и ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. В Англии он сейчас или нет, мне неизвестно. Мы с ним больше никогда не встречались с тех пор, как он умчался из собственного дома, как беглый каторжник. Молю бога и горячо надеюсь, что никогда больше мы с ним не встретимся.

Мое собственное участие в этой грустной семейной истории подходит к концу.

Подробности о том, как мисс Голкомб проснулась и увидела меня подле своей кровати, не имеют, как мне сказали, существенного значения для цели, которую преследует данное повествование. Скажу только, что мисс Голкомб сама не понимала, каким образом ее переправили из жилой части дома в нежилую. Когда это происходило, она спала глубоким сном и не знает, был ли ее сон естественным или вызван искусственным образом. Ко времени моего отъезда в Торкей в доме уже не было никого из прежней прислуги, кроме одной Маргарет Порчер, которая беспрестанно ела, пила и спала, когда не была занята работой. Благодаря этому перенести мисс Голкомб из одной части дома в другую было нетрудно. Осмотрев комнату, я убедилась, что миссис Рюбель заранее запаслась нужной провизией и всем необходимым, чтобы провести несколько дней в полном уединении с больной леди. Миссис Рюбель уклонялась от ответов на вопросы, которые мисс Голкомб, естественно, задавала ей, но во всем остальном была внимательна и заботлива. Я могу обвинить

миссис Рюбель только в том, что она участвовала в бессовестном, недостойном обмане.

К моему великому облегчению, мне позволено не описывать, как отнеслась мисс Голкомб к сообщению об отъезде леди Глайд и какое впечатление произвело на нее позднее то страшное известие, которое слишком быстро донеслось до нас в Блекуотер-Парк. В обоих случаях я постаралась заранее подготовить мисс Голкомб так заботливо и осторожно, как могла. Мистер Доусон в течении нескольких дней был нездоров и не мог приехать сразу, как я его просила. Но его советы очень помогли мне, когда мне пришлось передать мисс Голкомб ту прискорбную весть. Это было такое печальное время, что мне и сейчас горько о нем вспоминать и писать. Бесценное благо религиозного утешения, которым я старалась облегчить горе мисс Голкомб, долго не проникало в ее сознание, но верю и горячо надеюсь, что под конец она вняла ему. Я не отходила от нее, пока она не окрепла. Поезд, с которым я уезжала из этого несчастного дома, увозил и ее. Мы с глубокой грустью расстались в Лондоне. Я осталась у родственников в Айлингтоне, а она поехала к мистеру Фэрли в Кумберленд.

Мне остается написать еще несколько строк, прежде чем я закончу свой грустный отчет. Эти строки продиктованы мне чувством долга.

Во-первых, я хочу заявить о своем глубоком убеждении, что граф Фоско совершенно непричастен к событиям, о которых я сейчас рассказала. Его ни в чем нельзя упрекнуть. Как я слышала, возникло весьма серьезное подозрение против милорда графа — его обвиняют в страшном злодеянии. Однако я непоколебимо верю, что милорд граф не виноват ни в чем. Если он и помог сэру Персивалю отослать меня в Торкей, он поступил так под влиянием заблуждения, за которое его, как иностранца, незнакомого с нашими обычаями, нельзя обвинять. Если миссис Рюбель появилась в Блекуотер-Парке по его инициативе, это было его несчастьем, а не виной, когда эта иностранная особа оказалась столь низкой, что помогла обману, придуманному и приведенному в исполнение хозяином дома. Во имя высшей человеческой морали я протестую против необоснованного и бездоказательного осуждения поступков милорда графа.

Во-вторых, я хочу выразить глубокое сожаление, что

никак не могу вспомнить, какого именно числа леди Глайд уехала из Блекуотер-Парка в Лондон. Мне сказали, что чрезвычайно важно установить точную дату этого прискорбного путешествия, но я тщетно старалась припомнить ее. Помню только — это было во второй половине июля. Мы все знаем, как трудно по истечении некоторого времени вспомнить какое-нибудь число, если мы его раньше не записали. В данном случае для меня это еще труднее из-за тех тревожных и путаных событий, которые произошли в период отъезда леди Глайд. Я искренне и глубоко сожалею, что тогда же не записала, какого это было числа. Мне хотелось бы вспомнить его с той же отчетливостью, с какой я помню лицо моей бедной госпожи, когда она так печально поглядела на меня в последний раз из окна вагона.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗНЫЕ ЛИЦА

1. Отчет Эстер Пинхорн, кухарки, состоящей в услужении у графа Фоско (записано с ее собственных слов)

олжна сказать, что, к сожалению, я так никогда и не выучилась грамоте, но всю свою жизнь была трудолюбивой женщиной и всегда оставалась честной. Я знаю, что говорить то, чего не было,— большой грех, и постараюсь на этот раз этого не делать.

Я расскажу все, что мне известно, и только покорнейше прошу джентльмена, который записывает, поправлять мои выражения и простить меня, что я неученая.

Прошлым летом я осталась без места (не по своей вине) и прослышала, что в доме номер пять по Форест-Род в Сент-Джонз-Вуде нужна кухарка. Я поступила на это место. Меня взяли на испытание. Фамилия моего хозяина была Фоско. Хозяйка была англичанкой. Он был графом, а она графиней. Когда я туда перебралась, в доме была еще девушка на должности горничной. Не могу сказать, чтоб она была очень чистоплотной и аккуратной, но зла в ней не было. Мы с ней были единственными служанками в доме.

Наши хозяева приехали уже после нас и, как только приехали, сказали нам, что ждут к себе гостей из имения.

В гости должна была приехать племянница хозяйки, и мы приготовили ей на первом этаже спальню, окна которой выходили на задний двор. Моя хозяйка сказала, что у леди Глайд (так звали племянницу) слабое здоровье и что я должна иметь это в виду, когда буду готовить кушанья. Насколько я помню, их племянница должна была приехать в тот же день, но не полагайтесь в этом на мою память. Прошу прощенья, но должна признаться, что бесполезно спрашивать меня про числа, даты и тому подобное. Кроме воскресений, я не обращаю внимания на дни, будучи женщиной очень трудолюбивой, хоть и неученой. Знаю только, что леди Глайд приехала, а как приехала — ну и напугала же она всех нас! Не знаю точно, в какое время хозяин привез ее, я была занята на кухне. По-моему, это было в полдень. Горничная открыла им двери и провела в гостиную. Потом горничная пришла в кухню, но мы с ней не долго пробыли вместе.

Вдруг мы услышали переполох внизу, и звонок из гостиной зазвонил как бешеный. Хозяйка звала нас на помощь.

Мы побежали вниз и видим: леди лежит на софе, бледная, как мертвец, кулаки сжаты, а голова на сторону. Хозяйка сказала, что она чего-то испугалась, а хозяин сказал, что с ней припадок конвульсий. Я знала нашу местность лучше, чем они, и поэтому сама побежала за медицинской помощью. Ближайшие доктора были Гудрик и Гарт, о них шла добрая молва по всему Джонз-Вуду, к ним многие обращались. С бедной леди был припадок за припадком, и это продолжалось до тех пор, пока она не измучилась вконец и не стала слабой и беспомощной, как новорожденный младенец. Тогда мы отнесли ее в спальню и уложили в постель. Доктор Гудрик пошел к себе домой и вернулся через четверть часа, а то и меньше. Кроме лекарств, он принес с собой еще кусочек красного дерева, вырезанного наподобие трубочки, и, обождав некоторое время, приставил конец этой трубочки к сердцу бедной леди, а сам приложил ухо к другому концу и стал внимательно слушать.

Потом он говорит моей хозяйке, которая была в комнате:

— Это очень серьезный случай, я советую вам немедленно известить родных леди Глайд.

А хозяйка говорит ему:

— Это болезнь сердца?

— Да,— говорит он,— и очень опасная.

Он ей описал в точности, какая это болезнь, но я так ничего и не поняла. Но очень хорошо помню, как под конец он сказал, что боится, что ни он, ни другой доктор уже ничем не могут помочь.

Моя хозяйка отнеслась к этой вести спокойнее, чем хозяин. Он был большой, толстый, пожилой человек, чудаковатый какой-то, у него были белые мыши и птицы, а он разговаривал с ними, будто они ребята малые! Слова доктора его за живое задели.

— Ах, бедная леди Глайд! Бедная, милая леди Глайд! — начал он приговаривать и забегал по комнате, ломая свои толстые руки вроде как актер, а вовсе не как джентльмен.

Хозяйка только об одном спросила доктора: есть ли надежда, что леди поправится, а хозяин просто засыпал доктора вопросами, по крайней мере, вопросов пятьдесят он ему задал! По правде сказать, он всех нас замучил, а когда наконец успокоился, то пошел в садик и начал собирать цветочки да букетики, а потом попросил меня украсить комнату больной леди. Будто это поможет. По-моему, временами у него в голове не все было в порядке.

Но в общем он был неплохой хозяин — такой вежливый на язык, веселый, приветливый в обращении. Он нравился мне гораздо больше хозяйки. Она была ужасная скареда, по всему было видно.

К ночи леди немного ожила. Перед этим судороги ее так замучили, что она не могла ни рукой пошевелить, ни словечка вымолвить. Теперь она лежала и во все глаза смотрела на комнату и на нас. Наверно, до болезни она была очень красивая, волосы светлые, а глаза голубые, нежненькая такая. Ночь она провела плохо, так я слышала от хозяйки, которая все время не отходила от нее. Перед тем как лечь спать, я зашла к ней в комнату узнать, не надо ли чего, но она все бормотала про себя бессвязно, как в бреду. Казалось, ей очень

хотелось поговорить с кем-то, кто был где-то далеко, и она все звала кого-то. Я не разобрала имени в первый раз, а во второй раз хозяин постучался в дверь и явился со своими нескончаемыми вопросами и дрянными букетиками.

Когда я поднялась к ней на следующее утро, леди опять была совершенно без сил и лежала в забытьи. Мистер Гудрик привел своего коллегу мистера Гарта, чтобы с ним посоветоваться. Они сказали, что ее ни под каким видом нельзя будить или беспокоить. Они отошли в глубину комнаты и стали расспрашивать хозяйку про здоровье леди в прошлые годы, кто ее лечил и не пережила ли она незадолго до этого какого-нибудь душевного потрясения. Помню, хозяйка ответила «да» на этот последний вопрос, а мистер Гудрик с мистером Гартом поглядели друг на друга и оба покачали головой. Они как будто решили, что потрясение подействовало на сердце леди. Бедняжка! Как поглядеть на нее, такая она была слабенькая. Не было у нее сил, что и говорить, совсем не было сил.

Позднее в то же утро, когда леди проснулась, она неожиданно почувствовала себя гораздо лучше. Я сама ее не видела. Нас с горничной не пускали к ней в комнату, чтобы посторонние ее не беспокоили. О том, что ей стало лучше, я слышала от хозяина. Он был в прекрасном настроении из-за этого, и, когда отправился на прогулку в своей широченной соломенной шляпе с загнутыми полями, он заглянул из сада в кухонное окно.

— Добрейшая миссис кухарка,— говорит он,— леди Глайд стало гораздо лучше. Настроение мое поэтому повысилось, и я иду размять свои огромные ноги на солнышке. Не заказать ли чего, не купить ли чего для вас, миссис кухарка? Что вы там стряпаете? Вкусный тортик на обед? Побольше корочки! Побольше хрустящей корочки, прошу вас, моя дорогая,— золотистой корочки, которая будет восхитительно рассыпаться и таять во рту.

Вот как он разговаривал! Ему было за шестьдесят, а он обожал пирожные и торты. Подумать только!

Днем доктор опять приходил и своими глазами видел, что леди Глайд стало лучше. Он запретил нам говорить с ней или давать ей говорить с нами, если бы ей этого

захотелось, и сказал, что самое главное для нее — полный покой и спать как можно больше. По-моему, ей не хотелось разговаривать, за исключением прошлой ночи, когда я так и не поняла, о чем она хочет сказать. Она была слишком слаба. И мистер Гудрик, когда осмотрел ее, совсем не пришел в хорошее настроение, как хозяин. Спустившись вниз, доктор ничего не сказал, кроме того, что опять зайдет к пяти часам.

Около этого часа (а хозяина дома еще не было) вдруг из спальни громко зазвонил звонок, и на лестницу выскочила хозяйка. Она крикнула мне, чтобы я скорей бежала за доктором да сказала бы ему, что леди в обмороке. Только я успела надеть чепчик и накинуть шаль, как, по счастью, доктор сам пришел к нам, как обещал.

Я ему открыла и пошла с ним наверх.

— Леди Глайд чувствовала себя как обычно,— говорит ему в дверях спальни хозяйка.— Она проснулась, растерянно оглядела комнату, и вдруг я услышала, как она тихо вскрикнула и тут же упала навзничь.

Доктор подошел к кровати и нагнулся над больной леди. Вдруг он стал очень серьезным и молча приложил руку к ее сердцу.

Хозяйка уставилась на мистера Гудрика.

— Умерла? — спросила она шепотом и задрожала всем телом.

— Да,— говорит доктор, тихо так, строго.— Умерла. Вчера, когда я слушал ее сердце, я боялся, что это может случиться.

Услыхав эти слова, моя хозяйка отшатнулась от кровати и стала дрожать еще сильнее.

— Умерла! — шепчет она про себя.— Умерла так внезапно! Умерла так скоро! Что скажет граф?!

Мистер Гудрик посоветовал ей сойти вниз и немного успокоиться.

— Вы не спали всю ночь,— говорит он,— и ваши нервы не в порядке. Эта женщина,— говорит он и показывает на меня,— эта женщина останется в комнате, пока я не пришлю необходимую помощницу.

Хозяйка сделала, как он ей велел.

— Я должна подготовить графа,— говорит она,— я должна как можно осторожнее подготовить графа! — И, дрожа как лист, она вышла из комнаты.

— Ваш хозяин иностранец,— говорит мне мистер Гудрик, когда хозяйка ушла.— Он знает, как надо регистрировать смерть?

— Не могу знать, сэр,— говорю я.— Наверно, не знает.

Доктор задумался на минуту, а потом и говорит:

— Обычно я этого не делаю, но на этот раз я, пожалуй, сам зарегистрирую умершую, чтобы не затруднять семью. Через полчаса мне все равно придется проходить мимо регистрационного бюро, и мне нетрудно туда зайти. Скажите им, пожалуйста, что эту заботу я беру на себя.

— Хорошо, сэр,—говорю я,— премного благодарим за вашу любезность.

— Вы не возражаете против того, чтобы побыть здесь, пока я не пришлю кого-нибудь? — говорит он.

— Нет, сэр,— говорю я,— я посижу около бедной леди. Наверно, ничего нельзя было сделать, сэр, кроме того, что было сделано? — говорю я.

— Нет,— говорит он,— ничего нельзя было поделать. Она, наверно, очень страдала и долго болела до того, как я ее увидел. Случай был безнадежный, когда меня позвали.

— О господи, все мы рано или поздно кончим этим, правда, сэр? — говорю я.

Он ничего мне не ответил. Кажется, ему не хотелось разговаривать.

Он только сказал:

— До свиданья,— и ушел.

Я просидела подле покойницы, пока не пришла женщина, которую прислал мистер Гудрик. Ее звали Джейн Гулд. На мой взгляд, она была очень почтенная женщина. Она никаких замечаний не делала, только сказала, что знает свое дело и за свою жизнь многих обрядила на тот свет.

О том, как отнесся к этой новости хозяин, когда услыхал о ней, я сказать ничего не могу. Меня при этом не было. Но когда я его увидела, он казался очень пришибленным. Он тихо сидел в углу, уронив свои толстые руки, понуро свесив голову; и глаза у него были пустые какие-то. Похоже было, что он не так огорчен, как испуган и озадачен тем, что случилось. Моя хозяйка распорядилась всем, что надо было сделать, а также насчет похорон.

Наверно, это стоило кучу денег, гроб особенно был такой роскошный! Муж покойной леди, как мы слышали, был в отъезде, в чужих краях. Но моя хозяйка (она была ее родной теткой) договорилась с родственниками в имении (кажется, они жили где-то в Кумберленде, как мне помнится), что бедную леди похоронят в одной могиле с ее матерью. Похороны были очень пышные, и хозяин сам ездил в имение, чтобы на них присутствовать. Как он был хорош в глубоком трауре! Лицо такое торжественное, широкая черная креповая лента на шляпе. Когда он медленно выступал своей величавой походкой, уж так он был хорош!

В заключение, отвечая на заданные мне вопросы, должна сказать:

1) что ни я, ни моя сослуживица горничная никогда не видели, чтобы хозяин сам давал лекарства леди Глайд;

2) что, насколько мне известно, он никогда не оставался один на один с леди Глайд в ее комнате;

3) я не знаю, что было причиной внезапного испуга леди Глайд, когда она приехала к нам,— ни мне, ни горничной этого никогда не объясняли;

4) вышеупомянутый отчет был прочтен в моем присутствии.

Ничего больше я прибавить к нему не могу. Все написано правильно. Как христианка, клянусь, что все здесь написанное — истинная правда.

Подпись: Эстер Пинхорн+(ее крестик).

2. Отчет доктора

В регистрационное бюро записи актов гражданского состояния того района, где последовала нижеуказанная смерть. Сим удостоверяю, что я лечил леди Глайд, 21 года от роду, видел ее в живых последний раз во вторник 25 июля 1850 года и что она умерла в тот же день в доме № 5, Форест-Род, Сент-Джонз-Вуд. Смерть ее последовала в результате сердечного аневризма. Продолжительность болезни неизвестна.

Подпись: Альфред Гудрик.
Профессиональное звание: доктор медицины.
Адрес: 12, Кройдон-стрит, Сент-Джонз-Вуд.

3. Отчет Джейн Гулд

Доктор мистер Гудрик послал меня сделать все необходимое и приготовить к похоронам покойную леди, умершую в доме, адрес которого указан в предыдущем отчете. Подле тела покойницы я застала служанку Эстер Пинхорн. Я сделала все, что требовалось, и подготовила тело к похоронам. В моем присутствии тело положили в гроб, и гроб заколотили при мне, прежде чем вынести. После этого, а не раньше мне заплатили то, что мне причиталось, и я покинула этот дом. Те, кто захочет узнать о моих рекомендациях, могут обратиться к доктору Гудрику. Он засвидетельствует, что на меня можно положиться и что все изложенное здесь — истинная правда.

Подпись: Джейн Гулд

4. Надпись на надгробном памятнике

Памяти Лоры, леди Глайд, жены сэра Персиваля Глайда, баронета из Блекуотер-Парка в Хемпшире, дочери покойного Филиппа Фэрли, эсквайра из Лиммериджа, этого же прихода. Родилась 27 марта 1829 года, сочеталась браком 22 декабря 1849 года. Умерла 25 июля 1850 года.

5. Отчет Уолтера Хартрайта

В начале лета 1850 года я и мои оставшиеся в живых товарищи покинули дикие дебри Центральной Америки, чтобы вернуться на родину. Достигнув побережья, мы сели на корабль, отплывавший в Англию. Судно это погибло в Мексиканском заливе. Я был одним из немногих спасшихся во время кораблекрушения. В третий раз удалось мне избежать верной гибели. Смерть от тропической лихорадки, смерть от руки индейца, смерть в пучине морской — все три угрожали мне, все три миновали меня.

Американский корабль, плывший в Ливерпуль, подобрал уцелевших. Корабль прибыл в порт 13 октября 1850 года. Мы причалили к вечеру, а ночью я был уже в Лондоне.

Не буду описывать здесь мои путешествия и бедствия, пережитые вдали от родины. Причины, по которым я покинул свою страну, друзей и родных для нового мира приключений и опасностей, уже известны. Из своего добровольного изгнания я вернулся, как надеялся и верил, другим человеком. Испытания моей новой жизни закалили меня. В суровой школе крайней нужды и лишений воля моя стала сильной, сердце мужественным, разум самостоятельным. Я уехал, спасаясь от собственной судьбы.

Я вернулся, чтобы встретить судьбу, как подобает мужчине.

Вернулся к неизбежной необходимости подавлять свои чувства, зная, что так суждено. Горечь ушла из моих воспоминаний, осталась только печаль и глубокая нежность к тем счастливым, незабвенным минувшим дням. Раны прошлого не зажили. Я не перестал чувствовать непоправимую боль из-за обманувших меня надежд, но научился нести свой крест. Лора Фэрли жила в моем сердце, когда корабль уносил меня вдаль и я в последний раз глядел на исчезавшие в тумане берега Англии. Лора Фэрли жила в моем сердце, когда корабль нес меня обратно и утреннее солнце озаряло приближавшиеся родные берега.

Перо мое пишет имя, которое она носила прежде, в сердце моем по-прежнему живет старая любовь. Я все еще пишу о ней как о Лоре Фэрли. Мне трудно думать о ней, трудно говорить о ней, называя ее по имени ее мужа.

Мне нечего больше прибавить к моему вторичному появлению на этих страницах.

Настоящее повествование, если у меня хватит сил и мужества писать его, должно быть продолжено.

Когда наступило утро, сердце мое с волнением и надеждой устремилось к матушке и сестре. После долгого отсутствия, во время которого в течение многих месяцев они не получали никаких вестей обо мне, я считал необходимым подготовить их к нашей радостной встрече.

Ранним утром я послал письмо в коттедж в Хемпстеде, а через час направился туда сам.

Когда утих первый взрыв радости и к нам постепенно начало возвращаться тихое равновесие прежних дней,

я понял по выражению лица моей матушки, что на сердце у нее тяжелое горе.

В глазах ее, смотревших на меня с такой нежностью, я читал больше чем любовь. С глубокой жалостью она сжимала мою руку. Мы никогда ничего не таили друг от друга. Она знала о моих разбитых надеждах, она знала, отчего я ее покинул. Я хотел было спросить ее как можно спокойнее, не получала ли она писем для меня от мисс Голкомб, не было ли каких известий

о ее сестре, но, когда я взглянул в лицо матушки, вопрос замер на моих устах, у меня не хватило смелости задать его. С мучительной нерешительностью я мог только выговорить:

— Вам надо мне что-то сказать?

Сестра моя, сидевшая напротив нас, вдруг встала — встала и, не сказав ни слова, вышла из комнаты. Матушка подвинулась ближе ко мне и обняла меня. Ее любящие руки дрожали, слезы струились по ее дорогому, родному лицу.

— Уолтер! — прошептала она.— Сын мой любимый! Сердце мое так скорбит за тебя! О сын мой! Помни, что у тебя осталась твоя мать.

Голова моя упала к ней на грудь. Я понял, что она хотела сказать этими словами.

Настало утро третьего дня с момента моего возвращения, утро 16 октября.

Я остался у матушки и сестры — я старался не отравлять им радости долгожданного свидания со мной. Я сделал все, что мог, чтобы оправиться от удара и примириться с необходимостью жить дальше. Я сделал все, чтобы мое страшное горе не вылилось в безысходное отчаяние,— смягчилось моей любовью к матушке и сестре. Но все было бесполезно, все было безнадежно. Я окаменел от горя. У меня не было слез. Ни нежное сочувствие сестры, ни горячая любовь моей матери не приносили мне облегчения.

Утром этого дня я открылся им. Я смог наконец выговорить то, о чем хотел сказать с той минуты, как матушка известила меня о ее смерти.

— Отпустите меня, дайте мне некоторое время побыть одному,— сказал я.— Мне будет легче, когда я снова увижу те места, где впервые встретился с ней, когда я преклоню колени у могилы, где она покоится.

Я отправился в путь — к могиле Лоры Фэрли.

Был тихий, прозрачный осенний день. Я вышел на безлюдной станции и пошел по дороге, где все мне было памятно. Заходящее солнце слабо просвечивало сквозь перистые облака, воздух был теплый, мягкий. На мир и покой сельского уединения ложилась тень угасавшего лета.

Я дошел до пустоши, густо заросшей вереском, я снова поднялся на вершину холма, я посмотрел вдаль — там

виднелся знакомый тенистый парк, поворот дороги к дому, белые стены Лиммериджа. Превратности и перемены, дороги и опасности многих долгих месяцев, как дым, исчезли из моей памяти. Как будто вчера я шел по душистому вереску — я мысленно видел, как она идет мне навстречу в своей маленькой соломенной шляпке, в простом платье, развевающемся по ветру, с альбомом для рисунков в руках.

О, смерть, безжалостно твое жало! Ты побеждаешь все...

Я свернул в сторону, и вот внизу, в ложбине, передо мной встала одинокая старая церковь, притвор, где я ждал появления женщины в белом; холмы, теснившиеся вокруг тихого кладбища; родник, журчавший по каменистому руслу. Там, вдали, виднелся мраморный крест, белоснежный, холодный, возвышаясь теперь над матерью и над дочерью.

Я приблизился к кладбищу. Я прошел через низкую каменную ограду и обнажил голову, входя в священную обитель. Священную, ибо здесь покоилась кротость и доброта. Священную, ибо любовь и горе мое были отныне моими святынями.

Я остановился у могильной плиты, над которой высился крест. В глаза мне бросилась новая надпись, выгравированная на нем,— холодные черные буквы, безжалостно и равнодушно рассказывающие историю ее жизни и смерти. Я попытался прочесть их: «Памяти Лоры...» Нежные, лучистые голубые глаза, отуманенные слезами, светлая, устало поникшая головка, невинные прощальные слова, молящие меня оставить ее,— о, если бы последнее воспоминание о ней не было столь печальным! Воспоминание, которое я унес с собой, воспоминание, которое я приношу с собой к ее могиле!

Я снова попытался прочесть надпись. Я увидел в конце дату ее смерти, а над этим...

Над датой были строки — было имя, мешавшее мне думать о ней. Я подошел к ее могиле с другой стороны, откуда я не мог видеть надпись, где ничто житейское не вставало между нами.

Я опустился на колени. Я положил руки, я уронил голову на холодный, белый мрамор и закрыл глаза, чтобы уйти от жизни, от света. Я звал ее, я был с нею опять. О, любовь моя! Сердце мое вновь говорит с тобой. Мы

расстались только вчера — только вчера я держал в руках твои любимые маленькие руки, только вчера глаза мои глядели на тебя в последний раз. Любовь моя!

Время остановилось, и тишина, как ночь, сгустилась вокруг меня.

Первый звук, нарушивший эту тишину, был слабым, как шелест травы над могилами. Он постепенно делался все громче, пока я не понял, что это звук чьих-то шагов. Они подходили всё ближе и ближе — и остановились.

Я поднял голову.

Солнце почти зашло. Облака развеялись по небу, косые закатные лучи мягко золотили вершины холмов. Угасавший день был прохладным, ясным и тихим в спокойной долине смерти.

В глубине кладбища в призрачном свете заката я увидел двух женщин. Они смотрели на могилу, они смотрели на меня.

Две женщины.

Они подошли еще ближе и снова остановились. Лица их были скрыты под вуалями, я не мог их разглядеть. Когда они остановились, одна из них откинула вуаль. В тихом вечернем свете я увидел лицо Мэриан Голкомб.

Она так изменилась, будто прошло много-много лет с нашей последней встречи. В ее широко раскрытых глазах, устремленных на меня, застыл непонятный испуг. Лицо ее было до жалости исхудавшим, измученным — печать боли, страха и отчаяния лежала на нем.

Я шагнул к ней. Она не пошевельнулась, не заговорила. Женщина под вуалью рядом с ней слабо вскрикнула. Я остановился. Сердце во мне замерло. Невыразимый ужас охватил меня, я задрожал.

Женщина под вуалью отделилась от своей спутницы и медленно направилась ко мне. Оставшись одна, Мэриан Голкомб заговорила. Голос ее был прежним, я помнил, я узнал его — он не изменился, как измученное ее лицо, как испуганные глаза.

— Сон! Мой сон! — раздались ее слова среди гробовой тишины. Она упала на колени, с мольбой простирая руки к небу.— Господи, дай ему силы! Господи, помоги ему!

Женщина приближалась медленно, тихо, она шла ко мне. Глаза мои были прикованы к ней, теперь я видел только ее одну.

Голос, моливший за меня, упал до шепота и вдруг перешел в отчаянный крик.

Мне приказывали уйти!

Но женщина под вуалью всецело владела мной. Она остановилась по другую сторону могилы. Мы стояли теперь лицом к лицу, нас разделял надгробный памятник. Она была ближе к надписи, и платье ее коснулось черных букв.

Голос звучал все громче и исступленнее:

— Спрячьте лицо! Не смотрите на нее! Ради бога...

Женщина подняла вуаль.

«Памяти Лоры, леди Глайд...»

Лора, леди Глайд, стояла у надписи, вещавшей о ее кончине, и смотрела на меня.

. . . . . .

(Второй период истории на этом заканчивается.)

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ УОЛТЕР ХАРТРАЙТ

I

открываю новую страницу. Я продолжаю мое повествование, пропуская целую неделю.

История этой недели должна остаться нерассказанной. Когда я думаю о тех днях, сердце мое сжимается, мысли путаются. А этого не должно быть, если я хочу вести дальше за собой тех, кто читает эти страницы. Этого не должно быть, если я не хочу выпустить из своих рук нить, которая проходит через эту запутанную, странную историю.

Жизнь внезапно изменилась и приобрела для меня новый смысл. Все житейские надежды и опасения, борьба, интересы, жертвы — все мгновенно и навсегда устремилось в одном направлении. Как будто неожиданный вид с вершины горы внезапно открылся перед моим духовным взором. Я остановился на том, что произошло под тихой сенью лиммериджского кладбища. Я продолжаю через неделю, среди шума и гама, сутолоки и грохота одной из лондонских улиц.

Улица находится в многолюдном и бедном квартале. Нижний этаж одного из домов занят маленькой лавчонкой,

где торгуют газетами. Первый и второй этажи сдаются внаем, как меблированные комнаты самого скромного разряда.

Я снял их под чужой фамилией. На верхнем этаже живу я, у меня рабочая комната и комнатушка, где я сплю. Этажом ниже, под той же чужой фамилией, живут две женщины, их считают моими сестрами. Я зарабатываю свой хлеб тем, что делаю рисунки и гравюры на дереве для дешевых журналов. Предполагается, что мои сестры помогают мне, принимая заказы на вышивание. Наше бедное жилище, наша скромная профессия, наше предполагаемое родство, чужая фамилия, под которой мы живем,—все это средства для того, чтобы мы могли надежно спрятаться в дремучем лесу лондонских трущоб. Мы уже не принадлежим к числу людей, живущих открыто и на виду. Я неизвестный, незаметный человек. У меня нет ни покровителей, ни друзей, которые могли бы помочь мне. Мэриан всего только моя старшая сестра, все хозяйственные заботы лежат на ее плечах, она делает все по дому своими руками. В глазах людей, знающих нас, мы двое — одновременно и жертвы и инициаторы дерзкого надувательства. Ходят слухи, что мы сообщники сумасшедшей Анны Катерик, претендующей на имя, положение, самую личность покойной леди Глайд.

Таково наше положение. Таковы те новые обстоятельства, при которых мы все трое должны впредь появляться в течение долгого времени на страницах этого повествования.

С точки зрения рассудка и закона, в представлении родственников и знакомых, в соответствии со всеми официальными обрядами цивилизованного общества «Лора, леди Глайд» была похоронена рядом с матерью на кладбище в Лиммеридже. Вычеркнутая при жизни из списка живых, дочь покойного Филиппа Фэрли и жена благополучно здравствующего сэра Персиваля Глайда, баронета, была жива для своей сестры и меня, но для всего остального мира ее не было, она умерла. Умерла для своего родного дяди, который отказался от нее, умерла для слуг, не узнавших ее, для официальных лиц, передавших ее состояние в руки ее мужа и тетки, для моей матушки и сестры, считавших, что я введен в заблуждение, жестоко обманут искательницей приключений и являюсь жертвой наглого мошенничества. В глазах общества и закона, с

точки зрения морали, социально, формально — она умерла.

Но она жила! Жила в бедности, в изгнании. Жила для того, чтобы безвестный учитель рисования мог выиграть битву во имя ее и вернуть ей право снова числиться в списках живых.

Когда ее лицо предстало передо мной, не шевельнулось ли во мне подозрение, подкрепленное тем, что мне лучше чем кому бы то ни было было известно о необыкновенном сходстве между нею и Анной Катерик? Нет, ни тени подозрения, ни намека на него — с той минуты, когда она откинула свою вуаль, стоя подле надгробной надписи, гласившей о ее кончине.

Прежде чем в тот день зашло солнце, прежде чем исчез из наших глаз ее дом, навсегда закрывший перед ней двери,— прощальные слова, произнесенные мною при отъезде из Лиммериджа, прозвучали вновь. Я повторил их — она их вспомнила. «Если когда-нибудь настанет время, когда преданность всего моего сердца и все силы мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования...» Она, помнившая так смутно тревогу и ужас более позднего времени, вспомнила эти слова и доверчиво склонила свою усталую головку на грудь человека, произнесшего их. В ту минуту, когда она назвала меня по имени, когда она сказала: «Они старались заставить меня позабыть обо всем, Уолтер, но я помню Мэриан и помню вас!» — в ту минуту я, давно отдавший ей мою любовь, посвятил ей всю свою жизнь и возблагодарил бога, что могу это сделать. Да! Пробил час. За многие тысячи миль, через дремучие, дикие леса, где гибли более крепкие и сильные, чем я, мои товарищи, через смертельные опасности, трижды мне грозившие и трижды мною преодоленные, рука, ведущая людей по темной дороге судьбы, вела меня к этому часу. Любовь, которую я ей обещал, преданность всего моего сердца, все мои силы я мог теперь открыто положить к ее ногам. Она была беспомощна и отвержена, прошла через страшное испытание, красота ее поблекла, ум померк, у нее не осталось ничего, не осталось даже места среди живых... По праву ее несчастья, по праву ее одиночества она была наконец моей! Моей, чтобы поддержать ее, защитить, утешить, воскресить. Моей, чтобы я любил и почитал ее, как отец, как брат.

Моей, чтобы восстановить ее в правах, жертвуя всем: моим добрым именем, дружественными связями, рискуя собственной жизнью в неравной борьбе со знатными и всесильными, в длительной борьбе с вооруженным до зубов Обманом, который пока что торжествовал над Правдой.

II

Мое положение описано, мои побуждения известны. Остается рассказать историю встречи Лоры и Мэриан.

Расскажу ее не со слов, часто бессвязных и непоследовательных, самих рассказчиц, но излагая факты, ставшие мне известными. Я должен написать ясный и точный отчет о том, что произошло с ними, как для самого себя, так и для моего поверенного, дабы запутанный клубок событий был распутан наиболее быстро, вразумительно и точно.

История Мэриан начинается там, где кончается рассказ домоправительницы.

Домоправительница рассказала Мэриан про отъезд леди Глайд из Блекуотер-Парка и об обстоятельствах, которые ему сопутствовали.

Несколько дней спустя (сколько дней прошло, миссис Майклсон не могла вспомнить, так как в то время ничего не записывала) было получено письмо от графини Фоско, извещавшее о последовавшей в доме графа Фоско внезапной смерти леди Глайд. Даты в письме не упоминались. Миссис Майклсон предоставлялось, на ее собственное усмотрение, сразу же сообщить мисс Голкомб эту печальную весть или же подождать, пока здоровье мисс Голкомб не окрепнет.

Посоветовавшись с мистером Доусоном (который до этого по нездоровью не мог возобновить врачебное наблюдение за мисс Голкомб), по его указаниям и в его присутствии миссис Майклсон сообщила мисс Голкомб прискорбное известие в тот же день, как получила письмо от графини, или днем позже. Не будем останавливаться на впечатлении, которое произвело на Мэриан сообщение о внезапной смерти леди Глайд. Скажем только, что она смогла уехать из Блекуотер-Парка через три недели после этого. В Лондон она поехала в сопровождении домоправительницы. Там они расстались, и миссис Майклсон дала

мисс Голкомб свой адрес на случай, если он в будущем понадобится.

Расставшись с домоправительницей, мисс Голкомб сейчас же отправилась в юридическую контору Гилмора и Кирла посоветоваться с последним, так как сам мистер Гилмор отсутствовал. Она сказала мистеру Кирлу о том, что считала необходимым скрыть от всех (включая и домоправительницу миссис Майклсон),— о своих подозрениях по поводу обстоятельств, при которых, как ей объяснили, умерла леди Глайд.

Мистер Кирл, ранее доказавший свою готовность дружески служить интересам мисс Голкомб, поспешил навести справки всюду, где это было возможно. Он действовал осторожно, так как учитывал щекотливый и опасный характер поручения, на него возложенного.

Чтобы исчерпать эту тему, следует упомянуть, что граф Фоско любезнейшим образом откликнулся на просьбу мистера Кирла сообщить ему подробности смерти леди Глайд, которые желала знать мисс Голкомб.

Затем мистер Кирл встретился с доктором Гудриком и двумя служанками графа Фоско. Ввиду невозможности установить точную дату отъезда леди Глайд из Блекуотер-Парка, ввиду показаний доктора и служанок, а также добровольных объяснений графа Фоско и его жены, поверенный мистер Кирл пришел к заключению, что подозрения мисс Голкомб ни на чем не основаны. Он решил, что горе, причиненное мисс Голкомб потерей любимой сестры, серьезно нарушило ее душевное равновесие. Он написал ей, что, по его мнению, подозрения, о которых она сообщила ему, не имеют под собой решительно никакой почвы. На этом содействие компаньона мистера Гилмора закончилось.

За это время мисс Голкомб, вернувшись в Лиммеридж, собрала там все дополнительные сведения, которые могла получить.

Первое сообщение о смерти племянницы мистер Фэрли получил от своей сестры, мадам Фоско, но и в этом письме никаких дат не упоминали. Он дал свое согласие на предложение графини похоронить леди Глайд рядом с ее матерью на кладбище в Лиммеридже. Сам граф Фоско сопровождал гроб с телом леди Глайд в Кумберленд и присутствовал на похоронах, имевших место 30 июля. Похороны были очень многолюдными и пышными. За

гробом в знак памяти и уважения шли все обитатели деревни и окрестностей. На следующий день надгробная надпись (как говорили — предварительно начертанная рукой родной тетки умершей леди) с одобрения главы семьи, то есть мистера Фэрли, была выгравирована на памятнике, стоявшем над могилой.

В день похорон и на следующий день граф Фоско был гостем в Лиммеридже, но мистер Фэрли не пожелал лично повидать его. Они обменялись письмами. Граф Фоско ознакомил мистера Фэрли с подробностями болезни и смерти его племянницы. В его письме не было даты, не было также никаких новых фактов, кроме уже известных. Но в приписке к письму говорилось об одном весьма примечательном обстоятельстве. Дело касалось Анны Катерик.

Содержание приписки сводилось к следующему.

Сначала мистера Фэрли уведомляли о том, что Анну Катерик (о которой он мог подробно узнать от мисс Голкомб, когда та приедет в Лиммеридж) выследили и нашли по соседству с Блекуотер-Парком и вторично водворили в психиатрическую лечебницу, откуда она когда-то бежала.

Затем мистера Фэрли предупреждали, что душевная болезнь Анны Катерик обострилась, оттого что она долго пребывала на свободе без медицинской помощи, и что ее безумная ненависть и подозрительность к сэру Персивалю Глайду (и ранее бывшая одним из пунктов ее помешательства) приняла теперь новую форму. Несчастная женщина была теперь во власти новой мании, связанной с сэром Персивалем: она выдавала себя за его покойную жену,— очевидно, для того, чтобы досадить ему и возвыситься в глазах окружавших ее больных и сиделок. По-видимому, эта затея пришла ей в голову после того, как она добилась тайного свидания с леди Глайд, во время которого она собственными глазами убедилась в необыкновенном сходстве, существовавшем между умершей леди и ею. Возможность вторичного ее побега из сумасшедшего дома была совершенно исключена, но, быть может, она собиралась надоедать родственникам покойной леди Глайд письмами — в таком случае мистера Фэрли заранее предупреждали, как отнестись к этому.

Когда мисс Голкомб приехала в Лиммеридж, ей по-

казали эту приписку. Также отдали ей и одежду, в которой леди Глайд уехала из Блекуотер-Парка, вместе с другими вещами, которые она привезла с собой в дом своей тетки. Мадам Фоско заботливо переслала их в Кумберленд.

Так обстояли дела, когда в начале сентября мисс Голкомб приехала в Лиммеридж.

Вскоре она опять слегла, болезнь ее повторилась, ослабевшие силы ее были подорваны тяжелым душевным состоянием, какой-то внутренней неуверенностью, от которой она теперь страдала. Через месяц, когда она поправилась, подозрения ее по поводу обстоятельств, при которых умерла ее сестра, отнюдь не рассеялись. За этот промежуток времени она не получала никаких известий от сэра Персиваля Глайда, но до нее доходили письма мадам Фоско. Та очень внимательно и любезно осведомлялась о ее здоровье от себя лично и от имени своего мужа. Вместо того чтобы отвечать на эти письма, мисс Голкомб наняла частного сыщика для наблюдения за домом в Сент-Джонз-Вуде и за его обитателями.

Но ничего сомнительного обнаружено не было. Те же результаты дало и наблюдение за миссис Рюбель. Она и ее муж приехали в Лондон за полгода до этого. Они прибыли из Лиона и сняли дом около Лестер-Сквера, чтобы сдавать меблированные комнаты иностранцам, съезжавшимся в Лондон в большом количестве в связи со всемирной выставкой 1851 года. Ничего подозрительного об этой чете не было известно. Они были скромными людьми, всегда платили свою ренту вовремя и вообще вели себя вполне добропорядочно. Что касается сэра Персиваля Глайда, он обосновался в Париже и спокойно проживал там в кругу друзей — англичан и французов.

Потерпев всюду неудачу, но не успокоившись, мисс Голкомб решила тогда съездить в психиатрическую лечебницу, где, как ей было известно, снова находилась Анна Катерик. Она и раньше очень интересовалась этой женщиной. Теперь ее интерес к Анне Катерик возрос. Во-первых, мисс Голкомб хотела убедиться, правда ли Анна выдает себя за леди Глайд, во-вторых (если это было на самом деле так), мисс Голкомб хотелось выяснить, почему это жалкое существо пытается ввести всех в заблуждение.

Хотя в письме графа Фоско к мистеру Фэрли не ука-

зывался адрес лечебницы, это важное препятствие не затруднило мисс Голкомб. Анна Катерик во время своего свидания на кладбище в Лиммеридже с Уолтером Хартрайтом сказала ему, где находится ее больница. Мисс Голкомб тогда же записала этот адрес в своем дневнике вместе с другими подробностями этого свидания в точности так, как слышала о нем из собственных уст Уолтера Хартрайта. Она просмотрела дневник, выписала адрес и, взяв с собой вместо рекомендации, которая могла бы ей понадобиться, письмо графа Фоско к мистеру Фэрли, отправилась одна в лечебницу.

В ночь на одиннадцатое октября она прибыла в Лондон. Она намеревалась заночевать у старой гувернантки леди Глайд. Но миссис Вэзи так разволновалась и расстроилась при виде ближайшей подруги и сестры своей горячо любимой, недавно умершей воспитанницы, что мисс Голкомб решила не оставаться у нее, а сняла на ночь номер в одном почтенном отеле, рекомендованном ей замужней сестрой миссис Вэзи. На следующее утро она поехала в лечебницу, находившуюся неподалеку от Лондона, на севере от столицы.

Ее немедленно провели к директору (он же владелец) лечебницы для умалишенных.

Сначала он, казалось, был решительно против того, чтобы она повидала его пациентку. Но когда она показала ему приписку к письму графа Фоско и напомнила ему, что она та самая мисс Голкомб, о которой там упоминалось, а кроме того, ближайшая родственница покойной леди Глайд и по семейным причинам, естественно, интересуется заблуждением Анны Катерик и присвоением ею имени своей умершей сестры, тон и манеры директора лечебницы изменились, и он больше ей не препятствовал. Очевидно, он почувствовал, что при данных обстоятельствах отказ его будет не только невежливым, но может вызвать сомнения в порядках лечебницы и содержании его пациенток, и поэтому решил показать, что уважаемые посторонние лица могут беспрепятственно посещать его учреждение.

У самой мисс Голкомб создалось впечатление, что директор лечебницы отнюдь не был посвящен в планы сэра Персиваля и графа Фоско. Доказательством этого было то, что он все же согласился на ее свидание с Анной Катерик, а кроме того, охотно рассказал ей о вторичном

поступлении в лечебницу прежней его пациентки, чего, конечно, не сделал бы, если бы был сообщником сэра Персиваля и графа.

Он рассказал мисс Голкомб, что Анну Катерик привез обратно к нему с необходимыми медицинскими свидетельствами и документами сам граф Фоско 27 июля вместе с объяснительным письмом и просьбой принять ее в лечебницу от сэра Персиваля. Принимая больную обратно, директор лечебницы заметил в ней некоторую любопытную перемену. За долгие годы своей профессии он знал, что с душевнобольными иногда такие перемены бывают. Они могут чувствовать себя то хуже, то лучше. Соответственно с этим их внутреннее состояние отражается на их внешности. Не удивила его и не вызвала никакого подозрения также и новая мания Анны Катерик, вследствие которой изменились ее манеры и речь. Но до сих пор ему иногда резко бросалась в глаза некоторая разница между его пациенткой до того, как она убежала из лечебницы, и той же пациенткой, когда ее привезли обратно. Разница была в мелочах, трудно было передать ее словами. Он, конечно, не говорил, что она была теперь другого роста или что у нее был другой цвет глаз, волос, кожи, другой овал лица,— он скорее чувствовал, чем видел, какую-то перемену в ней. В общем, случай был интересным с самого начала, а теперь временами был просто загадочным.

Нельзя сказать, чтоб разговор этот хотя бы частично подготовил мисс Голкомб к тому, что за ним последовало. Однако он произвел на нее сильное впечатление. Она так разволновалась, что ей пришлось подождать и несколько успокоиться, прежде чем она смогла собраться с силами и проследовать за директором лечебницы в ту часть здания, где находились больные.

Выяснилось, что Анна Катерик совершает в это время прогулку в парке при лечебнице. Одна из сиделок согласилась провести туда мисс Голкомб, а директор остался, чтобы заняться одной из больных, обещав потом прийти в парк к мисс Голкомб.

Сиделка провела мисс Голкомб в глубину красивого парка, а потом свернула на обрамленную кустарником аллею, ведущую к группе деревьев. Навстречу им медленно шли какие-то две женщины. Сиделка показала на них и сказала:

— Вот Анна Катерик, мэм, в сопровождении служительницы, которая за ней смотрит. Служительница ответит на все интересующие вас вопросы.

С этими словами сиделка вернулась обратно в лечебницу, к своим непосредственным обязанностям.

Мисс Голкомб и женщины шли друг другу навстречу. Когда между ними осталось всего несколько шагов, одна из женщин остановилась, вгляделась в незнакомую даму, вырвала руку от служительницы и бросилась в объятия мисс Голкомб. В этот миг мисс Голкомб узнала свою сестру, узнала заживо погребенную...

По счастью, никто, кроме служительницы, при этом не присутствовал. Служительница, молодая женщина, была так изумлена происшедшим, что сначала не могла двинуться с места. Когда она очнулась от изумления, ей

пришлось оказать помощь мисс Голкомб, которая упала в обморок от пережитого потрясения. По истечении нескольких минут свежий воздух вернул мисс Голкомб прежние силы и энергию, и она поняла, что должна сосредоточиться только на том, как помочь своей несчастной сестре.

Она добилась разрешения поговорить с больной наедине при условии, что они обе все время будут на глазах у служительницы. Времени для расспросов не было, его хватило только на то, чтобы убедить несчастную леди Глайд в необходимости держать себя в руках и уверить ее в немедленной помощи, если она будет вести себя так, чтобы не возбудить никаких подозрений. Надежда на то, что ей наконец удастся покинуть лечебницу, если она будет беспрекословно слушаться указаний своей сестры, была достаточной, чтобы успокоить леди Глайд и заставить ее понять, как именно она должна себя вести. Вслед за этим мисс Голкомб вернулась к служительнице, вложила ей в руку все деньги, которые были при ней — три соверена,— спросила, когда и где она и служительница смогут поговорить наедине.

Женщина сначала была очень напугана и ничего не хотела слушать. Но когда мисс Голкомб уверила ее, что хочет всего только задать ей несколько вопросов, чего не может сделать сейчас, ибо слишком взволнована, и не имеет никакого намерения совращать служительницу с пути истины и уговарить ее нарушить свой долг, та взяла деньги и обещала встретиться с мисс Голкомб назавтра в три часа дня. Она сможет уйти на полчаса, после того как больные пообедают, и будет ждать мисс Голкомб в укромном месте, за высокой стеной, окружавшей парк и лечебницу. Мисс Голкомб успела только согласиться на это и шепнуть своей сестре, что на следующий день они увидятся, как к ним подошел директор лечебницы. Он заметил взволнованность посетительницы, но она сослалась на то, что свидание с Анной Катерик очень ее расстроило. Затем мисс Голкомб поспешила уйти как можно скорее, вернее — как только нашла в себе достаточно сил, чтобы расстаться со своей несчастной сестрой. Когда способность размышлять вернулась к ней, мисс Голкомб поняла, что всякая попытка установить личность леди Глайд и освободить ее из сумасшедшего дома законным путем приведет к промедлению, которое

может оказаться роковым для рассудка ее сестры, уже частично расстроенного тем ужасным положением, в котором она находилась. К тому времени, когда мисс Голкомб вернулась в Лондон, она твердо решила вызволить леди Глайд из сумасшедшего дома с помощью служительницы.

Она сейчас же отправилась к биржевому маклеру и реализовала свое небольшое состояние, получив около семисот фунтов наличными. Она была готова отдать все, что имела, за освобождение сестры.

На следующий день, взяв с собой все деньги, она поехала на назначенное ей свидание за стенами лечебницы.

Служительница уже ждала ее. После предварительных расспросов мисс Голкомб осторожно навела разговор на нужную ей тему. Между прочим, служительница рассказала ей, что сиделка, на попечении которой была прежняя, то есть настоящая Анна Катерик, пострадала из-за ее побега — хотя и была к нему совершенно непричастна,— лишившись своего места. То же самое должно было случиться и с ней, если Анна Катерик снова убежит. А она, то есть теперешняя служительница, крайне нуждалась в своей работе по следующей причине: у нее был жених, и они откладывали день свадьбы, пока не накопят достаточно денег, двести — триста фунтов, чтобы открыть мелочную лавочку. Молодая женщина получала хорошее жалованье в лечебнице, была очень экономна и надеялась года через два скопить нужную ей сумму.

Тут-то мисс Голкомб и решила переговорить со служительницей с полной откровенностью. Она заявила, что мнимая Анна Катерик в действительности ее родственница, попавшая в лечебницу по роковой случайности, и что служительница совершит доброе, богоугодное дело, если поможет им. Прежде чем та успела возразить, мисс Голкомб вынула из своего кошелька четыре бумажки по сто фунтов каждая и предложила их этой женщине как вознаграждение за потерю службы в лечебнице.

Крайне удивленная всем этим, служительница заколебалась. Она была очень встревожена. Но мисс Голкомб настойчиво уговаривала ее.

— Вы сделаете доброе дело,— повторяла она.— Вы поможете самой обездоленной и несправедливо обиженной женщине на свете. Вот деньги на вашу свадьбу — это ваше вознаграждение. Приведите сюда ко мне мою сестру, и эти деньги будут в ваших руках.

— А вы дадите мне письмо, удостоверяющее, откуда у меня деньги, чтобы я могла показать его моему жениху, если он спросит, где я их достала? — спросила служительница.

— Я напишу и принесу с собой такое письмо,— отвечала мисс Голкомб.

— Тогда я попробую,— сказала служительница.

— Когда?

— Завтра.

Они поспешили условиться, что мисс Голкомб вернется завтра утром и будет ждать, спрятавшись за деревьями и держась поближе к северной части стены. Назначить точный час своего появления служительница не могла. Осторожность требовала, чтобы она не торопилась, а действовала, смотря по тому, как сложится обстановка. На этом они расстались.

На следующий день, около девяти часов утра, мисс Голкомб была в условленном месте с обещанным письмом и деньгами. Она прождала почти полтора часа. Наконец служительница торопливо вышла из-за угла, ведя за руку леди Глайд. Как только они встретились, мисс Голкомб отдала служительнице деньги и письмо. Сестры вновь были вместе.

У служительницы явилась счастливая мысль надеть на леди Глайд, из предосторожности, свой собственный капор, вуаль и платок. Мисс Голкомб посоветовала служитель-

нице, как лучше поступить, когда побег будет обнаружен, чтобы розыски были предприняты в ложном направлении. Вернувшись в лечебницу, служительница должна была во всеуслышание рассказать остальным сиделкам, что последнее время Анна Катерик часто спрашивала о расстоянии от Лондона до Хемпшира. Дождавшись последней минуты перед тем, как побег Анны Катерик будет неизбежно открыт, она должна была сама поднять тревогу и тем самым отвести от себя подозрение в причастности к этому побегу. Директор лечебницы, узнав, что Анна Катерик справлялась о Хемпшире, по всей вероятности, решит, что его пациентка, воображая себя леди Глайд, вернулась в Блекуотер-Парк. Поэтому искать ее сначала будут именно там.

Служительница согласилась на это предложение. Оставаясь все время на глазах у других, она тем самым доказывала свою непричастность к побегу, за который ей грозили последствия, возможно более серьезные, чем просто потеря места. Поэтому, не мешкая больше, она вернулась в лечебницу, а мисс Голкомб повезла свою сестру в Лондон. Днем им удалось беспрепятственно сесть на поезд, и в ту же ночь они прибыли в Лиммеридж.

По дороге, когда они остались одни в купе, мисс Голкомб удалось путем расспросов связать в одно целое отрывки воспоминаний леди Глайд. Та сохранила очень смутное и неясное представление о том, что с ней произошло, и рассказала свою ужасную историю отрывочно, непоследовательно и бессвязно. Несмотря на это, мы должны воспроизвести здесь ее рассказ, прежде чем опишем, что случилось на следующий день в Лиммеридже.

Воспоминания леди Глайд о событиях, последовавших после ее отъезда из Блекуотер-Парка, начинались с момента ее прибытия на вокзал в Лондоне. Ей, конечно, не пришло в голову предварительно записать, какого числа она выехала. Все надежды на уточнение этой важной даты с помощью леди Глайд или миссис Майклсон были потеряны.

Когда поезд подошел к платформе, леди Глайд увидела встречавшего ее графа Фоско. Как только кондуктор открыл двери купе, граф очутился перед нею. Пассажиров было больше, чем обычно, и поэтому получить багаж было довольно затруднительно. Человек, сопровождавший

графа Фоско, принес вещи леди Глайд. На чемоданах была ее фамилия. Она уехала вместе с графом в карете, на которую в тот момент не обратила внимания.

Покинув вокзал, она прежде всего спросила графа о мисс Голкомб. Граф отвечал, что мисс Голкомб еще не уехала в Кумберленд, так как он отсоветовал ей пускаться в дальний путь, пока она хорошенько не отдохнет.

Затем леди Глайд спросила его, находится ли мисс Голкомб сейчас в его доме. Ответ его она припоминала очень смутно, но отчетливо помнила, что граф уверял ее, что везет ее к мисс Голкомб. Леди Глайд очень плохо знала Лондон и не могла сказать, по каким улицам они тогда ехали. Но они не выезжали за город и не проезжали ни парков, ни деревьев. Карета остановилась в каком-то переулке, неподалеку от сквера, где было много магазинов и множество народу. Из этих воспоминаний, в точности которых леди Глайд была уверена, было совершенно ясно, что граф вез ее не в свою резиденцию в Сент-Джонз-Вуде.

Они вошли в дом и поднялись наверх в заднюю комнату то ли на первом, то ли на втором этаже. За леди Глайд внесли ее вещи. Двери им открыла служанка. Человек с черной бородой, по виду иностранец, очень вежливо встре-

тил их в холле и провел наверх. В ответ на вопросы леди Глайд граф заявил, что мисс Голкомб находится в этом же доме — ее немедленно известят о прибытии сестры. Он и иностранец вышли из комнаты и оставили леди Глайд одну. Комната была очень бедно обставлена и выходила окнами на задний двор.

В доме было удивительно тихо, она не слышала шагов по лестнице, только откуда-то снизу глухо доносились мужские голоса. Она оставалась одна непродолжительное время. Граф вернулся и сказал, что мисс Голкомб легла отдохнуть и беспокоить ее сейчас не следует. Он был в сопровождении какого-то человека, англичанина, которого он попросил разрешения представить ей как своего друга.

После этой неожиданной просьбы он познакомил их, но, насколько она могла припомнить, не называя имен, затем оставил леди Глайд одну с этим человеком. Тот был очень вежлив, но удивил и смутил ее своими странными расспросами о ней самой и тем, что как-то очень пристально ее разглядывал. Он пробыл с ней короткое время и ушел. Минуты через две в комнату вошел другой незнакомец, тоже англичанин. И этот человек представился ей в качестве друга графа Фоско и, со своей стороны, стал ее разглядывать и задал ей несколько странных вопросов, ни разу, насколько она могла припомнить, не назвав ее по имени. Затем он ушел. К этому времени она была так напугана и так тревожилась за свою сестру, что решила сойти вниз и обратиться за помощью к единственной женщине, которую видела в этом доме,— к служанке, открывшей им входную дверь.

Но как только она встала со стула, вошел граф.

Она сейчас же взволнованно спросила его, когда же наконец она увидит сестру. Сначала он уклонялся от прямого ответа, а затем с видимой неохотой признался, что мисс Голкомб далеко не так хорошо себя чувствует, как он ей раньше говорил. Его тон и манеры во время этого разговора так испугали леди Глайд, вернее, так усилили тревогу, которую она все время чувствовала, особенно после странной встречи с двумя незнакомцами, что ей стало нехорошо, она попросила воды. Граф выглянул за дверь и приказал принести стакан воды и флакон с нюхательной солью. Их принес человек с бородой. Вода, которую попробовала выпить леди Глайд, была

горьковатой на вкус. Ей стало хуже. Она схватила флакон и понюхала. У нее закружилась голова. Граф подхватил флакон, выпавший из ее рук, и последнее, что она помнила перед тем, как потеряла сознание,— граф снова поднес флакон к ее лицу.

Дальше ее воспоминания становились такими отрывочными и хаотичными, что разобраться в этой путанице было очень трудно.

Ей представлялось, что позднее вечером она пришла в себя и уехала, как намеревалась еще в Блекуотер-Парке, к миссис Вэзи. Она напилась там чаю и провела ночь под крышей у миссис Вэзи. Она совершенно не помнила, как, когда и с кем она покинула дом, в который ее привез граф Фоско, но настойчиво твердила, что ночевала у миссис Вэзи. Самым удивительным было, что, по ее словам, ей помогла раздеться и лечь в постель миссис Рюбель. О чем они с миссис Вэзи разговаривали и кого еще она видела, помимо этой дамы, и почему миссис Рюбель оказалась там, она совершенно не помнила.

Еще более беспорядочными и неправдоподобными были ее воспоминания о том, что произошло на следующее утро.

Ей смутно припоминалось, что она куда-то поехала (в каком часу это было, она сказать не могла) с графом Фоско и снова с миссис Рюбель в качестве его помощницы. Но как и почему она рассталась с миссис Вэзи, она не знала; не знала, в каком направлении ехала их карета, где они остановились и были ли в это время граф и миссис Рюбель вместе с ней. На этом ее печальная история заканчивалась. Дальше следовал полный провал памяти. У нее не осталось никаких, даже туманных впечатлений, она совсем не представляла себе, много ли дней прошло или всего один день, покуда вдруг она не очнулась в непонятном месте, окруженная совершенно незнакомыми ей женщинами.

Это был сумасшедший дом. Здесь она впервые услышала, как ее называют Анной Катерик. Одна из любопытных подробностей этой истории состояла в том, что она своими собственными глазами увидела на себе одежду Анны Катерик. В первую же ночь в лечебнице служительница показала ей метки на ее белье и сказала добродушно:

— Посмотрите на ваше собственное имя на этой одежде и перестаньте надоедать всем нам, что вы леди Глайд.

Она мертва и в могиле, а вы живы и здоровы. Взгляните сюда! Вот ваша метка, вы найдете ее на всех своих старых вещах, которые мы сохранили: «Анна Катерик» — черным по белому!

Эту метку увидела и мисс Голкомб на белье своей сестры, когда они прибыли в Лиммеридж.

Эти смутные, иногда противоречивые воспоминания леди Глайд были единственным ответом на осторожные расспросы ее сестры по дороге в Кумберленд. Мисс Голкомб остерегалась спрашивать о том, что произошло в лечебнице. Она понимала, что рассудок ее сестры не выдержал бы этого испытания. По добровольному признанию директора лечебницы было известно, что она прибыла туда 27 июля. С этого числа до 15 октября (день ее освобождения) она была под постоянным надзором, ей систематически внушали, что она Анна Катерик, и категорически отрицали, что она нормальный человек, искренне принимая ее за душевнобольную. Любой человек с менее впечатлительной нервной системой, физически более крепкий и здоровый, невыносимо страдал бы от такого тяжкого испытания. Никто не смог бы пройти через все это и сохранить душевное равновесие.

Приехав поздно вечером в Лиммеридж, мисс Голкомб мудро решила не предпринимать попыток сразу же установить личность леди Глайд, а подождать до завтра.

Наутро она первым долгом отправилась к мистеру Фэрли и, подготовив его, со всеми предосторожностями рассказала ему обо всем случившемся. Как только он оправился от своего ужаса и изумления, он гневно заявил, что мисс Голкомб позволила Анне Катерик одурачить себя. Он сослался на письмо графа Фоско и на собственные слова мисс Голкомб, которая раньше говорила, что между Анной Катерик и его покойной племянницей существовало поразительное сходство, и наотрез отказался хоть на минуту повидать эту сумасшедшую, появление которой в его доме было само по себе оскорбительным и недопустимым.

Мисс Голкомб вышла от него, переждала, пока первый припадок его гнева прошел, и, считая, что во имя простого человеколюбия мистер Фэрли должен повидать свою племянницу, прежде чем закроет перед нею двери ее собственного дома, без всякого предупреждения ввела леди Глайд к нему в комнату. Камердинер преградил им дорогу,

но мисс Голкомб прошла мимо, ведя за руку свою сестру, и предстала с ней перед мистером Фэрли.

Сцена, последовавшая за этим, хотя и продолжалась всего несколько минут, не поддается описанию. Мисс Голкомб сама уклонялась от воспоминаний о ней. Скажем только: мистер Фэрли самым категорическим образом заявил, что не узнаёт женщину, которую к нему привели; в ее лице и манерах нет ничего общего с его племянницей, покоящейся на лиммериджском кладбище, и он обратится к законным властям, если самозванку немедленно не удалят из его дома.

Как бы неприязненно мы ни относились к эгоизму, черствости и полному отсутствию человечности у мистера Фэрли, все-таки совершенно немыслимо допустить, чтобы он сознательно совершил подлость, притворившись, что не узнаёт дочь своего родного брата. Как справедливо и разумно сочла мисс Голкомб, ужас и предубеждение помешали ему увидеть, что перед ним его родная племянница. Но когда затем она подвергла испытанию слуг, ей пришлось убедиться, что все они, без единого исключения, не уверены, чтобы не сказать больше, является ли леди, которую им показали, действительно их молодой хозяйкой или же Анной Катерик, ибо и раньше знали об их сходстве. Мисс Голкомб пришлось прийти к грустному выводу, что потрясения, пережитые леди Глайд, изменили ее внешность гораздо значительнее, чем это казалось самой мисс Голкомб. Гнусный обман, посредством которого леди Глайд выдали за мертвую, проник в дом, где она родилась, и вводил в заблуждение даже тех, среди которых она ранее жила.

Несмотря на все это, положение, безусловно, не было вполне безнадежным.

Например, ее горничная Фанни, которой в это время не было в Лиммеридже, через день-два должна была вернуться. Будучи постоянно при леди Глайд и любя свою госпожу больше, чем другие слуги, она, весьма возможно, узнала бы ее. К тому же леди Глайд могла временно остановиться если не у себя в доме, то у кого-нибудь в деревне и подождать, пока ее здоровье и душевное равновесие настолько поправятся, что она станет более похожа на себя. Когда ее память восстановится, она, естественно, сможет говорить о своем прошлом в таких подробностях, о которых самозванка не имела бы и по-

нятия. Таким образом, с течением времени ее тождественность будет установлена и доказана.

Но обстоятельства, при которых она вновь обрела свободу, делали все это практически невыполнимым. После Блекуотер-Парка ее непременно станут искать в Лиммеридже. Люди, которым было поручено найти беглянку, могли появиться здесь через несколько часов, а мистер Фэрли был теперь в таком настроении, что они могли вполне рассчитывать на его поддержку и влияние на местные власти, чтобы помочь им задержать «Анну Катерик».

По этим соображениям мисс Голкомб вынуждена была немедленно увезти леди Глайд из ее собственного имения, где она подвергалась наибольшей опасности быть задержанной.

Разумнее и правильнее всего было немедленно вернуться в Лондон. Их следы надежно и быстро затеряются в лабиринте огромного города. Приготовлений к отъезду не требовалось, прощаться было не с кем. В этот памятный день мисс Голкомб убедила сестру собрать остатки мужества и сделать над собой последнее усилие. Никто не сказал им доброго слова на прощание, когда они вдвоем пустились в путь и навсегда расстались с Лиммериджем.

Они проходили через холмы, лежавшие за кладбищем, когда леди Глайд стала настойчиво просить сестру вернуться, чтобы попрощаться с могилой матери. Мисс Голкомб пробовала возражать, но безуспешно. Ей не удалось поколебать решение своей сестры. Та была непреклонна. Ее тусклый взгляд загорелся внутренним огнем, ее исхудавшие пальцы, перед этим безжизненно лежавшие в руке сестры, с силой сжали эту дружественную руку. Я верю, что перст божий указывал им обратный путь,— самая несчастная и обездоленная из людей почувствовала и поняла это.

Они повернули обратно к кладбищу и тем самым навсегда связали в одно наши три судьбы.

III

Такова была эта история, насколько мы знали ее тогда. Мне стало ясно, когда мне ее рассказали, что два неизбежных вывода напрашиваются сами собой. Во-первых,

хоть и смутно, но я уже понимал, как было задумано и осуществлено это злодеяние, как подстерегали каждую возможность для претворения его в жизнь, как были подтасованы факты, чтобы обеспечить полную безнаказанность этого дерзкого и запутанного преступления. В то время как отдельные его подробности все еще оставались для меня загадкой, мне было совершенно ясно, как гнусно, как страшно было использовано сходство между женщиной в белом и леди Глайд.

Анна Катерик была в доме графа под видом леди Глайд, леди Глайд заняла место умершей Анны Катерик в лечебнице для умалишенных. Все было подстроено таким образом, чтобы совершенно невиновные и непричастные люди (какими, бесспорно, были доктор, две служанки и, вероятно, директор лечебницы) оказались соучастниками этого преступления.

Второй вывод являлся следствием первого. Всем троим нам не приходилось ждать пощады от графа Фоско и сэра Персиваля Глайда. Успешное осуществление их гнусного замысла принесло этим двум злодеям чистую прибыль в тридцать тысяч фунтов — двадцать тысяч одному, а другому, через его жену, мадам Фоско,— десять тысяч. В силу этого, а также и по многим другим причинам они, вне всякого сомнения, были крайне заинтересованы в том, чтобы их преступление не было раскрыто. Они, бесспорно, ни перед чем не остановятся, пойдут на любую низость, чтобы доискаться, где скрылась их жертва, и разлучить ее с единственными ее друзьями на свете — с Мэриан Голкомб и со мной.

Отдавая себе ясный отчет в этой опасности — опасности, возраставшей с каждым днем,— я тщательно обдумал, где нам лучше всего укрыться. Я решил поселиться в восточной части Лондона, самой деловой и многолюдной. Я выбрал самый бедный и перенаселенный квартал, ибо чем напряженнее кипела вокруг нас борьба за кусок хлеба, тем меньше было риска, что досужие бездельники обратят внимание на новых людей, поселившихся среди них. Вот преимущество, которого я искал. Кроме того, наш квартал был выгоден для нас еще и в другом, не менее важном отношении. Там, зарабатывая себе на жизнь, мы могли жить дешевле, имели возможность экономить каждую копейку для достижения нашей цели, справедливой цели, к которой

я теперь неуклонно стремился: исправить страшное злодеяние и восстановить попранные права Лоры.

Через неделю Мэриан Голкомб и я установили ежедневный порядок, в котором должна была протекать наша жизнь.

Кроме нас, других квартирантов в доме не было. У нас был отдельный вход, нам не приходилось проходить через лавку. Мы условились, что ни Мэриан, ни Лора не сделают ни шагу из дому без меня. В мое отсутствие они ни в коем случае не должны впускать к себе кого бы то ни было. Незыблемо установив это правило, я отправился к человеку, которого знал в прошлом,— к граверу по дереву с большой практикой,— и попросил у него работы. Я сказал ему, что в силу некоторых причин мне не хотелось бы предавать огласке наши с ним деловые отношения.

Он сейчас же предположил, что я запутался в долгах, выразил мне свое сочувствие и обещал сделать для меня все возможное. Я не стал разубеждать его и усердно принялся за работу, которую он сразу же дал мне. Он знал, что может положиться на мою опытность и трудолюбие. Я обладал тем, чего он искал,— усидчивостью и способностями.

Хотя заработок мой был небольшим, его хватало на наши насущные потребности. Как только мы уверились в этом, Мэриан Голкомб и я подсчитали наши ресурсы. У нее оставалось двести или триста фунтов, у меня было около того. Наш общий капитал превышал четыреста фунтов. Я положил это маленькое богатство в банк, чтобы тратить из него только на необходимые розыски и расследования, которые я решил начать и довести до конца, даже если бы мне пришлось действовать в одиночку, без всякой помощи со стороны кого бы то ни было. Мы рассчитали наши ежедневные расходы и никогда не дотрагивались до нашего фонда, иначе как только в интересах Лоры и для нее.

Домашняя работа, которую делала бы служанка, если бы мы могли кому-нибудь довериться, была полностью возложена на Мэриан Голкомб. Она сама заявила в первый же день, что берет ведение нашего хозяйства на себя.

— Все, что могут делать женские руки,— сказала она,— научатся вот эти,— и протянула мне свои дрожащие от слабости руки.

Когда она завернула рукава бедного, поношенного платья, которое из предосторожности носила теперь, ее изможденные руки засвидетельствовали, как много ей пришлось пережить. Но неугасимый дух по-прежнему жил в этой женщине. Две крупных слезы медленно покатились по ее щекам, когда она посмотрела на меня. Но она смахнула их с намеком на прежнюю энергию и жизнерадостность и улыбнулась мне. Увы, это было лишь слабым отражением ее прежней искрометной улыбки.

— Не сомневайтесь в моем мужестве, Уолтер,— сказала она.— Плачет мое малодушие, а не я сама. Домашняя работа излечит его, вот посмóтрите!

И она сдержала слово. Когда мы встретились к вечеру и она присела отдохнуть, победа была одержана. Ее большие черные глаза, умные и блестящие, взглянули на меня по-старому.

— Горе меня еще не сломило,— сказала она,— поверьте, я смогу выполнить свою часть работы.— И не успел я ответить, как она прибавила шепотом: — Верьте, что на меня можно возложить часть риска и опасностей. Вспомните об этом, когда настанет время и моя помощь вам понадобится.

Я вспомнил об этом, когда настало время.

К концу октября течение нашей жизни вошло в русло и все трое мы были так надежно затеряны и спрятаны, как будто дом наш стоял на одиноком,

безлюдном острове, а огромный путаный лабиринт улиц и бесчисленное количество людей, окружавших нас, были водами бескрайнего океана. У меня оставалось теперь немного свободного времени, чтобы поразмыслить над планом моих будущих действий и над тем, как должен я вооружиться в предстоящей борьбе с сэром Персивалем и графом.

Опираться на мое и Мэриан свидетельство для установления личности Лоры было безнадежно. Если бы мы любили ее менее горячо, если б наша любовь не была несравненно проницательнее нашего рассудка, даже мы, пожалуй, не узнали бы ее с первого взгляда.

Изменение, которое претерпела ее внешность из-за страданий и ужасов прошлого, необычайно, почти безнадежно усилило ее сходство с Анной Катерик. Когда я рассказывал о своем пребывании в Лиммеридже, я упомянул о том, как непохожи были они в каких-то неуловимых мелочах, хотя на первый взгляд их сходство и тогда было необычайным. Но в те дни ни один человек, увидев их рядом, не мог бы спутать их друг с другом, как часто путают близнецов. Теперь это было не так. Страдания и лишения наложили свою неизгладимую печать на юную красоту ее лица. Роковое сходство, которое я когда-то с ужасом заметил, было теперь более чем сходством — живым отражением, возникавшим перед моими глазами. Посторонние люди, знакомые, даже друзья, которые не могли видеть ее через призму нашей беспредельной любви, вправе были сомневаться в том, что она — Лора Фэрли, которую они когда-то знали.

Вначале я возлагал все упования на единственное, что могло бы помочь нам: я надеялся, что она вспомнит людей и события, знать которые могла только подлинная Лора Фэрли, но эта надежда оказалась несбыточной, как нам с Мэриан с грустью пришлось убедиться в дальнейшем. Мы поняли, что попытка вернуть ее к воспоминаниям об ужасном и тягостном прошлом грозит ей полной потерей рассудка и идет вразрез с нашими непрестанными заботами о ее скорейшем выздоровлении, с заботами о том, как привести в равновесие ее расстроенное сознание.

Мы осмеливались напоминать ей только о повседневных домашних событиях нашего безоблачного прошлого в Лиммеридже, когда я впервые приехал туда учить ее

рисованию. Тот день, когда я пробудил эти воспоминания, показав ей рисунок летнего домика, который она когда-то подарила мне и с которым я никогда не расставался, был днем рождения нашей первой надежды. С нежностью, очень бережно мы постепенно начали пробуждать в ней

память о старых поездках и прогулках, и печальные, молящие, усталые глаза начали смотреть на меня и Мэриан с новым интересом, с новой осмысленностью, которыми мы с этой минуты так дорожили и которые так берегли. Я купил ей коробку красок и альбом, похожий на тот альбом для рисования, который был у нее в руках, когда я впервые ее увидал.

Снова — о господи, снова! — в свободные от работы часы я сидел подле нее в нашей бедной комнате, выправляя при тусклом лондонском освещении кривые, спотыкающиеся линии, которые она пыталась провести на бумаге своей слабой, неуверенной рукой. День за днем пробуждался и рос ее интерес к этому занятию. Постепенно она начала думать о рисунках, говорить о них и терпеливо рисовать — с тем слабым отблеском прежней радости от моих похвал и собственных успехов, которая принадлежала прошлой ее жизни, напоминала об утерянном счастье минувших дней.

Мы помогали ей выздороветь с помощью простых, непритязательных средств. Мы брали ее на прогулки в хорошую погоду и гуляли в тихом старом сквере неподалеку от дома, где не было ничего, что могло бы растревожить и испугать ее; мы тратили немного денег из фонда в банке, чтобы покупать ей вино и необходимое ей хорошее питание; мы развлекали ее по вечерам детскими играми в карты и книгами с картинками, которые я брал у моего хозяина, гравера. Всем этим и другими подобными забавами мы успокаивали ее, укрепляли ее душевные силы, и не переставая надеялись, и всем сердцем любили ее, никогда не отчаиваясь вернуть ей прежнее счастье и прежнее имя. Но безжалостно вырвать ее из спокойного уединения, поставить ее лицом к лицу с посторонними, чужими людьми или со знакомыми, которые были почти чужими, напомнить ей горестные впечатления ее прошлого, которых мы так тщательно избегали, даже если это и было в ее интересах, мы не решались. Каких бы жертв это ни стоило, как бы долго ни пришлось этого ждать, зло, которое ей причинили, надо было исправить помимо нее, без ее помощи, оберегая ее от каких бы то ни было новых потрясений.

Решение мое было принято. Надо было подумать, как его осуществить.

Посоветовавшись с Мэриан, я решил собрать как можно

больше фактов и затем обратиться к мистеру Кирлу (зная, что ему можно довериться) за советом: можем ли мы рассчитывать, что закон будет на нашей стороне. Я не имел права рисковать всем будущим Лоры, действуя по собственному усмотрению. Если была хоть малейшая возможность, надо было заручиться чьей-то надежной помощью.

Прежде всего я почерпнул сведения из дневника, который Мэриан Голкомб вела в Блекуотер-Парке. В нем были строки, относящиеся ко мне. Ей не хотелось, чтобы я читал их. Она сама читала мне свой дневник, а я записывал нужные мне факты. Мы могли заниматься этим только поздно вечером. Три вечера были посвящены этому занятию. Я узнал все, что могла рассказать Мэриан.

Затем я решил собрать все дополнительные факты, какие мог получить от других, не возбуждая при этом подозрений. Я поехал к миссис Вэзи с целью проверить, правда ли, что Лора ночевала у нее. Принимая во внимание возраст и бесхитростность миссис Вэзи, я из предосторожности скрыл от нее положение, в котором мы находились, и говорил о Лоре как о «покойной леди Глайд».

Ответы миссис Вэзи только подтвердили мое раннее предположение. Лора написала своей старой гувернантке, что будет ночевать у нее, но в действительности не ночевала.

В данном случае, как и во многих других, она ошибочно принимала свое намерение сделать что-то или поступить так-то за реальные факты, на самом деле не имевшие места. Объяснить причину такого разрыва между ее путаными представлениями и действительностью было нетрудно, но это несоответствие могло серьезно повредить нам. Противоречивость ее показаний в самом начале подорвала бы доверие к ней и сыграла бы роковую роль в исходе судебного процесса.

Когда я попросил показать мне письмо, которое Лора написала миссис Вэзи из Блекуотер-Парка, мне дали его без конверта, уничтоженного задолго до этого. В самом письме никаких дат не упоминалось, не было проставлено даже дня недели. Оно содержало только следующие строки:

«Дорогая моя миссис Вэзи, я в большой тревоге и волнении. Может быть, я приеду к Вам завтра вечером

и попрошусь переночевать. Я не могу рассказать Вам в письме, что случилось,— я пишу и очень боюсь и не могу ни на чем сосредоточиться. Пожалуйста, будьте дома, когда я приеду. Я обниму и расцелую Вас и все расскажу Вам. Ваша любящая Лора».

Чем могли помочь нам эти строки? Ничем.

Возвратившись от миссис Вэзи, я попросил Мэриан обратиться (соблюдая все те же предосторожности) к миссис Майклсон. Мэриан должна была ей написать, что, имея серьезные причины сомневаться в добропорядочности графа Фоско, она просит домоправительницу прислать ей краткий отчет о событиях, имевших место в Блекуотер-Парке, с целью установить истинные факты. Пока мы ждали ответа, который пришел через неделю, я поехал к доктору Гудрику в Сент-Джонз-Вуд как посланец от мисс Голкомб, чтобы собрать как можно больше подробностей о последней болезни «ее сестры», чего не мог сделать из-за недостатка времени мистер Кирл. С помощью мистера Гудрика я получил копию акта о смерти леди Глайд и повидался с женщиной (Джейн Гулд), которая приготовила тело умершей для погребения. Через нее я получил возможность встретиться со служанкой Эстер Пинхорн. Та недавно ушла от графини Фоско, повздорив со своей хозяйкой, и жила у знакомых миссис Гулд. Я получил отчеты от домоправительницы, от доктора Гудрика, Джейн Гулд и Эстер Пинхорн в таком виде, как они представлены здесь.

Собрав сведения, описанные в этих документах, я счел себя достаточно подготовленным, чтобы поговорить с мистером Кирлом. Мэриан написала ему обо мне и указала день и час, когда я приду повидать его по важному личному делу.

Утром у меня было достаточно времени, чтобы повести Лору на обычную прогулку и, возвратившись, усадить ее за рисование. Когда я встал, чтобы уйти, она взглянула на меня с видимым волнением, и пальцы ее по-старому начали нервно перебирать лежащие на столе карандаши и кисти.

— Я вам еще не надоела? — сказала она.— Вы уходите не потому, что я вам надоела? Я постараюсь стать лучше — я постараюсь скорее выздороветь. Любите ли вы меня по-прежнему, Уолтер, теперь, когда я такая бледная и худая и так медленно учусь рисовать?

Она говорила, как ребенок, она по-детски открывала мне все свои мысли. Я остался на несколько минут и сказал ей, что теперь она мне еще дороже, чем была в прошлом.

— Постарайтесь стать снова здоровой,— сказал я, чтобы поддержать зародившуюся в ней новую надежду на будущее,— постарайтесь поскорее выздороветь ради меня и Мэриан.

— Да,— сказала она про себя, возвращаясь к своему рисованию,— я должна постараться. Ведь они оба так меня *любят*.— Она вдруг *подняла на меня глаза*: — Не уходите надолго! Когда вас нет, чтобы помочь мне, Уолтер, я ничего не могу нарисовать!

— Я скоро вернусь, дорогая, скоро вернусь и посмотрю, что у вас выходит.

Голос мой дрогнул помимо моей воли. Я заставил себя выйти из комнаты. Все мои душевные силы могли понадобиться мне в этот день.

Открыв двери, я сделал знак Мэриан, чтобы она вышла за мной на лестницу. Необходимо было подготовить ее к возможным неприятностям, которые могли случиться в результате того, что я слишком открыто показывался на улицах.

— По всей вероятности, через несколько часов я вернусь,— сказал я.— Никого не впускайте, как обычно. Если что-нибудь произойдет...

— Что может произойти? — перебила она.— Скажите мне откровенно, Уолтер, есть ли какая-нибудь опасность? Мне надо быть наготове.

— Единственная опасность,— отвечал я,— заключается в том, что, возможно, сэр Персиваль Глайд вернулся в Лондон, узнав об исчезновении Лоры из лечебницы. Вы помните, он следил за мной до моего отъезда из Англии и, очевидно, знает меня в лицо, хотя я его никогда не видел.

Она положила мне руку на плечо и молча, взволнованно поглядела на меня. Я увидел, что она полностью отдает себе отчет в серьезной опасности, которая нам *грозила*.

— Не думаю, что сэр Персиваль Глайд или его подручные скоро обнаружат меня в Лондоне. Но такая возможность имеется,— сказал я.— Поэтому вы не должны тревожиться, если сегодня я не вернусь. Вы успокоите

Лору под любым предлогом, правда? Если у меня будет малейшее подозрение, что за мной следят, я приму меры, и ни один сыщик не дойдет за мной до этого дома. Как бы долго я ни задержался, не сомневайтесь в моем возвращении, Мэриан, и не бойтесь никого.

— Никого! — отвечала она твердо.— Вы не пожалеете, Уолтер, что ваш единственный помощник — женщина.— Она помолчала и задержала меня еще на минуту.— Будьте осторожны! — сказала она, крепко сжимая мою руку.— Будьте осторожны!

Я *ушел на поиски нужных мне сведений* — в темный, опасный путь, который начинался у дверей конторы поверенного.

IV

Ничего особенного на моем пути в контору мистеров Гилмора и Кирла в Ченсери-Лейн не случилось.

Когда мистеру Кирлу отнесли мою визитную карточку, мне в голову пришло одно соображение, и я пожалел, что раньше не подумал о нем. Из записей Мэриан было совершенно ясно, что граф Фоско вскрыл ее письмо из Блекуотер-Парка к мистеру Кирлу и с помощью своей жены перехватил ее второе письмо к нему же. Поэтому граф прекрасно знал адрес конторы и хорошо понимал, что если Мэриан после побега Лоры из лечебницы будет нуждаться в совете и помощи, она обратится, конечно, к мистеру Кирлу. По распоряжению графа и сэра Персиваля первым долгом будет установлено наблюдение за конторой на Ченсери-Лейн. Если наблюдать будут те, кто следил за мной до отъезда из Англии, они сразу же узнают меня. Я допускал, что меня могут случайно выследить на улице, но мысль о риске, связанном с конторой, не приходила мне в голову. Исправлять эту ошибку было уже поздно — поздно было думать о том, что я мог условиться о встрече с поверенным в каком-нибудь другом месте. Мне оставалось только, покидая Ченсери-Лейн, принять необходимые предосторожности и *ни в коем случае не возвращаться домой прямым путем*.

Мне пришлось прождать несколько минут в передней. Затем меня провели в кабинет к мистеру Кирлу. Это был бледный, худой, сдержанный человек с внимательными

глазами, тихим голосом и спокойными манерами. Я сразу понял, что симпатии его завоевать нелегко, что вывести его из профессионального равновесия трудно и подкупить невозможно. Лучшего юриста для моих целей нельзя было и придумать. Если бы он пришел к решению, для нас благоприятному, мы могли бы с уверенностью считать, что выиграем наш процесс.

— Прежде чем я заговорю о делах, по которым я пришел к вам,— сказал я,— должен предупредить вас, мистер Кирл, что займу у вас довольно много времени.

— Мое время в распоряжении мисс Голкомб,— отвечал он.— Во всем, что касается ее дел, я заменяю в качестве поверенного своего компаньона, мистера Гилмора. Он сам просил меня об этом, когда вынужден был временно оставить практику.

— Разрешите спросить: мистер Гилмор в Англии?

— Нет, он живет у родственников в Германии. Его здоровье поправилось, но, когда он вернется, неизвестно.

Пока мы обменивались этими фразами, он рылся в бумагах, лежащих у него на столе, и наконец вынул и положил перед собой запечатанное письмо. Мне показалось, что он хочет протянуть его мне, но, почему-то передумав, он положил письмо на стол, уселся в кресло и стал молча ждать, что я ему скажу.

Не теряя времени, я рассказал о фактах, уже описанных на этих страницах.

Он был юристом до мозга костей, и все же я нарушил его профессиональную невозмутимость. Возгласы изумления, которые он не мог подавить, прерывали меня несколько раз. Под конец я задал ему главный вопрос:

— Что вы об этом думаете, мистер Кирл?

Он был слишком осторожен, чтобы ответить мне прямо, пока не соберется с мыслями.

— Прежде чем ответить,— сказал он,— я попрошу разрешения задать вам несколько вопросов, чтобы, так сказать, не плутать в лесу.

Его вопросы были острыми, подозрительными, недоверчивыми. Мне стало ясно, что он считает меня жертвой заблуждения и, если бы не рекомендательное письмо мисс Голкомб, готов был бы заподозрить меня в каком-то хитроумном мошенничестве.

— Вы верите, что я говорил вам правду, мистер

Кирл? — спросил я, когда он перестал экзаменовать меня.

— Что касается вашего собственного убеждения, я уверен, что вы говорите правду,— отвечал он.— Я питаю глубочайшее уважение к мисс Голкомб и потому уважаю и человека, которому она доверяет в таком серьезном деле. Я пойду даже дальше, если хотите, и соглашусь из вежливости, во избежание споров, что тождество этой женщины с леди Глайд неоспоримо для мисс Голкомб и для вас. Но вы пришли ко мне за юридическим советом. Как юрист, и только как юрист, я обязан сказать вам, мистер Хартрайт, что у вас нет ни малейших доказательств вашей правоты.

— Это сильно сказано, мистер Кирл.

— Я постараюсь, чтобы это было столь же ясно. Свидетельства о факте смерти леди Глайд совершенно удовлетворительны. Ее родная тетка свидетельствует, что она приехала к графу Фоско, заболела и умерла. Затем есть медицинское заключение о ее смерти, последовавшей в силу естественных причин. Есть факт похорон в Лимминдже и заключительное свидетельство — надпись на надгробном памятнике. Вот факты, которые вы хотите опровергнуть. Какие у вас есть доказательства, что личность, которая умерла и была похоронена,— не леди Глайд?

Рассмотрим основные пункты вашего заявления. Мисс Голкомб едет в некую частную лечебницу и видит там некую пациентку. Нам известны следующие неоспоримые факты: женщина по имени Анна Катерик, необыкновенно похожая на леди Глайд, убежала из лечебницы; особа, вторично принятая в лечебницу в июле, называется Анной Катерик; джентльмен, привезший ее туда, предупредил мистера Фэрли, что душевнобольная Анна Катерик выдает себя теперь за его умершую племянницу, и действительно она, Анна Катерик, постоянно утверждает в лечебнице (где ей никто не верит), что она леди Глайд. Вот факты. Что вы можете им противопоставить? То, что мисс Голкомб узнала в этой женщине свою сестру? Но дальнейшие события противоречат этому. Заявила ли мисс Голкомб владельцу лечебницы об установлении личности своей сестры и приняла ли законные меры, чтобы взять ее оттуда? Нет! Она тайно подкупила служительницу и устроила побег. Когда пациентку освободили таким

незаконным путем и привезли к мистеру Фэрли — узнал ли он ее? Усомнился ли хоть на одно мгновение в смерти своей племянницы? Нет. Узнали ли ее слуги? Нет. Осталась ли она по соседству с родным домом, чтобы добиться признания своей личности путем дальнейших доказательств? Нет. Ее тайно увозят в Лондон. За это время вы также узнали в ней леди Глайд, но вы не родственник — вы даже не старый друг ее семьи. Слуги свидетельствуют против вас; мистер Фэрли свидетельствует против мисс Голкомб, а предполагаемая леди Глайд дает самые противоречивые показания. Она заявляет, что провела ночь в некоем доме. Вы сами говорите, что она там не была. Вы сами заявляете, что ее душевное состояние не позволяет ей подвергаться какому-либо допросу со стороны судебных властей и самой доказать свою правоту. Я пропускаю некоторые подробности, чтобы не терять времени. Я спрашиваю вас: если бы дело пошло в суд, на рассмотрение присяжных, обязанных считаться с фактами, а не с предположениями, какие неопровержимые доказательства мы могли бы им представить?

Я молчал; мне надо было собраться с мыслями, прежде чем ответить ему. Впервые история Лоры и Мэриан предстала передо мной с точки зрения постороннего человека; впервые я по-настоящему осознал те бесчисленные препятствия, которые лежали на нашем пути.

— Факты в вашем изложении, бесспорно, против нас,— сказал я,— но...

— ...но вы считаете, что их можно объяснить и этим опровергнуть,— сказал мистер Кирл.— Разрешите сказать вам то, что я знаю по опыту. Когда английский суд стоит перед выбором между фактами и длинным объяснением этих фактов, он всегда предпочитает факты, а не объяснения. Например, леди Глайд (во избежание спора я называю этим именем даму, о которой вы пришли говорить со мной) заявляет, что ночевала в некоем доме, а доказано будет, что она там не ночевала. Вы объясняете это обстоятельство ее болезненным душевным состоянием, впадая, так сказать, в метафизику. Я не говорю, что ваше объяснение неправильно, но считаю: суд увидит в этом только противоречие или обман и не примет во внимание никаких объяснений, которые вы ему представите.

— Но разве нельзя терпеливо и тщательно постараться собрать новые доказательства? — настаивал я.— У меня и мисс Голкомб есть несколько сотен фунтов...

Он с нескрываемой жалостью посмотрел на меня и покачал головой.

— Советую вам терпеливо и тщательно обдумать все, мистер Хартрайт,— сказал он.— Если вы правы насчет сэра Персиваля Глайда и графа Фоско (заметьте, что я совершенно не согласен с вами), на вашем пути к новым доказательствам вы встретитесь с непреодолимыми препятствиями. Вам придется столкнуться с юридическими трудностями и задержками, ибо каждый пункт в вашем деле будет систематически оспариваться. К тому времени, как мы истратим многие тысячи вместо сотен, которые у вас есть, дело решится, по всей вероятности, не в нашу пользу. Вопрос установления личности в тех случаях, когда между двумя людьми существует большое сходство,— труднейшая задача. Труднейшая, даже если нет такой путаницы, какая есть в деле, о котором мы с вами сейчас говорим. Я, право, не вижу, каким образом можно было бы пролить свет на эту необыкновенную историю. Допустим, женщина, похороненная на лиммериджском кладбище,— не леди Глайд, но ведь, по вашим словам, она была так похожа на ту, другую, что, даже если мы получим разрешение вскрыть могилу и осмотреть тело, мы ничего не докажем. Короче, начинать процесс бесцельно. У вас нет никаких доказательств, мистер Хартрайт, право, никаких!

Я был убежден, что основания для процесса существуют и что правда на нашей стороне, а потому не сдавался.

— Помимо прямого установления личности леди Глайд, разве нет других доказательств, которые мы могли бы представить? — спросил я.

— Но у вас их нет,— возразил он.— Самым простым и убедительным из всех доказательств было бы сравнение между датами, но, насколько я понимаю, этого вы не можете сделать. Если бы вы могли доказать, что между датой смерти предполагаемой леди Глайд и датой прибытия настоящей леди Глайд в Лондон есть несоответствие, дело приняло бы совсем другой оборот, и я первый сказал бы: «Мы победим».

— Может быть, я еще смогу установить эту дату, мистер Кирл.

— В тот день, когда вы ее установите, мистер Хартрайт, ваше дело будет выиграно. Если сейчас у вас есть какие-либо соображения по этому поводу, скажите мне. Посмотрим, может быть, я смогу дать вам совет.

Я задумался. Ни домоправительница, ни Лора, ни Мэриан не могли нам в этом помочь. По всей вероятности, единственными лицами, которые знали дату отъезда Лоры из Блекуотер-Парка, были сэр Персиваль и граф Фоско.

— В настоящее время я не знаю, каким способом установить эту дату,— сказал я.— Не знаю, кто может знать ее, кроме графа Фоско и сэра Персиваля Глайда...

На спокойном, внимательном лице мистера Кирла в первый раз появилась улыбка.

— Судя по тому, какое мнение вы составили себе об этих двух джентльменах,— сказал он,— я не думаю, что вы собираетесь обращаться за помощью к ним? Если они завладели большой суммой денег мошенническим путем, вряд ли они в этом сознаются.

— Их можно заставить сознаться, мистер Кирл.

— Кто сможет их заставить?

— Я.

Мы оба встали. Он внимательно, с более серьезным интересом, чем раньше, посмотрел на меня. Я видел, что несколько удивил его.

— Вы очень решительны,— сказал он.— Без сомнения, для этого у вас есть личные причины, я не имею права о них спрашивать. Если в будущем у вас найдутся доказательства, могу только сказать, что я полностью к вашим услугам и начну процесс. Но должен предупредить вас (поскольку к судебным процессам всегда примешивается материальная заинтересованность): даже если вы докажете, что леди Глайд жива, вряд ли можно будет вернуть ее состояние. Итальянец, наверно, покинет страну раньше, чем процесс начнется, а денежные затруднения сэра Персиваля настолько серьезны, что его теперешний капитал целиком пойдет на уплату кредиторам. Вы, конечно, отдаете себе отчет...

Тут я прервал его:

— Прошу вас, не будем говорить о материальных

делах леди Глайд,— сказал я.— Я ничего не знал о них в прошлом и не знаю теперь. Мне известно только, что она все потеряла. Вы правы, у меня есть личные причины интересоваться ее судьбой, но эти причины не имеют никакого отношения...

Он попробовал вмешаться и объяснить. Почувствовав, что он сомневается в моем бескорыстии, я разгорячился и продолжал, не слушая его.

— Никакой материальной заинтересованности,— сказал я,— никакой мысли о личной выгоде нет в той услуге, которую я намереваюсь оказать леди Глайд. Она жива, а ее, как чужую, выгнали из ее родного дома, могила ее матери осквернена лживой надписью, гласящей о ее смерти, ее считают самозванкой, и на свете существуют два человека, благополучно и безнаказанно здравствующие и виновные во всем этом! В присутствии всех тех, кто шел за гробом на подложных похоронах, дом, где она родилась, откроет перед ней двери. По распоряжению главы ее семьи лживую надпись на надгробном памятнике уничтожат, а эти двое ответят за свое преступление — ответят передо мной, несмотря на то что правосудие, заседающее в трибунале, бессильно и не может наказать их. Права Лоры Фэрли должны быть восстановлены. Я готов посвятить всю свою жизнь достижению этой цели, и, если бог мне поможет, я достигну ее и один!

Он отступил от стола и ничего не сказал. На лице его было ясно написано, что он считает мое решение безрассудным, но понимает, что отговаривать меня бесполезно.

— Мы оба останемся при своем мнении, мистер Кирл,— сказал я.— Будущее покажет, кто из нас прав. А сейчас я благодарю вас за внимание, с которым вы меня выслушали. Вы дали мне понять, что закон не может нам помочь. У нас нет юридических доказательств, и мы недостаточно богаты, чтобы оплатить судебные издержки. Хорошо, что мы теперь об этом знаем.

Я поклонился и пошел к двери. Он окликнул меня и отдал мне письмо, которое в начале нашего разговора положил перед собой на стол.

— Это письмо прибыло несколько дней назад,— сказал он.— Может быть, вы не откажете мне в любезности передать его по назначению. Прошу вас при этом сказать

мисс Голкомб о моем искреннем сожалении, что пока я не могу ей помочь ничем, кроме совета.

Он говорил, а я смотрел на письмо. Оно было адресовано «Мисс Голкомб, через мистера Гилмора и Кирла, Ченсери-Лейн». Почерк был мне совсем незнаком.

Уходя, я задал ему последний вопрос:

— Не знаете ли вы, сэр Персиваль Глайд по-прежнему в Париже?

— Он вернулся в Лондон,— отвечал мистер Кирл.— По крайней мере, так я слышал от его поверенного, которого вчера встретил.

После этого я ушел.

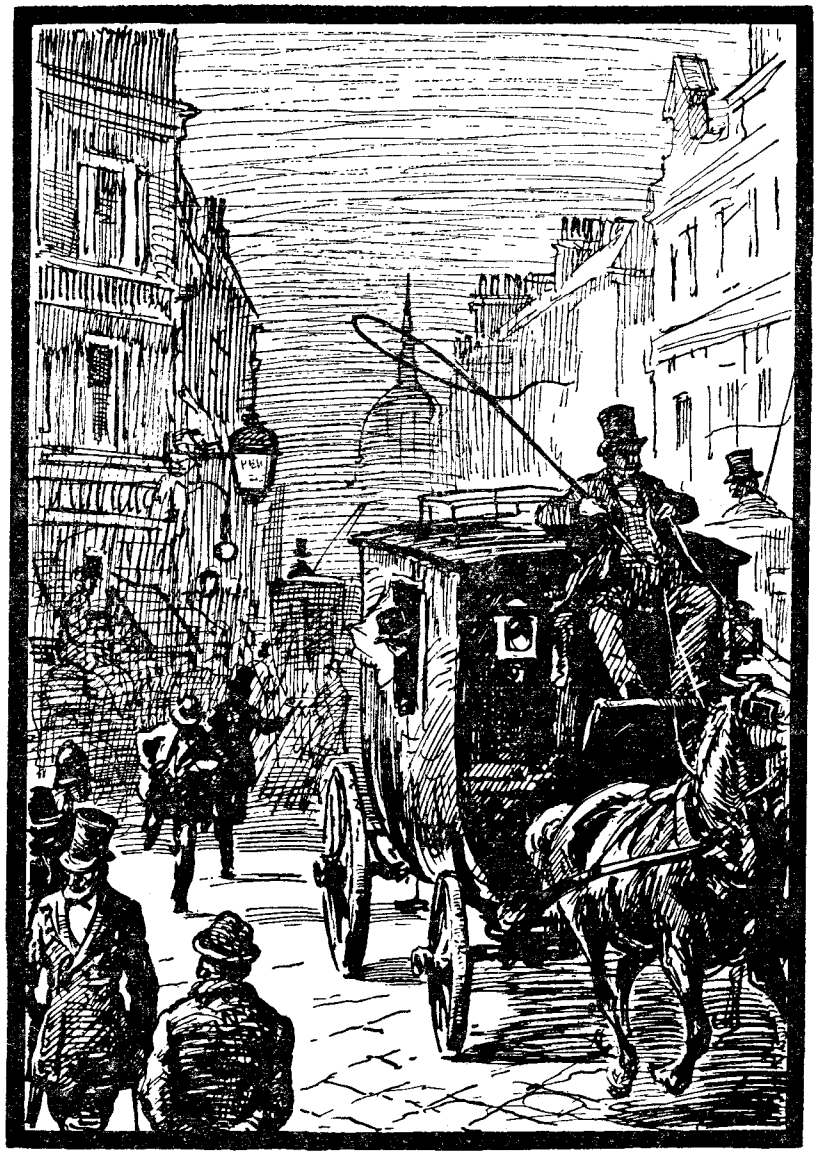
Покидая контору, я из предосторожности шел прямо, не оглядываясь, чтобы не привлекать к себе внимания прохожих. Я дошел до одного из самых малолюдных скверов в Холборне, потом сразу остановился и посмотрел назад — за мной простирался длинный отрезок тротуара.

Двое мужчин, которые тоже остановились на углу сквера, разговаривали друг с другом. После минутного раздумья я повернулся, чтобы пройти мимо них. При моем приближении один из них отошел и завернул за угол. Другой остался. Проходя мимо, я взглянул на него и сразу же узнал одного из тех, кто следил за мной до моего отъезда из Англии.

Если бы я был свободен в своих желаниях, я бы, наверно, заговорил с этим человеком и кончил тем, что ударил бы его. Но я должен был учесть последствия. Если хоть однажды я публично себя скомпрометирую, тем самым я дам оружие в руки сэру Персивалю. Оставалось только ответить на хитрость хитростью. Я свернул на улицу, куда пошел второй человек, и, увидев, что он спрятался в подъезде, прошел мимо него. Я не знал его в лицо и обрадовался возможности рассмотреть его вблизи на случай будущих неприятностей. После этого я пошел к скверу до Нью-Род. Свернув в западном направлении (оба сыщика шли за мной по пятам), я подождал первого попавшегося кеба. Как только кеб поравнялся со мной, я вскочил в него и приказал кучеру быстро ехать к Хайд-Парку. Другого кеба на улице не было. Оглянувшись, я увидел, как эти двое бросились за мной в погоню, очевидно решив добежать до стоянки кебов. Но мы опередили их, и, когда я остановил кучера и вышел, их нигде не было. Я прошел через весь Хайд-Парк и убедился, что за мной никто не следит. Когда наконец я повернул к дому, прошло уже много часов, было уже совсем темно.

Мэриан ждала меня одна в нашей крошечной гостиной. Она уговорила Лору лечь спать, обещав показать мне ее рисунки, как только я вернусь.

Бедный, робкий набросок, такой незначительный сам по себе, но такой трогательный по существу, стоял на столе. Его освещала единственная свеча, которую мы могли себе позволить. Чтобы рисунок не упал, его с двух



сторон поддерживали книги. Я сел и начал смотреть на него, шепотом рассказывая Мэриан обо всем случившемся. Перегородка, отделявшая нас от второй комнаты, была так тонка, что до нас доносилось еле слышное дыхание спящей Лоры, и если бы мы заговорили громко, мы могли бы разбудить ее.

Пока я рассказывал Мэриан о своем свидании с мистером Кирлом, она слушала меня вполне спокойно. Но когда я заговорил о возвращении в Англию сэра Персиваля и о том, что за мной следили, когда я вышел от поверенного, ее лицо омрачилось.

— Скверные новости, Уолтер,— сказала она,— самые скверные, какие только могли быть. Вам нечего больше сказать мне?

— У меня есть что передать вам,— отвечал я, передавая ей письмо, врученное мне мистером Кирлом.

Она взглянула на конверт и тут же узнала почерк.

— Вы знаете, кто вам пишет? — спросил я.

— Прекрасно знаю,— отвечала она,— мне пишет граф Фоско.

С этими словами она вскрыла конверт. Щеки ее запылали, когда она прочитала письмо, глаза гневно сверкали, когда она протянула его мне, чтобы я прочитал письмо в свою очередь.

В нем были следующие строки:

«Почтительнейшее восхищение — достойное меня, достойное Вас — побуждает меня, великолепная Мэриан, во имя Вашего спокойствия сказать Вам в утешение: не бойтесь ничего! Пусть Ваш тончайший ум подскажет Вам необходимость оставаться в тени. Дорогая и божественная женщина, не ищите опасной огласки. Отречение возвышенно — придерживайтесь его. Скромный домашний уют вечно мил — пользуйтесь им. Жизненные бури не бушуют в долине уединения — пребывайте, дражайшая леди, в этой долине.

Поступайте так — и Вам нечего будет бояться, говорю я. Никакие новые бедствия не изранят Вашей чувствительности — чувствительности столь же драгоценной для меня, как моя собственная. Вам не будут больше досаждать; прелестную подругу Вашего уединения не будут больше преследовать. Она обрела новый приют в вашем сердце. Бесценный приют! Я завидую ей и оставляю ее там.

Последнее слово, последнее нежнейшее отеческое предостережение, и я оторвусь от чарующего счастья обращаться к Вам — я закончу эти страстные строки.

Не идите дальше, остановитесь! Не затрагивайте ничьих интересов! Не грозите никому! Не заставляйте меня — молю! — перейти к действиям, меня, человека действий, когда я стремлюсь только к одному: оставаться бездейственным, сдерживать свою энергию и предприимчивость — ради Вас! Если у Вас есть опрометчивые друзья, умерьте их прискорбный пыл. Если мистер Хартрайт вернется в Англию, не общайтесь с ним. Я иду по своей тропе, а Персиваль следует за мной по пятам. В тот день, когда мистер Хартрайт пересечет эту тропу, горе ему — он конченый человек!»

Единственной подписью под этими строками была буква «Ф», окруженная затейливыми закорючками. Я швырнул письмо на стол с тем презрением, которое к нему чувствовал.

— Он пытается запугать вас — верный признак, что он сам боится,— сказал я.

Она была слишком женщиной, чтобы отнестись к этому письму, как я. Дерзкая фамильярность его выражений возмутила ее. Когда она взглянула на меня через стол, ее кулаки были сжаты и прежний горячий гнев зажег ее глаза и щеки.

— Уолтер! — сказала она.— Если эти двое очутятся в ваших руках и если вы решите пощадить одного из них, пусть это будет не граф!

— Я сохраню его письмо, Мэриан, чтобы вспомнить о ваших словах, когда настанет время.

Она пристально взглянула на меня.

— Когда настанет время,— повторила она.— Почему вы так уверены, что оно настанет? После того, что вы слышали от мистера Кирла, после того, что с вами было сегодня?

— Сегодняшний день не в счет, Мэриан. Все, что я сделал сегодня, сводится к одному: я попросил другого человека сделать все за меня. Я буду вести счет с завтрашнего дня.

— Почему?

— Потому что с завтрашнего дня я начну действовать сам.

— Каким образом?

— Я поеду в Блекуотер с первым поездом и надеюсь вернуться к ночи.

— В Блекуотер!

— Да. У меня было время для размышлений, после того как я ушел от мистера Кирла. Его мнение совпадает с моим в одном: мы должны во что бы то ни стало установить дату отъезда Лоры из Блекуотер-Парка в Лондон. Какого числа это было? Единственное слабое место в заговоре и, наверное, единственная возможность доказать, что она живой человек, заключается в установлении этой даты.

— Иными словами,— сказала Мэриан,— это будет являться доказательством, что Лора уехала из Блекуотер-Парка уже после того, как доктор зарегистрировал умершую?

— Конечно!

— Почему вы предполагаете, что это могло быть после? Лора ничего не может сказать нам о времени своего прибытия в Лондон.

— Но владелец лечебницы сказал вам, что ее, то есть Анну Катерик, приняли в лечебницу двадцать седьмого июля. Я сомневаюсь, чтобы граф Фоско мог прятать Лору в Лондоне, поддерживая в ней бессознательное состояние, более чем одну ночь. Судя по всему, она выехала двадцать шестого и приехала в Лондон к вечеру, то есть на другой день после даты своей «смерти», которая помечена в медицинском заключении. Если мы сможем установить и доказать это, мы выиграем наш процесс против сэра Персиваля и графа.

— Да, да, я понимаю! Но как добыть это доказательство?

— Отчет миссис Майклсон подсказывает мне два пути. Один из них — расспросить доктора Доусона, который должен знать, какого числа он прибыл в Блекуотер-Парк после того, как Лора уехала. Второй: расспросить всех в гостинице, где сэр Персиваль остановился в ту ночь, когда уехал. Мы знаем, что его отъезд последовал через несколько часов после отъезда Лоры, и таким путем мы установим дату. Во всяком случае, стоит сделать эту попытку, и я сделаю ее завтра, я так решил.

— А если ваша попытка ни к чему не приведет? Я предполагаю худшее, Уолтер, но буду верить в лучшее, даже если сначала у нас будут одни только разочарования

и неудачи. Предположим, никто не сможет помочь вам в Блекуотере.

— Остаются два человека в Лондоне, которые могут помочь и помогут: сэр Персиваль и граф. Люди ни в чем не виновные могут забыть дату, но эти двое виновны, и они ее помнят. Если завтра я ничего не добьюсь, в будущем я намерен заставить одного из них или их обоих признаться во всем.

На лице Мэриан отразилась вся ее женская сущность.

— Начните с графа,— шепнула она нетерпеливо,— ради меня, начните с графа!

— Мы должны начать ради Лоры там, где у нас больше шансов на успех,— отвечал я.

Она побледнела и грустно покачала головой.

— Да,— сказала она.— Вы правы. Я стараюсь быть терпеливой, Уолтер, и теперь это мне удается лучше, чем в счастливые прошлые дни, но во мне осталось еще немного от моей прежней вспыльчивости, она дает себя знать, когда я думаю о графе!

— Наступит и его черед,— сказал я.— Но помните: в его прошлом мы еще не открыли темных пятен.— Я подождал немного, а потом произнес решающие слова: — Мэриан! Мы с вами знаем о темном пятне в биографии сэра Персиваля.

— Его тайна!

— Да! Его тайна. Это наше единственное оружие. Только раскрыв эту тайну, я смогу достичь цели, принудив его признаться в своем злодеянии. Что бы ни сделал граф, сэр Персиваль согласился на заговор против Лоры не только из-за денег. Вы сами слышали, как он сказал графу о своей уверенности, что его жена знает достаточно, чтобы погубить его? Вы сами слышали, как он сказал, что он конченый человек, если тайна, о которой знала Анна Катерик, станет известной?

— Да, да! Я слышала!

— Ну так вот, Мэриан, если нам ничего другого не останется, я намерен раскрыть его тайну. Мое старое предчувствие не оставляет меня. Я снова говорю, что женщина в белом и посмертно играет решающую роль в нашей общей судьбе. Развязка предрешена, развязка приближается — и Анна Катерик из гроба указывает нам путь!

V

О результатах моих поисков в Хемпшире я могу рассказать в нескольких словах.

Уехав из Лондона рано утром, я был у мистера Доусона еще до полудня. Наше свидание не дало никаких результатов, не прибавив ничего нового к тому, о чем я хотел знать.

С помощью дат, записанных в памятной книжке мистера Доусона, можно было установить, какого числа он возобновил свои визиты к мисс Голкомб в Блекуотер-Парке, но рассчитать по этим записям, какого именно числа леди Глайд уехала в Лондон, можно было только с помощью миссис Майклсон, а, насколько мне было известно, эту помощь миссис Майклсон оказать не могла. Она не могла припомнить (кто из нас мог бы припомнить на ее месте?), сколько дней прошло со дня отъезда леди Глайд до вторичного появления доктора в Блекуотер-Парке. Она была почти уверена, что рассказала мисс Голкомб об отъезде ее сестры на следующий же день после этого, но не могла сказать, какого это было числа. Не помнила она также, хотя бы приблизительно, через сколько дней после отъезда миледи было получено письмо от графини Фоско. И наконец, в довершение неудач, сам доктор, будучи нездоров в те дни, не записал, какого числа садовник из Блекуотер-Парка передал ему приглашение миссис Майклсон.

Убедившись, что дальнейшие расспросы мистера Доусона ни к чему не приведут, я решил попытаться установить дату прибытия сэра Персиваля в Нолсбери.

В этом было что-то роковое! Когда я приехал в Нолсбери, сельская гостиница была заколочена, и на ее стенах были наклеены объявления о продаже. Мне объяснили, что, с тех пор как провели железную дорогу, дела в Нолсбери пришли в упадок. Приезжие останавливаются в новом отеле, у вокзала, а старая гостиница (где, как мы знали, ночевал сэр Персиваль) была закрыта вот уже около двух месяцев. Хозяин гостиницы уехал со всеми своими пожитками и домочадцами, а куда — неизвестно. Четверо жителей, которых я расспрашивал в Нолсбери, рассказали мне четыре разные версии о дальнейших планах и проектах хозяина гостиницы, когда тот покидал город.

До отхода поезда в Лондон оставалось несколько часов. Я нанял экипаж, чтобы снова вернуться в Блекуотер-Парк и расспросить садовника и привратника. Если они тоже ничем не смогут помочь, мне оставалось только вернуться в Лондон.

Я расплатился с возницей, не доезжая до поместья, и, пользуясь его указаниями, направился к дому.

Свернув с шоссе, я увидел человека с саквояжем в руках, быстро шедшего передо мной по дороге к домику привратника. Он был маленького роста, в поношенном черном костюме и в шляпе с большими полями. Я предположил, что это какой-нибудь клерк из юридической конторы, и остановился, чтобы увеличить расстояние между нами. Он не слышал моих шагов и скрылся из глаз, ни разу не обернувшись. Когда немного спустя я вошел через ворота, его нигде не было — очевидно, он был уже в доме.

В коттедже привратника я застал двух женщин. Одна из них была старуха, в другой я сразу узнал по описаниям Маргарет Порчер.

Сначала я осведомился, у себя ли сэр Персиваль, и, получив отрицательный ответ, спросил, когда он уехал. Кроме того, что это было летом, они обе ничего не могли мне сказать. Маргарет Порчер только бессмысленно улыбалась и качала головой. Старуха оказалась более сметливой, и я сумел навести ее на разговор об отъезде сэра Персиваля. Она прекрасно помнила, как хозяин напугал ее, разбудив среди ночи криками и ругательствами, но, какого это было числа, по ее собственным словам, «ей было невдомек».

Выйдя из домика, я увидел садовника, работавшего неподалеку. Вначале, когда я к нему обратился, он посмотрел на меня не очень приветливо, но, услышав вежливый отзыв о миссис Майклсон и о самом себе, он охотно разговорился. Описывать, о чем мы говорили, не стоит — наш разговор ни к чему не привел. Я опять-таки не узнал даты. Садовник помнил только, что хозяин уехал в конце июля.

Во время разговора я заметил человека в черном — он вышел из дома и наблюдал за нами.

Кое-какие подозрения по поводу его появления в Блекуотер-Парке уже приходили мне в голову. Они усилились оттого, что садовник не мог (или не желал) сказать мне,

что это за человек. Я решил подойти и заговорить с ним. Самым простым вопросом было, разрешается ли посетителям осматривать дом. Я подошел и спросил его об этом.

Его взгляд и манеры сразу выдали, что ему известно, кто я, и что он ищет ссоры со мной. Он ответил мне так дерзко, что могла бы произойти ссора, если бы я был менее осторожен. Но я вел себя с ним чрезвычайно вежливо, извинился за мое «вторжение», как он выразился, и ушел. Все было так, как я и предполагал. Меня узнали, когда я уходил от мистера Кирла, сообщили об этом сэру Персивалю Глайду, и человек в черном был послан в Блекуотер-Парк на случай, если я появлюсь около дома или где-нибудь поблизости. Если бы я дал ему малейший предлог для жалобы на меня, местные власти могли бы меня задержать и разлучить с Лорой и Мэриан, во всяком случае, на несколько дней.

Я был готов к тому, что за мной будут следить на моем обратном пути из Блекуотер-Парка, как это было накануне в Лондоне. Но на этот раз я так и не смог выяснить, следили за мной или нет. Человек в черном не появлялся ни на станции, ни на вокзале в Лондоне, куда я прибыл вечером. Я дошел до дому пешком, из предосторожности — по самым безлюдным улицам, и останавливался, чтобы оглянуться назад и подождать, не идет ли кто за мной. Я научился ходить таким образом в дебрях Центральной Америки, боясь нападения со стороны диких индейских племен, а теперь делал это с такой же опаской в самом сердце цивилизованной страны — в Лондоне!

В мое отсутствие дома все обстояло по-прежнему благополучно. Мэриан засыпала меня вопросами. Когда я рассказал ей обо всем, она не могла скрыть своего изумления по поводу моего равнодушия к безуспешности моих расследований.

По правде сказать, меня мало трогало, что мои расспросы ни к чему не привели. Я предпринял их из чувства долга и ничего от них не ожидал. В том состоянии, в котором я тогда находился, меня даже радовало, что все сводилось теперь к поединку между мной и сэром Персивалем. Чувство мести тоже примешивалось к моим лучшим чувствам, и признаюсь — я был глубоко удовлетворен тем, что мне оставался только один путь, самый

верный: прижать к стенке негодяя, который женился на Лоре.

Признаюсь, я не был настолько самоотвержен, чтобы поставить свою цель над инстинктом мщения, но, с другой стороны, могу честно сказать, что никаких низких расчетов на более близкие отношения с Лорой, окажись сэр Персиваль в моих руках, у меня не было. Я ни разу не сказал себе: «Если я добьюсь своего, муж ее будет уже не властен отнять ее у меня». Глядя на нее, я не мог и подумать об этом. Печальная перемена, происшедшая в ней, сосредоточивала мою любовь только на горячем желании помочь ей; я чувствовал к Лоре нежность и сочувствие, какие могли бы питать к ней ее отец или брат, и — видит бог — самоотверженно и преданно любил ее от всей души. Все мои помыслы и надежды сводились теперь к одному: к ее выздоровлению. Только бы она снова стала здоровой и счастливой; только бы хоть раз взглянула на меня по-старому и заговорила со мной, как говорила когда-то... Это было венцом самых радужных моих надежд и самых заветных моих желаний.

Я пишу об этом не для того, чтобы предаваться праздному и бесполезному самоанализу. По ходу дальнейших событий читатели скоро сами смогут судить о моих чувствах и поступках. Но справедливость требует, чтобы дурное и хорошее во мне было описано в равной степени беспристрастно.

На следующее утро после моего возвращения из Хемпшира я пригласил Мэриан наверх, в мою рабочую комнату, и изложил ей свой план относительно того, как лучше всего разузнать о темном пятне в биографии сэра Персиваля Глайда.

Путь к его тайне вел через непостижимую для нас тайну женщины в белом. Помочь нам приблизиться к этой тайне могла мать Анны Катерик — миссис Катерик. Ее можно принудить заговорить. Она будет общительна в зависимости от того, что именно мне удастся узнать о ней и о ее семейных обстоятельствах, в первую очередь от миссис Клеменс.

Тщательно все продумав, я решил связаться с этой верной подругой и покровительницей Анны Катерик.

Трудность заключалась в том, как найти миссис Клеменс.

Сообразительность Мэриан подсказала нам наилучший и наипростейший способ. Она предложила написать на ферму Тодда, близ Лиммериджа, и спросить, не было ли известий от миссис Клеменс за последние месяцы. Мы не знали, каким образом миссис Клеменс разлучили с Анной, но после того, как это случилось, ей, несомненно, пришло в голову навести справки о своей исчезнувшей подруге в той местности, к которой та была более всего привязана,— в Лиммеридже и его окрестностях. Предложение Мэриан было вполне разумным, и она в тот же день отправила письмо миссис Тодд.

Пока мы ждали ответа, Мэриан рассказала мне все, что знала о семье сэра Персиваля и его ранней молодости. Она могла говорить об этом только с чужих слов, но была уверена, что они совпадают с истиной.

Сэр Персиваль был единственным ребенком в семье. Его отец, сэр Феликс Глайд, страдал от рождения неизлечимым недугом и с ранних лет избегал общества. Музыка была его единственной отрадой, и он женился на даме, которая была прекрасной музыкантшей. Он унаследовал поместье Блекуотер, когда был молодым человеком. Ни он, ни его жена не делали никаких попыток примкнуть к обществу соседей, и никто не нарушал их уединения, кроме единственного человека — приходского священника, что и привело к печальным результатам.

Священник был худшим из всех невинных сеятелей раздора — он был слишком ревностен. До него дошли слухи, что еще в колледже сэр Феликс считался атеистом и чуть ли не революционером, поэтому он решил, что его долг как священнослужителя привести заблудшую овцу в стадо, обратить лорда-хозяина на путь истины и заставить его посещать назидательные проповеди во вверенной пастырю церкви. Сэр Феликс яростно вознегодовал на это благое, но неуместное намерение и так грубо оскорбил священника на людях, что в Блекуотер-Парк посыпались письма с протестами от соседних помещиков. Даже арендаторы сэра Феликса дерзнули высказать свое отрицательное отношение к его поступку.

Баронет, не имевший особой склонности к сельской жизни и не питавший привязанности ни к поместью, ни к кому-либо из его обитателей, заявил, что соседям не удастся больше надоедать ему, и уехал навсегда.

После недолгого пребывания в Лондоне они с женой отправились на континент и никогда больше не возвращались в Англию. Они жили то во Франции, то в Германии, но всегда в полном уединении из-за болезненного состояния сэра Феликса. Сын его, Персиваль, родился за границей и воспитывался у частных наставников. Первой умерла его мать. Отец его скончался через несколько лет после нее, в 1825 или 1826 году. Сэр Персиваль, будучи еще молодым человеком, приезжал раза два в Англию. Его знакомство с покойным мистером Филиппом Фэрли завязалось уже после смерти старого сэра Глайда. Мистер Филипп Фэрли и он быстро стали приятелями, хотя сэр Персиваль редко, почти никогда не бывал в те дни в Лиммеридже. Мистер Фредерик Фэрли, возможно, встречал его раз или два в обществе своего брата Филиппа, но знал его очень мало.

Единственным близким знакомым сэра Персиваля в семье Фэрли был отец Лоры.

Вот все подробности биографии сэра Персиваля, рассказанные мне Мэриан. Сами по себе они не представляли особого интереса и ничем не могли мне помочь, но я подробно записал их на случай, если они окажутся небезынтересными в будущем.

Ответ миссис Тодд (присланный на адрес ближайшей к нам почтовой конторы) уже ждал меня, когда я туда зашел. Наконец-то нам повезло. Письмо миссис Тодд содержало первые сведения, нужные и полезные нам.

Как мы и предполагали, миссис Клеменс действительно написала на ферму Тодда, чтобы испросить прощения за свой с Анной внезапный отъезд (последовавший после того, как я встретился с женщиной в белом на лиммериджском кладбище), а затем уведомляла миссис Тодд об исчезновении Анны. Она горячо просила миссис Тодд узнать, не появлялась ли ее подруга где-нибудь в окрестностях Лиммериджа. В своем письме миссис Клеменс указывала адрес, по которому ее всегда можно будет найти, и этот адрес миссис Тодд теперь пересылала Мэриан. Миссис Клеменс жила в Лондоне, неподалеку от нас.

Как говорится в пословице, я был намерен ковать железо, пока горячо. На следующее утро я пошел к миссис Клеменс. Это был мой первый шаг на пути к настоящему расследованию. Отсюда начинается история моей отчаянной попытки раскрыть тайну сэра Персиваля Глайда.

VI

Адрес, который сообщила миссис Тодд, привел меня к пансиону, находящемуся на спокойной улице около Грей-Ин-Род.

Когда я постучал, мне открыла сама миссис Клеменс. Она не узнала меня и спросила, по какому делу я пришел. Я напомнил ей о нашей встрече на лиммериджском кладбище, при которой присутствовала женщина в белом, и сказал, что я именно тот человек, который помог Анне Катерик убежать из сумасшедшего дома, как подтвердила это тогда сама Анна. Только таким путем мог я завоевать доверие миссис Клеменс. Она вспомнила эти обстоятельства, как только я заговорил о них, и пригласила меня в гостиную, волнуясь и желая поскорей узнать, не принес ли я ей какие-нибудь новости об Анне.

Посвящать постороннего человека в подробности совершенного злодеяния было опасно, и потому я не мог рассказать ей всю правду. Не подавая ей никаких радужных надежд, я мог только объяснить ей, что пришел с целью установить, какие именно люди были ответственны за исчезновение Анны. Чтобы не мучиться в дальнейшем угрызениями совести, я прибавил, что не надеюсь найти Анну и считаю — мы больше никогда не увидим ее в живых. Я сказал, что твердо намерен призвать к ответу двух человек, подозревая их в похищении,— из-за них я и люди, очень мне близкие, сильно пострадали. После этого я предоставил миссис Клеменс самой решать, не совпадают ли наши с ней интересы (как бы ни были различны наши побуждения) и не следует ли ей посвятить меня во все, что она знает по поводу Анны Катерик.

Бедная женщина сначала слишком растерялась и разволновалась, чтобы хорошенько понять, о чем идет речь. В благодарность за мое доброе отношение к Анне она согласилась рассказать мне все, что знала о ней, попросив меня подсказать, с чего начать, так как была не очень-то сообразительна, особенно при разговоре с незнакомыми.

Зная, что людям, не привыкшим последовательно мыслить, проще всего начинать свой рассказ с самого начала, я попросил миссис Клеменс первым долгом рассказать мне, что было с ними, когда они уехали из Лиммериджа, и таким образом шаг за шагом довел ее до момента исчезновения Анны

Суть ее рассказа сводилась к следующему.

Уехав с фермы Тодда, миссис Клеменс и Анна добрались в тот же день до Дерби, где остановились на неделю из-за нездоровья Анны. Затем они поехали в Лондон и прожили больше месяца в комнате, которую сняла миссис Клеменс. Но по не зависящим от них обстоятельствам им вскоре пришлось переменить место своего пребывания. Страх Анны, что ее обнаружат в Лондоне или его окрестностях, когда они осмеливались предпринимать прогулки, постепенно сообщился и миссис Клеменс. Она решила перебраться в один из захолустных городков Англии — в город Гримсби в Линкольншайре, где когда-то жил ее покойный муж. Его родственники, почтенные люди, жили в этом городе. Они всегда очень хорошо относились к миссис Клеменс, и она решила, что лучше всего будет поехать туда и посоветоваться с ними. Анна и слышать не хотела о своем возвращении в Уэлмингам: оттуда увезли ее в сумасшедший дом, и сэр Персиваль, безусловно, будет искать ее там. Возражение было серьезным, и миссис Клеменс сочла его вполне основательным.

В Гримсби впервые проявились признаки болезни Анны. Она заболела после того, как ей попалось на глаза сообщение о браке леди Глайд, опубликованное в газетах.

Доктор, за которым послали, осмотрев больную, сразу же нашел у нее серьезную болезнь сердца. Она болела очень долго и очень измучилась. Сердечные припадки возобновлялись время от времени с переменной силой. Больше полугода они провели в Гримсби и, возможно, так бы там и остались, если бы не внезапное решение Анны вернуться в Хемпшир, для того чтобы обязательно повидать леди Глайд.

Миссис Клеменс всеми силами воспротивилась этому непонятному и рискованному намерению. Ничего не объясняя, Анна твердила о своем предчувствии скорой смерти и о том, что должна сообщить леди Глайд некую тайну

Ее решение было непоколебимым, и она заявила миссис Клеменс, что поедет в Хемпшир одна, если та не захочет сопровождать ее. Доктор, совета которого спросили, высказал опасение, что, если желание Анны не будет удовлетворено, болезнь ее, по всей вероятности, осложнится. Тогда миссис Клеменс поддалась увещаниям Анны и с грустным, тревожным предчувствием позволила Анне снова поступить по-своему.

На пути из Лондона в Хемпшир оказалось, что один из пассажиров, сосед по купе, прекрасно знает Блекуотер и его окрестности и может дать все нужные им сведения. Выяснилось, что им лучше всего остановиться в большой деревне Сандон, расположенной довольно далеко от имения сэра Персиваля. Расстояние от Сандона до Блекуотер-Парка было около трех-четырех миль, и это расстояние туда и обратно Анна делала каждый раз, когда появлялась у озера.

В течение нескольких дней, которые они пробыли в Сандоне, не обнаруженные никем из посторонних, они жили у одной почтенной вдовы, сдававшей приезжим комнаты в своем коттедже близ деревни. Миссис Клеменс постаралась заручиться согласием этой женщины молчать об их приезде, во всяком случае, в продолжение первой недели. Она пробовала убедить Анну удовольствоваться письмом к леди Глайд, но прежняя неудача с анонимным письмом останавливала Анну. Она не отступала от своего решения поговорить с леди Глайд лично и обязательно наедине

Все же каждый раз, как Анна ходила на озеро, миссис Клеменс шла за ней невдалеке, не осмеливаясь, однако, приближаться к беседке. Когда Анна в последний раз вернулась из своего опасного путешествия, она была так измучена длительными ежедневными переходами и пережитыми волнениями, что случилось то, чего так опасалась миссис Клеменс. Боли в сердце и другие симптомы сердечной болезни Анны, имевшей место в Гримсби, вернулись с удвоенной силой в Сандоне — Анна слегла.

В таких случаях, как знала миссис Клеменс по опыту, необходимо было, во-первых, успокоить тревогу Анны. Поэтому на следующий день добрая женщина сама пошла на озеро, чтобы разыскать леди Глайд (которая, по словам Анны, каждый день приходила в беседку) и упросить ее

пойти с ней в коттедж, к Анне. На опушке леса миссис Клеменс повстречала не леди Глайд, но высокого, полного, пожилого человека с книгой в руках, другими словами — графа Фоско.

Граф, внимательно посмотрев на нее, спросил, не ищет ли она здесь встречи с кем-то, и, прежде чем она могла ответить, прибавил, что он здесь по поручению леди Глайд, но не уверен, что она именно та особа, с которой ему надлежало повидаться.

Тогда миссис Клеменс рассказала ему обо всем, умоляя его помочь ей успокоить Анну. Она, миссис Клеменс, передаст Анне его поручение от леди Глайд. Граф сейчас же с любезной готовностью согласился на ее просьбу. Поручение было чрезвычайно важным, сказал он. Леди Глайд убедительно просила Анну и ее подругу немедленно вернуться в Лондон, опасаясь, что сэр Персиваль откроет их местопребывание, если они будут оставаться по соседству с Блекуотер-Парком. Сама леди Глайд вскоре поедет в Лондон, и, если миссис Клеменс с Анной будут там и сообщат ей адрес, по которому она сможет их найти, она свяжется с ними недели через две. Граф прибавил, что он и раньше хотел по-дружески предостеречь Анну, но та испугалась и убежала.

Миссис Клеменс в отчаянии ответила ему, что ей и самой хотелось бы вернуться с Анной в Лондон, но в настоящее время это невозможно, так как Анна лежит больная. Граф осведомился, посылала ли миссис Клеменс за доктором. Узнав, что она не решилась этого сделать, не желая предавать огласке их пребывание в деревне, он сказал, что прекрасно лечит сам и пойдет с ней, если ей угодно, посмотреть, чем можно помочь Анне. Миссис Клеменс отнеслась к нему, как к человеку, облеченному доверием леди Глайд, и потому ни на минуту не усомнилась в правдивости его слов. Она с благодарностью приняла его предложение полечить Анну, и они вместе отправились в Сандон.

Когда они пришли, Анна спала. Граф вздрогнул при виде ее, очевидно пораженный ее сходством с леди Глайд. Бедная миссис Клеменс решила в простоте души, что добрый джентльмен разволновался, увидев, как Анна больна. Он не разрешил будить ее — он удовольствовался тем, что расспросил миссис Клеменс о симптомах болезни, поглядел на Анну и тихонько пощупал ее пульс.

В Сандоне, довольно большом поселке, была аптека, и граф отправился туда, чтобы выписать Анне рецепт и получить лекарство. Он сам принес его обратно и сказал миссис Клеменс, что это очень сильное средство, которое позволит Анне встать и предпринять утомительную поездку в Лондон. Лекарство надо было принимать в определенные часы в тот день и назавтра. На третий день она будет чувствовать себя настолько лучше, что сможет выехать. Он условился, что встретится с ней и миссис Клеменс на станции в Блекуотере и посадит их на поезд. Если они не появятся, он поймет, что Анне стало хуже, и сейчас же отправится в коттедж близ Сандона.

Как оказалось в дальнейшем, этого не потребовалось.

Лекарство произвело необыкновенное действие на Анну и дало прекрасные результаты. Помогли также и уверения миссис Клеменс, что Анна скоро увидится с леди Глайд в Лондоне. Пробыв в Хемпшире всего около недели, в назначенный день и час они обе приехали на станцию. Граф уже ждал их, разговаривая с пожилой дамой, которая, как оказалось, тоже ехала в Лондон. Он чрезвычайно любезно усадил их в вагон и просил миссис Клеменс не забыть прислать свой адрес леди Глайд.

Пожилая дама ехала в другом купе, по дороге они ее не видели и совершенно забыли о ней в сутолоке лондонского вокзала. Миссис Клеменс сняла комнату в тихом квартале и затем, как было условлено, отослала леди Глайд свой адрес.

Прошло более двух недель, но от леди Глайд ответа все не было.

К концу этого срока пожилая дама (та самая, которую они видели на станции) приехала к ним в кебе и сказала, что леди Глайд прибыла в Лондон, остановилась в отеле и прислала ее за миссис Клеменс, желая условиться о будущем своем свидании с Анной. Миссис Клеменс охотно согласилась повидаться с леди Глайд, тем более что Анна горячо молила ее поехать с пожилой дамой, а отсутствовать миссис Клеменс пришлось бы всего полчаса. Миссис Клеменс и пожилая дама (конечно, мадам Фоско) уехали. Когда они отъехали довольно далеко, пожилая дама велела кучеру остановиться около какого-то магазина и попросила миссис Клеменс подождать, пока

она сделает необходимые покупки. Она ушла и больше не появлялась.

Прождав некоторое время, миссис Клеменс встревожилась и приказала кучеру ехать обратно. Когда она вернулась к себе, не пробыв в отсутствии и получаса, Анны уже не было.

Единственной из всех домашних, кто мог объяснить ей, в чем дело, была служанка. Она открыла дверь мальчику-посыльному. Он принес письмо «для молодой женщины, живущей на втором этаже» (где была квартира

миссис Клеменс). Служанка передала письмо в руки Анне, спустилась вниз и через пять минут увидела, как Анна открыла выходную дверь и вышла на улицу в капоре и шали. Очевидно, Анна взяла с собой письмо — его нигде нельзя было найти, и потому было неизвестно, под каким лживым предлогом ее выманили из дому. Предлог, наверно, был убедительным, потому что Анна никогда не отважилась бы одна, по собственной воле, выйти на улицу в Лондоне. Миссис Клеменс была в этом так уверена! Она сама ни за что не уехала бы, пусть и на короткий срок, если б могла хоть на миг предположить, что Анна посмеет выйти из дому одна.

Когда миссис Клеменс достаточно успокоилась, чтобы собраться с мыслями, она решила навести справки в лечебнице, куда, как она боялась, уже вернули бедную Анну.

Зная адрес лечебницы от самой Анны, на следующий день она поехала туда. Но там ей сказали (наверно, это было за день или два до того, как туда поместили мнимую Анну Катерик), что такая женщина к ним не поступала. Тогда миссис Клеменс написала миссис Катерик в Уэлмингам с просьбой сообщить, не слышала ли, не видела ли та своей дочери, и получила отрицательный ответ. После этого миссис Клеменс совершенно растерялась, не зная, куда и к кому еще обратиться и что предпринять. С того дня и до настоящей минуты миссис Клеменс пребывала в полной неизвестности; она не могла понять, почему исчезла Анна и чем все это кончилось.

VII

Пока что сведения, сообщенные мне миссис Клеменс,— хотя это и были факты, доселе мне неизвестные,— носили всего только подготовительный характер.

Ясно было, что серия обманов, посредством которых Анну заманили в Лондон и разлучили с миссис Клеменс, была делом рук графа Фоско и его жены, но вопрос о том, можно ли было подвергнуть их судебному преследованию за это, оставался открытым. Цель, которую я имел в виду, вела меня в другом направлении. Я пришел к миссис Клеменс, чтобы сделать первые шаги к раскрытию тайны сэра Персиваля. Пока что она не сказала

ничего такого, что могло бы приблизить меня к этой цели. Я почувствовал необходимость пробудить в ней воспоминания о прошлых днях, людях и происшествиях, о которых она позабыла из-за недавних переживаний, и постарался направить разговор по нужному мне руслу.

— Я очень сожалею, что ничем не могу помочь вашему горю,— сказал я.— Мне остается от всего сердца посочувствовать вам. Родная мать не могла бы любить Анну сильнее, чем вы ее любили, и так жертвовать собой для нее, как делали это вы.

— В этом нет большой заслуги, сэр,— сказала миссис Клеменс.— Бедняжка и в самом деле была для меня как собственное мое дитя. Я нянчилась с ней, сэр, когда она была совсем малюткой. Это было нелегким делом. Я бы не привязалась к ней так, если б не шила ей первых платьиц, не учила ее ходить. Я всегда говорила, что она послана мне в утешение за то, что у меня самой не было детей. А теперь, когда ее нет, мне все вспоминаются старые времена, я не могу удержаться и все плачу, не могу удержаться, сэр!

Я подождал, чтобы дать миссис Клеменс время справиться со своим горем. Не мерцал ли свет правды, которого я так долго ждал, в воспоминаниях доброй женщины о ранних годах Анны — такой слабый свет, мерцавший так далеко!

— Вы знали миссис Катерик еще до рождения Анны? — спросил я.

— Мы познакомились незадолго до этого, сэр, месяца за четыре. Мы очень часто виделись в ту пору, но никогда не были в близких отношениях.

Голос ее звучал теперь тверже; казалось, для нее было большим облегчением вернуться к смутным воспоминаниям прошлого, ибо это давало ей возможность позабыть хоть ненадолго о теперешнем ее глубоком горе.

— Вы с миссис Катерик были соседями? — спросил я, стараясь поощрять ее вопросами.

— Да, сэр, соседями в Старом Уэлмингаме.

— В Старом Уэлмингаме? Значит, в Хемпшире есть два города под этим названием?

— Да, сэр, были в те дни — около двадцати трех лет назад. Позже за две мили от старого городка выстроили новый город, поближе к реке, а Старый Уэлмингам, который всегда был чем-то вроде деревни,

совсем заглох со временем. Новый город стал называться просто Уэлмингам, только старая приходская церковь осталась приходской церковью и поныне. Она стоит совершенно одиноко, дома вокруг разрушены или сами развалились от ветхости. На моих глазах произошло много грустных перемен. Когда-то это было приятное, красивое местечко.

— Вы жили там, миссис Клеменс, до замужества?

— Нет, сэр, я из Норфолка, а мой муж из Гримсби, как я вам уже говорила. Он работал там подмастерьем. Но у него были друзья в Саутхемптоне, и он отправился туда и затеял там торговлю. Мелочную торговлю, сэр, но сумел скопить достаточно денег на скромную жизнь и обосновался в Старом Уэлмингаме. Мы с ним переехали туда, когда поженились. Мы оба были уже немолоды, но жили очень дружно — не так, как наши соседи, мистер Катерик с женой, когда через год или два после нас они переехали в Старый Уэлмингам.

— Ваш муж был знаком с ними и прежде?

— С Катериком, сэр, не с его женой. Мы оба не знали ее. Какой-то джентльмен помог Катерику получить место причетника в приходской церкви в Уэлмингаме. По этой причине он и переехал жить по соседству с нами. Он привез с собой молодую жену. Через некоторое время мы узнали, что она была горничной в одном семействе, проживавшем в Варнек-Холле, около Саутхемптона. Катерик долго добивался, чтобы она вышла за него,— такая она была высокомерная. Он делал ей предложение за предложением и наконец, убедившись, что она непреклонна, отчаялся и оставил ее в покое. И вдруг она сама предложила ему жениться на ней, по-видимому, просто из духа противоречия. Мой бедный муж всегда говорил, что вот тут-то и надо было ее проучить. Но Катерик был слишком влюблен в нее, он никогда ни в чем ей не перечил — ни до свадьбы, ни после. Он был горячим, увлекающимся человеком, сэр, иногда давал слишком большую волю своим чувствам и быстро терял голову. Будь на месте миссис Катерик другая женщина, лучше, чем она, он избаловал бы и ее. Не люблю я плохо отзываться о людях, но миссис Катерик была бессердечной женщиной, упрямая такая, всегда делала все по-своему, любила хорошо одеваться и чтоб ею восхищались, а мистеру Катерику платила неува-

жением и насмешками за его доброту и хорошее отношение. Когда они стали нашими соседями, мой муж, бывало, говорил, что они плохо кончат, и его слова сбылись. Не прожили они около нас и четырех месяцев, как страшный скандал произошел в их семейной жизни. Виноваты были оба, по-моему. Оба были виноваты.

— Вы хотите сказать — и муж и жена?

— О нет, сэр! Я не говорю про Катерика — он, бедняга, был только жалости достоин. Я говорю про его жену и про...

— ...про человека, из-за которого произошел скандал?

— Да, сэр. Такой образованный, воспитанный джентльмен, постыдился бы... Вы знаете его, сэр. И моя бедная милочка Анна знала его слишком хорошо...

— Сэр Персиваль Глайд?

— Да, сэр Персиваль Глайд.

Сердце мое забилось, мне показалось, что ключ от тайны уже в моих руках. Как плохо знал я тот лабиринт, по которому мне пришлось еще так долго блуждать!

— Сэр Персиваль жил тогда где-нибудь поблизости? — спросил я.

— Нет, сэр. Он был не здешний, чужой для всех нас. Отец его умер незадолго до этого в чужих краях. Помню, сэр Персиваль был в трауре. Он остановился в маленькой гостинице у реки, где останавливались другие джентльмены, приезжавшие к нам в городок на рыбалку... Когда он приехал, на него не обратили внимания, это было обычным делом — много джентльменов приезжало со всех концов страны, чтобы рыбачить на нашей реке.

— Он появился до того, как Анна родилась?

— Да, сэр. Анна родилась в июне 1827 года, а он приехал, по-моему, в конце апреля или в начале мая.

— Чужой для всех? И миссис Катерик тоже не знала его, как и остальные?

— Так мы сначала думали, сэр. Но когда произошел скандал, никто уже не верил, что они не были раньше знакомы, что они чужие друг другу. Помню, будто вчера это было. Ночью Катерик бросил горсть песку в наше окошко и разбудил нас. Я услышала, как он стал просить мужа, ради бога, сойти вниз для разговора. Они долго разговаривали на крыльце. Когда мой муж вернулся

наверх, он весь дрожал. Он сел на кровать и говорит мне: «Лиззи! Я всегда говорил, что эта женщина — скверная женщина, что она плохо кончит, и боюсь, так оно и случилось. Катерик нашел у нее в комоде множество кружевных носовых платков, и два красивых кольца, и новые золотые часы с цепочкой. Только настоящая леди может такое носить, а его жена не хочет признаться, откуда у нее все это».— «Может, он считает ее воровкой?» — говорю я. «Нет,— говорит он,— как это ни скверно, но то, что она сделала, еще хуже! Ей негде было красть, да она и не стала бы, не такая она женщина. Хуже! Это подарки, Лиззи: на часах — ее собственные инициалы, и Катерик сам видел, как она шепталась и секретничала с этим джентльменом в трауре, с сэром Персивалем Глайдом. Молчите об этом. На сегодня я успокоил Катерика. Я сказал ему, чтоб он держал язык за зубами, но смотрел во все глаза да слушал день, два, пока не убедится».— «По-моему, вы оба ошибаетесь,— говорю я.— Чего ради миссис Катерик, живя тут в полном довольстве и почете, будет путаться с проезжим, с этим сэром Персивалем?» — «Э, да чужой ли он ей? — говорит мой муж.— Вы забыли, как Катерик на ней женился. Она сама пришла к нему, а раньше все говорила — нет да нет, когда он предлагал ей повенчаться. Не она первая, не она последняя из тех безнравственных женщин, что выходят замуж за честных, порядочных мужчин, которые их любят, чтобы скрыть свой позор. Боюсь, миссис Катерик такая же негодяйка, как и любая из них. Увидим,— говорит мой муж,— скоро увидим». Не прошло и двух дней, как мы увидели.

Миссис Клеменс замолчала на минуту. А я начал сомневаться, правильный ли это путь к разгадке, ведет ли он к моей цели. Разве могла эта обычная история о мужском вероломстве и о женской податливости быть ключом к тайне, которая, как страшный призрак, всю жизнь преследовала сэра Персиваля Глайда?

— Ну, так вот, сэр, Катерик послушался моего мужа и стал ждать,— продолжала миссис Клеменс.— Как я вам уже сказала, ждать пришлось недолго. На второй день он застал свою жену и сэра Персиваля вместе. Они шептались и любезничали в ризнице старой приходской церкви. По-моему, они, наверно, думали, что никому и в голову

не придет искать их в ризнице, но как бы там ни было, их застали на месте преступления. Сэр Персиваль, сконфуженный и взволнованный, оправдывался с таким виноватым видом, что бедный Катерик (я вам уже говорила, как быстро он терял голову) пришел в исступление и ударил сэра Персиваля. К сожалению, он был не ровня своему обидчику — тот избил его жесточайшим образом, прежде чем соседи, услышав ссору, сбежались, чтобы разнять их. Это случилось к вечеру, а к ночи, когда мой муж пошел к Катерику, того уже не было, и никто не знал, куда он девался. Ни одна живая душа в деревне не встречала его больше. Он слишком хорошо понял к тому времени, почему его жене пришлось выйти за него замуж, и слишком близко принял к сердцу свой позор и несчастье, особенно после того, как сэр Персиваль избил его. Приходский священник поместил объявление в газете и просил его вернуться, уверяя, что место осталось за ним и друзья его не покинут. Но Катерик был слишком гордым, как говорили одни, а по-моему, слишком несчастным, чтобы снова встретиться с теми, кто знал его и был свидетелем его позора. Он написал моему мужу, когда уезжал из Англии, и написал еще раз из Америки, где хорошо устроился. Насколько мне известно, он все еще живет там, но, по всей вероятности, никто из нас, а тем более его безнравственная жена, никогда не увидит его больше на родине.

— А что было потом с сэром Персивалем Глайдом? — спросил я.— Он остался в Уэлмингаме?

Нет, сэр. Все были возмущены его поведением — он это понимал. В ту же ночь, как произошел скандал, он, по слухам, поспорил о чем-то с миссис Катерик и на следующее утро уехал.

— А миссис Катерик? Она, конечно, не осталась жить там, где все знали об этом скандале.

— Осталась, сэр. Она была такой бессердечной и бесчувственной, что ни во что не ставила мнение своих соседей. Она объявила всем, начиная со священника, что стала жертвой страшной ошибки и что никакие злостные сплетники не заставят ее уехать, ибо она ни в чем не виновата. В мое время она продолжала жить в Старом Уэлмингаме, а когда я уехала, и начали строить новый город, и люди побогаче переселились туда, она тоже переехала, как будто решила жить среди них и мозолить им

глаза до самого конца. Там она и сейчас, там она и останется до последнего издыхания, не считаясь ни с кем.

— Но на какие средства она жила все эти годы? — спросил я.— Муж ее был в состоянии помогать ей и делал это?

— Он мог и готов был помогать ей,— сказала миссис Клеменс.— Во втором письме к моему мужу он написал, что, раз она носит его фамилию и живет в его доме, он не допустит, какой бы скверной она ни была, чтобы она умерла с голоду на улице, как нищая. Он написал, что в состоянии выплачивать ей небольшое ежемесячное пособие — она может получать его в банке в Лондоне.

— И она приняла это пособие?

— Ни копейки, сэр. Она сказала, что не желает ничем одалживаться Катерику и, проживи она сотни лет, не примет от него ни копеечки. И она сдержала свое слово. Когда мой дорогой муж умер, письмо Катерика попало мне в руки, и я сказала ей, чтобы она дала мне знать, когда будет в нужде. «Вся Англия будет знать, что я в нужде,— сказала она,— прежде чем я скажу об этом Катерику или его друзьям. Вот вам мой ответ, и, если вы будете ему писать, так и напишите!»

— Как по-вашему, у нее были свои средства?

— Если и были, то очень небольшие, сэр. Говорили, и боюсь, что это было правдой, будто средства к существованию она получала от сэра Персиваля Глайда.

Услышав это, я задумался. Мне было ясно, что все это пока что не имело прямого или косвенного отношения к раскрытию тайны и что мои розыски снова привели меня к очевидной и обескураживающей неудаче.

И все же, по сути дела, в рассказе миссис Клеменс было одно несоответствие. Я не мог принять на веру всю эту историю целиком — за этим несоответствием явно стояло что-то скрытое и подозрительное.

Мне было непонятно, почему обесчещенная жена причетника продолжала добровольно жить там, где все кругом знали о ее бесчестье. Меня не удовлетворяло заявление самой миссис Катерик, что этим самым она якобы желала доказать свою невиновность. Мне казалось более естественным и более вероятным, что она не столь независима в своих поступках, как хотела показать это. В таком случае в чьей власти было заставить ее остаться в Старом

Уэлмингаме? Несомненно, во власти человека, снабжавшего ее средствами к существованию. Она отказалась от помощи своего мужа, у нее не было собственных денег, она была одинокой, обесчещенной женщиной — откуда она могла получать помощь, как не от сэра Персиваля Глайда?

Рассуждая таким образом и все время не упуская из виду тот несомненный факт, что тайна сэра Персиваля была хорошо известна миссис Катерик, мне стало совершенно ясно, что оставить миссис Катерик на постоянное жительство в Уэлмингаме было полностью в интересах сэра Персиваля, ибо в силу происшедшего скандала там с ней никто не общался, она жила обособленно от всех и не могла бы никому проболтаться в минуту откровенности. Но в чем заключалась тайна, которую так тщательно скрывали? Разумеется, не в позорной связи сэра Персиваля с обесчещенной миссис Катерик, так как об этом знали все вокруг, и не в подозрении, что он был отцом Анны, ибо именно в Уэлмингаме неизбежно должны были это подозревать. Если бы я принял на веру все, чему верили другие в этой истории, и пришел бы к тому же поверхностному выводу, как миссис Клеменс и ее соседи, то где во всем этом был хоть малейший намек на общую тайну сэра Персиваля и миссис Катерик, которую они тщательно старались спрятать от всех с той самой поры и до сего времени?

И все же именно в этих встречах украдкой, в этих перешептываниях жены причетника с «джентльменом в трауре», несомненно, был ключ к разгадке.

Может быть, по существу дело заключалось в чем-то совершенно ином, нежели это казалось с первого взгляда? Может быть, миссис Катерик говорила правду, утверждая, что она стала жертвой недоразумения? Может быть, между нею и сэром Персивалем существовала связь совершенно иного рода, чем та, которую заподозрили окружающие, и сэру Персивалю было выгодно поддерживать одно подозрение, чтобы отвести от себя другое, гораздо более серьезное?

Если б я мог найти ответ на эти вопросы, я сделал бы первые шаги к разгадке тайны, глубоко скрытой за довольно обычной историей, только что мной услышанной.

Я задал вопрос с целью выяснить, уверен ли был сам

мистер Катерик в измене своей жены. Ответ миссис Клеменс не оставлял сомнения в этом. Будучи еще не замужем, миссис Катерик скомпрометировала себя с каким-то неизвестным человеком и вышла замуж, чтобы скрыть свой позор. Путем сопоставления дат было совершенно ясно, что мистер Катерик не был отцом ее дочери Анны, хотя Анна и носила его фамилию.

Гораздо труднее было рассеять возникавшее теперь сомнение: можно ли с уверенностью считать сэра Персиваля Глайда отцом Анны Катерик?

Сделать это было возможно, только выяснив, похожи они друг на друга или нет.

— Вы, наверно, часто видели сэра Персиваля, когда он бывал в вашей деревне? — сказал я.

— Да, сэр, очень часто,— отвечала миссис Клеменс.

— Была ли Анна похожа на него?

— Нет, они были совершенно не похожи.

— Значит, она была похожа на мать?

— Она и на мать была совсем не похожа. Миссис Катерик была темноволосая, с полным лицом.

Не похожа ни на мать, ни на предполагаемого отца. Я знал, что нельзя всецело полагаться на личное сходство, однако, с другой стороны, начисто отрицать его значение тоже было неразумным. Что из прошлого сэра Персиваля Глайда или миссис Катерик до их появления в Старом Уэлмингаме могло бы пролить свет на этот вопрос? Я имел это в виду и спросил миссис Клеменс.

— Когда сэр Персиваль появился у вас в деревне,— сказал я,— вы не знаете, откуда он тогда приехал?

— Нет, сэр. Кто говорил — из Блекуотер-Парка, кто говорил — из Шотландии, но никто по-настоящему не знал.

— А миссис Катерик до своего замужества жила в Варнек-Холле?

— Да, сэр.

— Сколько лет она прослужила там?

— Три или четыре года, сэр. Точно не помню.

— Вы, случайно, не знаете, кому в то время принадлежал Варнек-Холл?

— Знаю, сэр. Майору Донторну.

— А не приходилось ли вам слышать от мистера Катерика или еще от кого-нибудь, был ли сэр Персиваль

знаком с майором Донторном, бывал ли он в Варнек-Холле или где-нибудь по соседству?

— Нет, сэр. Насколько я помню, ни Катерик, ни кто-либо другой никогда не говорили об этом.

Я записал фамилию и адрес майора Донторна на случай, если он еще жив и в будущем мне понадобится обратиться к нему. Пока что у меня составилось определенное впечатление, что сэр Персиваль отнюдь не был отцом Анны и что его тайное свидание с миссис Катерик в церковной ризнице никоим образом не было связано с бесчестьем, которое миссис Катерик навлекла на доброе имя своего мужа. Я не мог придумать, какими фактами подкрепить мою уверенность, и только попросил миссис Клеменс рассказать про детство Анны, настороженно выжидая, не получу ли я таким путем нужные мне подтверждения.

— Вы мне еще не рассказали, миссис Клеменс, как это бедное дитя, рожденное среди несчастья и позора, очутилось на вашем попечении,— сказал я.

— Некому было нянчиться с бедною, беспомощной малюткой, сэр,— просто ответила миссис Клеменс.— Злая мать ненавидела бедную девочку со дня ее рождения, как будто ребенок был чем-то виноват! У меня сердце на части разрывалось при виде ее, и я решила любить и воспитывать ее, как свою дочь.

— С тех пор Анна была всецело на ваших руках?

— Не совсем так, сэр. Иногда на миссис Катерик находили разные причуды и фантазии, и она забирала у меня ребенка, будто назло мне за то, что я ее воспитываю. Но эти причуды никогда долго не продолжались. Бедная маленькая Анна всегда возвращалась ко мне и всегда была рада вернуться, хотя и у меня в доме она жила одиноко и ей не с кем было играть, как играли между собой другие дети. Вот когда мать увезла ее в Лиммеридж, мы с Анной разлучились надолго. Вскоре после этого умер мой бедный муж, и я даже рада была, что Анны во время этого несчастья не было у нас в доме. Ей было тогда около десяти или одиннадцати. Ученье давалось ей с большим трудом. Бедная крошка, она была невеселая, не такая, как другие дети в ее возрасте, но очень хорошенькая и милая девочка! Я подождала в Уэлмингаме их возвращения и предложила взять ее с собой в Лондон; по правде сказать, сэр, мне

было тяжело оставаться в Старом Уэлмингаме после смерти мужа — все изменилось вокруг меня, все мне было не по сердцу.

— И миссис Катерик согласилась на ваше предложение?

— Нет, сэр. Она вернулась из Кумберленда еще бессердечнее и озлобленнее, чем была. Люди говорили, что ей пришлось отпрашиваться у сэра Персиваля — просить разрешения уехать. Она будто бы потому поехала к своей умирающей сестре, что надеялась получить наследство, а на самом деле денег хватило только на похороны. Все это, конечно, озлобило миссис Катерик,— во всяком случае, она и слушать не хотела, чтобы я увезла с собой девочку. Казалось, ее очень тешило, что предстоящая разлука так огорчает нас с Анной. Я могла только оставить девочке свой адрес и сказать ей по секрету, что, если она когда-нибудь будет в беде, пусть приезжает прямо ко мне в Лондон. Но прошло много лет, прежде чем она ко мне приехала. Я не видела ее до той самой ночи, когда она убежала из сумасшедшего дома, бедняжка.

— Вы знаете, миссис Клеменс, почему сэр Персиваль Глайд поместил ее туда?

— Об этом я знаю только из рассказов самой Анны, а она, бедная, никогда толком ничего не могла рассказать. Она говорила, что мать ее хранит какую-то тайну сэра Персиваля. Долгое время спустя после того, как я уехала из Хемпшира, миссис Катерик выдала эту тайну Анне, а когда сэр Персиваль узнал об этом, он и запер Анну в сумасшедший дом. Но когда я ее спрашивала, она не могла сказать, что это за тайна. Она говорила только, что если мать ее захочет, то может погубить сэра Персиваля на всю жизнь. Миссис Катерик, может быть, проговорилась ей, что знает о чем-то, и только. Я уверена, что если б Анна действительно знала какую-то тайну, как ей мерещилось, я услышала бы от нее всю правду. Ей только казалось, что она знает ее, и она верила в это, а на самом деле не знала ничегошеньки, бедняжка.

Мысль эта много раз приходила мне в голову. Я уже говорил Мэриан о своих сомнениях по поводу того, что Лора действительно была на пороге какого-то важного открытия, когда граф Фоско помешал ее разговору с Анной Катерик в беседке. На основании смутного подозрения,

вызванного намеками, неосторожно высказанными ее матерью в присутствии Анны, та решила, что знает всю тайну сэра Персиваля. Это было характерно для ее смятенного рассудка. Нечистая совесть сэра Персиваля неизбежно должна была подсказать ему ошибочное мнение, что Анна узнала всю правду от матери, а позднее в его мозгу родилась необоснованная уверенность, что Анна Катерик рассказала обо всем его жене.

Время шло, утро пролетело незаметно. По всей вероятности, миссис Клеменс не могла мне больше рассказать ничего полезного для решения моей задачи. Теперь я уже разузнал нужные мне подробности жизни миссис Катерик и пришел к некоторым выводам, неожиданным и новым для меня, которые могли чрезвычайно помочь мне в дальнейшем.

Я встал, чтобы попрощаться и поблагодарить миссис Клеменс за дружеское отношение и за то, что она так охотно поделилась со мной своими воспоминаниями.

— Боюсь, я показался вам очень любопытным,— сказал я.— Я задал вам столько вопросов, что другому надоело бы на них отвечать.

— Я охотно рассказала вам все, что знала сама, сэр,— отвечала миссис Клеменс. Она помолчала, тоскливо глядя на меня.— Но мне хотелось бы,— сказала бедная женщина,— чтобы вы рассказали мне побольше про Анну, сэр. Мне показалось по вашему лицу, когда вы вошли, что вам есть что рассказать. Вы не можете себе представить, как тяжело не знать даже о том, жива она или умерла. Если б я знала, что с ней, мне было бы легче. Вы сказали, что не надеетесь увидеть ее в живых. Может, вы знаете, сэр, может, вы вправду знаете, что господу богу было угодно взять ее к себе?

Я не мог устоять перед этой мольбой, было бы жестоко, если б я скрыл от нее правду.

— Боюсь, что это так,— мягко ответил я.— Я уверен, что несчастья ее на этой земле уже окончились.

Бедная женщина упала на стул и спрятала от меня лицо.

— О сэр,— сказала она,— откуда вы знаете? Кто вам сказал?

— Никто мне не сказал, миссис Клеменс, но у меня есть основания быть уверенным в этом, основания, о которых я обещаю рассказать вам, когда смогу. Я уверен,

что в последние минуты она не была брошена на произвол судьбы, я уверен, что сердечная болезнь, которая долго ее мучила, была истинной причиной ее смерти. Скоро я расскажу вам об этом во всех подробностях. Она похоронена на тихом сельском кладбище, в красивом мирном уголке, который вы выбрали бы для нее сами.

— Умерла! — сказала миссис Клеменс.— Она, такая молодая, умерла, а я жива и слышу это! Я шила ей первые платьица, я учила ее ходить! В первый раз, когда она произнесла «мама», она сказала это мне, а теперь я живу, а ее нет!.. Вы говорили,— сказала бедная женщина, отнимая платок от лица и поднимая на меня заплаканные глаза,— вы, кажется, говорили, что похороны были хорошие? Такие похороны, какие я устроила бы ей сама, как для родной своей дочери?

Я уверил ее, что похороны были именно такие. Казалось, мои слова обрадовали ее и несколько смягчили ее безыскусственное горе, чего, пожалуй, не могли бы сделать самые красноречивые соболезнования.

— У меня сердце разорвалось бы,— сказала она простодушно,— если б Анну похоронили не так... Но откуда вы знаете, сэр? Кто рассказал вам?

Я снова попросил ее подождать, пока не смогу говорить с ней с полной откровенностью.

— Вы меня еще увидите,— сказал я.— Я хочу попросить вас об одном одолжении — после, через день-два, когда вы немного успокоитесь.

— Не откладывайте из-за меня, сэр, если я могу быть полезна,— промолвила миссис Клеменс,— не смотрите, что я плачу. Если хотите сказать мне что-нибудь, сэр, говорите сейчас.

— Я хотел только попросить вас о последнем одолжении,— сказал я,— не дадите ли вы мне адрес миссис Катерик в Уэлмингаме?

Моя просьба так удивила миссис Клеменс, что на минуту она, казалось, забыла даже о своем горе. Слезы перестали струиться по ее щекам, и она озадаченно взглянула на меня.

— Ради господа бога, сэр! — воскликнула она.— Что вам надо от миссис Катерик?

— Я хочу, миссис Клеменс,— отвечал я,— узнать причину ее тайных свиданий с сэром Персивалем Глайдом.

В поведении этой женщины и в прошлых отношениях с ней этого человека кроется нечто совсем иное, нежели то, что подозревали вы и ваши соседи. У этих двух есть тайна, не известная никому, и я еду к миссис Катерик с решением узнать всю правду.

— Не торопитесь, сэр! Хорошенько подумайте над этим, сэр! — сказала миссис Клеменс, вставая со стула и предостерегающим жестом положив мне руку на плечо.— Она ужасная женщина! Вы не знаете ее, сэр, а я-то хорошо знаю. Подумайте еще, сэр!

— Я знаю, вы искренне желаете мне добра, миссис Клеменс. Но я решил повидать эту женщину — будь что будет.

Миссис Клеменс взволнованно, пристально поглядела мне в лицо.

— Вижу, что ваше решение принято,— сказала она.— Я дам вам адрес.

Я записал адрес в свою записную книжку и взял ее руку, чтобы попрощаться.

— Скоро я навещу вас,— сказал я,— и расскажу вам все, что обещал.

Миссис Клеменс глубоко вздохнула и сокрушенно покачала головой.

— К совету старой женщины стоит прислушаться, сэр,— сказала она.— Подумайте хорошенько, прежде чем ехать в Уэлмингам.

VIII

Когда я вернулся домой после разговора с миссис Клеменс, я сразу увидел, что в Лоре произошла какая-то перемена.

Неизменные кротость и терпение, которые во время ее несчастья подвергались суровому испытанию, казалось, вдруг изменили ей. Безучастная ко всем попыткам Мэриан успокоить и развеселить ее, она сидела, отодвинув от себя рисунки, печально опустив глаза, уронив руки на колени, без устали перебирая пальцами. При виде меня Мэриан встала с выражением молчаливого отчаяния, подождала с минуту, не поднимет ли Лора глаза мне навстречу, шепнула мне:

— Может быть, вы сумеете расшевелить ее! — и вышла из комнаты.

Я сел на освободившийся стул, ласково разнял бедные, изможденные неугомонные пальцы и взял обе ее руки в свои.

— О чем вы думаете, Лора? Скажите мне, дорогая, соберитесь с силами и расскажите мне, в чем дело.

Она с трудом поборола свое настроение и взглянула на меня.

— Я не могу быть счастливой,— сказала она,— я не могу не думать...

Она умолкла, подалась немного вперед и положила голову мне на плечо с выражением немой беспомощности, которая пронзила мне сердце жалостью.

— Скажите мне,— мягко повторил я,— попробуйте, расскажите мне, почему вы несчастливы.

— От меня нет никакой пользы — я в тягость вам обоим,— отвечала она с глубоким усталым вздохом.— Вы работаете, Уолтер, и зарабатываете деньги, а Мэриан вам помогает. Так почему же я ничего не делаю? Кончится тем, что Мэриан понравится вам больше, чем я, вот увидите, потому что я такая никчемная. О, не надо, не надо обращаться со мной, как с ребенком!

Я поднял ее голову, пригладил белокурые спутанные волосы, упавшие на лицо, и поцеловал ее — мой бедный увядший цветок! Моя бедная, скорбная сестра!

— Вы будете помогать нам, Лора,— сказал я.— Вы начнете с сегодняшнего дня, дорогая.

Она посмотрела на меня с таким жадным интересом, затаив дыхание от нетерпения и любопытства, что я задрожал от радости, увидев, как при этих словах новая жизнь и новые надежды воскресли в ее сердце.

Я встал, привел в порядок ее рисовальные принадлежности и придвинул их к ней.

— Вы знаете, что я зарабатываю деньги рисованием,— сказал я.— Вы много потрудились и стали рисовать уже гораздо лучше — вы тоже начнете этим зарабатывать. Постарайтесь закончить этот рисунок как можно старательнее и лучше. Когда он будет готов, я возьму его с собой, и тот же самый человек, который покупает мои рисунки, купит и ваш. Вы будете собирать деньги в свой собственный кошелек, и Мэриан будет брать у вас на расходы так же часто, как берет у меня. Подумайте, как вы будете полезны, как вы поможете нам, и скоро вы станете счастливой, Лора, вам будет легко и радостно!

Она вся просияла, лицо ее озарилось улыбкой. В ту минуту, когда она, улыбаясь, схватила свой отодвинутый ранее карандаш, она выглядела почти как Лора прежних дней.

Я правильно истолковал первые признаки ее выздоровления. Они выражались в том, что Лора наконец стала отдавать себе отчет в занятиях, которыми были наполнены наши с Мэриан дни. Когда я рассказал об этом Мэриан, она, как и я, поняла, что Лоре страстно хочется занять какое-то место в жизни, подняться в собственных и в наших глазах, завоевать наше уважение, и с этого дня мы с нежностью поддерживали ее честолюбие. Оно вселяло в нас надежду на ее полное выздоровление, на счастливое будущее, которое, возможно, было теперь не за горами. Ее рисунки, когда она заканчивала их или думала, что закончила, переходили в мои руки, а я отдавал их Мэриан, которая их прятала. Я, их единственный покупатель, еженедельно откладывал небольшие суммы из моего заработка, чтобы вручать Лоре как денежное вознаграждение за беспомощные, робкие наброски. Иногда нам бывало трудно сохранять полную невозмутимость и не выдать нашу невинную ложь, когда она с довольной улыбкой, сияя гордостью, вынимала свой кошелек, чтобы внести свою часть на домашние расходы, и очень серьезно интересовалась, кто из нас больше заработал за эту неделю. Все эти рисунки хранятся у меня — мои бесценные сокровища, дорогие воспоминания, которые я любовно берегу и буду беречь всю жизнь,— это мои друзья в прошлом несчастье, дорогие друзья, с которыми сердце мое никогда не расстанется, которых нежность моя никогда не позабудет.

Не отвлекаюсь ли я сейчас от моей основной цели? Не теряю ли я драгоценное время? Не мерещится ли мне счастливое будущее, до которого так далеко в моем повествовании? Да. Назад! Вернемся к дням сомнений и тревог, когда я изо всех сил старался не терять присутствия духа в борьбе с леденящим безмолвием вечной неизвестности. Я приостановился отдохнуть на минуту. И если друзья, которые читают эти страницы, тоже отдохнули вместе со мной, время не потеряно.

Я воспользовался первой же возможностью поговорить с Мэриан наедине и рассказать ей о результатах моих утренних расследований. Оказалось, она разделяет тре-

вогу миссис Клеменс по поводу моего намерения поехать в Уэлмингам.

— Уолтер,— сказала она,— вы слишком мало знаете для того, чтобы рассчитывать на откровенность миссис Катерик. Разумно ли идти на эту крайность, не испробовав более простые и надежные средства для достижения вашей цели? Когда вы сказали мне, что только два человека на свете знают точную дату отъезда Лоры из Блекуотер-Парка, вы забыли и я забыла, что есть еще третий человек, который знает это число,— я говорю о миссис Рюбель. Не проще ли и безопаснее настоять на ее откровенном признании, чем силой принуждать к нему сэра Персиваля?

— Это было бы проще,— возразил я.— Но нам неизвестно, в какой мере миссис Рюбель причастна к этому преступлению и посвящена ли она в его подробности, поэтому мы не можем с уверенностью сказать, помнит ли она эту дату, как, бесспорно, помнят ее сэр Персиваль и граф. Не стоит тратить время на миссис Рюбель — драгоценное время, необходимое нам для того, чтобы найти уязвимое место в биографии сэра Персиваля. Не преувеличиваете ли вы, Мэриан, опасность, подстерегающую меня в Хемпшире? Или вы думаете, что в конечном результате борьба с сэром Персивалем окажется мне не под силу, и сомневаетесь, что он встретит во мне достойного противника?

— Вы справитесь с ним,— отвечала она решительно,— ибо граф с его непостижимой аморальностью не будет помогать сэру Персивалю в поединке с вами.

— Почему вы так думаете? — спросил я, несколько изумленный.

— Мне хорошо известны упрямство сэра Персиваля и его нетерпимость к советам графа,— отвечала она.— Думаю, что ему захочется встретиться с вами один на один; он настоит на этом так же, как в Блекуотер-Парке, когда он действовал на свой собственный страх и риск. Время для вмешательства графа настанет, когда сэр Персиваль будет полностью в ваших руках. Граф выступит, если его собственные интересы будут затронуты, и, защищая их, он будет беспощаден, Уолтер.

— Мы сможем обезопасить его заранее,— сказал я.— Некоторые сведения, которые сообщила мне миссис Клеменс, серьезно компрометируют графа. В нашем

распоряжении есть и кое-какие другие факты, говорящие против него. В отчете миссис Майклсон имеются строки о том, что граф счел необходимым повидаться с мистером Фэрли. Возможно, и тут мы найдем компрометирующие его обстоятельства. Когда я буду в отъезде, Мэриан, напишите мистеру Фэрли и настоятельно попросите его прислать нам подробный отчет обо всем, что произошло между ним и графом при их свидании, а также о том, что ему известно о болезни и смерти его племянницы. Прибавьте, что необходимый вам отчет рано или поздно ему все равно придется написать, если он проявит неохоту пойти навстречу вашей просьбе добровольно.

— Хорошо, Уолтер. Но вы бесповоротно решили поехать в Уэлмингам?

— Твердо решил. Следующие три дня я посвящу рисованию, чтобы заработать денег на целую неделю вперед, и тогда поеду в Хемпшир.

Через три дня я был готов отправиться в путь.

Мне пришлось бы, возможно, задержаться в Хемпшире на некоторое время, поэтому мы с Мэриан условились писать друг другу ежедневно, конечно, из предосторожности — под вымышленными именами. Если я буду регулярно получать от нее известия, значит, все обстоит благополучно. Но если в какое-то утро я не получу от нее письма, я с первым же поездом вернусь в Лондон. Я сумел примирить Лору с моим отъездом, сказав ей, что еду искать нового покупателя для наших с ней рисунков, и оставил ее за работой вполне довольную.

Мэриан проводила меня вниз, до выходной двери.

— Помните о любящих сердцах, которые вы оставляете здесь,— шепнула она, когда мы были в коридоре у выхода.— Помните обо всех упованиях, связанных с вашим благополучным возвращением. Если что-нибудь приключится с вами, если вы с сэром Персивалем встретитесь...

— Почему вы думаете, что мы встретимся? — спросил я.

— Не знаю. Мне в голову приходят всякие бредовые мысли и страхи, в которых я не могу отдать себе отчета. Смейтесь над ними, если хотите, Уолтер, но, ради бога, держите себя в руках, когда будете стоять лицом к лицу с этим человеком!

— Не бойтесь, Мэриан! Я ручаюсь за свое самообладание.

На этом мы расстались.

Я быстро пошел на вокзал. Надежда пела во мне. Во мне росла уверенность, что на этот раз я предпринимаю путешествие не напрасно. Было ясное, холодное утро. Нервы мои были напряжены, и я чувствовал, как моя решимость наполняет всего меня бодростью и силой.

Когда я прошелся по вокзальной платформе и осмотрелся в поисках знакомых мне лиц среди толпы, ожидавшей поезда, я подумал, не лучше ли было бы мне переодеться и загримироваться, прежде чем ехать в Хемпшир. Но в этой мысли было нечто отвратительное, напоминающее о доносчиках и шпионах, для которых переодевание является необходимостью, и я тут же отогнал ее от себя. Кроме того, целесообразность этого переодевания тоже была сомнительной. Если б я попробовал сделать это дома — домовладелец, бесспорно, узнал бы меня, и это мгновенно возбудило бы его подозрение. Если б я попробовал выйти переодетым на улицу — меня могли узнать какие-нибудь знакомые, и тем самым я снова возбудил бы подозрение. До сих пор я действовал, не прибегая ни к какому переодеванию, и решил действовать так и впредь.

Поезд доставил меня в Уэлмингам к полудню.

Какая дикая пустыня Аравии, какие унылые развалины где-нибудь в Палестине могли бы соперничать с отталкивающим видом и гнетущей скукой английского провинциального городка в первой стадии его существования и на переходной ступени его благополучия? Я задавал себе этот вопрос, когда проходил по безупречно чистым, невыносимо уродливым, безлюдным улицам Уэлмингама. И лавочники, глазевшие на меня из своих пустынных лавок, и деревья, уныло никшие в безводном изгнании запущенных садиков и скверов, и мертвые каркасы домов, напрасно ждущие животворного человеческого присутствия,— все, кто попадался мне навстречу, всё, мимо чего я проходил, казалось, отвечали мне хором: пустыни Аравии не столь мертвы, как наши цивилизованные пустыни, развалины Палестины не столь унылы, как иные города Англии!

Путем расспросов я добрался до той части города, где жила миссис Катерик, и очутился на небольшой площади,

по сторонам которой тянулись маленькие, одноэтажные дома. Посреди площади был безрадостный участок земли, покрытый чахлой травой и окруженный проволочной изгородью. Пожилая нянька с двумя детьми стояла в сквернке и смотрела на тощую козу, щипавшую травку. Двое мужчин разговаривали на тротуаре по одну сторону площади, а по противоположной стороне бездельник-мальчишка вел на веревочке бездельницу-собачонку. Я услышал, как глухо тренькало фортепьяно где-то вдали, под аккомпанемент непрерывного стука молотка где-то вблизи. Вот единственные признаки жизни, замеченные мною, когда я вышел на площадь.

Я направился прямо к двери дома номер тринадцать, где жила миссис Катерик, и постучал, не раздумывая над тем, как представиться хозяйке, когда я войду. Необходимо было повидать миссис Катерик — это было главное. А затем, судя по обстоятельствам, как можно осторожнее и успешнее попытаться достичь цели моего визита.

Унылая пожилая служанка открыла мне дверь. Я дал ей мою визитную карточку и спросил, могу ли я видеть миссис Катерик. Служанка отнесла куда-то мою визитную карточку и вернулась узнать, по какому делу я пришел.

— Пожалуйста, передайте, что я пришел по делу, касающемуся дочери миссис Катерик,— отвечал я.

Это был самый подходящий предлог для визита, который я мог придумать в ту минуту.

Служанка снова куда-то пошла, снова вернулась и на этот раз попросила меня войти в гостиную, глядя на меня угрюмо и озадаченно.

Я вошел в маленькую комнатку, оклеенную кричащими, безвкусными обоями. Стулья, столы, шифоньеры и софа — все блестело клейкой яркостью дешевой обивки. На большом столе посреди комнаты, на вязаной красной с желтым салфеточке, лежала нарядная большая Библия, а у окна, возле маленького столика, с корзиночкой для вязанья на коленях, с дряхлой пучеглазой болонкой у ног сидела пожилая женщина в черном тюлевом чепце, в черном шелковом платье, в темно-серых вязаных митенках[1]. Ее черные с проседью волосы свисали тя-

[1] Митéнки — женские перчатки с открытыми пальцами.

желыми локонами по обе стороны лица, темные глаза смотрели прямо перед собой сурово, недоверчиво, неумолимо. У нее были полные, квадратные щеки, выдающийся, твердый подбородок и пухлый, чувственный, бледный рот. Фигура у нее была полная, крепкая. Она держалась с вызывающей невозмутимостью. Это была миссис Катерик.

— Вы пришли говорить со мной о моей дочери,— сказала она, прежде чем я успел что-либо сказать.— Будьте добры, объясните, о чем, собственно, вы хотите говорить.

Голос ее был таким же суровым, недоверчивым и неумолимым, как и выражение ее глаз. Она указала на стул и, когда я садился, с головы до ног внимательно оглядела меня. Я понял, что с этой женщиной надо разговаривать в таком же тоне, как разговаривает она. С самого начала необходимо было поставить себя на равную ногу с ней.

— Вам известно о том, что ваша дочь бесследно пропала?

— Я знаю об этом.

— Вы, вероятно, предполагали, что это несчастье может привести к другому несчастью — к ее смерти?

— Да. Вы пришли сказать мне, что она умерла?

— Да.

— Почему?

Она задала мне этот удивительный вопрос тем же тоном, с тем же выражением лица, с прежним хладнокровием. Ничто не изменилось в ней. Она держалась так же невозмутимо, как если б я сказал ей, что в сквере сдохла коза.

— Почему? — повторил я.— Вы спрашиваете, почему я пришел сюда сказать вам о смерти вашей дочери?

— Да. Какое вам дело до меня? Каким образом вы вообще знаете о моей дочери?

— Следующим образом: я встретил ее на дороге в ту ночь, когда она убежала из лечебницы, и помог ей скрыться.

— Вы поступили очень дурно.

— Мне очень жаль, что так говорит ее мать.

— Так говорит ее мать. Откуда вы знаете, что она умерла?

— Пока что я не могу ответить на этот вопрос, но знаю, что ее нет в живых.

— А ответить, откуда вы узнали мой адрес, вы можете?

— Конечно. Я узнал ваш адрес от миссис Клеменс.

— Миссис Клеменс глупая женщина! Это она посоветовала вам приехать сюда?

— Нет.

— В таком случае я снова вас спрашиваю: почему вы сюда приехали?

Поскольку она настойчиво требовала ответа, я ответил ей самым прямым образом.

— Я приехал,— сказал я,— предполагая, что мать Ан-

ны Катерик, безусловно, желает знать, жива ее дочь или нет.

— Так-так...— сказала миссис Катерик еще более невозмутимо.— Другой причины у вас не было?

Я заколебался. Нелегко было мгновенно найти подходящий ответ на этот вопрос.

— Если другой причины у вас не было,— продолжала она, спокойно снимая свои темно-серые митенки и складывая их,— я могу только поблагодарить вас за визит и сказать, что больше вас не задерживаю. Ваше сообщение было бы более удовлетворительным, если бы вы объяснили, каким образом вы его получили. Во всяком случае, оно может служить мне оправданием для облачения в траур. Как видите, мне не придется делать для этого большие изменения в моем туалете. Когда я сменю митенки, я буду вся в черном.

Она пошарила в кармане своего платья, вынула пару черных митенок, с каменным, суровым лицом надела их, а затем спокойно сложила руки на коленях.

— Итак, всего хорошего,— сказала она.

Ледяное презрение, сквозившее в ее манерах, побудило меня признать, что цель моего визита еще не достигнута.

— Я приехал еще и по другой причине,— сказал я.

— А! Я так и думала,— заметила миссис Катерик.

— Смерть вашей дочери...

— Отчего она умерла?

— От болезни сердца.

— Так. Продолжайте.

— Смерть вашей дочери дала возможность причинить серьезный, страшный ущерб человеку, очень мне близкому, и виновниками этого злодеяния, как мне стало известно, были двое людей. Один из них — сэр Персиваль Глайд.

— Вот как!

Я внимательно смотрел на нее, чтобы увидеть, не вздрогнет ли она при внезапном упоминании его имени. Но ни один мускул в ней не дрогнул. Она смотрела прямо мне в глаза, по-прежнему сурово, недоверчиво и неумолимо.

— Вам, может быть, интересно,— продолжал я,— каким образом смерть вашей дочери могла стать орудием этого злодеяния?

— Нет! — сказала миссис Катерик.— Мне совсем неинтересно. Это ваше дело. Вы интересуетесь моими делами — я не интересуюсь вашими.

— А вы не спросите, почему я говорю об этом в вашем присутствии? — настаивал я.

— Да. Я спрашиваю.

— Я говорю об этом с вами, ибо твердо решил призвать сэра Персиваля к ответу за содеянное им злодеяние.

— Какое мне дело до этого?

— Вы сейчас узнаете. В прошлом сэра Персиваля есть некоторые происшествия, с которыми мне необходимо познакомиться. Вы их знаете, поэтому я пришел к вам.

— О каких происшествиях вы говорите?

— О происшествиях, имевших место до рождения вашей дочери, в Старом Уэлмингаме, когда ваш муж был причетником тамошней приходской церкви.

Барьер непроницаемой сдержанности, который она воздвигала между нами, рухнул. Я увидел, что глаза ее злобно сверкнули, а руки начали беспокойно разглаживать платье на коленях.

— Что вы знаете об этих происшествиях? — спросила она.

— Все, что могла рассказать мне о них миссис Клеменс,— отвечал я.

На мгновение ее холодное, суровое лицо вспыхнуло, руки замерли,— казалось, взрыв гнева готов был вывести ее из равновесия. Но нет, она поборола свое растущее раздражение, откинулась на спинку стула, скрестила руки на своей широкой груди и с саркастической улыбкой посмотрела мне в глаза с прежней невозмутимостью.

— А! Теперь я начинаю все понимать,— сказала она. Ее укрощенный гнев проявлялся только в нарочитой насмешливости ее тона.— Вы имеете зуб против сэра Персиваля и хотите отомстить ему с моей помощью. Я должна рассказать вам и то, и это, и все прочее о сэре Персивале и о самой себе, не так ли? Да неужели? Вы суете нос в мои личные дела. Вы думаете, что перед вами женщина с погибшей репутацией, живущая здесь с молчаливого и презрительного согласия окружающих, которая согласится сделать все, что бы вы ни попросили, от страха, что вы можете уронить ее в глазах ее сограждан. Я вижу вас

насквозь — вас и ваши расчеты. О да! И меня это смешит. Ха-ха!

Она на минуту умолкла, руки ее напряглись, и она засмеялась про себя — глухо, грубо, злобно.

— Вы не знаете, как я жила здесь и что я здесь делала, мистер как-бишь-вас? — продолжала она.— Я расскажу вам, прежде чем позвоню и прикажу выгнать вас вон. Я приехала сюда обиженной и униженной — приехала сюда, потеряв свое доброе имя, с твердой решимостью обрести его вновь. Прошли многие годы — и я обрела его. Я всегда держалась как равная с самыми почтенными лицами в городе. Если они и говорят что-либо про меня, они говорят об этом тайно, за моей спиной, они не могут, не смеют говорить об этом открыто. Моя репутация незыблема в этом городе, и вам не удастся ее пошатнуть. Священник здоровается со мной. Ага! Вы на это не рассчитывали, когда ехали сюда? Пойдите в церковь, расспросите обо мне — вам скажут, что у миссис Катерик есть свое место в церкви наравне с другими и она платит за него аккуратно в положенный день. Пойдите в городскую ратушу. Там лежит петиция — петиция от моих уважаемых сограждан о том, чтобы бродячему цирку было запрещено появляться в нашем городе, дабы не нарушать наши моральные устои. Да! *Наши* моральные устои. Только сегодня утром я поставила свою подпись под этой петицией. Пойдите в книжную лавку. Там собирали подписку на издание проповедей нашего священника под названием: «В вере спасение мое». Моя фамилия стоит в числе подписавшихся. В церкви во время сбора после проповеди о благотворительности жена доктора кладет на тарелку только шиллинг — я кладу полкроны. Церковный староста Соуард собирает пожертвования — он благодарит меня поклоном. Десять лет назад он сказал Пигруму — аптекарю, что меня следует привязать к телеге и выгнать из города плетью. Ваша мать жива? Разве ее настольная Библия лучше моей? Уважают ли ее лавочники и торговцы, как уважают меня? Она всегда жила по своим средствам? Не была мотовкой? Я никогда не брала в долг. Я никогда не была мотовкой. А! Вот идет священник. Смотрите, мистер как-бишь-вас, смотрите сюда!

Она вскочила со стремительностью молодой женщины,

бросилась к окну, выждала, пока священник поравнялся с ней, и торжественно поклонилась. Священник церемонно поднял шляпу и прошел мимо. Миссис Катерик опустилась на стул и посмотрела на меня с мрачным злорадством.

— Вот! — сказала она.— Что вы теперь думаете о женщине с погибшей репутацией? Как выглядят теперь ваши расчеты?

Необычный путь, избранный ею в борьбе за самоутверждение, удивительное фактическое доказательство восстановленной ее репутации, которое она только что мне представила, так меня ошеломили, что я слушал ее в немом изумлении. Однако это не помешало мне предпринять новую попытку застичь ее врасплох. Если б я сумел вывести ее из равновесия, в припадке гнева она могла проговориться и дать мне ключ к разгадке.

— Как выглядят теперь ваши расчеты? — повторила она.

— Так же, как они выглядели, когда я вошел,— отвечал я.— Я не сомневаюсь в прочности положения, которое вы завоевали в этом городе, и не собираюсь подрывать его, даже если б мог. Я приехал к вам, убежденный, что сэр Персиваль, насколько мне известно,— ваш враг так же, как и мой. Если мне есть за что ненавидеть сэра Персиваля, вам тоже есть за что его ненавидеть. Можете отрицать это сколько хотите, можете не доверять мне, сколько вам угодно, можете гневаться на меня, но из всех женщин в Англии вы, если только у вас есть самолюбие,— вы именно та женщина, которая должна была бы помочь мне уничтожить этого человека.

— Уничтожайте его сами,— сказала она.— Потом возвращайтесь. Тогда посмотрим.

Она проговорила эти слова тоном, каким раньше еще не разговаривала,— отрывисто, яростно, мстительно. Я потревожил гнездо многолетней змеиной ненависти, но только на миг. Как притаившееся пресмыкающееся, эта ненависть вдруг проявилась, когда миссис Катерик жадно подалась вперед ко мне. Как притаившееся пресмыкающееся, эта ненависть спряталась, когда она мгновенно выпрямилась опять на своем стуле.

— Вы мне не доверяете? — сказал я.

— Нет.

— Вы боитесь?

— Разве это на меня похоже?

— Вы боитесь сэра Персиваля Глайда?

— Кто, я?!

Ее лицо загорелось, руки ее снова зашевелились на коленях. Я настойчиво продолжал, не давая ей ни минуты для передышки.

— Сэр Персиваль занимает высокое положение в обществе,— сказал я.— Неудивительно, если вы его боитесь. Сэр Персиваль — влиятельный человек, баронет, владелец прекрасного поместья, потомок знатной семьи...

Она несказанно изумила меня взрывом хохота.

— Да,— повторила она с горчайшим, неописуемым презрением.— Баронет, владелец прекрасного поместья, потомок знатной семьи! Да, конечно! Знатной семьи — особенно по материнской линии...

Мне было некогда раздумывать над словами, которые вырвались у нее, но я почувствовал, что, как только я буду за порогом ее дома, над ними стоит призадуматься.

— Я здесь не для того, чтобы рассуждать с вами о его семейных делах,— сказал я,— я ничего не знаю о матери сэра Персиваля...

— И так же мало знаете о самом сэре Персивале! — резко перебила она.

— Советую вам не быть слишком уверенной в этом,— возразил я.— Я знаю о нем довольно много, а подозреваю еще больше.

— Что вы подозреваете?

— Я вам скажу, чего я *не* подозреваю. Я не подозреваю, что он отец Анны.

Она вскочила на ноги и бросилась ко мне, как фурия.

— Как вы смеете говорить со мной об отце Анны? Как вы смеете говорить, кто был ее отцом, а кто не был! — выкрикнула она с исказившимся лицом и прерывающимся от ярости голосом.

— Тайная связь между вами и сэром Персивалем не в этом,— настаивал я.— Тайна, которая омрачает его жизнь, родилась не с рождением вашей дочери и не умерла с ее смертью.

Она отступила на шаг.

— Вон! — сказала она и властно указала на дверь.

— Ни в вашем, ни в его сердце не было и мысли

о ребенке,— продолжал я, решив припереть ее к стене и выбить почву из-под ее ног.— Между вами не было никакой любовной связи, когда вы отваживались на тайные свидания с ним. Дело заключалось совсем не в этом, когда ваш муж застал вас вместе в ризнице старой церкви.

При этих словах ее рука упала, гневный румянец, покрывавший ее лицо, мгновенно сменился тусклой бледностью. Я увидел, как что-то молниеносно промелькнуло в ней, я увидел, как эта черствая, непреклонная, бесстрашная женщина содрогнулась от ужаса, несмотря на все свое самообладание, когда я произнес «в ризнице старой церкви»...

С минуту или больше мы стояли, молча глядя друг на друга. Я заговорил первый.

— Вы все еще отказываетесь довериться мне? — спросил я.

Лицо ее оставалось бледным, но голос уже окреп. Она ответила мне с прежним вызывающим хладнокровием.

— Да, отказываюсь,— сказала она.

— Вы по-прежнему хотите, чтоб я ушел?

— Да. Идите — и никогда больше не возвращайтесь.

Я подошел к двери, подождал с минуту и обернулся, чтобы снова взглянуть на нее.

— Может быть, у меня будут неожиданные для вас вести о сэре Персивале,— сказал я,— в таком случае я вернусь.

— Для меня не может быть неожиданных вестей о сэре Персивале, кроме...

Она остановилась, бледное лицо ее потемнело, и бесшумной, крадущейся походкой она вернулась к своему стулу.

— ...кроме вести об его смерти,— сказала она, усаживаясь снова, с еле заметной злобной усмешкой. В глубине ее глаз вспыхнула и тут же погасла ненависть.

Когда я открыл двери, чтобы уйти, она бросила на меня быстрый взгляд. Губы ее раздвинулись в жестокую улыбку — она оглядела меня с головы до ног со странным затаенным интересом, и нетерпеливое ожидание отразилось на мрачном ее лице. Не рассчитывала ли она в глубине своего сердца на мою молодость и силу, на мои

оскорбленные чувства и недостаточное самообладание? Не взвешивала ли она в уме, к чему все это приведет, если я и сэр Персиваль когда-нибудь встретимся? Уверенность, что она именно так и думает, заставила меня немедленно уйти. Я даже не смог попрощаться с нею. Мы молча расстались.

Когда я открывал входную дверь, я увидел того же священника, он шел обратно той же дорогой. Я подождал на ступеньках, чтобы дать ему пройти, и обернулся на окна гостиной.

В глубокой тишине сквера миссис Катерик услышала приближающиеся шаги и подскочила к окну, чтобы увидеть священника. Сила страстей, которые я разбудил в ее сердце, не могла ослабить ее отчаянную решимость не выпускать из рук единственного доказательства общественного признания, с таким трудом давшегося ей путем многолетних, неослабевающих стараний. Не прошло и минуты, как мы расстались, но она снова стояла у окна, стояла именно так, чтобы священник увидел ее и поклонился ей вторично. Он приподнял свою шляпу. Я увидел, как черствое, зловещее лицо за окном смягчилось и озарилось удовлетворенной, гордой улыбкой, я увидел, как голова в мрачном черном чепце церемонно поклонилась в ответ. Священник поздоровался с ней на моих глазах в один и тот же день дважды!

IX

Уходя, я чувствовал, что миссис Катерик помогла мне, сама того не желая. Не успел я завернуть за угол, как мое внимание привлек звук захлопнувшейся двери.

Оглянувшись, я увидел невысокого человека в черном костюме на ступенях дома, соседнего с домом миссис Катерик. Человек этот не раздумывал, в каком направлении ему идти. Он быстро направился в мою сторону. Я узнал в нем того «конторского клерка», который опередил меня в Блекуотер-Парке и пытался завязать со мной ссору, когда я спросил его, можно ли осмотреть усадьбу.

Я подождал, предполагая, что он подойдет и заговорит со мной. К моему удивлению, он быстро прошел мимо меня, не говоря ни слова и даже не посмотрев в мою сторону. Это было прямо противоположно тому образу действий,

которого я от него ожидал. Из любопытства, вернее, из подозрительности я решил, со своей стороны, не терять его из виду и выяснить, куда он так спешит. Не заботясь о том, видит он меня или нет, я шел за ним. Он ни разу не оглянулся и торопливо шел по улице по направлению к станции.

Поезд должен был вот-вот отойти, два или три запоздавших пассажира толклись у окошка кассы. Я присоединился к ним и отчетливо услышал, как клерк попросил билет до Блекуотер-Парка. Я не ушел с вокзала, пока не убедился, что он действительно уехал в этом направлении.

Всему, что я видел и слышал, напрашивалось только одно объяснение. Бесспорно, этот человек вышел из дома, примыкавшего к дому, где жила миссис Катерик. Очевидно, по распоряжению сэра Персиваля он снял там комнату в ожидании, что мои расследования приведут меня рано или поздно к миссис Катерик. Он, несомненно, видел мой приход и уход и поспешил с первым же поездом в Блекуотер-Парк, куда, естественно, должен был отправиться сэр Персиваль (очевидно, знавший о предпринятых мною шагах), чтобы быть на месте, если я вернусь в Хемпшир.

Похоже было на то, что не пройдет и нескольких дней, как мы неизбежно встретимся.

К каким бы результатам это ни привело, я решил идти прямо к намеченной цели, не сворачивая с дороги ни для сэра Персиваля, ни для кого другого. Тяжелая ответственность, лежавшая на моих плечах в Лондоне,— ответственность за малейший мой шаг, дабы это не привело к обнаружению убежища Лоры,— не существовала для меня в Хемпшире. Я мог разгуливать по Уэлмингаму в каком угодно направлении — последствия за несоблюдение необходимых предосторожностей падали на одного меня.

Зимний вечер уже спускался над городом, когда я уходил со станции. Не стоило продолжать мои розыски в незнакомом месте после темноты. Я направился в ближайший отель, снял номер и заказал себе обед. Затем я написал Мэриан, что цел и невредим и полон надежд на успех. Уезжая, мы условились, что она будет писать мне в Уэлмингам до востребования (я рассчитывал получить ее первое письмо на следующее утро). Я просил

ее написать мне вторично по тому же адресу. Если б мне пришлось уехать и ее письмо пришло в мое отсутствие, я мог оставить на почте распоряжение переслать его мне.

К концу вечера ресторан отеля совсем опустел. Я мог теперь поразмыслить над тем, чего я достиг сегодня, совершенно беспрепятственно, как если б я был у себя дома. Перед сном я внимательно продумал все сказанное мне миссис Катерик во время нашего необыкновенного свидания и проверил те поспешные выводы, к которым пришел в течение дня.

Ризница приходской церкви в Старом Уэлмингаме была исходной точкой, от которой мои мысли начали возвращаться назад, памятуя, что говорила миссис Катерик и как она вела себя при этом.

Когда миссис Клеменс в разговоре со мной впервые упомянула о ризнице приходской церкви, я счел ее самым неподходящим и неожиданным местом из всех, которые сэр Персиваль мог выбрать для любовных свиданий с женой церковного причетника. Под этим впечатлением, а вовсе не по какой-либо другой причине я упомянул о ризнице в разговоре с миссис Катерик. Свидание в церкви было одной из тех мелких подробностей всей этой истории, которые были мне не совсем понятны. Я был готов к тому, что она смутится или рассердится, но совершенно не ожидал, что при упоминании о ризнице она придет в такой ужас.

Я давно связывал тайну сэра Персиваля с сокрытием какого-то серьезного преступления, о котором знала миссис Катерик, но дальше этого мои предположения не шли. Ужас этой женщины был прямо или косвенно связан с ризницей старой приходской церкви и убеждал меня, что она была больше чем просто свидетельницей преступления — она, несомненно, была соучастницей сэра Персиваля.

В чем же состояло это преступление? Помимо всего, в нем было что-то, вызывавшее презрение миссис Катерик, иначе она не повторила бы мои слова относительно высокого общественного положения сэра Персиваля с такой явной пренебрежительной насмешкой. Преступление было опасным и постыдным. Она принимала в нем участие. Оно было связано с ризницей старой приходской церкви.

Тщательно рассмотрев еще одно обстоятельство, я пришел к дальнейшим выводам.

Миссис Катерик чувствовала нескрываемое презрение не только к сэру Персивалю, но и к его матери. Она со злобной иронией отозвалась о знатной семье, чьим потомком он был, особенно по материнской линии. Что это значило? Объяснений могло быть только два: или мать его была отнюдь не знатного происхождения, или на репутации его матери было какое-то позорящее ее пятно, о котором знали и сэр Персиваль и миссис Катерик. Я мог проверить первое предположение, просмотрев метрическую книгу, где был зарегистрирован брак его родителей, и таким образом выяснить девичью фамилию и происхождение его матери, тем самым подготовившись к дальнейшему расследованию.

С другой стороны, если бы правильным было второе предположение, что за пятно могло быть на репутации матери сэра Персиваля? Припоминая рассказ Мэриан о родителях сэра Персиваля и об уединенном образе жизни, который, непонятно почему, они вели, я задал себе вопрос: может быть, мать сэра Персиваля не была замужем за его отцом? Это сомнение можно было легко устранить тоже путем проверки метрической книги. Но где найти эту книгу? Тут я решил, что мой прежний вывод был правильный — метрическую книгу надо было искать в ризнице приходской церкви Старого Уэлмингама.

Таковы были результаты моего свидания с миссис Катерик, таковы были различные соображения, неизменно ведущие только к одному выводу и подсказывавшие мне мои дальнейшие действия.

На следующее утро небо было хмурым и облачным, но дождя не было. Я оставил свой чемодан на хранение в отеле и, узнав, в каком направлении лежит Старый Уэлмингам, отправился в путь к старой церкви.

Мне пришлось сделать больше двух миль. Дорога медленно поднималась в гору.

На самой вершине стояла церковь — старинное, одряхлевшее от времени здание с тяжелыми подпорками по сторонам, с неуклюжей четырехугольной башней в центре. Ризница, такая же древняя и дряхлая, примыкала к церкви, но имела свой отдельный выход. Вокруг церкви сохранились следы старого поселка, в котором когда-то жила миссис Клеменс со своим мужем. Жители давно переехали в новый город. Некоторые дома были разобраны, от них остались одни стены. Другие дома, брошенные

на произвол судьбы, совсем разрушились от времени, в некоторых до сих пор еще ютились обездоленные бедняки. Все вместе представляло собой довольно грустное зрелище, однако, несмотря ни на что, не столь гнетущее, как новый город, который я только что покинул. Вокруг лежал простор порыжевших полей, на которых приятно отдыхал глаз; деревья, хоть и облетевшие, разнообразили монотонность окружающего и помогали мысленно предвкушать лето и отдых под тенистой сенью ветвей.

Обойдя церковь, я прошел дальше мимо покинутых домов в поисках кого-нибудь, кто мог бы направить меня к причетнику, и увидел двух мужчин, выскочивших из-за угла навстречу мне. Самого высокого из них — крепкого, мускулистого человека в костюме лесника — я никогда раньше не видел. Другой был одним из тех, кто следил за мной в Лондоне, когда я ходил в контору мистера Кирла. Я тогда же постарался запомнить его лицо и теперь был уверен, что не ошибаюсь,— это был именно он.

Он и его спутник не делали попыток заговорить со мной и оба держались на приличном расстоянии, но появление их по соседству с церковью говорило само за себя. Как я и предполагал, сэр Персиваль готовился к встрече со мной. Вчера вечером ему доложили о моем визите к миссис Катерик, и сегодня эти двое стояли на сторожевом посту в ожидании моего прихода в Старый Уэлмингам. Если мне были нужны дальнейшие доказательства того, что теперь мои расследования велись наконец в правильном направлении, присутствие здесь этих двух соглядатаев полностью подтверждало мои догадки.

Я удалялся от церкви, пока не дошел до одного из обитаемых домов. К дому примыкал небольшой огородик — в нем копался какой-то человек. Он показал мне жилище причетника. Это был коттедж, стоявший в отдалении от других домов, на окраине заброшенного местечка. Причетник был дома. Он как раз собирался идти в церковь. Это был бодрый, добродушный, разговорчивый старик, не замедливший сообщить мне, что весьма пренебрежительно относится к деревне, в которой живет, чувствуя свое превосходство над соседями в силу того, что однажды имел счастье побывать в Лондоне.

— Очень хорошо, что вы так рано пришли, сэр,— сказал старый причетник, когда я упомянул о цели моего прихода.— Еще десять минут, и меня бы здесь не было.

Дела прихода, сэр! Много дел, много суетни, весь день на ногах! А возраст мой уже не маленький. Но, да благословит вас господь бог, я еще крепок на ноги! Лишь бы человека ноги держали, а тогда он еще может работать. Вы ведь тоже так считаете, правда, сэр?

С этими словами он снял ключи, висевшие на гвозде у камина, и запер за нами дверь своего коттеджа.

— Нет у меня никого, кто присмотрел бы за домом да за хозяйством, сэр,— весело сказал старый причетник, очевидно радуясь полному освобождению от всех домашних обуз и хлопот.— Жена моя лежит вон там, на кладбище, дети все переженились. Злополучное местечко, не так ли, сэр? Но приход большой. Не каждый сумел бы справиться, как я, со всеми делами! Вот что значит образование, оно перепало и на мою долю, и даже в большей мере, чем это было необходимо. Я ведь говорю правильным, королевским английским языком (да здравствует наша королева!), а этого здесь никто не может. Вы, конечно, лондонец, сэр? Я был в Лондоне лет двадцать пять тому назад. Что новенького произошло там за это время, сэр?

Болтая таким образом, он довел меня до церкви. Я осмотрелся, не видно ли где моих шпионов, но их не было. Вероятно, после того как они проследили за моим визитом к причетнику, они спрятались, чтобы я не мог увидеть их, и беспрепятственно наблюдали за мной.

Дверь ризницы из старого мореного дуба была обита крупными гвоздями. Причетник вложил свой огромный, увесистый ключ в замочную скважину с видом человека, знающего наперед, с какими трудностями ему придется

встретиться, и не уверенного, сумеет ли он их преодолеть.

— Мне придется провести вас в церковь отсюда, сэр,— сказал он.— Дверь между церковью и ризницей заперта на засов со стороны ризницы, а то мы могли бы войти через церковные двери. Отвратительный замок, сэр! А ключ! Огромный, как ключ от тюремных дверей. С ним очень трудно справиться. Его давно пора бы сменить. Сотни раз говорил я об этом церковному старосте — он все твердит: «Я займусь этим»,— и ни с места. Да, захолустный уголок, сэр. Не похож на Лондон, правда, сэр? О господи, мы здесь погружены в спячку! Мы отстали от жизни!

Поворачивая ключ то так, то эдак, он наконец заставил замок податься — массивная дверь застонала, заґремела и открылась.

Ризница была гораздо просторнее, чем это можно было предположить снаружи. Полутемная, заплесневелая, унылая, старая комната с низким, проложенным дубовыми балками потолком. По стенам ризницы стояли огромные деревянные шкафы, источенные червями, ветхие от времени. В одном из этих шкафов висело на гвоздях несколько стихарей, оттопыриваясь снизу,— у них был неблаговестивый вид каких-то пыльных драпировок. Под ними на полу стояли три ящика, наполовину прикрытые крышками; солома вылезала во все стороны из их щелей и трещин. В углу лежали в беспорядке груды каких-то бумаг, некоторые из них большие, свернутые, как архитектурные планы, другие — нанизанные друг на друга, как счета или документы. Когда-то комнату освещало небольшое оконце в стене, но его заложили кирпичами и сделали оконное отверстие в потолке. Воздух в комнате был спертый, пахло плесенью, да к тому же дверь, ведущая отсюда в церковь, была наглухо заперта. Эта тяжелая дубовая дверь была закрыта на два огромных засова вверху и внизу.

— Тут могло бы быть больше порядка, сэр, правда? — сказал веселый причетник.— Но что поделаешь, когда находишься в таком заброшенном, богом забытом местечке. Вот взгляните на эти ящики. С год или около того они были готовы к отправке в Лондон, да так и остались здесь, только ризницу загромождают. Тут они и останутся, пока совсем не развалятся. Я скажу, сэр, как

уже говорил: это вам не Лондон! Мы пребываем в спячке! Да! Мы все отстали от жизни!

— А что в этих ящиках? — спросил я.

— Куски деревянной резьбы от кафедры священника, панели от алтаря и скульптуры с органных хоров. Двенадцать апостолов в дереве, у всех у них отбиты носы. Они поломались, их черви источили, они крошатся, рассыпаются в пыль. Ломкие, как глина, сэр, и старые, как эта церковь, если не старше.

— А зачем их хотели отправить в Лондон? Для реставрации?

— Вот именно, сэр, для починки, а те, что уже нельзя починить,— для копии в новом дереве. Но, помилуй бог, на это не хватило средств, вот они и валяются тут, пока денег не соберут, а собирать-то не с кого. С год назад, сэр, шесть джентльменов отобедали в честь этой будущей починки в гостинице в новом городе. Они говорили речи, провозглашали тосты, принимали резолюции, подписывались — и напечатали тысячу объявлений. Такие красивые объявления, сэр, разукрашенные готическими буквами и напечатанные красной краской. В объявлениях говорилось, что позорно не ремонтировать церковь и не чинить знаменитые старинные деревянные скульптуры. Вот они лежат и будут лежать до скончания веков вместе с планами архитектора, сметой и другими бумагами. Дело чуть до драки не дошло, но с места не сдвинулось. Небольшие пожертвования поступали сначала, но что поделаешь! Это ведь не Лондон, сэр! Денег хватило, только чтобы запаковать деревянные обломки и заплатить за объявления — и всё. Так они тут и валяются, как я вам уже сказал. Некуда их девать — никому в новом городе до нас дела нет, мы в захолустье, мы всеми позабыты, сэр. В ризнице страшный беспорядок, а откуда ждать помощи? Вот что хотел бы я знать!

Мне не терпелось просмотреть метрическую книгу, и я не стал поощрять старика к дальнейшему разглагольствованию. Я согласился с ним, что помощи ждать неоткуда и привести ризницу в порядок невозможно, а затем предложил не откладывать в долгий ящик намеченные нами дела.

— Да-да. Итак, примемся за метрические книги,— сказал причетник, вынимая из кармана небольшую связку ключей.— За какие приблизительно годы, сэр?

Когда мы с Мэриан впервые говорили о помолвке Лоры, она упомянула о возрасте сэра Персиваля — ему было сорок пять лет. Сделав соответствующий расчет и помня, что с того времени, когда я получил эти сведения, прошло больше года,— я пришел к заключению, что он родился в 1804 году, и в метрической книге надо искать приблизительно эту дату.

— Я хочу начать с 1804 года,— сказал я.

— А затем, сэр? — спросил причетник.— Назад с этого года или вперед, к нашему времени?

— Назад, начиная с 1804 года.

Он отворил один из шкафов, тот самый, где висели стихари, и вынул огромную книгу в лоснящемся от старости переплете из коричневой кожи. Меня поразило, как открыто и доступно для каждого хранились метрические книги. Двери шкафа почти развалились, такими они были ветхими, замок был небольшой и несложный, я мог бы легко открыть шкаф с помощью моей трости.

— Разве можно считать это надежным местом для хранения метрических книг? — осведомился я.— Книги представляют из себя чрезвычайно важные документы и должны были бы храниться под лучшим замком, в сейфе.

— Вот любопытно! — сказал причетник, захлопывая книгу и весело шлепая ладонью по переплету.— Те же самые слова говорил мой старый хозяин много лет назад, когда я был мальчишкой. «Почему книга (он говорил об этой самой книге) — почему она не хранится в сейфе?» Он повторял это тысячу раз. Он был стряпчим в те годы, сэр, и его выбрали в секретари прихода. Прекрасным человеком был старый джентльмен, сэр, и необычайно аккуратным. При жизни он хранил копию этой книги в Нолсбери и время от времени сверял ее с новыми записями в подлиннике. Вы не поверите, но в установленный день, раз в три месяца, он приезжал сюда верхом на своем старом белоснежном пони, чтобы собственноручно сверить копии. «Откуда я знаю,— говаривал он,— откуда я знаю, что книга в ризнице не будет похищена или уничтожена? Почему бы книгу не хранить в сейфе? Почему я не могу заставить других быть такими же аккуратными, как я? В один прекрасный день с метрической книгой в церкви что-нибудь случится, и тогда приход поймет, какую ценность представляет моя копия». После этого он обычно брал понюшку табаку и гордо

оглядывался вокруг — ну, лорд, да и только! Таких, как он, теперь и не сыщешь. Не найдешь, пожалуй, и в Лондоне... За какой год вы сказали, сэр, тысяча восемьсот... который?

— Тысяча восемьсот четвертый,— отвечал я, мысленно решив не давать старику отвлекать меня разговорами, пока дело не будет сделано.

Причетник надел очки и, заботливо послюнявив пальцы, начал переворачивать страницы.

— Вот оно, сэр! — сказал он, снова весело шлепнув по книге.— Вот год, который вам нужен.

Не зная, в каком месяце родился сэр Персиваль, я начал просматривать записи с января месяца. Метрическая книга содержалась по-старомодному — записи производились от руки и разделялись между собой чертой, сделанной чернилами.

Я просмотрел январь 1804 года, ничего там не нашел и начал смотреть в обратном направлении. Декабрь 1803 года, ноябрь, октябрь — ничего.

Вот! В записях от сентября 1803 года я нашел регистрацию брака родителей сэра Персиваля.

Я внимательно рассматривал запись. Она помещалась в самом низу страницы и за недостатком места была очень сжатой.

Предыдущая брачная запись запомнилась мне в связи с тем, что имя жениха было Уолтер, как и мое. Последующая запись (за той, которая была мне нужна) запомнилась мне из-за курьезного факта: двое братьев сочетались браком в один и тот же день. Запись о браке сэра Феликса Глайда ничем не отличалась от других записей,— пожалуй, только тем, что была втиснута внизу страницы. О жене его говорилось в обычных терминах: «Сесилия Джэйн Элстер из Парк-Вью-Коттеджа Нолсбери, единственная дочь покойного Патрика Элстера, эсквайра из Бата».

Я переписал эту запись в свою памятную книжку, чувствуя себя подавленным и не зная, что предпринять дальше. Тайна, которая до той минуты казалась почти в моих руках, снова была недосягаемой и непонятной.

Что дало мне посещение ризницы? Какие новые пути к разгадке тайны подсказывало оно мне? Ровно никаких. Что я узнал о запятнанной репутации матери сэра Персиваля? Ровно ничего! Факт, ставший мне известным из

метрической книги, полностью обелял ее имя. Новые сомнения, новые препятствия, новые отсрочки вставали передо мной нескончаемой вереницей. Что мне следовало предпринять теперь? Оставалось разузнать как можно подробнее про «мисс Элстер из Нолсбери», чтобы выяснить, почему и за что миссис Катерик питала такое презрение к матери сэра Персиваля.

— Вы нашли, что искали, сэр? — спросил старик, когда я закрыл книгу.

— Да,— отвечал я,— но мне нужны еще кое-какие сведения. Наверно, церковный причетник, служивший в этой церкви в 1803 году, уже умер?

— Умер, сэр, года за три или четыре до того, как я начал служить здесь, а это было в 1827 году. Я получил это место, сэр,— продолжал мой разговорчивый знакомый,— когда причетник, служивший здесь до меня, бросил службу и уехал. Говорили, что это произошло из-за его жены,— будто бы он из-за нее бросил и дом и работу, а сама она до сих пор живет в новом городе. Я не знаю подробностей этой истории, знаю только, что заступил его место. Мистер Уансборо помог мне получить службу — сын моего старого хозяина, о котором я вам рассказывал. Он такой простой, добродушный джентльмен — любит охоту, держит охотничьих собак и тому подобное. Теперь он секретарь прихода вместо своего отца.

— Кажется, вы сказали, что ваш старый хозяин жил в Нолсбери? — спросил я, припоминая, как разговорчивый причетник угощал меня длинным рассказом об аккуратном старом джентльмене, перед тем как раскрыл метрическую книгу.

— Да, конечно, сэр,— отвечал причетник,— старый мистер Уансборо жил в Нолсбери, там же живет и молодой мистер Уансборо.

— Вы только что сказали, что он секретарь прихода, как был его отец. Я не очень хорошо представляю себе, что такое секретарь прихода.

— Неужели, сэр? А ведь вы из Лондона! В каждой приходской церкви есть секретарь прихода и причетник. Причетник — это человек вроде меня (я более образован, чем большинство из них, но не хвастаюсь этим). А секретарями прихода обычно назначают юристов, и если надо вести какие-нибудь дела церковного прихода, обычно это

делают они. Так же, как и в Лондоне. Каждый церковный приход имеет своего секретаря, и верьте мне — все они юристы.

— Молодой мистер Уансборо тоже?

— О, конечно, сэр! Он юрист в Нолсбери, на Хай-стрит, в старой конторе своего отца. Сколько раз я там бывал, сколько раз видел, как старый джентльмен трусил верхом на своем белом пони, гордо поглядывая направо и налево и раскланиваясь со всеми! О господи, он был очень популярен, он был бы популярен и в Лондоне.

— А как далеко отсюда до Нолсбери?

— Довольно далеко, сэр,— сказал причетник с преувеличенным представлением о расстояниях и о затруднительности передвижения с места на место, обычным для всех сельских жителей.— Около пяти миль, уверяю вас!

Сейчас было утро. Для прогулки в Нолсбери и обратно в Уэлмингам времени было достаточно. Никто лучше, чем местный стряпчий, не мог бы разъяснить мне, как обстояло дело с репутацией матери сэра Персиваля до ее замужества. Я вышел из ризницы с намерением отправиться в Нолсбери.

— Очень благодарен вам, сэр,— сказал причетник, когда я сунул ему в руку несколько монет.— Вы на самом деле собираетесь пройтись туда и обратно в Нолсбери? Ну, что ж! Вы еще крепки на ноги — это просто благословение божье, правда?.. Вот дорога, заблудиться вы не можете. Хотел бы я пойти с вами! Приятно было встретить в нашем захолустье джентльмена из Лондона, новости послушать. Пожелаю вам всего наилучшего, сэр, еще раз благодарю.

Мы расстались. Когда я вышел из церкви и оглянулся, по дороге за мной шли те два человека и еще третий — человек в черном, который ездил вчера в Блекуотер-Парк.

Все трое остановились, поговорили между собой и разошлись. Человек в черном пошел в Уэлмингам. Двое остались, очевидно намереваясь следовать за мной.

Я пошел дальше, делая вид, что не обратил на них особого внимания. Я вовсе не чувствовал к ним раздражения в ту минуту — напротив, их присутствие вселяло в меня надежду на успех. За разочарованием при виде

брачной записи я забыл вывод, к которому прежде пришел, заметив их по соседству с ризницей. Их появление означало, что сэр Персиваль правильно предугадал последствия моего визита к миссис Катерик. Он понял, что я отправлюсь в приходскую церковь Старого Уэлмингама, иначе он никогда не послал бы туда своих шпионов. Какая бы тишь да гладь ни была в старой ризнице, что-то за этим скрывалось. Было что-то в метрической книге, чего я еще не заметил.

X

Когда церковь скрылась из моих глаз, я быстро зашагал по дороге в Нолсбери.

Почти на всем протяжении дорога была прямой и ровной. Оглядываясь, я все время видел за собой двух своих преследователей. По большей части они держались на солидном расстоянии от меня. Но несколько раз они прибавляли шаг, как бы желая перегнать меня, потом останавливались, переговаривались и по-прежнему шли за мной. Очевидно, они имели в виду определенную цель, но не знали, каким путем достичь ее. Угадать, чего они хотят, я не мог, но у меня возникли опасения, что на пути к Нолсбери я встречусь с серьезными препятствиями. Эти опасения оправдались.

Как раз в то время я вышел на самую безлюдную часть дороги, впереди был крутой поворот; мне показалось, что город уже недалеко. Вдруг я услышал шаги за своей спиной.

Прежде чем я успел оглянуться, один из них (тот, который следил за мной в Лондоне) быстро шагнул ко мне и резко толкнул меня плечом. К сожалению, я крепко ударил его за это, раздраженный тем, что он и его товарищ упорно преследовали меня с самого Старого Уэлмингама. Он сейчас же заорал: «На помощь!» Его спутник, высокий человек в костюме лесника, тут же подскочил ко мне, и в следующую минуту два негодяя крепко держали меня за руки посреди дороги.

Уверенность, что мне была расставлена ловушка, и досада на себя за то, что я попал в нее, к счастью, удержали меня от бесполезного сопротивления, которое только усугубило бы мое положение. Неразумно было драться с двумя людьми, один из которых был, бесспорно,

сильнее меня. Я подавил свое естественное желание вырваться от них и осмотрелся — нет ли поблизости кого-нибудь, к кому я мог бы обратиться за помощью.

Какой-то человек работал в поле и был свидетелем всего происшествия. Я позвал его и попросил пойти с нами в город. Но он упрямо помотал головой и ушел по направлению к домику, стоявшему далеко от большой дороги. В то же время люди, державшие меня за руки, заявили о своем намерении предъявить мне обвинение в оскорблении действием, так как я будто бы напал на них. Но теперь у меня хватило ума и самообладания, чтобы не вступать в препирательство с ними.

— Не держите меня, я пойду с вами в город,— сказал я.

Человек в костюме лесника грубо отказался. Но невысокий человек сообразил, что ненужное насилие может иметь неприятные для них последствия. Он сделал знак второму, и они отпустили мои руки.

Мы дошли до поворота, и перед нами показались окраины Нолсбери. Один из местных полисменов шел по тропинке вдоль большой дороги. Мои двое сразу обратились к нему. Он отвечал, что мировой судья находится сейчас в городской ратуше, и посоветовал нам идти туда.

Мы пошли в ратушу. Клерк выписал судебную повестку, и мне было предъявлено официальное обвинение с обычными в таких случаях преувеличениями и искажениями подлинных фактов. Мировой судья (раздражительный человек, желчно упивавшийся исполнением своих обязанностей) спросил, не был ли кто свидетелем этого «оскорбления действием», и, к моему удивлению, истец рассказал о рабочем в поле. Из последующих слов мирового судьи мне стало ясно, зачем это было сделано. Судья приказал, чтобы я был заключен под стражу до появления свидетеля, однако выразил согласие выпустить меня на поруки, если я смогу представить ему ответственного поручителя. Он отпустил бы меня на слово, если бы меня в городе знали, но, так как здесь я был никому не известен, необходимо было, чтобы кто-то взял меня на поруки.

Теперь мне стало понятно, для чего все это было подстроено. Необходимо было избавиться от меня на день, два. В городе, где я был совершенно посторонним человеком, я, естественно, не мог найти за себя поручителя.

В целом мне предстояло просидеть в тюрьме три дня — до следующего заседания мирового суда. А за эти три дня сэр Персиваль мог сделать все что угодно, чтобы затруднить мои дальнейшие шаги,— он мог замести все свои следы, не боясь с моей стороны никаких препятствий.

Сначала я пришел в такое негодование, вернее, отчаяние из-за этой коварной задержки, такой низкой и пустяковой, но такой серьезной в связи с последствиями, которые она могла бы иметь, что не мог спокойно поразмыслить, как выпутаться из этого положения. В запальчивости я попросил письменные принадлежности, чтобы частным образом описать мировому судье настоящее положение вещей. Сначала я не понял всей бесполезности и неосторожности такого поступка и написал уже несколько вступительных строк. Мне стыдно в этом признаться — я почти позволил своей досаде взять верх над моим самообладанием. Вдруг я отодвинул от себя письмо. Мне пришло в голову то, чего сэр Персиваль никак не мог предусмотреть и что могло бы освободить меня через несколько часов: обратиться к помощи доктора Доусона из Ок-Лоджа.

Как вы, может быть, помните, я был у этого джентльмена во время моей первой поездки в Блекуотер-Парк и привез ему рекомендательное письмо от мисс Голкомб, в котором она писала ему обо мне в самых похвальных выражениях. Я написал доктору Доусону, ссылаясь на ее письмо, и напомнил ему, что говорил с ним об опасной и деликатной природе моих расследований. В разговоре с ним я не открыл ему всей правды о Лоре, а сказал только, что мое поручение имеет отношение к важному семейному делу, касающемуся мисс Голкомб. С той же осторожностью я написал ему о неприятном положении, в котором очутился в Нолсбери, и представил доктору самому судить, оправдывает ли мою просьбу выручить меня в городе, где я никого не знал, его прежнее гостеприимство и доверие ко мне леди, которую он прекрасно знал и весьма уважал.

Мне разрешили нанять посыльного, который мог поехать к доктору в экипаже. Таким образом, доктор, если б пожелал, мог сразу же вернуться с ним в Нолсбери. Ок-Лодж находился неподалеку от Нолсбери, не доезжая Блекуотера. Посыльный заявил, что обернется часа за полтора. Я велел ему разыскать доктора, куда бы тот ни

уехал, и стал терпеливо ждать результатов, надеясь на лучший исход.

Когда посыльный уехал, было около двух часов дня. Около четырех он вернулся вместе с доктором. Доброта мистера Доусона, деликатность, с которой он счел необходимым немедленно прийти мне на помощь, просто растрогали меня! Он тут же поручился за меня, и меня отпустили.

Было четыре часа дня, когда я горячо пожимал руки доброго старого доктора на улице Нолсбери. Я был снова свободным человеком.

Мистер Доусон гостеприимно пригласил меня в Ок-Лодж с тем, чтобы я переночевал у него. В ответ я мог только сказать ему, что мое время не принадлежит мне, и просил отложить приглашение на несколько дней, когда я смогу подробно объяснить и рассказать ему все, что он был вправе знать. Мы расстались настоящими друзьями, и я сразу же направился в контору мистера Уансборо на Хай-стрит.

Необходимо было спешить.

Весть о моем освобождении на поруки, безусловно, еще до ночи долетит до сэра Персиваля. Если в ближайшие часы его страхи не оправдаются и я не буду в состоянии прижать его к стенке, я могу безнадежно, навсегда потерять все, чего я уже достиг. Беспринципность и бессовестность этого человека, его связи и влияние, безвыходное, отчаянное положение, в которое я мог поставить его своими расследованиями,— все заставляло меня спешить. Я не мог терять ни минуты драгоценного времени на пути к разгадке его тайны. У меня был достаточный срок для размышлений, когда я ждал мистера Доусона, и я хорошо продумал свои дальнейшие шаги. Кое-что из того, что рассказал мне разговорчивый старый причетник, хотя он и надоел мне этим, теперь припомнилось мне в новом свете. Мрачное подозрение, не приходившее мне в голову в ризнице, закралось мне в душу. По дороге в Нолсбери я был намерен обратиться к мистеру Уансборо только за справкой относительно матери сэра Персиваля. Теперь же я решил просмотреть находившуюся у него копию метрической книги приходской церкви Старого Уэлмингама.

Мистер Уансборо был у себя в конторе и немедленно принял меня.

Он был живым, общительным человеком, с румяным, обветренным лицом, похожий больше на деревенского сквайра, чем на юриста. Казалось, его и позабавила и удивила просьба, с которой я к нему обратился. Он слышал, что у отца его была копия метрической книги, но сам никогда ее не видел. До сих пор она никогда никому не была нужна. Она, безусловно, хранится в сейфе вместе с другими бумагами его отца. После его смерти к ним никто не прикасался.

— Очень жаль,— сказал мистер Уансборо,— что старый джентльмен не может услышать, что его драгоценная копия кому-то наконец понадобилась. Он бы с еще большим рвением предался своему любимому занятию. Каким образом вы узнали об этой копии? От кого-нибудь из местных жителей?

Я уклонялся от ответов, как мог. Теперь, как никогда, необходимо было соблюдать осторожность. Лучше было не говорить мистеру Уансборо о том, что я уже просматривал подлинную книгу. Поэтому я сказал мистеру Уансборо, что занят одним семейным делом, требующим спешки. Мне необходимо сегодня же отослать некоторые справки в Лондон, и просмотр дубликата (за известную плату, конечно) даст мне возможность не ходить в Старый Уэлмингам. Я прибавил, что, если мне впоследствии снова будет нужна метрическая книга, я обращусь за этим в контору мистера Уансборо.

После этого объяснения никаких возражений против предоставления мне книги не последовало. Послали клерка принести книгу из сейфа. Через некоторое время он вернулся. Копия была совершенно такого же размера, как и подлинник, разница была только в том, что дубликат был в более нарядном переплете. Я сел за свободный письменный стол. Руки мои дрожали, голова горела — я чувствовал необходимость не выдавать своего волнения перед окружающими. Я открыл метрическую книгу.

На заглавной странице были строки, написанные выцветшими чернилами. Они гласили:

«Копия метрической книги приходской церкви в Уэлмингаме, выполненная по моему распоряжению и сверенная — запись за записью — с подлинником лично мною. Подпись: Роберт Уансборо, секретарь прихода». Под его подписью уже другим почерком было написано:

«Продолжительностью с 1 января 1800 года до 13 июня 1815 года».

Я начал просматривать сентябрь 1803 года. Я нашел брачную запись человека, которого звали Уолтером, как меня. Я нашел запись о браках двух братьев. Между этими двумя записями, в самом низу страницы...

Ничего! Ни малейшего следа, ни намека на запись брака сэра Феликса Глайда и Сесилии Джэйн Элстер в дубликате метрической книги не было!

Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди, я чуть не задохнулся от волнения. Я опять взглянул — я боялся поверить собственным глазам. Нет! Сомнений не было. Регистрации брака в книге не было. Копии записей были расположены в том же самом порядке, на тех же самых местах, что и в подлинной метрической книге. Последняя запись на одной из страниц относилась к человеку, которого, как и меня, звали Уолтером. Под нею внизу было пустое, незаполненное пространство, очевидно слишком тесное и узкое, чтобы втиснуть в него запись о браке двух братьев, которая и в копии, как и в подлиннике, занимала верх следующей страницы. (Этот незаполненный промежуток объяснял мне все! И в подлиннике место это пустовало с 1803 года до 1827 года, пока сэр Персиваль не появился в Старом Уэлмингаме. Именно здесь, в Нолсбери, можно было обнаружить подлог, проверив копию метрической книги,— сам подлог был совершен в Старом Уэлмингаме, в подлиннике.

Голова моя пошла кругом, мне пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Из всех подозрений, которые вызывал у меня этот отчаянный человек, ни одно не было правильным. Мысль, что он не был, вовсе не был сэром Персивалем Глайдом, что он имел столь же мало прав на свое имя, титул и поместье, как и беднейший из его рабочих, ни разу не пришла мне в голову. Сначала я предполагал, что, возможно, он отец Анны Катерик, затем думал, что, может быть, он был ее мужем, но истинное преступление этого человека лежало за пределами моей фантазии.

Низость этого подлога, размеры и дерзость этого преступления, ужасные последствия для самого преступника в случае, если бы подлог был обнаружен,— все вместе ошеломило меня. Понятны были теперь неустанная, беспрерывная тревога и беспокойство этого презренного негодяя, отчаянные вспышки безрассудного буйства, чередовавшегося с жалким малодушием, безумная подозрительность, из-за которой он упрятал Анну Катерик в сумасшедший дом и совершил страшное злодеяние против своей жены всего только на основании пустого, померещившегося ему предположения, что она, как Анна Катерик, тоже знает его тайну! Раскрытие этой тайны грозило ему в прежние времена смертной казнью через повешение, а теперь — пожизненной каторгой. Разоблачение этой тайны даже в том случае, если бы те, кто пострадали из-за его подлога, пощадили бы его и не отдали под суд, одним ударом лишало его имени, титула, поместья, общественного положения — словом, всего того, чем он завладел обманным путем. Вот в чем заключалась его тайна, и она теперь была в моих руках! Стоило мне сказать одно слово — и он навсегда лишился бы своих земель, состояния, звания баронета. Одно мое слово — и он был бы выброшен из жизни, без поддержки, отверженный, никому не нужный. Все будущее этого человека висело на волоске, зависело от меня — и он знал это сейчас так же хорошо, как я.

Эта мысль отрезвила меня. Интересы более дорогие мне, чем мои собственные, зависели от осторожности, которая должна была теперь руководить малейшими моими поступками. От сэра Персиваля можно было всего ожидать. Не было вероломства, на которое не отважился бы теперь этот доведенный до крайности отъявленный негодяй.

В той крайней, безвыходной опасности, в которой он очутился, он пойдет на все, решится на любое преступление — буквально ни перед чем не остановится, чтобы спасти себя.

На минуту я задумался. Необходимо было закрепить свидетельство, только что мною открытое, записать его на случай, если б со мной случилось какое-то несчастье. Надо было обеспечить сохранность этого свидетельства от сэра Персиваля и поставить вне пределов его досягаемости. Можно было не беспокоиться за копию метрической книги, надежно спрятанную в сейфе мистера Уансборо. Но подлинник в ризнице, как я убедился в этом своими глазами, был далеко не в таком положении.

Ввиду всего этого я решил немедленно вернуться в старую церковь, снова обратиться к помощи причетника

и сделать нужную мне выписку из метрической книги прежде, чем я вернусь в отель. Я тогда еще не знал, что нужна нотариально заверенная копия и что моя собственная выписка не может представлять документального доказательства. Я не знал этого и ни к кому не мог обратиться за нужными по этому вопросу разъяснениями, так как хотел сохранить свои намерения в тайне.

Моим единственным желанием было как можно скорее вернуться в Старый Уэлмингам. Мистеру Уансборо я объяснил, как сумел, свое несколько странное поведение, которое, по-видимому, бросилось ему в глаза; положил гонорар на его стол; условился, что через день-два напишу ему, и покинул его контору с пылающей головой, с бьющимся сердцем, весь в лихорадочном жару.

Смеркалось. Меня осенила мысль, что мои преследователи, возможно, снова пойдут за мной и, по всей вероятности, на этот раз нападут на меня по дороге.

Палка, которая была со мной, была легкой и не годилась для самозащиты. Прежде чем выйти за пределы Нолсбери, я зашел в лавку и купил крепкую деревенскую дубинку, короткую и тяжелую. С этим незатейливым оружием я мог дать отпор любому противнику. Если бы на меня напали двое, я мог удрать. В школьные дни я был хорошим бегуном, а в Центральной Америке во время экспедиции у меня была неплохая практика.

Я вышел из городка быстрым шагом, держась посередине дороги.

Моросил мелкий дождь, и сначала трудно было сказать, шел ли кто за мной или нет. Но, пройдя полдороги, милях в двух от церкви я увидел сквозь сетку дождя бегущего ко мне человека и услышал, как где-то неподалеку захлопнулась калитка. Я спешил вперед с дубинкой наготове, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Не сделал я и сотни шагов, как за придорожной изгородью послышался шорох, и три человека выскочили на дорогу.

Я сейчас же свернул на тропу. Два человека пробежали мимо меня прежде, чем успели спохватиться. Но третий был быстрый, как молния. Он остановился, полуобернулся и изо всех сил ударил меня палкой. Он целился наугад, и потому удар не был сильным. Палка обрушилась на мое плечо. Я ударил его дубинкой по голове. Он попятился

и столкнулся со своими товарищами как раз в ту минуту, когда они бросились ко мне. Благодаря этому я мог опередить их и пуститься наутек. Я проскользнул мимо них и помчался посередине дороги.

Двое не пострадавших бежали за мной. Бежали быстро; дорога была ровной и гладкой, и первые пять минут я чувствовал, что не опережаю их. Я слышал за спиной их частое дыхание. Опасно было бежать в темноте. Я еле различал смутные очертания изгороди по обеим сторонам дороги, и любое препятствие опрокинуло бы меня навзничь. Вскоре я почувствовал, что дорога идет вниз, потом снова начался подъем. Двое начали догонять меня, но я снова ушел от них на довольно далекое расстояние. Быстрый топот ног за моей спиной стал тише, и я понял, что они достаточно далеко. Теперь с дороги я мог свернуть в поле — они пробегут дальше, не заметив моего исчезновения. Я бросился к первому же отверстию в изгороди, которое я скорее угадал, чем увидел. Оказалось, что это запертая калитка; я перелез через нее и зашагал прямо по полю, удаляясь от дороги. Я слышал, как те двое пробежали мимо калитки, потом один из них остановился и позвал другого. Мне было безразлично, что бы они ни делали теперь,— они больше не могли ни видеть, ни слышать меня.

Я шел через поле и, дойдя до края, остановился на минуту, чтобы отдышаться.

Нечего было и думать о возвращении на дорогу, но я был твердо намерен сегодня же вечером быть в Старом Уэлмингаме.

Ни луны, ни звезд на небе, по которым я мог бы ориентироваться. Я знал только, что, когда уходил из Нолсбери, ветер дул мне в спину,— если он будет снова дуть мне в спину, я буду, по крайней мере, идти в прежнем направлении.

Поэтому я пошел вперед, встречая на своем пути препятствия в виде изгородей, рвов, канав и кустарников, из-за которых иногда замедлял свои шаги и немного сворачивал в сторону, пока не дошел до холма, круто спускавшегося вниз. Я спустился, перелез через изгородь и вышел на лужайку. Перед этим я свернул с большой дороги и пошел направо, теперь я свернул налево, желая выправить тот путь, от которого отдалился. Шлепая по лужам минут десять или больше, я вдруг увидел коттедж

с освещенным окном. Садовая калитка была отперта, и я вышел на лужайку к дому, чтобы постучаться и спросить, где я нахожусь.

Не успел я постучать, как дверь коттеджа внезапно открылась, и навстречу мне выбежал человек с фонарем в руках. При виде меня он остановился и поднял фонарь. Мы оба отпрянули друг от друга. Мои блуждания привели меня на окраину Старого Уэлмингама. Человек с фонарем был не кто иной, как мой утренний знакомый — церковный причетник...

С тех пор как я видел его в последний раз, манеры его странным образом изменились. Он выглядел взволнованным и обескураженным, его румяные щеки пылали, и, когда он заговорил, первые его слова показались мне совершенно невразумительными.

— Где ключи? — спрашивал он.— Вы брали их?

— Какие ключи? — переспросил я.— Я только что пришел из Нолсбери. О каких ключах вы говорите?

— Ключи от ризницы! Боже спаси и помилуй нас! Что же мне делать? Ключи исчезли! Вы слышите? — закричал старик, в волнении махая фонарем в мою сторону.— Ключи исчезли!

— Как? Когда? Кто мог взять их?

— Не знаю,— сказал старик, бесцельно вглядываясь в темноту обезумевшими глазами.— Я только что вернулся. Я говорил вам утром, что сегодня у меня много работы; я запер двери и закрыл окно — теперь оно открыто, окно открыто! Смотрите! Кто-то влез в окно и взял ключи!

Он повернулся к окну, чтобы показать мне, как широко оно распахнуто.

Дверца фонаря открылась, и ветер мгновенно задул свечу.

— Зажигайте фонарь,— сказал я,— идемте в ризницу вместе. Скорей! Скорей!

Я торопил его. Предательство, ожидать которое я имел все основания и которое могло лишить меня всего, чего я достиг, совершалось, возможно, в эту самую минуту! Мое нетерпеливое желание поскорее быть в церкви было столь велико, что я не мог оставаться в бездействии, пока причетник зажигал свой фонарь. Я пошел по садовой дорожке через лужайку.

Не прошел я и десяти шагов, как из темноты возник

какой-то человек и приблизился ко мне. Он почтительно заговорил со мной. Я не мог разглядеть его лица, но, судя по голосу, не знал его.

— Простите, сэр Персиваль...— начал он.

Я прервал его:

— Вы ошиблись в темноте,— сказал я,— я не сэр Персиваль.

Человек отшатнулся.

— Я думал, это мой хозяин,— пробормотал он смущенно и неуверенно.

— Вы ждали здесь вашего хозяина?

— Мне было приказано ждать на лужайке.

С этими словами он отошел. Я оглянулся на коттедж и увидел, что причетник идет ко мне с зажженным фонарем. Я взял старика под руку, чтобы помочь ему. Мы пошли через лужайку мимо того человека, который заговорил со мной. Насколько я мог судить при неясном свете фонаря, он был лакеем, хотя ливреи на нем не было.

— Кто это? — шепнул мне причетник.— Не знает ли он чего про ключи?

— Нам некогда расспрашивать его,— отвечал я,— скорей в ризницу!

Даже днем увидеть отсюда церковь можно было, только пройдя через всю лужайку. Когда мы стали подниматься в гору, какой-то деревенский мальчик, привлеченный светом нашего фонаря, подбежал к нам и узнал причетника.

— Эй, мистер,— сказал он, дергая причетника за сюртук,— в церкви кто-то есть. Я слышал, как он запер за собой двери, я видел, как он зажег там спичку!

Причетник задрожал и тяжело оперся на меня.

— Идемте, идемте! — сказал я ободряюще.— Мы не опоздали. Мы его поймаем, кто бы он ни был. Держите фонарь и следуйте за мной. Только поскорей!

Я быстро взобрался на холм. Темный силуэт церкви смутно вырисовывался на фоне ночного неба. Повернув, чтобы подойти к двери ризницы, я услышал за собой тяжелые шаги. Лакей шел следом за нами.

— У меня нет дурных намерений,— сказал он, когда я обернулся к нему.— Я только ищу своего хозяина.

В голосе его звучал неподдельный страх. Не обращая на него внимания, я поспешил дальше.

В ту же минуту, как я завернул за угол и вышел к ризнице, я увидел, что слуховое окно, выходившее на крышу, ярко осветилось изнутри. Оно сияло ослепительно ярким светом под сумрачным, беззвездным небом.

Я бросился через церковный дворик к дверям ризницы.

Странный запах распространялся в сыром ночном воздухе. Я услышал глухой треск, я увидел, как свет наверху разгорается ярче и ярче, звякнуло стекло. Я подбежал к двери, чтобы открыть ее. Ризница была в огне!

Не успел я сделать движение, не успел перевести дыхание при виде этого зрелища, как замер от ужаса, услышав тяжелый стук в дверь изнутри. Кто-то яростно силился повернуть ключ в замке, за дверью кто-то дико, пронзительно закричал, призывая на помощь.

Лакей, следовавший за мной, отшатнулся и упал на колени.

— О господи,— воскликнул он,— это сэр Персиваль!

Причетник подбежал к нам, и в то же мгновение снова, в последний раз, раздалось отчаянное лязганье ключа в замке.

— Боже, спаси его душу! — закричал старик.— Он погиб! Он сломал ключ.

Я кинулся к двери. Мгновенно из моей памяти исчезла единственная цель, в последнее время владевшая всеми моими помыслами, управлявшая всеми моими действиями. Всякое воспоминание о бессердечном злодеянии, совершенном этим человеком,— о любви, невинности, счастье, которые он так безжалостно попрал ногами, о клятве, которую я дал себе в глубине сердца, что приведу его к ответу, ибо он заслужил этого,— как сон, улетучилось из моих мыслей. Я сознавал только ужас его положения. Я чувствовал только, что должен во что бы то ни стало спасти его от страшной гибели.

— Откройте другую дверь! — крикнул я.— Дверь в церковь! Замок сломан. Спешите, не то вы погибли!

Крик о помощи не повторился после того, как ключ лязгнул в замке в последний раз. Ни один звук, свидетельствующий о том, что сэр Персиваль еще жив, не доносился до нас. Слышался треск бушующего пламени да резкое щелканье лопающихся от жара стекол вверху.

Я оглянулся на двух моих спутников. Лакей поднялся на ноги, он держал фонарь и тупо смотрел на дверь. Ужас, казалось, превратил его в полного идиота; он ходил за мной по пятам, как собака. Причетник стонал, скорчившись на одной из могильных плит, он весь дрожал и что-то приговаривал... Достаточно было взглянуть на них обоих, чтобы понять их беспомощность!

Почти не отдавая себе отчета в своих действиях, под влиянием первого порыва я схватил лакея за плечи и толкнул его к стенке ризницы.

— Стойте! — сказал я.— Держитесь за стену. Я встану на вас и попробую влезть на крышу, чтобы сломать слуховое окно, иначе он задохнется!

Слуга дрожал с головы до ног, но держался крепко. Зажав дубинку в зубах, я влез ему на спину, достал до парапета, схватился за него обеими руками и в один миг был на крыше. В неистовой поспешности и волнении этой минуты мне не пришло в голову, что я даю выход пламени, вместо того чтобы дать доступ воздуху. Я ударил по окну, и остатки стекол разбились вдребезги. Огонь, как дикий зверь из своего логова, с яростью выпрыгнул наружу. Если бы ветер дул в мою сторону, от меня, наверно, не осталось бы ничего. Я припал к крыше. Дым и пламя проносились над моей головой. Вспышки и взрывы огня освещали внизу лицо слуги, тупо уставившегося в стену, причетника, вставшего с могильной плиты и в отчаянии ломавшего руки, горсточку жителей деревни, растерянных мужчин и перепуганных женщин, столпившихся за церковной оградой. Они возникали во тьме, когда вспыхивали огромные огненные языки, и исчезали за клубами дыма. А тот, в ризнице, задыхался, умирал так близко от нас, и мы не могли, не в нашей власти было до него добраться!

Я обезумел от этой мысли. Уцепившись руками за крышу, я спрыгнул вниз.

— Ключ от церкви! — крикнул я причетнику.— Мы должны попробовать с той стороны — мы еще можем спасти его, если разломаем ту дверь!

— Нет, нет! — с отчаянием отозвался старик.— Надежды нет! Ключи от церкви и от ризницы в одной связке — они здесь, внутри! О, сэр, его уже ничто не спасет, он погиб, он уже сгорел.

— Пожар увидят из города,— сказал чей-то голос среди мужчин, стоявших позади нас.— У них есть пожарная машина. Они спасут церковь.

Я окликнул этого человека — он сохранил присутствие духа — и заговорил с ним. В лучшем случае пожарная машина могла прибыть только через четверть часа. Невыносимо было оставаться в бездействии все это время. Вопреки разуму, я убедил себя, что обреченный, погибший человек в ризнице, возможно, лежит без чувств, возможно, еще жив. Если мы сломаем дверь, мы, может быть, спасем его! Я знал, как упорны массивные замки, как непроницаемы дубовые, обитые гвоздями двери, я знал, как безнадежно пытаться взломать их обычными средствами. Но в полуразрушенных коттеджах близ церкви должны были сохраниться балки. Что, если вооружиться балкой и использовать ее как таран?

Эта мысль мелькнула в моем мозгу, как вспышка огня, извергавшегося через слуховое окно. Я бросился к человеку, говорившему про пожарную машину:

— Есть у вас кирки, мотыги?

— Да, есть.

— Топоры, пилы, кусок веревки?

— Да, да, да!

Я заметался среди толпы с фонарем в руке:

— Пять шиллингов каждому, кто мне поможет!

При этих словах они будто проснулись. Ненасытный голод, вечный спутник нищеты, и жажда заработка в один миг побудили их к беспорядочной деятельности.

— Двое — за фонарями, если они у вас есть! Двое — за топорами и инструментами! Остальные за мной — за балкой!

Они оживились, послышались резкие, отрывистые восклицания. Женщины и дети бросились в сторону. Мы ринулись гурьбой к первому нежилому дому. Только причетник, бедный старый причетник остался позади. Стоя на могильной плите, он рыдал, оплакивая церковь. Лакей следовал за мной по пятам — порой я видел его бледное, искаженное от ужаса, растерянное лицо. Когда мы ворвались в дом, на полу лежали разбросанные стропила, но они не годились, они были слишком легкими. Над нашими головами пролегала балка, мы могли достать до нее топорами. Балка была накрепко вделана в стены с

обоих концов. Потолок и пол были содраны, огромный пролом в крыше зиял прямо в небо. Мы набросились на балку. Как она упорствовала, как сопротивлялись нам стенные кирпичи и цемент! Мы ломали, рубили, рвали. Балка поддалась с одного конца и рухнула, за ней полетели кирпичи. Вскрикнули женщины, сгрудившиеся в дверях и смотревшие на нас, закричали мужчины, двое из них упали, но не расшиблись. Еще одно совместное усилие — и мы высвободили другой конец балки. Взвалив ее на плечи, мы приказали посторониться. А теперь за дело! К двери! Пламя несется к небу, все ярче освещая нам путь! Осторожней по дороге к церкви — бей с разбегу в дверь! Раз, два, три — стоп! Неудержимо несутся крики. Мы расшатали дверь. Если запор не поддастся — она соскочит с петель. Еще раз, с разбегу! Раз, два, три — стоп! Закачалась! Через пробоины пламя устремляется к нам. Еще раз навались, в последний! Дверь с треском рухнула. Мгновенно наступила гробовая тишина. Мы ищем глазами тело. Нестерпимый жар опаляет наши лица и заставляет нас отступить. Мы не видим ничего — вверху, внизу, повсюду не видно ничего, кроме сплошного огненного вихря.

— Где он? — шепнул лакей, тупо глядя на пламя.

— Он сгорел дотла! — простонал причетник.— И книги сгорели дотла. О сэр! Скоро и от церкви останется только пепел.

Они были единственными, кто заговорил. Когда они замолчали, в ночном безмолвии слышалось только, как бушевал пожар.

Чу!

Неровный, грохочущий звук издали — глухое цоканье копыт, мчащихся галопом, потом все усиливающийся рев человеческих голосов, крики. Наконец-то пожарная команда!

Люди вокруг меня бросились к краю холма, навстречу пожарным. Старый причетник попытался бежать вместе с ними, но силы оставили его. Я увидел, как, держась за один из надгробных памятников, он слабо закричал: «Спасите церковь!» — как будто пожарные могли услышать его.

Спасите церковь!

Только лакей не шевелился. Он стоял, глядя на пламя пустым, безучастным взором. Я заговорил с ним, я потряс

его за руку. Но ничто не могло вывести его из столбняка. Он шепнул еще раз:

— Где он?

Через десять минут пожарная машина была готова, насос опустили в колодец за церковью, шланг подвели к дверям ризницы. Если б моя помощь понадобилась, я не мог бы оказать ее сейчас. Моя энергия иссякла, силы мои истощились, вихрь моих мыслей мгновенно замер, затих, когда я понял, что он уже мертв. Я стоял беспомощно, я был бесполезен, я смотрел, смотрел не отрываясь в горящую комнату.

Пожар медленно затихал. Яркий огонь потускнел, дым подымался к небу белыми клубами; сквозь него виднелись красно-черные груды тлеющих углей на полу ризницы.

Еще минута — и пожарные вместе с полицейскими бросились вперед к двери, раздались негромкие восклицания, потом два человека отделились от остальных и прошли через толпу за церковную ограду. В мертвом молчании люди расступались, чтобы дать им пройти.

Через несколько минут толпа дрогнула, и живая стена медленно раздвинулась снова. Двое шли обратно и несли сорванную с петель дверь одного из нежилых домов. Они внесли ее в ризницу. Полицейские столпились у обгоревшего входа, мужчины по двое, по трое старались заглянуть им через плечо. Другие стояли подле, чтобы первыми услышать. Среди них были женщины и дети.

Вести из ризницы быстро облетели толпу — их передавали из уст в уста, пока они не долетели до того места, где я стоял. Я услышал, как спрашивали и отвечали вокруг меня приглушенно, взволнованно.

— Его нашли?

— Да.

— Где?

— У двери, он лежал ничком.

— У какой двери?

— У двери в церковь — он лежал головой к двери, ничком.

— А лицо сгорело?

— Нет.

— Да, сгорело.

— Нет, только обгорело. Он лежал ничком, лицом вниз, я же сказал.

— А кто он был?

— Лорд, говорят.

— Нет, не лорд. Сэр, что ли. Сэр — значит дворянин.

— Баронет он был.

— Нет.

— Да.

— А что ему здесь понадобилось?

— Верно, замышлял что-нибудь недоброе, уж я вам говорю!

— Это он нарочно?

— Нарочно сгорел!

— Да я не о нем — я о ризнице. Он ее нарочно поджег?

— Очень страшно смотреть на него?

— Страшно!

— А лицо?

— Нет, лицо ничего.

— Кто-нибудь его знает?

— Вон тот человек говорит, что знает.

— Кто?

— Говорят, лакей. Но он будто умом тронулся, и полиция ему не верит.

— А никто другой не знает, кто он такой?

— Ш-ш! Тише.

Громкий, уверенный голос кого-то из полисменов заставил утихнуть глухой ропот вокруг меня.

— Где джентльмен, который пытался спасти его? — сказал голос.

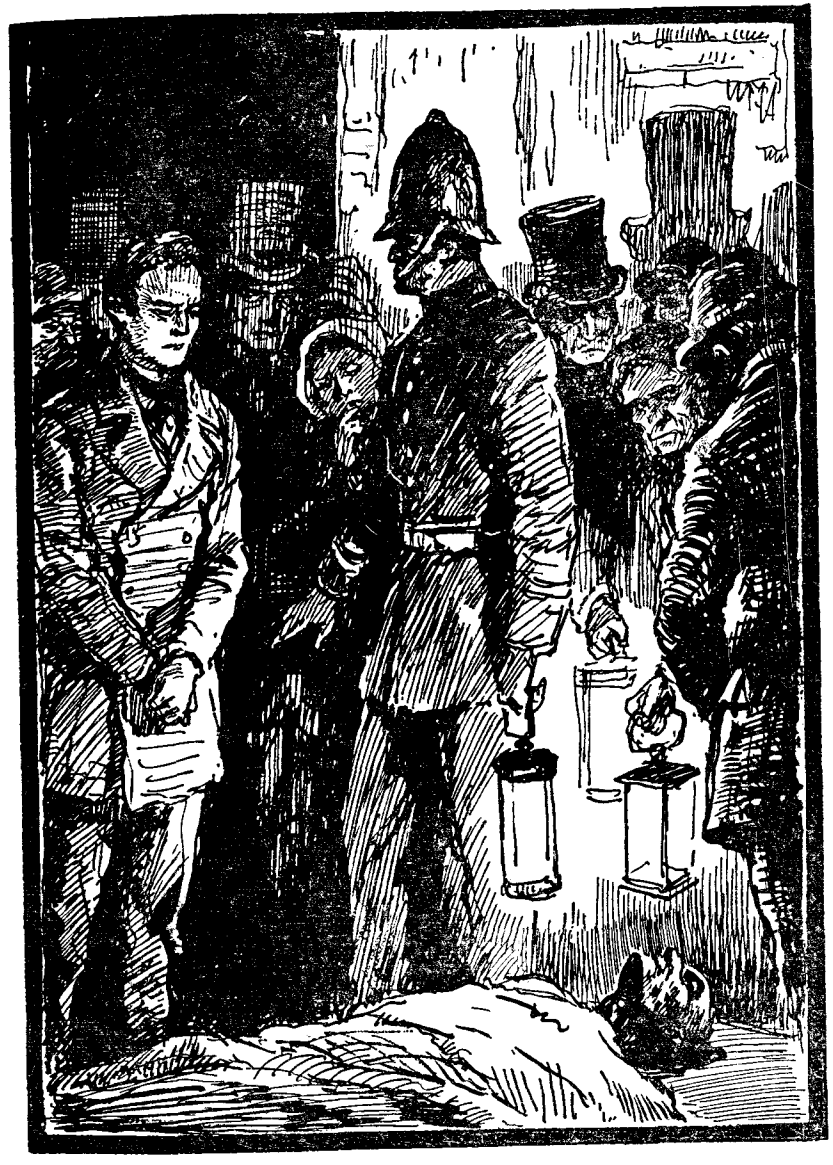
— Здесь, сэр, вон он! — Десятки взволнованных лиц повернулись ко мне, десятки рук раздвинули толпу, кто-то подошел ко мне с фонарем в руках.

— Пожалуйте сюда, сэр,— негромко сказал он.

Я был не в силах говорить с ним, я был не в силах сопротивляться, когда он взял меня за руку. Я попытался сказать, что никогда не видел умершего при жизни, что я не могу опознать его, что я совершенно посторонний человек. Но говорить я не мог. Я был близок к обмороку, я беспомощно молчал.

— Вы знаете его, сэр?

Вокруг меня кольцом стояли люди. Трое из них опустили фонари вниз. Их взгляды и взгляды всех остальных были устремлены на меня в немом ожидании. Я знал, что



лежит у моих ног, я понимал, почему они опустили фонари так низко.

— Можете вы опознать его, сэр?

Мои глаза медленно опустились. Сначала я ничего не увидел, кроме грубого брезента. Скупые капли дождя падали на него, глухо отдаваясь в гробовой тишине. Я перевел взгляд — там, в конце, в желтом свете фонаря, застывшее, зловещее, обугленное, глядело в небо его мертвое лицо.

Так в первый и последний раз я увидел его. Так волею судеб мы встретились наконец.

XI

По некоторым местным причинам, имевшим значение для следователя и городских властей, с судебным дознанием спешили — оно происходило на следующий же день. Мне пришлось присутствовать в качестве одного из свидетелей, вызванных в суд для расследования пожара.

Утром я первым долгом пошел на почту справиться, нет ли там для меня письма от Мэриан. Никакая перемена обстоятельств, какой бы необычной она ни была, не могла повлиять на мою главную заботу, пока я был вдали от Лондона. Утреннее письмо от Мэриан было для меня единственной возможностью узнать, не случилось ли в мое отсутствие какого несчастья с Лорой или с ней самой. День мой всегда начинался с этой главной заботы.

К моей радости, на почте меня ждало письмо от Мэриан.

Ничего не случилось — они обе были в целости и сохранности, как и в день моего отъезда. Лора посылала мне сердечный привет и просила, чтобы я обязательно за день сообщил ей о своем приезде. Ее сестра добавляла в пояснение, что Лора сэкономила «почти соверен» из собственного заработка и требовала, чтобы ей разрешили самой приготовить обед, долженствующий отпраздновать мое возвращение. Солнечным утром я читал эти маленькие домашние новости, а передо мной так живо, так ярко вставали ужасные воспоминания прошлой ночи. Необходимо было уберечь Лору от возможности случайно узнать правду — это было моей первой мыслью, когда я прочитал письмо. Я сейчас же написал Мэриан

и рассказал ей все, что уже рассказал на этих страницах, описывая ей происшедшее так постепенно и осторожно, как только мог, и предупреждая ее о том, чтобы никакие газеты ни в коем случае не попадались Лоре на глаза до моего возвращения. Если б на месте Мэриан была другая женщина, менее мужественная и менее надежная, я, может быть, не решился бы открыть ей всю правду Но Мэриан полностью заслуживала моего доверия, как я знал по опыту прошлого,— я мог всецело положиться на нее.

Письмо мое было длинным. Я был занят им до самого судебного дознания.

Следствие было очень затруднено в силу всяческих осложнений. Надо было выяснить не только вопрос о гибели человека, но и причину возникновения пожара, а также каким образом были похищены ключи и почему в ризнице во время пожара находился посторонний Пока что не установили даже личности покойного. Полиция не доверяла словам лакея, что он опознал своего хозяина, ибо несчастный слуга был в состоянии полной невменяемости. Послали в Нолсбери за теми, кто был хорошо знаком с внешностью сэра Персиваля Глайда, и с утра связались с Блекуотер-Парком. Благодаря принятым мерам следователь и понятые смогли наконец совершенно точно установить личность погибшего и подтвердить истинность слов лакея. Свидетельства разных лиц подтвердились осмотром часов покойного, на внутренней крышке которых были выгравированы герб и имя сэра Персиваля Глайда.

Затем стали разбирать вопрос о возникновении пожара. В качестве свидетеля первыми вызвали меня, лакея и мальчика, увидевшего, как в ризнице зажгли спичку Мальчик отвечал на вопросы вполне вразумительно, но несчастный лакей не мог прийти в себя после вчерашнего ужасного происшествия — всем было ясно, что он ничем не может помочь следствию, и его отпустили.

К моему облегчению, мой допрос был очень кратким Я не был знаком с покойным, никогда раньше его не видел, не знал, что он находился в Старом Уэлмингаме, и, когда тело было обнаружено, меня в ризнице не было. Я мог только сказать, что зашел в коттедж причетника, чтобы попросить его указать мне дорогу в Уэлмингам;

от него узнал об исчезновении ключей и пошел вместе с ним в церковь, чтобы в случае надобности помочь ему, увидел пожар, услышал, как какой-то неизвестный в ризнице напрасно пытался отпереть дверь, и сделал все, что мог, из чисто гуманных побуждений, чтобы спасти несчастного. Других свидетелей, знавших покойного, спрашивали, чем могут они объяснить похищение ключей и присутствие сэра Глайда в охваченной пожаром комнате. Но следователь, по-видимому, считал, что я, как посторонний человек в городе, незнакомый с сэром Персивалем Глайдом, не могу, само собой разумеется, представить никаких объяснений по этим двум вопросам.

Когда официальный допрос окончился, мне уже было ясно, как я должен вести себя в дальнейшем. Я не чувствовал себя обязанным давать добровольные показания, ибо сейчас они не имели бы никакого практического значения. Все доказательства моей правоты сгорели вместе с метрической книгой. Кроме того, если б я заговорил и высказал свое мнение обо всем этом, мне пришлось бы рассказать и про историю Лоры, а это, безусловно, произвело бы на следователя и на присяжных такое же неубедительное впечатление, как и на мистера Кирла.

Но теперь, на этих страницах, по прошествии стольких лет, я могу высказаться совершенно беспрепятственно. Прежде чем мое перо начнет описывать последующие события, я напишу вкратце, как представляю себе то, что произошло в ризнице, начиная с похищения ключей, возникновения пожара и, наконец, смерти этого человека.

Узнав, что я отпущен на поруки, сэр Персиваль, по-видимому, решил прибегнуть к крайним мерам. Одной из них было нападение на меня, когда я шел в Старый Уэлмингам. Второй мерой, несравненно более верной, как он правильно считал, было уничтожение всех доказательств его преступления путем похищения страницы, на которой был произведен подлог. Если б я не мог представить выписки из подлинной книги для сравнения с дубликатом книги в Нолсбери, у меня не было бы никаких улик и я бы не мог больше угрожать ему роковым разоблачением. Для достижения этой цели ему достаточно было войти в ризницу незамеченным, вырвать нужную

ему страницу из метрической книги и таким же путем выйти оттуда.

Легко понять, почему он ждал наступления вечера, чтобы выполнить задуманное, и почему воспользовался отсутствием причетника, чтобы взять ключи. Необходимость заставила его зажечь свет в ризнице, чтобы найти нужную ему книгу, а простая предосторожность подсказала, что надо закрыть дверь изнутри, на случай вторжения какого-нибудь любознательного прохожего.

Я не думаю, чтобы в его намерение входило поджечь церковь и таким образом уничтожить метрическую книгу. Ведь пожар могли затушить и книгу спасти. Этого было достаточно, чтобы мысль о поджоге исчезла из его головы так же быстро, как и зародилась в ней. Учитывая количество горючего материала в ризнице — солому, бумаги, ящики, сухое дерево, изъеденные червями шкафы и разный хлам,— по всей вероятности, пожар произошел совершенно случайно от зажженной спички.

Первым его побуждением при этих обстоятельствах было, несомненно, затушить огонь; не преуспев в этом, он (не зная состояния замка) пытался отпереть дверь, через которую вошел. Когда я позвал его, пламя уже охватило шкафы и другие легко воспламеняющиеся предметы, которые стояли недалеко от дверей, ведущих в церковь. По всей вероятности, огонь и дым были уже настолько сильны, что он был не в силах бороться с ними, когда пытался открыть внутреннюю дверь. Когда я влез на крышу и разбил слуховое окно, он уже лежал без сознания на том самом месте, где его нашли. Даже если б мы могли проникнуть в церковь и взломать дверь с другой стороны, опоздание было бы роковым: к этому времени его уже нельзя было спасти — мы только дали бы возможность огню перекинуться в церковь, и тогда ее постигла бы та же участь, что и сгоревшую ризницу. Теперь же сама церковь уцелела. У меня, как и у других, не возникает сомнений, что, когда мы побежали в пустой коттедж и изо всех сил старались добыть балку, он был уже мертв.

Вот, с моей точки зрения, приблизительное истолкование тех фактов, очевидцами которых мы были. Так произошло описанное мною событие. Так было найдено его тело.

Судебное дознание отложили на день. Пока что законные власти не могли найти никакого объяснения таинственным обстоятельствам этого дела.

Намеревались пригласить еще свидетелей, в том числе и поверенного покойного сэра Персиваля Глайда из Лондона. Местному доктору было поручено освидетельствовать умственные способности лакея, ибо в том состоянии, в котором он теперь находился, он был не способен давать какие-либо показания. Он мог только с совершенно растерянным видом заявить, что в ночь, когда произошел пожар, ему было приказано ждать на лужайке; он ничего больше не знает, кроме того, что покойный был его хозяином.

У меня создалось впечатление, что с его помощью (в чем он был не виноват, ибо, конечно, не был посвящен в подробности) установили отсутствие причетника в доме, а затем ему приказали ждать неподалеку от церкви (не приближаясь, однако, к ризнице); он должен был помочь хозяину справиться со мной в случае, если б я, избежав нападения на дороге, встретился с сэром Персивалем. Необходимо прибавить, что от лакея так никогда ничего и не добились. Медицинской экспертизой было установлено, что в результате пожара и гибели хозяина его умственные способности серьезно расстроены. Во время следующего судебного заседания он по-прежнему не мог дать никаких удовлетворительных показаний, и очень возможно — не оправился от этого потрясения и по сей день.

Я вернулся в отель в Уэлмингаме в подавленном настроении, усталый и измученный всем, что произошло. Я был не в силах слушать местные сплетни о судебном дознании и отвечать на вопросы, которые мне задавали посетители ресторана при гостинице. Покончив с моим скромным обедом, я удалился в мою каморку под чердаком, чтобы немного отдохнуть и подумать на свободе о Лоре и Мэриан.

Если б я был богаче, я бы в тот же вечер съездил в Лондон, чтобы поглядеть на моих дорогих и любимых. Но завтра я должен был присутствовать на судебном заседании (на случай, если мои показания еще понадобятся), а главное, мне надо было обязательно предстать перед мировым судьей в Нолсбери. Наши скромные средства уже истощились, а сомнительное будущее —

теперь еще более сомнительное, чем когда-либо,— заставляло меня опасаться лишних расходов и не разрешало мне съездить в Лондон и обратно даже по недорогому билету второго класса.

На следующий день после судебного следствия я был предоставлен самому себе. Я начал утро с того, что пошел, как обычно, на почту за письмом Мэриан. Оно ждало меня и было бодрым и жизнерадостным. Я с благодарностью прочитал письмо и с облегченным сердцем направился в Старый Уэлмингам, чтобы взглянуть на пожарище при дневном свете.

Какие перемены ждали меня, когда я туда пришел!

На всех путях нашего непонятного мира обычное и необычайное идут рука об руку. Любые катастрофы всегда сопровождаются самыми обыденными, подчас смешными подробностями. Когда я подошел к церкви, лишь вытоптанные дорожки маленького кладбища свидетельствовали о недавнем пожарище и гибели человека. Двери ризницы были наскоро заколочены досками. На досках были уже намалеваны грубые карикатуры. Деревенские мальчишки с криками ссорились за лучшую дырочку, чтобы поглядеть внутрь. На том самом месте, где я стоял вчера, когда из пылающей ризницы до меня донесся исступленный крик о помощи, на том самом месте, где лакей в ужасе упал на колени, сегодня стая кур хлопотливо рылась в земле в поисках дождевых червей. А на земле, у моих ног, там, где накануне опустили страшную ношу, стояла сейчас миска с обедом какого-то рабочего, и его верный сторож — пес тявкал на меня за то, что я стою слишком близко к собственности его хозяина. Старый причетник, праздно наблюдавший за неспешными работами по ремонту церкви, мог говорить только на одну тему, интересовавшую его: как избежать ответственности за случившееся. Одна из деревенских жительниц, чье бледное от ужаса лицо запомнилось мне, когда мы отдирали балку, пересмеивалась сейчас с другой женщиной над старым корытом с грязным бельем. Нет в смертных настоящей серьезности! Сам Соломон[1] во всей своей славе был всего только Соломоном, не

[1] Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг до н. э. Согласно библейским легендам, славился необычайной мудростью.

лишенным тех обычных слабостей, которые присущи каждому из нас.

Когда я уходил, мысли мои снова вернулись к тому, о чем я уже думал: надежда установить личность Лоры путем признания сэра Персиваля не могла теперь осуществиться. Он умер — с ним погибло то, что составляло цель всех моих стремлений и надежд.

Но может быть, теперешнее положение вещей следовало рассматривать с другой, более правильной точки зрения?

Предположим, он остался бы в живых — что изменилось бы от этого? Мог ли я — даже во имя Лоры — пригрозить ему публичным разоблачением его тайны, когда я выяснил, что преступление сэра Персиваля состояло в том, что он присвоил себе права другого человека? Мог ли я ценой моего молчания предложить ему сознаться в заговоре против Лоры, когда я знал, что в результате моего молчания настоящий наследник лишен законно перешедшего ему по наследству поместья, а также принадлежащего ему по праву титула и звания? Нет! Если б сэр Персиваль был жив, его тайна, от которой, не зная ее подлинной сути, я так много ждал, не была бы моей. Я не имел права ни умолчать о ней, ни обнародовать ее, даже во имя восстановления попранных прав Лоры. Из простой честности я был обязан немедленно отправиться к тому незнакомому мне человеку, чье наследство и титул были похищены сэром Персивалем. Я был обязан отказаться от моей победы, полностью передав ее в руки тому незнакомцу. И снова очутился бы лицом к лицу с прежними трудностями, так же как стоял перед ними сейчас! Мне предстояло бороться дальше. Я был готов к этому.

В Уэлмингам я вернулся несколько успокоенный, чувствуя еще бóльшую уверенность в своих силах, чем раньше, и с непоколебимым решением довести дело до конца.

На пути в гостиницу я прошел через сквер, где жила миссис Катерик. Не зайти ли к ней и не повидать ли ее? Нет. Неожиданная весть о смерти сэра Персиваля уже донеслась до нее несколько часов назад. Местные утренние газеты напечатали подробный отчет о судебном дознании — ничего нового к тому, что она уже знала, я прибавить не мог. У меня пропало желание, чтобы она проговорилась. Мне припомнилось, какая ненависть промелькнула на ее лице, когда она сказала: «Я не жду никаких вестей о сэре Персивале, кроме вести о его смерти». Я припомнил, с каким скрытым интересом она разглядывала меня, когда я собрался уходить. И какое-то чувство глубоко в моем сердце — я знал, что чувство это правильное,— делало для меня новую встречу с ней немыслимой. Я свернул на другую улицу, в сторону от сквера, и пошел прямо к себе в отель.

Когда несколько часов спустя я сидел в ресторации, ко мне подошел слуга и подал письмо, адресованное на мое имя. Мне сказали, что в сумерки, как раз перед тем, как зажглись газовые фонари, его принесла какая-то женщина. Прежде чем могли заговорить с ней или разглядеть ее, она ушла, не сказав ни слова.

Я распечатал письмо. Ни числа, ни подписи на нем не было. Почерк был явно измененный. Но, не прочитав и первой строчки, я понял, что писала миссис Катерик.

Я переписал письмо дословно. Вот оно.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ МИССИС КАТЕРИК

Сэр, Вы не вернулись, как обещали. Но я уже знаю вчерашнюю новость и пишу, чтобы уведомить Вас об этом. Заметили ли Вы что-нибудь особенное в моем лице, когда уходили? Я тогда думала про себя: не настал ли наконец день его погибели — и не Вы ли тот избранный, через которого он погибнет? Так оно и случилось.

Как я слышала, вы были настолько малодушны, что пытались спасти его. Если б Вам это удалось, я считала бы Вас своим врагом. Вам это не удалось, и я считаю Вас своим другом. Ваши расспросы спугнули его, и он забрался ночью в ризницу. Ваши расспросы, без Вашего ведома и против Вашего желания, послужили делу моей ненависти и утолили мою многолетнюю жажду мести. Благодарю Вас, сэр, хотя Вы и не нуждаетесь в моей благодарности.

Я чувствую себя обязанной человеку, свершившему это. Чем я могу отплатить Вам? Если б я была еще молода, я сказала бы Вам: «Приходите, обнимите и поцелуйте меня, если хотите». Я пошла бы даже на это — и Вы бы не отказались, сэр, нет, не отказались бы лет двадцать назад. Но теперь я уже старая женщина. Что ж! Я удовлетворю Ваше любопытство и отблагодарю Вас таким путем. Когда Вы приходили ко мне, Вам чрезвычайно хотелось узнать кое-что из моих личных дел — личных

моих дел, о которых при всей Вашей проницательности Вы никогда не могли бы узнать без моей помощи, личных моих дел, о которых Вам ничего не известно даже сейчас. Вы их узнаете, Ваша любознательность будет удовлетворена. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы угодить Вам и доставить удовольствие, мой достойный уважения молодой друг!

Вы, наверно, были еще маленьким мальчиком в 1827 году. А я была в то время красивой молодой женщиной и жила в Старом Уэлмингаме. Я была замужем за жалким глупцом. А также имела честь быть знакомой (неважно, каким образом) с неким джентльменом (неважно, с кем). Я не назову его. Зачем? Имя, которое он носил, не принадлежало ему. У него никогда не было имени: теперь Вы знаете это так же хорошо, как и я.

Лучше я расскажу Вам, как он добился моего расположения. У меня всегда были вкусы настоящей леди, и он потворствовал им — иными словами, он восхищался мной и делал мне подарки. Ни одна женщина не может устоять перед восхищением и подарками, особенно перед подарками. Конечно, в том случае, если эти подарки именно такие, как ей хочется. Он был достаточно сообразителен, чтобы понимать это. Большинство мужчин это понимают. Естественно, он хотел чего-то взамен, как и все мужчины. И как Вы думаете — чего бы? Сущей безделицы: всего только ключа от ризницы нашей старой приходской церкви да ключа от шкафа, который там стоял, но так, чтобы мой муж ничего об этом не знал. Когда я спросила, почему он хочет, чтобы я достала ему ключи таким скрытым путем, он, конечно, солгал мне. Он мог бы и не лгать — я все равно ему не поверила. Но мне нравились его подарки, и мне хотелось получать их и в дальнейшем. Вот я и достала ему ключи по секрету от мужа и стала наблюдать за ним по секрету от него самого. Один раз, другой, третий, а на четвертый я его накрыла с поличным.

Я никогда не была сверхщепетильной в делах, которые меня не касались, и мне было решительно все равно, что в своих интересах он приписал еще одну свадьбу к другим свадьбам в метрической книге.

Конечно, я знала, что это нехорошо, но мне-то ведь от этого никакого вреда не было, поэтому не стоило поднимать из-за этого шумиху. А у меня уже были золотые

часы с цепочкой, не первые, и он обещал мне еще часы из Лондона только за день до того. Это были уже третьи часы, и самые лучшие. Если бы я знала, как закон смотрит на подобное преступление и как закон его карает, я бы, конечно, позаботилась о себе как должно и сразу выдала бы его. Но я ничего не знала и мечтала о золотых часах Я поставила только одно условие: он должен мне все рассказать. Его дела интересовали меня тогда не меньше, чем мои дела интересуют Вас теперь. Он согласился на мое условие, почему — Вы сейчас узнаете.

Вот что я от него услышала, хотя он не очень-то охотно рассказывал об этом. Кое-что я вытянула из него уговорами, кое-что настойчивыми вопросами. Мне хотелось знать всю правду, и, по-моему, я ее знаю.

Он знал не больше, чем другие, о том, как обстоят дела между его отцом и матерью, пока мать его не умерла. Тогда отец во всем ему признался и обещал сделать для сына все, что мог, но умер, ничего не сделав — не оставив даже завещания. Сын (кто осудит его за это?) позаботился о себе сам. Он сразу же приехал в Англию и вступил во владение имениями. Никто не заподозрил, что он не имеет на это никакого права, никто не сказал ему «нет». Его отец с матерью всегда жили, как муж с женой,— никто из тех немногих, кто был знаком с ними, не подозревал, что они не женаты. Настоящим наследником (если б правда была обнаружена) являлся дальний родственник его отца, которому и в голову не приходило, что он может быть наследником. Когда отец «того» умер, он плавал в каких-то океанах. Пока что мой знакомый не встретился ни с какими затруднениями — он вступил во владение наследством, будто так и полагалось. Но заложить свое имение он не мог. Это было не так-то просто. От него требовались две вещи: одна — метрическое свидетельство о его рождении, а вторая — свидетельство о браке его родителей. Метрическое свидетельство о рождении было легко достать — он родился за границей, и метрика у него была в полном порядке. Второе было труднее, это и привело его в Старый Уэлмингам.

Он поехал бы вместо Старого Уэлмингама в Нолсбери, если б не одно соображение. Его мать жила там до того, как познакомилась с его отцом. Она проживала под своей девичьей фамилией, а на самом деле была уже замужем, в Ирландии, где ее муж всячески ее обижал, а потом

и вовсе бросил — ушел к другой женщине. Это все правда — сэр Феликс сам сказал своему сыну, что только по этой причине он и не мог жениться на его матери. Вы, наверно, удивляетесь, почему сын, зная, что его родители познакомились в Нолсбери, не сыграл штуку с метрической книгой в той церкви, где его родителям полагалось бы обвенчаться. Но дело в том, что священник, который служил в церкви в Нолсбери еще в 1803 году (когда его родители должны были бы пожениться, чтобы их брак совпадал с его метрикой о рождении), был еще жив в 1827 году, когда он приехал получать свое незаконное наследство. Это неприятное обстоятельство и заставило его искать возможности совершить подлог в другом месте, по соседству с нами. Прежний священник нашей церкви умер за несколько лет до этого, и здесь опасности не было.

Старый Уэлмингам устраивал его больше, чем Нолсбери. Его отец увез его мать из Нолсбери и жил с ней неподалеку от нас, в большом доме у самой реки. Люди, знавшие, что он любил уединение, когда был холостым, не удивлялись, что он и женатый продолжает сохранять прежние привычки. Если б он не был уродом, его уединенная жизнь с молодой женой могла бы показаться подозрительной. Но никого не удивляло, что он продолжал прятать от всех свое уродство. Он жил в наших местах, пока не унаследовал Блекуотер-Парк. По прошествии двадцати четырех лет кто мог заподозрить (священник-то наш умер!), что свадьбу он не отпраздновал столь же уединенно, как прожил всю свою прежнюю жизнь, и что не обвенчался в церкви Старого Уэлмингама?

Вот почему его сын решил, что Старый Уэлмингам — наилучшее место, чтобы ради собственной выгоды втайне исправить положение вещей. Вы, может быть, удивитесь, когда я скажу вам, что он подделал запись в метрической книге неожиданно для самого себя и что мысль об этом пришла ему в голову под влиянием минуты.

Сначала он хотел просто вырвать страницу на подходящем месте и уничтожить ее, а потом поехать в Лондон и сказать тамошним юристам, чтобы они сами добыли ему свидетельство о браке его родителей, конечно указав соответствующее число и год. Никто после этого не заподозрил бы, что его отец и мать были не обвенчаны. Но он не был уверен, одолжат ему денег при этих обсто-

ятельствах или нет. Во всяком случае, если б встал вопрос о его законных правах на титул и поместье, ответ у него был наготове.

Когда в руках у него оказалась метрическая книга, он стал ее просматривать и увидел незаполненное место на одной из страниц за 1803 год, очевидно, оттого, что следующая длинная брачная запись не помещалась там и поэтому ее записали вверху на следующей странице. При виде этого пустого места его планы изменились. Перед ним была возможность, которой он никогда не ожидал, о которой и не мечтал, и он ею воспользовался — вы знаете, каким образом. Для того чтобы его собственная метрика совпадала с записью о браке его родителей, ему нужен был июль месяц. А пустое место было на сентябрьской странице. Но в случае каких-либо вопросов он всегда мог сказать, что родился семимесячным.

Я была так глупа, что, когда он рассказал мне свою историю, мне стало жаль его. Как раз на это он и рассчитывал, как Вы дальше увидите. Я сочла, что судьба поступила с ним жестоко. Он был не виноват в том, что его отец и мать не поженились, а они не были женаты тоже не по своей вине. Даже более разборчивая женщина, чем я, женщина, которой не так страстно хотелось бы золотых часов с цепочкой, и она нашла бы для него оправдание. Во всяком случае, я держала язык за зубами и помогла ему скрыть то, что он сделал.

Какое-то время он употребил на то, чтобы подделать чернила (он все смешивал их в разных моих пузырьках) и почерк. Наконец это ему удалось, и он сделал из своей матери порядочную женщину, а она была уже в могиле! Пока что я не отрицаю, что он вел себя по отношению ко мне довольно честно, не жалея расходов. Он подарил мне часы с цепочкой — они были великолепной работы и очень дорого стоили. Они до сих пор у меня и ходят прекрасно.

Прошлый раз Вы сказали, что миссис Клеменс поделилась с Вами всем, что знала. В таком случае мне незачем описывать Вам ложный скандал, из-за которого я пострадала — пострадала невинно, я это утверждаю! Вы знаете так же хорошо, как и я, что за чепуху вбил себе в голову мой муж, когда проведал о моих свиданиях и секретах с этим прекрасным джентльменом. Но вы не знаете, чем все это кончилось между этим прекрасным

джентльменом и мною. Читайте дальше и судите сами о его поведении.

Первые слова, которые я ему сказала, когда увидела, как повернулось дело, были: «Оправдайте меня! Снимите с моей репутации пятно, которого, как вы знаете, я не заслужила. Я не требую, чтобы вы во всем открылись моему мужу, только скажите ему под честным словом джентльмена, что он не прав и что я не виновата в том, в чем он меня подозревает. Сделайте для меня хотя бы это после всего того, что я для вас сделала». Он наотрез отказался. Он мне прямо заявил, что ему выгодно, чтобы мой муж и все соседи верили в эту ложь, потому что тогда они не заподозрят правду. Но я не сдавалась и сказала ему, что в таком случае муж мой и все остальные узнают правду из моих собственных уст. Ответ его был немногословен: если я проговорюсь и погублю его, я сама погибну вместе с ним.

Да! Вот к чему это все привело. Он обманул меня. Он не сказал мне, чем я рискую, помогая ему. Он воспользовался моим неведением, он обольстил меня своими подарками, он растрогал меня своей историей, а в результате сделал меня своей сообщницей. Он весьма хладнокровно заявил мне об этом и кончил тем, что впервые сказал мне о страшной каре за это преступление. В те дни закон не был столь благодушным, как теперь. Вешали не только убийц и с женщинами-преступницами не обращались, как с дамами, попавшими в несчастье. Признаюсь, он напугал меня, подлый самозванец! Презренный негодяй! Вы понимаете теперь, как я его ненавидела? Понимаете, почему я взяла на себя труд — взяла с благодарностью! — удовлетворить любопытство молодого джентльмена, который выведал его тайну!

Но продолжаю. Он не был настолько глуп, чтобы доводить меня до полного отчаяния. Такую женщину, как я, небезопасно было загонять в угол, доводить до крайности — он понимал это и благоразумно постарался пойти на мировую, успокаивая меня предложениями относительно моего будущего.

Я заслужила некоторое вознаграждение (так он любезно выразился) за услугу, ему оказанную, и некоторого возмещения (так он милостиво прибавил) за все, что я выстрадала. Он был готов (великодушный проходимец!) выплачивать мне ежегодное содержание (раз в три

месяца) на двух условиях. Во-первых, я должна была молчать — ради самой себя так же, как и ради него. Во-вторых, я никогда не должна была уезжать из Уэлмингама, не дав ему предварительно знать об этом и не получив его разрешения. В Уэлмингаме мне не пришлось бы откровенно посплетничать за чашкой чая с моими приятельницами-соседками. В Уэлмингаме он всегда знал, где меня найти. Второе условие было нелегким, но я согласилась. Что мне оставалось делать? Я была совершенно беспомощна, а в будущем на моих руках должна была оказаться новая обуза — ребенок. Что мне оставалось делать? Положиться на милость моего мужа-глупца, который затеял весь этот скандал против меня? Да ни за что на свете! К тому же обещанное ежегодное содержание было вполне приличным. Я согласилась. И стала жить лучше других. Мой дом был лучше, мои ковры были лучше, чем дома и ковры других женщин, которые закатывали глаза под потолок при виде меня. Добродетель в наших местах ходила в ситцевых платьях, я носила шелковые!

Итак, я приняла его условия и постаралась использовать их как можно разумнее. Я начала битву с моими достопочтенными соседями, не сдаваясь и не уступая. По прошествии известного времени я одержала победу, как вы изволили видеть сами. Как я все эти годы хранила его тайну (и свою), и вкралась ли ко мне в доверие дочь моя, покойная Анна, и поделилась ли я с нею его тайной — эти вопросы, как я предполагаю, тоже Вас интересуют.

Ну так вот — я так Вам благодарна, что ни в чем не могу отказать. Я начну новую страницу и сразу же отвечу на эти вопросы. Но извините меня, мистер Хартрайт, сначала мне придется выразить Вам свое удивление по поводу Вашего интереса к моей покойной дочери. Мне это непонятно! Если Вас интересуют подробности ее детства, обратитесь к миссис Клеменс, она знает об этом больше, чем я. Поймите, прошу Вас, что я не питала чрезмерной привязанности к моей покойной дочери. С первых до последних дней она была обузой для меня, да к тому же в голове у нее с детства было не все в порядке. Вы любите прямоту — надеюсь, Вы сейчас довольны.

Не стоит затруднять Вас подробностями относительно моего прошлого. Скажу только, что, со своей стороны,

я выполняла условия и довольствовалась моим приличным содержанием, получая его аккуратно четыре раза в год.

Время от времени я уезжала ненадолго из города, всегда предварительно испрашивая разрешения у моего владыки и хозяина и обычно получая это разрешение. Как я Вам уже говорила, он был достаточно умен, чтобы не выводить меня из терпения. Он мог всецело рассчитывать, что я буду держать язык за зубами, хотя бы ради самой себя. Одной из моих самых длительных поездок была поездка в Лиммеридж. Я отправилась туда ухаживать за больной двоюродной сестрой, которая в то время умирала. По слухам, у нее водились деньги, и я решила (на случай, если б что-нибудь в будущем помешало мне получать свое содержание), что неплохо было бы обеспечить себя и с этой стороны. Но вышло, что я старалась напрасно, мне ничего не досталось, так как у нее ничего и не было.

Я взяла Анну с собой. У меня бывали иногда свои причуды в отношении этого ребенка, и подчас я начинала ревновать к влиянию на нее этой миссис Клеменс. Миссис Клеменс никогда не нравилась мне. Она всегда была ничтожной, пустоголовой, робкой женщиной, что называется, прирожденной горемыкой,— и время от времени я не отказывала себе в удовольствии досадить ей, отбирая у нее Анну. Не зная, что делать с моей дочерью, пока я ухаживаю за своей родственницей в Кумберленде, я отдала ее в школу в Лиммеридже. Владелица поместья, миссис Фэрли (на редкость некрасивая женщина, которой удалось подцепить одного из самых красивых мужчин в Англии), чрезвычайно позабавила меня тем, что очень привязалась к моему ребенку. Вследствие этого девочка ничему в школе не научилась. В Лиммеридже с ней всячески носились и баловали. Они вбивали ей в голову разную чушь и, между прочим, внушили ей, что она должна носить только белое. Я терпеть не могла белый цвет и всегда любила яркие краски. Я решила выбить эту дурь у нее из головы, как только мы вернемся домой.

Как это ни странно, дочь моя решительно воспротивилась мне. Если уж ей, бывало, взбредет что на ум — она упряма, как осел, и от своего не отступится, как это бывает и с другими полоумными. Мы с ней наконец совсем поссорились, и миссис Клеменс, которой это, видимо, было не по душе, предложила взять Анну с собой в Лондон с

тем, чтобы та осталась жить у нее. Если б миссис Клеменс не была на стороне Анны, когда та изъявила желание одеваться только в белое, я бы, пожалуй, согласилась. Но миссис Клеменс стала мне еще противнее из-за того, что шла наперекор мне, а я твердо решила, что Анна не будет ходить в белом, поэтому я сказала «нет» наотрез, окончательно. Дочь моя осталась при мне — в результате этого произошла первая серьезная стычка с моим приятелем по поводу его тайны.

Это случилось долгое время спустя после того, о чем я Вам сейчас рассказала. Я обосновалась в новом городе и прожила там уже много лет, неуклонно восстанавливая свою репутацию и постепенно завоевывая положение среди уважаемых лиц города. То, что дочь моя жила при мне, надо сказать, очень этому способствовало. Ее безответность и прихоть одеваться в белое вызывали даже некоторую симпатию. Я перестала противиться ее капризу. Кое-что из этой симпатии должно было перепасть и на мою долю. Так оно и было. Я считаю, что именно с этого времени мне предложили арендовать два лучших места в церкви, а после этого священник впервые мне поклонился.

Так вот, однажды утром я получила письмо от этого высокородного джентльмена (ныне покойного) в ответ на мое, в котором я его предупреждала, согласно условию, о своем намерении немного проехаться для перемены обстановки.

Очевидно, когда он получил мое письмо, его наглость взяла верх над его благоразумием: он ответил мне отказом в таких оскорбительных выражениях, что я потеряла всякое самообладание и отозвалась о нем в присутствии моей дочери как о «низком самозванце, которого я могла бы погубить на всю жизнь, если б разжала рот и выдала его тайну». Только это я и сказала. Я тут же спохватилась при виде выражения лица моей дочери, которая с жадным любопытством смотрела на меня. Я немедленно приказала ей выйти из комнаты, пока я не успокоюсь.

Признаюсь, не очень-то весело было у меня на душе, когда я поразмыслила над своей опрометчивостью. В тот год Анна была еще более странной и полоумной, чем обычно. Я пришла в ужас, когда подумала, что она может случайно повторить мои слова в городе и упомянуть при этом его имя, если кто из любопытства станет ее расспрашивать. Я сильно испугалась возможных последствий. Дальше этого мои страхи не шли. Я была совершенно не подготовлена к тому, что произошло в действительности,— на следующий же день.

На следующий день он без всякого предупреждения явился ко мне.

С первых же его слов мне стало ясно, что, несмотря на свою самоуверенность, он весьма раскаивается в своем дерзком ответе на мою просьбу и что он приехал — в очень дурном настроении — наладить наши отношения, пока еще не поздно. Заметив в комнате мою дочь (я боялась отпускать ее от себя после того, что случилось накануне), он приказал ей выйти. Они оба не очень-то любили друг друга, а тут, боясь накидываться на меня, он сорвал свое настроение на ней.

— Оставьте нас! — сказал он ей через плечо.

Она посмотрела на него тоже через плечо и не пошевельнулась.

— Вы слышите? — заорал он.— Уходите из комнаты!

— Говорите со мной вежливым тоном,— говорит она, вся вспыхнув.

— Прогоните эту идиотку! — говорит он, глядя в мою сторону.

У нее всегда была дурацкая привычка носиться со своим чувством собственного достоинства, и слово «идиотка» вывело ее из себя. Прежде чем я могла вмешаться, она яростно кинулась к нему.

— Сейчас же просите у меня прощения,— говорит она,— а не то я вам покажу! Я выдам вашу тайну! Я могу погубить вас на всю жизнь, если только пожелаю!

Мои слова! Она повторила их именно так, как я их произнесла накануне. Он онемел от гнева и стал белый, как бумага, на которой я сейчас пишу, а я поскорее вытолкала ее из комнаты. Когда он пришел в себя...

Нет. Я слишком почтенная женщина, чтобы повторить то, что он сказал, когда пришел в себя. Мое перо — это перо члена церковной общины, подписчицы на проповеди «В вере мое спасение». Можно ли ждать от меня, чтобы я повторяла подобные выражения? Представьте себе неистовые, бешеные ругательства самого отъявленного разбойника в Англии. Вернемся скорей к тому, чем все это кончилось.

Как Вы, наверное, уже угадали, это кончилось тем, что из самосохранения он настоял на водворении ее в сумасшедший дом.

Я пробовала успокоить его. Я ему сказала, что она просто повторила, как попугай, слова, случайно сорвавшиеся с моего языка. Я уверяла его, что она ничего не знает про его тайну, ибо я ей ничего не рассказала. Я объясняла, что она, как дура, притворилась назло ему, что знает то, чего на самом деле не знала,— она только хотела пригрозить ему и отомстить за его невежливое с ней обращение. Я говорила ему, что мои безрассудные слова дали ей возможность причинить ему неприятность, которую ей давно хотелось ему причинить. Я напомнила ему о других ее странностях, о том, что слабоумные иногда заговариваются, как он и сам это знал. Все было бесполезно. Он не верил моим клятвам, он был убежден, что я целиком выдала его тайну. Короче, он и слушать ничего не хотел и твердил, что ее необходимо упрятать в сумасшедший дом.

При этих обстоятельствах я исполнила свой долг матери.

— Никаких бесплатных больниц,— сказала я.— Я не допущу, чтобы ее помещали в бесплатную больницу. В частную лечебницу, если уж вам так угодно. У меня есть свои материнские чувства и установившаяся репутация в этом городе, я согласна только на частную лечебницу, на такую, какую мои уважаемые соседи выбрали бы для своих умалишенных родственников.

Хотя я и не питала чрезмерной любви к своей дочери, у меня было надлежащее чувство собственного достоинства и приличествующая мне гордость матери. Благодаря моей твердости и решительности позор благотворительности никогда не запятнал моего ребенка.

Настояв на своем (это удалось мне довольно легко благодаря разным льготам при помещении пациентов в частные лечебницы), я не могу не признать, что интернирование Анны имело свои преимущества. Во-первых, за ней был прекрасный уход и с ней обращались, как с леди (я позаботилась, чтобы в городе узнали об этом). Во-вторых, ее удалили из Уэлмингама, где она могла вызвать разные ненужные толки и расспросы, если бы повторила мои неосторожные слова.

То, что ее отдали под надзор, имело только одно

отрицательное последствие. Ее пустое хвастовство по поводу того, что она будто бы знает его тайну, превратилось в настоящую манию. Она была достаточно хитра, чтобы сразу понять, что своими словами, сказанными ею назло человеку, оскорбившему ее, она и в самом деле серьезно его испугала. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, какую он играл роль в ее интернировании. Когда ее увозили в лечебницу, она впала в страшную ярость, а когда ее туда привезли, первым, что она сказала сиделкам, когда ее немного успокоили, было: «Я знаю его тайну, и я его погублю, когда настанет время».

Возможно, то же самое она сказала и Вам, когда Вы легкомысленно помогли ее побегу. Она, конечно, сказала об этом (как я слышала) той несчастной женщине, которая вышла замуж за нашего приятного, любезного безыменного джентльмена (недавно умершего). Если б Вы или сия незадачливая леди внимательно порасспросили мою дочь и настояли, чтобы она объяснила свои слова, Вы убедились бы, что она ничего конкретного не могла бы Вам сказать, и с нее сразу слетела бы спесь. Вы убедились бы, что я пишу Вам чистую правду. Она знала, что существует какая-то тайна, она знала, чья это тайна, она знала, кто пострадает, если тайна откроется, но, кроме этого, ничего не знала. Ей нравилось строить из себя важную персону и хвастать, но она ничего не знала до самой своей смерти.

Удовлетворила ли я Вашу любознательность? Во всяком случае, я приложила к этому все старания. Право, мне ничего не остается добавить ни о себе самой, ни о своей дочери. Мои тяжелые обязанности по отношению к ней полностью закончились, когда ее благополучно поместили в лечебницу. Указания, касающиеся этого вопроса, были однажды вручены мне. Я переписала их и отослала в ответ на письмо какой-то мисс Голкомб. Она интересовалась моей дочерью, очевидно наслушавшись разного вранья от некоего джентльмена, привыкшего к вранью. И после того как моя дочь убежала из сумасшедшего дома, я сделала все, что было в моих силах, чтобы отыскать ее и воспрепятствовать разным неприятностям, которые она могла наделать. Я также наводила справки в той местности, где ее будто бы видели. Но все эти пустяки не могут представлять для Вас интереса после всего того, что Вы уже услышали.

До сих пор я писала Вам в духе полного дружелюбия. Но, заканчивая письмо, не могу не присовокупить серьезного упрека по Вашему адресу.

Во время нашего свидания Вы дерзко намекнули на происхождение моей дочери, как если б этот вопрос вызывал у Вас какие-то сомнения. С Вашей стороны это было чрезвычайно невежливо и неприлично! Если мы с Вами снова встретимся, будьте любезны не забывать, что я не потерплю никаких намеков. Добропорядочность моей репутации выше подозрений, и моральные устои Уэлмингама (как любит выражаться мой друг священник) не должны оскверняться никакими беспринципными и развязными разговорами подобного рода. Если Вы разрешили себе усомниться в том, что мой муж был отцом Анны, Вы нанесли мне грубое оскорбление. Если Вы чувствовали и продолжаете чувствовать безнравственное любопытство по этому поводу, советую Вам в Ваших собственных интересах его унять — раз и навсегда. По эту сторону могилы, мистер Хартрайт, что бы ни случилось с нами в загробной жизни, Ваше любопытство никогда не будет удовлетворено.

Возможно, после того, что я сейчас сказала, Вы сочтете необходимым прислать мне письмо с извинениями. Сделайте это. Я отнесусь к нему благосклонно. Я пойду еще дальше — если Вы захотите повидать меня вторично, я приму Вас. Хотя мои материальные обстоятельства и не пострадали от недавнего происшествия, они позволяют мне пригласить Вас всего только на чашку чая. Как я Вам уже говорила, я всегда жила по средствам и за последние двадцать лет сэкономила достаточно, чтобы прожить остаток моей жизни вполне безбедно. Я не собираюсь уезжать из Уэлмингама. В этом городе мне осталось еще кое-чего добиться. Как Вы видели, священник со мной здоровается. Но он женат, а жена его менее вежлива, чем он сам. Я намереваюсь вступить в благотворительную общину «Доркас» и заставить жену священника также здороваться со мной.

Если Вы почтите меня своим визитом, имейте в виду — мы будем вести разговор только на общие темы. Всякое умышленное напоминание об этом письме будет бесполезным. Я решительно откажусь от него. Улики погибли при пожаре, я знаю. Но считаю, что предосторожности никогда не бывают излишними.

В силу этого здесь не называют никаких имен и подписи не будет. Почерк всюду измененный, и я сама отнесу письмо при обстоятельствах, исключающих всякую возможность доискаться, что оно исходит от меня. У Вас нет причин жаловаться на все эти меры предосторожности. Они не помешали мне изложить здесь сведения, которые Вам так хотелось иметь, ввиду особой моей снисходительности к Вам, которую, бесспорно, Вы заслужили. Чай у меня подают ровно в половине шестого, и мои гренки с маслом никого не ждут.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ УОЛТЕР ХАРТРАЙТ

I

Когда я прочитал бесцеремонное послание миссис Катерик, моим первым побуждением было уничтожить его. Грубое, наглое с первого до последнего слова, оно с возмутительной настойчивостью связывало меня с катастрофой, к которой я не имел никакого отношения, и со смертью, которую, рискуя собственной жизнью, я хотел предотвратить. Оно вызвало во мне глубокое отвращение. Я хотел было уже изорвать его, когда одно соображение удержало меня, и я решил сохранить письмо еще на некоторое время.

Это соображение не было никоим образом связано с сэром Персивалем. Сведения, сообщенные мне миссис Катерик, только подтверждали мои ранние догадки.

Он совершил свой подлог именно так, как я это предполагал. Молчание миссис Катерик относительно дубликата метрической книги в Нолсбери подтвердило мою мысль о том, что ни она, ни сэр Персиваль не подозревали о его существовании. Им никогда не приходило в голову, что их преступление можно разоблачить путем сравнения подлинника метрической книги с ее копией. Но само преступление больше не интересовало меня. Я решил сохранить письмо, ибо оно могло понадобиться в будущем для выяснения последней тайны, все еще не разгаданной

мною,— о происхождении Анны Катерик. Кто же был ее отцом? В письме ее матери были две или три фразы, над которыми стоило поразмыслить на досуге. А сейчас я был слишком занят своей главной задачей и не мог ничем отвлекаться. Но вопрос этот продолжал меня интересовать. Я был уверен, что со временем узнаю, кто был отцом несчастной, которая покоилась теперь рядом с миссис Фэрли.

Я запечатал письмо и тщательно спрятал его, чтобы снова перечитать, когда настанет время.

Завтра был мой последний день в Хемпшире. Побывав у мирового судьи в Нолсбери и на судебном дознании в Уэлмингаме, я мог вернуться в Лондон дневным или вечерним поездом.

На следующее утро я снова пошел на почту, где письмо от Мэриан ожидало меня, как обычно. Когда мне его вручили, оно показалось мне очень легким по весу. Встревоженный этим, я распечатал его. В конверте была только узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Торопливым почерком было написано:

«Возвращайтесь как можно скорее. Нам пришлось переехать. Приезжайте прямо на Гоуверз-Уолк, Фулем, № 5. Я буду ждать вас. Не беспокойтесь о нас — мы живы и здоровы. Но возвращайтесь! Мэриан».

Известие, заключавшееся в этих строках, известие, которое я мгновенно связал с какой-то новой попыткой графа Фоско причинить нам вред, потрясло меня. Я застыл на месте, комкая письмо в руках. Что случилось? Какое коварное злодеяние задумал и совершил граф в мое отсутствие? Прошла целая ночь с той минуты, как Мэриан отослала свою записку,— пройдет еще много часов, пока я смогу вернуться к ним. Новое несчастье, о котором я еще не знаю, возможно, уже постигло их. А я должен оставаться здесь, за столько миль от них, прикованный к месту по распоряжению судебных властей!

Не знаю, к чему привели бы мои тревоги и волнение, возможно, я забыл бы о долге и чести, если б не моя вера в Мэриан. Только сознание, что я могу всецело положиться на нее, помогло мне немного успокоиться и придало мне мужество терпеливо ждать. Судебное дознание было моим первым препятствием к немедленному возвращению в Лондон. В назначенный час я пришел в суд. Присутствие мое было формально необходимо, но на этот раз меня даже

не вызывали. Эта никому не нужная досадная отсрочка была тяжелым испытанием, хотя я старался отвлечься, прислушиваясь как можно внимательнее к происходящему на суде.

В числе присутствовавших был и лондонский поверенный покойного — мистер Мерримен, но он ничем не мог помочь следствию. Он заявил, что чрезвычайно удивлен и потрясен случившимся, но не может пролить никакого света на таинственные обстоятельства этого дела. В промежутках между вызовами свидетелей он подсказывал следователю вопросы, которые тот, в свою очередь, задавал потом свидетелям, но и это не дало никаких результатов. После тщательного, настойчивого опроса многих лиц, знавших сэра Персиваля, опроса, продолжавшегося около трех часов, присяжные вынесли обычный вердикт: смерть в результате несчастного случая. К этому присовокупили официальное заявление, в котором говорилось, что следствием не установлено, как и кем были похищены ключи, отчего произошел пожар и с какой целью покойный проник в ризницу. На этом судебное дознание закончилось. Поверенному покойного поручили позаботиться о погребении сэра Персиваля. Свидетели могли считать себя свободными.

Не теряя ни минуты драгоценного времени, я расплатился по счету в отеле и нанял экипаж для поездки в Нолсбери. Какой-то джентльмен, стоявший около меня и видевший, что я собираюсь ехать в Нолсбери, вежливо обратился ко мне с просьбой разрешить ему ехать со мной, так как он живет в тех местах. Конечно, я ответил согласием.

По дороге мы, естественно, говорили на тему, интересовавшую в те дни всех местных жителей.

Мой новый знакомый хорошо знал поверенного по делам покойного сэра Персиваля. Он обсуждал с мистером Меррименом положение дел умершего баронета и вопрос о наследстве. Материальные затруднения сэра Персиваля были широко известны во всем графстве — поверенному не оставалось ничего другого, как признать этот факт. Сэр Персиваль погиб, не оставив завещания, но даже если б он его и оставил, все состояние, унаследованное им от жены, уже пошло на погашение его долгов. Наследником поместья был его дальний родственник, который командовал кораблем, принадлежащим Англо-Индийской компании. Наследство, которое он теперь получал, было сильно отягощено долгами, но само поместье со временем, если капитан будет бережлив, может приносить большие доходы, и в будущем он мог стать весьма состоятельным человеком.

Хотя я был поглощен мыслью о возвращении в Лондон, это сообщение, подтвердившееся в дальнейшем, было для меня очень ценным. Я мог считать, что мое молчание относительно подлога, совершенного сэром Персивалем, вполне оправданно. Тот, чьи права он узурпировал, должен был теперь унаследовать поместье. Доход от Блекуотер-Парка, по праву принадлежащий одному ему за последние двадцать три года, был растрачен до последней копейки покойным сэром Персивалем. Вернуть этот доход было невозможно. Если б я огласил свое открытие, это никому не принесло бы никакой пользы. Продолжая хранить молчание, я скрывал подлинное лицо человека, который обманным путем женился на Лоре. Ради нее я счел за лучшее молчать. Ради нее я, рассказывая всю эту историю, называю всех ее участников вымышленными именами.

Я расстался со своим случайным спутником близ Нолсбери и сразу же отправился к мировому судье. Как я и предполагал, никто не явился предъявить мне обвинение. Нужные формальности были соблюдены, и меня отпустили. Когда я выходил из городской ратуши, мне подали письмо от мистера Доусона. Он писал, что дела задержали его, поэтому он не смог приехать и лично подтвердить мне свою готовность оказать мне всяческую помощь, если б она мне понадобилась. Я тут же написал ему в ответ о своей искренней благодарности и о том, что сожалею о невозможности повидать его, ибо по неотложным делам должен сегодня же вернуться домой.

Через полчаса экспресс мчал меня в Лондон.

II

Было около десяти часов вечера, когда я доехал до Фулема и разыскал дорогу в Гоуверз-Уолк.

Лора и Мэриан встретили меня у дверей. Мне кажется, что до этой минуты мы сами не сознавали, как крепки те узы, которые связывали нас троих. Наша встреча была

такой радостной, словно разлука длилась много месяцев, а не несколько дней. У Мэриан было измученное, озабоченное лицо. Как только я увидел ее, я понял, кто принял на себя все удары судьбы и нес на своих плечах все заботы в мое отсутствие. Лора выглядела несравненно лучше и оживленнее, чем раньше. Мне стало ясно, что Мэриан тщательно скрыла от нее страшную смерть в Старом Уэлмингаме и настоящие причины нашего теперешнего переезда со старой квартиры.

Перемена обстановки, по-видимому, очень обрадовала и заинтересовала Лору. Она сочла, что у Мэриан явилась счастливая мысль устроить мне сюрприз — переехать из тесного, шумного, многолюдного городского квартала в тихое, тенистое загородное местечко близ реки. У нее было много планов на будущее — она говорила о рисунках, которые ей предстояло закончить, о новых покупателях и заказчиках, которых я разыскал, о шиллингах и пенсах, которые она скопила, и, показав мне свой туго набитый кошелек, гордо предложила мне взвесить его на руке. Для меня было радостным сюрпризом увидеть, как она похорошела и поправилась,— я этого не ждал. Я был обязан столь неожиданным счастьем мужеству Мэриан, преданности Мэриан.

Когда мы с Мэриан остались одни и могли откровенно поговорить обо всем, я попытался выразить ей благодарность и восхищение, которые переполняли мое сердце. Но благородная, великодушная Мэриан не пожелала и слушать меня. Святое женское самоотречение, отдающее все, ничего не требуя взамен, было присуще ей всегда и во всем.

— Я бы написала вам более обстоятельно,— сказала она,— но у меня не было ни одной свободной минуты... Вы выглядите усталым и измученным, Уолтер. Боюсь, что письмо мое очень встревожило вас?

— Да, вначале,— ответил я,— но я успокоился, Мэриан, зная, что могу всецело положиться на вас. Прав ли я: этот неожиданный переезд вызван каким-нибудь новым коварством графа Фоско?

— Вы совершенно правы,— сказала она.— Вчера я видела его и, что еще хуже, Уолтер, я говорила с ним.

— Говорили с ним? Он узнал, где мы живем? Он приходил к нам?

— Да. Он приходил в дом, но не поднялся к нам. Лора его не видела, она ни о чем не подозревает. Я расскажу вам, как это произошло. Верю и надеюсь, что опасность уже миновала. Вчера я была в гостиной, там, на нашей старой квартире. Лора сидела за столом и рисовала, я ходила по комнате и наводила порядок. Подойдя к окну, я выглянула на улицу. На противоположной стороне, как раз напротив нашего дома, я увидела графа! Он разговаривал с каким-то человеком.

— Он заметил вас в окне?

— Нет. По крайней мере, я думала, что не заметил. Я была так потрясена его появлением, что не могу с уверенностью сказать, заметил он меня или нет.

— Кто был с ним? Незнакомый человек?

— Нет, Уолтер, знакомый! Как только я опомнилась, я сразу его узнала. Это был директор лечебницы для умалишенных.

— Граф показал ему наш дом?

— Нет. Они разговаривали так непринужденно, как будто совершенно случайно встретились на улице. Я осталась у окна, наблюдая за ними из-за занавески. Если б в эту минуту Лора видела мое лицо! К счастью, она углубилась в свое рисование. Они скоро расстались. Директор лечебницы пошел в одну сторону, а граф — в другую. Я начала надеяться, что встреча их была действительно случайной, и вдруг увидела: граф вернулся, постоял с минуту напротив нашего дома, вынул карандаш, что-то записал, а затем перешел через улицу и вошел в лавку под нами. Я выбежала из комнаты, сказав Лоре, что мне надо пойти в спальню, а сама быстро спустилась вниз по лестнице и стала ждать с твердым намерением ни за что не пускать его наверх, если б он попробовал подняться. Но он не сделал этой попытки. На лестницу из лавки вышла продавщица и, увидев меня, подала мне визитную карточку — большую, с золотым обрезом, с его именем и гербом. На оборотной стороне визитной карточки было написано: «Дражайшая леди (да, этот негодяй все еще обращается ко мне в таких выражениях!), дражайшая леди, умоляю вас — на одно слово! По серьезному делу — оно касается нас обоих». В крайней необходимости человек соображает мгновенно. Я сразу поняла, что оставаться в неведении относительно намерений такого человека, как граф Фоско, было бы непростительной, роковой

ошибкой. Я поняла, что обязана согласиться на его просьбу и повидать его. «Попросите джентльмена подождать меня внизу у выхода»,— сказала я. Я побежала к себе за капором и шалью. Я не хотела разговаривать с ним на лестнице. У него такой звучный, густой голос — я боялась, что Лора услышит его, даже если мы будем разговаривать в лавке. Не прошло и минуты, как я была уже внизу и открывала входную дверь. Он подошел ко мне с учтивым поклоном и зловещей улыбкой. Он был в глубоком трауре. Вокруг нас стояли праздные зеваки, женщины и мальчишки и глазели на его огромную, внушительную фигуру, на его великолепный черный костюм и палку с золотым набалдашником. Как только я его увидела, меня охватили ужасные воспоминания о Блекуотере. Мое отвращение к нему воскресло, когда, сняв шляпу и отвесив мне величественный поклон, он заговорил со мной так, будто мы с ним расстались только вчера в самых приятельских отношениях.

— Вы помните, о чем он говорил?

— Я не в силах повторить это, Уолтер! Сейчас вы узнаете, что он сказал о вас, но я не стану повторять того, что он сказал обо мне. Наглая приторность его письма бледнеет по сравнению с тем, что он говорил! У меня руки дрожали от желания дать ему пощечину! Но я только изорвала в клочки под моей шалью его визитную карточку. Я молчала и уходила все дальше от дома (боясь, что Лора может увидеть нас из окна), а он, ласково протестуя, следовал за мной. Завернув за угол, я остановилась и спросила, зачем ему понадобилось видеть меня. Он отвечал, что ему необходимо, во-первых, если я не возражаю, выразить мне свои чувства. Но я не пожелала слушать про его чувства. Во-вторых, повторить предостережение, почтительно изложенное в его письме. Я спросила, чем вызвана необходимость повторять это предостережение. Он отвесил поклон, улыбнулся и сказал, что готов объяснить. Мои страхи и опасения полностью оправдались, Уолтер. Я сказала вам, помните, что сэр Персиваль слишком упрям, чтобы прислушиваться к советам своего друга относительно вас; я сказала, что граф не опасен, пока не почувствует угрозы собственным интересам и не перейдет к действиям.

— Я помню, Мэриан.

— Так вот, слушайте дальше. По словам графа, сэр

Персиваль отклонил его совет. Сэром Персивалем руководило только его собственное упрямство и ненависть к вам. Граф предоставил ему поступать по своему усмотрению, но на всякий случай решил установить, где мы проживаем. Когда вы вернулись в первый раз из Хемпшира, Уолтер, вас выследили те же самые люди, что сторожили вас у конторы мистера Кирла. Сам граф шел с ними до дверей нашей квартиры. Он не рассказал мне, как им удалось остаться незамеченными. Он выяснил, где мы живем, но не воспользовался этим, пока не получил сообщения о смерти сэра Персиваля, а тогда взялся за дело сам, предполагая, что теперь вы займетесь им, как сообщником покойного. Он немедленно снесся с директором лечебницы и решил привести его сюда, к дому, где скрывалась убежавшая пациентка, уверенный, что, чем бы это ни кончилось, вы будете немедленно вовлечены в нескончаемые судебные препирательства, а это затруднит ваш переход к наступлению против него. Таково было его намерение, как он мне сам в этом признался. Единственное соображение, которое остановило его в последнюю минуту...

— Да?

— Мне трудно говорить об этом, Уолтер, но я скажу. Единственным соображением, остановившим графа, была я! Не могу выразить, какой униженной я себя чувствую при этой мысли! Единственное слабое место в характере этого стального человека — это его преклонение передо мной, как он говорит. Из чувства собственного достоинства я пыталась долго не верить ему, но его взгляды, его поступки убеждают меня в этой постыдной истине. В глазах этого чудовища, этого злодея блеснули слезы, когда он говорил со мной. Да, Уолтер, он заявил, что в ту минуту, когда он собирался указать директору нашу квартиру, он подумал о том, как я буду страдать, если меня снова разлучат с Лорой, он подумал о моей ответственности, если б меня обвинили в устройстве ее побега. Он вторично пошел на риск (хотя и ждет от вас всяческих неприятностей, Уолтер) и не указал нашей квартиры — ради меня. Он просил только об одном: чтобы я помнила о его самопожертвовании и умерила ваш пыл — ради самой себя! В моих собственных интересах! Интересах, о которых ему, возможно, никогда уже не удастся говорить со мной. Я не пошла

на эту сделку — я бы скорей умерла, чем согласилась! Можно ли верить ему или нет, лгал он или говорил правду, что отослал директора лечебницы под каким-то предлогом, но я сама видела, как тот ушел, даже не посмотрев в нашу сторону, не поглядев на наше окно...

— Я верю, что граф говорил правду, Мэриан. Самые лучшие из людей бывают непоследовательны, делая добро, почему же худшим из них не быть непоследовательными, причиняя зло? Но я думаю, что в то же время он пытался запугать вас, угрожая сделать то, чего на самом деле сделать не мог. Мне кажется, не в его власти заставить доктора вернуть Лору в лечебницу теперь, когда сэр Персиваль умер и миссис Катерик находится вне его власти. Но мне хочется знать, что было дальше. Что сказал граф обо мне?

— Под конец он заговорил о вас. Глаза его сверкнули холодным блеском. Взгляд его стал неумолимо жестоким и манеры такими, какими они иногда бывали в прошлом, в Блекуотер-Парке, когда в них сквозили непреклонная воля и неприкрытое издевательство. Непостижимый человек! «Предостерегите мистера Хартрайта,— сказал он с самым высокомерным видом,— когда он будет мериться силами со мной, пусть помнит, что вступает в борьбу с человеком мыслящим, с человеком, которому нет дела до законов и общественных условностей! Если б мой горячо оплакиваемый друг слушался моих советов, судебное дознание велось бы по поводу мертвого тела мистера Хартрайта. Но мой горячо оплакиваемый друг был весьма упрям. Взгляните! Я скорблю о нем и, отмечая потерю, ношу траур в душе и траур на шляпе. Сей пошлый черный креп выражает чувства, уважать которые я призываю мистера Хартрайта. Эти чувства могут привести к безграничной вражде, если он осмелится пренебречь ими. Пусть довольствуется тем, что имеет,— тем, что я оставляю неприкосновенным ради вас! Передайте ему привет от меня и скажите: если он пальцем шевельнет, он будет иметь дело с самим Фоско! Говоря простым английским языком, я довожу до его сведения, что Фоско ни перед чем не остановится! До свиданья, дорогая леди!» Его стальные серые глаза задержались на моем лице, он величественно снял шляпу, низко поклонился — и ушел.

— Не возвратился? Не сказал последнего слова?

— Когда он дошел до угла, он обернулся, помахал

рукой и театральным жестом ударил себя в грудь. Он исчез в противоположной стороне от нашего дома, а я поспешила к Лоре. По дороге к дому я решила немедленно переехать. Оставаться на прежней квартире (тем более в ваше отсутствие), после того как граф выследил нас, было крайне опасно. Я бы рискнула подождать вашего возвращения, если б была уверена, что вы скоро приедете. Но я ведь не знала точно, когда это будет. Переехать было необходимо, сделать это надо было немедленно. Еще до отъезда вы как-то говорили, что для укрепления здоровья Лоры хорошо было бы переехать в более спокойное место, где воздух чище. Я напомнила ей об этом и предложила устроить вам сюрприз, не утруждая вас хлопотами переезда. Она горячо откликнулась на мое предложение и заторопилась не меньше, чем я. Она помогла мне упаковать все ваши вещи, а теперь сама разложила их здесь, в вашей новой рабочей комнате.

— Почему вы решили переехать именно сюда?

— Я плохо знаю пригороды Лондона, но Фулем я немножко знаю, потому что когда-то посещала здесь школу. Нам следовало переехать как можно дальше от прежней квартиры. Надеясь, что школа еще существует, я отправила туда посыльного с запиской. Оказалось, что школа на месте. Директрисой школы была теперь дочь моей старой учительницы. Согласно моим указаниям, мне наняли эту квартиру. Когда посыльный вернулся с адресом нашего нового жилища, были уже сумерки. Мы переселились вечером. Было совсем темно, и наш отъезд остался незамеченным. Правильно ли я поступила, Уолтер? Оправдала ли я ваше доверие?

Я ответил ей тем, что от всей души поблагодарил ее. Но лицо ее выражало явную тревогу. Она снова заговорила о графе Фоско.

Я видел, что ее отношение к нему изменилось. Она уже не вспыхивала от гнева при его имени, не торопила меня поскорее свести счеты с ним. Теперь, когда она поверила в искренность его чувства к ней, ее органический ужас перед его злобной энергией и неусыпной прозорливостью, казалось, стал еще сильнее, она стала с еще большим недоверием относиться к нему, зная его безграничное коварство. Взгляд ее был полон затаенного страха, когда она нерешительно спросила меня, как я отношусь к его угрозам и что намерен предпринять в дальнейшем.

— С тех пор как я виделся с мистером Кирлом, прошло не так много времени, Мэриан,— отвечал я.— Прощаясь с ним, я сказал ему напоследок о Лоре: «В присутствии всех тех, кто сопровождал на кладбище подложные похороны, ее родной дом откроет перед ней двери; по приказанию главы семьи Фэрли лживая надпись над могилой ее матери будет уничтожена; права Лоры Фэрли будут восстановлены, а те двое, кто совершил страшное злодеяние, ответят за свое преступление — ответят передо мной, если закон не будет властен покарать их». Одного из них я уже не могу призвать к ответу. Другой жив — и решение мое остается в силе.

Глаза ее заблестели, щеки зарделись. Она ничего не сказала, но я понял по выражению ее лица, что она всецело одобряет меня.

— Не буду скрывать от вас, как не скрываю от самого себя,— я не уверен в конечном успехе. То, что нам предстоит сделать, возможно, несоизмеримо труднее и рискованнее, чем то, что мы уже сделали. Мы все равно должны отважиться на это, Мэриан. Я не настолько опрометчив, чтобы вступать в единоборство с таким человеком, как граф Фоско, не подготовившись предварительно. Я научился терпению, я умею ждать. Пусть граф считает, что его слова возымели свое действие. Пусть ничего о нас не знает и не слышит: пусть почувствует себя в полной безопасности. Если я его правильно понял, присущие ему самомнение и заносчивость ускорят развязку. По этой причине я буду выжидать. Но есть и другая, гораздо более важная причина. Мое положение в отношении вас, Мэриан, и особенно в отношении Лоры должно стать более определенным, прежде чем я сделаю последнюю попытку призвать к ответу графа Фоско.

Она подвинулась ближе и удивленно взглянула на меня.

— Каким образом ваше положение может стать более определенным? — спросила она.— Что вы хотите сказать?

— Я скажу вам, когда придет время,— отвечал я.— Оно еще не настало — может быть, оно никогда не настанет. Может быть, я никогда ничего не скажу Лоре — даже вам ничего не скажу, пока не уверюсь, что имею на то право и могу говорить, не боясь потревожить ее. Оставим это. Поговорим о более неотложных вопросах. Вы

скрыли от Лоры, великодушно скрыли от нее смерть ее мужа...

— О конечно, Уолтер! Мы еще долго не скажем ей об этом, правда?

— Нет, Мэриан, надо сказать ей. Лучше будет, если вы сами расскажете ей о смерти сэра Персиваля, чем если она узнает об этом случайно, а это всегда может произойти. Не посвящайте ее в подробности, но очень мягко, очень осторожно скажите ей, что он умер.

— Вы хотите, чтобы она узнала о смерти своего мужа не только из опасения, что она случайно услышит об этом, Уолтер, но и по другой причине?

— Да.

— И эта причина стоит в прямой связи с тем, о чем вы не хотите до времени говорить мне? О чем вы, может быть, никогда не скажете Лоре?

Она подчеркнула свои последние слова. Я отвечал ей утвердительно.

Кровь отхлынула от ее щек. С минуту она смотрела на меня очень внимательно, очень серьезно. Непривычная нежность засияла в ее темных глазах и смягчила выражение лица, когда взгляд ее скользнул туда, где обычно сидела любимая спутница всех наших радостей и печалей.

— По-моему, я поняла,— сказала она.— Мне думается, я должна сказать ей о смерти ее мужа ради нее и ради вас, Уолтер.

Она вздохнула, задержала мою руку в своей, быстро отпустила ее и вышла из комнаты. На следующий день Лора узнала, что с его смертью она обрела свободу и что вместе с ним погребены ошибка и несчастье ее жизни.

Мы никогда больше не упоминали его имени, мы никогда больше не говорили о нем. С молчаливого обоюдного согласия мы с Мэриан избегали также малейшего намека на ту другую тему, время для которой еще не наступило. Но мы постоянно думали об этом и жили этой мыслью. С тревогой, волнением и любовью мы оба наблюдали за Лорой, ожидая и надеясь, что время настанет, что наконец настанет тот час, когда я смогу сказать...

Постепенно мы вернулись к нашему обычному размеренному образу жизни. Я возобновил мою ежедневную

работу, прерванную поездкой в Хемпшир. Мы платили за нашу новую квартиру больше, чем за старую, которая была менее удобной и вместительной. С материальной стороны наше будущее выглядело очень нелегким, и это еще больше подстрекало мое трудолюбие. Непредвиденные случайности могли быстро истощить наш скудный денежный фонд в банке. В конечном итоге единственное, на что мы могли рассчитывать,— была моя работа. Необходимо было работать как можно усидчивее и продуктивнее, и я прилежно принялся за дело.

Но пусть не предполагают мои читатели, что в этот промежуток времени, посвященный уединению и работе, я не стремился больше к той цели, с которой были связаны все мои помыслы и поступки, описанные здесь. Эта цель неотступно стояла передо мной, не ослабевая, не отдаляясь. Но все зреет во времени. А пока что у меня было время, для того чтобы принять меры предосторожности, отдать долг благодарности и разрешить один загадочный вопрос.

Меры предосторожности, конечно, относились к графу. Необходимо было, елико возможно, выяснить, собирается ли он оставаться в Англии,— иными словами, будет ли он в пределах досягаемости для меня. Установить это мне удалось самым незатейливым образом. Адрес его загородного дома в Сент-Джонз-Вуде был мне известен. Я узнал, кто является агентом по найму и сдаче квартир в этом квартале, отправился к этому человеку и спросил, будет ли вскоре сдаваться внаем дом № 5 по Форест-Род. Ответ был отрицательным. Мне сказали, что иностранец, занимающий в настоящее время эту резиденцию, возобновил договор еще на шесть месяцев — до конца июня будущего года. А сейчас было только начало декабря. Я расстался с агентом успокоенный — граф от меня не уйдет.

Долг благодарности привел меня снова к миссис Клеменс. Я обещал ей вернуться и подробно рассказать о смерти и похоронах Анны Катерик, чего не мог сделать при нашем первом свидании. Обстоятельства ныне изменились, теперь ничто не препятствовало мне посвятить добрую женщину в историю заговора в тех пределах, в которых это было необходимо. Чувство искренней симпатии и благодарности к ней торопило меня исполнить свое обещание, и я исполнил его — как можно мягче и осторожнее. Не стоит описывать, что происходило при нашем

свидании. Скажу только, что встреча с миссис Клеменс напомнила мне снова о вопросе, который оставался еще без ответа,— о вопросе, кто же был отцом Анны Катерик.

Множество мелких соображений, ничего не значащих в отдельности, но весьма значительных, когда они собрались в одно целое, подсказывали мне один неожиданный вывод, который необходимо было проверить. Мэриан разрешила мне написать майору Донторну в Варнек-Холл (где миссис Катерик жила до своего замужества). В письме от имени Мэриан я просил его ответить мне на некоторые вопросы, связанные с делами и историей семьи Фэрли, и заранее просил прощения, что беспокою его. Я не был уверен, что майор Донторн еще жив, но на всякий случай я послал письмо, надеясь, что он ответит.

Через два дня пришло письмо от майора Донторна. Он с готовностью отвечал на мои вопросы. Его ответы объясняют, какие именно вопросы я задал ему в моем письме. Он сообщил мне следующие важные факты.

Во-первых, «покойный сэр Персиваль Глайд из Блекуотер-Парка» *никогда не бывал в Варнек-Холле.* Ни сам майор, ни кто-либо из членов его семьи не были знакомы с этим джентльменом.

Во-вторых, «покойный мистер Филипп Фэрли из Лимериджа» был в молодости близким другом и частым гостем майора Донторна. Освежив свою память с помощью старых писем и бумаг, майор мог с уверенностью сказать, что мистер Филипп Фэрли приехал погостить в Варнек-Холл в августе 1826 года, задержался на сентябрь и октябрь, чтобы принять участие в охоте, а затем, если память не изменяла майору, мистер Фэрли уехал в Шотландию. Спустя довольно долгое время он снова приезжал в Варнек-Холл, но уже в качестве женатого человека.

Сами по себе факты эти не представляли большой ценности, но в связи с другими, известными нам с Мэриан, они вели к одному неопровержимому выводу.

Зная, что мистер Филипп Фэрли был в Варнек-Холле осенью 1826 года, а миссис Катерик в это же время была там в услужении, мы знали также: первое — Анна родилась в июне 1827 года; второе — ее сходство с Лорой всегда было поразительным; третье — сама Лора была вылитым портретом своего отца. Мистер Филипп Фэрли в свое время был одним из красивейших мужчин Англии. Совершенно не похожий ни характером, ни наружностью

на своего брата Фредерика, Филипп Фэрли был любимцем и баловнем великосветского общества, особенно женщин. Беззаботный, увлекающийся, обаятельный, чрезвычайно щедрый, он там, где дело касалось женщин, не придерживался особо строгих правил. Таковы были подлинные факты. Таков был характер этого человека. Надо ли после всего этого говорить о том логическом выводе, который напрашивался сам собой?

В свете этих новых фактов письмо миссис Катерик тоже подтверждало заключение, к которому я пришел. Она упоминала о миссис Фэрли, как о «некрасивой женщине, которой удалось подцепить одного из самых красивых мужчин в Англии». В женщине, какой была миссис Катерик, *завистливая ревность выражалась бы именно в такой* завуалированной и язвительной форме. Только завистливой ревностью миссис Катерик к миссис Фэрли мог я объяснить ее дерзкую фразу, которая, по существу, была совершенно излишней в ее письме.

При упоминании о миссис Фэрли у нас, естественно, возникает новый вопрос: подозревала ли когда-нибудь миссис Фэрли, чьим ребенком была маленькая девочка, которую привели к ней в Лиммеридж?

По словам Мэриан — нет, никогда не подозревала. Письмо миссис Фэрли к своему мужу, когда-то прочитанное мне Мэриан, то письмо, в котором она упоминала о сходстве Анны с Лорой и говорила о своей привязанности к маленькой незнакомке, было, конечно, написано от чистого сердца, в неведении истинных фактов. Вероятно, и сам мистер Филипп Фэрли знал о рождении ребенка не больше своей жены. Поспешность, с которой миссис Катерик вышла замуж, скрыв от мужа причину этой поспешности, вынуждала ее из предосторожности молчать. Молчала она, возможно, и из гордости — ведь она могла бы сообщить о своем положении отцу своего будущего ребенка!

Когда в моем мозгу мелькнула эта догадка, мне вспомнились слова священного писания: «Грехи отцов падут на головы детей их». Если б не роковое сходство между двумя дочерьми одного отца, злодейский заговор, невинной причиной которого была Анна, а невинной жертвой — Лора, никогда не мог бы быть задуман и осуществлен. С какой неустанной и безжалостной последовательностью длинная цепь событий вела от легкомысленного греха, совершен-

ного отцом, к бессердечной, жестокой обиде, нанесенной его детям!

Многое пришло мне на ум, и постепенно мысли мои вернулись к тихому кумберлендскому кладбищу, где похоронили Анну Катерик. Я вспомнил свою встречу с ней у могилы миссис Фэрли, я видел тогда Анну в последний раз. Мне вспомнились бедные, слабые руки, обнимавшие надгробный памятник, усталые, скорбные слова, которые она шептала, обращаясь к мертвым останкам своей покровительницы и друга: «О, если б я могла умереть и навеки заснуть подле вас!» Прошло немногим более года, с тех пор как она прошептала это пожелание, и как неисповедимо, как страшно оно сбылось! Сокровенная мечта, которую она поведала Лоре на берегу озера,— эта мечта осуществилась: «О, если б меня похоронили рядом с вашей матушкой! О, если б я могла проснуться подле нее, когда ангелы вострубят и мертвые воскреснут!» Какое страшное преступление, какие странные, темные извилины на пути к смерти привели к тому, что бедное, несчастное создание обрело наконец последнее прибежище там, где при жизни она не надеялась когда-нибудь его обрести... Упокой, господи, душу ее подле той, которую она так любила!

Так печальный образ, что являлся на этих страницах, как являлся и в моей жизни, скрылся навеки в непроглядной тьме. Как призрачная тень, она впервые предстала передо мной в безмолвии ночи. В безмолвие смерти скользнула она, как тень...

III

Прошло четыре месяца. Настал апрель — месяц весны, месяц радостных перемен.

Зима протекла мирно и счастливо в нашем новом доме. За это время я хорошо потрудился — расширил источники моего заработка и поставил наши материальные дела на более прочную основу. Освободившись от постоянной неуверенности и тревоги за будущее, которые в течение столь долгого времени жестоко истощали ее душевные силы, Мэриан начала приобретать прежнюю энергию и жизнерадостность и постепенно становилась похожей на самое себя.

Благотворное влияние новой, оздоровляющей жизни

сказывалось еще более явственно на Лоре, более восприимчивой к перемене обстоятельств, чем ее сестра. Усталость и безысходная грусть, преждевременно старившие ее, все реже и реже затуманивали ее черты. Пленительное, прелестное выражение ее лица вернулось к ней вместе с прежней ее красотой. Я различал в ней только одно последствие того переживания, которое грозило в недавнем прошлом отнять у нее рассудок и жизнь: она совершенно не помнила о том, что произошло с ней. В памяти ее был полный провал начиная с той минуты, как она покинула Блекуотер-Парк, до нашей встречи на кладбище в Лиммеридже. При малейшем намеке на этот период она менялась в лице, дрожала, как лист, слова ее начинали путаться, она беспомощно и напрасно силилась вспомнить, что с ней было. В этом, и только в этом, раны прошлого были слишком глубокими, чтобы время могло их исцелить.

Во всех других отношениях она настолько расцвела, что порой выглядела и вела себя совсем как Лора незабвенных прошлых дней. Эта радостная перемена, естественно, оказывала свое влияние на нас обоих. Из тумана прошлого перед нами все яснее вставали картины нашего мимолетного счастья в Кумберленде — воспоминания о нашей любви.

Постепенно, неотвратимо наши повседневные отношения становились все скованнее и натянутее. Ласковые, нежные слова, которые я так непосредственно говорил ей в дни ее несчастья и недуга, теперь замирали на моих устах. Раньше, когда страх потерять ее был всегда неотступно со мной, я целовал ее на ночь и утром при встрече. Этого поцелуя не было теперь в нашем обиходе. Наши руки снова дрожали, когда встречались. Мы не поднимали глаз друг на друга, мы не могли разговаривать, если оставались одни. Случайное прикосновение к ней заставляло мое сердце биться так же горячо, как оно когда-то билось в Лиммеридже,— я видел, как в ответ нежно розовели ее щеки. Казалось, вернулись те чудесные времена, когда мы — учитель и ученица — бродили по кумберлендским холмам. Иногда на нее нападало глубокое раздумье, она часами молчала, и, когда Мэриан спрашивала ее, о чем она думает, она уклонялась от ответа. Я спохватился однажды, что забываю о своей работе, мечтая над маленьким акварельным ее портретом, написанным мною на

фоне летнего домика, где мы впервые встретились,— так же как когда-то, мечтая над ним, я забывал о своей работе над гравюрами из собрания мистера Фэрли. Как ни изменились с тех пор обстоятельства, золотые дни нашего прошлого, казалось, воскресли для нас вместе с нашей воскресшей любовью. Время как будто уносило нас обратно на обломках наших прошлых надежд к знакомым, родным берегам!

Любой другой женщине я сказал бы решающие слова, но ей я все еще не смел сказать их. Ее полная беспомощность, ее одиночество в жизни и зависимость от осторожной нежности, с которой я обращался с ней, страх преждевременно потревожить ее сокровенные чувства, которые своим грубым инстинктом мужчины я, может быть, не умел угадать,— все эти соображения и другие, им подобные, заставляли меня неуверенно молчать. Но я понимал, что наша обоюдная сдержанность должна прийти к концу, что в будущем наши отношения должны измениться. Я понимал, что в первую очередь это зависит от меня.

Чем больше я думал об этом, тем труднее было мне преодолеть свою робость и сделать попытку изменить положение, в котором мы пребывали. А пока что течение нашей совместной жизни оставалось нерушимым. Не знаю почему, но мне пришло в голову, что полная перемена обстановки, которая нарушит монотонность нашего мирного существования, поможет мне. Мне будет легче заговорить, а Лоре и Мэриан будет легче меня выслушать.

Поэтому однажды утром я сказал, что все мы заслужили некоторый отдых и потому я предлагаю отправиться куда-нибудь в новое место. Мы решили, что проведем две недели на берегу моря.

На следующий день мы уехали из Фулема в тихий городок на южном побережье. Сезон еще не начался, мы были единственными приезжими. Скалы, берег, морская ширь, ежедневные прогулки в милом уединении этого прелестного приморского местечка были счастьем для нас. Воздух был теплым и ласковым, вид на холмы, леса и морские просторы был так прекрасен под ясным апрельским солнцем, игра света и тени постоянно разнообразила окружающее, а веселое море волновалось неподалеку от наших окон, как будто оно тоже, как и зем-

ля, чувствовало весенний трепет и обновление, сияющую юную свежесть весны.

Я был слишком многим обязан Мэриан, чтобы не поговорить с ней и не последовать затем ее совету, прежде чем заговорю с Лорой.

На третий день нашего приезда мне представилась возможность остаться наедине с Мэриан. Как только мы взглянули друг на друга, своим тонким чутьем она угадала, что́ у меня на сердце. Со своей обычной прямотой и решимостью она заговорила первая.

— Вы думаете о том, о чем мы с вами говорили в тот вечер, когда вы вернулись из Хемпшира,— сказала она.— Вот уже несколько дней, как я жду, что вы наконец нарушите ваш обет молчания. В нашей семье должны произойти перемены, Уолтер. Мы не можем продолжать нашу совместную жизнь по-прежнему. Мне это ясно, как вам и Лоре, хотя она все молчит. У меня такое чувство, будто вернулись старые кумберлендские времена! Вы и я — мы снова вместе, и мы снова говорим о том, что нам дороже всего, что интересует нас больше всего,— о Лоре. Мне чуть ли не кажется, что эта комната — летний домик в Лиммеридже и эти волны плещут у нашего родного берега.

— В те дни вы руководили мною вашими советами,— сказал я,— и теперь, Мэриан, веря вашим советам во много крат больше, я хочу снова последовать вашему совету.

В ответ она только молча пожала мне руку. Я понял, что мое воспоминание глубоко тронуло ее. Мы сидели у окна и, пока я говорил, а она слушала, мы глядели на величественное морское пространство, блистательно озаренное солнцем.

— К чему бы ни привела наша откровенная беседа,— сказал я,— кончится ли это радостью или печалью, интересы Лоры для меня превыше всего. Когда мы уедем отсюда, мое решение принудить графа Фоско к исповеди (которую мне не удалось получить от его сообщника) вернется со мной в Лондон так же верно, как вернусь туда я сам. Ни вы, ни я не знаем, как поступит этот человек, что он предпримет, когда я призову его к ответу. Судя по всему, граф Фоско способен нанести мне удар — через Лору — без всяких колебаний, без малейших угрызений совести. В глазах общества и закона наши теперешние

отношения не дают мне законного права защищать Лору — того права, которое укрепило бы меня в борьбе с графом. Это ставит меня в невыгодную позицию. Для того чтобы идти на поединок с графом во всеоружии, я должен быть спокоен за Лору, я должен вступить в этот поединок во имя моей жены. Пока что вы согласны со мной, Мэриан?

— Совершенно согласна,— отвечала она.

— Я не буду говорить о своих чувствах,— продолжал я,— не буду говорить о своей любви — я пронес ее через все испытания и несчастья. Пусть то, о чем я сказал перед этим, служит единственным оправданием тому, что я смею думать о ней и говорить о ней как о будущей моей жене. Если признание графа, к которому его необходимо принудить, является, как я считаю, последней возможностью всенародно установить тот факт, что Лора жива, тогда — по наименее эгоистической причине — нам с ней следовало бы стать мужем и женой. Но может быть, я не прав и мы могли бы достичь нашей главной цели не только путем признания графа? Может быть, есть другие пути, менее рискованные и опасные? Но как я ни ищу их, как ни ломаю себе голову, я не могу их найти. А вы?

— Нет. Я тоже не вижу другого пути.

— Вероятно, и вы думали над теми же вопросами, что и я. Может быть, следовало бы вернуться с ней в Лиммеридж теперь, когда она стала так похожа на себя прежнюю, и положиться на то, что ее узнают жители деревни или местные школьники? Может быть, следует установить экспертизу ее почерка? Предположим, мы это сделаем. Предположим, ее узнают и установят, что ее почерк — почерк Лоры Фэрли. Но ведь оба эти факта дадут не более, чем основание обратиться в суд, и только. Они ничего не будут значить для мистера Фэрли, ибо против этих двух фактов будут: свидетельство ее родной тетки, медицинское заключение о смерти, факт похорон и надгробная надпись. Нет. Нам удастся всего только заронить серьезные сомнения в ее смерти. Эти сомнения можно будет выяснить только путем законного расследования. Предположим, у нас есть материальные средства (а у нас их нет!), достаточные, чтобы взять на себя судебные издержки. Предположим, нам удастся переубедить мистера Фэрли и опровергнуть лживые показания графа и его жены. Но, спрашивается, к чему приведет

первый же вопрос, который зададут по этому поводу самой Лоре? Какие это будет иметь последствия? Мы прекрасно знаем, к чему это приведет. Мы знаем, что она абсолютно ничего не помнит об этом периоде. Она не помнит, что произошло с ней тогда в Лондоне. Будут ли ее спрашивать с глазу на глаз или задавать ей на суде вопросы публично, она все равно будет не способна подтвердить правду своего дела и защитить свои права. Если вам это не столь же ясно, как мне, Мэриан, едем завтра же в Лиммеридж — и попробуем.

— Мне все это ясно, Уолтер. Вы правы. Даже если бы мы могли заплатить за судебный процесс и в конце концов выиграли наше дело, процесс тянулся бы бесконечно долго. Вечное ожидание после всего того, что мы пережили, было бы для нас невыносимо мучительным. Вы совершенно правы. Ехать в Лиммеридж ни к чему. Мне хотелось бы разделять вашу уверенность в собственной правоте, когда вы говорите о своей решимости сделать последнюю попытку и прижать графа к стенке. Что это даст, нужно ли это?

— Да, без сомнения! Это даст нам возможность установить дату отъезда Лоры из Блекуотер-Парка в Лондон. Не буду возвращаться к тому, о чем я вам уже говорил. Скажу только, я чувствую твердую уверенность, что между датой отъезда Лоры из Блекуотера и медицинским свидетельством о смерти — полное несоответствие. Это единственная уязвимая точка во всем заговоре. Он рассыплется в прах, если мы принудим графа указать нам эту дату. Если мне удастся осуществить это, наша с вами цель будет достигнута. Но если нет, Лору никогда нельзя будет восстановить в правах.

— Вы боитесь потерпеть неудачу, Уолтер?

— У меня нет твердой уверенности в успехе, Мэриан, вот почему я так откровенно говорю с вами. Я считаю, что выиграть дело Лоры чрезвычайно трудно. Состояние свое она потеряла. Восстановить ее в правах, вернуть ей прежнее имя можно, только добившись от ее злейшего врага добровольного признания в совершенном им преступлении,— от человека, пока что совершенно неуязвимого, который может остаться таковым до конца. И вот теперь, когда она все потеряла и вряд ли обретет свое прежнее место в жизни, бедный учитель рисования считает себя наконец вправе открыть ей свое сердце. Когда-то,

когда она была богата и знатна, Мэриан, я был только ее учителем рисования. Теперь, когда она одинока и в несчастье, я прошу ее руки, Мэриан, я прошу ее стать моей женой!

Я замолчал. Глаза Мэриан с теплым участием глядели на меня. Сердце мое было переполнено, голос прервался. Но я не хотел вызывать в ней жалость. Я встал, чтобы уйти. Она поднялась со стула, мягко положила мне руку на плечо и удержала меня.

— Уолтер! — сказала она.— Когда-то я разлучила вас, считая, что так будет лучше для нее. Подождите здесь, брат мой! Подождите, дорогой, лучший мой друг, Лора придет и скажет вам, что я сейчас сделаю!

Впервые с той поры, как мы с ней попрощались в Лиммеридже, она прикоснулась губами к моему лбу. В глазах ее стояли слезы. Она быстро отвернулась, указала мне на стул и вышла.

Я сел у окна. Сейчас решалась вся моя жизнь. В эту напряженную минуту я ни о чем не думал, ни на чем не мог сосредоточиться, но до боли остро воспринимал все окружающее. Солнце слепило меня, белые чайки, кружившие вдали над морем, казалось, задевали крылом мое лицо, мягкий рокот волн у берега отдавался громовыми раскатами в моих ушах. Дверь открылась, и на пороге показалась Лора. Так она появилась в столовой Лиммериджа в утро нашей разлуки. Тогда она шла медленно, нерешительно. Теперь она спешила ко мне на крыльях счастья, с сияющим лицом. Ласковые руки сами обняли меня, нежные губы приблизились к моим.

— Дорогой мой,— шепнула она,— теперь мы можем сказать друг другу о нашей любви!

Ее головка доверчиво прильнула к моей груди.

— О, наконец-то я счастлива! — сказала она просто.

Через десять дней мы были еще счастливее. Мы обвенчались.

IV

Мерное течение моего повествования несет меня все дальше и подходит к концу.

На заре нашей супружеской жизни — через две недели — мы вернулись в Лондон, и тень моего предстоящего поединка с графом легла на нас.

Мэриан и я тщательно скрывали от Лоры, отчего мы торопимся с возвращением. Необходимо было не дать графу выскользнуть из наших рук. Было начало мая. Его договор о найме дома на Форест-Род истекал в июне. Если бы он возобновил его (по моим предположениям, он должен был так и сделать), я был бы твердо уверен, что он не уйдет от меня. Но если по какой-нибудь непредвиденной случайности он собирался уезжать за границу, мне необходимо было спешить с приготовлениями к нашему поединку.

Счастье мое было полным. Бывали минуты, когда решимость моя ослабевала и мне хотелось довольствоваться достижением своего самого заветного желания: я был любим Лорой! Впервые я стал малодушно думать о серьезной опасности, о превратностях судьбы, о том, какому страшному риску я подвергаю мое завоеванное с таким трудом счастье. Да, честно признаюсь в этом. На короткое время любовь увела меня далеко от цели, которой я был незыблемо верен в дни горя и тревог. Лора, сама того не подозревая, была тому причиной — она же бессознательно вернула меня на правильный путь.

Временами во сне ее мучили горестные воспоминания прошлого, о которых днем она не помнила. Однажды ночью (всего две недели спустя после нашей свадьбы), когда я смотрел на нее спящую, я увидел, как из-под сомкнутых ресниц слезы медленно покатились по ее лицу, я услышал ее тихий, прерывистый шепот и понял, что во сне она думает о роковой поездке из Блекуотер-Парка в Лондон. Эта бессознательная мольба о помощи, такая трогательная и страшная в ночной тиши, пронзила мне сердце острой жалостью. Решимость моя воскресла во мне с удвоенной силой, и на следующий же день мы вернулись в Лондон.

Необходимо было, во-первых, узнать, что за человек граф Фоско. Пока что подлинная его биография была окутана для меня непроницаемой тайной.

Я начал собирать в одно целое все те отрывочные сведения, которые были в моем распоряжении. Отчет мистера Фэрли (Мэриан получила его отчет благодаря указаниям, которые я дал ей зимой) ничем не помог мне. Читая его, я иногда возвращался мыслью к рассказу миссис Клеменс о серии обманов, посредством которых

Анну Катерик заманили в Лондон и сделали исходной точкой преступного заговора. Выполняя свой замысел, граф действовал так осторожно, что ничем себя не скомпрометировал,— с этой стороны он был неуязвим.

Затем я занялся дневником Мэриан, теми ее записями, которые она вела в Блекуотер-Парке. По моей просьбе она прочитала мне страницы, где описывала его внешность и характер, а также те подробности, которые ей удалось узнать о нем.

Она писала: «Он уже много лет не бывал на родине» и «Он интересовался, ни живет ли кто из итальянцев в ближайшем к Блекуотер-Парку городе». А также: «На его адрес приходят письма с марками разных стран, он получил одно с официальной государственной печатью на конверте». Она объясняла его долгое отсутствие на родине тем, что он политический эмигрант. Но в то же время она недоумевала, как сочетать его неблагонадежность с его обширной заграничной перепиской и письмом с государственной печатью. Ведь политические эмигранты не получают официальных уведомлений от своих правительств.

Сведения, почерпнутые из ее дневника, в совокупности с некоторыми моими соображениями подсказывали вывод, к которому мне давно пора было прийти. Я сказал себе то же самое, что однажды Лора сказала Мэриан в Блекуотер-Парке, когда мадам Фоско подслушивала у дверей ее спальни: граф был шпионом.

У Лоры слово это сорвалось с языка нечаянно, в минуту гнева. Я назвал его так совершенно сознательно, убежденный, что его призвание в жизни — шпионаж. В свете этого его пребывание в Англии спустя долгое время после того, как цель его преступления была достигнута, стало вполне понятным.

В тот год, когда происходили события, мною описываемые, в Хрустальном дворце Гайд-Парка была открыта знаменитая Всемирная выставка. Иностранцы продолжали прибывать в Лондон в огромном количестве, но и до этого в городе их было достаточно много. Среди них были, безусловно, сотни людей, за которыми их правительства, не доверяя им, следили посредством своих тайных агентов, посланных в Англию. Я ни минуты не сомневался в том, что человек с таким кругозором, способностями и общественным положением, как граф Фоско, не является обычным, рядовым иностранным шпионом. Я подозревал, что

он возглавляет целую шпионскую сеть и уполномочен правительством, на службе у которого он состоит, руководить секретными агентами в нашей стране. В числе их были, несомненно, не только мужчины, но и женщины, и я предполагал, что миссис Рюбель, которую граф раздобыл на место сиделки в Блекуотер-Парк, была одной из них.

Если мое предположение было правильным, тогда граф Фоско был, возможно, гораздо более уязвим, чем я мог на это надеяться. К кому можно было обратиться, чтобы точнее разузнать о прошлом этого человека и о нем самом?

Оказать мне содействие мог только его соотечественник и, кроме того, такой человек, на которого можно было полностью положиться. Первый, о ком я подумал в связи с этим, был мой единственный знакомый среди итальянцев — чудаковатый маленький мой приятель профессор Песка.

Профессор так долго не появлялся на этих страницах, что, пожалуй, мои читатели совсем его позабыли.

Согласно правилам этого повествования, люди, к нему причастные, появляются только тогда, когда течение событий касается их. Они появляются и уходят с этих страниц не по моему желанию, но по праву их непосредственной связи с обстоятельствами дела. В силу этого я некоторое время не писал не только о профессоре Песке, но и о моих матушке и сестре. Мои посещения маленького коттеджа в Хемпстеде, уверенность моей матери в том, что настоящая Лора умерла, мои тщетные попытки переубедить ее и мою сестру, тогда как ревнивая любовь ко мне заставляла их упорно оставаться при своем мнении, необходимость скрыть от них мою женитьбу до той поры, пока они не согласятся принять у себя мою жену,— обо всех этих подробностях я не писал, ибо они не имели отношения к главному в этой истории. И хотя все эти подробности усиливали мою тревогу и волнение и прибавляли горечи к моим неудачам, неумолимое течение событий оставляло их в стороне.

По этой самой причине я не рассказывал здесь о том, каким утешением была для меня преданная дружба Пески, когда я встретился с ним после моего первого неожиданного отъезда из Лиммериджа. Я не описывал здесь, как маленький друг мой провожал меня до самой пристани,

когда я отплывал в Центральную Америку, и с каким радостным энтузиазмом он приветствовал меня при моем возвращении в Лондон. Если бы тогда я чувствовал себя вправе принять предложение Пески помочь мне с работой, он давно появился бы снова на этих страницах. Но, несмотря на то что я знал его безупречную честность и мужество, на которые я мог всецело положиться, я не был уверен в его умении молчать. Только поэтому я предпринимал все мои расследования один. Всем понятно теперь, что моя связь с Песком отнюдь не прекратилась, мы продолжали оставаться искренними друзьями — он просто не имел отношения к происшествиям последних месяцев, хотя по-прежнему был мне тем преданным и верным другом, каким был всю свою жизнь.

Прежде чем обратиться к помощи Пески, мне следовало самому посмотреть, что за человек тот, с кем мне придется иметь дело. До этого времени я и в глаза не видывал графа Фоско.

Через три дня после нашего возвращения я пошел на Форест-Род в Сент-Джонз-Вуд около одиннадцати часов утра. Погода была прекрасная, у меня было несколько часов свободного времени. Я предполагал, что если вооружусь терпением, то дождусь графа — он не устоит перед искушением прогуляться. Узнать меня он не мог. В тот единственный раз, когда он шел за мной и проследил меня до самой квартиры, была темная ночь и он не мог видеть моего лица.

В окнах его загородного дома я никого не заметил. Я прошел мимо, завернул за угол и поглядел через невысокую садовую решетку. Одно из окон нижнего этажа было раскрыто настежь и затянуто прозрачной сеткой. Я никого не увидел, но до меня донесся сначала пронзительный свист и чириканье птиц, а затем густой, звучный голос, который я сразу узнал по описаниям Мэриан.

— Летите на мой мизинчик, мои пре-пре-прелестные! — звал голос.— Вылетайте из клетки! Прыгайте наверх. Раз, два, три — вверх! Три, два, раз — вниз! Раз, два, три — тьить, тьить, тьить!

Граф дрессировал своих канареек, как делал это во времена Мэриан в Блекуотер-Парке.

Я немного подождал. Пение и свист прекратились.

— Подите сюда и поцелуйте меня, мои малюточки! — сказал густой голос.

В ответ послышались писк и шорох крыльев, раздался низкий, бархатный хохоток, потом все смолкло. Через несколько минут я услышал, как распахнулась входная дверь. Я повернулся и пошел обратно к дому. Звучный бас огласил загородную тишину тенистой улицы великолепной арией из «Моисея» Россини. Калитка палисадника щелкнула и захлопнулась. Граф вышел на прогулку.

Он пересек улицу и пошел по направлению к Риджинтс-Парку. Я остался на противоположной стороне и пошел вслед за ним, держась немного поодаль.

Мэриан говорила мне о нем и подготовила меня к его огромному росту, чудовищной тучности и пышным траурным одеждам, но не к потрясающей свежести, бодрости и жизненной силе этого человека. В свои шестьдесят лет он выглядел сорокалетним. С шляпой чуть-чуть набекрень, он шел вперед легкой, скользящей походкой, помахивая палкой с золотым набалдашником и мурлыча что-то себе под нос.

Время от времени он поглядывал с великолепной покровительственной улыбкой на дома и сады, мимо которых шел. Если бы какому-нибудь постороннему человеку сказали, что граф является полновластным хозяином этих мест и все здесь принадлежит ему одному, тот не удивился бы. Граф ни разу не оглянулся и, казалось, не обращал особенного внимания ни на меня, ни на кого из прохожих; но время от времени он с приятным отеческим добродушием улыбался и делал глазки детям и их нянькам. Таким образом мы шли всё вперед, пока не поравнялись с магазинами на западной стороне парка.

Он остановился у кондитерской, зашел в нее, вероятно, для того, чтобы сделать заказ, и вышел с пирожным в руках. Шарманщик-итальянец крутил перед кондитерской свою шарманку, на крышке которой сидела жалкая, маленькая, сморщенная обезьянка. Граф остановился, откусил кусок пирожного и с серьезным видом протянул остальное обезьянке.

— Мой бедный человечек,— сказал он с иронической нежностью,— у вас голодный вид. Во имя священного человеколюбия я предлагаю вам позавтракать.

Шарманщик умоляюще протянул руку за подаянием к великодушному незнакомцу. Граф надменно передернул плечами и прошествовал дальше.

Мы вышли на улицу к более роскошным магазинам

между Нью-Род и Оксфорд-стрит. Граф снова замедлил шаги и зашел в небольшой оптический магазин, в окне которого висело объявление, гласящее, что здесь прекрасно выполняют починку очков и т. п. Граф вышел оттуда с театральным биноклем в руках, сделал несколько шагов и остановился у большой афиши, выставленной в окне музыкального магазина. Он внимательно просмотрел афишу, подумал с минуту — и подозвал проезжавший мимо кеб.

— Оперная касса! — сказал он кебмену и уехал.

Я перешел через улицу и тоже начал просматривать афишу. Сегодня в опере давали «Лукрецию Борджиа». Бинокль в руках графа, его внимательный просмотр афиши, его указание кебмену — все говорило о том, что он намерен быть в числе зрителей на «Лукреции Борджиа». У меня была возможность попасть в задние ряды партера благодаря старым приятельским отношениям с одним из художников Оперного театра. Графа, наверно, будет легко разглядеть и мне и моему спутнику — таким образом, я мог сегодня же установить, знает Песка своего соотечественника или нет.

Ввиду всего этого я тут же решил, как мне следует провести сегодняшний вечер. Я раздобыл билеты и по дороге оставил на квартире у профессора записку с приглашением отправиться в оперу. Без четверти восемь я заехал за ним. Мой маленький друг был в праздничном, приподнятом настроении, с бутоньеркой в петлице и с огромнейшим биноклем под мышкой.

— Вы готовы? — спросил я.

— О да, да! — сказал Песка.

Мы отправились в оперу.

V

Последние такты увертюры отзвучали, и партер был уже заполнен публикой, когда Песка и я приехали в театр.

Но в проходе, отделявшем наши ряды от кресел партера, было просторно, на что я и рассчитывал. Я подошел к барьеру за креслами и осмотрел их одно за другим, ища глазами графа. Его не было. Я прошелся по проходу, внимательно всматриваясь в публику. Вскоре я его обнаружил. Он занимал прекрасное место, двенадцатое или

четырнадцатое от конца в третьем ряду. Я стал прямо за его спиной на расстоянии нескольких рядов. Песка был подле меня. Профессор еще не знал, с какой целью я пригласил его в театр, и, по-видимому, был очень удивлен, что мы не делаем попыток продвинуться поближе к сцене.

Занавес взвился, и опера началась.

Весь первый акт мы просидели на наших местах. Граф, поглощенный тем, что происходило на сцене и в оркестре, ни разу не оглянулся. Ни одна нотка из прелестной оперы Доницетти не ускользнула от его слуха. Он сидел, высоко вздымаясь над своими соседями, улыбался и с видимым удовольствием покачивал в такт своей огромной головой. Когда зрители, сидевшие около него, начинали аплодировать сразу же после какой-нибудь арии, не дожидаясь заключительных аккордов (как это всегда делает английская публика), он поглядывал на них с выражением мягкого протеста и слегка поднимал руку, вежливым жестом умоляя о тишине. Прослушав особенно красивые арии и речитативы или особенно нежные пассажи оркестрового аккомпанемента, проходившие без аплодисментов со стороны остальных зрителей, он поднимал свои мощные руки, затянутые в черные лайковые перчатки, и в знак восхищения чуть-чуть похлопывал ими друг о друга, как просвещенный знаток и ценитель Прекрасного. Временами бархатным шепотом он выражал свое одобрение. «Браво! Бра-а-а...» — как мурлыкание огромной кошки разносилось по зрительному залу. Ближайшие его соседи, простодушные приезжие провинциалы, всегда с восторгом взирающие на великосветское общество Лондона, начали следовать его примеру. Много раз за этот вечер взрывы аплодисментов в театре начинались с мягкого похлопывания рук, облаченных в черные перчатки. Ненасытное тщеславие этого человека жадно упивалось этим знаком признания его музыкального превосходства над окружающими. Широкое лицо его беспрестанно озарялось улыбкой. Он поглядывал вокруг, вполне довольный собой и своими ближними. «Да! Да! Эти варвары англичане учатся кое-чему у меня! Здесь и повсюду я, Фоско, главенствую над всеми!» — вот о чем говорило выражение его лица.

Первый акт кончился. Занавес опустился. Публика

начала вставать с мест. Теперь я мог выяснить, знает ли его Песка.

Граф поднялся вместе со всеми и начал величественно обозревать ложи в бинокль. Сначала он стоял к нам спиной, затем медленно повернулся в нашу сторону, то поднося бинокль к глазам, то отводя его. В ту минуту, как он отвел его от лица, я обратил внимание Пески на графа Фоско.

— Вы знаете этого человека? — спросил я.

— Какого человека, друг мой?

— Вон того высокого, толстого человека, который стоит лицом к нам.

Песка стал на цыпочки и посмотрел на графа.

— Нет,— сказал профессор,— этого человека я не знаю. Он знаменит? Почему вы мне его показываете?

— У меня есть на это важные причины. Он итальянец, ваш соотечественник. Его зовут граф Фоско. Это имя вам знакомо?

— Нет, Уолтер. Я не знаю ни имени, ни самого человека.

— Вы уверены, что не знаете его? Посмотрите еще раз, посмотрите внимательно. Когда мы уйдем из театра, я скажу вам, почему мне это необходимо. Подождите, я помогу вам влезть сюда, отсюда вам будет виднее, и вы сможете разглядеть его.

Я помог профессору стать на край помоста, на котором были расположены задние ряды партера. Теперь его маленький рост не мешал ему — он смог смотреть в партер поверх дамских причесок.

Худой, светловолосый человек со шрамом на левой щеке внимательно смотрел на Песку, когда я подсаживал его, и еще внимательнее стал смотреть на того, кого разглядывал, в свою очередь, Песка,— на графа. Наш разговор, возможно, долетел до его ушей и возбудил его любопытство.

В это время Песка усердно смотрел в повернутое к нам широкое, полное, улыбающееся лицо графа.

— Нет,— сказал Песка,— я никогда в жизни не видел этого толстяка.

В это время граф отвел глаза от лож и посмотрел в нашу сторону.

Глаза обоих итальянцев встретились.

За минуту до этого мне было ясно со слов Пески, что он не знает графа. Теперь же я был совершенно уверен, что сам граф знает Песку.

Граф знал его и, что было еще удивительнее, по-видимому, страшно его боялся! Нельзя было ошибиться в выражении лица этого злодея. Лицо его мгновенно исказилось, он побледнел до синевы, его холодные серые глаза исподлобья пытливо уставились на Песку, он окаменел от смертельного ужаса — и причиной тому был маленький Песка!

Худой человек со шрамом на щеке продолжал стоять подле нас. Впечатление, которое Песка произвел на графа, очевидно, заметил и он. Это был неприметный, корректный человек, он выглядел иностранцем, и его интерес к происходящему не был ни назойливым, ни откровенным.

Я, со своей стороны, был так поражен выражением, которое застыло на лице графа, и так не подготовлен к тому, что дело примет такой оборот, что пребывал в полной растерянности. Песка вывел меня из этого состояния, спрыгнув вниз.

— Как этот толстяк уставился на меня! — воскликнул он.— Может быть, он смотрит не на меня? Разве я знаменит? Откуда он знает, кто я, когда я не знаю, кто он?

Я продолжал наблюдать за графом. Когда Песка спрыгнул вниз, граф сделал движение в сторону, не спуская глаз с маленького профессора. Мне хотелось знать, как он поступит, если я отвлеку от него внимание Пески. Я обратился к профессору с вопросом, не найдет ли он своих учеников среди зрителей. Песка тут же поднес к глазам свой огромный бинокль и начал медленно поворачивать голову, разглядывая толпу и усердно разыскивая своих учеников.

Едва граф заметил, что Песка не смотрит больше в его сторону, он круто повернулся и скрылся в проходе среди прогуливающейся публики. Я схватил Песку за руку и, к его великому изумлению, потащил его за собой, стремясь пересечь путь графа прежде, чем тот достигнет главного выхода. Меня немного удивило, что худой человек опередил нас, ловко лавируя среди толпы, которая задерживала наше продвижение. Когда мы вышли в фойе, граф исчез, а вместе с ним исчез и незнакомец со шрамом!

— Идемте домой! — сказал я.— Вернемся к вам, Песка. Мне необходимо поговорить с вами наедине, я должен немедленно говорить с вами.

— О святой боже мой! — вскричал профессор, крайне озадаченный.— В чем дело? Что случилось?

Я быстро шел вперед, не отвечая ему. Обстоятельства, при которых граф покинул театр, наводили на мысль, что его желание ускользнуть от возможной встречи с Песком может повести его и к другим крайностям. Он мог

ускользнуть и от меня, если решит уехать из Лондона. Мою встречу с ним нельзя было откладывать — необходимо было сегодня же повидать его. Меня беспокоила мысль и об этом незнакомце со шрамом, опередившем нас. По-видимому, он последовал за графом с каким-то определенным намерением.

Встревоженный всем этим, я решил как можно скорее рассказать обо всем Песке. Как только мы остались наедине в его комнате, я привел его в еще большее изумление, разъяснив ему, зачем мне нужен граф.

— Друг мой, но чем могу я помочь вам? — жалобно взмолился профессор, беспомощно простирая ко мне свои маленькие ручки.— Черт возьми! Чем я могу помочь, Уолтер, когда я даже не знаю этого человека?

— Он знает вас, он вас боится. Он ушел из театра, чтобы не встретиться с вами, Песка! У него есть какая-то причина для этого. Вспомните ваше прошлое, до вашего приезда в Англию. Вы покинули Италию «из-за политики», как вы мне сами сказали. Вы никогда не объясняли мне, что вы под этим подразумевали, я и сейчас ни о чем вас не спрашиваю. Я прошу только, поройтесь в памяти: нет ли какого-нибудь объяснения для внезапного ужаса, который охватил этого человека при виде вас?

К моему невыразимому изумлению, эти, с моей точки зрения, совершенно безобидные слова произвели на Песку такое же впечатление, какое сам он произвел на графа. Румяное личико моего приятеля мгновенно побледнело, и, задрожав, он отшатнулся от меня.

— Уолтер! — сказал он.— Вы не знаете, о чем вы просите!

Он прошептал эти слова, он смотрел на меня таким взглядом, будто я внезапно указал ему на какую-то серьезную опасность, подстерегающую нас обоих. Этот веселый, жизнерадостный, чудаковатый маленький человек в один миг так изменился, что я не узнал бы его, если б встретил на улице.

— Простите меня, если я неумышленно огорчил и встревожил вас,— отвечал я.— Вспомните, как жестоко пострадала моя жена от руки графа Фоско. Вспомните, что исправить это злодеяние я могу, только если в моих руках будет средство, чтобы принудить его к признанию. Все, что я сказал вам, Песка, я сказал ради нее. Я снова прошу вас простить меня. Мне больше нечего сказать.

Я встал, чтобы уйти. Но у двери он меня остановил.

— Подождите,— воскликнул он.— Ваши слова потрясли меня. Вы не знаете, как я покинул свою родину и почему я ее покинул. Дайте мне прийти в себя, дайте мне подумать, если только я смогу думать.

Я молча сел на стул. Он ходил по комнате, бессвязно разговаривая сам с собою на своем родном языке. По прошествии некоторого времени он вдруг остановился передо мной и положил свои маленькие ручки мне на грудь со странной нежностью и торжественностью.

— Поклянитесь мне, Уолтер,— сказал он,— что у вас нет другого пути к этому человеку, кроме как через меня.

— Другого пути нет,— отвечал я.

Он подошел к двери, тихо открыл ее, осторожно и пытливо оглядел коридор, запер дверь и вернулся ко мне.

— В тот день, когда вы спасли мне жизнь, Уолтер, вы приобрели неоспоримое право на мою жизнь. С той минуты жизнь моя принадлежит вам. Берите ее. Да! Говорю это совершенно сознательно. Когда я скажу вам то, что намерен сказать, жизнь моя будет в ваших руках.

Глубокая серьезность, с которой он произнес эту необычайную тираду, убедила меня, что он говорит правду.

— Имейте в виду,— продолжал он,— сам я не вижу и не знаю, какая связь существует между человеком, которого вы называете Фоско, и моим прошлым, о котором я расскажу вам — ради вас. Если вы сами разглядите эту связь, храните это про себя, не говорите мне ничего, на коленях умоляю вас, пусть я буду непричастен к этому, я ничего не хочу знать — я хочу слепо верить в будущее!

Он произносил эти странные слова отрывисто, с мучительными паузами и снова умолк.

Я видел, что ему приходится делать большие усилия, чтобы продолжать наш разговор на чужом ему английском языке. В столь серьезную минуту он не мог разрешить себе употреблять обычные для него неправильные обороты речи и забавные словечки. Я понимал, что все это только усугубляет его неохоту вообще говорить со мной сейчас. В ранние дни нашей дружбы с Песком я научился читать и писать (но не разговаривать) на его родном языке и потому предложил ему объясняться по-итальянски, а я,

если чего-нибудь не пойму, буду задавать вопросы по-английски. Он ответил согласием.

Речь его потекла плавно, он говорил с неистовым возбуждением, отчаянно жестикулируя, но ни разу не повысил голоса. Я услышал от него рассказ, который вооружил меня для последнего, решающего, поединка[1].

— Причины, по которым я покинул Италию, вам неизвестны. Вы знаете только, что я покинул мою родину в силу каких-то политических причин,— начал он.— Если бы я уехал из моей страны как изгнанник, преследуемый своим правительством, я не делал бы из этого секрета ни от вас, ни от кого-либо другого. Но я молчал, ибо никакое правительство не приговаривало меня к изгнанию. Вы, конечно, слышали, Уолтер, о секретных политических обществах, которые тайно существуют во всех столицах Европы? К одному из таких обществ я и принадлежал в Италии и продолжаю состоять его членом здесь, в Англии. Я приехал сюда по приказу своего начальника. В дни моей юности я был слишком горяч и в своем рвении рисковал скомпрометировать себя и других. Вследствие этого мне было приказано эмигрировать в Англию и ждать. Я эмигрировал, я жду до сих пор. Меня могут завтра же отозвать обратно. Но это может случиться и через десять лет. Мне все равно, я живу здесь, я зарабатываю себе на пропитание уроками итальянского языка, и я жду. Я не нарушу никакой клятвы (вы сейчас узнаете почему), если назову вам, к какому обществу принадлежу. Но этим самым я отдаю свою жизнь в ваши руки, ибо, если кому-либо станет известно, что я рассказал вам обо всем этом, я буду убит. Это так же верно, как и то, что мы сидим с вами здесь.

Вслед за этим он прошептал мне на ухо несколько слов. Я свято храню тайну, в которую он самоотверженно посвятил меня. Достаточно будет, если я назову общество, к которому принадлежал Песка, Братством.

— Цель, которую преследует наше Братство,— продолжал он,— та же самая, которую преследуют и все

[1] Я должен здесь упомянуть, что привожу рассказ Пески с сокращениями и некоторыми изменениями ввиду чрезвычайно серьезного характера, который носит его рассказ, а также из чувства долга по отношению к моему другу. Это единственная часть сего повествования, где я не имею права быть совершенно откровенным с моими читателями, ибо этого требует всем понятная осторожность (*Примеч автора*)

другие политические общества: свержение тиранов и защита прав народа. У Братства два принципа: пока жизнь человека полезна или он хотя бы не причиняет вреда окружающим, он имеет право на нее. Но если он живет во вред другим, он теряет право на жизнь. Отнять у него жизнь является не только не преступлением, но необходимым, правильным поступком. Не мне рассказывать вам, англичанину, в каких страшных условиях угнетения и насилия зародилось наше общество. Вы, англичане, так давно завоевали свободу, что уже успели позабыть, сколько крови за нее было пролито, и не вам судить, на какие крайности могут пойти с отчаяния люди, принадлежащие к угнетенной нации. Наши страдания вам непонятны. Горе, которое выжгло наши сердца, слишком глубоко, чтобы вы могли его увидеть. Не судите нас! Можете смеяться над нами, не доверять нам, удивляться нам — но не осуждать нас! Широко раскрывайте глаза при виде нашего подлинного «я», которое теплится порой в глубине наших

сердец под покровом внешней респектабельности, как, например, у меня, и живет порой в тех, кому не так повезло, как мне, менее гибких и выносливых, задавленных постоянной нуждой или безвыходной нищетой. Во времена вашего Карла Первого[1] вы, может быть, могли бы отнестись к нам по всей справедливости, но благодаря вашей многовековой свободе вы теперь стали не способны понять нас.

Впервые в жизни он открыл мне свое сердце, слова его шли от самой глубины души и были глубоко искренними, но он говорил тихо, вполголоса, сам ужасаясь своей откровенности.

— Пока что вам, наверно, кажется, что наше Братство не отличается от других ему подобных обществ. С вашей, английской точки зрения, цель его — сеять анархию и подготовлять революцию. Убивать плохого короля или скверного министра, как если б и тот и другой были опасными дикими зверями, которых необходимо уничтожать при первой же возможности. Предположим, что это так. Но закон нашего Братства отличается от правил других тайных обществ. Члены Братства не знают друг друга. У нас есть президент в Италии и президенты за границей, у них есть секретари. Президенты и секретари знают членов нашего Братства, но мы, рядовые члены Братства, не знаем друг друга до тех пор, пока наши начальники не сочтут нужным — по политическим соображениям или в интересах общества — познакомить нас друг с другом. Поэтому с нас не берут никаких клятв при вступлении в Братство. Мы до конца дней наших носим на теле отличительный знак Братства, по которому нас можно опознать. Мы имеем право заниматься своими обычными делами, но должны сообщать о себе президенту и секретарю четыре раза в год, на тот случай, если мы понадобимся. Нас предупреждают, что если мы предадим Братство, то есть откроем его тайное существование или изменим ему, нас постигнет кара согласно его законам — смерть от руки неизвестного нам человека, может быть посланного с другого конца земли, чтобы нанести сокрушительный удар, или смерть от руки ближайшего друга, тоже члена нашего Братства,

[1] Карл I (1600—1649) — английский король с 1625 года из династии Стюартов. Был свергнут с престола во время английской буржуазной революции XVII века и казнен правительством Кромвеля.

чего мы можем не знать, несмотря на многолетнюю близость с ним. Иногда наказание откладывают на неопределенное время, иногда измену немедленно карают смертью. Наша первая обязанность — уметь ждать, вторая — уметь беспрекословно повиноваться, когда нам отдадут приказ. Некоторые из нас могут ни разу в жизни не понадобиться Братству. Некоторые из нас могут быть призваны к делу Братства в первый же день вступления в его члены. Я сам, маленький, живой, веселый человек, которого вы хорошо знаете, человек, неспособный и муху обидеть, в молодости в силу одного происшествия, столь ужасного, что я не расскажу вам о нем, вступил в Братство под влиянием минуты, как решился бы на самоубийство. До конца моих дней я обязан оставаться членом этой организации, какой бы я ее ни считал и что бы я о ней ни думал теперь, в спокойные минуты моей зрелости. Когда я был еще в Италии, я был избран в секретари Братства, и мне показали его членов, одного за другим.

Я начал понимать, к чему он клонит, я начал понимать, к какому выводу ведет его необычайная история. Он помолчал с минуту, пристально и вдумчиво глядя на меня, и, очевидно, понял, какая мысль промелькнула в моем мозгу.

— Вы уже сделали свои выводы,— сказал он,— я вижу это по выражению вашего лица. Не говорите мне ничего — не поверяйте мне ваших догадок. Я пойду для вас на последнюю жертву, а потом мы покончим с этим разговором, чтобы уже никогда к нему не возвращаться.

Он сделал мне знак молчать, встал, снял свой сюртук и засучил рукав рубашки на левой руке.

— Я обещал рассказать вам все,— прошептал он мне на ухо, не спуская глаз с двери.— Что бы ни произошло в дальнейшем, вы не сможете упрекнуть меня в том, что я от вас что-либо скрыл. Я сказал вам — Братство опознает своих членов по отличительному признаку, который они носят на себе всю жизнь. Взгляните!

Он поднял руку и показал мне выжженное клеймо над локтем, с внутренней стороны,— клеймо было темно-багрового цвета. Я не напишу, что именно оно изображало. Скажу только, что клеймо было круглой формы и таким

небольшим, что шестипенсовая монета могла бы его закрыть.

— Человек с такой меткой, выжженной на этом месте, является членом нашего Братства,— сказал он, опуская рукав рубашки.— Человек, раз изменивший Братству, что рано или поздно становится известным начальникам, которые знают его в лицо, то есть президентам или секретарям, карается смертью. Если он изменил — он мертв. *Никакие человеческие законы не спасут его.* Помните о том, что увидели и услышали. Приходите к какому хотите заключению. Поступайте по вашему усмотрению, но, ради бога, не посвящайте в ваши планы меня! Я не хочу, я не должен ничего об этом знать. Дайте мне возможность остаться непричастным ко всему этому, освободите меня от ответственности, самая мысль о которой ужасает меня. Скажу под конец — даю вам честное слово джентльмена, клянусь вам: если этот человек в опере узнал меня, значит, он так изменился или так загримировался, что я не узнал *его*. Я ничего не знаю ни о нем, ни о его делах и поступках. Я не знаю, почему он находится в Англии. Я никогда не видел его, никогда не слышал его имени — до этой ночи. Мне нечего больше сказать. Оставьте меня теперь одного, Уолтер. Я потрясен всем происшедшим. Я содрогаюсь при мысли о своей собственной откровенности. Дайте мне время прийти в себя. Я постараюсь обрести душевное равновесие до следующей нашей встречи.

Он упал на стул и, отвернувшись от меня, закрыл лицо руками. Я шепотом сказал ему на прощание слова благодарности, которые он мог услышать или нет, по своему желанию, и тихо открыл дверь, чтобы не беспокоить его больше.

— Я сохраню память о сегодняшнем вечере в святая святых моего сердца,— сказал я ему.— Вы никогда не раскаетесь в том, что доверились мне. Можно мне прийти к вам завтра? Можно прийти рано, в девять часов утра?

— Да, Уолтер,— ответил он, ласково глядя на меня и говоря снова по-английски, очевидно желая как можно скорее вернуться к нашим прежним отношениям.— Приходите разделить мой скромный завтрак до того, как я пойду на уроки.

— Спокойной ночи, Песка.

— Спокойной ночи, друг мой.

VI

Я вышел от него, убежденный, что после всего мною услышанного мне ничего другого не остается, как действовать немедленно, сразу же. Граф мог уехать ночью, и, если бы я стал дожидаться утра, последняя возможность восстановить Лору в правах была бы потеряна. Я посмотрел на часы. Было десять часов вечера.

Поспешность, с которой граф ушел из театра, говорила сама за себя. У меня не было ни тени сомнения в том, что сейчас он готовится к отъезду из Лондона. Клеймо Братства было на его руке — я был так убежден в этом, как если бы своими собственными глазами видел этот знак у него на руке. Измена Братству была на его совести — ужас, охвативший его при виде Пески, служил этому неопровержимым доказательством.

Нетрудно было понять, почему Песка не узнал его. Такой человек, как граф, никогда не рискнул бы стать шпионом, не застраховав себя предварительно от всяких случайностей. Гладко выбритое лицо графа, на которое я показал профессору в опере, было, возможно, покрыто густой растительностью во времена молодости Пески. Темно-каштановые волосы графа были, несомненно, не его собственными — он носил парик. Имя его, безусловно, не было настоящим его именем. Время тоже могло прийти ему на помощь — таким непомерно тучным он стал, наверно, за последние годы. Вот почему Песка не узнал его, в то время как граф, со своей стороны, сразу узнал Песку благодаря необычайно малому росту и другим особенностям моего друга профессора, резко отличавшим его от других смертных.

Я уже упомянул, что не сомневался в причине, побудившей графа так поспешно уйти из театра. Мог ли я сомневаться, когда собственными глазами видел, как граф, считая, что, несмотря на его изменившуюся внешность, Песка опознал его, мгновенно почуял смертельную опасность! Если бы я мог встретиться с графом сегодня же ночью и сказать ему, что и мне известно, какая кара ему грозит, к какому результату это привело бы? Ясно — один из нас должен был стать хозяином положения, одному из нас пришлось бы просить пощады у другого.

Прежде чем идти на этот риск, я был обязан ради своей

жены осторожно продумать дальнейшие свои шаги и, елико возможно, уменьшить опасность, мне грозившую.

Мне угрожало лишь одно: если граф, когда я буду стоять с ним лицом к лицу, заключит из моих слов, что препятствием на его пути к безопасности являюсь я один, он, бесспорно, ни перед чем не остановится, чтобы застичь меня врасплох и избавиться от меня любым способом и любыми средствами. После некоторого раздумья я понял, каким путем я могу защитить себя и уменьшить риск, связанный с нашей встречей. Прежде чем сказать ему, что его история мне известна, я должен был предостеречь его, что его жизнь зависит от безопасности моей жизни. Я мог подложить под него мину, прежде чем идти к нему, и оставить инструкции взорвать эту мину по истечении некоторого времени, если от меня — лично или в письменной форме — не последует других, противоположных указаний. В таком случае целость и сохранность графа будут в полной зависимости от моей целости и сохранности — я буду занимать выгодную позицию даже в его собственном доме.

Эта мысль пришла мне в голову по дороге на нашу новую квартиру, которую мы наняли по возвращении с побережья. Чтобы никого не беспокоить, я отпер двери своим ключом. В передней горел свет. Я тихо прошел в свою рабочую комнату, чтобы сделать необходимые приготовления, прежде чем Лора или Мэриан заподозрят, к чему я готовлюсь.

Письмо к Песке было наиболее верной предосторожностью, которую я мог предпринять. Я написал ему:

«Человек, которого я показал вам в театре, является членом Братства. Он изменил ему. Проверьте эти два факта немедленно. Вы знаете, под каким именем он живет в Англии. Адрес его: дом № 5 по Форест-Род, Сент-Джонз-Вуд. Во имя любви, которую вы ко мне питали, употребите власть, которой вы облечены, чтобы немедленно и беспощадно покарать этого человека. Я рискнул всем — и потерял все. За это я поплатился жизнью».

Поставив под этими строками свою подпись, я вложил письмо в конверт и запечатал его своей печатью. На конверте я написал: «Не распечатывать до девяти часов утра. Если до этого часа вы не получите известий от меня или не увидите меня самого, сломайте печать, когда часы

пробьют девять, и прочитайте письмо». Под этим я поставил свои инициалы и вложил письмо в другой конверт, надписав на нем адрес Пески.

Мне оставалось найти способ немедленно отослать письмо по адресу. Отправив его Песке, я сделал бы все, что было в моих силах. Если в доме графа со мной что-нибудь случится, я заручился тем, что за это он расплатится жизнью.

Я ни минуты не сомневался, что Песка, если б он того захотел, имел возможность при любых обстоятельствах предотвратить бегство графа. В этом меня убеждало настоятельное нежелание Пески что-либо знать о графе или, иными словами, его горячее желание оправдать в моих глазах свою кажущуюся пассивность. Мне было ясно, что Песка располагал средствами совершить страшную кару Братства, хотя и не хотел признаться мне в этом. О том, что иностранные политические организации всегда карают изменников, где бы они ни скрывались, было слишком хорошо известно даже мне, человеку, совершенно не искушенному в этих делах. В лондонских и парижских газетах мне часто попадались сообщения об убитых иностранцах, причем убийцы бесследно исчезали. Я ничего не скрыл о себе на этих страницах, не умолчу также и о своей уверенности, что, если бы меня постигло несчастье, в результате чего Песка вскрыл бы конверт, своим сообщением я подписывал смертный приговор графу Фоско.

Я спустился вниз, чтобы повидать владельца нашего дома и посоветоваться с ним, как найти посыльного. Как раз в это время он поднимался по лестнице, и мы встретились на площадке. По его словам, сын его, сообразительный мальчик, мог исполнить мое поручение. Мы позвали его сына наверх, и я дал мальчику необходимые указания. Он должен был поехать в кебе по указанному адресу, передать письмо в собственные руки Пески и привезти мне обратно расписку этого джентльмена в получении моего письма. Вернувшись, мальчик должен был оставить кеб у дверей, чтобы я мог сразу же уехать в нем. Было около половины одиннадцатого. Я высчитал, что мальчик вернется минут через двадцать и еще за двадцать минут я успею доехать до Сент-Джонз-Вуда.

Когда мальчик отправился выполнять мое поручение, я вернулся к себе в комнату, чтобы привести в порядок

некоторые бумаги на случай, если со мной произойдет худшее. Ключ от старомодного бюро, где хранились наши документы, я запечатал в конверт и оставил на столе, надписав на пакете имя Мэриан. Покончив с этим, я сошел вниз в нашу гостиную, где думал застать Лору и Мэриан, которые собирались ждать моего возвращения из оперы. Открывая дверь в гостиную, я почувствовал, что рука моя дрожит.

В комнате была одна Мэриан. Она читала и при виде меня с удивлением взглянула на часы.

— Как вы рано вернулись! — сказала она.— Вы, наверно, ушли, не дождавшись конца представления?

— Да,— отвечал я,— мы с Песком не дождались конца... А где Лора?

— Вечером у нее заболела голова, и я посоветовала ей лечь спать сразу же после чая.

Я вышел из комнаты под тем предлогом, что хочу посмотреть, уснула ли Лора. Проницательные глаза Мэриан слишком пристально начали вглядываться в мое лицо — она, по-видимому, угадывала, что я что-то замыслил.

Я вошел в спальню и тихо подошел к постели. Освещенная слабым светом мерцающего ночника, жена моя спала.

Мы были женаты всего около месяца. Если у меня было тяжко на сердце, если моя решимость дрогнула на миг, когда я увидел ее лицо, повернутое во сне в сторону моей подушки, когда я увидел, как рука ее лежит на одеяле, как будто ожидая пожатия моей руки, не заслуживал ли я снисхождения? Я только задержался на несколько минут, стал на колени у ее постели, чтобы поглядеть на нее поближе — так близко, что дыхание ее коснулось моего лица. На прощание я только тихо дотронулся губами до ее лба и руки. Она пошевелилась во сне и прошептала мое имя, но не проснулась. Я с минуту постоял в дверях, чтобы еще раз поглядеть на нее.

— Да благословит и сохранит тебя господь, дорогая! — прошептал я и вышел из спальни.

Мэриан ждала меня на лестнице. В руках у нее был сложенный лист бумаги.

— Сын хозяина привез это дла вас,— сказала она.— Кеб стоит у подъезда, мальчик сказал, что вы приказали держать экипаж наготове.

— Совершенно верно, Мэриан. Кеб понадобится мне — я собираюсь снова отлучиться.

Спустившись в гостиную, я прочитал записку. Рукой Пески было написано: «Ваше письмо получено. Если от вас не будет известий до назначенного часа, я сломаю печать, когда пробьют часы».

Я положил записку в карман и пошел к двери. Мэриан встала передо мной у порога и толкнула меня обратно в комнату. Свет от зажженной свечи упал на меня. Мэриан схватила меня за руки и пристально посмотрела мне в глаза.

— Я понимаю,— сказала она прерывистым шепотом,— сегодня вы решаетесь на последнюю попытку.

— Да. Последнюю, и надеюсь — удачную,— шепнул я ей в ответ.

— Но не один! О Уолтер, ради бога, не один! Я поеду с вами. Не отказывайте мне только оттого, что я женщина! Я должна быть с вами! Я поеду! Я подожду вас в кебе!

Теперь была моя очередь удержать ее. Она попыталась вырваться и подойти к двери первая.

— Если вы хотите помочь мне,— сказал я,— оставайтесь здесь и ложитесь спать сегодня в спальне моей жены. Дайте мне уехать со спокойным сердцем. Если я буду спокоен за Лору, я ручаюсь за все остальное. Поцелуйте меня, Мэриан, и докажите, что у вас достанет мужества ждать, пока я вернусь.

Не успела она ответить, как я был уже у двери. Она попробовала удержать меня, но я уже бежал вниз по лестнице. Мальчик был в передней, он распахнул передо мной входную дверь. Я вскочил в кеб, прежде чем кучер успел влезть на козлы.

— Форест-Род, Сент-Джонз-Вуд! — крикнул я ему через окно.— Я заплачу вдвое, если вы будете там через четверть часа!

— Постараюсь, сэр!

Я взглянул на часы. Одиннадцать часов. Нельзя было терять ни минуты.

Стремительное движение кеба, сознание, что каждая минута приближает меня к графу, что наконец я могу беспрепятственно отважиться на это рискованное предприятие,— все вместе привело меня в такое возбуждение, что я все время просил кучера ехать быстрее. Когда мы

выехали на шоссе, я в нетерпении высунулся из окна кеба, чтобы посмотреть, скоро ли мы прибудем на место. Где-то в отдалении часы гулко пробили четверть двенадцатого, когда мы завернули на Форест-Род. Я остановил кеб, немного не доезжая до загородной резиденции графа, быстро расплатился с кебменом и поспешно направился к дому.

На пути к калитке я увидел какого-то человека, он шел мне навстречу. Мы встретились под газовым фонарем и посмотрели друг на друга. Я сразу же узнал светловолосого иностранца со шрамом на щеке; он, по-видимому, тоже узнал меня. Он ничего не сказал мне и, вместо того чтобы остановиться перед домом, как сделал это я, медленно пошел дальше.

Случайно ли оказался он на Форест-Род или выследил графа до самого дома?

Мне было некогда думать об этом. Подождав, пока незнакомец не скроется из виду, я позвонил. Было двадцать минут двенадцатого. Граф мог отказаться принять меня под предлогом, что уже лег спать.

Для того чтобы это препятствие не встало на моем пути, я решил послать ему мою визитную карточку, не задавая вопроса, может ли он принять меня. В то же время необходимо было дать ему понять, что у меня есть серьезная причина для неотлагательного визита даже в такой поздний час. Я достал свою визитную карточку и написал: «По важному делу». В это время горничная открыла калитку и подозрительно спросила, что мне угодно.

— Пожалуйста, передайте это вашему господину,— ответил я, подавая ей свою визитную карточку.

По нерешительности, с которой она ее взяла, я понял, что, если бы я спросил, дома ли граф, ей было заранее приказано ответить, что его нет. В крайнем замешательстве поглядев на меня, она пошла к дому, закрыла за собой входную дверь и оставила меня ждать в палисаднике.

Через минуту она снова появилась:

— Граф передает привет и спрашивает, не будете ли вы любезны сказать, по какому делу вы хотите его видеть.

— Передайте ему мой привет,— отвечал я,— и доложите, что о своем деле я скажу только ему самому.

Она ушла, затем снова вернулась и попросила меня войти.

Я последовал за нею. Через минуту я был в доме графа Фоско.

VII

В холле не было лампы, но при тусклом свете свечи, которую держала в руках горничная, я увидел, как из другой комнаты в переднюю тихо вошла пожилая дама.

Она бросила на меня быстрый, змеиный взгляд и, не ответив на мой поклон, стала медленно подниматься по лестнице. Мое знакомство с дневником Мэриан подсказало мне, что пожилая дама была мадам Фоско.

Служанка ввела меня в комнату, из которой только что вышла графиня. Я очутился лицом к лицу с графом.

Он был все еще в вечернем костюме, кроме фрака, который он небрежно сбросил на кресло. Рукава его белоснежной рубашки были слегка отвернуты у кисти. Подле него по одну сторону стоял чемодан, по другую — открытый сундук. Повсюду были разбросаны книги, бумаги, одежда. Около двери на столе стояла клетка с белыми мышами, хорошо знакомая мне по описаниям. Канарейки и какаду, по всей вероятности, были где-то в другой комнате. Когда я вошел, граф сидел у сундука и укладывал вещи. Он встал, чтобы принять меня, держа в руках какие-то бумаги. Лицо его хранило следы потрясения, пережитого им в театре. Толстые щеки обвисли, холодные серые глаза неустанно наблюдали за мной, его голос, взгляд, манеры — все говорило о недоверчивости и недоумении по поводу моего визита. Он сделал шаг ко мне и с холодной любезностью попросил меня сесть.

— Вы пришли по делу, сэр? — спросил он.— Я совершенно теряюсь в догадках. Какое дело вы можете иметь ко мне?

Нескрываемое любопытство, с которым он меня рассматривал, убедило меня, что он не заметил меня в опере. Он увидел Песку — и с той минуты он уже не замечал никого из окружающих. Мое имя, конечно, предупредило его о моих враждебных намерениях, но, казалось, он действительно не подозревает, с какой целью я пришел к нему.

— Я очень рад, что застал вас дома,— сказал я.— Вы, кажется, собираетесь уезжать?

— Ваше дело имеет какое-то отношение к моему отъезду?

— До некоторой степени.

— До какой степени? Вам известно, куда я уезжаю?

— Нет. Но мне известно, *почему* вы уезжаете.

Он мгновенно проскользнул мимо меня к двери, запер ее и положил ключ к себе в карман.

— Мы с вами превосходно знаем друг друга по отзывам, мистер Хартрайт,— сказал он.— Вам, случайно, не приходило в голову, когда вы сюда шли, что я не из тех, с кем можно шутить?

— Конечно,— отвечал я,— и я здесь не для того, чтобы шутить с вами. Дело идет о жизни и смерти — вот почему я здесь. Будь эта дверь, которую вы заперли, открыта сейчас — все равно никакие ваши слова или поступки не заставят меня уйти отсюда.

Я прошел в глубь комнаты и стал напротив него на ковре у камина. Он придвинул стул к двери и уселся на него. Левую руку он положил на стол около клетки с белыми мышами. Стол дрогнул под тяжестью его руки. Маленькие зверьки проснулись и, глядя на него во все глаза, заметались по клетке, высовывая мордочки через прутья своего затейливого домика.

— Дело идет о жизни и смерти,— повторил он вполголоса.— Эти слова имеют, возможно, еще более серьезный смысл, чем вы думаете. Что вы хотите сказать?

— То, что сказал.

Лоб его покрылся испариной. Левая его рука подвинулась к краю стола. В столе был ящик. В замке ящика торчал ключ. Пальцы его сжались вокруг ключа, но он не повернул его.

— Итак, вам известно, почему я покидаю Лондон? — продолжал он.— Укажите эту причину, пожалуйста.— С этими словами он повернул ключ и открыл ящик.

— Я сделаю больше,— отвечал я,— я покажу вам причину, если хотите.

— Каким образом?

— Вы сняли фрак,— сказал я.— Засучите левый рукав вашей рубашки, и вы увидите.

Лицо его мгновенно покрылось свинцовой бледностью, как и тогда в театре. В глазах сверкнула смертельная ненависть. Неумолимо он смотрел прямо в мои глаза. Он молчал. Но рука его медленно выдвинула ящик и бесшумно

скользнула в него. Скрежет чего-то тяжелого, что двигалось в ящике, донесся до меня и стих. Настала такая гробовая тишина, что стало слышно, как мыши грызут прутья своей клетки.

Жизнь моя висела на волоске. Я понимал это. Но в последнюю свою минуту я думал его мыслями, я осязал его пальцами, я мысленно видел, что́ именно он придвинул к себе в ящике.

— Подождите немного,— сказал я.— Дверь заперта, вы видите — я не двигаюсь, видите — в руках у меня ничего нет. Подождите. Я должен вам что-то сказать.

— Вы сказали достаточно,— отвечал он с внезапным спокойствием, неестественным и зловещим, гораздо более страшным, чем самая яростная вспышка гнева.— Мне самому нужна минута для размышления, если позволите. Вы угадываете, над чем я хочу поразмыслить?

— Возможно.

— Я думаю,— сказал он тихо и невозмутимо,— прибавится ли беспорядка в этой комнате, когда ваши мозги разлетятся вдребезги у камина.

По выражению его лица я понял, что, если в эту минуту я сделаю малейшее движение, он спустит курок.

— Прежде чем покончить с этим вопросом, советую вам прочитать записку, которую я с собой принес,— сказал я.

По-видимому, мое предложение возбудило его любопытство. Он кивнул головой. Я вынул ответ Пески на мое письмо, подал графу и снова стал у камина.

Он прочитал вслух:

— «Ваше письмо получено. Если я не услышу о вас до назначенного часа — я сломаю печать, когда пробьют часы».

Другому человеку на его месте нужны были бы объяснения — граф не нуждался в них. Он сразу же понял, как если бы сам присутствовал при этом, какую предосторожность я принял. Выражение его лица мгновенно изменилось. Он вынул руку из ящика — в ней ничего не было.

— Я не запру ящика, мистер Хартрайт,— сказал он.— Я еще не сказал, что ваши мозги не разлетятся вдребезги у камина, но я справедлив даже по отношению к врагам и готов заблаговременно признать, что эти мозги

умнее, чем я думал. К делу, сэр! Вам что-то нужно от меня.

— Да. Я намерен это получить.

— На условиях?

— Без всяких условий!

Его рука снова скользнула в ящик.

— Ба! Мы топчемся на месте, и ваши умные мозги снова подвергаются опасности,— сказал он.— Ваш тон неуместно дерзок, сэр, умерьте его! С моей точки зрения, я меньше рискую, застрелив вас на месте, чем если вы уйдете из этого дома, не согласившись на условия, продиктованные и одобренные мною. Сейчас вы имеете дело не с моим горячо оплакиваемым другом — вы стоите лицом к лицу с самим Фоско! Если бы двадцать человеческих жизней, мистер Хартрайт, были камнями преткновéния на моем пути, я прошел бы по этим камням, поддерживаемый моим возвышенным равнодушием, балансируя с помощью моего непреклонного спокойствия. Если вы дорожите собственной жизнью — относитесь ко мне с должным уважением! Я призываю вас ответить мне на три вопроса. Выслушайте их — они имеют существенное значение для нашего дальнейшего разговора. Отвечайте на них — это имеет существенное значение для меня.— Он поднял палец.— Первый вопрос,— сказал он.— Вы пришли сюда благодаря каким-то сведениям, ложным или правдивым,— где вы их взяли?

— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.

— Неважно, я все равно узнаю. Если эти сведения правильные — заметьте, как я подчеркиваю слово *«если»*,— вы получили возможность торговать ими здесь в силу собственной измены или измены кого-то другого. Я отмечаю это обстоятельство в памяти для дальнейшего его использования в будущем. А я ничего не забываю. Продолжаю! — Он поднял второй палец.— Второй вопрос. Под строками, которые вы дали мне прочитать, нет подписи. Кто писал их?

— Человек, на которого я могу полностью положиться, человек, бояться которого *вы* имеете полное основание.

Мой ответ попал в цель. Рука в ящике заметно дрогнула.

— Сколько времени вы предоставляете мне,— сказал он, задавая свой третий вопрос более умеренным тоном,— до того как пробьют часы и печать будет сломана?

— Достаточно времени, чтобы вы согласились на мои условия,— отвечал я.

— Отвечайте мне точнее, мистер Хартрайт. Сколько ударов должны пробить часы?

— Девять завтра утром.

— Девять завтра утром? Да-да, ловушка захлопнется прежде, чем я успею привести в порядок паспорт и уехать из Лондона. А не раньше? Ну, это мы еще посмотрим. Я могу оставить вас здесь в качестве заложника и договориться с вами, чтобы вы послали за вашим письмом до того, как отпущу вас. А пока что, будьте добры, изложите ваши условия.

— Вы их услышите. Они очень несложны. Их можно изложить в нескольких словах. Знаете ли вы, в чьих интересах я пришел сюда?

Он улыбнулся с непостижимым хладнокровием и небрежно помахал рукой:

— Я согласен ответить наугад. Конечно, в интересах какой-то дамы?

— В интересах моей жены.

Впервые за весь наш разговор неподдельное, искреннее чувство промелькнуло на его лице. Он крайне изумился. Я понял, что с этой минуты он перестал считать меня опасным врагом. Он задвинул ящик стола, скрестил руки на груди и, презрительно улыбаясь, стал с большим интересом слушать меня.

— Вы прекрасно знаете о расследовании, которое я веду вот уже много месяцев,— продолжал я.— Будет бесполезно, если вы начнете отрицать какие-либо факты, мне известные. Вы виноваты в чудовищном злодеянии. Вы совершили его с целью присвоить себе десять тысяч фунтов.

Он ничего не сказал, но лицо его вдруг затуманилось.

— Оставьте их себе,— сказал я. (Лицо его снова прояснилось, а глаза широко раскрылись от удивления.) — Я здесь не для того, чтобы торговаться о деньгах, которые прошли через ваши руки и были ценою низкого преступления...

— Осторожнее, мистер Хартрайт. Ваши моральные мышеловки имеют успех в Англии,— оставьте их для себя и ваших соотечественников, прошу вас. Десять тысяч фунтов — это наследство, завещанное моей превосходной жене покойным мистером Фэрли. Рассматривайте их с

этой точки зрения, и тогда, если хотите, я поговорю с вами по этому поводу. Должен, однако, заметить, что для человека столь утонченной чувствительности, как я... подобный разговор будет плачевно низменным. Я предпочел бы обойти молчанием эту мелочную тему. Предлагаю вам вернуться к обсуждению ваших условий. Чего вы хотите?

— Я требую, во-первых, полного вашего признания в письменной форме. Вы его напишете и проставите под ним ваше имя — сейчас, здесь, в моем присутствии.

Он поднял палец.

— Раз! — сказал он, отсчитывая мои требования с серьезным вниманием солидного, делового человека.

— Во-вторых, я требую от вас доказательства, не зависящего от ваших личных клятвенных утверждений,— я требую, чтобы вы указали точную дату — чтобы вы написали, какого именно числа моя жена уехала из Блекуотер-Парка в Лондон.

— Так-так! Вы таки поняли, в чем наше слабое место,— спокойно заметил он.— Что еще?

— Пока что это все.

— Хорошо. Вы изложили ваши условия, теперь слушайте мои. Моя ответственность за «преступление», как вам угодно его назвать, в целом, быть может, меньше ответственности за то, что я уложу вас на месте, здесь, на ковре у камина. Скажем, я принимаю ваше предложение, но с моими поправками. Нужный вам отчет будет написан и необходимые вам доказательства будут мною представлены. Считаете ли вы доказательством письмо моего горячо оплакиваемого друга, собственноручно им написанное и подписанное, извещающее меня о дне прибытия его жены в Лондон? Оно является доказательством, не так ли? Я вручу его вам. Больше того: я могу отослать вас к человеку, чей экипаж я нанял, чтобы увезти мою гостью с вокзала по ее прибытии в Лондон. С помощью книги заказов этого человека вы узнаете дату, даже если кебмен, который вез нас, забыл, какого числа это было. Я могу это сделать — и сделаю — на следующих условиях. Я перечислю их. Условие первое. Мадам Фоско и я уедем, когда, куда и как нам заблагорассудится. Чинить препятствий вы нам не будете. Второе условие. Вы подождете здесь, в моем обществе, прихода моего агента. Он придет

в семь часов утра, чтобы помочь мне с оставшимися делами. С ним вы пошлете держателю вашего письма указание вручить его моему агенту. Вы подождете здесь, пока мой агент не передаст это нераспечатанное письмо мне в руки, после чего вы дадите мне полчаса, чтобы я мог уехать, а затем можете считать себя свободным и идти на все четыре стороны. Третье условие. Вы дадите мне сатисфакцию джентльмена за ваше вмешательство в мои дела и за те выражения, которые вы разрешили себе в моем присутствии во время данной конференции. Время и место дуэли — за границей! — будут указаны, я напишу вам, когда буду находиться в безопасности на континенте. В моем письме будет полоска бумаги, соответствующая длине моей шпаги. Вот мои условия. Будьте любезны ответить: принимаете ли вы их?

Необычайная смесь мгновенной решимости, расчетливого коварства, безмерной бравады ошеломила меня на миг, но только на миг. Мне надо было решить, имею ли я нравственное право дать этому негодяю, похитившему имя у моей жены, уйти безнаказанно в обмен на представленные им средства для восстановления попранных прав Лоры. С самого начала к моему стремлению достичь этой цели примешивалось чувство мести. Я понимал, что сама цель — добиться справедливого признания моей жены в доме, где она родилась и откуда ее изгнали как самозванку, и публичное уничтожение той лжи, которая была начертана на надгробном памятнике ее матери,— эта цель была бы гораздо благороднее и возвышеннее, не отягченная налетом дурных страстей, свободная от стремления *отомстить,* которое примешивалось ко всем моим действиям с самого начала. И все же я не могу со всей искренностью сказать, что мои моральные убеждения были во мне достаточно сильны, чтобы решить за меня исход моей внутренней борьбы. Перевес остался за ними благодаря тому, что в этот миг я вспомнил о смерти сэра Перси-валя. Каким ужасным образом сама судьба вырвала возмездие из моих слабых рук! В моем слепом неведении будущего имел ли я право считать, что этот человек останется безнаказанным, если уйдет от меня? Я размышлял об этом — может быть, с некоторой долей суеверного предчувствия, мне свойственного, может быть, с более благородным побуждением, не зависящим от этого предчувствия. Трудно было мне добровольно выпустить его из

рук — выпустить теперь, когда наконец я держал его за горло,— но я заставил себя это сделать. Я решил руководствоваться только той высокой справедливой целью, в которую я незыблемо верил,— служить делу Лоры, делу Правды.

— Я принимаю ваши условия,— сказал я,— с одной оговоркой.

— С какой? — спросил он.

— Дело касается моего письма,— ответил я.— Я требую, чтобы вы, не читая, уничтожили его в моем присутствии, как только оно будет в ваших руках.

Я не хотел оставлять в его руках доказательство моего общения с Песком. Факт моего знакомства с профессором все равно станет ему известным, когда утром я дам его агенту адрес Пески. Но он не мог воспользоваться этим во вред моему другу на основании только собственных слов, даже если бы отважился на этот эксперимент, и я мог быть совершенно спокоен за маленького профессора.

— Я согласен на вашу оговорку,— отвечал он после минутного глубокого раздумья.— Не стоит поднимать спор из-за этого — письмо будет уничтожено, как только его доставят сюда.

С этими словами он встал со стула (на этот раз он сидел напротив меня, по другую сторону камина). Усилием воли он мгновенно сбросил с себя всю тяжесть нашего предыдущего разговора.

— Уф! — вскричал он, с наслаждением потягиваясь.— Схватка была жаркой, покуда длилась. Присаживайтесь, мистер Хартрайт. В будущем мы с вами встретимся как смертельные враги, а пока что будем любезны и приветливы друг с другом, как подобает истинным джентльменам. Разрешите мне пригласить сюда мою жену.

Он отпер двери и распахнул их.

— Элеонора! — позвал он своим густым, зычным басом.

Леди со змеиным лицом вошла в комнату.

— Мадам Фоско — мистер Хартрайт,— сказал граф, представляя нас друг другу со светской непринужденностью.— Ангел мой,— продолжал он, обращаясь к графине,— позволят ли вам ваши хлопоты с укладкой вещей оторваться на минуту, чтобы приготовить мне горячий,

крепкий кофе? Мне придется закончить кое-какие дела с мистером Хартрайтом. Мне необходимо собраться с мыслями, чтобы быть на должной, достойной меня высоте!

Мадам Фоско дважды молча наклонила голову — сухо кивнула мне, смиренно кивнула мужу — и выскользнула из комнаты.

Граф подошел к письменному столу у окна, открыл его и вынул из ящика несколько стоп бумаги и связку гусиных перьев. Он рассыпал перья по столу, чтобы они были под рукой, по мере надобности, и нарезал бумагу узкими полосами, как это делают писатели-профессионалы для печатного станка.

— Я напишу замечательный документ,— сказал он, глядя на меня через плечо,— труд сочинителя хорошо мне знаком. У меня есть навык к литературным композициям. Одно из редчайших и драгоценнейших достижений человеческого разума — это умение приводить в порядок свои мысли. Огромное преимущество! Я обладаю им. А вы?

Он заходил по комнате в ожидании кофе, он мурлыкал себе под нос какую-то мелодию и время от времени хлопал себя по лбу, как бы отметая те препятствия, которые нарушали в эту минуту стройность его мыслей. Больше всего меня удивляла его непомерная дерзость: он сделал из положения, в которое я его поставил, пьедестал для своего тщеславия и предавался любимейшему своему занятию — выставлять себя напоказ. Но, несмотря на искреннее презрение, которое я питал к этому человеку, его удивительная жизнеспособность и сила его воли произвели на меня большое впечатление.

Мадам Фоско принесла кофе. Он благодарно поцеловал ее руку и проводил до двери. Затем он налил себе чашку дымящегося кофе и поставил ее на письменный стол.

— Разрешите предложить вам кофейку, мистер Хартрайт? — сказал он перед тем, как сесть за стол.

Я отказался.

— Что? Вы думаете, я отравлю вас? — весело воскликнул он.— Англичане обладают здравым смыслом,— продолжал он, усаживаясь за стол,— но и у них есть один крупный недостаток: они осторожны, даже когда этого не требуется.

Он окунул гусиное перо в чернила, положил перед собой одну из полос бумаги, придерживая ее большим пальцем, откашлялся и начал писать. Писал он быстро и шумно, таким крупным, смелым почерком, оставляя такие широкие промежутки между строчками, что не прошло и двух минут, как полоса была заполнена, и он перебросил ее на пол через плечо. Когда перо его притупилось, оно тоже полетело на пол, и он схватил другое из числа разбросанных по столу. Полосы за полосами, десятками, сотнями, летели на пол и росли, как снежная гора вокруг его стула. Час шел за часом — я сидел и наблюдал за ним, а он все продолжал писать. Он ни разу не приостановился, разве только чтобы отхлебнуть кофе, а когда кофе был выпит — чтобы иногда хлопать себя по лбу. Пробил час, два, три, а полосы все еще падали вокруг него; неутомимое перо все еще скрипело по бумаге, а белоснежный бумажный хаос рос выше и выше у его ног. В четыре часа я услышал внезапный треск пера,— очевидно, он цветисто подписывал свое имя.

— Браво! — крикнул он, вскакивая на ноги с легкостью юноши и улыбаясь мне в лицо победоносной, торжествующей улыбкой.— Кончено, мистер Хартрайт! — возвестил он, ударяя кулаком в свою могучую грудь.— Кончено — к моему глубокому удовлетворению и к вашему глубокому изумлению, когда вы прочитаете, *что* я написал. Тема иссякла, но человек — Фоско — нет! Не иссяк! Я приступаю к приведению в порядок моего отчета, к корректуре моего отчета, к прочтению моего отчета, адресованного только для вашего, лично вашего уха. Пробило четыре часа. Хорошо! Приведение в порядок, корректура, прочтение — от четырех до пяти. Краткий отдых для восстановления сил — от пяти до шести. Последние приготовления — от шести до семи. Дело с агентом и письмом — от семи до восьми. В восемь — en route, в путь! Наблюдайте за выполнением этой программы!

Он сел по-турецки на пол среди своих бумаг и начал нанизывать их на шило с продетым тонким шнуром. Потом снова сел за письменный стол, исправил написанное, перечислил на заглавном листе свои звания и титулы, а затем прочитал мне свой манускрипт с театральным пафосом и выразительными театральными жестами. Читатели вскоре будут иметь возможность составить собствен-

ное суждение об этом документе. Скажу только: сей документ отвечал своему прямому назначению.

Затем он написал для меня адрес хозяина извозчичьей биржи, где он нанял экипаж, и вручил мне письмо сэра Персиваля. Оно было отослано из Хэмпшира *25 июля* и извещало графа о прибытии леди Глайд в Лондон *26 июля*. Таким образом, в тот самый день (25 июля), когда доктор подписал медицинское свидетельство о смерти, последовавшей в доме графа Фоско в Сент-Джонз-Вуде, Лора, леди Глайд, была жива и, по свидетельству самого сэра Персиваля, находилась в Блекуотер-Парке, а на следующий день должна была отправиться в Лондон! Так что, если б мне удалось получить еще и свидетельство кебмена о том, что она действительно прибыла в Лондон, я имел бы в руках все нужные мне доказательства.

— Четверть шестого,— сказал граф, взглянув на часы.— Пора вздремнуть для восстановления сил. Как вы, вероятно, заметили, мистер Хартрайт, я похож на великого Наполеона. Мое сходство с этим бессмертным гением замечательно еще и тем, что, так же как и он, я могу погрузиться в сон, когда и где мне угодно, если желаю соснуть. Простите меня на минутку. Я приглашу сюда мадам Фоско, чтобы вы не скучали в одиночестве.

Зная так же хорошо, как и он, что мадам Фоско будет приглашена в комнату с целью сторожить меня, пока он «соснет», я ничего не ответил и занялся упаковкой бумаг, которые он передавал мне во владение.

Леди вошла бледная, холодная и змееподобная, как всегда.

— Займите мистера Хартрайта, мой ангел,— сказал граф.

Он подал ей стул, поцеловал кончики ее пальцев, подошел к кушетке и через три минуты спал блаженнейшим сном самого добродетельного человека на свете.

Мадам Фоско взяла со стола какую-то книгу, села поодаль и поглядела на меня с мстительной, неискоренимой злобой, взглядом женщины, которая ничего не забывает и никогда не прощает.

— Я слышала ваш разговор с моим мужем,— сказала она.— Если бы я была на его месте, вы бы лежали сейчас мертвый здесь, на ковре!

С этими словами она открыла книгу. Больше она ни разу не посмотрела в мою сторону, не произнесла за все время, пока муж ее спал, ни единого слова.

Ровно через час после того, как граф заснул, он открыл глаза и встал с кушетки.

— Я чувствую себя всецело обновленным,— заметил он.— Элеонора, превосходная жена моя, вам угодно вернуться в ваши комнаты? Хорошо. Минут через десять я закончу укладываться. В течение еще десяти минут я переоденусь в дорожный костюм. Что еще осталось мне сделать, пока не пришел мой агент? — Он оглядел комнату и заметил стоявшую на столе клетку с белыми мышами.— Увы! — жалобно вскричал он.— Мне предстоит нанести последний удар моей чувствительности! О мои невинные малютки! Мои обожаемые детки! Что я буду делать без них? Пока что у нас нет пристанища, мы все время будем в пути — чем меньше будет с нами поклажи, тем лучше... Мой какаду, мои канарейки, мои крошки мышки, кто будет лелеять вас, когда уедет ваш *добрый папа*?

Сосредоточенный, серьезный, он в глубоком раздумье расхаживал по комнате. Когда он писал свою исповедь, он отнюдь не казался озабоченным. Но сейчас он был явно озабочен. Несравненно более важный вопрос занимал его теперь: как лучше пристроить своих любимцев? После некоторого размышления он вдруг решительно направился к своему письменному столу.

— Блестящая мысль! — воскликнул он, усаживаясь за стол.— Я принесу моих канареек и моего какаду в дар этой огромной столице — мой агент преподнесет их от моего имени Лондонскому зоологическому саду. Сопроводительный документ будет немедленно написан.

Он начал быстро писать, повторяя слова вслух по мере того, как изливал их на бумагу.

— «Номер один. Какаду с бесподобным опереньем. Чарующее зрелище для всех, кто обладает вкусом.

Номер два. Канарейки непревзойденной подвижности и ума, достойные райских садов Эдема, достойные также зоологического сада в Риджент-Парке. Дань уважения Британской Зоологии, от

ФОСКО».

Перо снова затрещало, брызги чернил полетели во все стороны — подпись украсилась затейливыми завитушками.

— Граф, вы не включили в список мышей,— сказала мадам Фоско.

Он поднялся из-за письменного стола, взял ее руку и прижал к своему сердцу.

— Всякая человеческая решимость, Элеонора, имеет свои пределы,— сказал он торжественно.— Предел моей решимости обозначен в этом документе. Я не в силах расстаться с моими белыми мышками. Примиритесь с этим, ангел мой, и поместите их в дорожную клетку.

— Восхитительная нежность! — сказала мадам Фоско, с восторгом глядя на мужа и бросая на меня змеиный взгляд — в последний раз.

Она бережно взяла клетку с мышами и удалилась из комнаты.

Граф поглядел на часы. Несмотря на свое намерение сохранять до конца полную невозмутимость, он с видимым нетерпением ожидал прихода своего агента. Свечи давно догорели, радостное утреннее солнце заливало комнату. В пять минут восьмого раздался звонок и появился агент. Он был иностранцем, у него была черная бородка.

— Мистер Хартрайт — месье Рюбель,— сказал граф, представляя нас друг другу.

Он отозвал агента (явного шпиона!) в угол, шепнул ему несколько слов и удалился.

Как только мы остались одни, «месье Рюбель» отменно любезно сказал мне, что он к моим услугам. Я написал Песке несколько слов с просьбой вручить подателю сего мое первое письмо, проставил адрес профессора и подал записку месье Рюбелю.

Агент подождал вместе со мной возвращения своего хозяина. Граф вошел, облаченный в дорожный костюм. Прежде чем отослать письмо, граф прочитал адрес.

— Я так и думал,— сказал он, бросив на меня исподлобья сумрачный взгляд.

С этой минуты его манеры изменились.

Он закончил укладываться и сел за географическую карту, делая какие-то пометки в своей записной книжке и время от времени нетерпеливо поглядывая на часы. Со мной он больше не разговаривал. Он убедился своими

собственными глазами, что между Песком и мной существует взаимопонимание, и теперь, когда приблизился час отъезда, был полностью сосредоточен на том, как обезопасить свое бегство.

Около восьми часов месье Рюбель вернулся с моим нераспечатанным письмом. Граф внимательно прочитал слова, написанные мною на конверте, рассмотрел печать и сжег письмо.

— Я исполнил свое обещание,— сказал он,— но наше с вами знакомство, мистер Хартрайт, на этом еще не закончилось.

У калитки стоял кеб, в котором агент приехал обратно. Он и служанка начали выносить вещи. Мадам Фоско сошла вниз, она была под густой вуалью, в руках у нее была дорожная клетка с белыми мышами. Она даже не взглянула в мою сторону. Муж помог ей сесть в кеб.

— Пройдите за мной в переднюю,— шепнул он мне,— я должен вам что-то сказать напоследок.

Я подошел к выходной двери, агент стоял на ступеньках подъезда.

Граф вернулся и втащил меня в холл.

— Помните о третьем условии! — сказал он вполголоса.— Вы обо мне еще услышите, мистер Хартрайт! Может быть, я потребую от вас сатисфакции раньше, чем вы думаете!

Он схватил мою руку, крепко пожал ее, прежде чем я успел опомниться, пошел к двери, остановился и снова подошел ко мне.

— Еще одно слово,— сказал он таинственным шепотом.— Когда в последний раз я видел мисс Голкомб, она выглядела похудевшей. Я тревожусь за эту дивную женщину. Берегите ее, сэр! Положа руку на сердце, торжественно заклинаю вас — берегите мисс Голкомб!

Это были его последние слова. Он втиснулся в кеб, и экипаж тронулся в путь.

Агент и я постояли у дверей, глядя ему вслед. В это время из-за угла выехал другой кеб и быстро последовал за кебом графа. Когда кеб поравнялся с домом, у подъезда которого мы стояли, из окна его выглянул человек. Незнакомец из театра! Иностранец со шрамом на левой щеке!

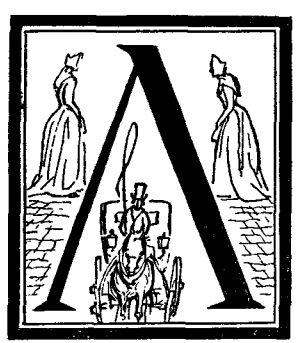
— Прошу вас подождать здесь со мной еще полчасика, сэр,— сказал месье Рюбель.

— Хорошо.

Мы вернулись в гостиную. Говорить с агентом или слушать его у меня не было никакого желания. Я развернул манускрипт графа и перечитал историю страшного преступления, рассказанную тем самым человеком, который задумал и совершил его.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ АЙСЭДОР ОТТАВИО БАЛДАССАР ФОСКО

(Граф Священной Римской империи, Кавалер Большого Креста и Ордена Бронзовой Короны, Постоянный Гроссмейстер Мальтийских Масонов Месопотамии, Почетный Атташе при Общеевропейском Союзе Благоденствия и т. д., и т. д., и т. д.)



етом 1850 года я приехал в Англию из-за границы с одним политическим поручением деликатного свойства. Я был полуофициально связан с доверенными лицами. Мне было поручено руководить ими, в их числе были мадам и месье Рюбель. У меня было несколько недель свободного времени, а затем я должен был приступить к своим обязанностям, устроившись на жительство в пригороде Лондона. Любопытство тех, кто желал бы пояснений по поводу моих обязанностей, мне придется пресечь сразу и навсегда. Я полностью сочувствую их любопытству. Я искренне скорблю, что дипломатическая сдержанность не разрешает мне его удовлетворить.

Я договорился провести свой отдых, о котором я упомянул выше, в роскошной усадьбе моего покойного, горячо оплакиваемого друга, сэра Персиваля Глайда.

Он прибыл с континента в сопровождении своей жены. Я прибыл с континента в сопровождении моей. Англия — страна домашнего очага. Как трогательно, что оба мы прибыли сюда таким подобающе супружеским образом!

Узы дружбы, связывающие меня с Персивалем, в те дни были еще теснее благодаря трогательному сходству нашего материального положения. Мы оба нуждались в деньгах. Непререкаемая необходимость! Всемирная потребность! Есть ли на свете хоть один цивилизованный человек, который бы нам не сочувствовал? Если есть, то каким черствым он должен быть! Или каким богатым!

Я не буду входить в низменные подробности этой прискорбной темы. Мысль моя с отвращением отшатывается от нее. Со стойкостью древнего римлянина я показываю свой пустой кошелек и пустой кошелек Персиваля потрясенному общественному взору. Позволим этому факту считаться раз и навсегда установленным и проследуем дальше.

В усадьбе нас встретило изумительное, великолепное создание, чье имя вписано в мое сердце,— «Мэриан», создание, известное в холодной атмосфере светского общества как мисс Голкомб.

Боги небесные! С какой неописуемой стремительностью я стал обожать эту женщину! В свои шестьдесят лет я боготворил ее с вулканическим пылом восемнадцатилетнего. Все золотые россыпи моей богатой натуры были безнадежно брошены к ее ногам. Моей жене — бедному ангелу, моей жене, которая обожает меня, доставались всего только жалкие шиллинги и пенсы. Таков Мир, таков Человек, такова Любовь!

Я спрашиваю: кто мы, как не марионетки в пантомиме кукольного театра? О всесильная Судьба, дергай бережно наши веревочки! Будь милосердна к нам, пока мы пляшем на нашей жалкой, маленькой сцене!

Предыдущие строки, правильно понятые, выражают целую философскую систему. Мою.

Я продолжаю.

Положение наших домашних дел в начале нашего пребывания в Блекуотер-Парке было обрисовано с чудодейственной точностью, с глубокой проникновенностью рукой самой Мэриан. (Прошу прощения за то, что позволяю себе упоительную вольность называть это божественное существо по имени.) Близкое знакомство с ее дневником, до которого я добрался тайными путями, невыразимо драгоценными мне по воспоминаниям, дает возможность моему неутомимому перу не касаться темы, которую эта исключительно доскональная женщина уже сделала своей.

Дела — дела потрясающие, грандиозные, к которым я причастен, начинаются с прискорбной болезни Мэриан.

В это время наше положение было крайне серьезным. К определенному сроку значительные денежные суммы были необходимы Персивалю (я не говорю о малой крохе, в равной степени необходимой мне). Единственным источником, из которого мы могли почерпнуть, было состояние его супруги, но ни одна копейка не принадлежала ему — до ее смерти. Скверно! Но еще хуже стало в дальнейшем. У моего горячо оплакиваемого друга были свои частные неприятности, о которых деликатность моей бескорыстной привязанности к нему запрещала мне спрашивать его с неуместным любопытством. Я знал только, что какая-то женщина, по имени Анна Катерик, скрывалась где-то в наших местах и общалась с леди Глайд. Результатом этого общения могло быть раскрытие некоей тайны, что, в свою очередь, могло бесславно погубить Персиваля. Он сам сказал мне, что он — погибший человек, если не сумеет заставить молчать свою жену и не разыщет Анну Катерик. Если он погибнет, что станется с нашими денежными перспективами? Я смелый человек, но я содрогался при этой мысли!

Вся мощь моего интеллекта была направлена теперь на розыски Анны Катерик. Как бы ни были серьезны наши материальные затруднения, они давали нам время для передышки. Необходимость разыскать эту женщину была безотлагательной. По описаниям я знал о необыкновенном ее сходстве с леди Глайд. Благодаря этому любопытному факту, сообщенному мне только для того, чтобы я мог опознать ту, которую мы искали, и дополнительному сообщению о побеге Анны Катерик из сумасшедшего дома в моей голове зародилась грандиозная идея, приведшая в дальнейшем к потрясающим результатам! Идея моя заключалась в полном отождествлении двух отдельных личностей. Леди Глайд и Анне Катерик предстояло по-

меняться друг с другом именами и судьбами. Чудесным следствием этого обмена был барыш в тридцать тысяч фунтов и вечная нерушимость тайны Персиваля.

Когда я поразмыслил над обстоятельствами, мой инстинкт (почти всегда безошибочный) подсказал мне, что наша невидимая Анна рано или поздно вернется в старую беседку на озеро. Там я и обосновался с раннего утра, предварительно упомянув при домоправительнице миссис Майклсон, что, если я понадоблюсь, я буду погружен в занятия в этом уединенном месте. У меня незыблемое правило — никогда не делать ненужных секретов и не вызывать ненужных подозрений, если их можно предотвратить некоторой дозой своевременной прямоты. Миссис Майклсон с начала и до конца безгранично верила в меня, верила мне. Доверчивость этой почтенной матроны (вдовы протестантского священника) переливала через край. Тронутый таким избытком простодушного доверия в женщине столь почтенного возраста, я открыл просторные вместилища моей широкой натуры и поглотил это доверие все целиком.

За то, что я самоотверженно стоял на сторожевом посту, я был вознагражден появлением, правда, не самой Анны, но особы, которая ей покровительствовала. Эта личность тоже была преисполнена наивной доверчивости, которую я поглотил, как и в предыдущем случае. Я предоставляю ей самой описать обстоятельства, при которых мы встретились (что, по всей вероятности, она уже сделала) и во время которых она познакомила меня заочно с объектом своих материнских забот. Когда я впервые увидел Анну Катерик, она спала. Сходство этой несчастной женщины с леди Глайд воодушевило меня. При виде лица спящей в моем мозгу стали вырисовываться детали и искусные комбинационные ходы того грандиозного плана, который до этого был мне ясен только в общих чертах. В то же самое время сердце мое, всегда подверженное влиянию нежности, изошло в слезах при виде страданий этой бедняжки. Я сейчас же взялся облегчить эти страдания.

Иными словами, я позаботился о необходимых возбуждающих средствах для того, чтобы у Анны Катерик достало сил совершить поездку в Лондон.

Тут я вынужден заявить необходимый протест и исправить возмутительное недоразумение.

Лучшие годы моей жизни были посвящены ревностному изучению медицинских и химических наук. Химия в особенности всегда имела для меня неотразимую привлекательность благодаря огромной, безграничной власти, которую она дарует тем, кто ее познает. Химики — я утверждаю это с полной ответственностью — могут, если захотят, изменить судьбы человечества.

Разрешите мне объясниться, прежде чем я проследую дальше.

Говорят, разум управляет вселенной. Но что правит разумом? Тело (следите пристально за ходом моей мысли) находится во власти самого всесильного из всех властителей — химии. Дайте мне, Фоско, химию — и, когда Шекспир задумает Гамлета и сядет за стол, чтобы воспроизвести задуманное, несколькими крупинками, оброненными в его пищу, я доведу его разум посредством воздействия на его тело до такого состояния, что его перо начнет плести самый несообразный вздор, который когда-либо осквернял бумагу. При подобных же обстоятельствах воскресите мне славного Ньютона. Я гарантирую, что когда он увидит падающее яблоко, он съест его, вместо того чтобы открыть закон притяжения. Обед Нерона, прежде чем он его переварит, превратит Нерона в кротчайшего из людей, а утренний завтрак Александра Македонского заставит его днем удирать во все лопатки при первом же появлении врага. Клянусь своей священной честью, человечеству повезло: современные химики по большей части волею непостижимого счастливого случая — безобиднейшие из смертных. В массе своей — это достойные отцы семейств, мирно торгующие в аптеках. В редких случаях — это философы, одуревшие от чтения лекций, мечтатели, тратящие жизнь на фантастические бесполезности, или шарлатаны, чье честолюбие не поднимается выше исцеления наших мозолей. Таким образом, человечество спасено, и безграничная власть химии пока что остается рабски подчинена самым поверхностным и незначительным задачам.

Что за взрыв? Почему и к чему это бурное словоизвержение?

Ибо поведение мое представлено в искаженном свете. Ибо побуждения мои неправильно истолкованы. Мне приписывают, будто я употребил мои обширнейшие химические познания против Анны Катерик и будто бы готов был

применить их даже против самой божественной Мэриан! Гнусная ложь! Глубокое заблуждение! Все мои мысли были сосредоточены на том, как сохранить жизнь Анны Катерик. Все мои заботы были направлены на то, чтобы вырвать Мэриан из рук патентованного болвана, эскулапа, лечившего ее, который убедился в дальнейшем, что советы мои с самого начала были правильными (как подтвердил это и врач из Лондона). Только в двух случаях, одинаково безобидно-безвредных для тех, чьи страдания они облегчили, прибегнул я к помощи своих химических познаний. В первом случае, сопроводив Мэриан до деревенской гостиницы близ Блекуотера (изучая под защитой фургона поэзию движений, воплощенную в ее походке), я воспользовался услугами моей неоценимой жены, чтобы снять копию с первого и перехватить второе из двух писем, которые мой обожаемый, восхитительный враг вверил уволенной горничной. Письма эти были у девушки за пазухой, и мадам Фоско могла вскрыть эти письма, прочитать их, выполнить свое задание, запечатать и положить обратно только с помощью науки — в виде маленького пузыречка,— которую я ей предоставил. Второй случай (о котором дальше я пишу подробнее) — случай, когда понадобилось прибегнуть к той же научной помощи, имел место по приезде леди Глайд в Лондон. Никогда ни в каком другом случае не опирался я на свое могучее искусство — но лишь на Самого Себя. Во всех других затруднениях моя органическая способность сражаться врукопашную, один на один, с обстоятельствами была неизменно на высоте.

Я провозглашаю всеобъемлющее превосходство этой органической способности! В противовес химику я прославляю человека!

Отнеситесь с должным уважением к этому взрыву благородного негодования. Он неописуемо облегчил меня.

В путь! Продолжим.

Намекнув миссис Клеменс (или Клемент — я не уверен), что Анну лучше всего увезти в Лондон, где она не сможет попасть в лапы Персиваля, убедившись, что миссис Клеменс с жадностью ухватилась за мое предложение, и условившись встретиться со спутницами на станции, дабы своими глазами удостовериться, что они действительно уехали, я мог теперь вернуться в Блекуотер и вступить в единоборство с теми затруднениями, которые

мне оставалось осилить. Прежде всего я решил использовать заслуживающую величайшего восхищения преданность превосходной жены моей. Я условился с миссис Клеменс, что в интересах Анны она сообщит леди Глайд свой лондонский адрес. Но одного этого было недостаточно. Злонамеренные личности в мое отсутствие могли поколебать добросердечную доверчивость миссис Клеменс, и в конце концов она могла бы не сообщить своего адреса. Кого найти, кто поехал бы в Лондон тем же поездом, что и она, и незаметно проводил бы ее и Анну до их квартиры? Я задал себе этот вопрос. Мое супружеское «я» немедленно ответило: мадам Фоско.

Приняв решение о миссии моей жены, я условился, что эта поездка будет служить двум целям. Нашей страдалице Мэриан необходима была сиделка, равно преданная как пациентке, так и мне. По счастливой случайности одна из самых положительных и талантливых из всех женщин на свете была в моем распоряжении. Я имею в виду достойнейшую миссис Рюбель. Я вручил моей жене письмо к миссис Рюбель в Лондон.

В условленный день миссис Клеменс и Анна Катерик встретили меня на станции. Я вежливо проводил их до купе. Я вежливо проводил мадам Фоско до другого купе в том же поезде. Поздно вечером моя жена вернулась в Блекуотер, исполнив все мои поручения с неукоснительной точностью. Ее сопровождала миссис Рюбель, и моя жена привезла мне адрес миссис Клеменс. Последующие события показали, что эта последняя мера предосторожности была излишней. Миссис Клеменс известила леди Глайд о своем местопребывании. Из осмотрительности я сохранил при себе ее письмо для будущих надобностей.

В тот же день у меня произошло небольшое разногласие с доктором. Из человеколюбия я запротестовал против его методов лечения. Он вел себя дерзко, как это бывает со всеми невежественными людьми. Я не высказал никакой обиды. Я отложил ссору, пока она не станет необходимой в связи с моим планом.

Затем я сам уехал из Блекуотера. Мне надо было нанять для себя резиденцию в Лондоне — вскоре таковая могла мне понадобиться. Так же необходимо было мне провести одно небольшое дело семейного характера с мистером Фэрли. Я снял загородный дом в Сент-Джонз-

Вуде. Я повидал мистера Фэрли в Лиммеридже, Кумберленд.

Из письма Мэриан я узнал, что она предложила мистеру Фэрли пригласить леди Глайд на некоторое время в Лиммеридж, дабы тем самым облегчить супружеские неприятности четы Глайд. Это побудило меня поехать в Лиммеридж. Перед этим я мудро предоставил письму дойти по назначению, чувствуя, что вреда оно не принесет, а, наоборот, может пригодиться. Представ перед мистером Фэрли, я поддержал предложение Мэриан с некоторыми исправлениями, неизбежными в силу ее болезни, которые, по счастливому совпадению, могли способствовать успеху моего проекта. Необходимо было, чтобы леди Глайд, получив приглашение от своего дядюшки, уехала из Блекуотер-Парка одна и чтобы она по его совету остановилась отдохнуть на ночь в доме своей тетушки, то есть моей жены.

К мистеру Фэрли я поехал именно за таким пригласительным письмом. Скажу только, что сей джентльмен был одинаково немощен и умственно и физически. Мне пришлось дать волю всей силе своего темперамента, чтобы заставить его поступить так, как мне было нужно. Я пришел, увидел и победил Фэрли.

По возвращении в Блекуотер-Парк (с приглашением дядюшки в кармане) я узнал, что глупейшее лечение невежды-доктора привело к весьма плачевным результатам в ходе болезни Мэриан. Горячка оказалась тифом. В день моего приезда леди Глайд пыталась проникнуть в комнату больной, чтобы ухаживать за ней. Мы с ней не питали друг к другу взаимной симпатии — она нанесла непростительную рану моей чувствительности, назвав меня шпионом, она была камнем преткновения на пути Персиваля и моем,— и, несмотря на все это, мое великодушие не позволяло мне намеренно подвергнуть ее опасности заразиться тифом. Если бы это произошло, то сложный гордиев узел, над завязыванием которого я так тщательно и терпеливо трудился, был бы, возможно, разрублен благодаря превратностям судьбы. Но доктор воспрепятствовал тому, чтобы она вошла в комнату больной.

Еще до этого я советовал послать за лондонским врачом. Теперь наконец так и сделали. По приезде врач из Лондона подтвердил, что мой диагноз был правильным.

Болезнь Мэриан была весьма серьезной. Но на пятый день, после кризиса, мы могли уже надеяться на выздоровление нашей обаятельнейшей пациентки. За это время я съездил в Лондон: сделал окончательные распоряжения относительно моего дома в Сент-Джонз-Вуде, убедился путем частных расспросов, что миссис Клеменс никуда не переехала, и условился о кое-каких мелочах с супругом мадам Рюбель. К ночи я вернулся. По прошествии пяти дней доктор из Лондона объявил, что наша восхитительная Мэриан вне опасности, ей не нужны больше никакие лекарства, нужен только тщательный уход. Вот когда наступила минута, которой я так долго ждал! Теперь уже можно было обойтись без медицинской помощи, и я сделал первый ход в игре, поссорившись с доктором. Он был одним из многочисленных свидетелей, от которых необходимо было избавиться. Оживленный спор между нами — Персиваль заранее был мною предупрежден и отказался вмешиваться — привел к желаемым результатам. Я обрушился на этого жалкого человека непреодолимой лавиной благородного гнева и одним махом вымел его из Блекуотер-Парка.

Затем следовало избавиться от слуг. Я снова дал соответствующие указания Персивалю, чьи нравственные силы нуждались в постоянных возбуждающих средствах, и в один прекрасный день миссис Майклсон с удивлением выслушала приказ рассчитать всех слуг. Мы оставили в доме только одну служанку, такую непроходимо глупую, что могли вполне положиться на ее полную неспособность что-либо заподозрить. Когда вся прислуга уехала, оставалось отделаться и от миссис Майклсон. Мы отослали эту приятную женщину снять дачу на морском побережье для ее госпожи.

Теперь обстоятельства были именно такими, как это требовалось. Леди Глайд лежала больная, толстая служанка (*не помню ее имени*) *оставалась на ночь* в комнате своей госпожи. Мэриан, хотя и чувствовала себя с каждым днем все лучше и лучше, с постели еще не вставала, за ней ухаживала мадам Рюбель. В доме, кроме моей жены, Персиваля и меня, не было никого. Все благоприятствовало нам. Тогда я сделал второй ход в игре.

Второй ход заключался в том, что надо было принудить леди Глайд уехать из Блекуотера одну, без ее сестры.

Если бы мы не сумели уверить ее, что Мэриан уже уехала в Кумберленд, мы не смогли бы заставить ее добровольно покинуть дом. Поэтому мы спрятали нашу прелестную больную в одной из нежилых комнат Блекуотер-Парка. Под покровом ночной темноты мадам Фоско, мадам Рюбель и я сам — Персиваль не был настолько хладнокровен, чтобы на него можно было положиться,— проделали эту операцию. Зрелище было чрезвычайно живописным, таинственным, драматичным. По моему приказанию постель была вделана в раму из досок, наподобие паланкина. Нам оставалось только поднять кровать у изголовья и в ногах и перенести больную, куда нам угодно, не потревожив ее. В данном случае вмешательства химии не требовалось, и ее помощь не применялась. Наша божественная Мэриан спала глубоким, крепким сном выздоравливающего человека. Предварительно мы распахнули все двери, через которые должны были пройти, и зажгли свечи. По праву самого сильного я взялся за изголовье, моя жена и мадам Рюбель держали кровать в ногах. Я нес эту неизмеримо драгоценную ношу с материнской нежностью, с отеческой заботливостью. Где тот современный Рембрандт, который смог бы передать на полотне нашу полунощную процессию?

Увы, искусство! Увы, живописнейшее зрелище! Современного Рембрандта нет...

На следующее утро я и моя жена уехали в Лондон, оставив Мэриан в спокойном уединении необитаемой части дома на попечении мадам Рюбель, которая любезно согласилась разделить темницу своей пациентки на два-три дня. Перед отъездом я передал в руки Персиваля письмо мистера Фэрли, в котором он приглашал к себе свою племянницу Лору (рекомендуя ей на пути переночевать в доме ее тетушки), с тем чтобы Персиваль показал его леди Глайд, когда получит от меня соответствующие указания. Кроме того, я взял от Персиваля адрес лечебницы, где содержалась в прошлом Анна Катерик, и письмо от него же к директору лечебницы. Сэр Персиваль уведомлял этого джентльмена о возвращении убежавшей пациентки под его медицинское крыло.

Во время последней моей поездки в столицу я договорился о том, что наша скромная резиденция будет готова ко дню нашего приезда. В связи с этой мудрой предусмотрительностью мы смогли в тот же день сделать третий ход в игре — добыть Анну Катерик.

Даты играют здесь очень важную роль.

Я олицетворяю собой две противоположности: я человек чувства и человек дела. Нужные мне даты я всегда знаю наизусть.

В среду 24 июля 1850 года я послал мою жену в кебе к миссис Клеменс, чтобы убрать эту последнюю с дороги. Для этого моей жене было достаточно объявить ей, что леди Глайд находится в Лондоне. Миссис Клеменс села в кеб, где и осталась, а моя жена под предлогом, что ей необходимо сделать кое-какие покупки, спокойно вернулась в Сент-Джонз-Вуд — ждать свою гостью. Надо ли упоминать о том, что прислугу предупредили о скором прибытии леди Глайд?

В это время я поехал к Анне Катерик с запиской, в которой говорилось, что леди Глайд, оставив у себя миссис Клеменс, просит Анну немедленно приехать к ней в сопровождении доброго джентльмена — он ждет ее внизу; он тот самый человек, который спас ее от сэра Персиваля в Хемпшире. Добрый джентльмен отослал эту записку с мальчиком-рассыльным и подождал внизу. В ту же минуту, как Анна вышла из дому, этот превосходный человек открыл перед ней дверцы кареты, усадил ее туда и увез.

(Разрешите мне заметить здесь мимоходом, как все это интересно!)

По дороге в Сент-Джонз-Вуд моя спутница не обнаруживала никаких признаков тревоги. При желании я могу быть заботливым, как отец,— на этот раз я был усиленно заботлив. Кроме того, у меня было чем завоевать ее полное доверие. Разве не я сделал лекарство, облегчившее ее страдания, разве не я предупредил ее об опасности, грозившей ей со стороны сэра Персиваля? Возможно, я немного перестарался, возможно, недооценил общеизвестной проницательности и природного чутья людей умственно отсталых, но, к сожалению, мне не удалось в достаточной мере подготовить Анну к разочарованию, ожидавшему ее в моем доме. Когда я ввел ее в гостиную и она увидела, что там никого нет, кроме мадам Фоско, с которой она была незнакома, она проявила сильнейшие признаки нервного возбуждения. Она почуяла в воздухе опасность, как собака чует нюхом присутствие

невидимого человека. Испуг ее был беспричинным и внезапным. Мои уговоры были напрасными. Может быть, я сумел бы рассеять ее страхи, но серьезная болезнь сердца, от которой она давно страдала, была мне не подвластна. К моему невыразимому ужасу, у нее начались конвульсии, что могло привести к мгновенной смерти.

Послали за ближайшим врачом. Ему сказали, что помощь его требовалась неожиданно занемогшей леди Глайд. Я с бесконечным облегчением увидел, что доктор — знающий человек. Описав ему мою больную гостью как особу со слабым интеллектом, подверженную бредовым идеям, я условился, что ухаживать за ней будет только моя жена. Бедняжка Анна, однако, была настолько больна, что можно было не опасаться излишней разговорчивости с ее стороны. Одного я теперь боялся: самозваная леди Глайд могла умереть раньше, чем настоящая леди Глайд прибудет в Лондон.

Наутро я написал мадам Рюбель, чтобы она встретилась со мной в Лондоне в пятницу 26 июля в доме своего мужа. Я написал также Персивалю. Он должен был передать своей жене приглашение ее дядюшки, уверить ее, что Мэриан уже уехала в Лондон, и отправить леди Глайд в город с дневным поездом — обязательно 26-го числа. После некоторого раздумья я почувствовал необходимость ввиду состояния здоровья Анны Катерик ускорить события и иметь леди Глайд под рукой раньше, чем я предполагал вначале. Какие еще шаги мог я предпринять? В моем до ужаса шатком положении мне оставалось только возложить надежды на счастливый случай и доктора. Мое волнение выразилось в трогательных восклицаниях — у меня хватило самообладания сочетать их с именем «леди Глайд».

Но во всех других отношениях слава Фоско в этот памятный день померкла.

Анна провела неспокойную ночь, проснулась сильно ослабевшая, но позднее, днем, почувствовала себя гораздо лучше. Мое безотказное присутствие духа воскресло вместе с нею. Ответы Персиваля и мадам Рюбель я мог получить только завтра, то есть утром 26 июля. Уверенный, что они в точности выполнят мои указания,— если, конечно, им не помешает какая-нибудь непредвиденная случайность,— я пошел заказать экипаж, чтобы на следующий день встретить леди Глайд на вокзале, и приказал послать за мной карету 26 июля в два часа дня. После того как я своими глазами убедился, что заказ внесен в книгу, я пошел условиться о некоторых деталях с месье Рюбелем. Я обеспечил также услуги двух джентльменов, которые могли дать нужные медицинские свидетельства об умопомешательстве. Одного из них знал лично я, другого знал месье Рюбель. Оба эти джентльмена были людьми умными, оба стояли выше узких предрассудков, оба временно нуждались в презренном металле, оба верили в меня.

Был шестой час, когда я наконец отправился домой, подготовив все необходимое для завтрашней встречи. Когда я вернулся, Анна Катерик уже была мертва. Умерла 25-го, а леди Глайд должна была приехать только завтра — 26-го!

Я был потрясен. Задумайтесь над этим — Фоско был потрясен!

Отступать было поздно. Еще до моего возвращения домой доктор заботливо постарался избавить меня от хлопот и собственноручно зарегистрировал смерть Анны Катерик, проставив именно то число, когда это произошло. В моем грандиозном плане, до сих пор безупречном, было теперь уязвимое место. Никакие меры не могли изменить роковое происшествие 25 июля. Но я с непоколебимым мужеством смотрел в лицо будущему.

Дело касалось интересов Персиваля (и моих), игра стоила свеч, игру надо было довести до конца. Призвав на помощь свое нерушимое самообладание, я ее доиграл.

Утром 26-го я получил письмо Персиваля, извещавшее меня о приезде его жены с дневным поездом. Мадам Рюбель написала, что приедет вечером. В три часа я поехал на вокзал встречать живую леди Глайд, в то время как мертвая леди Глайд лежала в моем доме. Под сиденьем кареты находилась одежда Анны Катерик, в которой она прибыла в мой дом. Сия одежда предназначалась для того, чтобы помочь воскресить ту, которая умерла, в лице той, которая здравствовала. Вот драматическое положение! Я предлагаю его подрастающим писателям Англии! Я предлагаю его, как до сих пор не использованное, вконец исписавшимся драматургам Франции!

Леди Глайд приехала. На вокзале была масса народу,

обычная вокзальная сутолока грозила промедлением, крайне нежелательным,— среди пассажиров могли встретиться знакомые. Когда мы сели в карету, первый вопрос леди Глайд относился к состоянию здоровья ее сестры. Я выдумал самые успокоительные новости и уверил ее, что она увидит свою сестру в моем доме.

На этот раз «мой дом» находился близ Лестер-Сквера, в нем жил месье Рюбель, который и встретил нас в холле.

Я провел мою гостью наверх, в комнату, которая выходила во двор; внизу уже ждали два джентльмена, чтобы осмотреть пациентку и выдать необходимое медицинское свидетельство. Успокоив леди Глайд по поводу ее сестры, я представил ей поочередно моих медицинских друзей. Они выполнили необходимые формальности быстро, разумно, добросовестно. Как только они удалились, я вошел в комнату и сразу же ускорил события, известив бедняжку о плохом состоянии здоровья мисс Голкомб.

Это дало желаемые результаты. Леди Глайд разволновалась, ей стало дурно. Во второй, и в последний, раз я призвал в помощь себе науку. Лекарственная вода и лекарственная нюхательная соль избавили ее от всех дальнейших волнений и хлопот. Последующая доза вечером обеспечила ей умиротворяющее блаженство хорошего, крепкого сна. Мадам Рюбель приехала вовремя, чтобы уложить леди Глайд в постель. Ее собственную одежду сняли и утром заменили одеждой Анны Катерик, с соблюдением всех правил приличия, высоконравственными руками самой мадам Рюбель. В продолжение всего дня я поддерживал в нашей пациентке полубессознательное состояние, пока умелая помощь моих медицинских друзей не помогла мне раньше, чем я ожидал, получить ордер, необходимый для ее водворения в лечебницу. Вечером 27 июля мадам Рюбель и я отвезли нашу воскресшую Анну Катерик в сумасшедший дом. Ее встретили с изумлением, но без всяких подозрений благодаря свидетельству двух врачей, письму Персиваля, удивительному сходству, одежде и временному помрачению ее умственных способностей.

Я сразу же вернулся оттуда домой, чтобы помочь мадам Фоско с приготовлениями к похоронам мнимой леди Глайд. Одежда и вещи подлинной леди Глайд оставались у меня. Они были отправлены в Кумберленд при перевозке тела на лиммериджское кладбище. Облаченный в глубокий траур, я с присущим мне достоинством присутствовал при погребении.

Мой отчет об этих достопримечательных событиях, написанный мною при столь достопримечательных обстоятельствах, на этом заканчивается. Небольшие меры предосторожности, предпринятые мною в сношениях с Лиммериджем, уже известны, так же как потрясающий успех моего замысла и весьма веские материальные результаты, увенчавшие этот успех. Мне остается только с полной убежденностью добавить, что единственное слабое место в моей затее никогда не было бы обнаружено, если б в сердце моем не было единственной моей слабости... Только мое роковое преклонение перед Мэриан побудило меня не вмешаться, когда она устроила побег своей сестры. Я пошел на этот риск, зная, что личность леди Глайд никогда не сможет быть установлена. Если бы Мэриан или Хартрайт попытались добиться этого официальным путем, их заподозрили бы в отъявленном мошенничестве с корыстными целями, им никогда не поверили бы, они были бы бессильны нанести удар моим интересам и публично разоблачить тайну Персиваля. Я слепо рискнул — и не вмешался. Это было моей первой ошибкой. После того как Персиваль пал жертвой собственного упрямства и горячности, вторая моя ошибка заключалась в том, что я, к глубокому моему прискорбию, позволил леди Глайд вторично избежать сумасшедшего дома, а мистеру Хартрайту — уйти от меня. В эту критическую минуту Фоско изменил самому себе. Прискорбная и столь нехарактерная для него ошибка! Причина этой ошибки, погребенная на самом дне моего сердца, кроется в Мэриан Голкомб — первой и последней слабости в жизни Фоско!

В зрелом, шестидесятилетнем возрасте я громогласно делаю это беспримерное признание. Юноши, я взываю к вашему сочувствию! Девушки, я надеюсь на ваши слезы!

Еще одно слово, и я перестану приковывать к себе внимание читателя (напряженно сосредоточенное на мне).

Моим безошибочным инстинктом я угадываю, что у людей с пытливым умом должны возникнуть три неизбежных вопроса.

Задавайте их мне — я отвечу!

Первый вопрос. В чем секрет самоотверженной преданности мадам Фоско, неустанно радевшей об исполнении моих самых дерзких желаний, постоянно способствующей осуществлению моих глубочайших замыслов? Ответ прост: отнесите это за счет моего собственного характера. В свою очередь, я спрашиваю: был ли во всей мировой истории человек, подобный мне, за спиной у которого не стояла бы женщина, бестрепетно заклавшая себя на его жизненном алтаре? Но, памятуя, что пишу сейчас в Англии, памятуя, что сочетался браком в Англии, я спрашиваю: разве по законам этой страны замужняя женщина имеет право на собственные принципы, отличные от принципов своего мужа? Нет! По законам этой страны она обязана любить и почитать его, а также повиноваться ему беспрекословно!

Моя жена именно так и делала. Я говорю об этом с точки зрения высокой морали, я торжественно провозглашаю, что она неукоснительно исполняла свой супружеский долг.

Умолкни, клевета! Жены Англии, склоните головы перед мадам Фоско!

Вопрос второй. Как бы я поступил, если бы Анна Катерик не умерла? Тогда я помог бы ее обессиленной и обездоленной натуре найти вечное успокоение. Я открыл бы двери темницы, в которой томилась ее жизнь, и предоставил бы узнице, неизлечимой как умственно, так и физически, найти радостное избавление.

Вопрос третий. Если нелицеприятно и хладнокровно разобраться во всех вышеописанных обстоятельствах, заслуживает ли мое поведение серьезного порицания? Тысячу раз нет! Разве я не старался тщательно избежать гнусного позора бесполезного преступления? С моими широкими познаниями в химии я мог бы помочь леди Глайд перейти в лучший мир. Не посчитавшись с собственными чрезвычайными неудобствами, я следовал по пути, подсказанному мне моей изобретательностью, моей гуманностью, моей осторожностью: вместо того чтобы отнять у нее жизнь, я отнял у нее имя. Судите меня, приняв во внимание, что́ я мог бы совершить. Каким сравнительно невинным, каким почти что добродетельным я оказался в действительности!

Я известил всех вначале, что этот рассказ будет представлять собою неповторимый документ. Он полностью оправдал мои ожидания.

Примите эти пылкие строки — мой последний дар стране, которую я покидаю навеки. Они достойны этой минуты, они достойны —

ФОСКО.

РАССКАЗ ПРОДОЛЖАЕТ УОЛТЕР ХАРТРАЙТ

I

огда я закончил чтение манускрипта графа, полчаса, которые я должен был пробыть на Форест-Род, уже истекли. Месье Рюбель взглянул на часы и поклонился. Я немедленно встал и ушел, оставив агента одного в покинутом доме. Я никогда больше его не видел, никогда больше не слышал ни о нем, ни о его жене. Появившись из темных закоулков лжи и преступления, они крадучись пересекли нам путь и скрылись навсегда в тех же темных закоулках.

Через четверть часа я был дома.

В нескольких словах я рассказал Лоре и Мэриан, чем кончилась моя отчаянная попытка, и предупредил их о событии, которое ожидало нас в ближайшие дни. Подробности моего рассказа я отложил на вечер, а сам поспешил повидать того человека, которому граф Фоско заказал экипаж для встречи Лоры.

Указанный графом адрес привел меня к конюшням в четверти мили от Форест-Род. Хозяин извозчичьей биржи оказался вежливым пожилым человеком. Когда я объяснил ему, что в силу важных семейных причин прошу разрешения просмотреть книгу заказов для подтверждения одной даты, он охотно согласился на это. Принесли книгу. Под датой «26 июля 1850 года» стояло:

«Карета для графа Фоско, Форест-Род, № 5, к двум часам — Джон Оэн».

Мне сказали, что Джон Оэн — имя кучера, правившего в тот день каретой. По моей просьбе за ним немедленно послали на конюшенный двор, где он работал.

— Не помните ли вы джентльмена, которого вы везли с Форест-Род на вокзал Ватерлоо в июле прошлого года? — спросил я его.

— Нет, сэр,— сказал кучер,— что-то не припоминаю.

— А может быть, все-таки припомните? Он был иностранец, очень высокий и чрезвычайно толстый.

Лицо кучера прояснилось:

— Ну как же, сэр! Самый толстый из всех, кого я видел, и самый грузный из всех, кого я возил. Да, да, сэр, отлично помню! Мы действительно поехали на вокзал именно с Форест-Род. В окне его дома еще визжал попугай. Джентльмен страшно торопился с багажом леди и хорошо заплатил мне за то, что я быстро получил ее вещи.

Получил ее вещи! Я вспомнил слова Лоры о том, что с графом был еще какой-то человек, который нес ее вещи. Это и был тот самый человек.

— А леди вы видели? — спросил я.— Какая она была из себя? Молодая или старая?

— Право, сэр, была такая толпа и такая давка, что я не очень хорошо помню эту леди. Ничего не могу припомнить о ней, кроме ее имени.

— Вы помните ее имя?

— Да, сэр. Ее звали леди Глайд.

— Как же вы это запомнили, а как она выглядела — забыли?

Кучер ухмыльнулся и в замешательстве переступил с ноги на ногу.

— Сказать по правде, сэр, я незадолго до этого женился, и фамилия моей жены, пока она не сменила ее на мою, была такая же, как у леди, только просто Глайд, сэр,— сказал кучер.— Сама леди назвала свое имя. «Ваше имя на сундуках, мэм?» — спросил я. «Да,— говорит она.— Моя фамилия проставлена на багаже — леди Глайд».— «Вот как! — думаю я.— Я никогда не запоминаю всякие знатные фамилии, но эта мне хорошо знакома». А насчет того, когда это было — год назад или нет,— вот

этого не помню, сэр. Но могу под присягой показать про толстого джентльмена и про фамилию леди.

То, что он не помнил, какого числа он ездил на вокзал, было несущественно — число было проставлено черным по белому в книге заказов его хозяина. Я понял, что теперь в моих руках те простые, ясные факты, с помощью которых я могу одним ударом доказать несостоятельность заговора графа. Не колеблясь ни минуты, я отвел хозяина в сторону и рассказал ему, какую важную роль сыграла его книга заказов и свидетельство кучера. Условившись возместить ему убыток, если кучеру придется уехать со мной дня на два, на три, я снял копию с заказа графа, точность которой засвидетельствовал сам хозяин. С Джоном Оэном я условился, что он будет в моем распоряжении в течение трех дней или дольше, если это понадобится.

Теперь у меня были все нужные мне бумаги вместе с медицинским свидетельством о смерти и письмом сэра Персиваля.

С этими письменными доказательствами и с устным ответом кучера я направился к конторе мистера Кирла. Я хотел рассказать ему, во-первых, обо всем, что я сделал; во-вторых, предупредить его о моем намерении повезти мою жену завтра в Лиммеридж, с тем чтобы ее публично признали в доме ее дяди. Я считал, что мистер Кирл должен сам решить, поедет ли он с нами, как поверенный мистера Фэрли, чтобы в интересах семьи присутствовать при этом событии.

Я не стану рассказывать об удивлении мистера Кирла и о том, как он отозвался о моем поведении во время расследования. Необходимо только отметить, что он сразу же решил сопровождать нас в Кумберленд.

Мы поехали туда рано утром на следующий же день. Лора, Мэриан, мистер Кирл и я — в одном купе, а Джон

Оэн с клерком мистера Кирла — в другом. Приехав в Лиммеридж, мы сначала отправились на ферму Тодда. У меня было твердое намерение ввести Лору в дом ее дяди только после того, как он признает ее своей племянницей. Я предоставил Мэриан договориться с миссис Тодд (которая не могла прийти в себя от изумления) о том, где они разместятся на ночь; условился с ее мужем, что Джона Оэна гостеприимно приютят у себя рабочие фермы, а затем мы с мистером Кирлом пошли в Лиммеридж.

Мне не хочется подробно описывать наше свидание с мистером Фэрли, ибо даже вспоминать об этой сцене мне противно. Скажу только, что я добился своего. Мистер Фэрли пытался вести себя с нами в обычной для него манере. Мы оставили без внимания его вежливую наглость в начале нашего разговора. Мы выслушали без сочувствия его последующие уверения, что разоблачение этой истории буквально убило его. Под конец он хныкал и ныл, как капризный ребенок. Откуда мог он знать, что его племянница жива, когда ему сказали, что она умерла? Он с удовольствием примет дорогую Лору, если только мы дадим ему время немного прийти в себя. Мы хотим уморить его, свести его в могилу? Нет? Тогда зачем торопить его? Он повторял свои возражения на всевозможные лады, пока я решительно не поставил его перед неизбежным выбором: либо он теперь же признает свою племянницу, либо ему впоследствии придется проделать это публично — в зале судебного заседания. Мистер Кирл, к которому он обратился за помощью, твердо сказал ему, что он должен решить этот вопрос сию же минуту. Как этого и надо было ожидать, он выбрал то, от чего можно было поскорее отделаться,— с внезапным приливом энергии он возвестил, что не в силах больше слушать нас и что мы можем поступать, как нам заблагорассудится.

Мистер Кирл и я сразу же пошли вниз и договорились о письменном приглашении всем жителям Лиммериджа, которые прежде присутствовали на подложных похоронах. Мы пригласили их от имени мистера Фэрли прийти завтра в его дом. Затем мы написали каменщику, изготовлявшему надгробные памятники, с просьбой прислать человека на кладбище Лиммериджа для того, чтобы стереть одну из надписей. Мистер Кирл ночевал в доме, он взял на себя

труд обязать мистера Фэрли подписаться под этими приглашениями после того, как они будут ему прочтены.

Вернувшись на ферму, я посвятил остаток дня написанию ясного, краткого отчета о самом преступлении и о тех фактах, которые его разоблачали; отчет свой я представил на одобрение мистеру Кирлу, прежде чем прочитать его публично. Мы условились, в каком порядке — по мере прочтения документа — будут представлены доказательства нашей правоты. Когда мы покончили с этим, мистер Кирл заговорил со мной о материальных делах Лоры. Не зная и не желая знать о них ничего, но сомневаясь в том, что мистер Кирл, как деловой человек, одобрит мое равнодушное отношение к наследству, доставшемуся мадам Фоско, я попросил мистера Кирла простить меня, если я уклонюсь от разговора на эту тему. Я мог искренне сказать ему, что мы никогда не говорим об этом между собой и избегаем обсуждать с посторонними, ибо все это связано со слишком глубокими потрясениями и горестями в прошлом.

К вечеру я сделал последнее, что мне оставалось,— я переписал лживую надгробную надпись, пока она еще не была стерта.

Настал день — наконец-то настал день, когда Лора снова вошла в свой родной дом в Лиммеридже! Все, кто собрались в столовой, встали с мест, когда Мэриан и я ввели ее. Шепот удивления пробежал по толпе при виде нее. Мистер Фэрли по моему настоянию также присутствовал. Мистер Кирл стоял возле него. За мистером Фэрли стоял его камердинер, держа наготове флакон с нюхательной солью в одной руке и белоснежный носовой платок, пропитанный одеколоном,— в другой.

Я во всеуслышание попросил мистера Фэрли подтвердить, что действую от его имени и по его просьбе. С помощью мистера Кирла и своего камердинера он встал на ноги и обратился к присутствующим с такими словами:

— Разрешите представить вам мистера Хартрайта. Я немощный инвалид, как вам известно, и он так любезен, что будет говорить за меня. Все это чрезвычайно утомительно. Выслушайте его и не шумите, прошу! — С этими словами он медленно опустился в кресло и спрятался за своим надушенным носовым платком.

После нескольких вступительных слов я кратко и ясно рассказал о разоблачении всего заговора. Я сказал моим слушателям следующее: во-первых, я всенародно заявляю, что сидящая подле меня жена моя — дочь покойного мистера Филиппа Фэрли; во-вторых, я представлю доказательства, что похороны, на которых присутствовали окрестные жители, были похоронами другой женщины; в-третьих, расскажу, каким образом все произошло. Без дальнейших предисловий я прочитал свой отчет, подчеркивая, что преступление было совершено ради материальной выгоды. Я не хотел обременять свой рассказ ненужными ссылками на тайну сэра Персиваля. После этого я напомнил моим слушателям о выгравированной на памятнике дате смерти — 25 июля; дату эту подтверждало и медицинское свидетельство о кончине леди Глайд. Затем я прочитал письмо сэра Персиваля от 25 июля, извещавшего графа Фоско о предполагаемом отъезде Лоры в Лондон 26 июля. Я доказал, что она действительно приехала туда, представив им кучера, подтвердившего мои слова, а дату ее приезда подтвердила выписка из книги заказов. После этого Мэриан рассказала о встрече с Лорой в сумасшедшем доме и о побеге своей сестры. И, наконец, я известил присутствующих о смерти сэра Персиваля и о моей женитьбе.

Затем поднялся мистер Кирл и заявил, что в качестве юридического советника и поверенного в делах семьи Фэрли он считает мои доказательства неопровержимыми и дело мое полностью доказанным. Когда он это сказал, я помог Лоре подняться, чтобы все, кто был в комнате, могли ее увидеть.

— А вы такого же мнения? — спросил я, делая к ним несколько шагов и указывая на мою жену.

Трудно описать, что за этим последовало. Эффект моего вопроса был потрясающим. Из глубины комнаты к нам направился один из старейших жителей Лиммериджа, тесной толпой придвинулись все остальные. Я до сих пор вижу перед собой одного человека с прямодушным, обветренным лицом и седыми волосами. Он взобрался на подоконник, замахал руками и закричал:

— Вот она — жива и здорова, да благословит ее господь! А ну, давайте приветствовать ее! Да здравствует Лора Фэрли!

Оглушительные, ликующие крики возобновлялись с

новой силой — для меня это была самая радостная музыка на свете. Крестьяне, школьники, собравшиеся на лужайке перед домом, подхватили эти приветственные крики, они разнеслись эхом по всему Лиммериджу. Жены фермеров теснились около Лоры, каждая из них хотела пожать ей руку первая, плача от радости и умоляя ее самое не плакать и успокоиться. Лора так обессилела от волнения, что мне пришлось вынести ее из комнаты. У дверей я передал ее на руки Мэриан — Мэриан, которая всегда была нашей поддержкой, Мэриан, чье мужество не изменило ей и сейчас.

Оставшись один, я поблагодарил их от имени Лоры и от себя и попросил следовать за мной на кладбище, чтобы увидеть, как будет стерта фальшивая надпись на надгробном памятнике.

Они все пошли за мной, толпа сгрудилась вокруг могилы, каменщик уже ждал нас. В глубокой тишине раздался первый удар резца по мрамору. Все стояли молча, не шевелясь, пока слова «Лора, леди Глайд...» не были сбиты. Тогда раздался единодушный глубокий вздох. Казалось, все почувствовали, что последние следы преступления против Лоры исчезли, и толпа стала медленно расходиться.

Спускались сумерки, когда вся надпись наконец была стерта. Впоследствии на надгробном памятнике была выгравирована лишь одна строка: «Анна Катерик. 25 июля 1850 года».

Вечером я пошел в Лиммеридж, чтобы попрощаться с мистером Кирлом. Он, его клерк и Джон Оэн уезжали в Лондон с ночным поездом. Как только они уехали, мне передали дерзкую записку мистера Фэрли (его вынесли из столовой в полной прострации, когда жители приветственными криками ответили на мой вопрос). В своей записке он посылал нам свои «наилучшие поздравления» и желал узнать, долго ли еще мы намерены оставаться в его доме. Я написал ему в ответ, что та цель, из-за которой мы вынуждены были войти в его дом, была теперь достигнута, что я не намерен оставаться в чьем-либо доме, кроме своего собственного, и что мистер Фэрли может не опасаться увидеть нас или услышать о нас в будущем. Мы пошли переночевать на ферму к нашим друзьям, а на следующее утро жители всей деревни и все окрестные фермеры шли за нами до самой станции. Провожаемые

их сердечными, добрыми пожеланиями, мы поехали обратно в Лондон.

В то время как зеленые холмы Кумберленда таяли, убегая вдаль, я вспоминал о нашем горестном прошлом, наполненном длительной и трудной борьбой, и, вспоминая об этом, я понял, что материальная нужда, вынудившая нас не прибегать ни к чьей посторонней помощи, косвенно способствовала нашему успеху, ибо заставила меня действовать совершенно самостоятельно. Если бы мы были достаточно богаты, чтобы обратиться к помощи закона, к каким бы результатам это привело? По собственным словам мистера Кирла, мы вряд ли выиграли бы судебный процесс и, конечно, не имели бы возможности собрать те доказательства, которые помогли нам раскрыть преступление. Судебное вмешательство никогда не предоставило бы мне возможности повидаться с миссис Катерик. Судебное вмешательство никогда не смогло бы заставить Песку стать мечом возмездия, принудившим графа к исповеди.

II

К цепи событий, которые я описываю, мне остается прибавить еще два звена, для того чтобы завершить это повествование.

Наше счастливое, новое для нас чувство освобождения от тяжелого гнета прошлого не успело еще стать привычным, когда за мной прислал один мой знакомый, который когда-то дал мне первый заказ по гравюрам на дереве. Я получил от него новое подтверждение его заботы о моем благополучии. Его посылали в Париж для ознакомления с новым процессом гравирования, желая выяснить, выгоден ли он по сравнению со старым методом. Знакомый мой был занят и не имел времени исполнить это поручение. Он любезно предложил мне заменить его. Я с благодарностью сразу же согласился, ибо, если бы я хорошо справился с этим делом, я мог получить постоянную работу в иллюстрированной газете, в которой сейчас работал от случая к случаю.

Мне дали необходимые указания, и на следующий же день я начал собираться в дорогу. Снова оставляя Лору (но при каких изменившихся обстоятельствах!) на попечении ее сестры, я задумался о будущем нашей Мэриан.

Мысль об этом часто тревожила меня и мою жену. Имели ли мы право эгоистически принимать всю любовь, всю преданность этой великодушной женщины? Нашим долгом и лучшим выражением нашей любви и благодарности к ней было бы, позабыв о себе, подумать только о ней. Я попытался высказать все это Мэриан, когда перед моим отъездом мы с ней остались одни. Она не дала мне договорить и взяла меня за руку.

— После всего, что мы трое выстрадали вместе,— сказала она,— у нас не может быть другой разлуки, кроме самой последней. Только смерть разлучит нас. Мое сердце и мое счастье, Уолтер, с Лорой и с вами. Подождем немного, пока у домашнего очага не зазвучат детские голоса. Я буду учить их говорить, и первым уроком, который они перескажут своим родителям, будет: «Мы не можем обойтись без нашей тети Мэриан!»

Поездку в Париж я совершил не один. В последнюю минуту Песка решил сопровождать меня. Обычная его веселость оставила его с той поры, как мы побывали в опере. Он считал, что кратковременные каникулы поднимут его настроение.

На четвертый день после нашего прибытия в Париж я закончил все свои дела и написал необходимую докладную записку. Пятый день я решил провести в обществе

Пески и вместе с ним побродить по городу, осматривая достопримечательности Парижа.

Отель, в котором мы остановились, был так переполнен, что нас не могли устроить на одном этаже. Моя комната была на втором этаже, а комната Пески — надо мной, на третьем. Утром я пошел наверх узнать, готов ли профессор. Я был уже в коридоре, когда вдруг дверь его комнаты открылась — ее придерживала тонкая нервная рука (не рука моего друга). В то же время я услышал голос Пески — он говорил тихо, но возбужденно, на своем родном языке:

— ...я помню имя, но этого человека я не узнал. Вы сами видели в театре — он так изменился, что я не мог узнать его. Я отошлю ваш рапорт — больше я ничего не могу сделать.

— Больше ничего и не требуется,— ответил второй голос.

Дверь распахнулась, и светловолосый незнакомец со шрамом на щеке — тот самый, который неделю назад ехал за кебом графа,— вышел из комнаты Пески. Он поклонился мне, когда проходил мимо. Лицо его было мертвенно-бледным, и он крепко ухватился за перила, когда спускался вниз по лестнице.

Я открыл дверь и вошел в комнату. Песка лежал на диване, свернувшись в клубочек самым фантастическим образом. Мне показалось, что он отшатнулся от меня, когда я подошел ближе.

— Я помешал вам? — спросил я.— Я не знал, что у вас сидит приятель, пока не увидел, как он вышел от вас...

— Он не мой приятель! — нетерпеливо перебил меня Песка.— Сегодня я видел его в первый и последний раз.

— Боюсь, он принес вам плохие вести?

— Ужасные, Уолтер! Вернемся в Лондон — я не хочу оставаться здесь, я жалею, что приехал. Несчастья моей молодости лежат на мне тяжелым бременем! — сказал он, отворачиваясь к стенке.— Они со мной до сих пор. Я стараюсь позабыть о них, но они не забывают меня...

— Мы можем выехать только в середине дня,— отвечал я.— Вы не хотите пока что пойти погулять со мной?

— Нет, друг мой, я подожду вас здесь. Но уедем сегодня, прошу вас! Вернемся в Лондон!

Уверив его, что он сегодня же покинет Париж, я ушел.

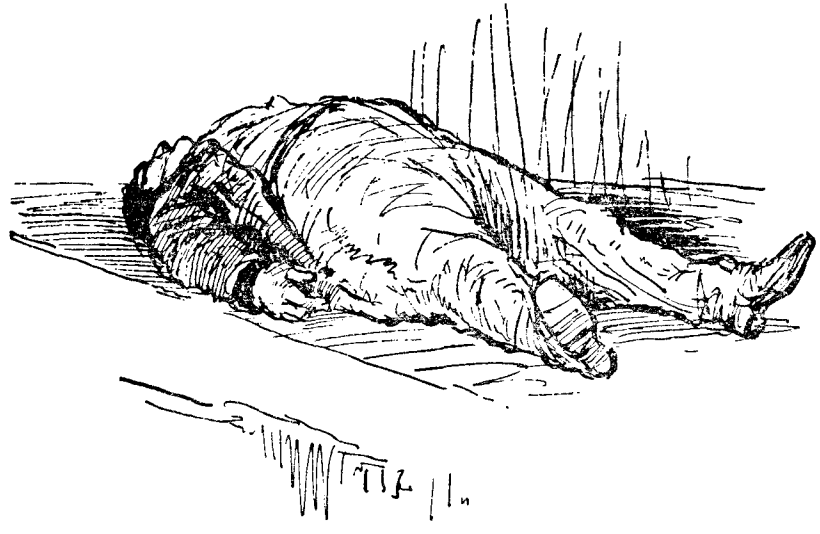
Накануне вечером мы условились, что взберемся на башню собора Парижской Богоматери,— нашим гидом будет благородный роман Виктора Гюго. Больше всего в столице Франции я хотел повидать этот собор и отправился туда один.

Я шел к Нотр-Дам со стороны реки. По дороге мне пришлось проходить мимо морга — зловещего Дома мер-

твых в Париже. У входа в него теснилась взволнованная толпа. По-видимому, какое-то необычайное происшествие возбуждало любопытство праздного люда, охочего до страшных зрелищ.

Я прошел бы мимо, прямо к собору, если бы мое внимание не привлек разговор двух мужчин с какой-то женщиной. Они только что вышли из этого здания и рассказывали в кругу любопытных о мертвеце — мужчине огромного роста, со странным шрамом на левой руке.

Не успели слова эти долететь до меня, как я уже стоял за теми, кто шел в морг. Когда через открытую дверь



в отеле я услышал голос Пески и вслед за этим увидел лицо незнакомца, прошедшего мимо меня к лестнице, в моем мозгу уже мелькало смутное предчувствие. Теперь истина открылась мне благодаря случайным словам каких-то прохожих. Другое отмщение, а не мое последовало за этим обреченным человеком от Оперного театра до дверей его дома в Лондоне — оттуда до его убежища в Париже. Другое отмщение, а не мое призвало его к ответу и покарало смертью. В тот миг, когда в театре я показал на него Песке в присутствии незнакомца, который разыскивал его,— в тот миг участь его была решена. Мне припомнилась моя душевная борьба с самим собою,

когда граф и я стояли лицом к лицу в его доме. Я вспомнил, как я дал ему уйти от меня, и содрогнулся при этом воспоминании.

Медленно, шаг за шагом, шел я в толпе, приближаясь к огромной стеклянной стене, которая отделяет в морге мертвых от живых,— все ближе и ближе, пока не очутился в первом ряду зрителей.

Он лежал передо мной — никому не известный, выставленный напоказ легкомысленной, равнодушной толпе! Таков был страшный конец этой долгой жизни, презревшей таланты, ей отпущенные, прошедшей в бессердечных преступлениях! В гробовой тишине вечного покоя лицо его — массивное, широкое, властное — предстало пред нами во всем своем великолепии. Мертвый, он выглядел так внушительно, что болтливые француженки вокруг меня всплескивали руками и восклицали хором: «О, какой красивый мужчина!» Он был убит кинжалом прямо в сердце. На теле его не было обнаружено никаких других следов насилия, кроме шрама на левой руке. На том самом месте, где я видел выжженное клеймо на руке Пески, у него было два глубоких пореза в форме буквы «Т», которые полностью скрыли знак Братства. Одежда его говорила о том, что он сознавал опасность, ему грозившую,— он был в костюме простого рабочего. Одно мгновение, не больше, смотрел я на него через стекло. Мне нечего больше сказать о нем...

Впоследствии, от Пески и из других источников, я узнал подробности его смерти.

Тело его вытащили из Сены, при нем не было ничего, что могло бы помочь установить его имя или адрес. Рука, поразившая его, бесследно исчезла, и обстоятельства, при которых он был убит, остались нераскрытыми. Пусть другие сами делают свои выводы об этом таинственном убийстве, как сделал их я. Могу только сказать, что человек со шрамом на щеке был членом Братства (он примкнул к нему после отъезда Пески из Италии), а два пореза в форме буквы «Т» означали итальянское слово «Traditore»[1]. Закон Братства покарал изменника. Вот все, что я знаю о загадочной смерти графа Фоско.

Через день после моего отъезда тело было опознано его женой, которую кто-то известил о его смерти анонимным письмом. Мадам Фоско похоронила графа на кладбище Пер-Лашез. До сих пор графиня ежедневно своими руками вешает на роскошную бронзовую ограду вокруг его могилы венки из живых цветов. Она живет в строжайшем уединении в Версале. Не так давно она опубликовала биографию своего покойного мужа. Произведение это не проливает света на его настоящее имя и подлинную историю его жизни — оно полностью посвящено восхвалению его семейных добродетелей, описанию его редких, незаурядных талантов и перечислению орденов и тех почестей, которые ему воздавали. Об обстоятельствах, сопровождавших его кончину, упомянуто вкратце, и последняя страница оканчивается следующими словами: «Жизнь его прошла в борьбе за священные принципы порядка и прав Аристократии. Он принял мученический венец, пав жертвой своего долга».

[1] Traditore *(итал.)* — предатель.

III

Со времени моей поездки в Париж прошло несколько месяцев. Миновали лето и осень. Особых перемен в нашей жизни за это время не произошло. Мы жили так тихо, скромно и уединенно, что моего заработка вполне хватало на наши нужды.

В феврале родился наш первый ребенок — сын. Мои матушка и сестра вместе с миссис Вэзи были гостями на нашем празднике — на крестинах нашего первенца, а миссис Клеменс присутствовала на них в качестве помощницы моей жены. Крестной матерью нашего сына была Мэриан, а Песка и мистер Гилмор (последний, так сказать, «в письменной форме») были его крестными отцами. Могу прибавить, что, когда через год мистер Гилмор вернулся к нам, он, по моей просьбе, добавил к моей истории и свой собственный отчет, помещенный здесь ранее, но последний по счету из тех, которые я получил.

Мне остается рассказать о том, что произошло, когда нашему маленькому Уолтеру исполнилось шесть месяцев.

К этому времени мне пришлось поехать в Ирландию, чтобы выполнить несколько рисунков для нашей газеты, в которой я теперь постоянно работал. Я пробыл в отъезде около двух недель, регулярно переписываясь с моей женой и с Мэриан. Обратный путь я проделал ночью, и, когда рано утром приехал домой, к моему великому изумлению,

меня никто не встретил. За день до моего приезда Лора с ребенком и Мэриан уехали.

Записка моей жены, врученная мне служанкой, только увеличила мое недоумение. Лора писала, что они отправились в Лиммеридж. Мэриан запретила объяснять что-либо в письме — меня просили немедленно следовать за ними: я все пойму, когда приеду в Кумберленд, а пока что я не должен ни о чем беспокоиться. На этом записка кончалась. Я мог успеть на дневной поезд. В тот же самый день я приехал в Лиммеридж.

Моя жена и Мэриан были наверху. Они расположились (что изумило меня еще больше) в той самой комнате, где когда-то была моя студия. На том самом стуле, на котором я, бывало, сидел за работой, сидела сейчас Мэриан с моим сыном на коленях, а Лора стояла подле памятного мне стола, в руках у нее был маленький альбом с моими рисунками.

— Что привело вас сюда? — спросил я.— Мистер Фэрли знает...

Мэриан перебила меня и сказала, что мистер Фэрли умер. С ним был удар, после которого он уже не поправился. Мистер Кирл известил их о его смерти и посоветовал ехать в Лиммеридж.

Смутное предчувствие большой перемены закралось в меня, но Лора заговорила, прежде чем я успел его осознать. Она подошла совсем близко ко мне и улыбалась, глядя на мое изумленное лицо.

— Уолтер, дорогой мой,— сказала она,— надо ли нам оправдываться в том, что мы решили приехать сюда, не дожидаясь вас? Боюсь, любимый мой, что в таком случае мне придется нарушить наше правило и заговорить о прошлом.

— Нет никакой надобности вспоминать о прошлом,— сказала Мэриан.— Мы можем все объяснить, заговорив о будущем. Это гораздо интереснее.

Она встала и подняла ребенка, который ворковал и прыгал в ее руках.

— Вы знаете, кто это, Уолтер? — спросила она, глядя на меня блестящими глазами, в которых стояли слезы радости.

— Есть предел даже моей догадливости,— отвечал я.— Но думаю, что с полной уверенностью могу ответить — это мой собственный ребенок.

— Ребенок! — воскликнула она со своей прежней грациозной веселостью.— Вы так небрежно отзываетесь об одном из родовитейших помещиков Англии? Позвольте обратить ваше внимание на этого сиятельного малютку. Разрешите представить вас друг другу: мистер Уолтер Хартрайт — молодой наследник Лиммериджа!

Так сказала она. Записав ее слова, я написал все. Перо дрожит в моей руке. Долгий счастливый труд многих месяцев окончен. Мэриан была нашим добрым ангелом — пусть ее словами закончится наша история.

СОДЕРЖАНИЕ

*

М. Урнов. Роман «Женщина в белом» и его автор 5

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Рассказывает учитель рисования из Климентс-Инна Уолтер Хартрайт 17

Рассказ продолжает Уинсент Гилмор из Ченсери-Лейн, поверенный семьи Фэрли 131

Рассказ продолжает Мэриан Голкомб (Выписки из ее дневника) 167

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Рассказ продолжает Мэриан Голкомб 202

Рассказ продолжает Фредерик Фэрли, эсквайр, владелец имения Лиммеридж 351

Рассказ продолжает Элайза Майклсон (домоправительница Блекуотер-Парка) 373

Рассказ продолжают разные лица 419

1. Отчет Эстер Пинхорн, кухарки, состоящей в услужении у графа Фоско (записано с ее собственных слов) 419

2. Отчет доктора 426

3. Отчет Джейн Гулд 427

4. Надпись на надгробном памятнике 427

5. Отчет Уолтера Хартрайта 427

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Рассказ продолжает Уолтер Хартрайт 435

Рассказ продолжает миссис Катерик 558

Рассказ продолжает Уолтер Хартрайт 572

Рассказ продолжает Айсэдор Оттавио Балдассар Фоско 635

Рассказ продолжает Уолтер Хартрайт 652

*

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего возраста

Коллинз Уилки

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ

Роман

Ответственный редактор В. Б. Тихоненко

Художественный редактор И. Г. Найденова

Технический редактор Н. Г. Мохова

Корректор Л. А. Рогова

ИБ № 13327

Подписано к печати с готовых диапозитивов 25.04.91.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. типогр. № 1.
Шрифт литературный. Печать высокая.
Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 35,7. Уч.-изд. л. 37,01.
Тираж 300 000 экз. (1-й завод 1—150 000 экз.).
Заказ № 6421. Цена 7 р. 80 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Министерства печати и массовой информации РСФСР.
103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР.
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

К читателям

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

*

Коллинз У.

К 60 Женщина в белом: Роман/Пер. с англ. Т. Лещенко-Сухомлиной; Вступит. ст. М. Урнова; Худож. В. Высоцкий.— М.: Дет. лит., 1991.— 669 с.: ил.— (Б-ка приключений и научной фантастики).

ISBN 5-08-003110-7

«В романе предпринят эксперимент, к которому до сих пор не прибегали в литературе. О событиях, происходящих в книге, от начала и до конца рассказывают ее персонажи» — так писал У. Коллинз о своем романе. Благодаря острому, увлекательному сюжету, точности психологических характеристик роман принадлежит к числу лучших образцов приключенческой литературы.

К $\frac{4804010100—277}{M101(03)-91}$ Без объявл. ББК 84.4Вл